

Вальтер
Скотт



ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

Вальтер Скотт

С О Б Р А Н И Е С О Ч И Н Е Н И Й

в двадцати томах

Под общей редакцией

*Б. Г. РЕИЗОВА, Р. М. САМАРИНА,
Б. Б. ТОМАШЕВСКОГО*



*Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ*

Москва 1962 Ленинград

Вальтер Скотт

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

том седьмой

ЛАММЕРМУРСКАЯ НЕВЕСТА

Перевод с английского
В. А. ТИМИРЯЗЕВА

ЛЕГЕНДА О МОНТРОЗЕ

Перевод с английского
Н. Н. АРБЕНЕВОЙ



Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1962 Ленинград

WALTER SCOTT
THE BRIDE OF LAMMERMOOR
A LEGEND OF MONTROSE

Редакция перевода

М. А. Шерешевской («Ламмермурская невеста»)

Комментарии

***З. Т. Гражданской, М. Б. Рабиновича,
П. М. Топера и М. А. Шерешевской***

**ЛАММЕРМУРСКАЯ
НЕВЕСТА**

Глава I

Тот бедняк, кто малеваньем
Добывает пропитанье,
Всем капризам и желаньям
Должен угождать.

*Старинная песня*¹

Мало кого посвятил я в свою тайну: мало кто знал о том, что я сочиняю повести, и, надо полагать, повести эти едва ли увидят свет при жизни их автора. Но если бы даже их напечатали, я не стал бы стремиться к известности, *digito monstrari*.² А если бы я все же лелеял такую опасную надежду, то, признаться, предпочел бы, подобно искусному кукольнику, разыгрывающему перед зрителями веселую историю Панча и супруги его Джоан, оставаться за ширмами и, невидимый, наслаждаться изумлением и сметливостью моей публики. Тогда, быть может, я услышал бы, как знатоки с похвалою отзываются о сочинениях никому неведомого Питера Петтисона, а люди чувствительные приходят от них в восторг; я узнал бы, что

¹ Стихотворные переводы, кроме особо оговоренных, выполнены Ю. Левиным.

² Чтобы на меня показывали пальцем (лат.).

молодежь зачитывается моими повестями и что даже старики не обходят их своим вниманием; что критики спешат приписать их какому-нибудь прославленному имени, а в литературных кружках и салонах только и разговору, кто и когда сочинил эти повести. Новряд ли мне суждено такое счастье при жизни, на большее же мне, безусловно, нечего рассчитывать.

Я слишком законсел в своих привычках, слишком мало знаком со светским обхождением, чтобы притязать или надеяться на почести, воздаваемые моим знаменитым собратьям по перу. К тому же вряд ли я возвысился бы в собственном мнении, когда б меня сочли достойным занять на один сезон место среди знаменитых «львов» нашей великой столицы. Я не сумел бы вскакивать, поворачиваться к публике, выставляя напоказ все свои прелести, от косматой гривы до украшенного кисточкой хвоста, «рычать, что твой соловушко», и снова опускаться на брюхо, как то подобает благовоспитанному питомцу балагана, — и все это за несчастную чашку кофе и жалкий ломтик хлеба с маслом, не толще облатки. Я не смог бы переварить грубую лесть, которую в таких случаях хозяйка дома расточает своему зверинцу, что она делает с таким же усердием, с каким пичкает леденцами попугаев, чтобы заставить их болтать при гостях. Я не смог бы ради подобного признания заставить себя ходить на задних лапах и, не будь у меня иного выбора, предпочел бы, как пленный Самсон, всю жизнь вертеть жернова, нежели развлекать филистимлянских дам и вельмож, и не из-за какой-то там неприязни — подлинной или напускной — к нашей аристократии: они занимают в свете свое место, а я свое, и доведись нам столкнуться, как это случилось в старинной басне о чугунном и глиняном горшках, то худо пришлось бы мне. Иное дело эти страницы. Читая их с удовольствием, великие мира сего не возбудят в душе их автора пустых надежд, а выказав к ним пренебрежение или хулу, не причинят ему страданий, а между тем при личном общении с теми, кто трудится для его развлечения, вельможе редко удается избежать того или другого.

Лучше и мудрее меня эти чувства выражены в словах Овидия, которые я охотно предпослал бы этим страницам:

*Parve, nec invideo, sine me, liber, ibis in urbem.*¹

Правда, прославленный изгнанник тут же опровергает эту мысль, но я не могу с ним согласиться и не разделяю его печали о том, что он не может собственной персоной сопровождать свою книгу на ярмарку, где торгуют литературой, роскошью и наслаждениями. И если бы даже не было известно множества подобных примеров, достаточно одной истории моего бедного друга и школьного товарища Дика Тинто, чтобы удержать меня от желания искать счастья в славе, выпадающей на долю тех, кто успешно трудится на ниве искусства.

Называя себя художником, Дик Тинто обычно не забывал упомянуть, что происходит от древнего рода Тинто из Ланаркшира, а при случае намекал, что в известной степени роняет свое достоинство, добывая средства к жизни карандашом и кистью. Но если только Дик ничего не напутал в своей родословной, то кой-кому из его предков доводилось падать еще ниже, ибо добрый его родитель был портным в селекции Лангдирдуме, в западной части Англии, — занятие полезное и, несомненно, честное, но, уж конечно, не аристократическое. Дик родился под скромной кровлей портного и, вопреки собственному желанию, с детства был определен учиться этому скромному ремеслу. Однако старому Тинто не пришлось радоваться победе, одержанной над врожденными склонностями сына. Старик поступил как школьник, который пытается заткнуть пальцем фонтан: разъяренная воздвигнутой преградой, струя вырывается наружу и обдаёт беднягу с головы до ног тысячами брызг. То же произошло и с Тинто-старшим. Мало того, что его многообещающий сыночек извел весь мел, упражняясь в рисовании на портняжном столе, он к тому же при-

¹ Не завидую тебе, книжка-малютка, что без меня ты отправишься в город (лат.).

нялся малевать карикатуры на самых достойных заказчиков отца. Те возроптали и заявили, что не станут терпеть, чтобы отец превращал их в уродов, а сын делал из них посмешище. Видя, что ему грозят позор и разорение, старик портной покорился судьбе и, вняв мольбам Дика, разрешил ему попытать счастья на ином поприще, более соответствовавшем его наклонностям.

Как раз в ту пору проживал в Лангдирдуме некий странствующий служитель муз, занимавшийся своим искусством *sub Jove frigido*¹ и покоровивший сердца всех местных мальчишек, в особенности же Дика Тинто. В те времена еще не вошло в обычай наводить на все экономию и, в числе прочих недостойных ограничений, заменять сухой надписью символическое изображение ремесла, преграждая тем самым художникам дорогу к доселе всегда открытому и доступному источнику совершенствования и доходов. Тогда еще не разрешалось писать на оштукатуренной притолоке у входа в трактир или на вывеске над дверью гостиницы: «Старая сорока» или «Голова сарацина», заменяя бесстрастными словами живой образ пернатой болтуны или кривой оскал страшного турка в тюбране. В те далекие и простые времена умели уважать нужды всех сословий и писали трактирные вывески — эти эмблемы веселья — с таким расчетом, чтобы они были понятны каждому, без различия положения и звания, не забывая, что иной бедняк, не умеющий сложить и двух слогов, может любить кружку доброго эля не меньше, чем его грамотеи соседи или даже сам пастор. Руководствуясь столь либеральными правилами, трактирщики заявляли о своем промысле красочными символами, и художники если и не жили в роскоши, то по крайней мере не умирали с голоду.

Итак, Дик Тинто поступил в учение к достойному представителю этой, как мы говорили, пришедшей в упадок профессии и, как это нередко случается со многими гениями в этой области, начал писать крас-

¹ Под холодным небом (лат.).

ками, еще не имея понятия о том, что такое рисунок. Врожденная наблюдательность вскоре помогла ему избавиться от ошибок своего учителя и обходиться без его наставлений. Особенно хорошо Дик рисовал лошадей, которых так любили изображать на вывесках в шотландских деревнях; прослеживая путь молодого художника, отраднo видеть, как мало-помалу он научился укорачивать спины и удлинять ноги этим благородным животным, отчего они становились меньше похожими на крокодилов и больше — на самих себя. Клеветники, всегда готовые преследовать талант с рвением, пропорциональным его успехам, распустили слухи, что Дик однажды изобразил лошадь о пяти ногах вместо четырех. В его оправдание я мог бы сослаться на то, что художники пользуются свободой создавать любые, даже необычные и неправильные, сочетания, а поэтому нет ничего недозволенного в том, чтобы пририсовать излюбленному предмету изображения одну конечность сверх положенных. Но я свято чту память моего покойного друга, и мне не по душе столь малообоснованная защита. Я видел вышеупомянутую вывеску, еще и поныне красующуюся в Лангдирдуме, и готов поклясться, что предмет, который по ошибке или по недоразумению был принят за пятую ногу, на самом деле есть не что иное, как хвост, и эта деталь, принимая во внимание позу, в которой изображено благородное парнокопытное, введена и выполнена с величайшим искусством и смелостью. Конь поднят на дыбы, и хвост, доходя до земли, словно образует point d'appui,¹ придавая всей фигуре устойчивость треножника; не будь этого, осталось бы непонятным, каким образом всаднику удастся удерживать лошадь в таком положении и при этом не перекувырнуться. По счастью, дерзновенное творение попало в руки человека, сумевшего оценить его по достоинству, и, когда Дик, поднявшись на новую ступень совершенства, усомнился, прилично ли ему столь дерзко отступать от принятых в искусстве правил, и пожелал изъять

¹ Точку опоры (франц.).

это юношеское произведение, предложив взамен владельцу написать его портрет, рассудительный трактирщик отклонил это любезное предложение, заявив, что всякий раз, когда его эль не способен развеселить посетителей, им стоит взглянуть на вывеску, чтобы тотчас прийти в хорошее расположение духа.

Я не ставлю себе здесь целью проследить шаг за шагом, как Дик совершенствовал свое мастерство и с помощью правил умерял излишнюю пылкость воображения. Когда он увидел картины своего современника, шотландского Тенирса, как тогда заслуженно называли Уилки, с его глаз спала пелена. Он бросил кисть, взялся за мелки и, невзирая на голод и тяжелый труд, безвестность и неуверенность в завтрашнем дне, продолжал идти по избранному пути, постигая искусство живописи под руководством учителей, лучших, чем его первый наставник. Тем не менее первые неумелые опыты гениального художника (подобно детским стихам Попа, если бы их можно было разыскать) навсегда останутся дороги друзьям его юности. Так, над дверью маленькой харчевни, расположенной в глухом переулке в Гэндерклю, сохранились чан и рашпер, нарисованные Диком Тинто... Но я чувствую, что пора расстаться с этой темой, ибо я могу говорить о моем друге бесконечно.

Живя в нужде и ведя постоянную борьбу за существование, художник прибегнул к средству, обычному среди его собратьев по кисти: не будучи в силах обложить данью вкус и щедрость, он принялся взимать ее с людского тщеславия — одним словом, пустился писать портреты. И вот после того как многие годы мы ничего не знали друг о друге, в ту пору, когда Дик достиг уже значительных успехов и, высоко поднявшись над первоначальными своими опытами — трактирными вывесками, — не выносил даже намек на них, мы снова встретились в селении Гэндерклю, где я занимал нынешнюю свою должность, а Дик изготовлял копии с человеческих лиц, созданных всевышним по собственному образу и подобию, и брал по гинее за штуку. Это было, конечно, жалкое вознаграждение, но на первых порах его с избытком

хватало, чтобы удовлетворить скромные потребности моего друга: Дик занял номер в гостинице «Уоллес» и, отпуская дерзкие шутки на счет ее обитателей, а порою не щадя даже самого хозяина, мирно жил, пользуясь уважением, равно как и услугами горничной, конюха и трактирного слуги.

Эти безмятежные дни были слишком хороши, чтобы длиться долго. Как только его милость лэрд Гэндерклю с супругою и тремя дочерьми, пастор, акцизный, мой достойный покровитель мистер Джедедия Клейшботэм и несколько богатых арендаторов и фермеров обеспечили себе бессмертие с помощью кисти Тинто, заказы почти совсем прекратились; что же до крестьян, которых тщеславие изредка приводило в мастерскую художника, то из их мозолистых рук обычно не удавалось вырвать больше кроны.

И все же, хотя горизонт заволокло тучами, буря пока еще не разразилась. Владелец гостиницы обходился по-христиански с постояльцем, исправно вносящим плату, куда водились деньги. Внезапное же появление в парадной зале семейного портрета во вкусе Рубенса, на котором сам хозяин красовался рядом с женой и дочерьми, свидетельствовало о том, что Дик нашел все же способ обменивать плоды искусства на необходимые средства к жизни.

Нет, однако, ничего ненадежнее источников такого рода. Теперь уже Дик, в свою очередь, сделался мишенью для насмешек хозяина, не смея при этом защищаться или платить ему тем же: мольберт был снесен на чердак, где его даже невозможно было поставить как следует, а сам Тинто перестал посещать еженедельные собрания в трактире, на которых прежде бывал душою общества.

В конце концов друзья Дика Тинто стали опасаться, как бы он не уподобился животному, известному под названием ленивец, которое, истребив начисто все листья на приютившем его дереве, сваливается на землю и подыхает от голода. Я даже взял на себя смелость намекнуть Дику на грозящую ему опасность, советуя покинуть гостеприимные пределы,

истощенные им дотла, чтобы использовать бесценный свой талант в каком-нибудь другом месте.

— Существует одно обстоятельство, мешающее мне уехать отсюда, — печально сказал мой друг, пожимая мне руку.

— Неоплаченный счет? — спросил я с искренним участием. — Если мои скромные средства смогут выручить тебя из беды...

— Нет, нет, — поспешил прервать меня благородный юноша, — клянусь душою сэра Джошуа, я не стану перекладывать на плечи друга бремя собственных неудач. У меня есть средство возвратить себе свободу; лучше уж выбраться через сточную трубу, чем оставаться в тюрьме.

Я так и не понял, что имел в виду мой приятель. Муза живописи, по-видимому, обманула его ожидания. Какую же другую богиню собирался он призвать себе на помощь? Это оставалось для меня тайной. Мы расстались, так и не объяснившись друг с другом, и увиделись только три дня спустя на прощальной трапезе, которую хозяин устроил для Дика по случаю его отъезда в Эдинбург.

Я застал Тинто в превосходном расположении духа: он насвистывал, укладывая в котомку краски, кисти, палитру и чистую рубашку. Внизу, в зале, нас ожидали холодная говядина и две кружки отличного портера, из чего я заключил, что Дик уезжает, не нарушив доброго согласия с хозяином. Признаться, любопытство мое было сильно возбуждено, и мне не терпелось узнать, каким образом дела моего друга так внезапно поправились. Я не мог заподозрить Дика в сообщничестве с дьяволом и терялся в догадках.

Он заметил мое нетерпение и, взяв за руку, сказал:

— Друг мой, я охотно скрыл бы даже от тебя унижение, через которое мне пришлось пройти, чтобы иметь возможность пристойно распрощаться с Гэндеркю. Но к чему пытаться скрыть то, что все равно обнаружится само собой! Все селение, весь приход, весь свет скоро увидят, на что толкнула бедность Ричарда Тинто.

Внезапная догадка вдруг осенила меня — я заметил, что в это памятное утро хозяин разгуливал по гостинице в совершенно новых бархатных панталонах, сменивших старые, заношенные штаны.

— Как! Ты снизошел до отцовского ремесла! — воскликнул я и, сложив щепотью пальцы правой руки, быстро провел ею от бедра к плечу, словно делая наметку. — Ты взялся за иглу? Эх, Дик!

В ответ на это нелепое предположение Дик только нахмурился и фыркнул, что означало у него крайнее возмущение, а пройдя со мной в другую комнату, указал на прислоненное к стене изображение величественной головы сэра Уильяма Уоллеса, столь же страшной, как в тот момент, когда ее сняли с плеч по приказу вероломного Эдуарда. Картина была написана на толстой доске, увенчанной железной скобой, и, по-видимому, предназначалась в качестве вывески.

— Вот, друг мой, — сказал Тинто. — Вот слава Шотландии и мой позор. Или, вернее, позор тех, кто вместо того, чтобы поощрять художников, помогая им служить искусству, толкает их на подобные недостойные и низкие поделки.

Я старался успокоить моего обиженного и возмущенного друга. Я напомнил ему, что не следует уподобляться оленю из известной басни, презируя талант, который вывел его из затруднения, тогда как другие его высокие качества портретиста и пейзажиста оказались бессильны ему помочь. Я особенно хвалил исполнение, равно как и замысел картины, уверяя, что он не только не покроет себя позором, представив на всеобщее обозрение столь совершенный образец таланта, но, напротив, приумножит свою славу.

— Ты прав, друг мой, ты бесконечно прав, — ответил Дик, обращая на меня восторженно горящий взгляд. — Зачем мне стыдиться звания... звания... (он искал нужное слово) уличного живописца. Разве Хогарт не изобразил себя в таком виде на одной из лучших своих гравюр? Доменикино или, возможно, кто-то другой — в былые времена, Морленд — в наши дни не гнушались работать в этом жанре. Где это сказано, что только богатые и знатные должны

наслаждаться произведениями искусства, тогда как они рассчитаны на все классы без изъятия. Статуи выставляют под открытым небом, так почему же, показывая свои шедевры, Живопись должна быть скарденнее своей сестры Скульптуры? Однако, дорогой мой, нам пора прощаться! Сейчас придет плотник, чтобы повесить эту... эту эмблему, а, право, несмотря на все мои рассуждения и твои утешающие речи, я предпочел бы расстаться с Гэндеркю до того, как произойдет это событие.

Мы отведали угощения, предложенного нам добросердечным хозяином, и я пошел проводить Дика по дороге в Эдинбург. Мы простились в миле от селения в ту самую минуту, когда раздалось радостное «ура», — это мальчишки приветствовали водружение новой вывески с изображением головы Уоллеса. Дик Тинто прибавил шагу, чтобы скорее уйти подальше от веселых криков, — ни прежнее ремесло, ни недавние рассуждения не могли примирить его с ролью живописца, малюющего вывески.

В Эдинбурге талант Дика был замечен и оценен по заслугам. Несколько прославленных знатоков искусства удостоили его своими советами и приглашением на обед. Но господа эти оказались более щедрыми на советы, чем на деньги; по мнению же Дика, последние принесли бы ему больше пользы, нежели первые. Поэтому он избрал путь на Лондон, эту всемирную ярмарку талантов, где, однако же, всегда больше товару, чем покупателей.

Дик, за которым всерьез признавали недюжинные способности к живописи и чье самолюбие и сангвинический характер не позволяли ему усомниться в конечном успехе, ринулся в толпу тех, кто толкается и дерется из-за славы и чинов. Одних ему удавалось отпихнуть, другие отталкивали его. Наконец благодаря своему упорству он добился некоторой известности: писал картины на приз Общества, выставлялся в Соммерсет-хаузе и осыпал проклятиями учредительный комитет, но так и не одержал победы на избранном поприще, на котором сражался с таким бесстрашием. В изящных искусствах не существует се-

редины между блистательным успехом и полным провалом, а так как рвение и усердие не помогли Дику обеспечить себе славу, он подвергся всем тем несчастьям, кои выпадают на долю безвестности. Некоторое время ему покровительствовали два-три знатока, почитавшие за доблесть слыть оригиналами и во всем идти наперекор мнению света, но вскоре художник наскучил им, и они бросили его, как балованное дитя бросает игрушку. Тогда злосчастье привязалось к нему и уже не отпускало его, сведя преждевременно в могилу. Смерть избавила Тинто от мрачной конуры, где он жил на Суоллоу-стрит, преследуемый дома за долги хозяйкой и подстерегаемый на улице судебными приставами. «Морнинг пост» уделила его памяти четверть столбца, великодушно заявив, что в манере живописца угадывался немалый талант, хотя в картинах его не было законченности. Тут же сообщалось, что известный торговец гравюрами мистер Варниш, располагая несколькими рисунками и эскизами Ричарда Тинто, эсквайра, приглашает знатных господ и других джентльменов, желающих пополнить свои собрания современной живописи, незамедлительно ознакомиться с ними. Так кончил свою жизнь Дик Тинто: прискорбное доказательство той непреложной истины, что искусство не терпит посредственности и что тому, кто не может вскарабкаться на вершину лестницы, уж лучше не ставить ногу даже на первую ступеньку.

Мне дороги воспоминания о Тинто, особенно же о наших беседах, в которых мы чаще всего обращались к предметам моих настоящих занятий. Дик радовался моим успехам и предлагал выпустить роскошное иллюстрированное издание с заставками, виньетками и *culs de lampe*,¹ выполненными его рукой, подвижной дружескими чувствами к автору и любовью к родному краю. Он даже уговорил одного старого калеку, сержанта, позировать ему для Босуэла, сержанта лейб-гвардии Карла II, и стал писать гэндерклюского звонаря для портрета Дэвида Динса. Однако, предлагая объединить наши усилия, Дик высказал мне

¹ Концовками (франц.).

множество замечаний, примешивая немалую дозу здоровой критики к тем похвалам, которые мси сочинения нередко имели счастье снискать у читателя.

— Твои герои, любезный Петтисон, — говорил он, — слишком *пустозвонят*. Они слишком много *трещат*. (Изящные выражения, заимствованные Диком из лексикона странствующей труппы, для которой он писал декорации.) У тебя целые страницы заполнены болтовней и всякими диалогами.

— Один древний философ любил повторять: «Говори, дабы я мог познать тебя», — возразил я, — и, мне кажется, нет более верного и сильного средства представить действующих лиц читателю, чем диалог, в котором каждый герой раскрывает присущие ему черты.

— Совершенно несправедливая мысль! — воскликнул Тинто. — Она столь же ненавистна мне, как пустая фляга. Я допускаю, что разговоры имеют какую-то ценность при общении людей между собой, и вовсе не придерживаюсь теории пифагорейского пьяницы, утверждавшего, что болтать за бутылкой — только портить добрую беседу. Но я не могу согласиться с тем, что писатель, желая убедить публику в правдивости изображаемого им события, передает его с помощью диалога. Напротив, я убежден, что большинство твоих читателей — если повести эти когда-нибудь увидят свет — признает вместе со мной, что ты нередко заполняешь целую страницу разговорами в тех случаях, где хватило бы и двух слов; а между тем, изобразив точно и в должных красках позы, манеры и само событие, ты сохранил бы все ценное и избежал бы при этом бесконечных «он сказал», «она сказала», которыми пестрят твои произведения.

— Ты забываешь о различии, существующем между пером и кистью, — сказал я. — Живопись, это безмятежное и безмолвное искусство, как назвал ее один из лучших современных поэтов, по необходимости обращается к зрению, не располагая средствами вызывать к слуху; поэзия же и все прочие родственные ей виды словесности вынуждены вызывать к слуху,

дабы вызвать интерес, который не могут пробудить с помощью зрения.

Мне не удалось поколебать мнение Тинто этими доводами, построенными, как он заявил, на ложной посылке.

— Для сочинителя романов, — заявил он, — описание — все равно что рисунок и колорит для живописца. Слова — те же краски, и если писатель употребляет их со знанием дела, то нет такой сцены, которой он не мог бы вызвать перед мысленным взором читателя с той же яркостью, с какой живописец представляет ее глазам зрителя на гравировальной доске или холсте. И тут и там одни и те же законы; чрезмерное же увлечение диалогом, этой многословной и утомительной формой, привело к смещению художественного повествования с драмой — совершенно иным видом литературного сочинения, в котором диалог действительно является основой, ибо, за исключением реплик, решительно все — костюмы, лица, движения актеров — обращено здесь к зрению. Нет ничего скучнее, чем длинный роман, написанный в форме драмы, — продолжал Дик, — и всякий раз, когда ты прерываешь повествование длинными разговорами, приближая его к этому жанру, оно становится холодным и неестественным; ты же утрачиваешь способность привлекать внимание читателя и возбуждать его воображение, что во всех иных случаях, мне кажется, тебе вполне удастся.

Я поклонился в благодарность за комплимент, сказанный, очевидно, с единственной целью — позолотить пилюлю, и тотчас изъявил готовность написать — во всяком случае, попытаться — роман в стиле, более согласном с вышеозначенными правилами, где герои будут действовать больше, а говорить меньше, чем во всех предыдущих моих произведениях. Дик одобрительно кивнул и прибавил покровительственным тоном, что в награду за послушание подарит моей музе сюжет, которым в свое время заинтересовался, имея в виду собственное искусство.

— Если верить преданию, — сказал он, — эта история действительно имела место; однако с тех пор

прошло уже более ста лет, и разумно усомниться в точности всех подробностей.

С этими словами Тинто полистал кипу набросков и извлек оттуда рисунок; это был эскиз, как он пояснил, к будущей картине, размером четырнадцать футов на восемь. Этот эскиз, выражаясь языком художников, весьма искусно выполненный, изображал старинный зал, отделанный и обставленный, как бы мы сказали нынче, во вкусе елизаветинской эпохи. Свет, проникавший в комнату через верхнюю половину высокого окна, падал на молодую девушку необычайной красоты; она словно застыла в безмолвном отчаянии, ожидая исхода спора между двумя другими лицами — молодым человеком в ван-дейковском костюме времен Карла I и женщиной, которая, судя по возрасту и сходству черт, была ее матерью. Молодой человек с видом уязвленной гордости — о ней говорили его откинутая голова и вытянутая вперед рука — не столько просил, сколько требовал чего-то принадлежащего ему по праву у старшей женщины, которая слушала его с явным неудовольствием и нетерпением.

Тинто показал мне этот эскиз с видом тайного торжества: он смотрел на него с таким наслаждением, с каким любящий родитель взирает на многообещающего сына, предвкушая, какое высокое место займет его чадо в свете и как прославит оно имя отца. Сначала он подержал рисунок в вытянутой руке, затем поднес его ближе, поставил на ларец, закрыл нижние ставни, так как верхний свет казался ему более выгодным, отступил на несколько шагов (при этом он заставил меня отойти вместе с ним), заслонил ладонью глаза, словно желая сосредоточиться на любимом предмете и, наконец, испортив детскую тетрадку, скрутил из нее трубку на манер тех, какими пользуются любители живописи. Как видно, степень моего восторга не соответствовала его ожиданиям.

— Мистер Петтисон, — с живостью воскликнул он, — я всегда думал, что у тебя есть глаза!

На это я заявил, что природа не обошла меня, наделив зрением достаточно острым.

— Не нахожу, — сказал Дик. — Клянусь честью, ты, должно быть, родился слепым, если не сумел с первого взгляда понять сюжет и смысл этого эскиза. Я не собираюсь хвалить свою работу, предоставляя это другим. Я вижу свои недостатки; рисунок и колорит, я сознаю это, еще далеки от совершенства, хотя надеюсь, что они станут лучше с годами, которые я намерен провести в занятиях живописью. Но композиция, позы, выражение лиц — разве они не рассказывают целую историю каждому, кто только глянет на этот эскиз. Если мне удастся написать мою картину, не обеднив первоначального замысла, имя Тинто уже не будет скрыто за туманом зависти и клеветы.

— Мне очень нравится твой эскиз, — заметил я, — но, не зная сюжета, я не могу оценить его в полной мере: я должен знать, о чем здесь идет речь.

— Вот это-то и сердит меня, — сказал Дик. — Ты так привык к этим медленно наслаивающимся, серым деталям, что утратил способность мгновенного и яркого восприятия; а только оно, словно молния озаряя разум, помогает нам при виде картины, выразительно и точно запечатлевшей какое-то мгновение из жизни героев, догадаться по их позам и лицам не только об их прошлом и настоящем, но и, приподняв завесу будущего, об уготованной им судьбе.

— В таком случае, — ответил я, — живопись превзошла обезьянку знаменитого Хинеса де Пасамонта: его зверек не пробовал совать свой нос дальше прошлого и настоящего... Более того — живопись превосходит саму Природу, из которой черпает сюжеты, ибо смею тебя уверить, любезный Дик, что, получи я возможность заглянуть в этот елизаветинский зал и узреть воочию представленных тобою людей, я бы ни на йоту не продвинулся в понимании их истории и уразумел бы ее не больше, чем теперь, когда смотрю на твой эскиз. Правда, судя по томному взгляду юной особы и той тщательности, с какой ты выписал стройную ногу молодого человека, я могу предположить, что дело идет о любви.

— И ты воистину решаешься пойти на такое смелое предположение? — усмехнулся Дик. — А страстность, с какою этот пылающий гневом юноша отстаивает свои права, покорное, безмолвное отчаяние молодой женщины, мрачный вид старшей особы, чей взгляд хотя и говорит, что она чувствует себя неправой, вместе с тем выражает непоколебимую решимость не отступать от раз принятого пути...

— Если лицо этой леди выражает все эти чувства, любезный Тинто, — прервал я художника, — то твоя кисть перещеголяла драматический талант мистера Пуфа из «Критика», который кратко передал сложнейшую фразу выразительным покачиванием головы лорда Берли.

— Любезный друг Питер, — ответил мне на это Тинто, — ты, как видно, неисправим; тем не менее я снисходительно отнесусь к твоей тупости и не стану лишать тебя удовольствия понять мою картину, а заодно и приобрести тему для твоего пера. Да будет тебе известно, что прошлым летом, когда я писал этюды в Восточном Лотиане и Берикшире, я не удержался от соблазна посетить Ламмермурские горы, где, по рассказам, сохранились некоторые памятники старины. Особенно большое впечатление произвели на меня развалины древнего замка, где некогда находился этот, как ты называл его, елизаветинский зал. Я остановился на несколько дней в соседнем селении, у женщины, превосходно знавшей историю замка и все происходившие там события. Одно из них показалось мне настолько интересным и необычайным, что мною овладело сразу два желания: написать древние развалины на фоне гор и запечатлеть поразившее меня событие, о котором поведала мне старая крестьянка, на большом историческом полотне. Вот мои записи. — Ис этими словами Дик протянул мне сложенные в пачку листы, на которых среди карикатур и эскизов башен, мельниц, старинных фронтонов и голубятен виднелись строчки, набросанные то карандашом, то пером.

Я принялся, как умел, разбирать рукопись, стараясь добраться до сути, и, почерпнув из нее историю, которую нынче предлагаю моим читателям,

попытался, следуя, хотя и не вполне, совету моего друга Тинто, облечь ее в повествовательную, а не в драматическую форму. Все же моя любовь к диалогу иногда брала верх, и тогда мои герои, как и множество им подобных в нашем болтливом мире, больше говорят, нежели действуют.

Глава II

Все ж, лорды, мы не завершили дела,
И недостаточно, что враг бежал.
Оправиться такой способен недруг.

«Генрик VI», ч. II¹

В узком горном ущелье, что начинается от плодородной равнины Восточного Лотиана, возвышался некогда замок Рэвенсвуд, от которого ныне остались одни лишь развалины. Исконными его владельцами были могущественные и воинственные бароны, носившие то же имя, имя Рэвенсвудов. Они вели свою родословную с древнейших времен и находились в родственных связях с Дугласами, Юмами, Суинтонами, Геями и другими влиятельными и знатными родами Шотландии. История Рэвенсвудов тесно переплеталась с историей самой Шотландии — об их славных подвигах рассказано в ее летописях. Господствуя над горным проходом, соединявшем Лотиан с графством Берик или Мерс, как называют юго-восточную провинцию Шотландии, замок Рэвенсвуд играл важную роль во время иноземных войн или междоусобных распрей; он не раз подвергался яростным атакам и с упорством выдерживал жестокие осады; естественно, что те, кому он принадлежал, занимали видное место в истории Шотландии. Но ничто не вечно в этом мире, и знаменитый род Рэвенсвудов испытал на себе превратности судьбы: во второй половине XVII века он пришел в упадок. Незадолго до революции последний из владельцев Рэвенсвудского замка был вынужден

¹ Перевод Е. Бируковой.

расстаться с древней цитаделью своих предков и поселиться в уединенной башне на пустынном берегу бурного Северного моря, между мысом Сент-Эбс Хед и деревней Эймут. Вокруг его нового жилища простирались заброшенные пастбища, составлявшие ныне все его достояние.

Лорд Рэвенсвуд, наследник этого обнищавшего рода, не желал примириться со своим новым положением. В междоусобной войне 1689 года он примкнул к побежденной стороне; его обвинили в государственной измене и хотя ему оставили жизнь и имущество, но лишили титула, так что лордом называли его теперь только из любезности.

Однако, утратив титул и состояние предков, Аллан Рэвенсвуд унаследовал их гордость и буйный нрав, а так как он считал виновником падения своего рода некоего сэра Уильяма Эштона, купившего замок Рэвенсвуд со всеми принадлежавшими к нему угодьями, которые теперь отошли от прежнего владельца, то и питал к нему лютую ненависть. Сэр Эштон происходил из рода менее древнего, чем лорд Рэвенсвуд, и приобрел богатство, равно как и политическое значение, во время междоусобной войны. Получив юридическое образование, он достиг высоких государственных должностей и слыл за человека, умеющего ловить рыбу в мутных водах государства, раздираемого борьбой партий и управляемого наместниками; действительно, в этой разоренной стране он необычайно искусно нажил огромное состояние и, зная цену богатству, а также различные способы приумножения его, ловко пользовался ими для увеличения своего могущества и влияния.

Одаренный подобными качествами и способностями, этот человек был опасным противником для неистового и безрассудного Рэвенсвуда. Имел ли Рэвенсвуд действительные основания для той ненависти, которую питал к новому хозяину своего родового замка, — это никому доподлинно не было известно. Одни говорили, что эта вражда не имела другой причины, кроме мстительного и злобного характера лорда Рэвенсвуда, который не мог спокойно видеть земли и

замок своих предков в чужих руках, хотя они и попали в них в результате честной и законной продажи; но большая часть соседей, всегда склонных льстить сильным мира сего в глаза и осуждать их за глаза, придерживалась иного мнения. Они говорили, что лорд — хранитель печати (ибо сэр Уильям Эштон достиг уже этой высокой должности) перед тем, как приобрести замок Рэвенсвуд, имел с его бывшим владельцем какие-то денежные дела; и тут же, как бы невзначай и отнюдь ничего не утверждая, спрашивали, которая же из двух тяжущихся сторон обладала бóльшим преимуществом, чтобы решить в свою пользу денежные споры, возникшие в результате этих сложных дел: сэр Эштон, хладнокровный адвокат и искусный политик, или горячий, необузданный, опрометчивый Рэвенсвуд, которого тот вовлек во все эти тяжбы и ловко расставленные силки?

Положение общественных дел в Шотландии давало пищу для таких подозрений. «В те дни не было царя у Израиля». С той поры как Иаков VI покинул Шотландию, чтобы принять более богатую и более могущественную корону Англии, шотландская аристократия разделилась на враждебные партии, сменявшие друг друга у власти в зависимости от того, как им удавались их происки при Сент-Джеймском дворе. Бедствия, происходившие от этой системы правления, походили на несчастья, выпавшие на долю ирландских крестьян, арендующих земли в поместьях, владельцы которых не живут в Ирландии. В стране не было верховной власти, общие интересы которой совпадали бы с интересами народа и к которой те, кого притесняли местные тираны, могли бы обращаться за милостью или правосудием. Каким бы бездеятельным или эгоистичным ни был монарх, как бы ни стремился он к самовластию, все же в свободной стране его собственные интересы так тесно переплетаются с интересами его подданных, а вредные последствия от злоупотреблений столь очевидны для него же самого, что здравый смысл побуждает его заботиться о равном для всех правосудии и упрочении престола на основах справедливости. Поэтому даже государи, прославившие

узурпаторами и тиранами, оказывались ревностными защитниками правосудия во всех случаях, не ущемлявших их собственных интересов и могущества.

Совсем иначе обстоит дело, когда верховная власть оказывается в руках предводителя одной из аристократических партий, состязающегося с вождем враждебной клики в погоне за славой. Он должен употребить свое непродолжительное и весьма шаткое правление на то, чтобы наградить приверженцев, упрочить свое влияние и расправиться с врагами. Даже Абу-Хасан, самый бескорыстный из всех наместников, во время своего однодневного халифатства не забыл послать домой тысячу золотых; шотландские же правители каждый раз, когда благодаря могуществу той или иной партии они захватывали власть, охотно прибегали к тому же средству, дабы вознаградить самих себя.

Особенно позорным пристрастием отличались суды. Едва ли существовало хотя бы одно мало-мальски значительное дело, в котором судьи не проявляли бы самого откровенного лицепрятия. Они так мало способны были устоять перед искушением, что в те времена даже сложилась поговорка, столь же распространенная, сколь и постыдная: «Скажи мне, кто жалуется, и я приведу соответствующий закон». Один вид подкупа вел к другому, еще более непристойному и гнусному. Судья, упогреблявший свои священные обязанности сегодня для того, чтобы помочь приятелю, а завтра — чтобы погубить врага, руководствовавшийся при вынесении приговора родственными отношениями и политическими симпатиями, не мог не возбуждать подозрения в пристрастии, и потому естественно было предполагать, что кошелек богатого не раз перетягивал на свою сторону чашу весов правосудия. Мелкие слуги Фемиды брали взятки без зазрения совести. С целью повлиять на приговор судьям посылали серебряную утварь и мешки с деньгами; по словам одного современника, «пол судебной камеры был выложен взятками», и никто даже не думал это скрывать.

В подобных обстоятельствах имелись все основания считать, что сэр Уильям Эштон, государственный

деятель, весьма опытный в вопросах судопроизводства, да к тому же еще влиятельный член победившей партии, сумел употребить свое положение, чтобы возобладать над менее искусным и удачливым противником. Но если даже предположить, что щепетильная совесть лорда-хранителя не позволила ему воспользоваться этими преимуществами, то можно не сомневаться, что леди Эштон всячески разжигала его честолюбие и стремление приумножить свои богатства, точно так же как некогда властолюбивая супруга поддерживала Макбета в его преступных замыслах.

Леди Эштон принадлежала к семейству более знатному, чем ее повелитель, — обстоятельство, которое она не преминула использовать как могла лучше, стремясь поддержать и увеличить влияние мужа на других и, как уверяли, хотя, возможно, и несправедливо, собственное влияние на него. В молодости она была красавицей, и ее осанка все еще поражала горделивым достоинством и величием. Природа одарила ее большими способностями и сильными страстями, а опыт научил пользоваться первыми и скрывать, если не сдерживать, последние. Она строго и непреклонно соблюдала все требования набожности, по крайней мере внешне, и радушно, даже с чрезмерной пышностью, принимала гостей; ее манеры, согласно обычаям того времени, были изысканны и величественны, как того требовали правила этикета; ее репутация была безупречна. Тем не менее, несмотря на все эти достоинства, способные внушить уважение, редко кто отзывался о леди Эштон с любовью или симпатией. Все ее поступки слишком явно диктовались соображениями выгоды — интересами ее семьи или личными ее интересами, — а показной добротой трудно обмануть проницательное, к тому же враждебно настроенное общество. А так как за всеми любезностями и комплиментами леди Эштон, словно ястреб, который, высоко кружась в воздухе, не теряет из виду намеченной жертвы, никогда не забывала о поставленной цели, то люди, равные ей по положению, относились к ее ласкам настороженно

и подозрительно, а те, кто был ниже ее, кроме того испытывали перед нею еще и страх; это было ей на руку в том отношении, что заставляло всех незамедлительно исполнять ее желания и беспрекословно повиноваться ее приказаниям; но в то же время вредило ей, ибо подобные чувства не уживаются с любовью или уважением.

Поговаривали даже, что муж леди Эштон, столь многим обязанный талантам и ловкости своей супруги, смотрел на нее скорее с почтительным благоговением, нежели с нежной привязанностью; по мнению многих, у него не раз являлась мысль, что домашнее рабство, которым он заплатил за успех в свете, несоизмеренно дорогая цена. Впрочем, все это были лишь пустые подозрения, с уверенностью же никто ничего не мог бы сказать, ибо леди Эштон дорожила честью мужа не менее, чем своей собственной, и, отлично понимая, как много он потеряет в глазах общества, если будет казаться, что он находится в подчинении у жены, при каждом удобном случае приводила его мнения как непогрешимые, постоянно ссылалась на его вкус и слушала его речи с тем уважением, с каким почтительная жена обязана внимать мужу, обладающему столь несравненными достоинствами и занимающему столь высокое положение в свете. Но во всем этом было что-то показное и фальшивое; и от тех, кто внимательно и, быть может, не без злорадства наблюдал за этой четой, не могло укрыться, что леди Эштон, отличаясь более твердым характером, более высоким происхождением и более неутолимой жаждой славы, относилась к мужу с некоторым презрением, тогда как он питал к ней скорее зависть и страх, нежели любовь и уважение.

Впрочем, в главном цели и желания сэра Уильяма Эштона и его супруги обычно совпадали, а потому они всегда действовали согласованно; внешне они всегда оказывали друг другу глубокое почтение, прекрасно зная, что без этого нельзя рассчитывать на уважение других.

Небо благословило их союз несколькими детьми, из которых в живых осталось только трое. Старший

сын в то время путешествовал по континенту; дочь, которой недавно минуло семнадцать лет, и младший сын, тремя годами моложе сестры, жили с родителями в Эдинбурге во время сессии шотландского парламента и Тайного совета, остальные же месяцы семья проводила в готическом замке Рэвенсвуд, который сэр Уильям значительно расширил и изменил в стиле XVII столетия.

Аллан лорд Рэвенсвуд, прежний владелец этого древнего замка и прилежащих к нему обширных угодий, в течение нескольких лет тщетно пытался продолжить борьбу со своим преемником, цепляясь за различные спорные вопросы, возникшие в результате прежних запутанных тяжб; но все они один за другим были решены в пользу богатого и влиятельного лорда — хранителя печати. Смерть прекратила наконец их нескончаемые распри, призвав лорда Рэвенсвуда на высший суд. Нить его тревожной жизни внезапно прервалась во время припадка страшного, но бессильного гнева, вызванного известием о том, что еще один процесс, затеянный скорее ради отвлеченной справедливости, нежели ради дела, — последний процесс против могущественного врага — был им проигран. Молодой Рэвенсвуд присутствовал при последних минутах отца и слышал проклятия, которыми умирающий осыпал своего противника, как бы завещая сыну отплатить злом за зло. К несчастью, последующие события еще усилили в юноше жажду мести — чувство, которое в течение долгого времени оставалось одним из худших пороков шотландцев.

В раннее ноябрьское утро, когда скалы, нависшие над морем, были окутаны густым туманом, ворота в древней, полуразвалившейся башне, где лорд Рэвенсвуд провел последние тяжкие годы своей жизни, отворились и пропустили его бранные останки, направлявшиеся к жилищу еще более мрачному и уединенному. Пышность, которую в продолжение многих лет уже не знал покойный, вновь окружила его перед тем, как он был предан забвению.

Многочисленные флаги с гербами и девизами старинного рода Рэвенсвудов и близких ему родов раз-

вевались над погребальным шествием, выходявшим из-под низких сводов башенных ворот. Знатнейшие дворяне страны, облаченные в глубокий траур, ехали длинной кавалькадой, сдерживая поступь резвых коней. Трубы, украшенные черным крепом, издавали протяжные печальные звуки, и под эту грустную музыку провожавшие медленно двигались вперед. Многочисленная толпа менее знатных соседей и слуг замыкала шествие, и в то время как голова процессии достигла часовни, где предстояло покоем телу Аллана Рэвенсвуда, последние ряды ее еще не вышли из ворот.

Вопреки обычаям и даже законам того времени, процессию ожидал священник шотландской епископальной церкви в полном облачении, чтобы совершить отпевание по своим обрядам. Таково было желание покойного, высказанное им в последний год его жизни, и партия тори, или кавалеров, как им нравилось называть себя, к которой принадлежала большая часть родственников и друзей лорда Рэвенсвуда, сочла своим долгом непременно исполнить его волю. Однако пресвитерианское духовенство, полагавшее, что исполнение этого желания явится дерзким вызовом могуществу их церкви, обратилось к лорду-хранителю с просьбой запретить предстоящую церемонию. Поэтому не успел священник открыть молитвенник, как судебный пристав, в сопровождении нескольких вооруженных людей, приказал ему замолчать.

Это дерзкое оскорбление возбудило негодование всех присутствовавших и встретило немедленный отпор со стороны сына покойного, Эдгара, молодого человека лет двадцати, которого называли мастером Рэвенсвудом. Эдгар схватился за шпагу и, угрожая приставу немедленной расправой, велел пастору продолжать. Пристав хотел было настоять на исполнении приказа, но несколько десятков мечей сверкнуло в воздухе, и ему ничего не оставалось, как, высказав свое возмущение примененным к нему, представителю закона, насилием, отойти в сторону и молча наблюдать за происходящей церемонией; однако мрач-

ное лицо его ясно говорило: «Вы еще будете проклинать тот день, в который так обошлись со мной».

Эта сцена была достойна кисти художника. Под сводами чертога смерти перепуганный священник, дрожа за свою жизнь, торопливо и невнятно бормотал слова заупокойной молитвы над бездыханными останками разбитой гордости и поблекшего богатства, над перстью земной, обратившейся в земную персть. Кругом стояли родственники покойного; их лица были омрачены скорее гневом, нежели горем, и обнаженные их мечи странно противоречили их траурной одежде. Только в лице Эдгара негодование, казалось, уступало место глубокой скорби, — он смотрел на мертвые черты своего лучшего и, пожалуй, единственного друга, прах которого ожидала могила предков. По окончании погребального обряда он, как сын и наследник, должен был перенести останки в склеп. При виде гниющих гробов, покрытых лохмотьями бархата и почерневшей позолотой, среди которых отныне предстояло тлеть телу его отца, юноша побледнел как смерть. Один из родственников подошел к нему, предлагая свою помощь, но Эдгар знаком отказался от нее. Твердой рукой и без единой слезы он выполнил последний сыновний долг. На могилу водрузили камень, дверь усыпальницы заперли, и молодому человеку вручили массивный ключ.

Выйдя из часовни, Эдгар остановился на ступенях и, обращаясь к друзьям и родственникам, сказал:

— Джентльмены и друзья, вы отдали сегодня последний долг покойному не совсем обычным образом. Если бы вы мужественно не встали на его защиту, вашему родственнику, принадлежавшему не к последним родам Шотландии, было бы отказано в обрядах, которыми в любой другой стране пользуются самые бедные крестьяне. Другие хоронят своих усопших в слезах и скорби, в почтительном молчании; но наши молитвы были прерваны приставами и насильниками; и наша скорбь — скорбь о почившем друге — уступает место чувству справедливого негодования. Но мне известен лук, из которого пущена эта стрела. Только

тот, чья рука вырыла эту могилу, только он с подлой жестокостью мог нарушить обряд погребения. Будь я проклят, если не отомщу этому человеку и его семейству за наше разорение и за бесчестье, нанесенное нашему роду!

Большинство присутствовавших одобрило эту речь как красноречивое выражение справедливого гнева; но более осторожные и благоразумные пожалели, что молодой Рэвенсвуд высказался так резко. Положение Эдгара было слишком тяжким, чтобы возобновлять давнюю вражду, а столь открытое выражение негодования, казалось, неминуемо распалит ее вновь. События, однако ж, не оправдали этих опасений, по крайней мере в ближайшее время.

С похорон гости возвратились в башню, где, по обычаю, лишь недавно упраздненному в Шотландии, принялись пить и поминать покойного, оглашая дом скорби громкими криками и смехом. Они пировали, уничтожая обильное и богатое угощение, на которое были истрачены скудные доходы наследника того, чье погребение отмечалось столь странным образом. Но таков был обычай, и его надлежало свято блюсти. В залах, где угощалась знать, вино лилось рекой, в кухне и буфетной бражничали фермеры, простой народ гулял во дворе, и двух годового оброка с небольшого поместья Рэвенсвуда едва хватило, чтобы покрыть расходы на погребальное пиршество. Вскоре все опьянели, кроме мастера Рэвенсвуда (как продолжали называть юношу, хотя отец его лишился принадлежавшего ему титула), и, пуская по кругу кубок, к которому сам он почти не прикасался, Эдгар выслушал тысячи проклятий лорду — хранителю печати и тысячи уверений в преданности себе и своему знатному роду. Мрачный и задумчивый, слушал он все эти излияния, справедливо считая их столь же преходящими, как пена в бокале вина или винные пары, туманившие головы пировавших вокруг него гостей.

Осушив последнюю флягу, гости распростились с новым владельцем башни, расточая пламенные уверения в дружбе — уверения, которые на следующий

же день спешат забыть, если, более того, не считают нужным отречься от них для пущей безопасности.

Рэвенсвуд проводил гостей, с трудом сдерживая презрительную улыбку. Дождавшись наконец минуты, когда его старый дом избавился от множества шумных посетителей, он возвратился в зал, показавшийся ему особенно мрачным и безмолвным после недавнего шума и крика. Впрочем, зал этот вскоре наполнился видениями, вызванными его собственным воображением, — тут были попранная честь и развеянное достояние его рода, крушение его собственных надежд и торжество того, кто разорил его семью. Меланхолическому уму молодого Рэвенсвуда открылась обширная область для глубоких и печальных размышлений.

Местные жители, показывая ныне развалины башни на вершине утеса, омываемого морскими волнами и населенного лишь чайками да бакланами, уверяют, что именно в эту роковую ночь молодой Рэвенсвуд своими отчаянными сетованиями вызвал нечистого духа, пагубное влияние которого впоследствии сказалось на всей его жизни. Увы! Ни один адский дух не способен побудить нас к таким гибельным поступкам, как наши собственные неистовые, необузданные страсти.

Глава III

«Помилуй бог, — сказал король, —
Чтоб ты стрелял в меня».

*«Уильям Белл,
Клойм из Ключ и др.»*

На следующее утро после похорон судебный пристав, власть которого оказалась недостаточной, чтобы запретить совершение погребальных обрядов над останками лорда Рэвенсвуда, поспешил доложить лорду-хранителю о сопротивлении, оказанном ему при исполнении служебных обязанностей.

Сэр Эштон принял его в библиотеке — просторной комнате, во времена Рэвенсвудов служившей банкет-

ным залом; гербы этого древнего рода все еще украшали цветные стекла окон и резной потолок из испанского каштана. Пройкавшие в комнату лучи освещали длинные ряды полок, гнувшихся под тяжестью огромных томов — монастырских хроник и сочинений ученых судей, составлявших в те времена основную и важнейшую часть библиотеки шотландского историка. На большом дубовом столе и на пюпитре разбросаны были письма, прошения, документы — главная отрада, равно как и мучение жизни сэра Уильяма Эштона. У него была внушительная, даже благородная осанка, вполне под стать человеку, занимавшему столь высокую должность в государстве; и лишь после долгого, обстоятельного разговора, касающегося срочного и неотложного дела, проситель мало-помалу начинал замечать, что лорд-хранитель избегает высказывать свое мнение решительно и определенно. Это происходило от присущей ему чрезмерной осторожности и нерешительности — черты характера, которые он тщательно скрывал, отчасти из гордости, отчасти по расчету.

Лорд-хранитель, казалось, очень спокойно выслушал сильно приукрашенный рассказ о беспорядках, происшедших на похоронах лорда Рэвенсвуда, и о том, с каким неуважением отнеслись к его приказаниям, отданным от имени церкви и государства; он, по-видимому, остался совершенно равнодушен, когда пристав довольно точно пересказал все гневные и бранные слова, произнесенные в его адрес молодым Рэвенсвудом и его приятелями; наконец, он с тем же невозмутимым спокойствием выслушал собранные приставом сведения — весьма искаженные и преувеличенные — о тостах, предложенных на погребальном пиршестве, и прозвучавших там угрозах. Однако он тщательно записал все подробности и имена тех, кого в случае надобности можно будет привлечь к делу в качестве свидетелей, и отпустил доносчика, убежденный в том, что теперь остатки достоинства и даже личная свобода молодого Рэвенсвуда в его руках.

После того как пристав ушел, лорд-хранитель несколько минут сидел неподвижно, погрузившись в

глубокое раздумье. Затем, поднявшись со стула, он принялся шагать по комнате с видом человека, обдумывающего важное решение.

— Ну, теперь уж молодой Рэвенсвуд попался! — рассуждал он сам с собой. — Да, попался! Он сам отдался мне в руки. Теперь ему остается или смириться, или погибнуть. Я не забыл, с каким неотступным и злобным упорством его отец боролся со мной во всех инстанциях шотландских судов, как он отказывался от всех миролюбивых предложений, навязывая мне новые тяжбы, и как пытался опорочить мое доброе имя, когда увидел, что права мои неоспоримы. Этот мальчишка, его сын, этот Эдгар, этот вспыльчивый, безмозглый идиот, посадил свой корабль на мель, еще не выйдя в море. Что ж, остается позаботиться только о том, чтобы новая волна не помогла ему выплыть. Если полученное мною донесение представить Тайному совету в надлежащем виде, речи молодого Рэвенсвуда будут поняты там не иначе, как призыв к бунту против гражданских и духовных властей. Дело кончится большим штрафом, а то и приказом о заключении в Эдинбургскую или Блэкнесскую крепость; пожалуй, кой-какие слова и выражения этого молодчика пахнут государственной изменой. Но я не хочу заходить так далеко!.. Нет, этого я не сделаю. Я не стал бы лишать его жизни, будь это даже в моей власти. А впрочем, если этот Рэвенсвуд доживет до новых перемен, чего только нельзя от него ожидать: он постарается вернуть себе права и имение, возможно будет даже мстить мне. Насколько мне известно, Этол обещал поддержку старику Рэвенсвуду, и вот его сынок уже произносит крамольные речи и сколачивает вокруг себя сторонников. Каким удобным орудием он может оказаться в руках наших врагов, которые только и ждут нашего падения!

Поразмыслив над всеми этими обстоятельствами и убедив себя в том, что не только его собственные интересы и безопасность, но также интересы и безопасность его партии и приверженцев требуют от него дать ход попавшим к нему в руки уликам против Рэвенсвуда, хитрый политик сел за стол и принялся

строчить докладную записку Тайному совету, подробно описывая беспорядки, имевшие место на похоронах лорда Рэвенсвуда. Лорд-хранитель превосходно знал, что даже имена участников этого происшествия, не говоря уже о самом факте, вызовут негодование его коллег, и они, по всей вероятности, пожелают примерно наказать молодого Рэвенсвуда, хотя бы *in tergo*.¹

При всем том лорду-хранителю предстояло дело весьма щекотливое — ему нужно было составить свой доклад в таких выражениях, которые, не оставляя сомнения в виновности молодого человека, не звучали бы слишком определенно — в устах сэра Эштона, законного врага отца Рэвенсвуда, это могло бы показаться проявлением личной злобы и ненависти. И вот как раз когда сэр Уильям трудился, подыскивая слова, достаточно веские, чтобы представить Рэвенсвуда зачинщиком происшедших волнений, и достаточно уклончивые, чтобы не выдвигать против него прямого обвинения, он на мгновение оторвался от бумаг и взгляд его упал на родовой герб семейства, против наследника которого он точил свои стрелы и расставлял тенета закона. Этот герб, вырезанный на одной из капителей, расположенных под сводом, представлял голову черного быка с девизом: «Я выжидаю свой час!», и мысли лорда-хранителя невольно обратились к событию, побудившему Рэвенсвудов принять этот странный девиз.

Существовало предание, что в тринадцатом веке могущественный враг лишил Мэлизиуса де Рэвенсвуда его владений и в течение некоторого времени безнаказанно наслаждался плодами одержанной победы. Однажды, когда в доме готовился праздник, не перестававший подстерегать удобный случай Мэлизиус проник в замок вместе с несколькими преданными друзьями. Гости с нетерпением ожидали начала пира, но, когда хозяин кичливо приказал внести блюда, Рэвенсвуд, переодетый лакеем, ответил грозным голосом: «Я выжидаю свой час!» — и в тот же

¹ Для устрашения (лат.).

миг на столе появилась бычья голова — древний символ смерти. По этому сигналу заговорщики набросились на узурпатора и его приверженцев и перебили всех до единого.

Вероятно, воспоминание об этой истории, охотно и часто передаваемой из уст в уста, неприятно поразило чувства и задело совесть лорда-хранителя, ибо, отстранив от себя бумагу с начатым докладом, он встал, собрал исписанные листы, тщательно уложил их в ящик бюро и, заперев его, вышел из комнаты, очевидно желая собраться с мыслями и взвесить все возможные последствия предпринимаемого им шага, прежде чем они станут неизбежными.

Проходя через большой готический зал, сэр Уильям Эштон услышал звуки лютни, на которой играла его дочь. Музыка, особенно когда не видно исполнителя, вызывает у нас удовольствие, смешанное с удивлением, и напоминает пение птиц, скрытых от взора пышной листвой. Хотя наш государственный муж не привык предаваться столь простым и естественным чувствам, он все же был человек и к тому же отец. Он остановился и стал слушать серебряный голосок Люси, исполнявшей под аккомпанемент лютни неизвестный ему романс, написанный на старинный народный мотив:

Не обращай к красоте взоров,
Держись вдали от бранных споров,
Не пей из чаши круговой,
Молчи пред внемлющей толпой,
Не слушай сладостного пенья,
Не ведай к золоту влеченья
И сердце наглухо запири —
Легко живи, легко умри.

Лорд-хранитель дослушал песню и вошел в комнату дочери.

Слова романса, казалось, как нельзя лучше подходили к Люси Эштон. Она была необычайно хороша собой, и ее по-детски милые черты выражали глубокое душевное спокойствие, безмятежность и полное

равнодушие к суете светских удовольствий. Разделенные прямым пробормом темно-золотистые волосы обрамляли чистый белый лоб, словно солнечные лучи, озаряющие снежную вершину; прелестное лицо отличалось удивительной нежностью, кротостью и чарующей женственностью; казалось, она скорее готова пугливо прятаться от посторонних взглядов, чем искать восторженного поклонения. Люси чем-то напоминала мадонну; возможно, это сходство объяснялось тем, что она была хрупкого сложения и окружена людьми, превосходившими ее твердостью характера, энергией и силой воли.

Недостаток живости, присущий Люси, происходил отнюдь не от безразличия или тем паче от бесчувственности. Она была предоставлена самой себе, а вкусы и склонности влекли ее ко всему романическому. Она любила старинные легенды, повествующие о пылкой преданности и вечной любви, о необычайных приключениях и сверхъестественных ужасах. Она жила в этом сказочном мире, воздвигая воздушные замки и храня в глубокой тайне ключ от милого сердцу царства грез. Уединившись в своей комнате или в беседке — излюбленное место Люси, которое даже стали называть ее именем, — она предавалась мечтам: то она воображала себя королевой турнира, раздающей награды победителям, то дарила рыцарей воодушевляющим взглядом, то под защитой доброго льва блуждала вместе с Уной по нехоженным тропам, то, представив себя на месте благородной Миранды, скиталась по острову чудесных превращений и колдовских чар.

Но в обыденной жизни Люси легко поддавалась влиянию окружающих. Чаще всего ей было совершенно безразлично, как поступить, и она, не противясь, охотно склонялась к решениям, подсказанным ей родней, возможно потому, что не имела собственных. Вероятно, каждому из наших читателей приходилось встречать в знакомых семьях подобное слабое, податливое существо, которое, находясь среди людей более твердых и энергичных, послушно следует чужой воле, словно уносимый бурным течением цветов.

Обычно такие кроткие, смиренные создания, безропотно ступающие по указанной им стезе, становятся любимцами тех, кому приносят в жертву собственные наклонности.

Так было и с Люси Эштон. Ее отец, осторожный политик и светский человек, питал к ней такую глубокую привязанность, что иногда даже сам удивлялся силе этого чувства. Старший брат Люси, отличавшийся еще большим честолюбием, чем отец, любил сестру всей душой. Забияка и кутила, капитан Шолто предпочитал общество сестры всем удовольствиям и воинским почестям. Младший брат, находившийся в том возрасте, когда ум занят еще пустяками, поверял сестре все свои детские радости и опасения, рассказывал ей об охотничьих успехах, о неприятностях и спорах с наставниками и учителями. Люси терпеливо и даже сочувственно выслушивала его болтовню, как бы она ни была незначительна. Добрая сестра, она знала, что все эти мелочи волнуют и занимают мальчика, и этого было для нее достаточно, чтобы дарить его своим вниманием.

Из всей семьи только мать не разделяла общей любви к Люси. По мнению леди Эштон, недостаток твердости характера у дочери доказывал преобладание в ее жилах плебейской крови отца, и в насмешку она называла ее ламмермурской пастушкой. Хотя невозможно было относиться недоброжелательно к столь нежному и кроткому созданию, леди Эштон предпочитала Люси старшего сына, унаследовавшего всю надменность и честолюбие матери; чрезмерная мягкость дочери казалась ей признаком недостатка ума. Пристрастие леди Эштон к старшему сыну имело еще и другую причину: вопреки обычаю знатных шотландских семейств, старшего сына нарекли именем деда по матери.

— Мой Шолто, — говорила она, — сохранит незапятнанной честь материнского рода, возвысит и прославит имя отца. Бедная Люси не рождена для двора или большого света. Надо выдать ее замуж за какого-нибудь лэрда, достаточно богатого, чтобы она могла жить с ним в довольстве, ни в чем не нуждаясь

и ни о чем не тревожась, разве что о том, как бы муж не сломал себе шею, охотясь за лисицами. Но не деревенскими забавами возвысился наш дом и не ими можно укрепить и приумножить его славу. Сэр Эштон только недавно вступил в должность лорда — хранителя печати: мы должны занимать наше высокое положение так, словно привыкли к его величию; нам надлежит доказать, что мы достойны оказанной нам чести и способны поддержать и оправдать ее. Перед теми, кто веками стоит у кормила власти, люди склоняются из привычного и наследственного почтения; но нам они не станут кланяться, если мы сами не повергнем их ниц. Молодая девушка, которая годится разве что для пастушеской идиллии или монастыря, едва ли сумеет добиться почтения там, где надо его приобрести силой; и раз уж судьба не послала нам трех сыновей, она могла бы по крайней мере наделить Люси сильным характером и сделать ее достойной занять место сына. Право, я буду очень счастлива, когда мне удастся выдать ее замуж за такого человека, у которого энергии хватит на них двоих, или за такого же мямлю, как она сама.

Так рассуждала мать, для которой нравственные качества детей и будущее их счастье ничего не значили в сравнении с почестями и преходящей славой. Но ее суждения о дочери, как это нередко случается с родителями, в особенности если они не в меру надменны и нетерпеливы, были совершенно ошибочны. Под видимостью крайнего равнодушия в характере Люси таилось семя пламенных страстей, которое, подобно тыкке пророка, способно взрасти за одну ночь, поражая окружающих неистовой силой. Если Люси казалась безразличной, то лишь потому, что пока еще ничто не пробудило чувств, дремавших в ее груди. Ее жизнь до этих пор текла спокойно и однообразно и, возможно, прошла бы счастливо, если бы это спокойное течение не напоминало собой поток, несущий свои воды к водопаду.

— Что же, Люси, — обратился к ней отец, входя в комнату, когда девушка кончила петь, — сочинитель этого романса учит тебя презирать свет, прежде

чем ты узнала его. Не слишком ли это поспешно? Впрочем, ты, быть может, говоришь так по примеру многих девушек, которые стараются выказывать равнодушие к удовольствиям жизни, пока какой-нибудь прекрасный рыцарь не убедит их в противном?

Люси вспыхнула и стала уверять, что пела романс, ничего не имея в виду; по желанию отца она немедленно положила лютню и встала, чтобы пойти с ним гулять.

Большой тенистый парк (мало чем отличавшийся от настоящего леса) расстился по склонам горы, подымавшейся позади замка, который, как мы уже говорили, стоял в горном проходе, начинавшемся от равнины, и, казалось, за тем и был воздвигнут в этом ущелье, чтобы охранять густые дубравы, видневшиеся вдаль во всем великолепии своего пышного убора. К этим романтическим местам по широкой аллее, осененной раскидистыми вязами, сплетавшими ветви над их головами, теперь рука об руку направились отец и дочь. Сквозь деревья тут и там виднелись группы пасущихся ланей. Гуляя по парку и любясь природой — сэр Уильям Эштон, несмотря на характер своих обычных занятий, умел ценить и понимать прекрасное, — они повстречали лесничего, иначе называвшегося хранителем парка. С арбалетом на плече, он направлялся в чащу леса на охоту; мальчик вел за ним собаку на сворке.

— А! Норман, — сказал сэр Уильям в ответ на приветствие лесничего, — собираетесь попотчевать нас олениной?

— Точно так, ваша милость. Не угодно ли присутствовать при травле?

— Нет, нет, — ответил сэр Уильям, взглянув на дочь, побледневшую при одной мысли об истекающем кровью олене, хотя, если бы отец выразил желание сопровождать Нормана, она безропотно последовала бы за ним.

— Как жаль, — сказал лесничий, пожимая плечами, — что никто из господ не хочет даже взглянуть на охоту. Одна надежда, что капитан Шолто скоро возвратится, иначе хоть бросай все это дело. Конечно,

мистер Генри рад бы оставаться в лесу с утра до ночи, но его столько заставляют просиживать за этой дурацкой латынью, что он теперь совсем пропащий человек, и не выйдет из него настоящего мужчины. Не так, говорят, было во времена покойного лорда Рэвенсвуда: тогда на травлю оленя сбегались и стар и мал, а когда нужно было прикончить зверя, охотничий нож подавали самому лорду, и уж меньше золотого он никогда не давал в награду. А Эдгар Рэвенсвуд — мастер Рэвенсвуд — так о нем прямо можно сказать, что со времени Тристрама не было лучше охотника. Уж если он бьет, так без промаха. А у нас здесь совсем забросили охоту.

Болтовня лесничего пришлась лорду-хранителю не по вкусу. Он не мог не заметить, что его слуга почти открыто презирал его за равнодушие к охоте, любовь к которой в ту эпоху считалась врожденным и неотъемлемым свойством настоящего джентльмена. Но главный лесничий считается весьма важным человеком в замке и имеет право говорить, не стесняясь в выражениях, а потому сэр Уильям только улыбнулся в ответ, сказав, что сегодня ему предстоит дело поважнее охоты, и тут же, в виде поощрения, вынул кошелек и дал лесничему золотой. Норман принял деньги с таким видом, с каким прислуга в модной гостинице получает двойные чаевые от какого-нибудь деревенского простака, — он усмехнулся, и в его улыбке выразилось не столько удовольствие, сколько презрение к невежеству щедрого господина.

— Ваша милость не знает дела, — сказал он, — разве можно платить до того, как зверь убит? А ну как, получив награду, я промахнусь и не убью оленя?

— Пожалуй, вы едва ли поймете меня, — улыбнулся лорд-хранитель, — если я скажу вам о *conditio indebiti*.¹

— Нет, клянусь честью! Это, наверно, какое-нибудь судебское изречение. Только я скажу: с бедняком судиться... Вашей милости, конечно, известна эта пословица. Впрочем, я поступлю по справедливости,

¹ Условия взыскания непричитающегося (лат.).

и если кремь не даст осечки, а порох не подведет, у вас будет славное жаркое! На груди́не жиру не меньше чем в два пальца толщиной.

Норман хотел было удалиться, но сэ́р Уильям окликнул его и как бы невзначай спросил, действительно ли молодой Рэвенсвуд так храбр и такой хороший стрелок, как о нем говорят.

— Храбр ли он? — повторил Норман. — Уж за это я ручаюсь. Я был однажды на охоте со старым лордом в Тайнингеймском лесу. Туда съехалось тогда много госпoд. Мы травили оленя и, клянусь честью, сами оторопели, когда его увидели. Огромный мате́рый самец с новыми рогами в десять ветвей, а лбище — широкий, словно у быка. Он кинулся на старого лорда, и, пожалуй, пришлось бы королю назначать нового пэ́ра, если бы Эдгар, — а ему тогда было всего шестнадцать лет, благослови его бог, — не бросился на зверя и не распорол ему брюхо охотничьим ножом.

— А что, он и стрелок такой же ловкий?

— Видите эту монету, которую я держу двумя пальцами? Так вот, он попадет в нее с восьмидесяти шагов, и я не побоюсь поддержать ее для него. Чего же лучше? Глаз, рука, свинец и порох неспособны на большее.

— Конечно, этого совершенно достаточно. Но мы отвлекаем вас от дела, любезнейший Норман. Доброго пути, Норман, доброго пути!

Лесничий пошел своей дорогой, напевая вполголоса народную песенку, звуки которой мало-помалу замерли вдаль:

К заутре́не должен подняться монах,
Аббат же спит до утра,
Но йомен — чуть рог прозвучит, на ногах.
Пора, друзья, пора.

Немало косуль в Шервудском лесу,
В Билопе стада олени,
Но белая лань в рассветную рань
Бродит от них в отдаленьи.

— М-да, — сказал лорд-хранитель, когда ветер перестал доносить до них звуки песенки. — Вероятно, этот Норман служил раньше Рэвенсвудам, что он их так расхваливает? Ты, должно быть, что-нибудь знаешь о нем, Люси? Ведь ты считаешь своим делом интересоваться каждым, кто живет в замке и его окрестностях.

— О нет, отец, я совсем не такой уж хороший летописец, как вы полагаете. Но если я не ошибаюсь, Норман мальчишкой служил в замке Рэвенсвуд, а потом уехал в Ледингтон, где вы его наняли. Если же вам нужны какие-либо сведения о Рэвенсвудах, то никто не знает о них больше, чем старая Элис.

— Помилуй, дитя мое! Что мне до них? Какое мне дело до их истории и доблестей?

— Право, не знаю, отец, но вы только что спрашивали Нормана о мслодом Рэвенсвуде.

— Пустое, дитя мое, пустое, — произнес лорд-хранитель, однако через минуту добавил: — А кто такая эта Элис? Ты, кажется, знаешь всех здешних старух?

— Конечно, отец, иначе как бы я могла помогать им в нужде. Что же касается Элис, то это — самая замечательная из всех местных женщин: нет такого предания, которого бы она не знала. Она слепа, бедняжка, но когда говоришь с ней, кажется, что она читает в тайниках сердца. Иногда мне хочется закрыть лицо рукой или отвернуться, потому что мне чудится: она видит, как я краснею, хотя вот уже двадцать лет, как она слепа. О, к ней стоит пойти, отец, хотя бы для того, чтобы увидеть, что слепая, парализованная женщина способна обладать такой остротой чувств и таким достоинством. Право, она говорит и держит себя как графиня. Пойдемте к Элис, отец. Отсюда всего лишь четверть мили до ее домика.

— Но ты не ответила на мой вопрос, Люси: кто эта женщина и какое отношение она имеет к прежним владельцам замка Рэвенсвуд?

— Кажется, она была у них кормилицей. Она живет здесь потому, что двое ее внуков у вас в услужении. Но мне думается, что это ей не очень нра-

вится: бедная старуха всегда оплакивает былое время и своих старых господ.

— Весьма ей признателен: она и ее дети едят мой хлеб и пьют мой эль, а она сожалеет о семействе, которое ни себе, ни другим не принесло никакой пользы.

— Вы несправедливы к Элис, отец: она совсем не корыстолюбива и скорее умерла бы с голоду, чем приняла бы от кого-нибудь пенни. Она просто словоохотлива, как все старики, особенно когда заговоришь с ними об их молодости. И она любит говорить о Рэвенсвудах, потому что долго жила у них. Но я уверена, что она очень благодарна вам за все ваши милости и будет говорить с вами охотнее, чем с кем бы то ни было другим. Пойдемте же к ней, отец, пожалуйста, пойдемте.

И с той вольностью, какую может позволить себе только дочь, знающая, что она нежно любима, Люси повлекла отца по тропинке, ведущей к жилищу старой Элис.

Глава IV

Над чашей вдруг ее заметил взор
Дымок, который тонкою струею
Легко стремился в голубой простор
И ей приятный знак являл собою,
Что где-то близко существо живое.

Спенсер

Люси служила проводником отцу, который за множеством политических и государственных дел почти не знал своих собственных обширных владений. К тому же он обычно безвыездно жил в Эдинбурге, а Люси вместе с матерью проводила лето в Рэвенсвуде; и отчасти потому, что любила природу, а может быть, потому, что не знала других занятий, с утра до вечера гуляла в окрестностях замка, так что не было такой дороги, тропинки, холма или куста, которых бы она не знала.

Как уже говорилось, лорд-хранитель не был равнодушен к красотах природы, и справедливости ради

следует добавить, что он наслаждался ими вдвойне, идя по лесу в обществе своей прелестной, непосредственной и такой привлекательной дочери, нежно опиравшейся на его руку. Люси приглашала его то взглянуть на гигантский вековой дуб, то полюбоваться неожиданным поворотом причудливо извивавшейся среди холмов и долин тропинки, которая, начавшись в ущелье, неожиданно привела их на высокое место, откуда открывался вид на лежащие внизу равнины, а потом, снова скользнув вниз, теряясь среди скал и лесной чащи, увлекла в места, еще более уединенные.

Остановившись на одной из возвышенностей, Люси сказала отцу, что они находятся в двух шагах от домика слепой старухи; и действительно, обогнув невысокий холм по узенькой тропинке, протоптанной бедной Элис, они увидели уютившуюся в темном, мрачном ущелье лачугу, почти так же лишенную света, как и глаза ее обитательницы.

Эта лачуга была построена у подножия крутого утеса, который, казалось, угрожал раздавить лепившееся под ним убогое жилище. Стены хижины были сложены из торфа и камня, а крыша, кое-как прикрытая дерном, совсем прохудилась. Легкий голубоватый дымок, поднимающийся из трубы вдоль белого утеса, придавал всей картине какую-то особую мягкость. В маленьком запущенном саду, обсаженном неподстриженными кустами бузины — подобие живой изгороди, — подле ульев, доставлявших ей средства к жизни, сидела та «старуха вещая», к которой Люси и вела своего отца. Какие бы несчастья ни выпали на долю бедной Элис, каким бы жалким ни казалось сейчас ее жилище, достаточно было одного взгляда, чтобы понять, что ни годы, ни нищета, ни испытания, ни болезни не смогли сломить мужественный дух этой замечательной женщины.

Элис сидела на дерновой скамье под плакучей ивой, необычайно раскидистой и очень старой; вид у нее был торжественный и в то же время грустный, — таким обычно изображают Иуду под пальмами. Она была высокого роста, и годы только слегка согнули ее величавый стан. Ее простое крестьянское

платье отличалось удивительной опрятностью, что не часто встречается среди людей ее сословия; оно было сшито аккуратно и даже со вкусом, что также казалось необычным. Но более всего поражало выражение лица этой женщины: в нем таилось что-то такое, что заставляло посетителей жалкой лачуги обращаться с ее хозяйкой не иначе как с почтением и учтивостью, и она спокойно принимала это как должное. Некогда она была красавицей, но красота ее происходила от бесстрашного, мужественного характера, а такая красота не переживает молодости; тем не менее в ее чертах запечатлелись сильные чувства, глубокий ум и гордый нрав, — все это, так же как и ее одежда, говорило о сознании превосходства над окружающими ее людьми. Казалось почти невероятным, чтобы лицо, лишенное зрения, могло с такой силой выражать характер человека; однако глаза Элис по большей части были закрыты и своими невидящими зрачками не нарушали общего впечатления. Убаюканная жужжанием пчел, слепая, по-видимому, погрузилась в забытие, но это не был сон.

Люси отворила калитку маленького сада и, обращаясь к старухе, сказала:

— Мой отец пришел проведать вас, Элис.

— Милости просим, мисс Эштон, милости просим и его и вас также, — ответила Элис, поворачиваясь к гостям и кланяясь.

— Славное утро для ваших пчел, матушка, — сказал лорд-хранитель, пораженный наружностью этой женщины и желая удостовериться, соответствует ли речь слепой ее внешности.

— Кажется, так, милорд. Воздух, чувствую я, теплее, чем в последние дни.

— Неужели вы сами занимаетесь пчелами, матушка? Как вы управляете ими?

— Как короли управляют своими подданными: через доверенных лиц. Мне повезло с моим премьер-министром. Эй, Бейби!

С этими словами Элис поднесла к губам серебряный свисток, висевший у нее на шее, — тогда часто пользовались свистком, чтобы позвать слугу, — и из

дома выбежала девочка лет пятнадцати, одетая чище, чем можно было ожидать, хотя, надо полагать, если бы Элис могла видеть, что делается вокруг, ее маленькая служанка имела бы еще более опрятный вид.

— Бейби, — сказала слепая, — подай милорду и мисс Эштон хлеба и меду. Они простят твою неловкость, если ты постарайшься сделать все быстро и аккуратно.

Бейби исполнила приказание хозяйки со всем проворством, на какое была способна; она засуетилась, но, как у рака, ноги ее двигались в одну сторону, а голова была обращена в противоположную, так как она не сводила глаз с милорда, которого его подчиненные видели очень редко, хотя часто слышали о нем. Хлеб и мед были поданы на листе латука, и гости из приличия отведали скромного угощения.

Сэр Эштон сел на гнилой ствол сваленного бурей дерева. Ему, очевидно, хотелось продолжить разговор, но он не знал, какой выбрать предмет.

— Вы, вероятно, давно живете в этом имении? — спросил он после минутного молчания.

— Скоро шестьдесят лет, как я впервые увидела Рэвенсвуд, — сказала Элис, и хотя она говорила учтивым и почтительным тоном, но, по-видимому, только подчинялась неизбежной необходимости отвечать на предлагаемые ей вопросы.

— Судя по вашему выговору, вы родились не в этих местах? — продолжал лорд-хранитель.

— Я родилась в Англии, милорд.

— Однако вы, кажется, очень привязаны к нашей стране и любите ее как родину?

— Здесь, милорд, — сказала слепая, — я знала и радости и горе, ниспосланные мне небом; здесь я прожила двадцать лет с нежнейшим и добрейшим из мужей; здесь я родила шестерых детей и здесь похоронила их. Они покоятся вон там, у полуразвалившейся часовни. При их жизни у меня не было другой родины, кроме их родины, и после их смерти мне не надобно иной.

— Но ваш дом в очень плохом состоянии, — заметил сэр Уильям, бросая взгляд на ветхое жилище,

— Ах, отец! — воскликнула Люси, лоя лорд-хранителя на слове. — Прикажите починить его! — И, смутившись, добавила: — Разумеется, если сочтете возможным.

— Мне бы не хотелось, чтобы милорд беспокоился из-за меня, дорогая мисс Люси, — сказала слепая. — На мой век мне хватит!

— Но прежде вы жили в хорошем доме, — настаивала Люси, — и были богаты, а теперь, под старость, вам приходится ютиться в такой лачуге.

— Для меня и этого достаточно, мисс Люси. Если мое сердце выдержало столько своих и чужих горестей, то, верно, уж закалено против всяких напастей, а мое старое тело не стоит ваших хлопот.

— Вы, вероятно, испытали немало превратностей на своем веку, — сказал сэр Уильям, — и опыт, разумеется, научил вас быть ко всему готовой.

— Он научил меня смирению, милорд, — последовал ответ.

— И вы не можете не знать, что годы всегда приносят с собою перемены.

— О да, милорд. Я знаю, что ствол, на котором вы сейчас сидите — остаток великолепного громадного ясеня, — должен рано или поздно сгнить, если прежде его не уничтожит топор дровосека. Но я надеялась, что мои глаза не увидят падения старого дерева, под сенью которого стояло мое жилище.

— Не подумайте, что я рассержусь на вас за то, что вы сожалеете о прежних владельцах моего поместья, — ответил сэр Эштон. — У вас, без сомнения, есть причины любить их, и я уважаю ваши чувства. Я прикажу починить ваш домик, и, надеюсь, мы будем друзьями, когда короче узнаем друг друга.

— В мои годы уже не обзаводятся новыми друзьями, — сказала Элис. — Я очень благодарна вам, милорд; вы, несомненно, говорите от души. Но я ни в чем не нуждаюсь и не могу ничего принять от вас.

— В таком случае, — продолжал лорд-хранитель, — позвольте мне по крайней мере сказать, что я рад встретить в вас женщину умную и воспитан-

ную и надеюсь, что вы будете жить в моих владениях до конца своих дней. Я освобождаю вас от арендной платы.

— Я тоже на это надеюсь, милорд, — спокойно ответила слепая — Насколько мне помнится, освобождение от платы входит в одно из условий продажи вам Рэвенсвуда, хотя такое ничтожное обстоятельство могло легко ускользнуть из вашей памяти.

— В самом деле, — сказал лорд-хранитель, несколько смущенный, — я припоминаю... Но, я вижу, вы слишком привязаны к вашим старым друзьям, чтобы принять услугу от их преемника.

— Нисколько, милорд. Я благодарна вам за доброе отношение ко мне, хотя и не могу принять ваших милостей, и желала бы доказать вам мою признательность иначе, чем теми немногими словами, которые мне придется сейчас сказать вам.

Сэр Уильям не без удивления взглянул на нее, но не сказал ни слова.

— Милорд, берегитесь, — продолжала Элис, — вы на краю пропасти.

— Что вы говорите! — взволновался сэр Эштон, и его мысли тотчас обратились к политическому положению страны. — До вас дошли какие-нибудь слухи? Составлен заговор? Готовится мятеж?

— Нет, милорд. Люди, занимающиеся подобными делами, не посвящают в них старых, слепых и больных. Я хочу предостеречь вас от опасности совсем иного рода. Вы слишком далеко зашли, милорд, в отношении Рэвенсвудов. Верьте мне, это — лютый род, а люди, доведенные до отчаяния, всегда опасны.

— Что вы, что вы! — воскликнул лорд-хранитель. — Я тут ни при чем: таково решение суда, и если Рэвенсвуды недовольны тем, что я выиграл дело, пусть в суд и обращаются.

— Но они могут думать иначе и, изверившись в помощи закона, свершить правосудие собственными руками.

— Что вы хотите этим сказать? — воскликнул сэр Эштон. — Неужели вы думаете, что молодой Рэвенсвуд способен прибегнуть к насилию?

— Сохрани бог, чтобы я сказала что-либо подобное! Он честный, прямой, — да, да, честный, прямой, — так я сказала, и еще добавлю: чистосердечный, великодушный, благородный юноша; но все же он — Рэвенсвуд, он будет выжидать свой час. Не забывайте участи сэра Джорджа Локхарда.

Сэр Эштон невольно вздрогнул при этом намеке на недавнее трагическое происшествие, а слепая между тем продолжала:

— Чизли, убивший Локхарда, был родственником лорда Рэвенсвуда. Я сама слышала, как он открыто в присутствии нескольких свидетелей грозился исполнить жестокое дело, которое потом совершил. Я не выдержала, хотя по моему положению мне следовало молчать, и сказала ему: «Вы задумали страшное преступление и ответите за него перед всевышним судьей». Никогда не забуду его взгляда, когда он сказал: «Мне придется за многое ответить, так отвечу еще и за это!» Вот почему я говорю: не преследуйте человека, доведенного до отчаяния! В жилах Рэвенсвуда течет кровь Чизли, а одной капли этой крови достаточно, чтобы зажечь пожар. Говорю вам: берегитесь его!

То ли намеренно, то ли случайно, но слепая старуха задела слабую струну в сердце лорда-хранителя. Шотландские бароны не гнушались убийством врага из-за угла, и под давлением обстоятельств или тогда, когда иначе нельзя было отплатить обидчику, к этому отчаянному и недостойному средству прибегали не только в те далекие, но и в недавние времена. Сэр Уильям превосходно знал об этом; он также знал, что причинил немало зла семейству Рэвенсвудов, и имел все основания опасаться мести — этого неизбежного следствия пристрастия судов — со стороны наследника разоренного им рода. Сэр Уильям постарался скрыть от слепой овладевшее им волнение; но человек даже менее проницательный, чем старая Элис, легко мог бы догадаться, что ее слова произвели на него сильное впечатление. Изменившимся голосом сэр Эштон возразил, что молодой Рэвенсвуд человек чести, ну, а если это не так, то судьба Чизли должна

послужить достаточным предостережением всякому, кто вздумал бы пойти по его стопам. С этими словами он поспешно встал и, не дожидаясь ответа, вышел из сада.

Глава V

Дочь Капулетти!
Так в долг врагу вся жизнь
моя дана?

*Шекспир*¹

Лорд-хранитель прошел, не останавливаясь, около четверти мили. Его дочь, застенчивая от природы, к тому же воспитанная, как того требовали обычаи тех далеких лет, в почтении к родителям и в беспрекословном им повиновении, не смела прервать размышлений отца.

— Ты очень бледна, Люси, — заметил вдруг сэр Уильям, внезапно оборачиваясь к дочери и нарушая молчание.

По понятиям того времени, не позволявшим молодой девушке высказывать свое мнение о важных предметах, пока к ней не обратятся, Люси должна была притвориться, что ничего не поняла из разговора между отцом и Элис, и потому объяснила свое волнение тем, что испугалась буйволов, пасшихся в той части огромного парка, по которой они как раз проходили.

Эти животные были потомками свирепых обитателей древних каледонских лесов, и шотландская знать считала для себя вопросом чести держать в своих парках нескольких таких буйволов. Многие еще помнят, как они бродили в родовых поместьях Гамильтонов, Драмланриков и Камбернолдов. Судя по описаниям в летописях и тем огромным костям, которые иногда находят при осушении болот и топей, они уступали ростом и силой своим древним предкам. Самцы утратили свою косматую гриву, а вся порода

¹ Перевод Т. Щепкиной-Куперник.

измельчала; шерсть приобрела грязно-белый, или, лучше сказать, бледно-желтый цвет, копыта же и рога стали черными. Однако время почти не изменило их лютый нрав, так что было совершенно невозможно отучить их от дикой ненависти к человеку, и, когда к ним приближались без должной осторожности или как-нибудь иначе привлекали их внимание, они становились очень опасны. Вероятно, именно по этой причине дикие стада были уничтожены даже в тех угодьях, о которых говорилось выше, ибо иначе столь достойное украшение шотландских дубрав и баронских поместий, конечно, постарались бы сохранить. Однако, если не ошибаюсь, несколько буйволов еще существует и поныне в Нортумберленде, в Чилингемском парке, принадлежащем графу Тэнкервилу.

Люси решила, что лучше всего приписать свое волнение — на самом деле вызванное совсем иными причинами — близости нескольких таких животных, которых она, в сущности, не боялась, привыкнув видеть их во время прогулок по парку. К тому же в те времена отнюдь не считалось признаком хорошего тона у молодой леди падать в обморок по всякому поводу. Однако вскоре оказалось, что мнимая опасность могла сделаться действительной.

Едва Люси успела ответить на слова отца, собиравшегося было попенять дочери за трусость, как вдруг один из буйволов, раздраженный красным цветом ее плаща, а быть может, просто в приступе необъяснимой ярости, которой были подвержены эти животные, отделился от стада, мирно щипавшего траву на другом конце зеленой лужайки, почти скрытой от глаз густо переплетенными ветвями, и начал медленно приближаться к людям, вторгшимся в его владения. Время от времени он останавливался и неистово ревел, то взрывая копытами землю, то взметывая песок рогами, словно старался еще больше разжечь свою лютую злобу и ненависть.

Лорд-хранитель внимательно следил за движениями буйвола; предвидя близкую опасность, он крепко сжал руку дочери и удвоил шаг, надеясь убежать или скрыться от расвирепевшего зверя. Но сэр

Эштон не мог поступить хуже: животное, ободренное их бегством, тотчас бросилось за ними следом. Угроза неминуемой гибели могла бы испугать человека и более храброго, чем сэр Уильям, но родительская любовь, «любовь сильнее смерти», придала ему мужества. Не выпуская руки дочери, он продолжал тащить ее за собой, пока бедная девушка, лишившись от ужаса сил, не свалилась у его ног. Не имея другой возможности спасти дочь, сэр Эштон остановился и мужественно стал между нею и разъяренным животным, которое несло теперь во весь опор, все более свирепея от погони, и уже было от них в нескольких шагах. У сэра Уильяма не было при себе оружия: его возраст и положение не позволяли ему носить даже маленькую шпагу — хотя, будь он при шпаге, едва ли это ему помогло бы.

Таким образом, отец или дочь, а быть может, оба вместе, неминуемо должны были сделаться жертвой лютого зверя, как вдруг из соседней рощи раздался выстрел. Метко пущенная пуля попала буйволу в шею у основания черепа, и рана, которая, оказавшись она в любой другой части тела, только удвоила бы ярость взбешенного животного, вызвала почти мгновенную смерть. Буйвол, уже не владея своими конечностями, словно по инерции рванулся вперед и, весь покрывшись черным предсмертным потом и сотрясаясь в последних судорогах, с чудовищным ревом рухнул в трех шагах от остолбеневшего лорда — хранителя печати.

Люси лежала на земле без чувств, не сознавая чудесного своего избавления. Отец ее также находился в совершенном оцепенении, так быстро и неожиданно неизбежная смерть сменилась полной безопасностью. Животное, даже мертвое, внушало страх, и сэр Уильям оторопело смотрел на него с каким-то смутным удивлением, мешавшим ему вполне понять, что же, собственно, произошло. Все случившееся представлялось ему в тумане, и он, вероятно, подумал бы, что зверь убит грозой, если бы среди ветвей не заметил человека с коротким ружьем, иначе называемым мушкетеном.

Это заставило сэра Эштона тотчас прийти в себя, и, взглянув на дочь, он увидел, что она нуждается в немедленной помощи. Поэтому он решил окликнуть стрелка, которого принял за одного из лесничих, и поручить ему мисс Эштон, пока сам он отправится за людьми. Охотник подошел, и сэр Уильям увидел совершенно незнакомого ему человека, но был слишком взволнован и озабочен, чтобы обратить на это внимание. Неизвестный был намного моложе и сильнее его, а потому лорд-хранитель без долгих слов попросил своего избавителя снести дочь к соседнему источнику, сам же поспешил к лачуге Элис за помощью.

Молодой человек, вмешательству которого лорд-хранитель и его дочь были обязаны своим спасением, по-видимому не хотел оставлять доброго дела неоконченным. Взяв Люси на руки, он тропинками, очевидно хорошо ему известными, понес ее через чашу и, дойдя до источника, из которого струилась прозрачная вода, осторожно опустил драгоценную ношу на землю. Некогда над этим источником возвышался готический храм, но теперь от него остались одни лишь развалины; свод рухнул и раскололся, фонтан сломался и разрушился, и вода текла прямо из земли, пробиваясь между остатками разбитой скульптуры и поросшими мхом камнями, преграждавшими ей путь.

Об этом источнике, как и о всяком другом сколько-нибудь примечательном месте в Шотландии, существовала легенда, раскрывающая причину, по которой он удостоился особого поклонения. Рассказывали, что один из лордов Рэвенсвудов, охотясь в этих местах, встретил у источника прелестную молодую девушку, которая, подобно нимфе Эгерии, завладела сердцем этого феодального Нумы. Они стали встречаться у родника, и всегда при закате солнца. Очарование ее ума довершило победу, начатую ее красотой, а таинственность придавала несказанную прелесть этим романтическим свиданиям. Так как девушка всегда появлялась и исчезала близ источника, то ее возлюбленный решил, что между нею и водой существует необъяснимая связь. Красавица требовала соблюдения нескольких условий, также весьма таинственных:

влюбленные виделись только раз в неделю, по пятницам, и разлучались, как только колокол в соседней обители, находившейся тогда недалеко в лесу, а ныне уже давно разрушенной, возвещал о вечерне. На исповеди барон Рэвенсвуд поведал отшельнику тайну своей необыкновенной любви, и отец Захария тотчас пришел к совершенно непреложному и очевидному заключению, что его духовный сын попал в сети нечистого и что гибель угрожает не только брэнному телу его, но и душе. Он употребил всю силу монашеского красноречия, чтобы заставить барона поверить в грозящую ему опасность, и в самых страшных красках нарисовал подлинный образ восхитительной наяды, которую не колеблясь объявил рукою дьявола. Влюбленный барон слушал его с упрямым недоверием и, только чтобы отделаться от настойчивых требований отшельника, согласился подвергнуть свою возлюбленную испытанию: по предложению отца Захарии в следующую пятницу колокол к вечерне должен был ударить на полчаса позже обычного. Монах уверял (и в подтверждение своего мнения ссылался на «*Malleus Maleficarum*», Sprengerus, Remigius¹ и других ученых демонологов), что злой дух, вынужденный благодаря этой хитрости оставаться на земле более положенного срока, примет свой настоящий вид и, представ перед уstraшенным бароном исчадием ада, исчезнет в серном пламени. Раймонд Рэвенсвуд не без любопытства пошел на все это, хотя и был убежден, что ожидания монаха не оправдаются.

В назначенный час влюбленные, как обычно, встретились у источника, но оставались вместе дольше положенного времени, так как отшельник умышленно запоздал ударить в колокол. Ничто не изменилось в наружности нимфы, но, как только она заметила по удлинившимся теням, что час вечерни миновал, она вырвалась из объятий Раймонда и с воплем отчаяния, прощаясь с ним навеки, бросилась в источник. На поверхности воды показались пузыри, окрашенные кровью, и несчастный барон убедился, что его настой-

¹ «Молот ведьм», Шпренгеруса, Ремигнуса,

чивое любопытство стало причиной смерти этого оборожительного и таинственного существа. Угрызения совести и сожаления о прелестной возлюбленной были достойной карой в течение всей его кратковременной жизни, которой он лишился несколько месяцев спустя в битве при Флоддене. Но перед тем как отправиться на поле брани, он, в память о наяде, решил предохранить источник, — где, казалось, все еще обитал ее дух, — от всякого осквернения и воздвигнул над ним небольшой храм, от которого теперь остались одни развалины. Говорят, что с этого времени начался упадок дома Рэвенсудов.

Таково было поверье. Однако кое-кто, желая казаться умнее простого народа, утверждал, что основанием для этой легенды послужила история красавицы крестьянки, возлюбленной этого самого Раймонда, которую он убил в припадке ревности и чья кровь смешалась с водами заговоренного источника, как его называли в округе. Иные приписывали происхождение этого предания языческой мифологии. Но все сошлись на том, что это место — роковое для Рэвенсудов и что испить воды из этого источника или даже подойти к нему близко было для них так же пагубно, как для Грэма — надеть зеленую одежду, для Брюса — убить паука или для Сен-Клера — переправиться через реку Орд в понедельник.

На этом роковом месте Люси Эштон очнулась от своего продолжительного, почти смертельного обморока. Прекрасная и бледная, словно нимфа из старинной легенды, когда та навеки прощалась с Раймондом, Люси полулежала, прислонясь к обломку стены, и ее красный плащ, насквозь промокший от воды, с помощью которой неизвестный юноша старался привести ее в чувство, обрисовывал ее стройную, превосходно сложенную фигуру.

Придя в себя, Люси вспомнила о том, что заставило ее лишиться чувств, и тотчас подумала об отце. Она посмотрела вокруг, но его не было рядом с ней.

— Где он? Где мой отец? — испуганно воскликнула она.

— Сэр Уильям здоров и невредим, — ответил ей незнакомый голос. — Не бойтесь, он скоро придет сюда.

— Это правда? — спросила Люси. — Буйвол был от нас в двух шагах. Пустите меня, я пойду искать отца!

С этими словами Люси поднялась; но ее силы были настолько истощены, что она не смогла выполнить свое намерение и неминуемо упала бы на камни и сильно расшиблась, если бы незнакомец, стоявший подле нее, не поддержал ее. Однако он сделал это с какой-то странной неохотой, казавшейся непонятной в молодом человеке, которому выпало счастье предохранить от опасности красавицу. Легкая, воздушная фигурка девушки была словно слишком тяжела для мужественного атлета; не испытывая даже желания лишнюю минуту удержать ее в своих объятиях, незнакомец посадил Люси на камень, где она сидела раньше, и, отступив на несколько шагов, поспешно повторил:

— Сэр Уильям совершенно здоров и невредим. Он сейчас придет сюда. Не беспокойтесь о нем, на этот раз судьба была к нему милостива. Вы очень слабы, сударыня, и не должны уходить отсюда, пока кто-нибудь более умелый, чем я, не окажет вам необходимую помощь.

Люси, которая теперь уже совершенно пришла в себя, внимательно посмотрела на незнакомца. В его внешности она не обнаружила ничего такого, что могло бы помешать ему предложить руку молодой девушке, нуждающейся в его поддержке, или опасаться, что она не примет его услуги. Как ни была она взволнована, Люси не могла не заметить его холодности и нежелания подать ей руку. Охотничья куртка темного цвета, наполовину скрытая широким коричневым плащом, говорила о том, что юноша — знатного происхождения. Мягкая шляпа с черным пером, надвинутая на лоб почти по самые брови, скрывала его лицо — смуглос, с правильными чертами; оно отличалось гордым, хотя и несколько угрюмым выражением. Тайная печаль или беспокойный дух

какой-то темной страсти, должно быть, уничтожили в юноше естественную живость, столь свойственную его летам, так что нельзя было смотреть на него без сострадания или уважения; во всяком случае, молодой человек вызывал интерес и пробуждал любопытство.

Все это — то, о чем нам пришлось рассказывать так долго, — почти мгновенно промелькнуло в сознании Люси. И не успел ее взгляд встретиться с черными, пламенными глазами незнакомца, как она в смущении и страхе опустила голову. Однако нужно было сказать ему несколько слов, по крайней мере она считала своим долгом поблагодарить молодого человека; дрожащим голосом Люси начала говорить о грозившей ей и ее отцу опасности, от которой он с божьей помощью спас их.

При этом изъятии благодарности незнакомец вздрогнул и, прервав ее, сказал:

— Я оставляю вас, сударыня, — и его мелодичный, глубокий голос вдруг стал суровым, — я оставляю вас на попечении того, для кого сегодня вы, быть может, были ангелом-хранителем.

Эти загадочные, непонятные слова изумили Люси, сердце которой было полно самой безыскусственной, самой искренней благодарности, и она начала опасаться, не оскорбила ли она незнакомца каким-нибудь неловким словом, будто и вправду могла его обидеть.

— Я, быть может, недостаточно учтиво выразила вам мою признательность, — сказала она. — Я, право, не помню, что сказала, но прошу вас остаться и подождать, пока мой отец... пока лорд — хранитель печати... Позвольте ему поблагодарить вас и узнать имя нашего избавителя.

— К чему вам имя? — ответил незнакомец. — Ваш отец... или, вернее, сэр Уильям Эштон узнает его достаточно скоро, но, боюсь, оно доставит ему мало удовольствия.

— Вы ошибаетесь! — с живостью воскликнула Люси. — Вы не знаете моего отца, он будет очень благодарен вам. Но, быть может, говоря, что он в без-

опасности, вы обманываете меня: он, верно, сделался жертвой лютого зверя.

В ужасе от этой мысли Люси вскочила, чтобы бежать туда, где произошла страшная сцена; в незнакомце, казалось, боролись два противоречивых желания: пойти вместе с ней или немедленно удалиться; из человеколюбия он решил уговорить, а если понадобится, то и заставить ее остаться.

— Даю вам честное слово, сударыня, — воскликнул он, — я сказал вам правду: ваш отец в полной безопасности. Вы только вновь подвергнете себя опасности, если вернетесь туда, где пасется это дикое стадо. Но если вы хотите идти, — ибо, вообразив, что ее отец в беде, Люси рвалась к нему, невзирая ни на какие уговоры, — если вы непременно хотите идти туда, то обопритесь по крайней мере на мою руку, хотя, быть может, я не тот человек, у которого вам следует искать защиты.

Люси приняла это предложение, не обращая внимания на последние слова.

— Если вы мужчина... если вы джентльмен, — сказала она, — помогите мне разыскать отца. Вы не покинете меня. Вы пойдете со мной. Быть может, пока мы здесь пререкаемся, отец истекает кровью.

И, не слушая извинений и уверений незнакомца, Люси приняла предложенную ей руку и потащила его за собой, думая лишь о том, что без этой поддержки ей не устоять на ногах и что необходимо удержать юношу подле себя. Но в эту минуту она увидела отца, приближавшегося к ним в сопровождении служанки слепой Элис и двух дровосеков, которых он встретил в лесу и позвал с собой. Радость сэра Уильяма, когда он увидел Люси целой и невредимой, заглушила в нем удивление, которое возбудило бы во всякое другое время представившееся ему неожиданное зрелище: его дочь непринужденно опиралась на руку незнакомца.

— Люси, дорогая моя Люси! Ты невредима! Ты жива! — вот все, что мог сказать отец, нежно обнимая дочь.

— Все обошлось, отец, слава богу, — ответила Люси, — я счастлива, что снова вижу вас. Но что подумает обо мне этот джентльмен, — прибавила она, отпуская руку молодого человека и поспешно отодвигаясь от него; румянец залил щеки и шею девушки при одной мысли, что минуту назад она так настойчиво домогалась и даже требовала его помощи.

— Надеюсь, этот джентльмен не пожалеет о своем поступке, — сказал сэр Уильям Эштон, — когда узнает, что сам лорд — хранитель печати приносит ему свою глубокую благодарность за величайшую услугу, какую человек может оказать человеку, — за спасение жизни моего ребенка, за спасение моей собственной жизни... Я уверен, что джентльмен позволит мне просить его...

— Меня ни о чем не просите, милорд, — перебил его незнакомец твердым, властным голосом. — Я — Рэвенсвуд.

Наступила мертвая тишина; от изумления, а может быть, по другой, еще менее приятной, причине лорд-хранитель не мог произнести ни слова. Эдгар завернулся в плащ, гордо поклонился Люси и, едва слышно пробормотав с явной неохотой несколько учтивых слов, скрылся в чаще.

— Мастер Рэвенсвуд! — воскликнул сэр Уильям, оправившись после минутного удивления. — Бегите за ним, остановите его: скажите, что я прошу его выслушать меня.

Дровосеки пустились вдогонку за Эдгаром, однако тотчас возвратились и с некоторым замешательством объяснили, что молодой человек отказался последовать за ними.

Лорд-хранитель отозвал одного из них в сторону и спросил, что сказал им молодой Рэвенсвуд.

— Он сказал, что не пойдет, — ответил дровосек с осторожностью благоразумного шотландца, который не любит передавать неприятные вести.

— А еще что? — допытывался сэр Уильям. — Я хочу знать все, что он сказал.

— В таком случае, милорд, — ответил дровосек, опуская глаза, — он сказал... Но, право, вам непри-

ятно будет это услышать, а у него ведь ничего худого на уме не было.

— Это вас не касается, милейший, — прервал его лорд-хранитель, — я требую, чтобы вы в точности передали его слова.

— Ну так он сказал: передайте сэру Уильяму Эштону, что, когда судьба сведет нас в следующий раз, он будет счастлив расстаться со мной.

— Ну конечно! — воскликнул лорд-хранитель. — Он, вероятно, намекал на пари, которое мы с ним держали о наших соколах. Это пустяки!

И сэр Уильям возвратился к дочери, которая уже настолько оправилась, что могла дойти до дому. Однако страшная сцена оставила глубокий след в душе крайне впечатлительной девушки; ее воображение было поражено намного сильнее, чем здоровье. И днем и ночью, во сне и наяву ей чудился разъяренный буйвол, мчавшийся на нее с диким ревом, а между нею и верной смертью всегда появлялась благородная фигура Эдгара Рэвенсвуда. Пожалуй, для молодой девушки небезопасно сосредоточивать свои мысли, к тому же мысли пристрастные, на одном человеке, но в положении Люси Эштон это было неминуемо. Никогда прежде не встречала она юношу с такой романически привлекательной наружностью; но даже если бы ее окружала целая сотня молодых людей, ничем не уступающих Эдгару или даже лучше его, то и тогда ни один из них не мог бы пробудить в ее сердце столь жгучих воспоминаний о страшной опасности и избавлении от нее, столь глубокого чувства благодарности, изумления и любопытства. Да, именно любопытства, потому что странная скованность и принужденность в обращении с ней Рэвенсвуда, составлявшие разительную противоположность с простым, естественным выражением его лица и приятными манерами, изумили Люси и тем более привлекли ее внимание к Эдгару. Она почти ничего не слышала о Рэвенсвуде и о раздорах между его отцом и сэром Уильямом; впрочем, если ей и были бы известны все подробности, то Люси с ее нежным серд-

цем вряд ли сумела бы постичь возбужденные этими распрями ненависть и злобу. Она знала, что Рэвенсвуд знатного происхождения, что он беден, хотя является потомком благородного и некогда богатого рода, и сочувствовала гордому юноше, не пожелавшему принять благодарность от новых владельцев родовых его земель. «Неужели он так же отказался бы выслушать нашу признательность и короче познакомиться с нами, — думала она, — если бы слова отца были сказаны мягче, не столь резко, а тем ласковым тоном, которым так умело пользуются женщины, когда им нужно успокоить буйные страсти мужчин?» Страшен был этот вопрос для молодой девушки, страшен как сам по себе, так и по своим возможным последствиям.

Словом, Люси Эштон блуждала в лабиринте мыслей и грез, весьма опасных для юных впечатлительных натур. Правда, она больше не видела Рэвенсвуда; время, перемена места и новые лица могли бы развеять ее мечты, как это не раз случалось со многими другими девушками, но она была одна, и ничто не отвлекало ее от приятных ей мыслей об Эдгаре. Леди Эштон находилась как раз в Эдинбурге, занимаясь какими-то придворными интригами, а лорд-хранитель, от природы замкнутый и необщительный, принимал гостей только с тем, чтобы потешить свое тщеславие, или же в политических целях. Таким образом, подле мисс Эштон не оказалось никого, кто мог бы сравниться с идеальным образом рыцаря, каким она рисовала себе Рэвенсвуда, никого, кто мог бы затмить его.

Предаваясь своим мечтам, Люси часто навещала старую Элис, надеясь, что ей не трудно будет вызвать старуху на разговор о предмете, которому она неблагоразумно отводила столько места в своих мыслях. Но Элис не пожелала пойти ей навстречу, не оправдала ее надежд. Слепая говорила о семействе Рэвенсвудов охотно и с большим увлечением, но словно нарочно обходила упорным молчанием молодого наследника. Если же ей случалось сказать о нем

несколько слов, то они были далеко не так хвалебны, как ожидала Люси. Элис давала понять, что он человек суровый, не склонный забывать обиды, способный скорее мстить, чем прощать. Люси с испугом слушала эти намеки на опасные свойства молодого человека, вспоминая, как настойчиво советовала Элис ее отцу остерегаться Рэвенсвуда.

Но разве сам Рэвенсвуд, на которого возводились все эти несправедливые подозрения, не опроверг их, спасая жизнь ей и ее отцу? Если, как намекала Элис, Эдгар вынашивал мрачные замыслы, то он мог вполне удовлетворить свое чувство мести, не прибегая даже к преступлению: ему достаточно было лишь чуть помедлить, воздержавшись от необходимой помощи, и человек, которого он ненавидел, неминуемо погиб бы страшной смертью без всякого усилия с его стороны. Поэтому Люси решила, что какое-нибудь тайное предубеждение, а быть может, просто подозрительность, свойственная старым, убогим людям, заставляли Элис относиться неблагоприятно к молодому Рэвенсвуду, приписывая ему такие черты, которые противоречили его великодушному поступку и благородному облику. На этом убеждении Люси основывала все свои надежды, продолжая плести волшебную ткань фантастических мечтаний, прозрачную и блестящую, как натянутая в воздухе паутина, унизанная бусинками росы и сверкающая в лучах утреннего солнца.

Ее отец и молодой Рэвенсвуд не менее часто вспоминали о страшном событии, но мысли их были более земными. Возвратясь домой, лорд-хранитель прежде всего послал за врачом, дабы убедиться, что здоровье его дочери не пострадало от пережитого ею потрясения. Успокоившись на этот счет, он тщательно перечитал докладную записку, набросанную со слов судебного пристава, которому было поручено помешать исполнению епископальных обрядов на похоронах лорда Рэвенсвуда. Искусный казуист, привыкший вкось и вкривь толковать законы, сэр Уильям без малейшего труда смягчил описание происшедших на похоронах беспорядков, которые поначалу собирался

изобразить в самых черных красках. В заключение он даже убеждал своих коллег, членов Тайного совета, в необходимости прибегать к миролюбивым мерам, когда речь идет о молодых людях с горячей кровью и без должного опыта. Он даже не остановился перед тем, чтобы взвалить часть вины на пристава, который своим поведением якобы вызвал молодого человека на резкость.

Таково было содержание официальных депеш; частные же письма к друзьям, в руки которых должно было попасть это дело, звучали еще благодущнее. Сэр Уильям утверждал, что в данном случае снисходительность явилась бы благоразумной мерой и пришлось бы по вкусу народу, тогда как, принимая во внимание глубокое уважение, питаемое в Шотландии к похоронам, проявление суровости к молодому Рэвенсвуду только за то, что он воспротивился нарушению погребальных обрядов над телом отца, возбудило бы всеобщее недовольство. Наконец, принимая тон человека благородного и великодушного, сэр Уильям просил как о личном одолжении, чтобы этому делу не давали никакого хода. Он деликатно намекал на свои сложные отношения с молодым Рэвенсвудом, с отцом которого он вел долгие тяжбы, приведшие к оскудению этого благородного рода; признавался, что ему было бы приятно изыскать средства хотя бы частично вознаградить молодого человека за потери, нанесенные ему и его семье в результате победы, одержанной им, сэром Уильямом, при защите своих законных и справедливых прав. Ввиду всего этого лорд-хранитель просил друзей как об особой услуге прекратить всякое преследование, вместе с тем давая понять, что ему было бы весьма желательно, чтобы молодой Рэвенсвуд был обязан таким счастливым исходом дела его, сэра Эштона, заступничеству.

Однако в письмах к леди Эштон сэр Уильям, против своего обыкновения, не упомянул ни словом о беспорядках на похоронах лорда Рэвенсвуда и, хотя сообщил о том, что он и Люси подверглись нападению

буйвола, умолчал о всех подробностях этого страшного происшествия.

Друзья и коллеги сэра Уильяма были крайне озадачены, получив от него письма такого неожиданного содержания. Сравнивая между собою эти послания, один улыбался, другой удивленно поднимал бровь, третий покачивал головой, а четвертый спрашивал, нет ли по этому вопросу еще каких-нибудь писем от лорда-хранителя.

— Очень странно, милорды, — заявил один из них, — но ни одна из этих просьб не заключает в себе сути дела.

Однако никаких тайных разъяснений не последовало, хотя казалось невероятным, чтобы таковых не существовало.

— Ну, — сказал седовласый сановник, сохранивший благодаря искусному лавированию свое место у кормила правления, несмотря на все перемены курса, которым государственный корабль подвергался в течение тридцати лет, — ну, я полагал, что сэр Уильям помнит старую шотландскую поговорку: шкура ягненка продается на рынке точно так же, как и шкура старого барана.

— Придется исполнить его желание, — вздохнул другой, — хотя, признаться, я никак не ожидал от него подобной просьбы.

— Своевольный человек всегда делает так, как взбредет ему на ум, — заметил старый советник.

— Не пройдет и года, как лорд-хранитель раскается в этом поступке, — сказал третий. — Молодой Рэвенсвуд еще заварит кашу.

— Ну, а вы, милорды, что бы сделали с этим бедным юношей? — спросил маркиз Э***, заседавший в совете. — Лорд-хранитель завладел всеми его поместьями. У Рэвенсвуда нет и ломаного гроша за душой.

— Кто не может расплатиться,
Пусть под плети сам ложится, —

продекламировал старый лорд Тернтипет. — Вот как поступали до революции: *Luitur cum persona, qui*

luere non potest cum crumena.¹ Прекрасная судейская латынь, милорды.

— Я не вижу, милорды, к чему нам заниматься этим делом, — заявил маркиз. — Пусть лорд-хранитель действует сам как считает нужным.

— Согласны, согласны. Пусть лорд-хранитель сам сделает заключение по этому делу. Ну, а для формы назначим ему кого-нибудь в помощь, ну хотя бы лорда Хэрплхоли, благо он теперь болен. Секретарь, внесите это решение в протокол... Теперь, милорды, нам надо решить вопрос о штрафе с этого шалопая, лэрда Бакло. Я думаю, это входит в компетенцию лорда-канцлера.

— Ну нет, милорды! — раздался голос лорда Тернтипета. — Стыдно вам тащить у меня кусок изо рта. Я уже давно на него нацелился и как раз собирался полакомиться.

— Говоря словами вашей же любимой поговорки, — перебил его маркиз, — вы точь-в-точь как та собака мельника, что облизывается, еще не видя кости. Штраф пока еще не наложен.

— Для этого достаточно только черкнуть пером, — возразил лорд Тернтипет, — и, конечно, ни один благородный лорд из здесь присутствующих не осмелится утверждать, что я — когда вот уже тридцать лет я соглашаюсь со всем, с чем только нужно, делаю все, что ни потребуется: отрекаюсь, когда нужно, присягаю, когда нужно; словом, тридцать лет без устали тружусь на пользу отчизне и в хорошие и в плохие времена, — что после такой работы я не заслужил, чтобы мне дали иногда промочить горло.

— Разумеется, милорд, — ответил маркиз, — это было бы и впрямь нехорошо с нашей стороны, будь у нас хоть малейшая надежда утолить вашу жажду или если бы вы вдруг поперхнулись и нуждались в промывании глотки...

Однако пора задернуть занавес и расстаться с Тайным советом Шотландии тех далеких дней.

¹ Расплачивается собой тот, кто не может расплатиться деньгами (лат.).

Глава VI

Ужель для басенки пустой
Здесь войны сидят,
И слезы глупые ужель
Осилят наш булат?

Генри Макензи

Вечером того дня, когда лорд-хранитель и его дочь были спасены от неминуемой гибели, два незнакомца сидели в самой отдаленной комнате маленького неприметного трактира, или, лучше сказать, харчевни, под вывеской «Лисья нора», находившегося в трех или четырех милях от замка Рэвенсвуд и на таком же расстоянии от полуразрушенной башни «Волчья скала».

Одному из собутыльников было на вид лет сорок; он был высокого роста, худощав, с горбатым носом, черными пронизательными глазами, умным и злоеющим выражением лица. Другой — коренастый, румяный и рыжеволосый — казался лет на пятнадцать моложе. У него был открытый, решительный, веселый взгляд, а в светло-серых глазах, придавая им живость и выразительность, горел беспечно-дерзкий огонек, говоривший об отваге их обладателя.

На столе красовалась фляга с вином (в те дни вино не подавали в бутылках, а разливали из бочонков в жестяные фляги), и перед каждым стоял квайг.¹ Однако веселье не царило за их столом. Скрестив руки, оба гостя молча смотрели друг на друга, углубившись в собственные мысли.

Наконец тот, что был помоложе, прервал молчание.

— Какой черт его там задерживает? — воскликнул он. — Неужели дело не выгорело? Зачем только вы не дали мне пойти вместе с ним?

¹ К в а й г — чаша, состоящая из маленьких деревянных дощечек, соединенных вместе, как бочка; квайги употреблялись для вина и водки и бывали различных размеров, иногда их делали из драгоценного дерева в серебряной оправе. (*Прим. автора.*)

— Каждый сам должен мстить за нанесенную ему обиду, — ответил старший. — Мы и так рискуем своей жизнью, ожидая его здесь.

— А все-таки вы трус, Крайгенгельт, — сказал младший. — И многие уже давно пришли к этому заключению.

— Но никто еще не осмелился сказать это мне в лицо! — воскликнул Крайгенгельт, хватаясь за шпагу. — Ваше счастье, что я не придаю значения опрометчивому слову, а то бы... — И он замолчал, ожидая, что скажет его собеседник.

— Вы бы... Ну, что бы вы сделали? Что же вас останавливает?

— Что меня останавливает? — ответил Крайгенгельт, наполовину вытаскивая шпагу из ножен и тотчас вкладывая ее обратно. — А то, что у этого клинка есть дело поважнее, чем разить всяких вертопрахов.

— Вы правы, — сказал молодой человек, — надо быть безмозглым хлыщом или уж вконец сумасшедшим, чтобы надеяться на ваши прекрасные обещания доставить мне место в ирландской бригаде. Но что делать! Все эти конфискации, особенно последний штраф, который жаждет опустить себе в карман старый мошенник Тернтипет, лишили меня крова и состояния. В самом деле, что у меня общего с ирландской бригадой? Я шотландец, как мой отец, как весь наш род. А моя тетка, леди Гернингтон... Не будет же она жить вечно!

— Все это превосходно, Бакло, но она может еще долго протянуть. Что же касается вашего отца... У него были земля и деньги, он не закладывал своих поместий, не имел дела с ростовщиками, платил долги и жил на собственные средства.

— А кто виноват, что я не могу жить, как он? Вы и вам подобные вконец меня разорили, и теперь мне, конечно, придется последовать вашему жалкому примеру: одну неделю — распространять тайные вести из Сен-Жермена, другую — распускать слухи о восстании горцев; кормиться за счет старух якобиток, выдавая им пряди волос из старого парика за кудри Шевалье; поддерживать приятеля в ссорах до дуэли, а там

ретируются, — ведь политический агент не имеет права рисковать своей жизнью из-за пустяков. И все это за кусок хлеба да за удовольствие называть себя капитаном.

— Вы полагаете, что говорите очень красноречиво, — сказал Крайгенгельт, — и славно поглумились надо мной. Что ж, разве лучше подыхать с голоду или качаться на виселице, чем вести такую жизнь, какую веду я, и то только потому, что наш король не может в настоящую минуту прилично содержать своих слуг.

— Умереть с голоду честнее, а виселицы вам и так не миновать. Однако никак не возьму в толк, что вам нужно от бедного Рэвенсвуда. Денег у него не больше, чем у меня; все оставшиеся у него земли заложены и перезаложены: доходов не хватает даже на уплату процентов. Чем вы рассчитываете поживиться, впутываясь в его дела?

— Не беспокойтесь, Бакло, я знаю, что делаю. Во-первых, он из древнего рода и отец его оказал большие услуги в тысяча шестьсот восемьдесят девятом году, так что если удастся завербовать его, это не преминут оценить в Сен-Жермене и Версале. Потом, да будет вам известно, молодой Рэвенсвуд не вам чета: у него есть ум и такт, он талантлив и смел; за границей он покажет себя как человек с головой и сердцем, который знает кое-что помимо верховой езды и соколиной охоты. Мне почти перестали доверять, потому что я вербую людей, у которых мозгов хватает только на то, чтобы поднять оленя да приручить сокола. Рэвенсвуд же образован, сметлив и умен.

— И при всех этих достоинствах он попался к вам в сети. Не сердитесь, Крайгенгельт. Да оставьте же в покое вашу шпагу! Вы же все равно не будете драться! Скажите-ка лучше тихо да мирно, каким образом вы сумели втереться в доверие к Рэвенсвуду?

— Очень просто: потворствуя его жажде мщения. Вы думаете, я не знаю, что Эдгар меня недолюбливает; но я выждал удобный момент и опустил молот, когда от обид и несправедливостей мой рыцарь раскалился докрасна. В настоящую минуту он отправился, как он выразился (а может, он и в самом деле так

думает), объясниться с сэром Уильямом Эштоном. Но поверьте, если они встретятся и адвокат начнет оправдываться, ссылаясь на законы, Рэвенсвуд убьет старика. Глаза у Эдгара так сверкали, что трудно было бы обмануться относительно его намерений. Впрочем, если он и не убьет Эштона, то задаст ему такого страха, что власти все равно обвинят нашего приятеля в покушении на жизнь члена Тайного совета. Таким образом, между ним и правительством ляжет пропасть, в Шотландии ему станет слишком жарко, Франция предложит ему убежище, и мы все вместе отправимся туда на французском корабле «L'Espoir»,¹ ожидающем нас близ Эймута.

— Превосходно, — сказал Бакло. — В Шотландии меня теперь ничто не держит; если же благодаря присутствию Рэвенсвуда нас лучше примут во Франции, то, черт возьми, пусть будет по-вашему! Боюсь, наши собственные достоинства не обеспечат нам там больших чинов. Будем надеяться, что, прежде чем отправиться с нами, Рэвенсвуд не преминет всадить пулю в голову лорда-хранителя. Раз в год неплохо убивать одного из этих сановных негодяев для остротки.

— Совершенно справедливо, — согласился Крайгенгельт. — Пойду-ка посмотрю, накормлены ли наши лошади и готовы ли они в дорогу: если Рэвенсвуд не передумал, нам нельзя будет мешкать ни секунды.

Крайгенгельт направился к двери, но остановился на пороге и прибавил:

— Чем бы ни кончилось это дело, Бакло, вы, надеюсь, запомнили, что я не сказал Рэвенсвуду ни единого слова, одобряющего те глупости, которые могут взбрести ему в голову.

— Разумеется, ни единого слова, — ответил Бакло. — Уж кто-кто, а вы знаете, какая опасность заключается в страшном слове — *соучастник*.

И тут же вполголоса продекламировал:

— Нем циферблат, но знак он подает
И указывает на удар убийцы.

¹ «Надежда» (франц.).

— Что вы там еще бормочете! — воскликнул Крайгенгельт, беспокойно оборачиваясь.

— Ничего... Стихи... Я их слышал когда-то на сцене.

— Право, Бакло, по-моему, вам самому следовало бы стать актером: для вас все шутка да забава.

— Я и сам об этом подумывал. Во всяком случае, это было бы куда безопаснее, чем разыгрывать с вами Роковой заговор. Ну, идите, исполняйте вашу роль: присмотрите за лошадьми, как подобает хорошему конюху. Комедиант, актер! — продолжал Бакло, оставшись один. — За эти слова стоило бы угостить его ударом шпаги... Да не стоит связываться с трусом! Впрочем, сцена пришлась бы мне по душе. Пойдите... Да... Я вышел бы в «Александре» и воскликнул:

Спасти любовь я вышел из могилы,
Обрушьте на меня все ваши силы;
Всех сокрушу, когда рванусь вперед:
Любовь велит мне, слава в бой ведет!

Как раз когда Бакло, опершись на эфес шпаги, громовым голосом декламировал напыщенные вирши бедного Ли, в комнату вбежал испуганный Крайгенгельт.

— Мы пропали! — воскликнул он. — Конь Рэвенсвуда запутался в недоуздке и совсем охромел. Иноходец, на котором он теперь отправился, слишком утомится, а другой лошади у нас нет. На чем он теперь поедет?!

— Да, на этот раз не удастся лететь стрелой, — сухо согласился Бакло. — Однако стойте! Вы же можете уступить ему свою кобылу.

— Что? И попасться самому! Благодарю покорно.

— Полноте! Если даже с лордом-хранителем что-нибудь случилось, — чего, я, впрочем, не думаю, так как Рэвенсвуд не из тех, кто стреляет в безоружного старика, — и даже если в замке произошло небольшое столкновение, — то вам-то чего бояться? Ведь вы-то к этому непричастны!..

— Конечно, конечно, — ответил сбитый с толку Крайгенгельт, — но вы забываете о моем поручении из Сен-Жермена.

— Многие считают это вашей собственной выдумкой, благородный капитан. Ладно, если вы не хотите дать Рэвенсвуду вашу лошадь, я, черт возьми, дам ему свою.

— Вашу?

— Да, мою, — подтвердил Бакло. — Пусть не говорят, что, обещав джентльмену поддержку, я потом ничего для него не сделал и даже не помог выпутаться из беды.

— Вы дадите ему вашу лошадь? А вы подумали, какой вы потерпите убыток?

— Убыток? Ах, убыток! Да, мой Серый Гилберт обошелся мне в двадцать золотых, но его иноходец тоже чего-нибудь да стоит, а второй его конь, Черный Мавр, если его выходить, будет стоить вдвое дороже моего. А я знаю, как за это дело приняться. Надо взять жирного шенка, ободрать с него шкуру, выпотрошить, набить черными и серыми улитками, потом долго жарить, поливая смесью масла, лаванды, шафрана, корицы и меда...

— Превосходно! Только прежде, чем ваш конь вылечится, нет, еще прежде, чем ваш щенок изжарится, вас поймают и повесят. Можете не сомневаться, что погоня за Рэвенсвудом будет отчаянная. Дорого бы я дал, чтобы место нашего свидания было поближе к морю.

— В таком случае, может быть, благоразумнее отправиться вперед, оставив ему здесь мою лошадь? Но тише, тише... Кажется, он едет. Я слышу стук копыт.

— Слышите? — испугался Крайгенгельт. — Вы уверены, что он один? Мне кажется, за ним погоня. Я слышу топот нескольких коней — конечно, их много.

— Да полно вам! Это служанка идет за водой и стучит по лестнице деревянными башмаками. Клянусь честью, капитан, вам следует отказаться от вашего чина и от всяких тайных поручений: вы пугливее

дикого гуся. А вот и Рэвенсвуд! И, как видите, один! Он, кажется, мрачен, как ноябрьская ночь.

И точно, в эту минуту на пороге появился Рэвенсвуд в плаще, со скрещенными на груди руками и с задумчивым, печальным выражением лица. Войдя в комнату, он скинул плащ, опустился на стул и, казалось, надолго погрузился в глубокое раздумье.

— Ну что? Что? — бросились к нему Крайгенгельт и Бакло.

— Ничего, — угрюмо отрезал Рэвенсвуд.

— Ничего?! — повторил Бакло. — Но вы же уехали с твердым намерением рассчитаться со старым негодяем за все обиды, нанесенные вам, и нам, и всей стране. Вы видели его?

— Видел.

— Вы видели его и не расквитались с ним сполна? Признаюсь, я не этого ожидал от мастера Рэвенсвуда.

— Какое мне дело до того, что вы ожидали. Вам, сэр, я не намерен давать отчет в своих действиях.

— Тише, Бакло! — вмешался Крайгенгельт, видя, что его приятель вспыхнул и собирается ответить дерзостью. — Погодите! Рэвенсвуду, наверное, что-нибудь помешало. Но мастер должен извинить тревогу и любопытство столь преданных ему друзей, как вы и я.

— Друзей, капитан Крайгенгельт! — надменно воскликнул Рэвенсвуд. — Я что-то не припомню, чтобы мы были в близких отношениях. Не знаю, по какому праву вы называете себя моим другом. Мне кажется, вся наша дружба ограничивается тем, что мы условились вместе уехать из Шотландии, как только я побываю в замке, некогда принадлежавшем моим предкам, и повидаясь с его новым владельцем, я не скажу — законным хозяином.

— Совершенно верно, мастер Рэвенсвуд, — ответил Бакло, — но, видите ли, мы полагали, что вы намерены обстригать тут одно дельце, небезопасное для вашей головы. И вот мы с Крайги решили задержаться ради вас, хотя и рисковали собственной шкурой. Что касается Крайги, то ему это, может быть, и безразлично: ему все равно болтаться на виселице; но

мне б не хотелось позорить свой древний род такой бесславной смертью, да еще ради чужого человека.

— Я очень сожалею, джентльмены, что причинил вам столько хлопот, — сказал Рэвенсвуд, — но я оставляю за собой право самому решать свои дела и не собираюсь никому давать в них отчет. Я изменил свое намерение и пока остаюсь в Шотландии.

— Остаетесь! — воскликнул Крайгенгельт. — Вы остаетесь после того, как я потратил на вас столько сил и денег: подвергался опасности быть узнанным, заплатил за фрахт и простой судна!

— Сэр, — ответил Рэвенсвуд, — когда я принял поспешное решение покинуть родину, я воспользовался вашим любезным предложением доставить мне средства к отъезду, но, насколько мне помнится, я не брал на себя обязательств уехать во что бы то ни стало, даже в том случае, если я изменю свое решение. Я приношу вам свои сожаления и благодарность за ваши хлопоты обо мне. Что же касается ваших издержек, — прибавил он, опуская руку в карман, — то есть средство уладить дело: я не знаю, что стоит фрахт и простой судна, но вот мой кошелек, возьмите, сколько вам следует.

И Рэвенсвуд протянул самозванному капитану кошелек с несколькими золотыми.

Но тут настала очередь Бакло вмешаться.

— Я вижу, Крайги, — сказал он, — что у вас так и чешутся руки схватить этот кошелек; но клянусь небом, если вы к нему прикоснетесь, я отрублю вам этой шпагой пальцы. Раз Рэвенсвуд изменил свое намерение, нам больше незачем здесь оставаться. Я только просил бы позволения сказать...

— Говорите, пожалуйста, — перебил его капитан, — но прежде я должен указать мастеру Рэвенсвуду на все неудобства, которым он подвергается, расставаясь с нами, и напомнить ему обо всех опасностях, ожидающих его здесь, а также о трудностях, с которыми он встретится в Версале или Сен-Жермене, если явится туда, не заручившись поддержкой тех, кто уже завязал там нужные связи.

— Не говоря о том, что он потеряет дружбу по крайней мере одного честного и благородного человека, — прибавил Бакло.

— Джентльмены, — возразил Рэвенсвуд, — позвольте мне еще раз вам заметить, что вы придали нашему мимолетному знакомству гораздо больше значения, чем я ожидал. Если мне вздумается отправиться служить при иностранном дворе, я обойдусь без рекомендации интригана и авантюриста, и я не нахожу нужным дорожить дружбой шалого сорванца.

И, не ожидая ответа, Рэвенсвуд вышел из комнаты, сел на лошадь и ускакал.

— Черт возьми, — воскликнул Крайгенгельт, — я потерял рекрута!

— Да, капитан, — подтвердил Бакло, — рыба ушла вместе с крючком и наживкой. Но я догоню его: он наговорил мне таких дерзостей, каких я не могу ему спустить.

Крайгенгельт вызвался сопровождать приятеля, но Бакло отклонил это предложение.

— Не стоит, капитан! — воскликнул он. — Сидите у камина и ждите моего возвращения. В непродырявленной шкуре лучше спится.

Старуха за печкой не ведает стужи,
Как знать ей, что ветер бушует снаружи.

И, напевая эту веселую песенку, Бакло вышел из комнаты.

Глава VII

Ну, Билли Бьюик, нам, пожалуй,
Добром не разойтись,
И коль ты вправду храбрый малый,
Со мной сейчас сразись.

Старинная баллада

Увидав, в каком состоянии находится его запасная лошадь, Рэвенсвуд сел на иноходца, на котором приехал, и, чтобы не загнать его окончательно, пустил

шагом по направлению к старой башне «Волчья скала». Внезапно он услышал за собой конский топот и, оглянувшись, увидел, что за ним гонится Бакло, немного замешкавшийся при выезде из трактира, ибо слишком велико было искушение подробно объяснить конюху, как лечить хромую лошадь; однако он наверстал потерянное время, пустив коня вскачь, и настиг Рэвенсвуда в том самом месте, где дорога проходила по вересковой пустоши.

— Остановитесь, сэр! — крикнул Бакло. — Я не какой-нибудь политический агент вроде капитана Крайгенгельта, который так дорожит своей жизнью, что боится рисковать ею ради чести. Я Фрэнк Хейстон из Бакло. Всякий, кто нанесет мне оскорбление действием или словом, жестом или взглядом, должен дать мне удовлетворение.

— Отлично, мистер Хейстон из Бакло, — ответил Рэвенсвуд очень спокойным и равнодушным тоном, — но я не имел с вами ссоры и не желаю ее иметь... Наши дороги, не только теперь, но и вообще, лежат в разных направлениях, и я не вижу причин для столкновений.

— Не видите? — запальчиво воскликнул Бакло. — Зато я вижу, черт возьми: вы называли нас интриганами и авантюристами.

— Выражайтесь точнее, мистер Бакло: эти слова относились только к вашему собутыльнику, и согласитесь, что он их заслуживает.

— Ну и что же, сэр? Он находился в моем обществе, а никто не смеет — прав он или не прав — оскорблять моего приятеля при мне.

— В таком случае, мистер Хейстон, — возразил Рэвенсвуд с прежним хладнокровием, — вам следует быть строже в выборе приятелей; боюсь, что в роли их заступника вы не оберетесь хлопот. Послушайтесь доброго совета: поезжайте-ка домой да выпитесь хорошенько. Завтра вы посмотрите на это дело спокойнее.

— Ну нет, сэр, вы не за того меня принимаете. От меня вы не отделаетесь вашим надменным тоном и мудрыми советами. Ко всему прочему, вы называли

меня шалым сорванцом и, если хотите кончить дело миром, извольте взять свои слова назад.

— Говоря по чести, вряд ли я это сделаю, если вы не измените своего поведения и не покажете мне, что я ошибался.

— Ах так, сэр, — вскипел Бакло. — Весьма сожалею, но, при всем моем уважении к вам, я требую, чтобы вы либо немедленно извинились передо мной за ваши дерзости и взяли их назад, либо назначайте время и место.

— В этом нет необходимости, — ответил Рэвенсвуд. — Я сделал все от меня зависящее, чтобы избежать ссоры, но если вы настаиваете, то это поле не хуже любого другого.

— Так долой с лошади и обнажайте шпагу! — воскликнул Бакло, первый подавая тому пример. — Я всегда думал и говорил, что вы молодец, и мне не хотелось бы менять свое мнение.

— Я не собираюсь давать вам повод к этому, сэр, — ответил Рэвенсвуд, соскакивая с лошади и принимая оборонительное положение.

Шпаги тотчас скрестились, и поединок начался. Бакло, заядлый дуэлянт, владевший шпагой с удивительной ловкостью и проворством, повел бой с большим жаром. Но на этот раз его искусство ему не помогло: раздраженный холодным и презрительным обращением Рэвенсвуда, в особенности тем, что тот не сразу принял его вызов, он, не умея сдерживать нетерпение, бросился на противника с неосмотрительной горячностью. Рэвенсвуд, не менее искусно владевший шпагой, но обладавший большей выдержкой, только защищался и даже не пожелал воспользоваться несколькими промахами не в меру горячившегося врага. Наконец Бакло сделал отчаянный выпад, но, вместо того чтобы поразить Рэвенсвуда, поскользнулся и упал на траву.

— Дарю вам жизнь, сэр, — сказал Рэвенсвуд, — постарайтесь исправиться.

— Боюсь, ничего путного из меня уже не получится, — ответил Бакло, медленно поднимаясь и беря шпагу: он был гораздо меньше расстроен исходом по-

единка, чем можно было бы ожидать при неуравновешенности его нрава. — Благодарю вас за великодушие. Вот вам моя рука: я нисколько не сержусь на вас за свою неудачу и ваше искусство.

Рэвенсвуд пристально посмотрел на него и, протянув руку, сказал:

— Вы благородный человек, Бакло. Я виноват перед вами и чистосердечно прошу прощения за необдуманные и обидные слова; сознаюсь, они несправедливы.

— Правда? — обрадовался Бакло, и лицо его тотчас приняло свойственное ему беспечно-нагловатое выражение. — Вот уж чего я меньше всего ожидал! Говорят, вы неохотно отказываетесь от своих слов и убеждений.

— Я никогда не отказываюсь от своих слов, если говорю обдуманно.

— Значит, вы благоразумнее меня: я всегда сначала дерусь, а потом уже объясняюсь. Если противник убит, то все счета кончены, если же нет, то мир всего легче заключить после войны. Но что надо этому крикуну? — прибавил Бакло, указывая на мальчика верхом на осле. — Жаль, что он не прибыл сюда несколькими минутами раньше. Впрочем, мы бы все равно кончили, так или иначе; и, право, я вполне доволен исходом дела.

Тем временем мальчик, ударами палки заставлявший осли нестись во всю прыть, приблизился к ним и, подобно одному из героев Оссиана, принялся возглашать новости еще издали.

— Джентльмены, джентльмены! — кричал он. — Спасайтесь! Хозяйка послала сказать вам, что в гостинице солдаты. Они схватили капитана Крайгенгельта и ищут мистера Бакло. Уезжайте отсюда, да поскорее!

— Клянусь честью, ты прав, дружище, — сказал Бакло. — Вот тебе шестипенсовик за предупреждение. Я дал бы вдвое тому, кто указал бы, куда мне ехать.

— Пожалуйста, Бакло, — отозвался Рэвенсвуд, — поедем ко мне в «Волчью скалу»; в моей старой башне найдутся такие уголки, где вас не отыщет и тысяча солдат.

— Это может навлечь на вас беду, Рэвенсвуд. Если вы еще не спутались с якобитами, то не к чему мне втягивать вас в такое дело.

— Пустое, мне нечего бояться.

— В таком случае я с радостью поеду с вами; по правде говоря, я не знаю, куда Крайгенгельт собирался отвести нас, а если его схватили, он не преминет рассказать властям всю правду обо мне да сочинит тысячу небылиц о вас, лишь бы самому спастись от петли.

Молодые люди тотчас сели на коней и, свернув с проезжей дороги, поскакали пустынным вересковым полем, выбирая уединенные тропинки, которые им, как охотникам, были хорошо известны, но совершенно неведомы другим. Они долго ехали молча, двигаясь со всей быстротой, на какую был способен усталый иноходец Рэвенсвуда; наконец совершенно стемнело, и они пустили лошадей шагом, отчасти потому, что с трудом различали дорогу, отчасти же потому, что считали себя уже вне опасности.

— Ну, кажется, можно чуть отпустить поводья, — сказал Бакло, — и, если позволите, я бы хотел задать вам один вопрос.

— Сделайте одолжение, — ответил Рэвенсвуд. — Но прошу не обижаться, если я не сочту нужным на него ответить.

— Пожалуйста, — возразил его недавний противник. — Просто я хотел спросить, какого дьявола вы, человек с такой хорошей репутацией, решили связаться с таким мошенником, как Крайгенгельт, и с таким сорвиголовой, каким слывет Бакло.

— Очень просто: я был в отчаянном положении и искал себе в товарищи отчаянных людей.

— Так почему же вы вдруг, ни с того ни с сего порвали с нами? — продолжал Бакло.

— Потому что изменил свои планы, — ответил Рэвенсвуд, — и отказался, во всяком случае на время, от того, что задумал. Вы видите, я честно и откровенно отвечаю на ваши вопросы. Ответьте же теперь на мой: что заставляет вас водить дружбу с Крайген-

гельтом, человеком настолько ниже вас как по рождению, так и по своим понятиям?

— По правде говоря, только то, что я дурак и промотал свое состояние. Моя двоюродная бабка, леди Гернингтон, решила, по-видимому, жить второй век. Единственная моя надежда — это перемена правительств. С Крайги я познакомился за картами. Он сразу же смекнул, в каком я положении, — дьявол, он всегда тут как тут, — наговорил с три короба о своих полномочиях из Версаля и о связях в Сен-Жермене, пообещал выхлопотать мне капитанский чин в Париже, а я, такой олух, попался на удочку. Уверен, что теперь он уже успел понаскзать обо мне властям немало хорошеньких историй. Вот до чего довели меня вино, карты, женщины, петушинные бои, борзые и лошади.

— Да, Бакло, — ответил Рэвенсвуд, — вы вскормили на своей груди множество гадюк, которые теперь вас же терзают.

— Что правда, то правда; но, не во гнев вам будь сказано, вы тоже пригтели на своей груди огромного гада, который пожрал всех прочих; он наверняка проглотит и вас, не хуже чем мои шесть гадюк прикончат все, что еще осталось у бедного Бакло, хотя мой конь да я сам — вот все, что у меня есть.

— Я не могу быть на вас в обиде за ваши слова — я первый подал вам пример, — ответил Рэвенсвуд, — но, говоря без метафор, в какой чудовищной страсти вы меня обвиняете?

— В жажде мести, сэр, в жажде мести. А эта страсть, которая не менее к лицу джентльмену, чем страсть к вину, веселым пирушкам и всему такому прочему, тоже недостойна христианина, но не в пример кровавее. Куда лучше сломать ограду, выслеживая лань или девчонку, чем застрелить старика.

— Неправда! — воскликнул Рэвенсвуд. — У меня никогда не было подобного намерения, клянусь честью! Я хотел только, прежде чем покинуть отчизну, встретиться наедине с гонителем моего рода, чтобы бросить ему в лицо обвинение в произволе и беззаконии.

Я нарисовал бы ему такую картину несправедливости, что его душа содрогнулась бы от ужаса.

— Возможно, — согласился Бакло. — Но старик тут же взял бы вас за шиворот и позвал бы на помощь слуг, и тогда, надо полагать, вы, в свою очередь, взяли бы и вытрясли из него эту самую душу. Да одного вашего вида вполне достаточно, чтобы запугать его до смерти.

— Не забывайте о тяжести его вины! Не забывайте, что его жестокосердие принесло нам гибель и смерть: он разорил наш древний род, он убил моего отца. В старину в Шотландии человек, который молча снес бы такие кровные обиды, считался бы не только недостойным руки друга, но даже шпаги врага.

— Признаюсь, Рэвенсвуд, приятно видеть, что черт умеет опутать других людей не хуже, чем тебя. Всякий раз, когда я собираюсь сделать какую-нибудь глупость, он неизменно уверяет меня, что в целом свете не найти поступка благороднее, разумнее и полезнее: я только тогда замечаю, куда я влез, когда уж по пояс увяз в трясине. Вот вы тоже могли бы сделаться убийцей, лишив человека жизни исключительно из уважения к памяти своего отца.

— Вы рассуждаете куда разумнее, чем, судя по вашему поведению, можно от вас ожидать. Вы правы: пороки прокрадываются к нам в душу в образах внешне столь же привлекательных, как те, которые, по мнению суеверных людей, принимает дьявол, желая овладеть человеком, и мы только тогда замечаем их, когда уже слишком поздно.

— Но в нашей власти отделаться от них, — возразил Бакло, — и я это обязательно сделаю, как только умрет леди Гернингтон.

— Вам известно выражение английского богослова: «Дорога в ад вымощена добрыми намерениями»? — заметил Рэвенсвуд. — Или, другими словами: мы чаще обещаем, чем выполняем?

— Ладно, — ответил Бакло, — я начну с сегодняшнего вечера. Клянусь, не пить зараз больше кварты, ну разве что ваше бордо окажется особенно вкусным.

— В «Волчьей скале» у вас вряд ли будет много искушений, — заверил его Рэвенсвуд. — Боюсь, что я могу предложить вам только кров. Все наше вино и съестные припасы уничтожены во время поминального пиршества.

— Дай бог, чтобы по такому поводу они вам подольше не понадобились вновь, — заметил Бакло. — Но зачем же было выпивать все до капли: это, говорят, приносит несчастье.

— Мне все приносит несчастье, — сказал Рэвенсвуд. — А вот и «Волчья скала». — Все, что еще осталось в замке, — к вашим услугам.

Шум моря уже давно возвестил путникам, что они приближаются к утесу, на вершине которого предок Рэвенсвуда, словно горный орел, свил себе гнездо. Бледная луна, долго состязавшаяся с легкими облачками, теперь выглянула из-за них и осветила башню, одиноко возвышавшуюся на крутой скале, нависшей над Северным морем. С трех сторон скала была почти отвесная, четвертую, обращенную к материку, некогда защищал искусственный ров с подъемным мостом, но мост сломался и разрушился, а ров почти совсем завалило, и теперь ничто не мешало всаднику проникнуть на узкий двор, застроенный с двух сторон службами и конюшнями, наполовину уже развалившимися; спереди, со стороны материка, двор заканчивался зубчатой стеной; с противоположной стороны высилась сама башня — высокая и узкая, с серыми каменными стенами, она при тусклом лунном свете казалась призраком в прозрачном одеянии. Трудно было представить себе жилище печальнее и уединеннее. Где-то далеко внизу слышался зловещий, тяжелый гул беспрестанно разбивавшихся о скалы волн, и этот звук, как и вся открывавшаяся взору картина, казался символом неизбывной тоски и ужаса.

Хотя сумерки только что сгустились, ничто в этом одиноком жилище не обнаруживало присутствия живого существа; только в одном из узких зарешеченных окон, прорубленных на разной высоте и на неравных расстояниях друг от друга, мерцал огонек.

— Это — комната единственного слуги, который еще остался в нашем доме, — сказал Рэвенсвуд. — Счастье, что он здесь. Не будь его, мы не нашли бы ни огня, ни света. Поезжайте за мной следом: дорога узка, и можно проехать только по одному.

В самом деле, тропинка шла теперь по узкой полоске земли, соединявшей материк со скалой, на дальнем конце которой стояла башня. Выбор места и стиль постройки говорили о том, что шотландские бароны больше заботились о неприступности жилья, чем о его удобствах.

Осторожно продвигаясь вперед, путники благополучно въехали во двор. Но прошло еще много времени, прежде чем усилия Рэвенсвуда, громко стучавшего в низкую входную дверь, увенчались успехом, хотя он не переставал звать Калеба, приказывая ему отпереть калитку и впустить их.

— Старик, должно быть, уехал, или с ним произошел обморок, — сказал наконец владелец этого мрачного жилища. — Даже семь эфесских отроков проснулись бы от такого грохота.

Наконец послышался робкий, дрожащий голос:

— Мастер Рэвенсвуд, мастер Рэвенсвуд, это вы?

— Я, Кaleb, я, отворите же поскорее.

— Вы ли это или дух ваш? Уж лучше бы мне явилось полсотни дьяволов, чем призрак моего господина или даже бессмертная его душа. Прочь! Прочь! Будь вы стократ мой господин, я не пущу вас, если вы не человек из плоти и крови.

— Да я же это, я, глупый старик, — возразил Рэвенсвуд. — Из плоти и крови, живой, хотя и полумертвый от холода.

Свет в верхнем окне исчез и, постепенно снижаясь, замелькал то в одной, то в другой бойнице — очевидно, Кaleb, несший лампу, спускался по винтовой лестнице, устроенной в одной из угловых башенок старого замка. Он шел очень медленно, и это вызвало несколько нетерпеливых восклицаний Рэвенсвуда и немало проклятий у его менее терпеливого и более пылкого спутника. Но прежде чем отодвинуть засов, слуга снова заколебался и еще раз спросил — дей-

ствительно ли люди, а не бесплотные духи просят пустить их в замок в столь поздний час.

— Если бы я мог до тебя добраться, старый дурак, — воскликнул Бакло, — я бы тебе показал, какой я бесплотный дух.

— Отворяйте, Калев, — приказал Рэвенсвуд более мягким тоном: во-первых, он привык уважать верного старого слугу, а во-вторых, возможно, понимал всю бесполезность угроз, пока между ними и Калелем находилась крепкая дубовая дверь, окованная железом.

Наконец, приподняв дрожащей рукой железный засов, Калев отворил тяжелую дверь и предстал перед путниками. Это был худой белый как лунь старик с большой лысиной и крупными чертами лица, особенно четко выступавшими при свете мерцавшей лампы, которую он держал в правой руке, тогда как левой заслонял пламя от ветра. Испуганно-почтительные взгляды, которые он бросал вокруг себя, резкий контраст между ярко освещенным лицом и закрытыми тенью сединой могли бы послужить сюжетом для превосходной картины; но наши путешественники горели нетерпением укрыться от надвигавшейся бури, а потому не стали предаваться созерцанию его живописной внешности.

— Вы ли это, мой дорогой господин, вы ли это? — воскликнул старый слуга. — Горе мне! Заставить вас дожидаться у ворот вашего собственного замка; но кто бы мог подумать, что вы возвратитесь так скоро, а с вами незнакомый джентльмен... (Тут Калев прервал свою речь и заметил, так сказать, в сторону, обращаясь к кому-то внутри замка и явно не предназначенная своих слов для тех, кто ждал во дворе: «Эй, Мизи, Мизи, пошевеливайся, ради бога! Скорее разведи огонь! Возьми старый трехногий стул, возьми что угодно, лишь бы горело».) Боюсь, у нас мало припасов: мы ждали вас не раньше, чем через несколько месяцев. Уж тогда бы постарались принять вас, как подобает вашему высокому званию и рождению. Но что поделаешь...

— Что поделаешь, Калев, — прервал его Рэвенсвуд. — Наши лошади нуждаются в отдыхе, да и мы

тоже. Надеюсь, вы не огорчены тем, что я возвратился раньше, чем собирался.

— Огорчен, милорд!.. Для всех честных людей вы всегда останетесь милордом, как ваши предки все эти триста лет, которые были лордами, не спрашивая на это соизволения какого-нибудь вигам... Сожалеть о возвращении лорда Рэвенсвуда в один из его родовых замков! (Тут он снова зашептал в сторону, обращаясь к своей невидимой помощнице, находившейся где-то за сценой: «Мизи, зарежь сейчас же курицу, что сидит на яйцах. И без разговоров! Не твоя забота!») Это не лучший из наших замков, — продолжал он, поворачиваясь к Бакло. — Просто крепость, в которой лорд Рэвенсвуд скрывается, — то есть... я хотел сказать, не скрывается, а уединяется в смутное время, вот как сейчас, когда ему нельзя удалиться в глубь страны, в одно из главных своих поместий; к слову сказать, стены башни очень древние и, говорят, заслуживают внимания.

— Поэтому вы решили дать нам время полюбоваться ими, — сказал Рэвенсвуд, забавляясь уловками, которые изобретал старик, стараясь подольше продержат путников перед закрытой дверью, в то время как верная его сообщница Мизи делала все необходимые приготовления в замке.

— О! Меня мало заботит, как выглядят стены снаружи, любезнейший, — заметил Бакло. — Покажите-ка лучше, что у вас там внутри, да отведите лошадей на конюшню, вот и все.

— Да, сэр, слушаю, сэр... Милорд и его высокочтимый друг...

— Наши лошади, старина, наши лошади... — перебил его Бакло. — После такой утомительной и долгой дороги они охромеют, стоя тут на холоду, а мой конь слишком хорош, чтобы его портить. Так вот, займитесь-ка лошадьми!

— Ах да, лошади... Сейчас крикну конюхов, — засуетился Калев и громовым голосом, разнесшимся по всему двору, заорал: — Эй, Джон! Уильям! Сондерс!.. Мошенники... Они или спят, или ушли куда-нибудь, — прибавил он, подождав несколько минут ответа, кото-

рого, он знал, ему не от кого было ждать. — Когда хозяин в отъезде, все в доме не так. Я сам позабочусь о лошадях.

— И отлично сделаете, — сказал Рэвенсвуд, — а то как бы бедные животные не остались и вовсе без ухода.

— Тише, милорд, ради бога тише, — шепнул Калев на ухо Рэвенсвуду умоляющим тоном. — Если вы не дорожите своей честью, то пощадите мою: и без того будет трудно хоть сколько-нибудь прилично устроить вас на ночь, как бы я тут ни старался.

— Ничего, ничего, — успокоил его Рэвенсвуд. — Отведите лошадей на конюшню. Надеюсь, сено и овес у нас найдутся.

— О, сена и овса вдоволь, — решительно и громко объявил Калев и тут же прибавил вполголоса: — После похорон осталось несколько мер овса и немного сена.

— Хорошо, — сказал Рэвенсвуд, взяв лампу из рук слуги, который, казалось, неохотно ее уступил. — Я сам посвечу гостю.

— Как можно, милорд! Ни в коем случае! Если бы вы только потерпели несколько минут, ну самое большее четверть часа, и полюбовались Басом и Норт-Бериком при лунном свете, пока я займусь лошадьми, я бы проводил вас в замок со всеми подобающими вашей светлости и вашему высокочтимому гостю почестями. К тому же серебряные канделябры убраны, а разве лампа достойна...

— Она вполне нас удовлетворит, — сказал Рэвенсвуд. — Вам же в конюшне огонь ни к чему: насколько мне помнится, ветром снесло с нее полкрыши.

— Точно так, милорд, — ответил верный слуга и сразу нашелся, добавив: — Какое ленивое отродье эти кровельщики! Все еще не явились чинить крышу, милорд!

— Если бы у меня хватало духу смеяться над невзгодами моего семейства, — сказал Рэвенсвуд, провожая гостя навстречу, — бедный старик дал бы мне немало поводов для смеха. Он помешан на том, чтобы представить наше жалкое хозяйство не таким, каково

оно на самом деле, а каким, по его мнению, оно должно быть, и, по правде говоря, хитрости, на которые пускается мой бедный дворецкий, пытаюсь добыть то необходимое, без чего, по его понятиям, невозможно поддержать честь семьи, и его пространные извинения, когда, несмотря на всю свою изобретательность, он не может раздобыть замену недостающим предметам, — все это уже не раз забавляло меня. Однако, хотя башня и невелика, но без него мне будет трудно отыскать комнату, где затоплен камин.

С этими словами Рэвенсвуд отворил дверь.

— Ну, здесь по крайней мере, — сказал он, — не видно ни огня, ни постели.

И точно, глазам путников представилась картина печального запустения. Большой зал с резными сводами, напоминавшими своды Уэстминстер-холла, оставался почти в том же состоянии, в каком гости покинули его после поминок. На большом дубовом столе грудой лежали опрокинутые кувшины, мехи, оловянные стопы и баклаги; пол был усеян осколками бокалов, этих хрупких сосудов веселья, принесенных в жертву восторженными гостями. Что же касается серебряной посуды, которой ради такого случая друзья и родственники снабдили Рэвенсвуда, то они же и унесли ее тотчас после буйной попойки, столь же ненужной, сколь и несвоевременной. Словом, в этом зале не было и намека на благоденствие, напротив, все говорило о недавней расточительности и нынешнем запустении. Черное сукно, заменившее во время похоронного пира изъеденные молью ткани, было наполовину сорвано и свисало со стен лохмотьями, обнаруживая голые, даже не оштукатуренные камни. Вид перевернутых, брошенных где попало стульев довершал общую картину, давая понять, какой беспорядок царил в этих стенах под конец поминальной оргии.

— Этот зал, мистер Бакло, был местом разгула, а не скорби, — сказал Рэвенсвуд, приподымая лампу. — Что ж, вполне справедливо, если он имеет столь скорбный вид теперь, когда мог бы выглядеть радостно.

Путники покинули это печальное место и двинулись дальше; отворив понапрасну еще несколько дверей, они вошли наконец в небольшую комнату, пол которой был устлан циновками, а в камине, к великому их удовольствию, пылало пламя, — очевидно, следуя указаниям Калеба, Мизи ухитрилась наскрести немного пищи для огня. Радуюсь в душе, что в замке нашелся уютный уголок, на что, казалось, было трудно рассчитывать, Бакло подошел к камину и, удовлетворенно потирая руки, добродушно выслушал извинения Рэвенсвуда.

— К сожалению, я не могу предложить вам никаких удобств, — сказал он. — Я сам их не имею. В этих стенах давно уже не знают, что такое комфорт, а может быть, никогда и не знали; но приют и безопасность, пожалуй, я могу вам обещать.

— И прекрасно, — ответил Бакло, — мне больше ничего и не надо. А если к этому прибавить добрый ростбиф да глоток вина, я буду вполне удовлетворен.

— Боюсь, что вас действительно ждет очень скудный ужин, — сказал Рэвенсвуд, — я слышу, как совещаются Калев и Мизи. При всех его достоинствах, бедняга Болдерстон, к несчастью, глуховат, и его секреты слышны всем, в особенности тем, от кого он больше всего стремится скрыть свои проделки... Тише!

Хозяин и гость прислушались; из соседней комнаты до них донесся голос Калеба. Старый слуга наставлял Мизи.

— Выше голову, Мизи, выше голову! — поучал он. — Под хорошим соусом все можно подать.

— Но курица старая, она будет жесткая, как пошва.

— Скажешь, что ошиблась. Скажешь, что ошиблась. Не ту взяла, — увещевал верный Калев, стараясь говорить вполголоса. — Возьми все на себя; только бы не пострадала честь дома.

— Но курица... — возразила Мизи. — Она сидит на яйцах где-то под троном в зале. Я боюсь идти туда в темноте: там привидения, и потом мне все равно ее не найти. Там темно, как в пропасти, а в доме нет другой лампы, кроме той, что у господ. А если я даже

и поймаю курицу, ведь надо же ее ощипать, выпотрошить, изжарить. А как же все это сделать, когда они сидят у единственного в доме огня!

— Ну, будет, будет, — проворчал старый слуга, — подожди здесь минуту. Сейчас я постараюсь взять у них лампу.

И Калед Болдерстон вошел в комнату, несколько не подозревая, что там слышали всю предшествующую интермедию.

— Ну что ж, старина, есть ли надежда на ужин? — спросил Рэвенсвуд.

— Надежда на ужин, милорд? — повторил Калед, делая вид, что он глубоко оскорблен сомнением, прозвучавшим в голосе хозяина. — Как вы можете спрашивать? Разве мы не в доме вашей светлости? Надежда на ужин! Тоже скажете. Но ведь говядину вы есть не станете! У нас пропасть жирной птицы, так и просится на вертел или на рашпер. Зажарь каплуна, Мизи! — закричал он с такой уверенностью, словно в доме и впрямь водились каплуны.

— Не надо мне каплуна, — остановил его Бакло, считая долгом вежливости облегчить бедному дворецкому его тяжелые обязанности. — У вас найдется немного холодного мяса или просто кусок хлеба?

— Сейчас принесу отличных овсяных лепешек! — воскликнул Калед, у которого словно гора свалилась с плеч. — А что до холодного мяса, так холодного у нас в доме, слава богу, предостаточно. Правда, после похорон все остатки мяса и пирогов, как полагается, роздали бедным, однако ж...

— Будет, Калед, — прервал его Рэвенсвуд, — пора кончать. Мой гость, молодой лэрд Бакло, скрывается от преследования, и потому...

— Он не будет взыскательнее вашей милости, — понимающе кивнул Калед, сразу повеселев. — Очень сожалею, что у джентльмена неприятности, но от души рад, что он не станет бранить наше хозяйство, раз у него самого дела не лучше наших... Не скажу, чтоб наши дела были плохи, слава богу, нет, — прибавил он, тотчас отрекаясь от вырвавшегося у него в порыве радости признания, — но разве сравнишь с

тем, что было, или с тем, что должно быть! Ну, а что касается ужина... Что за беда, если и приврешь немного. У нас есть баранья лопатка, ее подавали на стол всего три раза, а, как вашим милостям известно, чем ближе к кости, тем мясо слаще; потом есть немного овечьего сыра, кусочек превосходного масла и... и... Но этого, вероятно, будет достаточно.

Калев с готовностью извлек скромные припасы и со всей подобающей случаю торжественностью разместил их на круглом столике перед молодыми людьми, которые, нимало не смущаясь скудостью и незатейливостью трапезы, тут же за нее принялись. Калев подавал тарелки с особой предупредительностью, словно надеялся почтительным обхождением заменить отсутствующих слуг.

Но увы! Когда имеешь дело с голодным гостем, даже самое тщательное, самое точное соблюдение церемониала не может возместить существенной части обеда. Уничтожив значительную часть уже и без того порядком обглоданной баранины, Бакло потребовал эля.

— Не смею предложить вам нашего эля, — ответил Калев, — нехорошо вышло сусло, да и гроза была; но, сэр, такой воды, как в нашем колодце, клянусь, вы никогда не пили!

— Ну, если эль прокис, дайте вина, — сказал Бакло, морщась при одном упоминании о чистой влаге, так горячо рекомендуемой Калевом.

— Вина? Слава богу, вина у нас предостаточно, — храбро соврал Калев. — Всего два дня тому назад... не дай бог никому пить по такому поводу... в этом доме выпили столько вина, что хватило бы для спуска шлюпки. Уж в чем в чем, а в вине у лорда Рэвенсвуда никогда не было недостатка.

— Так перестаньте угощать нас разговорами и подайте вина! — отозвался хозяин дома, и Калев пустился в путь.

Спустившись в погреб, он опрокинул все бочонки, уже пустые, и стал трясти их в отчаянной надежде нацедить со дна хоть немного бордо, надеясь наполнить принесенную им с собою кружку. Увы, они были

уже старательно осушены, и, даже пустив в ход весь свой опыт, всю свою смекалку, старый дворецкий не набрал и кварталы мало-мальски пригодного вина.

Однако Калек был слишком искусным стратегом, чтобы покинуть поле битвы без всякой попытки прикрыть свое отступление. Не теряя присутствия духа, он бросил на пол пустую кружку, делая вид, что поскользнулся на пороге, крикнул Мизи, чтобы та подтерла вино, которого вовсе не проливал, и, поставив на стол другую кружку, выразил надежду, что для их милостей осталось еще довольно. Действительно, вина оказалось вполне достаточно, ибо даже Бакло, верный друг виноградной лозы, не нашел в себе сил возобновить атаку на винные погреба «Волчьей скалы» и согласился, хотя и неохотно, удовольствоваться стаканом воды. Теперь предстояло устроить гостя на ночлег, и так как ему предназначалась потайная комната, то перед Калексом открылись первоклассные возможности правдоподобнейшим образом объяснить убожество ее убранства, нехватку постельного белья и прочее.

— Кому бы пришло в голову, — говорил он, — что понадобится наш тайник. Он пустует со дня заговора Гаури, и не мог же я пустить сюда женщину: вы, ваша милость, сами понимаете, что после этого убежище недолго оставалось бы потайным.

Глава VIII

Столы пустые стояли угрюмо,
Чернел холодный и мертвый камин,
Ни звона чаш, ни веселого шума...
«Здесь радости мало», —

промолвил Линн.

Старинная баллада

Возможно, что Рэвенсвуду в заброшенной башне «Волчья скала» были не чужды те чувства, которые охватили расточительного наследника Линна, когда, как рассказывается в превосходной старинной песне,

промотав все свое состояние, он остался единственным обитателем пустынного жилища. Рэвенсвуд имел, однако, преимущество над блудным сыном баллады: как бы то ни было, он дошел до нищеты не по собственной глупости. Он унаследовал свои несчастья от отца вместе с благородной кровью и титулом, который вежливые люди могли употреблять перед его именем, а грубые — опускать, как кому заблагорассудится, — вот и все наследство, доставшееся ему от предков.

Быть может, эта печальная и вместе с тем утешительная мысль несколько успокоила бедного молодого человека. Утро, рассеивая ночные тени, располагает к спокойным размышлениям, и под его воздействием бурные страсти, волновавшие Рэвенсвуда накануне, несколько поулеглись и утихли. Он был теперь в состоянии анализировать противоречивые чувства, его волновавшие, и твердо решил бороться с ними и преодолеть их. В это светлое, тихое утро даже пустынная, поросшая вереском равнина, которая открывалась взору со стороны материка, казалась привлекательной; с другой стороны, необозримый океан, грозный и вместе с тем благодушный в своем величии, катил подернутые серебристой зыбью волны. Подобные мирные картины природы приковывают к себе человеческое сердце, даже взволнованное страстями, побуждая на благородные и добрые поступки.

Покончив с исследованием своего сердца, которое на этот раз он подверг крайне суровому допросу, Рэвенсвуд первым делом отыскал Бакло в отведенном ему убежище.

— Ну, Бакло, как вы себя чувствуете сегодня? — приветствовал он гостя. — Как вам спалось на ложе, на котором некогда мирно почивал изгнанный граф Ангюс, несмотря на все преследования разгневанного короля?

— Гм! — воскликнул Бакло, просыпаясь. — Мне не пристало жаловаться на помещение, которым пользовался такой великий человек; матрац, пожалуй, очень уж жесткий, стены несколько сыроваты, крысы злее, чем я ожидал, судя по количеству запасов у

Калеба; и, мне кажется, если бы у окон были ставни, а над кроватью полог, комната бы много выиграла.

— Действительно, здесь очень мрачно, — сказал Рэвенсвуд, оглядываясь кругом. — Вставайте и пойдете вниз. Калек постарается покормить вас сегодня за завтраком лучше, чем вчера за ужином.

— Пожалуйста, не надо лучше, — взмолился Бакло, вставая с постели и пытаясь одеться, несмотря на царящий в комнате мрак. — Право, если вы не хотите, чтобы я отказался от намерения исправиться, не меняйте вашего меню. Одно воспоминание о вчерашнем напитке Калеба лучше двадцати проповедей уничтожило во мне желание начать день стаканом вина. А как вы, Рэвенсвуд? Вы уже начали доблестную борьбу с пожирающим вас гадом? Видите, я стараюсь понемногу расправиться с моим змеиным вывотком.

— Начал, Бакло, начал, и во сне мне на помощь явился прекрасный ангел.

— Черт возьми! — сказал Бакло. — А мне вот неоткуда ждать видений. Разве что моя тетка, леди Гернингтон, отправится к праотцам, но и тогда, мне думается, скорее ее земное наследство, нежели общение с ее духом, поможет поддерживать во мне благие намерения. Что же касается завтрака, Рэвенсвуд, то скажите: может быть, олень, предназначенный на паштет, еще бегаёт в лесу, как говорится в балладе?

— Сейчас справлюсь! — ответил Рэвенсвуд и, покинув гостя, отправился разыскивать Калеба.

Он нашёл дворецкого в темной башенке, некогда служившей замковой кладовой. Старик усердно чистил старое оловянное блюдо, стараясь придать ему блеск серебра, и время от времени поощрял себя восклицаниями:

— Ничего, сойдет... кажется, сойдет, только бы они не ставили его слишком близко к свету.

— Возьмите деньги и купите все, что нужно, — прервал его Рэвенсвуд, подавая старому дворецкому тот самый кошелек, который накануне чуть не попал в цепкие когти Крайгенгельта.

Старик покачал лысеющей головой и, взвесив жалкое сокровище на ладони, взглянул на хозяина с выражением глубочайшей сердечной муки.

— И это все, что у вас осталось? — спросил он горестно.

— Да, — сказал Рэвенсвуд, стараясь казаться веселым, — зеленый этот кошелек да золотых еще немного, как говорится в старинной балладе, — вот все, чем мы сейчас располагаем. Ну ничего, Калев, когда-нибудь и наши дела поправятся.

— Боюсь, что к тому времени старая песня забудется, а старый слуга умрет, — возразил Калев. — Впрочем, не следует мне говорить вашей милости такие слова, вы и так очень бледны. Спрячьте кошелек и держите при себе, чтобы при случае нашлось чем похвастаться перед приятелями. И если ваша милость позволит дать вам совет: показывайте его людям почаще, и тогда никто не откажет вам в кредите, хотя добро у нас было, да сплыло.

— Вы же знаете, Калев, что я все еще не отказался от мысли в скором времени уехать отсюда, и мне хотелось бы покинуть родину с репутацией честного человека, не оставляя после себя долгов, во всяком случае таких, в каких повинен я сам.

— Конечно, вы должны оставить после себя добрую память, и так оно и будет. Но старый Калев может взять все на себя, и тогда ответственность за долги падет на него. Я могу и в тюрьме пожить, если придется, а честь дома не пострадает.

Рэвенсвуд попытался было втолковать Калебу, что если он сам не хочет делать долгов, то тем более не потерпит, чтобы его дворецкий отвечал за них; однако Эдгар имел дело с премьер-министром, который был слишком поглощен изобретением новых способов для изыскания денежных средств, чтобы у него явилась охота опровергать доводы, говорящие об их несостоятельности.

— Эппи Смолтраш откроет нам кредит на эль, — рассуждал он сам с собой, — она всю жизнь пользовалась покровительством дома Рэвенсвудов; быть может, удастся взять у нее в долг немного бренди; за

вино не поручусь — она женщина одинокая и больше одного бочонка зараз не покупает; ну да ладно, правдою или неправдою, а бутылочку я у нее как-нибудь достану. Дичь нам будут поставлять наши крестьяне, хотя матушка Хирнсайди говорит, что уже внесла вдвое против того, что следовало... Как-нибудь перебьемся, ваша милость! Перебьемся, не беспокойтесь: пока жив Калеб, честь вашего дома не пострадает.

И действительно, ценою бесконечных усилий Калеб ухитрился кормить и поить своего господина и его гостя в течение нескольких дней; угощение, правда, не отличалось великолепием, но Рэвенсвуд и его гость не были слишком требовательны, а мнимые промахи Калеба, его извинения, уловки и хитрости даже забавляли их, скрашивая скудные обеды, которые к тому же не всегда подавались вовремя. Молодые люди были рады любой возможности повеселиться и хоть как-нибудь убить томительно тянущееся время.

Вынужденный скрываться в замке и лишенный поэтому своих обычных занятий — охоты и веселых попоек, Бакло сделался угрюм и молчалив. Когда Рэвенсвуду надоедало фехтовать или играть с ним в мяч, Бакло отправлялся на конюшню, чистил своего скакуна, наводя глянец то щеткой, то скребницей, то специальной волосяной тряпкой, задавал ему корму и, наблюдая, как конь опускался на подстилку, чуть ли не с завистью смотрел на бессловесное животное, по-видимому вполне довольное такой однообразной жизнью.

«Глупая скотина не вспоминает ни о скачках, ни об охоте, ни о зеленом пастбище в поместье Бакло, — говорил он про себя. — Ее держат на привязи у кормушки в этом развалившемся склепе, и она так же счастлива, как будто родилась здесь; а я пользуюсь всей свободой, какая только доступна узнику, — могу бродить по всем закоулкам этой злосчастной башни — и не знаю, как дотянуть время до обеда».

В таком грустном расположении духа Бакло направлял свои стопы в одну из сторожевых башенок

или к крепостным стенам замка и подолгу смотрел на поросшую вереском равнину или швырял камушками да обломками известки в бакланов и чаек, имевших неосторожность расположиться поблизости от молодого человека, не знающего, чем себя занять.

Рэвенсвуд, наделенный умом, несомненно, более глубоким и серьезным, чем Бакло, предавался тревожным размышлениям, которые нагоняли на него такую же тоску, какую вызывали скука и безделье у его гостя. В первую минуту Люси Эштон не произвела на него сильного впечатления, но образ ее оставил в его памяти глубокий след. Мало-помалу жажда мести, побудившая его искать встречи с лордом-хранителем, начинала утихать; мысленно возвращаясь к прошлому, он решил, что грубо обошелся с его дочерью — так не поступают с девушкой высокого положения и удивительной красоты. На ее благодарный взгляд и любезные слова он ответил чуть ли не презрением; и хотя отец ее заставил его претерпеть немало обид, совесть твердила Рэвенсвуду, что недостойно вымещать их на дочери. Как только мысли молодого человека приняли этот оборот и он в душе признал себя виновным перед Люси, воспоминание о ее прекрасном лице, которому обстоятельства их встречи придали особую выразительность, стало для него одновременно источником утешения и боли. Припоминая ее нежный голос, изысканность выражений, пылкую любовь к отцу, он все более и более сожалел, что так грубо отверг ее признательность, а воображение не переставало рисовать перед ним ее пленительный образ.

Рэвенсвуду с его высокой нравственностью и чистотой помыслов было особенно опасно предаваться подобным размышлениям. Решив во что бы то ни стало побороть в себе жажду мести — сильнейший из всех его пороков, он охотно допускал, более того — вызывал в себе мысли, которые могли служить противоядием этому злему чувству. Он был груб с дочерью врага и поэтому теперь, словно вознаграждая ее за это, естественно, наделял такими совершенствами, какими она, быть может, и не обладала.

Если бы кто-нибудь теперь сказал Рэвенсвуду, что всего лишь несколько дней назад он клялся мстить потомкам того, кого не без основания считал виновником разорения и смерти своего отца, он назвал бы это гнусной клеветой; однако, заглянув в собственную душу поглубже, он должен был бы признать такое обвинение справедливым, хотя при теперешнем его настроении все это даже трудно было бы предположить.

В сердце Рэвенсвуда боролись два противоположных чувства: желание отомстить за смерть отца и восхищение дочерью врага. Он всячески старался подавить в себе первое, второму же чувству он не сопротивлялся, потому что не подозревал о его существовании; и то, что он вернулся к мысли уехать из Шотландии, служило верным тому доказательством. Однако, несмотря на это свое намерение, он продолжал жить в «Волчьей скале», ничего не предпринимая для отъезда. Правда, он сообщил о своих планах кое-кому из родственников, живших в отдаленных графствах Шотландии, и прежде всего маркизу Э***; и всякий раз, когда Бакло требовал от него решительных действий, Рэвенсвуд тотчас же ссыался на необходимость дожидаться ответа, в особенности от маркиза, прежде чем сделать такой важный шаг.

Маркиз был человеком богатым и влиятельным; и хотя его подозревали в недобрых чувствах к правительству, учрежденному после революции, ему все же удалось возглавить одну из партий в шотландском Тайном совете. Эта партия, связанная с приверженцами Высокой церкви в Англии, была так сильна, что грозила вырвать власть из рук сторонников лорда — хранителя печати. Необходимость посоветоваться с лицом столь могущественным служила Рэвенсвуду убедительным доводом, который он приводил Бакло, а может быть, и самому себе, оправдывая их затянувшееся пребывание в «Волчьей скале»; к тому же распространился слух о возможных переменах в шотландском кабинете и даже в самой Шотландии. Эти слухи, которым одни верили, а другие нет, смотря по тому, каковы были собственные помыслы и желания

слушателей, проникли даже в их полуразрушенную башню, главным образом через Калеба, который, ко всем прочим своим достоинствам, отличался страстным интересом к политике и никогда не возвращался из соседнего селения Волчья Надежда без целого ко-роба новостей.

Хотя Бакло не мог представить сколько-нибудь основательных соображений против решения Рэвенсвуда отложить их отъезд из Шотландии, он не стал терпеливее сносить бездеятельность, на которую его обрекала эта отсрочка; только благодаря влиянию, которое приобрел над ним его новый приятель, Бакло кое-как принуждал себя довольствоваться жизнью, столь чуждой всем его привычкам и наклонностям.

— Все считают вас на редкость деятельным человеком, — не раз упрекал он Рэвенсвуда, — а вы, кажется, собираетесь сидеть здесь вечно, словно крыса в подполье. Только крыса разумнее вас и выбирает себе жилье, где по крайней мере есть пища; а у нас здесь извинения Калеба становятся с каждым днем все длиннее, а еда все хуже. Боюсь, что нас скоро постигнет участь ленивца: мы уничтожим на дереве последний лист, и нам ничего не останется, как свалиться вниз и сломать себе шею.

— Не беспокойтесь, — ответил Рэвенсвуд, — провидение печется о нас: не сегодня-завтра произойдет переворот. Многие сердца уже тревожно бьются в ожидании его, а вы и я в нем кровно заинтересованы.

— Какое провидение? Какой переворот? — воскликнул Бакло. — По-моему, у нас и так уже было слишком много переворотов!

Рэвенсвуд молча подал ему письмо.

— Вот оно что! — произнес гость. — Вот, значит, в чем дело. То-то мне сегодня утром показалось, что я слышу, как Калек уговаривает какого-то несчастного выпить стакан воды, убеждая его, что натошак вода гораздо полезнее эля или бренди.

— Это был гонец маркиза Э***, — сообщил Рэвенсвуд. — И ему пришлось испытать на себе пресловутое гостеприимство Калеба. Под конец беднягу угостили кислым пивом и селедками. Однако

прочтите письмо: вы узнаете, какие новости он нам привез.

— Постараюсь, — сказал Бакло. — Я не бог весть какой грамотей, а у его светлости почерк, видно, тоже не из лучших.

Благодаря печатным станкам моего друга Баллантайна читатель пробежит за несколько секунд то, что Бакло разбирал добрых полчаса, несмотря на помощь Рэвенсуда. Вот это письмо:

Достойнейший наш кузен!

Посылая вам нижеследующее, мы передаем вам сердечный привет и желаем заверить вас в живейшем участии, кое проявляем к вашему благополучию и к любым мерам, какие вы предпримете для его упрочения. Если в последнее время, изъясняя вам наше расположение, мы проявили меньше рвения, чем нам хотелось бы в качестве вашего любящего родственника и единокровного дяди, то просим приписать это единственно отсутствию удобного случая, а не нашему равнодушию к вам. Что касается вашего решения предпринять путешествие в чужие края, то в настоящее время оно не представляется нам желательным, ибо ваши враги по своему обыкновению не преминут приписать этой поездке дурные цели, и хотя мы знаем, более того — твердо убеждены, что злые умыслы так же чужды вам, как и нам, но некоторые влиятельные лица могут поверить этой клевете и отнесутся к вам с предубеждением, в чем при всем нашем желании и старании мы не в силах будем им помешать.

Мы охотно подкрепили бы наш совет также и другими доводами, сообщив о некоторых обстоятельствах, могущих послужить на пользу вам и вашему дому и тем самым упрочить ваше решение оставаться в «Волчьей скале» по крайней мере до нового урожая. Но, как говорится, *verbum sapienti*¹ — одно слово скажет умному человеку больше, чем дураку целая проповедь. И хотя мы писали вам письмо собственноручно

¹ Умному достаточно одного слова (лат.).

и вполне доверяем нашему нарочному, который нам многим обязан, но тем не менее, так как никогда неизвестно, где подстерегает нас беда, мы не решаемся доверить бумаге то, что охотно сообщили бы вам устно. Мы с радостью пригласили бы вас в наше поместье в горной Шотландии, где мы могли бы поохотиться на оленя, а заодно поговорить о предметах, на которые ныне решаемся только намекнуть, но в настоящее время обстоятельства не благоприятствуют нашей встрече, а потому придется отложить ее до того дня, когда мы, ликуя, сможем поведать друг другу все то, о чем ныне храним молчание. А пока мы просим не забывать, что всегда были и будем вашим любящим родственником и искренним доброжелателем, ожидающим светлого дня, первые проблески которого мы уже предвидим, и от всего сердца желаем и надеемся на деле доказать вам свое расположение и участие.

Ваш любящий родственник
Э***.

Написано в нашем скромном жилище Б., и пр., и пр.

На обороте стояло:

«Его сиятельству, нашему уважаемому родственнику, мастеру Рэвенсвуду. Спешно! Скакать безостановочно, пока пакет не будет доставлен».

— Что вы скажете об этом послании, Бакло? — спросил Рэвенсвуд, когда его приятель не без труда разобрал письмо.

— Честно говоря, сообразить, что маркиз хочет сказать, почти так же трудно, как разобрать его каракули. Ему необходимо обзавестись «Толкователем остроумных слов и изречений» и «Полным письмовником». На вашем месте я послал бы ему эти книги с его же гонцом. Он любезно советует вам по-прежнему растрачивать время и деньги в этой подлой, тупой, угнетенной стране, но даже не предлагает убежища в своем доме. По-моему, он затеял какую-то интригу и,

думая, что вы можете ему пригодиться, хочет иметь вас под рукой; если же заговор провалится, он всегда успеет предоставить вам возможность выпутываться самому.

— Заговор? Вы подозреваете маркиза в государственной измене?

— А что же еще? Уже давно поговаривают, что маркиз заигрывает с Сен-Жерменом.

— Зачем он вовлекает меня в такие авантюры! — воскликнул Рэвенсвуд. — Достаточно вспомнить царствования Карла Первого и Карла Второго или Иакова Второго! Нет, ни как частное лицо, ни как шотландец, любящий свою родину, я не вижу повода обнажать меч за их наследников.

— Вот как! — возмутился Бакло. — Значит, вы решили оплакивать этих собак круглоголовых, с которыми честный Клеверхауз расправился по заслугам?

— Этих несчастных сначала опорочили, а потом повесили, — ответил Рэвенсвуд. — Хотел бы я дожить до того дня, когда и к вигам и к тори будут относиться с равной справедливостью и когда эти клички останутся в ходу разве что среди политиков кофеен, да и то как бранные слова, как, скажем, «шлюха» или «сука» у рыночных торговков.

— Ну, мы с вами до этого времени не доживем, Рэвенсвуд: болезнь слишком сильно поразила и тело и душу.

— Все-таки когда-нибудь этот день настанет. Не вечно же эти клички будут действовать на людей как звуки боевой трубы. Когда общественная жизнь наладится, люди будут слишком дорого ценить ее блага, чтобы рисковать ими ради политики.

— Все это прекрасно, — возразил Бакло, — но я стою за старинную песню:

Если хлеба много в риге
Да на виселице виги,
А дела идут на славу,
Это мне, друзья, по нраву.

— Вы можете петь как угодно громко, *cantabit vascius*,¹ — сказал Рэвенсвуд, — но, мне сдается, маркиз слишком благоразумен или по крайней мере слишком осторожен, чтобы подтягивать вам. Пожалуй, в своем письме он скорее намекает на переворот в шотландском Тайном совете, чем на революцию в Британском королевстве.

— А, да пропади она пропадом, вся эта ваша политическая игра! — воскликнул Бакло. — К черту все эти заранее обдуманые ходы, которые выполняются титулованными старикашками в расшитых ночных колпаках и шлафроках на меху. Эти господа перемещают лорда-казначей или министра с такой же легкостью, будто переставляют ладью или пешку на шахматной доске. Нет, это не по мне! Для меня забава — игра в мяч, серьезное же дело — война. Мяч меня тешит, а шпага кормит. Ну, а в вас, Рэвенсвуд, сидит все-таки черт: хоть вы и стараетесь вести себя рассудительно и осторожно, уж больно кипит в вас кровь, как вы ни любите пофилософствовать о политических истинах. Вы, видимо, из тех благоразумных мужей, что смотрят на все с завидным спокойствием, пока кровь не ударит в голову, — а тогда... горе тому, кто осмелится им напомнить их же собственные благоразумные правила.

— Быть может, вы читаете в моем сердце лучше, чем я сам, — ответил Рэвенсвуд. — Но рассуждать благоразумно не значит ли уже сделать первый шаг к благоразумным поступкам? Однако слышите, кажется Калек звонит к обеду.

— Чем оглушительнее трезвон, тем скромнее будет угощение, — заметил Бакло. — Можно подумать, что этот дьявольский гул и гром, от которого в один прекрасный день обрушится ваша башня, превратят тощую курицу в жирного каплуна или баранью лопатку в олений окорок!

— Судя по чрезвычайной торжественности, с которой Калек ставит на стол это единственное, к тому

¹ Пустой человек всегда поет (лат.).

же тщательно прикрытое, блюдо, боюсь, действительно превзойдет самые дурные ваши ожидания.

— Снимите крышку, Калев! Ради бога, снимите крышку! — возопил Бакло. — Не надо предисловий! Показывайте, что у вас там спрятано. Ладно, вы уже поставили вашу посудину как нельзя лучше, — прибавил он, торопя старого дворецкого, который, не устаивая его ответом, долго переставлял блюдо, пока с математической точностью не поместил его на самую середину стола.

— Так все-таки что же у нас на обед, Калев? — спросил, в свою очередь, Рэвенсвуд.

— Конечно, милорд, мне следовало бы уже давно доложить вашей милости, но его милость лэрд Бакло так нетерпелив! — ответил Калев, продолжая держать блюдо одной рукой и поддерживая крышку другой с явным нежеланием снять ее.

— Но что же это, наконец? Скажите же, бога ради! Надеюсь, нас ждет не пара блестящих шпор, по старинному шотландскому обычаю?

— Гм, гм! — отозвался Калев — Ваша милость изволит шутить... Впрочем, осмелюсь заметить, это был очень хороший обычай, и, насколько мне известно, его придерживались во многих благородных и богатых семействах. Что же касается нынешнего обеда, то мне казалось, что поскольку нынче канун дня святой Магдалины, некогда достойной нашей королевы, то ваши милости сочтут своим долгом не то чтобы совсем отказаться от пищи, но подкрепиться чем-нибудь полегче — селедочкой, например...

С этими словами Калев снял крышку и явил миру вышеупомянутое лакомство: на блюде лежали четыре селедки.

— Это не простые селедки, — доложил он, чуть понизив голос, — они отобраны и посолены нашей экономкой (бедная Мизи!) с особой тщательностью, исключительно для вашей милости.

— Пожалуйста, избавьте нас от извинений, — сказал Рэвенсвуд. — Будем есть селедки, Бакло, раз больше ничего нет. Кажется, я начинаю разделять

ваше мнение: мы действительно доедаем последний лист, и, если не хотим умереть с голоду, нам решительно нужно искать себе новое место, не дожидаясь, к чему приведет интриги маркиза.

Глава IX

Как прозвучит веселый рог охоты
И зверь в испуге логово покинет,
Ужели тот, в ком кровь кипит живая,
Останется лежать, как труп безгласный,
Всем прелестям творенья недоступный?

«Эсолод», акт. I, сц. I

После легкого ужина, как говорится, и легкий сон; не удивительно поэтому, что после угощения, которое Калев не то по набожности, не то по необходимости, нередко скрывающейся под этим обличьем, преподнес обитателям «Волчьей скалы», сон их не был продолжителен.

На другое утро Бакло вбежал в комнату Рэвенсвуда с громким криком: «Ату его! ату!», способным разбудить даже мертвого.

— Вставайте, вставайте, ради бога! Охотники на равнине! Первая охота за весь месяц, а вы лежите в постели, у которой только то достоинство, что она помягче камня в склепе ваших предков.

— Отложите ваши шутки до другого времени, Бакло, — рассердился Рэвенсвуд. — Не очень-то приятно, едва забывшись после бессонной ночи, проведенной в раздумьях об участи более жестокой, чем это жесткое ложе, вдруг лишиться недолгой минуты покоя.

— Ладно, ладно, — ответил гость. — Вставайте, вставайте! Собаки уже спущены. Я сам оседлал коней: ваш Калев стал бы сначала сзывать слуг и конюхов, а потом пришлось бы битый час выслушивать его извинения за отсутствие людей, которых давно уже нет и в помине. Вставайте, Рэвенсвуд! Говорят вам, собаки спущены! Вставайте же! Охота началась.

И Бакло выбежал из комнаты.

— Какое мне до всего этого дело? — бормотал Рэвенсвуд, медленно поднимаясь. — Чьи это собаки лают у самых стен нашей башни?

— Их светлости лорда Битлбрейна, — сказал Калев, вошедший в комнату вслед за неистовым лэрдом Бакло. — Не знаю, по какому праву они подняли весь этот вой и визг в охотничьих угодьях вашей милости.

— Не знаю, Калев, не знаю, — отозвался хозяин замка. — Быть может, купив эти земли вместе с охотой, лорд Битлбрейн считает себя вправе пользоваться тем, за что заплатил.

— Возможно, милорд, — ответил Калев, — но настоящему джентльмену не пристало являться сюда и пользоваться своим правом, когда ваша милость сами сейчас живут в замке. Не мешало бы лорду Битлбрейну помнить, кем были его предки.

— А нам — кем мы стали, — заметил Рэвенсвуд, едва сдерживая горькую улыбку. — Однако подайте мне плащ, Калев, надо потешить Бакло и поехать с ним на охоту. Слишком эгоистично жертвовать ради себя удовольствием гостя.

— Жертвовать! — повторил старик таким тоном, словно даже мысль о том, что его господину придется чем-то ради кого-то поступиться, является кошунственной. — Жертвовать!.. Но, простите, какое платье угодно вам надеть сегодня?

— Все равно, Калев. Мой гардероб, кажется, не слишком богат.

— Не богат! — повторил старый слуга. — А серая пара, которую вы сообразовали подарить вашему фореитору Хью Хилдебранду; а платье из французского бархата, в котором похоронен ваш покойный отец (царство ему небесное!)... а вся прочая одежда вашего батюшки, которая роздана бедным, а пара из берийского сукна...

— Которую я отдал вам, Калев. Она, пожалуй, единственная, которую я могу получить, не считая той, что была на мне вчера. Вот ее-то, пожалуйста, и дайте. И не будем больше говорить об этом.

— Как вашей милости угодно, — согласился Калеб. — Конечно, это платье темное, так что оно вполне прилично по случаю траура; но, право, я ни разу не надевал той пары: она для меня слишком хороша... Ведь у вашей милости нет другой перемены... Камзол прекрасно вычищен, а на охоте присутствуют дамы...

— Дамы? — спросил Рэвенсвуд. — Кто именно, Калеб?

— Откуда мне знать, ваша милость? Из сторожевой башни я только и видел, как они промчались мимо, натянув поводья, а перья на их шляпах развевались, как у фрейлин королевы эльфов.

— Ладно, Калеб, ладно. Подайте же мне плащ и принесите портупею. Что там еще за шум во дворе?

— Это лэрд Бакло вывел лошадей, — ответил Калеб, посмотрев в окно. — Будто в замке не довольно слуг! Или будто я не могу заменить их, если им вздумалось выйти за ворота!

— Ах, Калеб, у нас ни в чем не было недостатка, если бы ваше «могу» равнялось вашему «хочу».

— Надеюсь, вашей милости это ни к чему, мы и так, кажется, несмотря на все наши невзгоды, поддерживаем честь рода, насколько можем. Только мистер Бакло больно уж горяч, больно нетерпелив! Взгляните: вот вывел коня вашей милости без вышитого чепрака... А я вычистил бы его в одну минуту.

— Хорош и так, — сказал Рэвенсвуд и, спасаясь от Калеба, направился к узкой винтовой лестнице, спускавшейся во двор.

— Может быть, и так хорош, — возразил Калеб с некоторым неудовольствием, — но если ваша милость чуточку помедлит, я скажу, что, безусловно, будет очень нехорошо...

— Ну, что еще? — нетерпеливо спросил Рэвенсвуд, однако остановился и подождал.

— Нехорошо, если вы приведете кого-нибудь в замок к обеду; не могу же я опять устраивать пост в праздничный день, как тогда, в день святой Магдалины. По правде говоря, если бы ваша милость изволили отобедать вместе с лордом Битлбрейном, то я бы воспользовался передышкой и поискал чего-нибудь

на завтра. А не отправиться ли вам обедать вместе с охотниками на постоянный двор? Всегда найдется отговорка, чтобы не заплатить: можно сказать, что вы забыли кошелек, или что хозяин не выплатил ренту и вы зачете, или...

— Или сочинить еще какую-нибудь ложь, не так ли? — досказал Рэвенсвуд. — До свиданья, Калев. Возлагаю на вас заботы о чести нашего дома!

И, вскочив в седло, Рэвенсвуд последовал за Бакло, который, увидев, что его приятель вддел ногу в стремя, с риском сломать себе шею поскакал во весь опор по крутой тропинке, спускавшейся от башни к равнине.

Калев Болдерстон с волнением следил за удаляющимися всадниками.

— Дай бог, чтоб с ними ничего не случилось, — бормотал он, качая седой головой. — Вот они уже на равнине. Разве кто-нибудь скажет, что их коням не хватает резвости или прыти!

Бесшабашный и горячий от природы, молодой Бакло летел вперед с беспечной стремительностью ветра. Рэвенсвуд не отставал от него ни на шаг: он принадлежал к тем созерцательным натурам, что неохотно покидают состояние покоя, но, раз выйдя из него, движутся вперед с огромной, неукротимой силой. К тому же его энергия не всегда соответствовала силе полученного толчка; ее можно было сравнить с движением камня, который катится под гору все быстрее и быстрее, независимо от того, приведен ли он в движение десницей великана или рукой ребенка. И на этот раз охота — эта забава, настолько любимая юношами всех сословий, что скорее кажется врожденной страстью, данной нам от природы и не знающей различий сословий и воспитания, нежели благоприобретенной привычкой, — охота явилась для Рэвенсвуда мощным толчком, и он предался ей с необычным пылом.

Призывное пение французского рожка, которым ловчие в те далекие дни имели обыкновение подстрекать собак, пуская их по следу; разливистый лай своры, раздававшийся где-то вдаль; еле слышные крики егерей; еле различимые фигуры всадников, то

подымавшихся из пересекавших равнину оврагов, томчавшихся по ровному полю, то пробиравшихся через преградившее им путь болото; а главное — ощущение бешеной скачки, — все это возбуждало Рэвенсвуда, вытесняя, хотя бы на краткий миг, обступившие его болезненные воспоминания. Однако очень скоро сознание того, что, несмотря на все преимущества, которые давало ему превосходное знание местности, он все-таки не сможет на своем усталом коне угнаться за охотниками, напомнило Рэвенсвуду о его тяжелом положении. В отчаянии он остановил коня, проклиная бедность, лишавшую его любимой забавы, или, лучше сказать, единственного занятия предков в свободное от бранных подвигов время, как вдруг к нему подъехал неизвестный всадник, уже довольно долго незаметно следовавший за ним.

— Ваша лошадь устала, сэр, — обратился к нему незнакомец с предупредительностью, необычной среди охотников. — Разрешите предложить вашей милости моего коня.

— Сэр, — сказал Рэвенсвуд, скорее удивленный, чем обрадованный подобным предложением, — право, я не знаю, чем заслужил такую любезность со стороны незнакомого человека.

— Не задавайте лишних вопросов, — закричал Бакло, который, чтобы не обгонять Рэвенсвуда, чьим покровительством и гостеприимством он пользовался, все время нехотя сдерживал коня. — «Берите то, что дают вам боги», как говорит великий Джон Драйден, или... постойте... Послушайте, мой друг, дайте-ка вашу лошадь мне: я вижу, вам трудно справляться с нею. Я ее усмирю и объезжу для вас. Садитесь на моего скакуна, Рэвенсвуд: он полетит как стрела.

Не дожидаясь ответа, Бакло бросил поводья своей лошади Рэвенсвуду и, вскочив на коня, которого ему уступил незнакомец, поскакал во весь опор.

— Вот бесшабашный малый! — воскликнул Рэвенсвуд. — Как вы могли, сэр, доверить ему лошадь?

— Тот, кому принадлежит эта лошадь, — сказал незнакомец, — всегда рад служить вашей милости и друзьям вашей милости всем, что у него есть.

— Кто же это такой? — изумился Рэвенсвуд.

— Простите, ваша милость: он желает сообщить вам свое имя лично. Не угодно ли вам сесть на лошадь вашего приятеля, а свою оставить мне — я разыщу вас после охоты. Слышите? Трубят рога — олень уже загнан.

— Пожалуй, это самое верное средство возвратить вам коня, — сказал Рэвенсвуд и, вскочив на скакуна Бакло, помчался к тому месту, откуда звуки рога возвещали последний час оленя.

Ликующие призывы рогов мешались с криками ловчих: «Ату его, Толбот! Ату его, Тевинот! Вперед, ребята, вперед!» и другими охотничьими возгласами, оглашавшими в старину отъезжее поле, и вместе с нетерпеливым лаем борзых, теперь уже вплотную окруживших свою жертву, сливались в веселый немолчный хор. Рассыпавшиеся по равнине всадники, словно лучи, устремляющиеся к единому центру, съезжались со всех сторон к месту последнего действия.

Опередив всех, Бакло первым прискакал туда, где выбившийся из сил олень внезапно остановился и, повернувшись кругом, кинулся на собак. Он, как принято говорить, был загнан. Опустив благородную голову, затравленное животное, все покрытое пеной, с выкатившимися от бешенства и страха глазами, теперь, в свою очередь, вселяло ужас в своих преследователей. Охотники, подъезжавшие один за другим со всех концов поля, казалось, подстерегали благоприятный момент, чтобы взять зверя, — в подобных обстоятельствах приходится действовать особенно осторожно. Собаки отпрянули назад, громко лая от нетерпения и страха; каждый охотник словно выжидал, чтобы кто-нибудь другой взял на себя опасную задачу — броситься на оленя и прикончить его. Местность была совершенно открытая, так что подойти к зверю незамеченным не было никакой возможности, и потому, когда Бакло с проворством, отличавшим лучших наездников тех далеких дней, соскочил с лошади, стремглав подбежал к оленю и ударом короткого охотничьего ножа в заднюю ногу повалил его на

землю, у всех присутствующих вырвался радостный крик. Собаки ринулись на поверженного врага и вскоре прикончили его, возвестив о своей победе пронзительным лаем; ликующие крики охотников и звуки рогов, играющих песнь смерти, заглушили даже доносящийся сюда рокот морского прибоя.

Затем ловчий отозвал собак и, преклонив колено, подал нож даме на белом коне, которая из боязни или, быть может, из сострадания держалась до сих пор поодаль. Согласно тогдашней моде лицо всадницы закрывала черная шелковая маска, — ее надевали не только для защиты кожи от действия солнечных лучей или непогоды, но главным образом в соответствии со строгими правилами этикета, не позволявшими молодой леди участвовать в буйных забавах или появляться в смешанном обществе с открытым лицом. Богатство туалета этой дамы, резвость и красота ее коня, в особенности же учтивые слова, с которыми обратился к ней ловчий, подсказали Бакло, что перед ним королева охоты. Велико же было огорчение, если не сказать презрение, нашего пылкого охотника, когда он увидел, что дама отстранила поданный ловчим нож, отказываясь от чести первой рассечь грудь животного и взглянуть, хороша ли оленина. Он было совсем уже собрался сказать ей какой-нибудь комплимент, но, на свое несчастье, Бакло вел жизнь, исключавшую возможность близкого знакомства с представительницами высшего сословия, и потому, несмотря на врожденную смелость, испытывал робость и смущение всякий раз, когда ему нужно было заговорить со знатной дамой.

Наконец, по его собственному выражению, собравшись с духом, он отважился приветствовать прелестную амазонку и выразить надежду, что охота не обманула ее ожиданий. Молодая женщина отвечала очень скромно и любезно, выказав признательность отважному охотнику, так искусно окончившему травлю как раз тогда, когда собаки и ловчие, по-видимому, растерялись, не зная, что делать.

— Клянусь охотничьим ножом, миледи, — ответил Бакло, которого слова прекрасной дамы возвратили

на родную почву, — не велик труд и не велика заслуга, если малый не трусит оленьих рогов. Я ходил на оленя раз пятьсот, и как увижу, что зверь загнан, земля ли, вода ли под ногами — бросаюсь на него и колю. Это — дело привычки, миледи; только я вам скажу, миледи, гут, при всем прочем, нужно действовать быстро и осторожно; и еще, миледи, всегда имейте при себе хорошо отточенный обоюдоострый нож, чтобы колоть и справа и слева, как будет сподручнее, потому что рана от оленьих рогов дело нештучное и может загноиться.

— Боюсь, сэр, — сказала молодая женщина, улыбаясь из-под маски, — вряд ли мне представится случай воспользоваться вашими советами.

— Осмелюсь сказать, миледи, джентльмен истинную правду говорит, — вмешался старый ловчий, находивший несвязные речи Бакло весьма назидательными, — я часто слышал от отца — он был лесничим в Кабрахе, — что раны от клыков кабана менее опасны, чем от рогов оленя. Как говорится в песне старого лесника,

Кого пронзит олений рог, не минет похорон,
А клык кабаньих излечим, не так уж страшен он.

— И еще один совет, — продолжал Бакло, который теперь уже совсем освоился и желал всем распоряжаться, — собаки измучились и устали, так надо скорее дать им оленью голову в награду за усердие; а потом позвольте напомнить, что ловчий, который будет свежевать оленину, должен первым делом осушить за здоровье вашей милости кружку эля или чашу доброго вина: если он не промочит горло, оленина быстро испортится.

Нечего и говорить, что ловчий не преминул в точности исполнить последнее указание, а затем в благодарность протянул Бакло нож, отвергнутый прекрасной дамой, и она, со своей стороны, вполне одобрила этот знак уважения.

— Я уверена, сэр, — сказала она, удаляясь от кружка, образовавшегося вокруг убитого животного, — что мой отец, ради которого лорд Битлбрейн

затеял эту охоту, с радостью предоставит распоряжаться всем человеку, столь опытному и искусному, как вы.

С этими словами дама любезно поклонилась всем присутствовавшим, простилась с Бакло и уехала в сопровождении нескольких слуг, составлявших ее свиту. Бакло почти не заметил ее отъезда: он так обрадовался случаю выказать свое искусство, что все на свете, и мужчины и женщины, стали ему совершенно безразличны. Он скинул плащ, засучил рукава и обнаженными руками, по локоть забрызганными кровью и салом, принялся резать, рубить, отсекасть и разрубать тушу на части с точностью, достойной самого сэра Тристрама; и при этом он рассуждал и спорил с ловчими об оленьих черевах, грудице, бочках, рульке и тому подобных охотничьих или, если угодно, скотобойных терминах, в то время весьма употребительных, а ныне, возможно, преданных забвению.

Когда Рэвенсвуд, немного отставший от приятеля, увидел, что с оленем покончено, минутное увлечение охотой уступило место горькому чувству отчужденности, которое он всегда испытывал не только при встрече с людьми своего круга, но даже с теми, кто был ниже его по рождению и положению в свете. Поднявшись на невысокий холм, юноша стал наблюдать за веселой возней, происходившей на равнине; до него доносились радостные крики охотников, мешавшиеся с лаем собак, ржанием и топотом коней. С тяжелым чувством внимал он — дворянин, лишенный титула и состояния, — этим веселым звукам. Охота и все, что с ней связано, ее удовольствия и волнения, с давних времен всегда считалась исключительным правом аристократии и издавна была главным ее занятием в мирное время. Сознание того, что в силу тяготевших над ним обстоятельств он лишен возможности принимать участие в забаве, составлявшей особую привилегию его сословия, мысль о том, что чужие люди свободно охотились на исконных землях его предков, предназначенных ими для собственных развлечений, а он — их наследник — принужден смотреть на это издали, — все это не могло не угнетать

Рэвенсвуда, натуру созерцательную и меланхолическую. Однако из гордости он не позволил себе предаваться подобным настроениям. К тому же вскоре чувство подавленности сменилось негодованием: Рэвенсвуд увидел, что его легкомысленный приятель, Бакло, и не думает расставаться с взятым взаймы конем, и решил не уезжать, пока конь не будет возвращен хозяину.

Однако в ту самую минуту, когда Рэвенсвуд направился было к группе охотников, к нему приблизился всадник, также не принимавший участия в травле зверя.

Незнакомец казался человеком преклонных лет. На нем был широкий пунцовый плащ, застегнутый по самую шею, и низко надвинутая на лоб шляпа с опущенными полями, вероятно чтобы защищать лицо от ветра. Его конь, выносливый и смирный, как нельзя лучше подходил всаднику, приехавшему скорее полюбоваться охотой, нежели для того, чтобы принять в ней участие. Его сопровождал слуга, державшийся несколько поодаль, и это, так же как и весь вид джентльмена, обличало человека немолодого, но родовитого и знатного. Незнакомец заговорил с Рэвенсвудом очень учтиво, однако в голосе его слышалось смущение.

— Вы, я вижу, храбрый юноша, сэр, — начал он. — Почему же вы смотрите на эту благородную забаву так хладнокровно, словно несете на плечах бремя моих лет?

— Прежде я с жаром предавался радостям охоты, — отвечал Рэвенсвуд, — но нынче мои обстоятельства изменились; к тому же, — прибавил он, — в начале охоты у меня была плохая лошадь.

— Кажется, один из моих слуг догадался предложить лошадь вашему приятелю, — сказал незнакомец.

— Я очень благодарен и ему и вам, сэр, за эту любезность. Моего приятеля зовут мистер Хейстон из Бакло; вы, без сомнения, найдете его в самой гуще этих ретивых охотников. Он тотчас возвратит коня вашему слуге, переседет на мою лошадь и, — добавил

Рэвенсвуд, натягивая поводья, — присоединит свою благодарность к моей.

С этими словами Рэвенсвуд повернул коня, тем самым давая понять, что разговор окончен, и направился домой. Однако отделаться от незнакомца оказалось не так-то легко. Он тоже повернул коня и поехал рядом с Рэвенсвудом, а так как из соображений этикета, не говоря уже об уважении к преклонным летам этого джентльмена, к тому же только что оказавшего ему услугу, юноша счел неприличным обгонять его, ему пришлось продолжать путь в обществе непрошеного спутника.

Незнакомец недолго хранил молчание.

— Так это и есть древний замок «Волчья скала», о котором так часто упоминается в шотландских летописях? — спросил он, указывая на старую башню, мрачно черневшую на темном фоне грозовой тучи.

Преследуя зверя, охотники кружили недалеко от замка, и потому наши всадники не проехали и мили, как очутились на том самом месте, где Рэвенсвуд и Бакло присоединились к охоте.

Молодой человек ответил холодным и сдержанным «да».

— Это, как я слышал, — продолжал незнакомец, не обращая внимания на сдержанность Рэвенсвуда, — одно из самых первых владений благородного семейства Рэвенсвудов.

— Первое, сэр, и, вероятно, последнее.

— Я... я... надеюсь, что не последнее, сэр, — запинаясь и несколько раз откашливаясь, проговорил заметно смущенный джентльмен. — Шотландия знает, чем она обязана этому старинному роду, и помнит его многочисленные и блестящие подвиги. Не сомневаюсь, что, если бы ее величеству стало известно о разорении — то есть я хотел сказать: об упадке — столь древнего и славного рода, то нашлись бы средства *ad reedificandum antiquam domum*.¹

— Я избавлю вас от труда продолжать этот разговор, сэр, — гордо перебил его Рэвенсвуд. — Перед

¹ Для восстановления древнего дома (лат.).

вами наследник этого злосчастного рода. Я — Рэвенсвуд. Вы, по-видимому, сэр, принадлежите к людям светским и образованным, а потому вам должно быть известно, что непрошеное сострадание едва ли не тягостнее самого несчастья.

— Прошу простить меня, сэр, — ответил незнакомец, — я не знал... Сознаюсь, мне не следовало упоминать... Но я никак не предполагал...

— Не стоит извинений, сэр, — сказал Рэвенсвуд. — К тому же дороги наши, кажется, расходятся; право, я не считаю себя обиженным.

При этих словах Рэвенсвуд свернул на узкую тропинку, служившую некогда проездом к «Волчьей скале», тогда как ныне, по словам певца «Надежды»,

Дорога давно заросла травой,
И редко по ней проезжал верховой
К холмам, окружающим море.

Не успел он, однако, проехать и шагу, как к незнакомцу приблизилась молодая леди, о которой мы говорили выше, в сопровождении слуг.

— Дочь моя, — обратился старик к даме в маске, — это Эдгар Рэвенсвуд.

Рэвенсвуду надлежало сказать в ответ несколько учтивых слов или по крайней мере осведомиться об имени незнакомца и его дочери, но грациозность и робкая скромность молодой женщины так поразили его, что на мгновение лишили дара речи.

Тем временем туча, уже давно висевшая над скалой, где стояла башня, мало-помалу надвигаясь, затянула небо густой темной пеленой; уже ничего нельзя было различить вдали, а вблизи все предметы казались черными, море сделалось свинцовым, а поросшая вереском равнина стала бурой; уже несколько раз слышались отдаленные раскаты грома, вспыхнула молния — одна, другая, — вырвав из темноты встававшие в отдалении серые башенки «Волчьей скалы» и озарив багровым мерцающим светом пышные гребни бегущих один за другим валов океана.

Лошадь прелестной всадницы стала проявлять признаки страха и беспокойства, и Рэвенсвуд поду-

мал, что он, как мужчина и к тому же джентльмен, не может в подобную минуту оставить молодую девушку на попечении престарелого отца и раболепных слуг. Долг вежливости, как ему казалось, обязывал его взять ее лошадь под уздцы и помочь справиться с перепуганным животным. Между тем старик сказал, что гроза, видимо, усиливается, а так как до поместья лорда Битлбрейна, у которого они гостят, очень далеко, то он был бы крайне благодарен Рэвенсвуду, если бы тот указал им какое-нибудь место поблизости, где они смогут укрыться от дождя. При этом он бросил такой просительно-смятенный взгляд на «Волчью скалу», что Рэвенсвуду ничего не оставалось, как предложить старику и даме, оказавшимся в столь крайних обстоятельствах, временный приют в своем доме. Действительно, состояние, в котором находилась прелестная всадница, делало это совершенно необходимым: помогая ей управиться с лошадью, Рэвенсвуд заметил, что девушка дрожит и сильно взволнована: очевидно, она испугалась надвигающейся грозы.

Не знаю, передался ли ее страх Рэвенсвуду, но непонятное волнение вдруг охватило его.

— Башня «Волчья скала», — сказал он, — не может предложить вам ничего, кроме крова, но если в подобную минуту этого достаточно...

Он замолчал, словно не имея сил договорить до конца. Но старик, навязавшийся ему в спутники, поспешил воспользоваться ненароком сорвавшимся словом и принять за приглашение то, что было лишь слабым намеком на него.

— Гроза, — сказал он, — достаточный повод, чтобы отложить в сторону всякие церемонии. Моя дочь слаба здоровьем. Она недавно перенесла сильное потрясение. Мы, конечно, злоупотребляем вашим гостеприимством, но наши обстоятельства, мне кажется, послужат нам оправданием. Благополучие дочери мне дороже правил этикета.

Путь к отступлению был отрезан, и, взяв под уздцы коня молодой женщины, чтобы не дать ему вздыбиться или понести при неожиданном ударе

грома, Рэвенсвуд повел гостей в замок. Смятение, охватившее его в первые минуты, не помешало ему заметить, что смертельная бледность, покрывавшая шею, лоб и видневшуюся из-под маски нижнюю часть лица его спутницы, теперь сменилась ярким румянцем, и юноша с величайшим смущением почувствовал, что, по какому-то неизъяснимому сродству душ, сам тоже начинает краснеть. Незнакомец под предлогом беспокойства о здоровье дочери не сводил с молодых людей глаз и все время, пока лошади подымались в гору, пристально следил за выражением лица Рэвенсвуда. Вскоре кавалькада достигла стен древней крепости, и противоречивые чувства наполнили душу Рэвенсвуда. Проведя всадников в пустой двор, он принялся звать Калеба суровым, чуть ли не свирепым голосом, который никак не шел к его роли учтивого хозяина, принимающего у себя знатных гостей.

Калев явился. Такой бледности не было даже на лице прелестной незнакомки при первых раскатах грома! Никто никогда ни при каких обстоятельствах не бледнел так, как страдалец дворецкий, когда увидел гостей в замке и вспомнил, что приближается час обеда.

— С ума он сошел! — пробормотал старик. — Нет, он совсем рехнулся! Привести сюда знатных господ, даму и целое полчище слуг! И это в два часа пополудни!

Подойдя к хозяину, Калев принялся извиняться, что отпустил всех слуг на охоту.

— Я не ждал вашу милость раньше ночи, — объяснил он. — Боюсь, что теперь этих бездельников не скоро докличешься.

— Довольно, Болдерстон, — сурово прервал его Рэвенсвуд. — Ваше шутовство здесь неуместно. Сэр, — обратился он к гостю, — этот старик и служанка, еще старее и глупее его, — вот вся моя челядь. Угощение, которое я могу предложить вам, еще более скудно, чем можно ожидать при взгляде на эту жалкую челядь и ветхое жилище. Но, как бы там ни было, все, чем я располагаю, к вашим услугам.

Незнакомец, пораженный представшей перед ним картиной разрушения, или, точнее, запустения, которой низко нависшая туча придавала еще более мрачный колорит, а быть может, обеспокоенный властным тоном Рэвенсвуда, с тревогой смотрел вокруг и, видимо, жалел, что поспешил принять приглашение. Но теперь у него не было иного выхода: он сам себя поставил в это неловкое положение.

Что же касается Калеба, то публичное и безоговорочное признание хозяина в том, что он гол как сокол, совершенно его ошеломило; в продолжение нескольких минут он мог только бормотать что-то себе под нос, теребя заросший подбородок, уже дней шесть не знавший прикосновения бритвы.

— Он сошел с ума... Совсем сошел с ума! Ну, да пусть моя душа достанется дьяволу, — прибавил он, призывая к себе на помощь всю свою изобретательность и смелливость, — если я не сумею спасти честь рода, будь мастер Рэвенсвуд так же безумен, как все семь мудрых визирей вместе взятые.

Калев смело приблизился к гостям и, невзирая на гневные, нетерпеливые взгляды, бросаемые на него Рэвенсвудом, важно спросил, не прикажет ли молодая леди подать каких-нибудь закусок, бокал токайского, или хереса, или...

— Прекратите ваше непристойное фиглярство! — прикрикнул на него Рэвенсвуд. — Отведите лошадей на конюшню и не надоедайте нам вашими глупыми рассказами.

— Приказания вашей милости всегда будут точно исполнены, — ответил Калев, — но если вашим высокочтимым гостям не угодно отведать ни хереса, ни токайского...

В эту минуту голос Бакло, покрывавший цокот подков и рев рогов, возвестил о его приближении во главе чуть ли не всей доблестной охотничьей ватаги, взбравшейся к башне по узкой тропинке.

— Дьявол меня возьми! — воскликнул Калев, не падая духом даже при этом новом нашествии филистимлян, — если я им сдамся. Шалопай беспутный! Ведь знает, каковы у нас дела, а тащит сюда целую

ораву негодяев, думающих, что у нас здесь бренди — все равно что воды в колодце. Ох, только бы мне избавиться от этих глазастых олухов лакеев, которые пробрались сюда вслед за господами, — много их так-то вперед лезет, — право, с остальными я бы уж справился.

О том, что предпринял Калеб для осуществления своего смелого замысла, читатель узнает из следующей главы.

Глава X

С засохшим, черным языком,
В движеньях нетверды,
Они пытались хохотать
И снова начали дышать,
Как бы хлебнув воды.

*Колридж, «Песнь о старом
моряке»¹*

Хейстон из Бакло принадлежал к числу тех легкомысленных людей, которые ради потехи не пожалеют и друга. Когда стало известно, что гости лорда Битлбрейна отправились в замок «Волчья скала», охотники любезно предложили отнести туда убитого оленя. Бакло нашел эту мысль весьма удачной: он заранее предвкушал удовольствие увидеть ужас на лице бедного Калеба Болдерстона, когда перед ним появится вся эта многочисленная орава, и несколько не помышлял о затруднительном положении, в которое поставит своего приятеля, не имеющего чем накормить и напоить столько ртов. Однако старый дворецкий оказался искусным и ловким противником, готовым на всевозможные увертки и любые хитрости ради спасения чести рода Рэвенсвудов.

— Слава богу, — сказал себе старый слуга, — ветер вчера захлопнул одну из створок больших ворот, а с другой я и сам как-нибудь управлюсь.

Тем не менее, прежде чем принять меры для защиты своих владений от внешних врагов, возвещав-

¹ Перевод Н. Гумилева.

щих о своем приближении веселыми криками, Калев, как осторожный правитель, решил избавиться от врагов внутренних, каковыми считал всех, кто ест и пьет. Поэтому, выждав, когда его господин наконец уведет пожилого джентльмена с дочерью в башню, он вступил к исполнению задуманного плана.

— Охотники торжественно несут в замок оленя, — обратился он к свите незнакомца, — и, мне кажется, нам приличествует встретить их у входа.

Однако, как только слуги, неосмотрительно послушавшись коварного совета, вышли за ограду, честный Калев, воспользовавшись тем, что ветер, как сообщалось выше, уже захлопнул одну половинку ворот, немедленно затворил вторую. Страшный грохот прокатился по всей крепости, от сводов главной башни до зубчатых стен.

Обезопасив таким образом вход в крепость, старый дворецкий приблизился к маленькому башенному окошечку, из которого некогда осматривали каждого, кто приближался к воротам замка, и вступил в переговоры с охотниками, столпившимися у закрытых ворот. В краткой, но выразительной речи он объяснил им, что ворота замка никогда и ни под каким видом не отворяются во время обеда и что его милость мастер Рэвенсвуд вместе с гостями, тоже весьма знатными особами, только что сел за стол; затем он сообщил, что в деревне Волчья Надежда, у жены конюха на постоялом дворе, есть отличное бренди, и даже дал понять, что его господин заплатит за угощение; правда, это последнее заявление было сделано в очень уклончивых и двусмысленных выражениях, ибо, подобно Людовику XIV, Калев Болдерстон, плетя свои интриги, остерегался прибегать к прямой лжи, стараясь обманывать, не слишком греша против истины.

Слова Калеба удивили одних, у других вызвали смех, а изгнанных из замка слуг повергли в глубокое уныние: они просили впустить их обратно, ссылаясь на свое неотъемлемое право прислуживать господам за столом. Но Калев не желал делать для них исключения. Он стоял на своем с тем неколебимым,

но весьма удобным упорством, которое не поддается никаким убеждениям и не внемлет доводам рассудка.

Тогда Бакло выступил вперед и гневным голосом приказал немедленно впустить его в замок. Калев и тут остался непреклонным.

— Будь здесь сам король, — заявил он, — и то моя рука не поднялась бы отворить ворота против правил и обычаев, принятых в доме Рэвенсвудов, и, как старший слуга, я никогда не нарушу своего долга.

Бакло пришел в неопределимую ярость и принялся осыпать Калеба отменной бранью и такими проклятиями, кои мы не беремся пересказать. Он заявил, что с ним обходятся самым непозволительным образом, и потребовал, чтобы его немедленно провели к Рэвенсвуду. Но Калев ко всему оставался глух.

— Этот Бакло настоящая пороховая бочка, — бормотал он про себя, — но дьявол меня возьми, если он увидит моего господина раньше завтрашнего утра. Утром он будет поспокойнее. Только такой повеса мог притащить сюда эту ораву умирающих от жажды охотников, когда ему отлично известно, что в доме неостанет вина даже для него самого.

Затем Калев притворил окошечко и удалился, предоставив непрошеным гостям поступать как они знают.

Вся эта сцена происходила на глазах молчаливо взиравшего на все происходящее свидетеля, о присутствии которого Калев ничего не подозревал. Это был главный слуга незнакомца — человек, пользовавшийся в доме Эштона большим доверием и уважением — тот самый, кто во время охоты уступил Бакло свою лошадь. В тот момент, когда Калев изгонял из замка слуг, он находился в конюшне и, таким образом, избег общей участи, от которой, конечно, не спасло бы его даже занимаемое им высокое положение.

Увидев проделку Калеба, он тотчас догадался об ее истинных причинах и, зная намерения своего господина относительно Рэвенсвуда, без труда сообразил, как ему следует поступить. Он занял место

Калеба в окошечке, чего тот нисколько не подозревал, и объявил стоявшей у ворот толпе, что его господин приказывает своим слугам, равно как и слугам лорда Битлбрейна, отправиться в соседний трактир и, приказав там все, что им приглянется, отобедать на счет лорда — хранителя печати.

Охотники немедленно повернули от негостеприимных ворот «Волчьей скалы». Спускаясь шумной гурьбой по крутой тропинке, они всю бранили Рэвенсвуда за скардность и недостойное поведение и, не стесняясь в выражениях, проклинали замок со всеми его обитателями.

Бакло, одаренный от природы качествами, которые при других обстоятельствах могли бы сделать из него достойного и разумного человека, отличался вследствие небрежного воспитания крайней слабостью воли и таким непостоянством суждений, что всегда готов был разделить мнения и чувства случайных товарищей. Сравнив похвалы, только что расточавшиеся его ловкости, с попреками, сыпавшимися на Рэвенсвуда, припомнив скучные, томительные дни, проведенные им в замке, и сопоставив их со своей привычной веселой жизнью, он с крайним возмущением подумал о своем недавнем друге, а так как отказ отворить ворота представлялся ему жесточайшей обидой, решил немедленно порвать с Рэвенсвудом всякие отношения.

Прибыв на постоялый двор в Волчью Надежду, Бакло неожиданно увидел там старого знакомого, как раз слезавшего с лошади. Это был не кто иной, как почтенный капитан Крайгенгельт собственной персоной. Он тотчас подошел к Бакло и, по-видимому совершенно забыв, сколь холодно они расстались, самым дружеским образом протянул ему руку. Бакло никогда не умел устоять перед дружеским рукопожатием, и как только Крайгенгельт ощутил его руку в своей, старый плут сразу же понял, что у них будут прежние приятельские отношения.

— Рад тебя видеть в добром здравии, Бакло! — воскликнул он. — Честным людям еще можно жить на этой мерзкой земле.

Честными людьми в ту пору якобиты, неизвестно на каком основании, называли только своих приверженцев.

— Ну-ну, кажется, другим-прочим на ней тоже хватает места, — ответил Бакло. — Иначе как бы вы очутились здесь, капитан?

— Кто? Я? Да я волен, как ветер, что в день святого Мартина не платит ни ренты, ни налогов. Все объяснилось и устроилось. Эти старые песочницы из Эдинбурга не посмели продержать меня и недели. Ха-ха! Они преданы известной особе больше, чем мы полагали, и способны оказать услугу, когда меньше всего ее ожидаешь.

— Так, так, — сказал Бакло: он отлично знал цену Крайгенгельту и питал к нему глубочайшее презрение. — Обойдемся-ка на этот раз без хвастовства. Скажите честно: вы действительно на свободе и в безопасности?

— На свободе и в безопасности, как судья-виг в собственном судебском округе, как пресвитерианский проповедник у себя на кафедре. Знайте — я приехал сюда специально, чтобы сообщить вам радостное известие: вам больше нет нужды скрываться.

— Значит, можно предположить, что вы снова считаете себя моим другом, Крайгенгельт?

— Другом, Бакло? Клянусь, я твой верный Ахат, как любят выражаться люди ученые. Отныне мы будем неразлучны. Да, нас теперь водой не разольешь! Я пойду с тобой на жизнь и на смерть!

— Сейчас проверим, — сказал Бакло. — Не знаю откуда, но у вас всегда водятся деньги. Ссудите мне два золотых: первым делом я хочу дать этим молодцам промочить пересохшее горло, а там...

— Два? Двадцать, дружище! И еще двадцать в придачу!

— Ого! А вы не шутите? — воскликнул Бакло, недоумевая, — природная сметливость подсказывала ему, что такая чрезмерная щедрость, по всей вероятности, была вызвана какими-то особыми причинами. — Вы, Крайгенгельт, или и вправду честный малый, чему, признаюсь, трудно поверить, или вы

хитрее, чем я подозревал, чему, признаюсь, не менее трудно поверить.

— L'un n'empêche pas l'autre,¹ — ответил Крайгенгельт, — впрочем, смотрите сами: золото настоящее.

Капитан отсыпал Бакло пригоршню золотых, которые тот, не глядя, сунул в карман, бросив мимоходом, что при сложившихся обстоятельствах ему все равно придется идти в солдаты, а за хорошие деньги он готов служить хоть самому дьяволу. Затем Бакло повернулся к охотникам.

— За мной, друзья, я угощаю! — крикнул он.

— Да здравствует лэрд Бакло! — грянул дружный хор.

— И черт побери того, кто, позабавившись вволю, отпускает охотников, не дав им сполоснуть пересохшую, как барабанная шкура, глотку, — добавил один из ловчих в виде заключения.

— Рэвенсвуды, — заметил другой, старый охотник, — некогда считались у нас достойным и почтенным родом, но сегодня они себя обесчестили: мастер Рэвенсвуд оказался презренным скрягой.

Эти слова вызвали единодушное одобрение у всех присутствующих, и шумная ватага бросилась в трактир, где и пропировала до глубокой ночи.

В силу общительности характера Бакло не был слишком требователен в выборе приятелей, и нынче, восседая во главе пьяной компании после непривычно долгого поста, даже, более того, воздержания, он чувствовал себя совершенно счастливым в кругу своих собутыльников, словно свел знакомство с принцами крови. У Крайгенгельта имелись свои причины подливать масло в огонь, а потому, обладая некоторой долей грубого юмора, изрядным запасом бесстыдства и умением спеть задорную песенку, к тому же без труда читая в душе своего вновь обретенного друга, старый пройдоха искусно поддерживал в нем буйное настроение.

¹ Одно не мешает другому (*франц.*).

Между тем совсем иная сцена происходила в «Волчьей скале». Поднявшись в замок, Рэвенсвуд, слишком погруженный в свои противоречивые размышления, чтобы заметить проделку Калеба, повел гостей в большой зал.

Неутомимый Калеб, то ли из любви к делу, то ли по привычке трудившийся с утра до ночи, понемногу уничтожил все следы оргии, происходившей в этой комнате после похорон, и водворил в ней какое-то подобие порядка. Но как ни старался бедняга, расставляя жалкие остатки мебели, он был не в силах скрыть потемневшие голые стены, придававшие всей комнате печальный и мрачный вид. Узкие боковые окна, пробитые в толще могучих стен, скорее заслоняли, чем пропускали свет, а свинцовые тучи, закрывавшие небо, еще более усиливали царящий в комнате мрак.

Хотя Рэвенсвуд все еще испытывал некоторую неловкость и замешательство, тем не менее он со всей галантностью кавалера тех далеких дней предложил даме руку и повел ее в верхний конец зала, тогда как ее отец задержался у дверей, по-видимому намереваясь снять плащ и шляпу. В эту минуту ворота с грохотом захлопнулись. Незнакомец вздрогнул, быстро подошел к окну и, увидев, что створки закрыты, а его слуги удалены из замка, бросил на Рэвенсвуда испуганный взгляд.

— Вам нечего бояться, сэр, — мрачно произнес Рэвенсвуд, — эти стены пока еще способны защитить гостя, хотя уже не могут оказать ему радушный прием. Однако полагаю, пора бы мне узнать, — добавил он, — кто оказал честь моему разоренному дому?

Молодая девушка оставалась безмолвной и неподвижной; ее отец — к нему, собственно, относился вопрос — имел вид актера, который, дерзнув взять на себя непосильную роль, позабыл все слова как раз в тот самый момент, когда зрители ожидают, что он начнет говорить. Он старался скрыть свое смущение за внешними формами учтивости, предписываемой светским воспитанием; он отвесил поклон, но одна

его нога скользила вперед, как бы делая шаг к Рэвенсвуду, тогда как другая пятилась назад и словно пыталась спастись бегством. Затем он развязал шнурки от пелерины и поднял забрало, но пальцы его двигались так неловко, словно плащ был оторочен ржавым железом, а забрало весило не меньше, чем свинцовая плита. Темнога сгустилась, словно желая утаить черты незнакомца, с такой явной неохотой открывавшего свое лицо. Чем больше он медлил, тем сильнее становилось нетерпение Рэвенсвуда; юноша с усилием сдерживал волнение, вызванное, возможно, совсем иными причинами. Эдгар употреблял все старания, чтобы заставить себя молчать, тогда как незнакомец, очевидно, все еще не находил нужных слов, чтобы выразить то небольшое, что считал необходимым. Наконец Рэвенсвуд не выдержал:

— По-видимому, сэр Уильям Эштон не желает назвать свое имя в замке «Волчья скала».

— Я надеялся, что смогу обойтись без этого, — сказал лорд-хранитель, вновь обретая дар речи, словно дух, разрешенный от молчания заклинателем. — Я очень вам признателен, мастер Рэвенсвуд, что вы положили начало знакомству, когда обстоятельства — несчастные обстоятельства, позволю себе сказать — сделали этот шаг для меня крайне затруднительным.

— Должен ли я считать, что обязан чести этого посещения не одной лишь случайности? — мрачно сказал Рэвенсвуд.

— Не совсем так, — возразил лорд-хранитель, стараясь казаться спокойным, хотя в душе он, возможно, испытывал совсем иное чувство. — Не скрою, я давно желал этой чести, но, пожалуй, если бы не гроза, вы едва ли согласились бы принять меня. Моя дочь и я благодарим случай, позволяющий нам выразить нашу признательность отважному юноше, которому мы обязаны жизнью.

Хотя родовая вражда, разделявшая знатные семьи в феодальную эпоху, в то время уже не проявлялась в открытом насилии, с годами она не стала менее ожесточенной. Поэтому ни нежное чувство к Люси,

зародившееся в сердце Рэвенсвуда, ни законы гостеприимства не могли полностью побороть — хотя и несколько умерили — те страсти, которые закипели в груди молодого человека, когда он увидел злейшего врага своего отца под кровом древнего дома, разорению которого тот всемерно споспешествовал. Эдгар стоял в нерешительности, переводя взгляд с отца на дочь, и сэр Уильям не считал нужным ждать, чем кончатся эти колебания. Освободившись от плаща и шляпы, он подошел к дочери и развязал ленты на ее маске.

— Люси, дитя мое! — начал он и, подав руку дочери, вместе с нею направился к Рэвенсвуду. — Сними маску с лица. Мы должны высказать нашу признательность мастеру Рэвенсвуду открыто и не таясь.

— Если он согласится принять ее от нас, — ответила Люси, и в этих немногих словах, сказанных нежным голосом, казалось, прозвучал упрек и вместе с тем прощение за холодный прием. Произнесенные устами такого чистого и прелестного создания, слова эти поразили Рэвенсвуда в самое сердце, и ему стало нестерпимо стыдно за свою грубость. Он пробормотал что-то о неожиданности их приезда, о своем смущении и кончил горячим признанием в том, как он счастлив предоставить ей приют в своем доме. Затем он отвесил низкий поклон и проделал весь церемониал приветствия, предписанный для таких случаев. При этом щеки Люси и Эдгара на мгновение соприкоснулись. Рэвенсвуд еще держал руку, протянутую ему Люси в знак доброго расположения, а на щеках девушки еще алел румянец, придававший всей этой сцене несвойственное обычной церемонии значение, как вдруг разряд молнии озарил всю комнату ярким светом и словно вырвал ее из мрака. На какую-то долю секунды все предметы стали отчетливо видимы. Хрупкая трепещущая фигурка Люси, статная и величавая фигура Рэвенсвуда, его смуглое лицо, страстное и вместе с тем нерешительное выражение его глаз, старинное оружие и гербы, развешанные на стенах, — все это, освещенное резким красноватым отблеском, со всей отчетливостью предстало перед

лордом-хранителем. Молния угасла, и тотчас же грянул гром: очевидно, грозовая туча нависла прямо над замком. Раскат был так внезапен и так силен, что старая башня дрогнула до самого основания и все, кто находился в ней, решили, что она рушится. Сажа, веками лежавшая нетронутой в широких дымоходах, посыпалась в комнату, тучи пыли и извести полетели со стен, и оттого ли, что молния действительно ударила в башню, или из-за сильного сотрясения воздуха, но несколько камней оторвались от старых крепостных стен и рухнули в ревущее море. Казалось, сам древний основатель замка насрал на землю эту страшную бурю, осуждая примирение наследника рода со злейшим его врагом.

На мгновение все оцепенели от ужаса, и если бы, совладав с собой, лорд-хранитель и Рэвенсвуд не бросились к Люси, она неминуемо лишилась бы чувств. Таким образом Эдгару во второй раз пришлось исполнять щекотливую и опасную обязанность — поддерживать прелестную хрупкую девушку, образ которой уже после первой их встречи во сне и наяву царил в его воображении. Если дух рода Рэвенсвудов действительно имел в виду предостеречь своего потомка от союза с очаровательной гостьей, то средство, к которому он прибег для этой цели, надо признаться, оказалось столь неудачным, как будто выбирал его простой смертный. Хлопоча вокруг Люси, чтобы успокоить ее и помочь ей прийти в себя, Рэвенсвуд волей-неволей вынужден был общаться с ее отцом, — в совместных заботах уничтожилась, по крайней мере на это время, вековая преграда, воздвигнутая между ними родовой враждой. Мог ли Эдгар обойтись сурово или даже холодно с пожилым человеком, чья дочь (и какая дочь!) была почти что в обмороке от вполне понятного испуга — у него в доме! И когда Люси наконец оправилась и с благодарностью протянула им обоим руки, Рэвенсвуд почтливо почуствовал, что в сердце его нет уже былой ненависти к лорду — хранителю печати.

Замок лорда Битлбрейна находился в пяти милях от «Волчьей скалы», и о том, чтобы Люси Эштон в ее

состоянии, в такую непогоду, да к тому же еще и без помощи слуг, проделала этот путь, не могло быть и речи. Эдгару ничего не оставалось, как из простой вежливости предложить ей и ее отцу переночевать у него в замке. Он тут же добавил, что дом его слишком беден, чтобы должным образом принять гостей, при этом лицо его снова нахмурилось и приняло прежнее угрюмое выражение.

— Прошу вас, не говорите об этом, — поспешил перебить его лорд-хранитель, стараясь поскорее уйти от опасного разговора. — Мы знаем, что вы готовитесь к отъезду на континент и, конечно, не в состоянии сейчас заботиться о доме. Это совершенно естественно. Но, право, если вы будете говорить о неудобствах, вы вынудите нас искать пристанище внизу, у крестьян.

Не успел Рэвенсвуд ответить лорду-хранителю, как распахнулась дверь, и в зал вбежал Калед Болдерстон.

Глава XI

Дай мяса им — полкурицы на стол;
Добавь сардинок тухлых, что остались
(Хотя приправа будет необычной);
Все собери луком, чтоб отбило запах.

«Паломничество любви»

Удар грома, оглушивший всех, кто находился в замке, пробудил дерзкий и изобретательный гений лучшего из мажордомов. Еще не смолкли последние раскаты, еще в башне никто с уверенностью не знал, устоит ли она или рухнет, а Калед уже восклицал:

— Слава богу! Вот это кстати, прямо как ложка к обеду!

Тут он заметил, что слуга сэра Эштона, отдав какие-то распоряжения стоявшей у ворот толпе, направляется в замок, и тотчас запер кухонную дверь перед самым его носом.

— Как он сюда попал, черт возьми! — бормотал старик сквозь зубы, — Ну да черт с ним! Мизи! — об-

ратился он к своей верной помощнице. — Будет тебе дрожать и отбивать поклоны перед печкой. Иди сюда... Или нет, оставайся, где стоишь, и кричи что есть мочи! Все равно больше ты ни на что не годишься! А, да говорят же тебе, старая чертовка! Кричи! Громче, еще громче! Кричи так, чтобы господа в зале услышали. Я-то знаю, как ты умеешь орать по любому поводу, — до самого Баса слышно. Погоди! Грохнем-ка эти плошки!

С этими словами Калевб с размаху швырнул на пол всю оловянную и глиняную посуду и, заглушая звон, грохот и треск, завопил таким нечеловеческим голосом, что Мизи, и без того уже насмерть перепуганная грозой, в ужасе уставилась на него, испугавшись, не сошел ли он с ума.

— Что он делает? — закричала она. — Вывалили все, что осталось от поросенка, разлил молоко! Из чего я теперь сварю суп? Господи помилуй, старик от грома совсем рехнулся.

— Придержи-ка свой язык, потаскуха! — прикрикнул на нее Калевб, торжествуя по поводу своей удачной выдумки. — Теперь все в порядке!.. И обед и ужин... Все разом устроилось благодаря грозе.

— Бедняжка совсем спятил, — прошептала Мизи, глядя на Калеба с сожалением и страхом. — Дай-то бог, чтобы к нему когда-нибудь вернулся разум.

— Слушай, тупица ты старая, — продолжал Калевб вне себя от радости, что ему удалось выпутаться из такого, казалось бы, безвыходного положения, — смотри, чтобы сюда не пролез этот молодчик — слуга сэра Эштона, и кричи изо всех сил, что гром ударил в трубу и испортил распрекраснейший обед — все погибло: и говядина, и нежный бекон, и жаркое из козленка, и жаворонки на вертеле, и заяц, и паштет из утки, и оленина, и — ну, что еще? Не беда, если даже преувеличишь! Я пойду наверх, в зал. Расшвыряй здесь все, что можно. Да смотри не впускай сюда этого молодчика.

Распорядившись таким образом, Калевб поспешил наверх, но, прежде чем войти в зал, остановился и заглянул туда через маленькое отверстие в двери,

проделанное временем для удобства многих поколений слуг. Увидав, в каком состоянии находится мисс Эштон, он с присущим ему благоразумием решил немного обождать, отчасти для того, чтобы не причинить еще больше беспокойства, отчасти же, чтобы обеспечить должное внимание рассказу об ужасных последствиях грозы.

Но как только Люси пришла в себя и разговор коснулся устройства гостей в замке на ночь, Калеч счел этот момент вполне подходящим для своего появления и ворвался в зал, как об этом уже сообщалось в предыдущей главе.

— О, горе нам! Горе нам! Какое несчастье с домом Рэвенсвудов! И зачем только я дожид до этого дня!

— Что случилось, Калеч? — с испугом спросил Рэвенсвуд. — Неужели обрушилась одна из башен замка?

— Башня? Нет, слава богу! Но обрушилась сажа, а молния ударила прямо в кухонную трубу. Все разбросано — один кусок здесь, другой там, точно земли лэрда Там-и-Сям. И надо же случиться такой напасти, когда в замке высокие гости, знатные и почтенные господа, — он отвесил низкий поклон лорду-хранителю и его дочери. — Вся снедь перепорчена, нечего подать на обед; да и на ужин, пожалуй, тоже ничего не осталось.

— Охотно верю вам, Калеч, — сухо сказал Рэвенсвуд.

Болдерстон повернулся к хозяину и посмотрел на него с выражением мольбы и упрека.

— Не скажу, чтобы готовился какой-нибудь необыкновенный обед, — продолжал он, опасливо поглядывая на Рэвенсвуда, — так, прибавили кое-что к обычному меню вашей милости, *малый столовый прибор*, как говорят в Лувре, — три блюда и десерт.

— Оставьте при себе ваши глупости, старый болван! — воскликнул Рэвенсвуд. Назойливость Калеба приводила его в отчаяние, но он не знал, как уговорить старика, чтобы не вызвать какой-нибудь еще более нелепой сцены.

Калеб понял свое преимущество и не преминул им воспользоваться. Однако, заметив, что слуга сэра Эштона вошел в зал и что-то тихо говорит своему господину, он улучил минуту, чтобы шепнуть несколько слов Рэвенсвуду.

— Молчите, бога ради, молчите! Если уж мне хочется губить душу ложью ради спасения чести рода Рэвенсвудов, вас это не должно касаться. Если вы не станете мне мешать, я буду умерен в описаниях, но если вы начнете противоречить мне, я закачу обед, достойный герцога.

Рэвенсвуд счел за наилучшее предоставить назойливому дворецкому свободу действий, и тот, загибая пальцы, пустился перечислять:

— Не очень много блюд; всего на четверых: первая перемена — каплун под белым соусом, жаркое из молодого козленка, бекон. Вторая перемена — жареный заяц, раки, пирог с начинкой из телятины. Третья перемена — чернослив, теперь-то он уж совсем черен от сажи; сладкий пирог, воздушное пирожное, еще разные сласти, ну, потом — засахаренные фрукты, ну... и это все, — сказал он, перехватив нетерпеливый взгляд хозяина, — все, кроме груш и яблок.

Между тем мисс Эштон, мало-помалу оправившись от испуга, с интересом следила за всем происходящим. Рэвенсвуд, который еле сдерживал раздражение, и Калеб, с решительным видом объявлявший одно за другим кушанья придуманной им трапезы, показались ей настолько смешными, что, несмотря на все усилия, она не могла совладать с собой и неудержимо расхохоталась; отец, правда, более сдержанно, последовал ее примеру, наконец и сам Рэвенсвуд присоединился к ним обоим, хотя и сознавал, что веселится на собственный счет. Впервые за долгие годы под древними сводами зала вновь звучал громкий смех — ибо сцена, оставляющая нас холодными при чтении, очевидцам нередко кажется очень забавной. Они то умолкали, то снова принимались хохотать, вновь умолкали — и вновь заливались смехом. Между тем Калеб важно молчал, показывая всем своим разгневанно-презрительным видом, что

не намерен отступать от своих слов, и этим только усиливал общее веселье. Наконец, когда Рэвенсвуд и его знатные гости, почти охрипнув от смеха, совсем выбились из сил, он обратился к ним без всяких церемоний.

— Бога не боятся эти благородные господа! Завтракают они по-королевски, и, конечно, утрата лучшего из всех обедов, какие когда-либо готовили повара, только смешит их, словно шутки Джорджа Бьюкэнана. А если бы желудок ваших милостей был так же пуст, как у Калеба Болдерстона, вы вряд ли стали бы смеяться по такому прискорбному поводу.

Отповедь Калеба вызвала новый взрыв веселья, и старый слуга не на шутку обиделся не только за оскорбление, нанесенное роду Рэвенсвудов, но и за презрение к красноречию, с которым он представил размеры мнимого ущерба, причиненного грозой. «Я им так расписал обед, — говорил он впоследствии Мизи, — что даже у сытого по горло и то бы слюнки потекли, а они, подумай, только смеялись!»

— Но неужели, — сказала мисс Эштон, стараясь придать своему лицу серьезное выражение, — неужели все эти вкусные кушанья погибли безвозвратно и из них нельзя уже выбрать ни кусочка?

— Выбрать, миледи?! Что тут выберешь из золы и саж! Соболаговолите спуститься вниз и заглянуть на кухню — служанка трясется от страха, все припасы на полу: и говядина, и каплуны, и белый соус, и пирог, и воздушные пирожные, и бекон, и разные сласти, и чего только там нет. Вы все это можете увидеть собственными глазами, миледи, то есть, — прибавил он, спохватившись, — вы бы могли увидеть... Но теперь кухарка уже прибрала кухню. Правда, остался еще соус, но я попробовал его, и, представьте, на вкус — это совсем кислое молоко. Не иначе, как свернулся от грома. Вот этот джентльмен — он, конечно, слышал, какой был грохот, когда полетела на пол посуда: все наши блюда, и серебро, и фарфор.

Дворецкий лорда-хранителя, хотя и состоял на службе у важного господина, а потому умел в любых

обстоятельствах придавать должное выражение своему лицу, оторопел при этом вопросе; не найдясь, что ответить, он только молча поклонился.

— Я полагаю, милейший, — сказал Калебу лорд-хранитель — он начинал опасаться, как бы продолжение этой сцены не рассердило Рэвенсвуда, — я полагаю, что, если бы вы посоветовались с моим слугой Локхардом — он много путешествовал и привык ко всякого рода неожиданностям и различным превратностям судьбы, — вместе вы нашли бы способ выйти из этого затруднительного положения.

— Его милость мистер Рэвенсвуд знает, — возразил Калеб, который, хотя и не питал надежды добиться желанной цели собственными усилиями, однако, подобно благородному слону, согласился бы скорее умереть под возложенным на него бременем, чем прибегнуть к помощи собрата, — его милость знает, что в делах, касающихся чести нашего дома, мне не надобно советчиков.

— Было бы несправедливо отрицать это, Калеб, — ответил Рэвенсвуд, — но вы — мастер главным образом приносить извинения, а ими так же трудно насытиться, как и перечислением блюд вашего уничтоженного грозой обеда. А мистер Локхард, возможно, обладает талантом заменять то, чего нет, а скорее всего, никогда и не было.

— Ваша милость всегда изволит шутить, — сказал Калеб. — Но я не сомневаюсь, что стоит мне спуститься в Волчью Надежду, и даже в худшем случае мы накормим здесь самое малое сорок человек. Правда, не знаю, пожелает ли ваша милость принять что-либо от этих строптивцев. Не стану отрицать — в деле о яйцах и масле, положенных нам по оброку, они вели себя крайне неблагоразумно.

— Посоветуйтесь с Локхардом, Калеб, — приказал Рэвенсвуд. — Ступайте вместе в деревню и устройте, что можете. Нельзя же морить голодом наших гостей ради спасения чести разоренного рода. Да, Калеб, — вот вам мой кошелек. Сдается мне, он будет вам самым лучшим союзником.

— Ваш кошелек! — возмутился Калев. — На что мне ваш кошелек? Разве мы не в наших собственных владениях? Разве мы должны платить за то, что принадлежит нам по праву?

И Калев пулей выскочил из комнаты. Локхард последовал за ним.

Как только дверь зала затворилась за слугами, лорд-хранитель счел нужным извиниться за свой неуместный смех, а Люси выразила надежду, что она не обидела доброго, преданного старика.

— Калеву и мне, мисс Эштон, приходится учиться добродушно или по крайней мере терпеливо сносить насмешки, которые повсюду сопутствуют бедности.

— Клянусь честью, вы несправедливы к себе, мастер Рэвенсвуд, — возразил сэр Эштон. — Мне кажется, я знаю о ваших делах больше, нежели вы сами, и, надеюсь, сумею доказать вам, что принимаю в них некоторое участие и что... Словом, ваше положение лучше, чем вы полагаете. А пока позвольте заверить вас: я глубоко уважаю всякого человека, который не унывает в несчастье и предпочитает переносить лишения, нежели делать долги или продавать свою независимость.

Опасался ли лорд-хранитель оскорбить чувства Рэвенсвуда или страшился пробудить его гордость, но эти слова были произнесены им крайне осторожно, сдержанно и как-то нерешительно, словно, даже слегка касаясь болезненного предмета, он боялся показаться навязчивым, хотя Рэвенсвуд сам дал повод к подобному разговору. Словом, сэр Уильям, казалось, боролся между желанием выразить свое дружеское расположение и опасением быть в тягость. Неудивительно, что Рэвенсвуд, почти не знавший света, поверил в искренность этого обходительного придворного, хотя ее едва ли наберется даже капля в целой дюжине таких, как он. Тем не менее ответ Эдгара прозвучал весьма сдержанно. Он сказал, что признателен каждому, кто питает к нему добрые чувства, и, извинившись, вышел из зала, чтобы отдать необходимые распоряжения относительно ночлега.

С помощью старой Мизи все удалось устроить довольно быстро, да и выбор комнат был невелик. Рэвенсвуд уступил свою спальню мисс Эштон, и Мизи — некогда занимавшая почетное место среди замковой челяди, — облачившись в черное атласное платье, которое во время оно принадлежало бабушке Рэвенсвуда и украшало придворные балы королевы Генриетты Марии, — отправилась исполнять обязанности горничной. Тут Эдгар вспомнил о Бакло и, узнав, что он вместе с охотниками и другими случайными сотрапезниками угощается на постоялом дворе, поручил Калебу разыскать его там, объяснить, в каком они находятся затруднении, и попросить остаться ночевать в Волчьей Надежде, поскольку потайную комнату, за неимением другого подходящего помещения в замке, придется отдать лорду-хранителю. Рэвенсвуд не видел большой беды, если сам он, завернувшись в дорожный плащ, проведет ночь в зале у камина; что до слуг, то в те далекие времена в Шотландии все они, от младших и до старших, да и не только слуги, а даже молодые люди из богатых и знатных семей, не считали для себя зазорным переспать на охалке сухой соломы или на сеновале.

Что касается остального, то Локхард получил от своего господина приказание достать оленины в трактире, Калебу же была предоставлена полная возможность радеть о чести дома по собственному усмотрению. Рэвенсвуд снова предложил ему свой кошелек, но, так как разговор их происходил в присутствии чужого слуги, старый дворецкий, как ни чесались у него руки, отказался взять у хозяина деньги.

«Не мог он разве сунуть мне их тайком, — рассуждал он сам с собой. — Ох, его милость никогда не научится вести себя в подобных обстоятельствах».

Между тем, по принятому во всех шотландских деревнях обычаю, Мизи подала гостям немного молока и сыра собственного изготовления — «перекусить до обеда». Гроза миновала, и Рэвенсвуд, вспомнив другой старинный обычай, тогда еще не преданный забвению, предложил лорду-хранителю подняться на самую

высокую сторожевую башню, чтобы полюбоваться красивым видом, открывающимся оттуда на окрестности, да заодно и нагулять хороший аппетит.

Глава XII

«Мадам, — он отвечал, —
лишь ломтик хлеба
(Неприхотлив я в пище, видит небо),
Да каплуна печенку и пупок,
Да жареной баранины кусок
Но всякое убийство мне претит,
И вы испортите мне аппетит,
Коль для меня каплун заколот
будет».

Чосер, «Рассказ пристава
церковного суда»¹

Тревожные мысли обуревали Калеба, когда он отправился в свою разведывательную экспедицию. Действительно, положение его было втройне трудным. Он не посмел рассказать своему господину, как утром оскорбил Бакло (только ради чести дома!), и не смел признаться даже самому себе, что слишком поспешно отказался от кошелька; наконец, он со страхом предвидел неприятные последствия от встречи с Бакло, который, конечно, не забыл обиды и, возможно, выпив уже порядочное количество бренди, находится под влиянием винных паров.

Надо отдать Калебу справедливость: он был храбр, как лев, когда дело шло о чести рода Рэвенсудов, но, отличаясь благоразумием, не любил рисковать понапрасну. Впрочем, предстоящая встреча не слишком его занимала: мысли его были сосредоточены главным образом на том, как скрыть убогое хозяйство замка и доказать, что он не бахвалился, когда брался добыть угощение собственными силами, не прибегая к помощи Локхарда и не тратя хозяйских денег. Это было для него делом чести, как для того благородного

¹ Перевод И. Кашкина.

слона, с которым мы уже сравнивали Калеба и который, увидев, что ему на помощь ведут собрата, сломал себе хребет в отчаянной попытке выполнить свой долг и самому справиться с непосильным уроком.

Деревня, куда они сейчас направлялись, не раз выручала старого дворецкого в тяжких обстоятельствах, но за последнее время в отношениях Калеба с ее обитателями произошли значительные перемены.

Это было маленькое селение, раскинувшееся на берегу бухты, образовавшейся при впадении в море небольшой речки; отрог горы, подымавшийся сзади, закрывал его от замка, которому оно некогда принадлежало. Немногочисленные жители Волчьей Надежды, или Волчьей Гавани, как называлось это селение, добывали себе пропитание от случая к случаю: летом — ловлей сельдей (они выходили в море на нескольких рыбачьих баркасах), зимою же — контрабандой джина и бренди. Они питали наследственное уважение к лордам Рэвенсвудам, что, однако, не мешало большинству из них воспользоваться невзгодами, обрушившимися на их господ, и приобрести за незначительную плату права аренды¹ на находящиеся в их пользовании маленькие владения: хижины, огороды и выгоны для скота, и, таким образом, сбросить с себя оковы феодальной зависимости и избавиться от многочисленных поборов, которыми под любым предлогом, а иногда и без всякого предлога, обнищавшие шотландские лэндлорды произвольно облагали своих еще более нищих крестьян. Словом, жители селения могли считать себя свободными — обстоятельство, особенно раздражавшее Калеба, имевшего обыкновение взимать с них дань, пользуясь неограниченной властью, какой в старину пользовались в Англии «королевские поставщики, когда, покинув защищенные готическими решетками замки, совершали вылазки за снедью, не приобретаемой за деньги, а отторгаемой силой и вла-

¹ То есть неотъемлемое право пользования земельным участком с ежегодной выплатой определенной денежной суммы, незначительной по сравнению с теми оброками и поборами, о которых говорится ниже (*Прим. автора.*)

стью, и, ограбив сотни рынков и захватив все, что можно, у населения, обращавшегося в бегство и прятавшегося при их появлении, наполняли добычей множество глубоких подвалов». ¹

Калеб, некогда сбиравший с крестьян оброк, словно феодальный сюзерен с вассалов (правда, в несколько меньших размерах), с нежностью вспоминал о былой своей власти и не желал примириться с ее падением, а так как он не переставал надеяться, что жестокий закон и исконная привилегия, отдававшая баронам Рэвенсвудам первую и лучшую долю всех плодов земли на пять миль в округе, не уничтожены навеки, а лишь временно бездействуют, то время от времени напоминал о них жителям Волчьей Надежды каким-нибудь мелким побором. Вначале они подчинялись Калебу с большей или меньшей готовностью, ибо, привыкнув издавна считать потребности барона и его семейства важнее собственных нужд, они, даже обрета фактическую независимость, не сразу почувствовали себя свободными. Они походили на человека, который долгие годы томился в оковах и, оказавшись на воле, не может избавиться от ощущения, будто наручники все еще сжимают ему запястья. Но подобно тому, как выпущенный из темницы узник, получив возможность беспрепятственно двигаться, вскоре избавляется от чувства связанности, рожденного долгим ношением кандалов, так и человек, обретший свободу, быстро осознает дарованные ему права.

Мало-помалу жители Волчьей Надежды начали роптать, сопротивляться и наконец наотрез отказались подчиняться поборам Калеба Болдерстона. Тщетно он напоминал им, что, когда одиннадцатый барон Рэвенсвуд, прозванный шкипером за любовь к морскому делу, желая содействовать торговле в их маленькой гавани, построил пристань (груда кое-как сваленных в кучу камней), защищавшую рыбацьи суда от непогоды, то было решено, что на всем протяжении его владений он будет пользоваться первым

¹ Берк. Речи об экономических реформах. — Собр. соч., т. 3, стр. 250. (Прим. автора.)

кусом масла от каждой новотельной коровы и пер-
вым яйцом, снесенным каждой курицей в понедельник,
почему эти яйца и получили название понедельничьих.

Бывшие вассалы слушали, почесывали затылки,
кашляли, чихали, а припертые к стенке, отвечали в
один голос: «Не знаем» — излюбленный ответ шот-
ландца, когда ему предъявляют требование, которое
его совесть, а подчас и сердце, признает справедли-
вым, соображения же выгоды заставляют отвергать.

Тогда Калев вручил арендаторам Волчьей Надеж-
ды бумагу с требованием доставить в замок означен-
ное в ней количество яиц и масла, как недоимку по
упомянутому выше оброку, причем снисходительно
согласился принять взнос какими-либо другими про-
дуктами или деньгами, если им затруднительно уплатить
натурой. После чего он удалился, надеясь, что
о дальнейшем они договорятся сами. Крестьяне не
замедлили собраться, но не с тем чтобы, как полага-
л Калев, распределить между собой оброк, а чтобы
решительно воспротивиться этому побору; они только
не знали, каким способом выказать свое несогласие.
Как вдруг бочар, личность весьма уважаемая в ры-
бачьем поселке, своего рода местный сенатор, сказал:

— Наши куры все кудахтали для лордов Рэвенс-
вудов, а теперь пускай-ка покуражатся для тех, кто их
поит и кормит.

Собрание выразило свое одобрение единодушным
смехом.

— А если хотите, — продолжал бочар, — я схожу
к Дэви Дингуоллу, стряпчему, что приехал сюда с
севера. Ручаюсь, уж он-то найдет для нас законы.

Крестьяне тут же назначили день для большого
разговора о требованиях Калеба и пригласили его
явиться в Волчью Надежду. Калев прибыл в селение
с жадно простертыми руками и пустым желудком,
рассчитывая поживиться за счет данников Волчьей
Надежды и наполнить первые — с пользой для сво-
его господина, а второй — с пользой для себя. Но,
увы, надежды его развеялись как дым! Не успел он
вступить в селение с восточной стороны, как увидел,
что с западного конца к нему приближается роковая

фигура Дэви Дингуолла, хитрого, сухопарого, язвительного стряпчего, обладавшего к тому же железными кулаками; он вел тяжбы против Рэвенсвуда и был главным клеветником сэра Уильяма Эштона. Размахивая кожаным мешком, доверху набитым грамотами и хартиями, выданными селению, Дэви выразил надежду, что не заставил мистера Болдерстона ждать, поскольку ему «поручено, а также даны все полномочия, погашать и взыскивать долги, примирять тяжущиеся стороны и возмещать убытки, словом, действовать согласно необходимости касательно всех взаимных и неудовлетворенных претензий почтенного Эдгара Рэвенсвуда, иначе именуемого мастер Рэвенсвуд.»

— *Высокоблагородного Эдгара, лорда Рэвенсвуда*, — сказал Калев с особым ударением: сознавая, как мало у него шансов на успех в предстоящем споре, он тем более был полон решимости ни на йоту не уступать в вопросах чести дома.

— Пусть лорд Рэвенсвуд, — согласился деловой человек, — не будем спорить о титулах, даваемых из вежливости... Итак, именуемого лорд Рэвенсвуд или мастер Рэвенсвуд, наследственного владельца замка «Волчья скала» и принадлежащих ему земель, с одной стороны, и Джона Уайтфиша и других ленников из селения Волчья Надежда, расположенного на вышеупомянутых землях, с другой.

Калев знал по горькому опыту, насколько труднее вести борьбу с этим наемным поборником чужих прав, чем с самими поселянами, — на их воспоминания, привязанности и образ мыслей он мог бы воздействовать сотнями косвенных аргументов, к которым их полномочный представитель оставался совершенно глух. Исход этого свидания подтвердил всю справедливость опасений Калеба. Тщетно пускал он в ход все свое красноречие и изобретательность, тщетно приводил кучу доводов, ссылаясь на древние обычаи и наследственное чувство уважения, тщетно напоминал о помощи, оказанной лордами Рэвенсвудами жителям Волчьей Надежды в прошлом, и намекал на возможные услуги в будущем, — стряпчий твердо держался буквы грамот: этого он в них не видел, там это не

было записано. А когда Калев, желая попробовать, не подействует ли угроза, упомянул о печальных последствиях для селения, если лорд Рэвенсвуд лишит крестьян своего покровительства, и даже дал понять, что лорд Рэвенсвуд может прибегнуть к решительным мерам в отместку за обиду, Дингуолл громко расхохотался.

— Мои доверители, — сказал он, — решили сами заботиться об интересах своего селения, а лорду Рэвенсвуду, коль скоро он лорд, довольно хлопот в своем собственном замке. Что же касается угроз о насильственном изъятии, с применением силы, или *via facti*,¹ как это называется в законах, то позволю себе напомнить вам, мистер Болдерстон, что мы живем не в прежние времена, к тому же к югу от Форта, и достаточно далеко от горной Шотландии. Мои доверители считают себя в состоянии защищаться собственными силами, но, если окажется, что они ошибаются, они обратятся за помощью к правительству, — прибавил он с ехидной улыбкой, — и капрал с четырьмя красными мундирами сумеет оградить их от притязаний лорда Рэвенсвуда и от любых насильственных поборов, какие он или его слуги вздумают здесь производить.

Если бы Калев мог сосредоточить в своем взгляде всю ненависть аристократии, если бы он мог испепелить этого стряпчего, отрицавшего вассальную зависимость и родовые привилегии, он бы уничтожил его своим взором, не задумываясь о последствиях. При настоящих же обстоятельствах ему ничего не оставалось, как вернуться в замок. Целых полдня он не показывался никому на глаза и никого к себе не допускал, даже Мизи: запершись в своей каморке, он шесть часов подряд начищал оловянное блюдо да насвистывал песенку «Мэгги Лаудер».

Неудачный исход этой реквизиции лишил Калеба помощи Волчьей Надежды и ее окрестностей, его Перу и Эльдорадо, откуда прежде в случае необходимости он черпал полными пригоршнями. Он поклялся,

¹ Явочным порядком (лат.).

что ноги его больше не будет в этом селении, и сдержал слово. Трудно поверить, но этот разрыв, как и предполагал Калев, явился чем-то вроде наказания для непокорных вассалов. В их глазах мистер Болдерстон был важным лицом, общающимся с высшими существами; его присутствие украшало их маленькие празднества, его советы во многих случаях оказывались весьма полезными, и знакомство с ним делало честь Волчьей Надежде. По общему мнению, с тех пор как Калев засел у себя в замке, селение «стало совсем не таким, как прежде... Но спору нет, насчет яиц и масла мистер Калев был совсем неправ, и мистер Дингуолл доказал это по всей справедливости».

Таково было положение дел между враждующими сторонами, когда старый дворецкий оказался перед необходимостью либо в присутствии знатного незнакомца и (уж куда хуже!) его слуги признать, что замок «Волчья скала» не способен накормить гостей — а для Калеба это было нож острый, — либо обратиться к милосердию жителей Волчьей Надежды. Предстояло пойти на жестокое унижение, но нужда была крайней, и тут ни с чем нельзя было считаться. Вот какие чувства теснились в груди бедного Калеба, когда он ступил на улицу селения.

Прежде всего он решил избавиться от соглядатая и тотчас указал Локхарду дорогу в харчевню матушки Смолтраш, где Бакло и Крайгенгельт пировали вместе с охотниками и откуда по всей деревне разносилось громкое пение; красноватый свет падал из окон и, рассеивая сгущающиеся сумерки, мерцал на бочках, кадках и бадьях, сваленных в кучу во дворе бочара по другую сторону улицы.

— Не угодно ли вам, мистер Локхард, — обратился к нему Калев, — зайти в тот дом, где горит свет и как раз распевают «Холодной похлебкой угощали нас в Эбердине». Вы сможете выполнить поручение вашего господина и купить там оленины, а я, как только достану остальное, зайду туда передать лэрду Бакло, что мастер Рэвенсвуд просил его переночевать в деревне. Разумеется, можно было бы вполне обойтись и без оленины, — прибавил он, держа за

гуговицу слугу сэра Эштона, — но, понимаете, это надо сделать из любезности к охотникам. И вот еще что, мистер Локхард: если вам предложат вина, или там бренди, или эля, так вы не отказывайтесь, а захватите с собой бочоночек, потому что наши запасы в замке, возможно, пострадали от грозы... Признаться, я этого очень опасаясь.

Отпустив Локхарда, Калевб тяжелой поступью и с еще более тяжелым сердцем двинулся по кривой улице, которая вилась между разбросанными домиками, обдумывая, с кого начать атаку. Нужно было найти человека, для которого прежнее величие рода Рэвенсвудов имело бы больший вес, чем недавно приобретенная независимость, а просьба Калеба была бы воспринята как высокая честь и, вызвав раскаяние, польстила бы самолюбию. Мысленно перебрав всех жителей селения, он так ни на ком и не мог остановиться. «Боюсь, как бы наша похлебка не оказалась ледяной», — подумал Калевб, до слуха которого вновь донесся нестройный хор: «Холодной похлебкой угощали нас в Эбердине». «Пастор... Он получил приход благодаря покойному лорду, но потом они поссорились из-за десятины. Вдова пивовара... Она много месяцев снабжала замок пивом в долг, и ей еще ничего не уплатили по счету — конечно, если бы не честь рода, было бы грешно обижать вдову». Никто не мог бы помочь Калебу в его беде лучше, чем бочарных дел мастер Джибби Гирдер, но, как говорилось выше, он-то и возглавил бунт, так что на его дружескую руку менее всего можно было рассчитывать.

«Впрочем, все зависит от умения взяться за дело, — рассуждал сам с собой Калевб. — Я имел неосторожность назвать бочара зеленым новичком, и с тех пор он плохо относится к дому Рэвенсвудов. Но он женился на славной девушке, Джин Лайтбоди, дочке старого Лайтбоди, того самого, что жил в Луп-де-Дайкс, а старый Лайтбоди был женат на Мэрион, служившей у леди Рэвенсвуд сорок лет тому назад. Помню, я не раз повесничал с нею, а она, говорят, теперь живет у зятя. У этого мошенника водятся якобитские и георгиевские денежки. Эх, кабы до них

добраться!.. Конечно, если я попрошу взаймы у этого неблагодарного болвана, то окажу ему и его семейке столько чести, сколько они вовсе не заслуживают. А если он и потеряет на нас немного, так не велика беда. Накопит еще».

Приняв, таким образом, решение, Калёб мигом повернул назад и поспешно зашагал к дому бочара, распахнул без долгих церемоний дверь и сразу очутился в сенях, откуда он мог, никем не замеченный, окинуть взглядом всю кухню.

В противоположность запустению, царящему в замке, дом бочара был полной чашей; в очаге весело пылало пламя. Молодая жена бочара в нарядном платье с широкими рукавами и кружевным воротничком заканчивала праздничный туалет, и ее красивое, добродушное лицо отражалось в осколке зеркала, специально для этой цели прикрепленном к посудной полочке. Ее мать, старая Мэрион, «самая развеселая женщина в околотке», по единодушному мнению окрестных кумушек, сидела перед пылающим огнем во всем великолепии парадного облачения: на ней была гроденаплевая блуза и нить янтарных бус, волосы были уложены в замысловатый узел и скреплены лентой. Уютно попыхивая трубочкой, она надзидала за стряпней, ибо на очаге, упомянутом нами выше, стоял большой горшок, или, точнее говоря, котел, в котором, громко булькая, варилась говядина с хлебными ломтиками, а на вертелах, усердно поворачиваемых двумя мальчишками-учениками, стоявшими по обе стороны печи, жарились бараний бок, жирный гусь и пара диких уток — зрелище, более приятное для страждущего сердца и голодного желудка отчаявшегося мажордома, чем красавица хозяйка и ее развеселая матушка. Вид этого изобилия и соблазнительный запах так подействовали на Калёба, что он едва не лишился чувств. На мгновение он отвернулся, желая посмотреть, что творится в парадной половине дома, и взору его представилась картина, глубоко поразившая его сердце: большой круглый стол был накрыт на десять, а то и на все двенадцать человек и «убран», как любил выражаться Калёб, белоснежной ска-

тертью; большие оловянные фляги и несколько серебряных кубков, вероятно содержащих в себе напиток, достойный их великолепного вида, чистые тарелки, ложки, вилки и ножи, отточенные, начищенные и готовые к употреблению, казалось были разложены здесь по какому-то особо торжественному случаю.

«Что из себя корчит этот неуч бочар! — подумал Калев, с завистью любуясь праздничным столом. — Противно смотреть, как это холопское отродье набивает себе утробу. Не будь я Калев Болдерстон, если часть этих превосходных яств сегодня же не отправится со мною в замок».

Задавшись этой целью, Калев смело шагнул в кухню и любезно раскланялся с обеими хозяйками — старой и молодой. Замок «Волчья скала» был своего рода королевским двором для всего околотка, и Калев — его первым министром; а давно уже замечено, что, если мужское население, платящее податей, нет-нет да и выражает свое недовольство придворными, прекрасный пол, несмотря ни на что, никогда не отказывает им в своей благосклонности, ибо от кого же, как не от них, наша слабая половина узнает последние придворные сплетни и наиновейшие моды. Поэтому обе женщины тотчас бросились обнимать Калеба, громко изъявляя свой восторг:

— Вы ли это, мистер Болдерстон? Какое счастье видеть вас! Садитесь, садитесь, сделайте милость! Хозяин будет вне себя от восхищения! Для него это такая радость! Ведь у нас сегодня крестины. Вы, вероятно, слышали об этом и, конечно, останетесь взглянуть на обряд. Мы зарезали барана, а один из наших работников ходил на охоту и подстрелил на болоте диких уток. Вы, кажется, всегда любили дичь?

— Что вы, что вы, хозяйушки, — замахал руками Калев, — я зашел только поздравить вас, да заодно хотел сказать пару слов хозяину, но раз его нет дома.. — И Калев сделал движение, будто собрался уходить.

— Нет, мы вас так не отпустим! — смеясь, воскликнула старшая хозяйка, крепко держа его за фалды — вольность, относившаяся ко времени их бывшего

знакомства. — А вдруг это принесет малютке несчастье, если вы уйдете до крестин.

— Я очень тороплюсь, голубушка, — возразил дворецкий, однако, не слишком сопротивляясь, позволил усадить себя за стол и, видя, что хозяйка дома поспешно ставит перед ним прибор, добавил:

— Нет, есть я решительно не могу, мы в замке прямо уже дышать не в силах, обедаясь с утра до ночи. Право, даже стыдно быть такими чревоугодниками, а всему виной английские пудинги, черт бы побрал этих англичан.

— Бог с ними, с вашими английскими пудингами, мистер Болдерстон, — сказала матушка Лайтбоди. — Отведайте-ка наших пудингов: вот ржаной, а вот овсяный. Какой вы больше любите?

— Оба хороши, голубушка, оба превосходны, уж куда лучше, да с меня довольно и запаха — я только что отобедал (у несчастного с самого утра не было во рту ни крошки!). Но, чтобы не обижать вас, хозяйюшки, с вашего позволения, заверну их в салфетку да захвачу с собой, а за ужином обязательно съем. Откровенно говоря, мне страх как надоели все эти пирожные и сладкие подливы, которыми потчует нас Мизи. Вы же знаете, Мэрион, деревенские лакомства всегда были мне больше по душе, и деревенские красавицы тоже, — прибавил он, смотря на молодую хозяйку. — Как похорошела после замужества! А ведь и раньше была первой красоткой в нашем приходе, да, пожалуй, и во всей окрестности. У доброй коровушки и телка хороша.

Женщины приняли комплименты каждая на свой счет и улыбнулись Калебу, потом они улыбнулись друг другу, а Калек тем временем завернул пудинги в салфетку, которую специально принес на случай, словно фурыер-драгун, повсюду таскающий с собой фуражную сумку, в надежде наполнить ее чем придется.

— А что нового у вас в замке? — спросила молодая хозяйка.

— Нового? Да уж такие новости, каких вы никогда и не слышивали! Лорд-хранитель гостит у нас с

дочерью; он прямо-таки готов навязать ее нашему милорду, если тот сам не захочет взять ее в жены. Ручаюсь, сэр Эштон не преминет отдать за нею все наши бывшие земли.

— Ах, боже мой! — в один голос воскликнули обе женщины и тотчас засыпали Калеба вопросами: — А он захочет на ней жениться? А хороша она собой? А какие у нее волосы? А что на ней надето — амазонка или платье с накидкой?

— Та-та-та! Да тут не меньше дня нужно, чтобы ответить на все ваши вопросы, а у меня нет и минуты свободной. Но где же хозяин?

— Он поехал за пастором, — сообщила миссис Гирдер, — за почтенным Питером Байдибентом из Мос-хеда; бедняжка долгое время скрывался от преследований в горах и схватил там ревматизм.

— Вот как! Виг, да еще из тех, что прятались в горах! — с нескрываемым раздражением воскликнул Калеб. — Я помню время, Мэрион, когда вы и другие порядочные женщины обращались в подобных случаях к почтенному мистеру Кафкушену и его молитвеннику.

— Что правда, то правда, мистер Болдерстон, — согласилась миссис Лайтбоди. — Но как же быть? Джин — жена своего мужа и должна во всем его слушаться. Она и псалмы поет и гребень выбирает по его указке. На то он хозяин и глава дома. Так-то, мистер Болдерстон.

— И денежки, чего доброго, тоже у него хранятся? — спросил Калеб, которому мужское владычество в доме не сулило ничего хорошего.

— Все, до последнего пенни. Но, как видите, мистер Болдерстон, Гирдер наряжает ее как куколку, так что она не может на него пожаловаться. На чем выиграешь, а на чем и проиграешь.

— Ладно, ладно, Мэрион, — сказал Калеб, несколько павший духом, но отнюдь не сраженный. — Вы, мне помнится, вели себя с вашим мужем иначе; ну да у всякой пичужки свой голосок. Однако мне пора; я и зашел-то только для того, чтобы сказать Гирдеру, что умер Питер Панчен, бочар при королев-

ских погребках в Лите. Пожалуй, если мой господин замолвит словечко за вашего мужа перед лордом-хранителем, это может принести Гилберту немалую пользу, но раз его нет дома...

— Ах, подождите его, — взмолилась молодая женщина, — я всегда говорила мужу, что вы желаете ему добра, но он такой обидчивый — слова нельзя сказать.

— Ну хорошо, подожду еще минутку.

— Значит, вы говорите, — начала молодая жена мистера Гирдера, — что мисс Эштон хорошенькая? Она и должна быть хорошенькой, если собирается за нашего молодого лорда: он ведь такой красавчик и сидит на лошади как настоящий принц. Знаете, мистер Болдерстон, когда ему случается проезжать мимо нашего дома, он всегда смотрит в мое окно. Вот потому-то я не хуже всех других знаю, какой он из себя.

— Еще бы, дружок! Мой господин всегда говорит, что у жены бочара самые черные глазки во всем околотке, а я ему отвечаю: «Вполне возможно, ваша милость, ведь они ей достались от ее матушки. Черные-пречерные, это уж мне по собственному опыту известно». А? Мэрион! Ха-ха-ха! Хорошее было времечко.

— Ах вы, старый проказник! — воскликнула Мэрион. — Разве так можно говорить при молодой женщине? Джин, мне кажется, ребенок плачет. Ну конечно, он опять схватил эту гадкую простуду.

Мать и бабушка, натываясь друг на друга, бросились из кухни в темный угол дома, где находился юный виновник торжества.

Увидев, что поле боя очистилось, Калев поднес к носу живительную понюшку — табак всегда придавал ему силы, помогая утвердиться в принятом решении.

«Не видать мне счастья на этом свете, — подумал он, — если Гирдер и Байдибент будут лакомиться этими вкусными утками».

Повернувшись к стоящим у очага мальчикам, Калев сунул старшему из них, которому на вид было лет одиннадцать, два пенса и сказал:

— Вот тебе деньги, дружок, сбегай-ка к миссис Смолтраш и попроси ее насыпать мне в кисет табач-

ку; она тебе даст за труды пряник, а я пока поверчу за тебя утку.

Не успел старший мальчик закрыть за собою дверь, как Калевб, окинув оставшегося поваренка суровым и пристальным взором, снял с огня вертел с дикими утками, за которыми взялся присматривать, и, нахлобучив шляпу, торжественно удалился с трофеем в руках. Он шел не останавливаясь и задержался только у харчевни, чтобы в нескольких словах передать через хозяйку мистеру Хейстону Бакло, что его никак нельзя будет устроить в замке на ночь.

Просьба Рэвенсвуда была и так слишком кратко изложена его дворецким, но в устах деревенской трактирщицы она прозвучала совсем уж грубо и оскорбительно: не только Бакло, а любой, даже спокойный и уравновешенный человек вышел бы из себя. Капитан Крайгенгельт, при единодушном одобрении всех присутствующих, предложил догнать старую лису (то есть Калеба), пока она еще не ушла в свою нору, и задать ей хорошую трепку. Но Локхард тоном, не терпящим возражений, объявил слугам сэра Эштона и лорда Битлбрейна, что малейшая обида, причиненная домочадцам молодого Рэвенсвуда, нанесет тяжчайшее оскорбление лорду-хранителю. Сказав все это достаточно веско, чтобы отбить у слушателей охоту потешаться над стариком, он отправился в обратный путь, прихватив с собою двух слуг, нагруженных всей той снедью, какую ему удалось раздобыть, и в конце селения догнал Калеба.

Глава XIII

Принять ваш дар? — Да, я просил
об этом.

Но хуже то, что я уже украл,
И худшее, — что растерялся я.

«Уж без гроша»

Лицо мальчика, единственного свидетеля нарушения Калевбом всех законов собственности и гостеприимства, могло бы послужить прекрасным сюжетом

для картины. Он остолбенел, словно воочию увидел один из тех призраков, о которых ему рассказывали в долгие зимние вечера; забыв о возложенной на него обязанности, он перестал поворачивать вертел и, в довершение всех бед, баранина пригорела и обуглилась. Увесистая пощечина вывела мальчика из оцепенения. Перед ним стояла миссис Лайтбоди, женщина тучная (хотя, надо полагать, другие качества соответствовали ее имени),¹ к тому же мастерски владеющая искусством рукоприкладства, в чем ее покойный супруг, как говорят, имел возможность убедиться на собственном опыте.

— Недоносок ты паршивый! Почему у тебя сгорело жаркое, дармоед никчемный?

— Не знаю, — пролепетал мальчик.

— А куда делся этот негодяй Джайлс?

— Не знаю, — прорыдал несчастный.

— Где же мистер Болдерстон?.. О боже! Именем святых отцов и церковного суда, отвечай: где вертел с дичью?

Тут подросла миссис Гирдер, и обе женщины принялись что было сил кричать на бедного мальчишку, оглушая его одна справа, другая слева, и довели до такого состояния, что он не мог уже вымолвить ни слова. Только с приходом второго мальчика истина мало-помалу начала проясняться.

— Ну, знаете ли, — произнесла миссис Лайтбоди, — кто бы мог подумать, что Калев Болдерстон способен сыграть такую шутку со старой знакомой!

— Стыдно ему! — воскликнула супруга мистера Гирдера. — Что я теперь скажу мужу? Он же убьет меня!

— Что ты, что ты, глупенькая! — проговорила мать. — Беда, конечно, большая, но уж совсем не такая страшная, как ты говоришь. Убить тебя! Для этого ему придется начать с меня, а я и не с такими справлялась. У меня не очень-то разойдешься, а крика мы не боимся.

¹ По-английски Лайтбоди (Lightbody) дословно означает «легкое тело».

В эту минуту у ворот раздался конский топот, возвещавший о прибытии бочара с пастором. Спешившись, они прошли прямо в кухню, чтобы поскорее обогреться: после грозы стало очень холодно, а в лесу было сыро и грязно. Молодая женщина, зная, как велико очарование праздничного наряда, бросилась вперед, решив принять на себя первый удар, между тем как миссис Лайтбоди, подобно когорте ветеранов римского легиона, осталась в арьергарде, готовая в случае надобности поддержать дочь. Обе делали все возможное, чтобы отсрочить роковое открытие: старуха загородила собою печку, а дочь, наградив пастора и супруга нежнейшей улыбкой, принялась участливо их расспрашивать, то и дело выражая опасение, как бы они «не простыли».

— Простыли! — сердито передразнил ее Гирдер, не принадлежавший к числу мужей, которых жены держат под каблуком. — Простынешь тут, раз вы не пускаете нас к огню.

С этими словами бочар прорвался сквозь двойную линию заграждений; а так как он обладал чрезвычайно зорким глазом, когда дело шло о его собственности, то сразу же обнаружил отсутствие вертела с дичью.

— Черт возьми! — воскликнул он. — Где..

— Фи, как тебе не стыдно! — накинулись на него обе женщины. — При достопочтенном мистере Байдибенте!

— Виноват, — сказал бочар, — но...

— Произносить вслух имя врага рода человеческого, — сказал мистер Байдибент, — значит...

— Виноват, — повторил бочар.

— Значит, — продолжал преподобный отец, — подвергать себя искушениям, вынуждая его некоторым образом забыть тех несчастных, кои уже составляют предмет его попечений, и заняться тем, кто призывает имя его.

— Ладно, мистер Байдибент, будет, — взмолился бочар. — Ведь я уже признал свою вину, чего же еще? Но, с вашего позволения, я хочу спросить этих

женщин, зачем они выложили на блюдо дичь, не дождавшись нашего приезда.

— Мы до нее не дотрагивались, Гилберт, — сказала Джин. — Несчастный случай...

— Какой там еще несчастный случай! — заорал Гилберт, бросая на нее гневный взгляд. — Утки-то, надеюсь, целы? А?

Джин, испытывавшая благоговейный страх перед мужем, не осмелилась отвечать ему, но ее мать немедленно бросилась ей на помощь.

— Я отдала их одному моему знакомому, — заявила она зятю, воинственно отведя локти в сторону, словно собираясь при малейшем возражении упереть руки в бока. — Ну и что?

От такой самоуверенности у Гирдера на мгновение отнялся язык.

— *Вы* отдали моих диких уток, лучшее украшение нашего обеда?! — завопил он. — Ах вы, старая ведьма! Хотел бы я знать, как его зовут, этого вашего знакомого!

— Достопочтенный мистер Калев Болдерстон из замка «Волчья скала», — отвечала Мэрион, готовая тотчас ринуться в бой.

Когда Гирдер услышал, что его роскошные утки принесены в дар нашему другу Калебу, которого по причинам, уже известным читателю, он решительно недолюбливал, он пришел в неописуемую ярость; ни одно обстоятельство не могло бы сильнее разжечь его негодование. Он замахнулся на миссис Лайтбоди хлыстом, но та даже не шелохнулась; собравшись с силами, она бесстрашно подняла на обидчика железную поварешку, которой только что поливала маслом жаркое. Без сомнения, это оружие не уступало хлысту, а поднявшая его длань была поувесистее, нежели рука Гирдера, а потому он счел за наилучшее выместить свой гнев на жене, издававшей какие-то булькающие звуки, весьма похожие на жалобное всхлипывание, к которым пастор, поистине самый простодушный и добрейший из людей, отнесся с большим состраданием.

— А ты, безмозглая потаскушка, — заорал Гирдер, — ты спокойно смотрела, как мое добро отдают

какому-то бездельнику, этому пьянице и распутнику, этой старой развалине, этому лакею, отдают за то, что он поверещал над ухом у глупой старой сплетницы да наврал ей с три короба чепухи. Сейчас я с тобой...

Но тут за нее вступился пастор, пытаясь удержать бочара не только словом, но и делом; между тем миссис Лайтбоди, загородив собою дочь, воинственно размахивала поварешкой.

— Значит, нельзя уж поучить собственную жену?! — возмутился бочар.

— Свою жену, Гирдер, можешь учить сколько тебе угодно, — заявила миссис Лайтбоди, — но мою дочь ты не тронешь и пальцем: в этом уж можешь не сомневаться.

— Стыдитесь, мистер Гирдер, — увещевал пастор. — Не ожидал я от вас такого недостойного поведения! Как! Предаться греховной страсти: с таким гневом ополчиться на самое близкое и дорогое вам существо! И это в тот час, когда вы готовитесь исполнить священнейший долг христианина — долг отца. И за что? За пустое и презренное земное благо.

— Презренное! Пустое! — вскричал Гирдер. — Да я отроду не видывал такого жирного гуся! А таких прекрасных уток во всем свете не сыскать!

— Положим, что так, сосед, — возразил пастор. — Но взгляните: разве мало превосходных яств еще осталось в вашем доме? Я помню время, когда одна такая лепешка, которых, как я вижу, имеется у вас в избытке, показалась бы лучшим лакомством тем несчастным, что во имя святой веры умирали с голоду в горах, в болотах и вырытых в земле пещерах, где они скрывались от гонений.

— Вот это-то меня и бесит, — сказал бочар, желавший хотя бы в ком-нибудь найти сочувствие. — Отдай она мою дичь страждущему праведнику или просто порядочному человеку, я бы слова не сказал. Но этому грабителю и вралю! Этому притеснителю и негодяю тори, гарцевавшему в отряде милиции, сражавшемуся против святых защитников веры при

Босуэл-бридже под начальством старого тирана Аллана Рэвенсвуда, которого, слава богу, уже прибрал господь. Отдать самое лакомое блюдо этому негодяю!..

— Но, мистер Гилберт, неужели вы не видите здесь десницы провидения? Детям праведников не приходится протягивать руку за подающим, а вот отпрыск их некогда могущественного гонителя вынужден поддерживать свое существование крохами с вашего обильного стола.

— К тому же, — вставила словечко миссис Гирдер, — наши утки пойдут совсем не лорду Рэвенсвуду, а на угощение лорда-хранителя, кажется, так его величают. Он сейчас в замке.

— Сэр Уильям Эштон в замке «Волчья скала»! — воскликнул изумленный мастер клепок и обручей.

— Да. Они теперь с лордом Рэвенсвудом такие друзья — водой не разольешь! — присовокупила миссис Лайтбоди.

— Дура набитая! — снова рассердился бочар. — Видно, этому старому сплетнику и пройдохе ничего не стоит уверить вас, что луна — это круг зеленого сыра! Лорд-хранитель — и Рэвенсвуд! Да они что кошка с собакой, что волк с охотником!

— А я вам говорю, что они дружны, словно муж с женой, и между ними больше согласия, чем между иными настоящими супругами. И еще есть одна новость: Питер Панчен, бочар при королевских погребках в Лите, умер, и место его свободно, и...

— Ах, да замолчите ли вы наконец! — прикрикнул Гирдер на говоривших разом женщин, ибо как только разговор принял другой оборот, молодая женщина приободрилась и стала вторить матери, произнося слова так же быстро, но октавой выше, так что получилось что-то вроде песни на два голоса.

— Это сущая правда, хозяин, — сказал старший подмастерье Гирдера, вошедший в кухню во время перебранки. — Я сам только что видел слуг лорда-хранителя в харчевне матушки Смолтраш. Они там пьют и веселятся.

— А господин их гостит в «Волчьей скале»?

— Да, честное слово!

— И он друг Рэвенсвуда?

— Похоже, что так, иначе что бы ему делать в замке?

— И Питер Панчен умер?

— Умер, умер, — подтвердил подмастерье, — представился старина Панчен. Не одну флягу бренди он осушил на своем веку! Но пришел и ему конец! А что касается вертела с утками, так ваша лошадь еще не расседлана, хозяин. Я могу догнать мистера Болдерстона — едва ли он далеко ушел — и отнять у него птицу.

— Так и сделаем, Уил. Хотя погоди... вот что ты сделаешь, когда нагонишь мистера Болдерстона.

И, оставив женщин в обществе пастора, бочар удалился с Уилом, чтобы дать ему нужные указания.

— Умно, нечего сказать, — заметила миссис Лайтбоди, когда Гирдер вернулся в комнату, — посылать бедного малого в погоню за человеком, вооруженным до зубов. Ты же знаешь, что мистер Болдерстон всегда имеет при себе шпагу, да еще кинжал в придачу.

— Надеюсь, вы хорошо обдумали то, что собираетесь делать, — сказал пастор, — ибо вы можете вызвать ссору, и мой долг предупредить вас: тот, кто подстрекает к ссоре, будет виновен не менее того, кто в ней участвует.

— Не беспокойтесь, мистер Байдибент, — заявил бочар. — Эти женщины и священники всюду должны сунуть свой нос. Шагу нельзя ступить без их указки. Я сам знаю, с какого конца есть пироги. Подавай обед, Джин, и хватит об этом.

И действительно, в продолжение всего вечера бочар ни разу не вспомнил о пропавшем блюде.

Тем временем подмастерье, получив от хозяина особые указания, вскочил на коня и устремился в погоню за мародером Калемом.

Однако последний, как легко можно догадаться, не мешкал в пути. Несмотря на всю свою страсть

к болтовне, он шел молча, стремясь скорее добраться до замка, и только сообщил мистеру Локхарду, что, по его просьбе, жена поставщика слегка обжарила дичь на случай, если Мизи, насмерть перепуганная грозой, еще не успела развести огонь. Между тем он, ссылаясь на необходимость поскорее вернуться в замок, то и дело просил спутников поторопиться и все ускорял шаг, так что они с трудом поспевали за ним. Достигнув вершины горной гряды, возвышавшейся между замком и Волчьей Надеждой, он уже считал себя вне опасности, как вдруг услышал отдаленный конский топот и громкие крики:

— Мистер Калев! Мистер Болдерстон! Мистер Калев Болдерстон! Подождите!

Само собой разумеется, Калев не спешил откликнуться на эти призывы. Сначала он притворился, будто ничего не слышит, уверяя слуг сэра Эштона, что это всего лишь свист ветра; потом он заявил, что не стоит терять время из-за какого-то сорванца; наконец, когда фигура всадника ясно обозначилась в вечерних сумерках, Калев неохотно остановился и, собрав все свои душевные силы для защиты награбленных сокровищ, принял позу, полную достоинства, поднял вертел, словно собираясь использовать его не то как пику, не то как щит, и приготовился скорее умереть, нежели возвратить драгоценную добычу.

Но каково же было удивление старого дворецкого, когда посланец бочара, подъехав к нему вплотную, почтительно с ним поздоровался и передал сожаления хозяина по поводу того, что мистер Калев не застал его дома и не остался на крестинный обед; узнав о прибытии в замок знатных гостей, к приему которых не успели сделать должных приготовлений, мистер Гирдер взял на себя смелость послать бочонок с хересом и бочку с бренди.

Я читал где-то об одном пожилом господине, за которым гнался сорвавшийся с цепи медведь; окончательно выбившись из сил, старик в отчаянии остановился и, повернувшись к косолапому преследователю, замахнулся на него тростью. При виде палки в животном возобладал дух дисциплины и, вместо того

чтобы разорвать несчастного на куски, мишка встал на задние лапы и пустился отплясывать сарабанду. Даже радостное изумление, охватившее этого человека, уже видевшего себя на краю гибели и вдруг неожиданно обретшего спасение, не могло сравниться со смятением, объявшим Калеба, когда он обнаружил, что его преследователь не только не намеревается отнять у него добычу, но готов приобщить к ней новые дары. Однако он тотчас сообразил, в чем дело, когда подмастерье, восседавший на лошади между двумя бочонками, нагнулся к нему и шепнул:

— Если бы можно было замолвить словечко насчет места Питера Панчена, так Джон Гирдер готов служить лорду Рэвенсвуду душой и телом. А уж как бы он был рад поговорить об этом с мистером Болдерстоном; ну, а если мистеру Болдерстону чего-нибудь захочется, хозяин будет податлив, как ивовый обруч.

Калек молча выслушал гонца и, подобно всем великим людям, начиная с Людовика XIV, вместо ответа удостоил его лаконическим: «Посмотрим».

— Ваш хозяин, — произнес он громко, специально для ушей мистера Локхарда, — поступил учтиво и достойно, прислав вина, и я не премину довести об этом до сведения милорда. А теперь, любезный друг, отправляйтесь-ка в замок и, если слуги еще не вернулись (что весьма вероятно, так как они пользуются всяким случаем погулять подольше), оставьте эти бочонки в комнате привратника, по правую руку от главных ворот. Самого привратника вы не застанете: он отпросился в гости, так что вряд ли вас кто-нибудь окликнет.

Выслушав указания Калеба, подмастерье поскакал в замок, где действительно никого не встретил, и, оставив оба бочонка в пустой разрушенной камерке привратника, повернул назад. Исполнив таким образом поручение хозяина и вторично раскланявшись с Калеком и всей честной компанией на обратном пути, он возвратился домой, чтобы принять участие в крестинном пире.

Глава XIV

Как листья под осенним небосводом,
Кружась, несутся в вихре хороводом,
Иль как летит, колеблясь, из овина
От зерен отделенная мякина,
Так все людские помыслы летели,
Стремясь, по воле неба, мимо цели.

Аноним

Мы оставили Калеба в минуту величайшей радости при виде успеха всех его ухищрений во славу рода Рэвенсвудов. Пересчитав и разложив все добытые им яства, он заявил, что такого королевского угощения не видавали в замке со дня похорон его покойного владельца. С гордым сознанием победы «убирал» он дубовый стол чистой скатертью и, расставляя блюда с жареной олениной и дичью, бросал время от времени торжествующие взгляды на своего господина и гостей, словно упрекая их за неверие в его силы; в продолжение всего вечера Калед угощал Локхарда бесконечными рассказами, более или менее правдивыми, о былом величии замка «Волчья скала» и могуществе его баронов.

— Без разрешения лорда Рэвенсвуда, — рассказывал он, — вассал, бывало, не смел считать своим ни теленка, ни ярочку. И чтобы жениться, также нужно было испросить согласие барона. А сколько забавнейших историй рассказывают об этом старинном празе. И хотя теперь уже не то, что было в доброе старое время, когда крестьяне уважали власть сеньора, все же, мистер Локхард, как вы и сами, вероятно, заметили, мы, слуги дома Рэвенсвудов, не жалеем усилий, чтобы, опираясь на законные права милорда, поддерживать между сеньором и вассалами должные отношения, укрепляя связь, которая из-за всеобщего своеволия и беспорядка, повсюду царящих, в наше печальное время, становится все слабее и слабее.

— Н-да, — сказал мистер Локхард. — Позвольте спросить вас, мистер Болдерстон: что, жители подвластного вам селения — покорные вассалы? Ибо, должен сознаться, те, что перешли от вас к лорду-храни-

телю вместе с замком Рэвенсвуд, не очень-то услужливый народ.

— Ах, мистер Локхард, не забудьте, что они попали в чужие руки: там, где старый хозяин легко получал вдвое против положенного, новый, может статься, не получит ничего. Они всегда были упрямыми и беспокойными, наши вассалы, и с ними не просто справиться чужому человеку. Если ваш господин хоть раз с ними не поладит да разозлит, их потом никакими силами не уймешь.

— Сущая правда, — согласился Локхард, — и, сдается мне, самое лучшее для всех нас — это сыграть свадьбу вашего молодого лорда с нашей красавицей, молодой госпожой. Сэр Уильям мог бы дать за ней в приданое ваши прежние поместья. С его хитростью он быстро обставит еще кого-нибудь и добудет себе другие.

Калев покачал головой.

— Желал бы я, чтобы это было возможно, — сказал он. — Но есть старинное предсказание роду Рэвенсвудов... Не дай мне бог дожить до того дня, когда оно сбудется... Мои старые глаза и так уже видели немало горя.

— Ерунда! Стоит ли обращать внимание на всякие суеверия? — возразил Локхард. — Если молодые люди понравятся друг другу, то это будет славная парочка. Но, по правде говоря, у нас в доме ничего не делается без леди Эштон, и, конечно, в этом деле, как и в любом другом, все будет зависеть от нее. Ну, а пока не грех выпить за здоровье молодых людей. Я и миссис Мизи налью стаканчик хереса, что прислал вам мистер Гирдер.

Пока слуги таким образом угощались на кухне, общество, собравшееся в зале, проводило время не менее приятно. С той минуты, как Рэвенсвуд решил оказать гостеприимство лорду-хранителю, насколько это было в его силах, он счел себя обязанным принять вид радушного хозяина. Не раз уж было замечено, что, если человек берется исполнять какую-нибудь роль, он часто настолько входит в нее, что

под конец действительно превращается в того, кого изображает.

Не прошло и часу, как Рэвенсвуд, к своему собственному удивлению, почувствовал себя хозяином, чистосердечно старающимся как можно лучше принять желанных и почетных гостей. В какой мере следовало приписать эту перемену в его настроении красоте мисс Эштон, искренности ее обращения и готовности примириться с неудобствами положения, в котором она очутилась, и насколько это было вызвано гладкими, вкрадчивыми речами лорда-хранителя, обладавшего большим даром привлекать к себе сердца людей, мы предоставляем судить нашим проницательным читателям. Во всяком случае, Рэвенсвуд не остался безразличным ни к совершенствам дочери, ни к обходительности отца.

Лорд-хранитель был искушенным государственным деятелем: он в совершенстве знал все, касающееся двора и кабинета министров, и был до мельчайших подробностей осведомлен о всех политических интригах, связанных с недавними событиями конца семнадцатого столетия. Будучи участником важных событий и лично зная множество людей, он умел рассказывать о них чрезвычайно интересно; к тому же он обладал редким даром: не выдавая своих чувств и мыслей ни единым словом, создавать у слушателей впечатление, что говорит с ними не таясь, доверительно и чистосердечно. Рэвенсвуд, несмотря на все свое предубеждение против сэра Эштона и на веские причины питать к нему враждебные чувства, находил беседу с ним не только приятной, но и поучительной, а лорд-хранитель, вначале боявшийся даже назвать свое имя, теперь полностью оправился от смущения и говорил с легкостью и плавностью, сделавшими бы честь любому первоклассному адвокату-златоусту.

Мисс Эштон говорила мало и больше улыбалась; но несколько слов, оброненных ею, были исполнены искренней доброжелательности и кротости — качества, которые для такого гордого человека, как Рэвенсвуд, обладали большей привлекательностью, не-

жели самое блистательное остроумие; к тому же от Эдгара не ускользнуло еще одно немаловажное обстоятельство: его гости, то ли из благодарности, то ли по какой другой причине, оказывали ему столько же почтительного внимания в этом пустом, заброшенном зале, как если бы он принимал их со всем великолепием, сообразным его высокому рождению. Они, казалось, не замечали бедности сервировки, а когда отсутствие того или иного необходимого предмета уж слишком обращало на себя внимание, принимались расхваливать те, коими Калев ухитрился заменить недостающую утварь. Если же отец и дочь не могли иногда удержаться от улыбки, то улыбка эта была очень добродушной и неизменно сопровождалась каким-нибудь к месту сказанным комплиментом, который показывал хозяину, как высоко они ценят его достоинства и как мало обращают внимания на окружающие их неудобства.

Вероятно, сознание того, что его личные достоинства в глазах гостей значат больше, нежели его бедность, произвело на сердце Рэвенсвуда столь же сильное впечатление, сколь и красноречие лорда-хранителя и красота его дочери.

Наконец настало время отправиться на покой. Лорд-хранитель и его дочь удалились в отведенные им комнаты, которые оказались «убранными» гораздо лучше, чем того можно было ожидать. В этом нелегком деле Мизи помогла одна деревенская кумушка, прибежавшая в замок разведать, что там творится; Калев тотчас ее задержал и заставил приняться за уборку, так что вместо того, чтобы возвратиться домой и описать соседям туалет и наружность мисс Эштон, ей пришлось изрядно потрудиться на пользу домашнего очага Рэвенсвудов.

По обычаям того времени, сам мастер Рэвенсвуд в сопровождении Калеба проводил гостя в отведенный ему покой. Войдя в комнату, старый дворецкий торжественно, словно канделябр с множеством восковых свечей, водрузил на стол жалкую проволочную подставку с двумя коптящими сальными свечами, какие даже в те дни можно было встретить

только в крестьянской лачуге. Потом он исчез, но тотчас возвратился с двумя глиняными флягами (после смерти миледи, объяснил он, в замке не принято пользоваться фарфором), в одной из которых был херес, а в другой — бренди. Презрев опасность оказаться уличенным во лжи, Калев заявил, что этот херес выдерживали в погребах замка двадцать лет; и «хотя ему, конечно, не годится надоедать их милостям своей болтовней, но этот бренди — замечательный напиток, сладкий как мед и такой крепкий, что способен свалить с ног самого Самсона. Оно хранится в подвалах замка со времени достопамятного пира, когда Джейми Дженклбрэ убил старого Миклстопа на верхней ступеньке лестницы, защищая честь достойной леди Мюренд, приходившейся некоторым образом родней семье Рэвенсвудов, но...»

— Но, чтобы покончить с этой длинной историей, мистер Калев, — прервал его сэр Эштон, — может быть, вы сделаете мне одолжение и принесете воды.

— Воды! Избави бог, чтобы ваша милость пили воду в нашем доме. Это же позор для знаменитого рода!

— Но таково желание сэра Эштона, Калев, — сказал, улыбаясь, Рэвенсвуд. — Мне кажется, вам следует исполнить его просьбу, тем более что, если мне не изменяет память, еще недавно здесь не гнушались пить воду и даже находили ее очень вкусной.

— Ну, раз таково желание милорда... — согласился Калев и немедленно принес кувшин с упомянутой чистой влагой. — Милорд нигде не найдет такой воды, как в колодце замка «Волчья скала», но все-таки...

— Все-таки пора нам дать нашему гостю покой в этом бедном жилище, — сказал Рэвенсвуд, перебивая не в меру болтливого слугу, который тотчас направился к двери и, низко поклонившись лорду-хранителю, приготовился сопровождать своего господина из потайной комнаты.

Но лорд-хранитель остановил Рэвенсвуда.

— Мне хотелось бы сказать несколько слов мастеру Рэвенсвуду, мистер Калев, — сказал он дворец-

кому, — и, я полагаю, на это время он согласится обойтись без ваших услуг.

Калев отвесил поклон еще ниже первого и вышел; Эдгар остановился в большом смущении, ожидая разговора, который должен был закончить день, ознаменованный уже столькими неожиданными событиями.

— Мастер Рэвенсвуд, — неуверенно начал сэр Уильям Эштон, — я надеюсь, вы истинно добрый христианин и не захотите окончить этот день, по-прежнему тая гнев в сердце своем.

Рэвенсвуд вспыхнул.

— У меня не было оснований, по крайней мере нынче, упрекать себя в забвении тех обязанностей, которые налагает на христианина его вера, — сказал он.

— Мне кажется, — возразил ему гость, — это не совсем так, если вспомнить все споры и тяжбы, к несчастью слишком часто возникавшие между покойным лордом Рэвенсвудом, вашим батюшкой, и мною.

— Я просил бы, милорд, — сказал Рэвенсвуд, с трудом сдерживаясь, — чтобы в доме моего отца мне не напоминали об этих обстоятельствах.

— В любом ином случае я исполнил бы вашу просьбу, продиктованную щепетильностью, — ответил сэр Уильям Эштон, — но теперь мне необходимо высказаться до конца. Я был слишком наказан, уступив чувству ложной щепетильности, помешавшей мне настоять на встрече с вашим отцом, которой я много раз добивался. Сколько горя, принесенного и ему и мне, удалось бы тогда избежать!

— Это правда, — сказал Рэвенсвуд после минутного молчания. — Я слышал от отца, что вы предлагали ему свидание.

— Предлагал, дорогой Рэвенсвуд. Но этого было мало. Мне следовало просить, умолять, заклинять! Мне нужно было разрушить преграду, которую корыстные люди воздвигли между нами, и показать себя в истинном свете, показать себя готовым пожертвовать даже большей частью моих законных

прав из уважения к его столь естественным чувствам. Но я должен сказать в свое оправдание, мой юный друг (разрешите мне так называть вас), что если бы мы с вашим отцом когда-нибудь провели вместе хоть столько времени, сколько теперь мне посчастливилось пробыть в вашем обществе, то наша страна, вероятно, сохранила бы одного из самых достойных своих сынов, а мне не пришлось бы враждовать с человеком, который всегда вызывал во мне восхищение и уважение.

Сэр Уильям поднес платок к глазам. Рэвенсвуд тоже был растроган, но хранил молчание, ожидая продолжения этого удивительного признания.

— Я хотел, чтобы вы знали, — продолжал лорд-хранитель, — что, хотя я счел необходимым подтвердить законность моих требований через судебное определение, я никогда не имел намерения настаивать на чем-нибудь таком, что выходило бы за пределы справедливости.

— Милорд, — ответил Рэвенсвуд, — нам незачем продолжать этот разговор. Все владения, которые закон отдаст или уже отдал вам, — ваши или будут ими. Ни мой отец, ни я никогда ничего не приняли бы из милости.

— Из милости? Нет, вы меня не поняли. Вам трудно понять — вы не юрист. Права могут быть действительны в глазах закона и признаны таковыми, но тем не менее благородный человек не во всех случаях сочтет возможным ими воспользоваться.

— Очень сожалею об этом, милорд.

— Ну-ну, вы — точь-в-точь как молодой адвокат: в вас говорит сердце, а не разум. Нам с вами нужно еще многое решить. Неужели вы осудите меня за то, что я, старик, желаю мира и, оказавшись в доме человека, спасшего жизнь мне и моей дочери, хочу от всей души покончить со всеми спорами самым благородным образом.

Произнося эти слова, лорд-хранитель сжимал неподвижную руку Рэвенсвуда в своей, и поэтому молодому человеку, каковы бы ни были его прежние намерения, ничего не оставалось, как согласиться с го-

стем и пожелать ему доброй ночи, отложив дальнейшие объяснения до следующего дня.

Рэвенсвуд поспешил в зал, где ему предстояло провести ночь, и долгое время ходил по нему взад и вперед в сильном волнении. Его смертельный враг находился у него в доме, а в его сердце не было ни родовой ненависти, ни истинно христианского прощения. Рэвенсвуд сознавал, что как исконный враг сэра Эштона он не может предать забвению нанесенные его дому обиды, а как христианин не в силах уже мстить за них и что он готов пойти на низкую, бесчестную сделку со своей совестью, примирив ненависть к отцу с любовью к дочери. Он проклинал себя. Не останавливаясь, шагал он по комнате, освещенной бледным светом луны и красноватым мерцанием затухающего огня, и то отворял, то затворял зарешеченные окна, словно задышался без свежего воздуха и в то же время боялся его проникновения. В конце концов страсти в нем откипели, и Эдгар опустился в кресло, которое на эту ночь должно было заменить ему постель.

«Если действительно, — рассуждал он сам с собой, когда первая буря улеглась и он вновь обрел способность мыслить хладнокровно, — если действительно этот человек не требует ничего сверх положенного ему законом, если он даже готов поступиться признанными судом правами, чтобы покончить с распрей по справедливости, на что же мой отец мог жаловаться? Чем же я могу быть недоволен? Те, от кого мы получили наши родовые владения, пали от меча моих предков, оставив всю свою собственность победителям; мы пали под ударами закона, ныне немилостивого к шотландскому рыцарству. Что ж, вступим в переговоры с нынешними победителями, как если бы мы находились в осажденной крепости, не имея никакой надежды на спасение. Может быть, этот человек совсем не таков, каким я считал его, а его дочь... Но я решил не думать о ней».

И, завернувшись в плащ, он заснул, и всю ночь, пока дневной свет не забрезжил в зарешеченных окнах, ему грезилась Люси Эштон.

Глава XV

Когда мы видим, как наш друг
 иль родич
В несчастьях погрязает безнадежно,
Руки мы не протянем, чтоб помочь
Ему подняться, но скорей ногою
Его придавим и толкнем на дно,
Как я, признаюсь, поступил с тобою.
Но вижу, поднимаешься ты сам —
Я помогу тебе.

*«Новый способ платить
старые долги»*

Проводя ночь на непривычно жестком ложе, лорд-хранитель ни на минуту не расставался с честолюбивыми помыслами и политическими планами, от которых не спится и на самых мягких пуховиках. Он достаточно долго вел свою ладью по житейскому океану, лавируя между соперничающими в нем течениями, чтобы знать, как они губительны и сколь важно повернуть парус по направлению господствующего ветра, если не хочешь разбиться во время бури. Свойства его дарования и трусливый характер придавали ему ту гибкость, которой отличался старый граф Нортхемптон, — объясняя, как ему удалось удержаться на своем месте во время всех государственных перемен от Генриха VIII до Елизаветы, он откровенно признавался, что рожден тростником, а не дубом. Поэтому сэръ Уильям Эштон во всех случаях придерживался единого правила — он тщательно наблюдал все перемены на политическом горизонте и старался заручиться поддержкой среди сторонников той партии, которая, по его мнению, должна была одержать победу, еще до того, как обозначался исход борьбы. Его умение приспосабливаться к любым обстоятельствам было хорошо известно и вызывало презрение у более смелых предводителей обеих партий, существовавших в стране. Но он обладал полезным, практическим умом, а его юридические познания высоко ценились; эти достоинства перевешивали его недостатки в глазах тех, кто стоял у кормила правления, и они с радостью пользовались услугами сэра Уильяма и

щедро его награждали, хотя и не питали к нему ни доверия, ни уважения.

Маркиз Э*** употреблял все свое влияние, чтобы свергнуть тогдашний шотландский кабинет, и последнее время вел интригу с таким искусством, что успех, казалось, был ему обеспечен. Однако он чувствовал себя не настолько сильным и уверенным в победе, чтобы упустить случай завербовать под свои знамена нового приверженца. Приобретение такого союзника, как лорд — хранитель печати, имело немалое значение, и одному из приятелей сэра Эштона, хорошо знавшему характер и образ мыслей последнего, было поручено склонить его на сторону маркиза.

Прибыв в замок Рэвенсвуд под предлогом обычного визита, этот приятель заметил, что лордом-хранителем владеет неудержимый страх перед насильственной смертью от руки молодого Рэвенсвуда. Слова слепой пророчицы — старой Элис, появление вооруженного Рэвенсвуда в его владениях почти в тот самый миг, когда ему посоветовали остерегаться этого юноши, холодное презрение, которым тот отвечал на выражение благодарности за вовремя оказанную помощь отцу и дочери — все это произвело на сэра Эштона сильное впечатление.

Как только клевет маркиза понял, что волнует хозяина дома, он исподволь начал внушать сэру Эштону опасения и сомнения другого рода, рождавшие в нем меньшую тревогу. Он участливо осведомился, были ли вынесены окончательные решения — без права апелляции — по сложным процессам лорда — хранителя печати с семейством Рэвенсвудов. Сэр Эштон ответил утвердительно, но его приятель достаточно хорошо знал все обстоятельства дела, чтобы поддаться обману. Он привел несколько неоспоримых аргументов, доказывая, что некоторые самые важные вопросы, решенные в пользу Эштона против Рэвенсвудов, могут, согласно «Акту соединения королевств», быть пересмотрены в английской палате лордов, которой лорд-хранитель весьма побаивался, как суда беспристрастного. Эта инстанция заменила старинный шотландский парламент, куда апеллировали в былое время.

Сэр Уильям попробовал было утверждать, что подобная мера незаконна, но под конец оказался вынужден утешить себя другим доводом.

— У молодого Рэвенсвуда, — сказал он, — вряд ли найдется в парламенте достаточно влиятельных друзей, чтобы настоять на пересмотре важного дела.

— Не обольщайтесь обманчивой надеждой, — сказал его коварный приятель, — может случиться, что в следующую сессию у молодого Рэвенсвуда будет больше друзей и покровителей, чем у вас.

— Это было бы весьма любопытно, — презрительно заметил сэр Уильям.

— Однако подобные превращения часто случались и прежде, да и в наше время они не редкость. Разве мы не знаем людей, ныне стоящих во главе правления, которые всего несколько лет назад вынуждены были скрываться, спасая свою жизнь? А разве мало встречаем мы таких, кто ныне обедает на серебре, между тем как десять лет назад им даже похлебку приходилось добывать себе с бою. И наоборот: сколько высокопоставленных особ низвергнуто на наших глазах за это короткое время. «Шаткое положение государственных деятелей Шотландии» — любопытное сочинение Скотта из Скотстарвета, которое вы показывали мне в рукописи, — в наше время могло бы найти себе подтверждение на целом ряде примеров.

Лорд-хранитель ответил глубоким вздохом и сказал, что подобные перемены в судьбе государственных мужей не новость для Шотландии и что в этой стране на них достаточно насмотрелись еще задолго до появления на свет упомянутого сатирического произведения.

— Еще много лет назад, — промолвил он, — Фордун привел древнюю пословицу: «*Neque dives, neque fortis, sed nec sapiens Scotus, proedominante invidia, diu durabit in terra*».¹

¹ Когда господствует зависть, не будет долго жить на земле ни богатый, ни сильный шотландец, если он благоразумен (лат.).

— Будьте уверены, дорогой друг, — ответил ему приятель, — что ни долголетняя ваша служба на пользу родине, ни ваши глубокие юридические познания не смогут спасти вас и сохранить вам состояния, если маркиз Э*** успеет получить большинство в английском парламенте. Как вам известно, покойный лорд Рэвенсвуд был с ним в родстве, ибо леди Рэвенсвуд в пятом колене происходила от рыцаря Тилибардина; и я уверен, что маркиз, как ближайший родственник, вступится за молодого человека и будет ему покровительствовать. Отчего же ему этого и не сделать? Рэвенсвуд — юноша энергичный и умный; он сумеет защитить себя и словом и делом. Не то что какой-нибудь Мемфивосфей, не способный постоять за себя, который превращается в обузу для каждого, кто протянет ему руку помощи. А если ваши процессы против Рэвенсвуда будут обжалованы в английский парламент, то, уверяю вас, маркиз сумеет ободрать вас как липку.

— Это было бы очень плохим вознаграждением за мою долголетнюю службу родине и то уважение, которое я всегда питал к высокочтимому маркизу и всей его семье.

— Ах, милорд, — возразил клевет маркиза, — что пользы вспоминать о прошедших заслугах и былой верности! В наше смутное время человек, подобный маркизу, вправе ожидать действительной помощи, настоящих доказательств преданности.

Лорд — хранитель печати тотчас понял, к чему клонит его приятель, но был слишком осторожен, чтобы связать себя положительным ответом.

— Не знаю, чего может ожидать маркиз от моих ничтожных дарований, — промолвил он, — но всегда готов служить ему, не нарушая, конечно, своего долга перед королем и отечеством.

Таким образом, сказав, казалось, очень многое, сэр Уильям на самом деле не сказал ничего, ибо под сделанную оговорку впоследствии мог подвести все что угодно; он тотчас переменял разговор и не позволял ему возвращаться к этому предмету. Гость

так и уехал, не добившись у хитрого политика обещания или обязательства содействовать планам маркиза, убежденный, однако, что возбудил в сэре Эштоне опасения касательно очень чувствительного для него вопроса, заложив тем основу для будущих со-глашений.

Когда посланец маркиза сообщил ему о результатах переговоров, оба решили не оставлять лорда-хранителя в покое, а постоянно держать его в страхе, особенно во время отсутствия его жены. Они знали, что эта гордая, мстительная, властная женщина сумела бы внушить мужество своему трусливому супругу; знали, что она неколебимо предана господствующей партии, состоит в постоянной переписке с ее предводителями, является верной их союзницей и, наконец, что она нисколько не боится семейства Рэвенсвудов, а смертельно ненавидит их (древнее происхождение Рэвенсвудов было укором новоявленному вельможе Эштону) и готова рисковать собственными интересами ради возможности окончательно уничтожить врага.

Как раз в то время леди Эштон была в отсутствии. Дело, задерживавшее ее в Эдинбурге, заставило ее затем отправиться в Лондон, где она надеялась расстроить интриги маркиза при дворе, ибо леди Эштон была дружна со знаменитой Сарой, герцогиней Марлборо, с которой она имела поразительное сходство в характере. Необходимо было постараться воздействовать на сэра Уильяма до ее возвращения; в качестве предварительного шага маркиз и написал молодому Рэвенсвуду то письмо, которое мы привели в одной из предшествующих глав. Письмо было составлено очень осторожно: маркиз оставлял за собой право принять ровно столько участия в судьбе юного родственника, сколько могло оказаться необходимым для успеха его собственных планов. Однако, хотя маркиз, как человек государственный, не хотел связывать себя обязательствами или обещать покровительство, к его чести надо сказать, что там, где ему нечего было терять, он действительно стремился оказать помощь Рэвенсвуду, а не только воспользоваться

его именем для того, чтобы запугать лорда — хранителя печати.

Путь к «Волчьей скале» лежал мимо замка сэра Уильяма, и гонец, которому поручено было доставить письмо, получил приказание: когда будет проезжать селение, расположенное у самых ворот замка, потерять подкову, а пока тамошний кузнец станет перековывать лошадь, притвориться крайне удрученным потерей времени, громко выражая свое нетерпение, и как бы невзначай проговориться, что везет мастеру Рэвенсвуду от маркиза Э*** депешу, от которой зависит жизнь и смерть многих людей.

Весть о нетерпеливом гонце, как всегда с преувеличениями, дошла до сэра Уильяма из различных источников, и каждый, кто приносил ее, не забывал сообщить, что гонец чрезвычайно торопился и проделал весь путь в удивительно короткий срок. И без того уже обеспокоенный вельможа слушал эти рассказы молча, однако тут же отдал приказание Локхарду подстеречь гонца на обратном пути, заманить его в селение, напоить и любыми средствами, честными или бесчестными, выведать у него содержание привезенной им депеши. Однако маркиз предусмотрел этот ход, и нарочный, избрав другую, окольную дорогу, избегнул расставленных ему сетей.

Гонца так и не удалось задержать, и сэр Уильям приказал стряпчему Дингуоллу тщательнейшим образом расспросить жителей Волчьей Надежды, пользовавшихся его услугами, действительно ли приезжал в соседний замок слуга маркиза Э***. Узнать это было нетрудно, так как однажды Калев явился в селение в пять часов утра взять в долг две кружки пива и копченую селедку, чтобы угостить гонца, после чего бедняга, отведавший испорченной рыбы и кислого пива, целые сутки пролежал у тетушки Смолтраш, страдая от расстройства желудка. Таким образом, слухи о переписке между маркизом и его разоренным родственником, которым сэр Уильям Эштон поначалу не поверил, приняв их за выдумку с целью уstrasить его, полностью подтвердились, не оставляя места для сомнений.

С этой минуты лорд-хранитель встревожился не на шутку. С введением «Требования прав» во многих случаях допускалась апелляция на решения гражданских судов в парламент, прежде не рассматривавший такого рода дел, и сэр Эштон имел все основания опасаться результата нового пересмотра его тяжбы с Рэвенсвудом, в случае если бы английская палата лордов согласилась принять жалобу его противника. Парламент мог счесть иск Рэвенсвуда справедливым и взглянуть на дело по существу, не связывая себя буквой закона, что было бы крайне невыгодно для лорда-хранителя. Кроме того, полагая, причем совершенно ошибочно, что английское судопроизводство ничем не отличается от того, каким оно было в Шотландии до соединения обоих королевств, сэр Уильям боялся, как бы в палате лордов, где будут разбирать его тяжбы, не возобладало старинное правило, которым искони руководствовались в Шотландии: «Скажи мне, кто жалуется, и я приведу тебе соответствующий закон». В Шотландии ничего не знали о справедливом, беспристрастном характере английских судов, и распространение их юрисдикции на эту страну было одним из главнейших благ, последовавших в результате соединения. Но лорд-хранитель, привыкший к иным порядкам, не мог этого предвидеть: он полагал, что, лишившись политического влияния, проиграет процесс.

Между тем слухи подтверждали успех происков маркиза, и лорд — хранитель печати стал заблаговременно искать способа укрыться от надвигающейся грозы. Будучи человеком трусливым, он предпочитал сделки и уступки открытой борьбе. Он решил, что, если умеючи взяться за дело, происшествие в парке может помочь ему добиться личного свидания и даже примирения с молодым Рэвенсвудом. Во всяком случае, ему нетрудно было бы узнать от самого Эдгара Рэвенсвуда, что он думает о своих правах и средствах к их осуществлению, и, быть может, даже покончить дело миром, поскольку одна из сторон богата, а другая бедна. К тому же примирение с Рэвенсвудом дало бы ему возможность войти в сношения с марки-

зом Э***. «Наконец, — говорил он себе, — протянуть руку наследнику разоренного рода — доброе дело, а если новое правительство примет в Рэвенсвуде участие и возьмет его под свое покровительство, то — кто знает — может быть, мое великодушие воздастся мне сторицею».

Так рассуждал сэр Уильям, стараясь, как это часто бывает, придать оттенок благородства своим корыстным планам. Впрочем, он шел еще дальше. Если Рэвенсвуду предстоит занять важное место и он будет облечен властью и доверием, — думал он, — а его женитьба на Люси покончит со всеми тяжбами, то лучшего жениха нечего и желать. Эдгару могут вернуть титул и наследственные земли, а Рэвенсвуды — старинный род; уступить же часть рэвенсвудских владений зятю не такая уж горькая потеря, не говоря о том, что тем самым остальные земли были бы окончательно закреплены за ним, сэром Эштоном.

В то время как этот сложный план зрел в уме хитрого вельможи, он решил воспользоваться настойчивыми приглашениями лорда Битлбрейна и посетить его замок, находящийся в нескольких милях от «Волчьей скалы». Самого Битлбрейна не оказалось дома, но жена его приняла гостя очень радушно, сообщив, что ждет мужа с часу на час. Она, казалось, была особенно рада видеть мисс Эштон и, чтобы развлечь гостей, немедленно распорядилась устроить охоту. Сэр Уильям с удовольствием отправился травить оленя, рассчитывая, воспользовавшись случаем, получше разглядеть замок «Волчья скала» и, быть может, даже встретиться с его владельцем, если Эдгар не сможет устоять перед искушением и присоединится к охоте. Кроме того, он приказал Локхарду, чтобы тот, со своей стороны, постарался познакомиться с обитателями замка, и мы видели, как ловко этот умный слуга исполнил данное ему поручение.

Случайно разыгравшаяся буря способствовала осуществлению желаний лорда-хранителя более, чем он смел надеяться даже в самых пылких мечтах. Последнее время сэр Эштон уже меньше опасался мастера Рэвенсвуда, ибо молодой человек, считал он, обладает

протиз него куда более грозным оружием — возможностью восстановить свои права законным путем. Но хотя лорд-хранитель и полагал (и не без оснований), что человек только в крайнем случае решается на отчаянные средства, он не мог все же побороть в себе тайный страх, очутившись запертым в башне «Волчья скала» — уединенной неприступной крепости, как будто нарочно созданной для осуществления планов насилия и мести. Холодный прием, оказанный ему и его дочери Рэвенсвудом, и овладевшее им смущение, когда надо было объявить этому им же разоренному человеку свое имя, только усилили его тревогу; когда же сэр Уильям услышал, как за ним с грохотом захлопнулись ворота, в его ушах зазвучали слова вещей Элис: «Вы слишком далеко зашли. Рэвенсвуды — лютый род, они выждут свой час и отомстят вам».

Искреннее радушие, с которым вслед за тем Эдгар выполнял обязанности гостеприимного хозяина; несколько рассеяло страх, вызванный этим воспоминанием, и сэр Уильям не мог не заметить, что эта перемена в поведении Рэвенсвуда была вызвана удивительной красотой его дочери.

Вот какие мысли беспорядочной чередой пронеслись в голове сэра Уильяма, когда он очутился в потайной комнате. Железный светильник, почти пустая, напоминавшая скорее темницу, чем спальню, комната, глухой непрерывный рокот волн, разбивающихся об утес, на котором возвышался замок, — все это навело его на грустные и тревожные размышления. Не его ли успешные козни явились главной причиной разорения Рэвенсвудов? Лорд-хранитель отличался корыстолюбием, но не жестокостью, и ему прискорбно было лицедреть причиненное им разорение, подобно тому как сердобольной хозяйке неприятно смотреть, когда по ее приказанию режут барана или птицу. Но когда он подумал, что ему придется либо возвратить Рэвенсвуду большую часть отнятых у него владений, либо сделать бывшего врага союзником и членом своей семьи, лорда-хранителя охватили чувства, подобные тем, которые, по всей вероятности, испытывает паук, видя, как вся его паутина, сплетенная с таким тща-

нием и искусством, уничтожена одним взмахом метлы. С другой стороны, если он предпримет решительный шаг, перед ним неизбежно встанет роковой вопрос — вопрос, который задают себе все добрые мужья, прельщаемые желанием действовать самостоятельно, но не уверенные в одобрении дражайшей половины: что скажет жена, что скажет леди Эштон. В конце концов сэр Уильям принял решение, нередко служащее прибежищем слабовольным людям: он решил наблюдать, выжидать подходящий момент и действовать применительно к обстоятельствам. Успокоившись на этой мысли, он наконец заснул.

Глава XVI

У меня есть для вас записка, и я прошу извинить меня, что беру на себя смелость передать ее вам. Я поступаю так из дружеских чувств, и, надеюсь, в этом нет ничего для вас обидного, ибо я желаю лишь ублаготворить обе тяжущиеся стороны.

«Король и Не-король»

На следующее утро при свидании с лордом-хранителем Рэвенсвуд снова был мрачен. Он провел ночь в размышлениях, почти не спал, и его нежным чувствам к Люси Эштон пришлось выдержать тяжелую борьбу с ненавистью, которую он так долго питал к ее отцу. Дружески пожимать руку врагу своего рода, радушно принимать его в своем доме, обмениваться с ним любезностями и обходиться как с добрым знакомым — было в глазах Рэвенсвуда унижением, которому его гордая душа не могла подчиниться без сопротивления.

Но первый шаг был уже сделан, и лорд-хранитель решил отрезать Рэвенсвуду пути к отступлению. Отчасти он намеревался смутить молодого человека и сбить его с толку сложным юридическим объяснением

споров между их семействами, не без основания полагая, что Рэвенсвуду трудно будет разобраться во всех этих тонкостях, во всех этих выкладках и вычислениях, многократных взаимных потравах и огораживаниях, во всяких закладах, действительных и недействительных, в судебных решениях и исках по просроченным векселям.

Снискав мнимой откровенностью расположение противника, он, в сущности, не сообщил бы ему ничего, чем бы тот мог воспользоваться. Поэтому он отвел Рэвенсвуда к оконной нише и, возобновив разговор, начатый накануне, выразил надежду, что его молодой друг терпеливо выслушает подробное и исчерпывающее изложение тех несчастных обстоятельств, которые породили распри между его покойным отцом и им, лордом — хранителем печати. При этих словах лицо Рэвенсвуда вспыхнуло, однако он не вымолвил ни слова, и сэр Эштон, хотя и не очень довольный этим проявлением неприязни со стороны хозяина замка, начал излагать историю о ссуде в двадцать тысяч мерков, данных его отцом отцу лорда Аллана Рэвенсвуда. Однако не успел он приступить к подробному описанию многоступенного судебного разбирательства, в ходе которого этот долг превратился в *debitum fundi*,¹ как Рэвенсвуд перебил его.

— Здесь не место, — сказал он, — обсуждать все эти спорные вопросы. Здесь, где умер от горя мой отец, я не могу хладнокровно вникать в причины, вызвавшие его несчастье. Сыновний долг мой легко может заставить меня забыть долг гостеприимства. В свое время, когда оба мы будем в равных обстоятельствах, мы рассмотрим все эти вопросы в более подходящем месте и в присутствии посторонних лиц.

— Место и время безразличны для того, кто ищет справедливости, — возразил сэр Уильям Эштон. — Впрочем, мне кажется, я вправе просить вас сообщить мне, на каких именно основаниях предполагаете вы оспаривать решения, вынесенные после долгих и зрелых размышлений единственно компетентным судом.

¹ Долг под залог недвижимости (лат.).

— Сэр Уильям, — с жаром ответил Рэвенсвуд, — земли, которыми вы ныне владеете, были пожалованы моему предку в награду за ратные подвиги, совершенные им при защите отечества от нашествия англичан. Каким образом эти поместья отошли от нас? Они не были проданы, заложены или изъяты за долги, и тем не менее они отторжены каким-то неуловимым, запутанным сутяжническим путем. Каким образом проценты за долги превратились в капитал? Как были использованы все крючки, все придирки и наше состояние растаяло, как сосулька во время оттепели? Вы это понимаете лучше меня. Впрочем, вы были со мной откровенны, и я готов поверить, что ошибался относительно вас. Очевидно, многое из того, что мне, человеку несведущему, кажется нарушением справедливости и грубым насилием, вам, искусному и опытному юристу, представляется законным и вполне правильным.

— Позвольте заметить, любезный Рэвенсвуд, — ответил сэр Уильям, — я сам ошибался на ваш счет. Мне говорили о вас как о жестоком, вспыльчивом гордеце, готовом по малейшему поводу бросить свою шпагу на весы правосудия и прибегнуть к тем грубым насильственным мерам, от которых мудрый образ правления давно уже избавил Шотландию. Но если оба мы ошибались друг в друге, почему бы вам, молодому человеку, не выслушать мнение старого юриста касательно спорных между нами вопросов?

— Нет, милорд, — решительно сказал Рэвенсвуд. — В палате английских лордов, чье благородство, надо думать, не уступает высоким титулам, перед высшим судом страны, а не здесь, будем мы объясняться друг с другом. Им, рыцарям почетных орденов, древним пэрам Англии, надлежит решить, согласны ли они, чтобы один из благороднейших родов лишился своих поместий, полученных в награду за услуги, оказанные отчизне многими поколениями, подобно несчастному мастеровому, теряющему свой заклад в тот день и час, когда истекает срок уплаты долга ростовщику. Если они встанут на сторону грабителя-кредитора, если они не осудят ненасытное ростовщичество, пожи-

рающее наши земли. как моль одежду, это принесет больше вреда им самим, мсим судьям, и их потомству, чем мне, Эдгару Рэвенсвуду. Мой плащ и моя шпага всегда останутся при мне, и я волен взяться за оружие везде, где только слышится зов боевой трубы.

При этих словах, сказанных с грустью в голосе, но вместе с тем твердо, Рэвенсвуд поднял глаза и встретил взгляд Люси Эштон, незаметно вошедшей в комнату во время разговора и теперь смотревшей на него с восторженным и нежным участием, забыв обо всем на свете. Благородная осанка Эдгара, мужественные черты лица, выражавшего гордость и чувство собственного достоинства, мягкий и выразительный голос, сго тяжкая участь, спокойствие, с которым он, казалось, встречал удары судьбы, — все это неотразимо действовало на молодую девушку, и без того уж слишком много предававшуюся мечтам о своем спасителе. Взоры молодых людей встретились — оба они густо покраснели, движимые каким-то сильным внутренним чувством, и, смутившись, тотчас отвели глаза в сторону.

Сэр Уильям, пристально следивший за выражением их лиц, невольно подумал: «Нечего мне бояться ни апелляции, ни парламента. У меня есть верное средство примирения с этим пылким юношей, если он когда-нибудь станет мне опасен. А сейчас важно не брать на себя никаких обязательств. Рыба клюнула, но не будем спешить и подождем подсекать лесу — пусть остается натянутой; если же рыба окажется не стоящей внимания, мы дадим ей уйти».

Занимаясь этим безжалостным эгоистическим расчетом, основанным на склонности Рэвенсвуда к Люси, сэр Уильям нисколько не думал ни о страданиях, которые причинит Рэвенсвуду, играя его чувствами, ни о том, как опасно возбудить в сердце дочери несчастную любовь; как будто ее расположение к молодому человеку, огню не ускользнувшее от внимания сэра Эштона, можно было зажечь или потушить по желанию, словно пламя свечи. Но провидение уготовило страшное возмездие этому знатоку че-

ловеческих сердец, который всю свою жизнь искусно играл чужими страстями ради собственной выгоды.

В эту минуту явился Калед Болдерстон и доложил, что завтрак подан, ибо в те времена обильных трапез остатков вчерашнего ужина вполне хватало на утренний стол. Калед не забыл со всей подобающей случаю торжественностью поднести лорду — хранителю печати вина, налитого в огромную оловянную чашу, украшенную листьями петрушки и клевера. При этом он не преминул извиниться, объяснив, что большой серебряный кубок, предназначенный для этой цели, как раз находится в Эдинбурге у золотых дел мастера, который должен позолотить его заново.

— Да, он, по всей вероятности, в Эдинбурге, — подтвердил Рэвенсвуд, — но где именно и что с ним сейчас делают, это, боюсь, ни вам, Калед, ни мне не известно.

— Милорд, — произнес Калед недовольным тоном, — у ворот башни с утра стоит человек, желающий переговорить с вами. Это уж мне доподлинно известно, но мне неизвестно, примет ли его ваша милость или нет.

— Он желает видеть меня, Калед?

— Только вас — ни на кого другого он не соглашается. Но, может быть, вы соизволите взглянуть на него через смотровое окошко, прежде чем распорядитесь отворить ему ворота? Нельзя же впускать в замок каждого встречного и поперечного.

— Так, так! А не похож ли он на судебного пристава, явившегося арестовать меня за долги?

— Пристав?.. Чтобы арестовать вас за долги? В вашем собственном замке! Ваша милость, кажется, смеется сегодня над старым Каледом?.. Я не хочу никого оговаривать перед вашей милостью, — прибавил он на ухо своему господину, выходя вслед за ним, — но на вашем месте я бы дважды подумал, прежде чем впустить в замок этого молодчика.

Однако неожиданный гость был не судебный пристав, а капитан Крайгенгельт собственной персоной; нос его был красен от изрядного количества выпитого бренди, поверх черного парика возвышалась украшен-

ная позументом шляпа, надетая набекрень, на боку висела шпага, из-за пояса торчали пистолеты, поношенный кружевной воротник украшал охотничий костюм — brave капитан имел вид разбойника с большой дороги и, казалось, сейчас крикнет: «Кошелек или жизнь!»

Рэвенсвуд тотчас узнал его и приказал отворить ворота.

— Мне кажется, капитан Крайгенгельт, — сказал он, — у нас с вами нет особо важных дел, и мы вполне можем потолковать здесь: в замке сейчас гости, а обстоятельства, при которых мы недавно расстались, без сомнения, освобождают меня от обязанности представлять вас моим друзьям.

Несмотря на всю свою беспримерную наглость, Крайгенгельт несколько смутился от столь нелестного приема.

— Я пришел сюда не для того, чтобы навязывать свое общество мастеру Рэвенсвуду, — заявил он. — Я исполняю почетное поручение моего друга; не будь этой причины, мастеру Рэвенсвуду не пришлось бы терпеть непрошеного гостя.

— В таком случае, капитан Крайгенгельт, оставим извинения и перейдем к делу. Кто тот счастливцев, что рассылает вас с поручениями?

— Мой друг, мистер Хейстон Бакло, — объявил Крайгенгельт с подчеркнутой важностью и самоуверенностью, свойственной слугам, господа которых слышат храбрецами. — Вы, по его мнению, не оказали ему того уважения, на которое он вправе рассчитывать, а потому он требует от вас удовлетворения. Вот точная мера длины его шпаги, — Крайгенгельт вынул из кармана клочок бумаги. — Он предлагает вам назначить любое место в миле от этого замка и, захватив с собою шпагу такой же длины, явиться туда в сопровождении кого-нибудь из ваших друзей. Я прибуду с мистером Бакло в качестве его доверенного лица или секунданта.

— Удовлетворение! Шпага той же длины! — воскликнул Рэвенсвуд, который, как известно читателю, не имел ни малейшего представления о нанесенной

Бакло обиде. — Клянусь честью, капитан Крайнгельт, вы либо придумали всю эту ни с чем не сообразную ложь, либо хлебнули лишнего сегодня утром. С какой это стати Бакло будет посылать мне вызов?

— А вот с какой, сэр. Мне поручено напомнить вам о вашем поступке. По долгу дружбы я не могу назвать его иначе, как нарушением законов гостеприимства: вы без объяснения причин отказали мистеру Бакло от дома.

— Не может быть! Бакло не так глуп, чтобы считать оскорблением мою просьбу, вызванную крайней необходимостью. Неужели, зная мое мнение о вас, капитан, он посылает ко мне с подобным поручением такого ненадежного и недостойного человека? Да ни один честный человек не согласится разделить с вами обязанности секунданта!

— Ах, это я-то ненадежный, я — недостойный! — вскричал Крайнгельт, хватаясь за шпагу. — Если бы мой друг не имел права первым требовать от вас удовлетворения, я объяснил бы вам...

— Из ваших объяснений, капитан Крайнгельт, я ровно ничего не понял. Попрошу удовлетвориться этим и избавить меня от вашего присутствия.

— Черт возьми, — заорал наглый задира, — так это все, что вы можете ответить на честный вызов?

— Передайте лэрду Бакло, — ответил ему Рэвенсвуд, — если он действительно вас послал, что, как только он сообщит мне причины своей обиды через лицо, достойное служить посредником между нами, я дам ему должное объяснение или же удовлетворение.

— В таком случае, сэр, прикажите по крайней мере выдать мне вещи, оставленные мистером Бакло в вашем замке.

— Все, что Бакло оставил у меня в доме, я отошлю ему со своим слугой. Вам я ничего не дам без его письменного распоряжения.

— Превосходно, сэр! — прошипел Крайнгельт с нескрываемой злобой, которую уже не в силах был сдерживать, хотя по обыкновению трусил последст-

вий. — Вы нанесли мне сейчас жестокую обиду, неслыханное оскорбление. Но тем хуже для вас... Хорош замок! — продолжал он, бросая вокруг себя негодующий взгляд. — Да это разбойничий притон, куда заманивают путешественников, чтобы грабить их!

— Мерзавец, — крикнул Рэвенсвуд, схватив за узду лошадь Крайгенгельта и замахиваясь на него палкой, — если ты посмеешь сказать еще слово... Убирайся отсюда сию же минуту, или я разможу тебе голову!

Увидав над собой палку, Крайгенгельт с такой поспешностью повернул лошадь кругом, что чуть было тут же не рухнул вместе с нею на землю, — из-под ударивших по камню копыт во все стороны посыпались искры. Однако ему удалось удержаться, и, проскочив через ворота, он понесся во весь опор вниз, по направлению к деревне.

Окончив таким образом разговор и повернувшись, чтобы возвратиться в замок, Рэвенсвуд увидел лорд-хранителя, который пожелал спуститься вниз и в течение некоторого времени наблюдал, правда, на приличествующем случаю расстоянии, происходившую во дворе сцену.

— Я уже встречал этого джентльмена, — сказал сэр Уильям, — и совсем недавно. Его зовут Крайг... Крайг... и что-то еще...

— Крайгенгельт, — подсказал Рэвенсвуд. — По крайней мере в настоящую минуту он называет себя так.

— Крайгин-гниль — гнилая шея, вот что он такое! — воскликнул Калев, пытаясь составить каламбур со словом «крайг», означающим по-шотландски «шея». — У него прямо на лбу написано, что он кончит виселицей. Бьюсь об заклад, что по нему давно уже плачет веревка.

— Вы разбираетесь в лицах, любезный мистер Калев, — улыбнулся лорд-хранитель. — Уверяю вас, этот господин уже был очень недалек от такого конца; насколько мне помнится, во время моей последней поездки в Эдинбург, недели две тому назад,

я присутствовал при допросе мисгера Крайгенгельта, или как его там, в Тайном совете.

— По какому делу? — спросил Рэвенсвуд не без любопытства.

Этот вопрос был как нельзя кстати: лорд-хранитель давно уже порывался поведать Рэвенсвуду одну историю и только ждал подходящего случая. Поэтому он немедленно взял Эдгара под руку и, направляясь с ним в зал, сказал:

— Как это ни странно, но ответ на этот вопрос предназначается только для ваших ушей.

Возвратившись в зал, сэр Уильям отвел Рэвенсвуда к оконной нише, куда, по вполне понятным причинам, мисс Эштон не решилась последовать за ними.

Глава XVII

...Вот отец —
Он дочь готов сменять на клад
 заморский,
Отдать как выкуп в распре
 межусобной,
Иль бросить за борт, как Иону,
 рыбам,
Чтоб успокоить бурю.
 Ачоним

Лорд-хранитель начал свой рассказ с видом чело- века, совершенно не заинтересованного в предмете, однако очень внимательно следил за тем, какое впечатление его слова производили на Рэвенсвуда.

— Вам, разумеется, известно, мой молодой друг, — сказал он, — что недоверие — естественный недуг нашего смутного времени и под его воздействием даже самые доброжелательные, самые рассудительные люди иной раз поддаются обману ловких мошенников. Если бы несколько дней назад я внял навету одного из этих негодяев, если бы я и впрямь был тем хитрым политиком, каким вам меня изобразили, то вы, дорогой Рэвенсвуд, не находились бы теперь в вашем замке, не имели бы возможности домогаться пере-

смотра судебных решений и защищать ваши якобы погранные права: вы были бы заточены в Эдинбургской темнице, или какой-нибудь другой тюрьме, или, спасаясь от этой участи, бежали бы в чужие края и были бы объявлены вне закона.

— Надеюсь, милорд, — сказал Рэвенсвуд, — вы не станете шутить такими вещами, хотя я не могу поверить, чтобы вы говорили серьезно.

— Человек с чистой совестью всегда доверчив, а иногда даже самонадеян. Правда, это вполне извинительно.

— Не понимаю, каким образом сознание собственной правоты может привести к самонадеянности.

— В таком случае назовем это хотя бы неосторожностью: такой человек уверен, что его невиновность очевидна всем, тогда как она известна только ему самому. Мне не раз случалось видеть плутов, которым удавалось защищаться лучше, чем честным людям. Мошенника не поддерживает сознание собственной правоты, он использует каждую лазейку, стараясь убедить судей в своей невиновности, и часто succeeds в этом, особенно если пользуется советами ловкого адвоката. Я припоминаю знаменитое дело сэра Кули Кондидла из Кондидла, которого обвиняли в растрате доверенного ему по опеке имущества, и хотя весь мир знал о его виновности, он был оправдан, а впоследствии сам судил людей куда более достойных, чем он.

— Позвольте мне, — перебил его Рэвенсвуд, — просить вас вернуться к предмету нашего разговора. Вы сказали, что меня в чем-то подозревают.

— Подозревают? Да, именно так, и я могу предъяснить вам доказательства, если только они со мной. Эй, Локхард! Принесите мне шкатулку с замком, — сказал он, когда слуга явился на зов, — ту, которую я приказал вам особенно тщательно хранить.

— Слушаюсь, милорд, — ответил Локхард, поспешно выходя из комнаты.

— Насколько мне помнится, бумаги со мной, — сказал лорд-хранитель словно про себя. — Ну конечно же! Отправляясь сюда, я собирался захватить их с

собой. Во всяком случае, если я не привез их, они у меня дома, и если вы удостоите...

Тут вернулся Локхард и вручил сэру Эштону обитую кожей шкатулку. Лорд-хранитель тотчас достал из нее несколько исписанных листов, содержащих донесение Тайному совету о «мятеже» во время похорон покойного лорда Аллана Рэвенсвуда и письма, свидетельствующие о деятельном участии сэра Уильяма в прекращении следствия над молодым Рэвенсвудом. Сэр Уильям тщательно подобрал документы, стремясь возбудить в молодом человеке любопытство и, не удовлетворяя его вполне, доказать, что он, сэр Уильям Эштон, играл в этом затруднительном деле роль заступника, роль примирителя между Рэвенсвудом и ревностными блюстителями закона. Предоставив хозяину замка заниматься столь интересным для него предметом, лорд-хранитель отошел к накрытому для завтрака столу и стал беседовать с дочерью и старым Калемом, сердце которого, покоренное любезным обращением гостя, мало-помалу начинало смягчаться по отношению к этому похитителю родовых имений Рэвенсвудов.

Внимательно прочитав бумаги, Эдгар провел рукой по лбу и глубоко задумался; потом он пробежал их еще раз, словно предполагая обнаружить в них какую-то тайную цель или следы подделки, не замеченные при первом чтении. По-видимому, на этот раз он полностью убедился в правильности первого впечатления, ибо быстро встал с каменной скамьи, на которой сидел, и, подойдя к лорду-хранителю, крепко пожал ему руку, извиняясь за то, что был несправедлив к нему, тогда как сэр Уильям, оказывается, желал ему добра, охраняя его свободу и защищая его честь.

Хитрый вельможа выслушал эти изъявления благодарности сначала с хорошо разыгранным удивлением, а потом с видом искренне дружеского участия. При виде такой трогательной сцены голубые глаза Люси Эштон наполнились слезами. Она не ожидала, что Рэвенсвуд, еще недавно столь высокомерный и холодный, которого она к тому же всегда считала

обиженным ее отцом, станет просить у него прощения; ей было лестно и приятно видеть это.

— Утри слезы, Люси, — сказал сэр Уильям, — отчего ты плачешь? Оттого, что твой отец, хотя он и юрист, оказался честным и справедливым человеком? За что вам благодарить меня, мой юный друг, — прибавил он, обращаясь к Рэвенсвуду. — Разве вы не сделали бы для меня того же? «*Suum cuique tribuito*»,¹ говорилось в римском праве, а я немало просидел над кодексом Юстиниана, чтобы запомнить это правило. К тому же разве, спасая жизнь моей дочери, вы не отплатили мне сторицей?

— Что вы! — ответил Рэвенсвуд, терзаясь сознанием своей вины. — Ведь я сделал это совершенно инстинктивно. Вы же встали на мою защиту, зная, сколь дурно я думаю о вас и сколь легко могу стать вашим врагом. Вы поступили великодушно, разумно, мужественно!

— Полноте, — сказал лорд-хранитель, — каждый из нас поступил согласно своей натуре, вы — как смелый воин, я — как честный судья и член Тайного совета. Мы едва ли смогли бы перемениться ролями. Во всяком случае, из меня вышел бы очень плохой тореадор, а вы, мой молодой друг, несмотря на бесспорную правоту вашего дела, возможно, защитили бы себя перед Тайным советом хуже, чем это сделал за вас я.

— Мой добрый друг! — воскликнул Рэвенсвуд, и вместе с этим коротким словом, с которым так часто обращался к нему лорд-хранитель, но которое сам он произнес впервые, простодушный юноша вверил родовому врагу свое гордое и честное сердце. Рэвенсвуд был человеком необщительным, упрямым и вспыльчивым, но для своих лет отличался на редкость здравым и проницательным умом. А потому, каково бы ни было его предубеждение против лорда-хранителя, оно не могло не отступить перед чувством любви и благодарности. Подлинное очарование Люси Эштон и мнимые услуги, якобы оказанные ему сэром Эштоном, изгладили из его памяти нерушимый обет мести,

¹ Пусть будет дано каждому то, что ему причитается (лат.).

данный им над прахом отца. Но клятва его была услышана и вписана в книгу судеб.

Калев был свидетелем этой сцены и не мог объяснить ее себе иначе, как тем, что между обоими семействами происходит сговор о брачном союзе и что сэр Эштон отдает за дочь родоуое имение Рэвенсвудов. Что же касается Люси, то, когда Рэвенсвуд обратился к ней с пламенными словами, моля простить его за неблагодарность и холодность, она только улыбнулась сквозь слезы и, протянув ему руку, сказала прерывающимся голосом, что бесконечно счастлива видеть примирение отца с человеком, спасшим ей жизнь. Даже многоопытный вельможа был растроган искренним и великодушным самоотречением, с которым пылкий юноша отказался от родовой вражды и, не колеблясь, попросил у него прощения. Его глаза блеснули, когда он смотрел на молодых людей, очевидно любивших друг друга и словно созданных один для другого. Он невольно подумал, как далеко мог бы пойти этот гордый, благородный юноша там, где его, сэра Эштона, недостаточно родоуоего и слишком осторожного по натуре, не раз, как говорится у Спенсера, «оттесняли» и оставляли позади. И его дочь, его любимое дитя, участница его досуга, возможно, была бы счастлива, соединившись с влиятельным и сильным человеком; нежной, хрупкой Люси, казалось, была необходима поддержка твердой руки и мужественного сердца Рэвенсвуда. На какое-то время этот брак показался сэру Уильяму Эштону не только возможным, но даже желательным, и прошло не менее часа, прежде чем он опаматовался, вспомнив, что Эдгар беден, а леди Эштон никогда не согласится выдать дочь за Рэвенсвуда. Однако уже этих добрых чувств, которым, вопреки своему обыкновению, невольно поддался лорд-хранитель, оказалось достаточно: молодые люди, приняв его сочувственное молчание за одобрение их взаимной склонности, решили, что союз их будет встречен с радостью. Лорд-хранитель, по-видимому, сам сознавал совершенную им тогда ошибку, ибо много лет спустя после трагической развязки этой несчастной любви предостерегал

всех и каждого от опасности подчинять рассудок чувству, уверяя, что величайшим несчастьем своей жизни он обязан той минуте, когда допустил, чтобы чувство взяло в нем верх над эгоистическим интересом. Нельзя не признать, что если это было так, то он был страшно наказан за минутную слабость.

Помолчав немного, лорд-хранитель возобновил прерванный разговор.

— Вы так изумились, обнаружив во мне честного человека, что позабыли о Крайгенгельте, дорогой друг. А ведь он называл ваше имя в Тайном совете.

— Негодяй! — воскликнул Рэвенсвуд. — Мое знакомство с ним было самым непродолжительным; но, видно, мне совсем не следовало общаться с ним. Я вел себя глупо. Что же он сказал обо мне?

— Он наговорил достаточно, чтобы возбудить опасения относительно вашей благонадежности у некоторых наших мудрецов, готовых по первому подозрению или навету обвинить человека в государственной измене. Крайгенгельт болтал какой-то вздор о вашем намерении поступить на службу к французскому королю или претенденту — я сейчас уже не помню подробностей, — но один из ваших лучших друзей, маркиз Э***, и еще одно лицо, которое многие называют вашим заклятым врагом, не пожелали этому верить.

— Я очень признагелен моему достойному другу, — сказал Рэвенсвуд, — но еще более я благодарен моему достойному врагу.

— *Inimicus amicissimus*,¹ — улыбнулся сэр Уильям, отвечая на его рукопожатие. — Этот молодчик упоминал также мистера Хейстона Бакло. Жаль, если бедный юноша попал под такое дурное влияние.

— Он уже достаточно взрослый и может обходиться без наставников, — ответил Рэвенсвуд.

— Да, лет ему вполне достаточно, но разума недостает, если он избрал этого мошенника своим *fidus Achatus*.² Крайгенгельт донес на него, и эта история имела бы очень дурные последствия, если бы мы не

¹ Самому дружелюбному врагу (лат.).

² Верным Ахатом (лат.).

знали, с кем имеем дело, и прислушались к словам такого негодяя.

— Мистер Хейстон Бакло — честный человек, — сказал Рэвенсвуд. — Не думаю, чтобы он был способен на низкий или подлый поступок.

— Согласитесь, однако, что он способен на поступки весьма неблагоразумные. Не нынче, так завтра он получит в наследство отличнейшие поместья — возможно, он уж владеет ими. Леди Гернингтон, эта превосходная женщина — конечно, если бы не ее нестерпимый характер, из-за которого она перессорилась со всем светом, — теперь, вероятно, переселилась уже в иной мир. Она очень богата: все ее родственники и совладельцы давно уже умерли, увеличив ее долю наследства. Я знаю ее владения, они граничат с моими; это превосходное имение.

— Я очень рад за Бакло. И был бы рад вдвойне, если бы с переменной судьбы он переменял бы также свои привычки и знакомства. К несчастью, появление здесь Крайнгельта в качестве его друга не предвещает ничего хорошего.

— Несомненно! Крайнгельт из тех, кто приносит несчастье, — согласился лорд-хранитель. — С таким приятелем легко можно попасть в тюрьму и даже на виселицу. Однако мистер Калейб, мне кажется, ждет не дождется, чтобы мы принялись за завтрак.

Глава XVIII

Останься дома, вняв совету старших,
Благ не ищи у очага чужого,
Наш сизый дым теплей, чем их огонь,
А пища хоть проста, зато здорова,
Заморская ж вкусна, да ядовита.

«Французская куртизанка»

После завтрака сэр Уильям и Люси начали собираться в дорогу; воспользовавшись этим, Рэвенсвуд покинул их и отправился отдать необходимые распоряжения, поскольку сам также решил уехать из замка

дня на два. Ему необходимо было предупредить Калеба, которого он, как и предполагал, нашел в его закопченной, полуразрушенной каморке. Обрадованный отъездом гостей, верный слуга по-хозяйски прикидывал, на сколько дней при хорошем расчете можно будет растянуть оставшиеся припасы.

«Мистер Эдгар, слава богу, не обжора, — думал он, — а мистер Бакло уехал. Он-то, конечно, способен уничтожить целого быка в один присест. Кресс-салата, или, как у нас его называют, латук-травы... да кусочка овсяного пудинга хватит хозяину на завтрак. Он, так же как и я, непривередлив. На обед... Оленины, кажется, осталось совсем немного. Ну, ничего, ее можно поджарить на рашпере. Она отлично зажарится».

Подсчет трофеев был прерван Рэвенсвудом, решившимся наконец сообщить Калебу о своем намерении сопровождать сэра Уильяма в замок Рэвенсвуд и погостить там несколько дней.

— Избави бог! — воскликнул старик, и лицо его стало белым, как скатерть, которую он складывал.

— В чем дело, Кaleb? Почему бы мне не посетить лорда — хранителя печати?

— О, мистер Эдгар! — воскликнул Кaleb. — Я ваш слуга, и не мне учить вас, но я старый слуга — я служил вашему отцу и деду; я видел лорда Рэндола, вашего прадеда, когда был совсем еще мальчишкой.

— Ну, так что ж из этого, Кaleb? Какое все это имеет отношение к обычному между соседями обмену визитами?

— О, мистер Эдгар... то есть, простите, милорд! Разве ваше сердце не говорит вам, что сыну вашего отца не подобает дружить с таким соседом? Подумайте о чести вашего рода! Конечно, если бы вы пришли к соглашению с ним и он вернул ваши земли — пускай даже с тем, что вы окажете ему честь, женившись на его дочери, — я бы не стал отговаривать вас: мисс Эштон — славная, добрая девушка. Но не поступайте вашей независимостью! Я знаю этих лю-

дей. Не уступайте им, и они будут только больше ценить вас.

— Однако вы далеко заходите в ваших планах, Калев, — усмехнулся Рэвенсвуд, пытаясь как-то скрыть свое смущение. — Вы хотите, чтобы я породнился с семейством, которое сами же запрещаете мне посещать. Как же так? Да что с вами? Вы бледны как смерть!

— О, сэр! — воскликнул Калев. — Открой я вам причину моего страха, вы же первый будете смеяться надо мной! Но Томас Стихотворец, а он никогда не лгал, произнес вещее слово о вашем роде, и если вы поедете в Рэвенсвуд, предсказание его сбудется. О, зачем я дожил до этого страшного дня!

— Какое же предсказание, Калев? — спросил Рэвенсвуд, желая успокоить верного слугу.

— Никогда, ни одному смертному не осмеливался я передать эти слова, сказанные мне старым патером, исповедником вашего деда, — в то время Рэвенсвуды были еще католиками. Не раз повторял я про себя это мрачное пророчество, но никогда не думал, что ему суждено сбыться.

— Перестаньте же причитать, Калев, — нетерпеливо прервал его Рэвенсвуд. — Скажите мне эти слова, внушившие вам столько ужасных мыслей.

Бледный от страха, старик дрожащим голосом произнес, запинаясь, нижеследующие строки:

Когда последний Рэвенсвуд приедет в Рэвенсвуд
И мертвую деву невестой его назовут,
В зыбучих песках Келпи оставит он коня,
И древнее его имя исчезнет с этого дня.

— Я знаю Келпи, — сказал Рэвенсвуд. — Так, кажется, некогда называли зыбучие пески между нашей башней и Волчьей Надеждой? Какому же безумцу придет в голову отправиться туда верхом?!

— Не вопрошайте судьбу, сэр! Не дай бог, чтобы нам открылся тайный смысл пророчества! Оставайтесь лучше дома! Пусть ваши гости одни уедут в Рэвенсвуд. Мы сделали для них довольно. Сделать боль-

ше — значило бы уже не возвысить, а уронить честь рода.

— Ну-ну, Калепб! Благодарю вас за совет, но, право, я не собираюсь искать себе невесты в Рэвенсгуде — ни мертвой, ни живой, — а потому, будем надеяться, сумею выбрать для своего коня место более надежное, чем Келпи. Тем более что я никогда не любил эти зыбучие пески, особенно после того, как там погиб пикет английских драгун. Помнится, это было лет десять назад. Мы с отцом наблюдали за ними из башни и видели, как они бились из последних сил, пытаясь спастись от надвигающегося прилива, но он настиг их прежде, чем подоспела помощь.

— И поделом им, проклятым англичанам! — заявил Калепб. — Нечего им шататься по нашим берегам и мешать честным людям привозить сюда бочонок-другой бренди! За мерзкие эти дела я и сам был не прочь пальнуть по ним из нашей старой кулеврины, доброй нашей пушечки, что стоит у нас на южной башне, только боялся, как бы ее не разорвало.

Калепб принялся всюю бранить и проклинать английских солдат и таможенников, так что Рэвенсвуд без особого труда ускользнул от него и вернулся в зал. Все было готово к отъезду. Один из слуг лорд-хранителя оседлал Рэвенсвуду коня, и гости вместе с хозяином тронулись в путь.

После долгих усилий Калепбу наконец удалось распахнуть обе половинки наружных ворот; затем он встал посередине проезда, приняв почтительный, но вместе с тем важный вид: тощий, изможденный старик, он мнил заменить собою отсутствующих привратников, сторожей и ливрейных лакеев — всю многочисленную челядь знатного дворянского дома.

Лорд-хранитель милостиво ответил на поклон Калеба и, нагнувшись, вложил ему в руку несколько золотых, так как, по существовавшему тогда обычаю, покидая дом хозяина, гость всегда должен был оделить слуг. Люси подарила Калеба прелестной улыбкой, ласково простилась с ним и вручила ему свою лепту с такой очаровательной грациозностью и такими милыми словами, что совершенно пленила бы

сердце верного старика, если бы не предсказание Томаса Стихотворца и успешный процесс ее отца против Рэвенсвудов. Калев Болдерстон мог бы сказать словами герцога из пьесы «Как вам это понравится»:

Ты больше б угодил мне этим делом,
Происходи ты из другой семьи.¹

Рэвенсвуд поехал подле Люси, робевшей перед трудным спуском; взяв ее коня под уздцы, он повел его по каменистой тропинке, ведущей в долину, как вдруг кто-то из слуг, замыкавших кортеж, возвестил, что Калев громко кричит им вслед, видимо желая что-то сообщить своему господину. Пренебреги Эдгар этими призывами, его поведение могло бы показаться странным, а потому он нехотя уступил Локхарду приятную обязанность помогать Люси и, проклиная в душе назойливую заботливость дворецкого, повернул назад. Достигнув ворот замка, он раздраженно спросил старика, что тому от него нужно.

— Тише, сэр, тише! — прошептал Калев. — Позвольте сказать вам одно только слово: мне нельзя было сделать это при всех. Вот три золотых, — продолжал он, передавая хозяину только что полученный от лорда-хранителя дар. — Возьмите их, они вам пригодятся. Погодите! Тише, ради бога, тише! — взмолился он, ибо Рэвенсвуд начал громко отказываться от его даяния. — Возьмите и не забудьте разменять их в первом же селении. Они совсем новенькие и слишком блестят.

— Вы забываете, Калев, — ответил Рэвенсвуд, стараясь сунуть ему монеты обратно и высвободить из его рук поводья, — вы забываете, что у меня в кошельке есть еще несколько золотых. А ваши оставьте себе, мой добрый друг, и прощайте. Уверю вас, у меня довольно денег. Ведь благодаря вашим стараниям мы ничего, или почти ничего, не издержали.

— Ну, так отложите эти денежки для каких-нибудь других надобностей. Да и обойдетесь ли вы? Ведь вам, несомненно, для поддержания чести рода

¹ Перевод Т. Щепкиной-Куперник.

придется одаривать слуг. К тому же надо иметь немного лишних денег на случай, если кто скажет: «А ну-ка, Рэвенсвуд, бьюсь с вами на золотой...» Тогда вы откроете кошелек и скажете: «С удовольствием». А потом постараетесь отклонить условия пари и поскорее спрятать кошелек...

— Это становится невыносимым, Калепб. Мне пора!

— Так вы все-таки поедете? — спросил Калепб, выпуская из рук плащ Рэвенсвуда и быстро переходя с нравоучительного тона на патетический. — Значит, вы *поедете* — после всего, что узнали о предсказании, о мертвой невесте и о зыбучих песках Келпи? Что ж, делать нечего, своя воля страшной неволи. Но ради всего святого, сэр, если вам случится гулять или охотиться в парке, не пейте воды из источника Сирены. Ускакал! Летит стремглав за своей любезной! Пропал род Рэвенсвудов! Погиб! Сняли голову с плеч!словно луковку отрезали!

Старый дворецкий еще долго смотрел вслед удаляющемуся хозяину, снова и снова утирая набегавшие на глаза слезы, чтобы как можно дольше любоваться его статной фигурой, выделявшейся среди других всадников.

— Скачет рядом с нсю, — бормотал он про себя, — да, рядом с нею! Правду сказал святой: «И посему вы узнаете, что женщина владеет мужчиною». Ах, и без этой красавицы наша гибель все равно неизбежна.

И только когда всадники, а вместе с ними и предмет его страхов и опасений, все уменьшаясь, совсем исчезли из виду, старый дворецкий с сердцем, исполненным грустными предчувствиями, возвратился в башню, к своим обычным занятиям.

Между тем путешественники продолжали свой путь в превосходном расположении духа. Приняв однажды какое-нибудь решение, Рэвенсвуд никогда уже не сомневался в его правильности и не менял его. Он весь отдался наслаждению видеть и слышать мисс Эштон и был заботлив, предупредителен, чужь ли не весел, насколько это было возможно, принимая во внимание его характер и несчастья его семьи.

Лорд-хранитель был поражен наблюдательностью молодого человека и необычайной для его возраста обширностью различных познаний. Благодаря высокому положению и знанию света сэр Уильям превосходно мог судить об этих его совершенствах; но особенно ценил в нем то, чем сам не мог похвастать, — твердый, решительный характер, ибо юноша, казалось, не ведал ни страха, ни сомнений. В душе сэр Уильям радовался примирению со столь опасным врагом и со смешанным чувством удовольствия и тревоги размышлял, сколь многого достиг бы этот молодой человек, если бы ему сопутствовало благоволение двора.

«Чего ей еще желать? — думал он, как всегда опасаясь, что леди Эштон, по своему обыкновению, воспротивится его намерениям. — Какого еще жениха может желать женщина для своей дочери? Выдав Люси замуж за Рэвенсвуда, мы избежим опаснейшей тяжбы, породнимся с человеком благородным, храбрым, наделенным недюжинными способностями, к тому же — с хорошими связями, с человеком, который, безусловно, как только ему улыбнется счастье, достигнет высокого положения. Он в избытке обладает всем тем, чего недостает нам, — родовитостью и отвагой воина. Что и говорить, ни одна благоразумная женщина не стала бы тут задумываться, но увы! (И ему пришлось признать, что леди Эштон не всегда благоразумна в том смысле, в каком он понимал это слово). Надо быть безумной, чтобы предпочесть какого-нибудь неотесанного деревенщину из местных лэрдов этому благородному юноше и пренебречь возможностью сохранить за собою замок Рэвенсвуд на выгодных условиях».

Так размышлял старый дипломат по дороге в замок Битлбрейн, где нашим путникам предстояло отобедать и затем, немного отдохнув, пуститься в дальнейший путь.

Битлбрейны приняли их крайне приветливо, но особенно лестное внимание высокопоставленные хозяева оказали Рэвенсвуду.

Лорду Битлбрейну был пожалован титул пэра за многие таланты: он умел придавать благопристойный вид любым своим поступкам, владел искусством слыть мудрецом, красноречиво произнося избитые истины, всегда знал, откуда дует ветер, и обладал великим даром оказывать услуги тем, кто лучше за них платит. Новоиспеченный пэр и его супруга чувствовали себя несколько неловко в высоком кругу, в который так недавно попали, и всячески старались снискать расположение людей, принадлежащих к нему по рождению. Как это часто бывает, необыкновенное внимание, оказанное Битлбрейнми Рэвенсвуду, еще более возвысило его в глазах лорда-хранителя, ибо, испытывая вполне понятное презрение к талантам этого вельможи, сэр Эштон тем не менее весьма ценил его острый нюх на все, что сулило личную выгоду.

«Хотел бы я, чтобы леди Эштон это видела, — подумал он. — Уж лучше Битлбрейна никто не знает, кому первому кланяться, а он выслуживается перед Рэвенсвудом, словно голодный пес перед поваром. И миледи туда же — вывела своих скуластых дочек прельщать гостя пискливым пением и бренчанием на спинете; точно предлагает: выбирай любую! Ну, они перед Люси — как совы перед голубкой. Придется, видно, сбывать их кому-нибудь другому».

Отобедав, наши путешественники, которым предстояла еще долгая дорога, сели на коней и, после того как лорд-хранитель, Рэвенсвуд и сопровождающие их слуги, каждый согласно сану и званию, осушили по прощальному кубку, снова отправились в путь.

Уже стемнело, когда кавалькада въехала в длинную, прямую аллею, ведущую в замок Рэвенсвуд. Ночной ветер шелестел в старых вязах, растущих вокруг дома, и они, казалось, жалостно вздыхали при виде наследника своих исконных владельцев, возвращающегося под их сень в обществе, чуть ли не в свите, их нового хозяина. Печальные чувства стеснили грудь Рэвенсвуда. Он умолк и стал держаться поодаль от Люси, от которой до сих пор не отставал ни

на шаг. Ему вспомнился день, когда в такой же вечерний час уезжал он отсюда вместе с отцом, навсегда покидавшим родовое имение, давшее ему имя и титул. Тогда в огромном старом замке — Эдгар не раз оборачивался, чтобы бросить на него прощальный взгляд — было темно, как в могиле; теперь же он весь сверкал множеством огней. Из одних окон лился ровный свет, рассекая ночную тьму, в других — только мелькал, то появляясь, то исчезая; очевидно, в доме была суета: шли деятельные приготовления к приезду хозяина, которого предуведомленные курьером слуги ждали с минуты на минуту. Контраст был разителен, и в сердце Рэвенсвуда снова пробудилась давняя неприязнь к похитителю достояния его предков; когда же, сойдя с лошади, он вошел в зал, который теперь ему уже не принадлежал, и увидел себя окруженным многочисленной челядью нынешнего владельца, на его чело вновь легла печать суровой задумчивости.

Сэр Уильям хотел было принять Рэвенсвуда с самым пламенным радушием, которое после состоявшегося между ними разговора казалось ему вполне уместным, но, заметив происшедшую в госте перемену, отложил свое намерение и ограничился глубоким поклоном, как бы давая понять, что разделяет его грустные чувства.

Два камердинера, держа в руках по огромному серебряному подсвечнику, проводили приехавших в просторную комнату, являвшуюся, по-видимому, кабинетом, великолепное убранство которой лишний раз напомнило Рэвенсвуду, насколько новые хозяева замка богаче его прежних владельцев. Полуистлевшие и кое-где свисавшие уже ключьями шпалеры, которые покрывали стены при его отце, были заменены дубовой панелью, украшенной по карнизу и по краям гирляндами и птицами, вырезанными так искусно, что, казалось, они вот-вот запоют и замахают крыльями. Старинные семейные портреты прославленных воинов из дома Рэвенсвудов, рыцарские доспехи и древнее оружие уступили место изображениям короля Вильгельма и королевы Марии, а также

сэра Томаса Хоупа и лорда Стэра, этих двух прославленных шотландских юристов. Тут же висели портреты родителей сэра Эштона: мать — угрюмая, сухая, чопорная старуха в черном чепце и таких же лентах, с молитвенником в руках, и отец — старик в черной шелковой женевской шапочке, будто приклеенной к бритой голове; его узкое брюзгливое лицо с острой рыжеватой бородкой, словно налагавшей последний штрих на эту истинно пуританскую физиономию, выражало столько же лицемерия, сколько скупости и плутоватости. «И для такой-то дряни, — подумал Рэвенсвуд, — моих предков согнали с воздвигнутых ими стен!» Он взглянул на портреты еще раз, и образ Люси Эштон (которая не сопровождала их в зал) потерял над ним свою власть.

Несколько голландских безделок, как тогда называли произведения Ван-Остаде и Тенирса, и одна хорошая картина итальянской школы дополняли убранство комнаты. Но особое внимание обращал на себя превосходный портрет самого лорда — хранителя печати в полный рост, в парадном облачении и при всех регалиях; рядом с ним была изображена его супруга, вся в шелках и горностае — надменная красавица с гордым взглядом, выражавшим все высокомерие рода Дугласов, к которому она принадлежала. Как ни старался живописец, но, то ли подчиняясь действительности, то ли из тайного чувства юмора, он не сумел придать изображению сэра Эштона тот вид повелителя и господина, внушающего всем почтение и страх, который приличествует главе дома. Несмотря на золотые пуговицы и булаву, с первого взгляда было ясно, что лорд-хранитель находится под каблуком у жены.

Комнату устилали дорогие ковры, яркий огонь пылал в обоих каминах, а множество свечей, отражаясь в блестящей поверхности десяти серебряных канделябров, озаряли все кругом, словно дневным светом.

— Не угодно ли перекусить? — спросил сэр Уильям, желая прервать неприятное молчание.

Рэвенсвуд ничего не ответил; он так углубился в изучение нового убранства комнаты, что даже не слышал обращенного к нему вопроса. Только когда лорд-хранитель повторил приглашение, прибавив, что стол уже накрыт, Рэвенсвуд очнулся от задумчивости; понимая, что, поддавшись обстоятельствам, он окажется в жалкой, может быть, даже смешной роли, юноша сделал над собой усилие и, надев маску равнодушия, заговорил с сэром Уильямом:

— Надеюсь, вас не удивляет, сэр, то внимание, с которым я рассматриваю все перемены, произведенные вами, чтобы украсить эту комнату. При жизни отца, особенно после того как наши несчастья заставили его удалиться от света, она стояла пустой. Только я играл здесь в плохую погоду. Вот в этом углу лежали столярные инструменты, добытые для меня Калемом, — старик учил меня столярничать; вот там, где сейчас стоит большой красивый подсвечник, я хранил удочки, рогадины, лук и стрелы.

— У моего сынишки точно такие же вкусы, — сказал лорд-хранитель, пытаясь переменить разговор, — он только тогда и счастлив, когда носится по полям и лесам. Кстати, где же он? Эй, Локхард! Пошлите Уильяма Шоу за мистером Генри. Должно быть, вертится около сестры. Вы не поверите, Рэвенсвуд, но эта проказница распоряжается всем нашим домом.

Однако даже этот искусно брошенный намек не помог ему отвлечь Рэвенсвуда от грустных мыслей.

— Уезжая, — продолжал он, — мы оставили в этой комнате несколько семейных портретов и собрание оружия. Могу я узнать, что с ними случилось?

— Видите ли, — ответил лорд-хранитель с некоторым замешательством, — эту комнату отделявали в мое отсутствие. Как известно, *cedant arma togae*,¹ любят говорить юристы. Боюсь, на этот раз это правило применили слишком буквально. Впрочем, я надеюсь... я полагаю, что ваши вещи целы. Разумсется,

¹ Оружие отступает перед тогой (лат.).

я распорядился относительно них. Позвольте мне надеяться, что, как только они отыщутся и будут приведены в порядок, вы окажете мне честь принять их из моих рук как знак искупления за это случайное изгнание.

Рэвенсвуд сухо поклонился и, скрестив руки, продолжал осматривать зал. В эту минуту в комнату вбежал Генри, избалованный пятнадцатилетний мальчик, и тотчас бросился к отцу.

— Папа! — закричал он. — Почему Люси сегодня такая противная злючка? Я позвал ее в конюшню посмотреть моего нового пони, которого Боб Уилсон привел мне из Гэллоуэя, а она не хочет.

— Ты совершенно напрасно беспокоил сестру такой просьбой.

— Ах, вот как! Ты с нею заодно! Ты тоже несносный злючка! Хорошо же! Вот мама вернется, она вам обоим покажет!

— Замолчи! Я не желаю слушать от тебя грубостей, дерзкий мальчишка! Где твой учитель?

— Уехал в Данбар на свадьбу. Вот где он вволю наестся потрохов! — И он запел веселую шотландскую песенку:

Как настряпали в Данбаре потрохов,
О ля-ля, ля-ля, ля-ля,
И жевали их до первых петухов,
О ля-ля, ля-ля, ля-ля.

— Я очень признателен мистеру Кордери за его внимание к моему сыну, — сказал лорд-хранитель. — А кто же смотрел за тобою, пока меня не было дома?

— Норман, Боб Уилсон... и я сам.

— Охотник и конюх — отличные наставники для будущего адвоката! Боюсь, что из всего свода законов ты будешь знать только те, которые запрещают охотиться на красного зверя, и ловить лосося, и...

— Кстати, об охоте, — не задумываясь, перебил отца юный проказник, — Норман убил без вас оленя. Я показал Люси рога, но она сказала, что в них только восемь ветвей, — а у того, которого вы затра-

вили у лорда Битлбрейна, было целых десять. Это правда, папа?

— Может быть, даже все двадцать. Вот уж, в чем я ничего не смыслю. Но если ты спросишь нашего гостя, он тебе обо всем расскажет. Подойди к нему, Генри. Это мастер Рэвенсвуд.

Пока отец и сын, стоя у камина, разговаривали таким образом, Рэвенсвуд отошел в противоположный конец комнаты и, повернувшись к ним спиной, внимательно рассматривал одну из картин, висевшую на стене. Генри подбежал к нему и с бесцеремонностью балованного ребенка дернул его за полу.

— Послушайте, сэр, — воскликнул он, — расскажите, пожалуйста...

Рэвенсвуд обернулся, но едва Генри увидел его, как смутился, сделал несколько шагов назад и, изменившись в лице, которое мгновенно утратило присущее ему выражение бойкости, молча, удивленный и испуганный, устоял на гостя.

— Иди сюда, — сказал мальчику Рэвенсвуд. — Я охотно расскажу тебе все, что помню об этой охоте.

— Подойди же к нашему гостю, Генри, — сказал сэр Уильям, — кажется, не в твоих привычках быть застенчивым.

Но ни просьбы, ни увещания не помогли. Напротив, хорошенько рассмотрев Рэвенсвуда, мальчик круто повернулся, затем осторожно, словно ступая по стеклу, вернулся к отцу и крепко к нему прижался. Не желая слушать, о чем будут говорить между собой отец и его избалованный сынок, Рэвенсвуд счел за лучшее вновь обратиться к картинам.

— Отчего ты не хочешь поговорить с Рэвенсвудом, дурачок? — спросил лорд-хранитель.

— Я боюсь его, — пробормотал Генри.

— Боишься?! — удивился отец, обнимая сына за плечи. — Что же в нем страшного?

— Он похож на портрет сэра Мэлиза Рэвенсвуда, — прошептал мальчик.

— На какой портрет, глупыш? Я думал, ты только ветренник, а теперь начинаю опасаться, что ты и впрямь растешь дураком.

— Говорю вам, он точь-в-точь сэр Мэлиз Рэвенсвуд. Можно подумать, он вышел из рамы, что висит в комнате старого барона, где служанки стирают белье. Только сэр Мэлиз одет в кольчугу, а ваш гость носит камзол, потом у него нет бороды и бакенбард, как на портрете, да вокруг шеи какая-то другая штука, и нет ленты через плечо, и...

— А что же удивительного, если этот джентльмен похож на одного из своих предков?

— А вдруг он приехал сюда, чтобы выгнать нас из замка? Может быть, он тоже привел с собой двадцать переодетых рыцарей... Вот он крикнет сейчас страшным голосом: «Я выжидаю свой час!» — и убьет тебя, как убил тогда сэр Мэлиз хозяина замка, чья кровь все еще виднеется на плитах камина.

— Не болтай глупостей! — рассердился лорд-хранитель, которому это сравнение не доставило особого удовольствия. — Мастер Рэвенсвуд, — обратился он к молодому человеку, — вот идет Локхард доложить, что ужин подан.

В ту же минуту в противоположную дверь вошла Люси, уже успевшая переодеться. Нежная красота девического личика, обрамленного золотыми локонами, тонкий стан, доселе скрытый под грубым охотничьим нарядом, а теперь затянутый в светло-голубой шелк, изящество манер и пленительная улыбка — все это в мгновение ока, с быстротой, поразившей самого Рэвенсвуда, изгнало мрачные и злобные мысли, вновь завладевшие было его воображением. В ее милых чертах он не находил ни малейшего сходства ни с рыжебородым пуританином в черной шапочке, ни с его чопорной, увядшей супругой, ни с лукавым лордом-хранителем, ни с высокомерной леди Эштон. Он смотрел на Люси, и она казалась ему сошедшим на землю ангелом, совершенно чуждым этим людям, которым выпала великая честь жить рядом с этим неземным существом. Такова власть красоты над воображением пылкого и восторженного юноши.

Глава XIX

Я поступаю дурно!
Мне должно знать, что жалоба отца
Заставит небеса поток несчастий
Излить на непокорную главу.
Но разум говорит: отцы бессильны,
Пытаясь обуздать слепые страсти
Своих детей и удержать любовь,
Внушенную божественною властью.

«Потеряла свинья жемчужину»

Если трапеза в «Волчьей скале» говорила о плохо скрытой бедности, то угощение в замке Рэвенсвуд поражало роскошью и изобилием. Такой контраст, несомненно, льстил самолюбию сэра Уильяма, но он был слишком большой дипломат, чтобы обнаружить свои чувства. Напротив, он, казалось, с удовольствием вспоминал холостяцкий обед, которым потчевал его Болдерстон, и скорее с отвращением, нежели с гордостью, взирал на собственный стол, ломившийся от множества яств.

— Мы живем в роскоши, — сказал он, — потому что так принято, но в скромном доме моего отца я привык к простой пище и был бы очень рад, если бы моя жена и дети позволили мне вернуться к старой доброй овсянке и бараньему боку.

Лорд-хранитель перешел меру, и Рэвенсвуд почувствовал это.

— Различие в звании, — сухо заметил он, — или, лучше сказать, в средствах, определяет, как нам вести дом.

Этих слов было достаточно, чтобы лорд-хранитель тотчас заговорил о других предметах, которые, по нашему мнению, не стоят внимания читателя.

Вечер прошел в непринужденной, почти дружеской беседе, и Генри совершенно забыл прежние свои страхи. Он даже предложил потомку и двойнику страшного сэра Мэлиза Рэвенсвуда, прозванного Мстителем, отправиться вместе травить оленя. Условились на следующее утро. Ретивые охотники спозаранку выехали в отъездное поле и вернулись нагруженные

добычей. Затем сели обедать, и хозяева принялись уговаривать Рэвенсвуда остаться еще на день. Молодой человек согласился, но дал себе слово не задерживаться долее. К тому же он вспомнил, что еще не видал доброй Элис, старой преданной служанки дома Рэвенсвудов, и ему захотелось обрадовать верную старушку, навестив ее бедное жилище. Он решил посвятить Элис следующее утро, а Люси вызвалась проводить его к ней. И хотя за ними увязался Генри, отчего прогулка утратила характер *tête-à-tête*,¹ в сущности они почти все время оставались наедине: занятый своими весьма важными делами, мальчик совершенно не интересовался сестрой и ее спутником. То его внимание привлекал грач, опустившийся невдалеке на ветку, то заяц перебежал им дорогу, и Генри вместе с гончей бросался вслед за ним, то он отставал, чтобы поговорить с лесником, то забегал вперед, чтобы посмотреть на барсучью нору.

Тем временем разговор между Эдгаром и Люси становился все оживленнее и нежнее. Люси невольно призналась, что понимает, как тяжело ему, должно быть, видеть родные места столь изменившимися в руках нового владельца. В ее словах звучало искреннее сочувствие, и на мгновение Рэвенсвуд счел себя вознагражденным за все несчастья, ниспосланные ему судьбой. Он отвечал Люси пылкой благодарностью, не тая своих чувств, и она выслушала его, если не без смущения, то, во всяком случае, без неудовольствия. Быть может, она поступила неосторожно, внимая нежным речам, но было бы несправедливо осуждать ее слишком строго, ведь отец, казалось, поощрял Рэвенсвуда и тем самым давал ему право говорить с ней подобным образом. Тем не менее Люси поспешила переменить разговор, что ей без труда удалось: Рэвенсвуд и так сказал уже больше, нежели ему хотелось, и, спохватившись, что чуть было не признался в любви дочери сэра Уильяма Эштона, почувствовал укуры совести.

¹ Свидания с глазу на глаз (*франц.*).

Вскоре они подошли к домику старой Элис; дом недавно перестроили, и теперь он выглядел менее живописно, но был не в пример удобнее. Слепая, по обыкновению, сидела под плакучей ивой и с тихой радостью, свойственной больным и старым людям, грелась под лучами осеннего солнца. Услыхав шаги, она повернула голову.

— Я узнаю вашу поступь, мисс Эштон, — сказала она. — Но кто это с вами? Это не милорд, ваш отец.

— Как вы догадались, Элис? — удивилась Люси. — Как вам удастся так точно узнавать людей по шагам? Ведь здесь такая почва, что шагов почти не слышно.

— Слепота, дитя мое, обострила мой слух, и я сужу обо всем по едва слышным звукам, которых прежде, так же как вы теперь, я даже не различала. Нужда — суровый, но хороший учитель, а когда человек теряет зрение, ему приходится узнавать о мире другим путем.

— Вы услышали шаги мужчины — это я понимаю, но откуда вы знаете, что это не отец?

— Старики, дорогая мисс Эштон, ступают боязливо, осторожно: нога медленно отделяется от земли и опускается не сразу; а сейчас я слышу быструю поступь юноши. Если бы можно было допустить такую странную мысль, я сказала бы, что это шаги Рэвенсвуда.

— Какой тонкий слух! — воскликнул Рэвенсвуд. — Просто невероятно. Не будь я сам тому свидетелем, ни за что бы не поверил. Вы не ошиблись, Элис: я действительно, Рэвенсвуд, сын вашего покойного хозяина.

— Вы?! — в изумлении вскричала старуха — Вы Рэвенсвуд! Здесь! Вместе с Люси Эштон, дочерью вашего врага!.. Не верю. Позвольте мне коснуться вашего лица, чтобы пальцы мои подтвердили то, что воспринимает мой слух.

Рэвенсвуд опустил на дерновую скамью подле старой служанки, и она дрожащей рукой ощупала его лицо.

— Да, это правда! — сказала она. — Это лицо и голос Рэвенсвуда: резкие, гордые черты, смелый, повелительный голос. Что вы здесь делаете, мастер Рэвенсвуд? Каким образом вы оказались во владениях сэра Эштона, да еще в обществе его дочери?

При этих словах лицо старой служанки вспыхнуло от негодования. Так, вероятно, в старину краснел от стыда верный вассал при виде того, как его юный сюзерен готов поступиться рыцарской честью доблестных предков.

— Мастер Рэвенсвуд гостит у моего отца, — вмешалась Люси, желая прекратить эту сцену: наставительный тон Элис пришелся ей не по душе.

— Вот как! — произнесла слепая, и голос ее выразил крайнее удивление.

— Я хотела доставить удовольствие нашему гостю, приведя его к вам.

— И, по правде сказать, Элис, — прибавил Рэвенсвуд, — я ожидал лучшего приема.

— Как странно! — пробормотала старуха, не слушая объяснений. — Небо творит свой праведный суд, а пути господни неисповедимы! Выслушайте меня, сэр: ваши предки были беспощадны к своим врагам, но они вели честную борьбу; они никогда не пользовались гостеприимством противника, чтобы тем вернее погубить его. Что у вас общего с Люси Эштон? Зачем шаги ваши направлены по одной стезе? Зачем звуки вашего голоса сливаются с речью дочери сэра Уильяма? Молодой человек, тот, кто собирается мстить врагу такими бесчестными средствами...

— Молчите! — гневно прервал ее Рэвенсвуд. — Молчите! Видно, сам дьявол подсказал вам эти слова! Знайте же, что у мисс Эштон нет на свете более преданного друга, чем Эдгар Рэвенсвуд, и нет того, чего бы я не сделал, чтобы уберечь ее от опасности и обид.

— Вот оно что! — произнесла старуха изменившимся голосом, исполненным глубокой грусти. — Да сохранит господь вас обоих!

— Аминь! — сказала Люси, не улавливая намека, скрытого в словах слепой. — И да возвратит он вам ваш разум, Элис, и ваш добрый нрав. Если вместо

того, чтобы радоваться, когда вас навещают друзья, вы станете разговаривать с ними так странно и таинственно, то и они поверят разным слухам, которые о вас ходят.

— Какие слухи? — спросил Рэвенсвуд; теперь и ему стало казаться, что старуха говорит как-то бесвязно.

— А такие... — прошептал ему на ухо Генри Эштон, только что подошедший к собеседникам. — Говорят, она колдунья, которую нужно было сжечь вместе с другими старыми ведьмами в Хэддингтоне.

— Что ты там шепчешь? — крикнула Элис и, вся вспыхнув от гнева, оставила на мальчика невидящие глаза. — Я колдунья? Меня надо было сжечь вместе с теми несчастными, обездоленными женщинами, которых замучили в Хэддингтоне?

— Какова! — подмигнул Генри. — Я говорю тише, чем чирикает королек, а она все слышит!

— Если бы на этот костер возвели вместе со мной того, кто занимается ростовщицеством, кто притесняет и угнетает бедных, кто уничтожает вековые межи и отнимает наши наделы, кто разоряет древние шотландские роды, тогда я сказала бы: раздуйте пламя, и да поможет вам бог!

— Это ужасно, — вздохнула Люси. — Я никогда не видала бедняжку в таком неистовстве; но избави меня бог упрекать убогую одинокую старуху. Пойдем, Генри! Нам лучше уйти. Мне кажется, она хочет остаться наедине с мастером Рэвенсвудом. Мы подождем вас у источника Сирены, — прибавила она, взглянув на Рэвенсвуда.

— Эй, Элис, — крикнул Генри, уходя вслед за сестрой, — если ты водишь знакомство с той проклятой ведьмой, что портит нам оленей, так передай ей: коли у Нормана не найдется на нее серебряной пули, я сам не пожалею серебряных пуговиц с моей куртки.

Элис молчала и, только убедившись, что брат с сестрой отошли уже на достаточное расстояние и не могли ее слышать, сказала, обращаясь к Рэвенсвуду:

— Вы... вы тоже сердитесь на меня за мою любовь к вам. Пусть бы чужие люди гневались на мои слова, но вы...

— Я не сержусь на вас, Элис... Я только удивляюсь, что вы, чей светлый ум так часто превозносили, находитесь во власти столь обидных да к тому же и необоснованных подозрений.

— Обидных — возможно: правда часто бывает обидной, но мои подозрения обоснованы.

— А я повторяю вам: ваши подозрения совершенно неосновательны.

— В таком случае, мир сильно изменился: Рэвенсвуды утратили свой гордый нрав, а старая Элис не только ослепла, но и поглупела. Разве случалось, чтобы кто-нибудь из Рэвенсвудов входил в дом врага без тайного умысла отомстить ему? Эдгар Рэвенсвуд, вас привела сюда либо роковая ненависть, либо роковая любовь.

— Ни то, ни другое, Элис, даю вам слово... то есть, уверяю вас.

Элис не могла видеть, как вспыхнули щеки Рэвенсвуда, но слух ее уловил, что голос его дрогнул и что он не договорил клятвы, которой, по-видимому, вначале намеревался подкрепить свои слова.

— Значит, это правда! — вздохнула слепая. — Вот зачем она ждет вас у источника Сирены! Это место часто называли роковым для рода Рэвенсвудов, и оно действительно не раз оказывалось для них гибельным, но никогда еще оно не грозило такими несчастьями, как нынче.

— От ваших слов, Элис, с ума сойти можно! Вы еще безрассуднее и суевернее, чем старый Болдерстон. Вы, вероятно, очень плохая христианка, если можете предположить, что в наше просвещенное время я буду вести кровавую войну против Эштонов, как это делалось в старину! Или, быть может, вы думаете, что я глупый мальчишка, которому достаточно пройти рядом с молодой девушкой, чтобы влюбиться в нее по уши?

— То, что я думаю, ведомо лишь мне одной, — сказала Элис. — Глаза мои не различают окружаю-

щих предметов, но зато, может быть, внутреннему моему взору открыто грядущее. Неужели вы хотите занимать последнее место за столом, некогда принадлежавшим вашему отцу? Неужели вы хотите стать собственником и приверженцем его удачливого соперника? Неужели вы согласитесь жить милостями сэра Эштона, участвовать в его темных интригах, помогать в его низких происках, — кому, как не вам, знать его повадки, — чтобы затем довольствоваться обглоданной костью, брошенной вам из остатков его богатой добычи? Неужели вы способны говорить его словами, мыслить его мыслями, отдавать свой голос за угодного ему кандидата и называть дорогим тестем и высокочтимым покровителем убийцу своего отца? Мастер Рэвенсвуд, я самая старая из слуг вашего дома, и, клянусь вам, мне легче было бы увидеть вас в гробу!

Страшная буря поднялась в сердце Рэвенсвуда: Элис задела струну, которую в последнее время ему удалось заглушить. Он принялся быстро шагать назад и вперед по садику, но наконец, овладев собой, остановился прямо перед старухой.

— Женщина! — воскликнул он. — Подумай, что ты говоришь! На краю могилы ты дерзаешь подстрекать меня на кровавое дело мести!

— Сохрани бог! — торжественно сказала Элис. — Напротив, сэр. Я прошу вас покинуть родные пределы, где ваша любовь и ваша ненависть принесут только несчастья или позор равно как вам, так и другим людям. О, если б эта слабая длань могла защитить вас от Эштонов, а их — от вас и уберечь вас всех от роковых страстей ваших! Вы не можете, вы не должны иметь ничего общего с этим семейством. Бегите отсюда! И если небесная кара должна обрушиться на дом злодея, то пусть не вашею рукою свершится божий суд.

— Я подумаю над вашими словами, Элис, — ответил Рэвенсвуд несколько более спокойным голосом. — Верю, что вы искренне желаете мне добра; тем не менее вы злоупотребляете вашими правами старейшей

служанки нашего дома. Прощайте! Если когда-нибудь судьба улыбнется мне, я не забуду вас.

С этими словами Эдгар вынул золотой, намереваясь дать его Элис, но она не пожелала принять его дар, и монета упала на землю.

— Не подымайте! Погодите! — воскликнула Элис, услышав, что Рэвенсвуд наклоняется за монетой. — Вот символ вашей любви. Я охотно признаю, что Люси — сокровище; но, чтобы назвать ее своей, вам придется униженно согнуться в три погибели. А мне... мне не нужно денег; сребролюбие так же чуждо мне, как и прочие мирские страсти. Для меня на этом свете может быть только одна радость — известие о том, что Эдгар Рэвенсвуд находится за сотни миль от замка своих предков и никогда не вернется сюда вновь.

— Элис, — сказал Рэвенсвуд, начинавший подозревать, что у слепой имеются более глубокие причины столь горячо настаивать на его отъезде, чем те немногие наблюдения, которые она успела сделать за время его случайного визита, — Элис, моя мать не раз превозносила ваше благоразумие, проникательность и преданность; вы не так глупы, чтобы бояться пустых призраков и суеверных побасенок, как старый Болдерстон. Если вам известно, что мне грозит опасность, скажите об этом прямо. Уверяю вас, я не имею на мисс Эштон тех видов, какие вы сейчас мне приписываете. У меня есть дела с сэром Эштоном, и, покончив с ними, я немедленно уеду из Шотландии. Поверьте, у меня нет ни малейшей охоты возвращаться в места, где все возбуждает во мне печальные воспоминания.

Элис опустила голову и погрузилась в глубокое раздумье.

— Я скажу вам всю правду, — наконец промолвила она, подымая на него незрячие глаза. — Я назову вам причину моих опасений, хотя не знаю, хорошо ли я делаю, доверяя вам чужую тайну. Люси Эштон любит вас, лорд Рэвенсвуд.

— Не может быть! — воскликнул Эдгар.

— Тысяча обстоятельств убедили меня в этом, — продолжала слепая. — С тех пор, как вы спасли ей жизнь, она только о вас и думает. При моем жизненном опыте мне не трудно было догадаться о ее любви к вам. Теперь вы знаете... Если вы честный человек и достойный сын вашего отца, вы не станете дольше встречаться с ней. Мало-помалу любовь ее угаснет, как гаснет светильник, когда нечем питать его пламя. Но если вы останетесь здесь, ее гибель или ваша, а может быть, даже гибель вас обоих, неминуема. Я не хотела открывать вам эту тайну, но все равно, рано или поздно... ее чувства не укрылись бы от вас. Так лучше вам узнать об этом от меня. Уезжайте, мастер Рэвенсвуд! Я все сказала. Если вы останетесь под кровлей сэра Уильяма Эштона, не имея твердого намерения жениться на его дочери, вы бесчестный человек; если же вы намереваетесь породниться с ним, вы глупец, ослепленный страстью, глупец, который сам спешит навстречу собственной гибели.

При этих словах слепая встала, взяла костыль, добралась до хижины и, войдя в нее, закрыла за собой дверь. Рэвенсвуд остался наедине с собой.

Глава XX

В убежище своем она милей ..

..Наяды древней

У быстрого ручья — иль Девы Моря,
На берегу сидящей одиноко.

Вордсворт

Мрачные предчувствия наполнили душу Рэвенсвуда. Он вдруг увидел себя между двух огней: он оказался в том безвыходном положении, которого так страшился. Общество Люси доставляло ему неизъяснимое наслаждение, тем не менее брак с дочерью человека, бывшего врагом его отца, по-прежнему казался ему невозможным. Даже прощая сэру Эштону обиды, нанесенные роду Рэвенсвудов, и отдавая должное дружескому расположению лорда-хранителя,

Эдгар не мог заставить себя подумать о союзе между их домами.

И все же он чувствовал, что Элис сказала правду: он должен был либо тотчас покинуть замок, либо просить руки Люси Эштон. А что, если ее богатый, влиятельный отец откажет ему? Посвататься к мисс Эштон и получить отказ — какое унижение! «Я желаю ей всевозможного счастья, — думал он, — ради нее я прощаю сэру Уильяму Эштону обиды, причиненные моему семейству; но никогда, никогда мои глаза более не увидят ее!» С тяжелым сердцем принял он это решение.

Тут он поднял глаза и вдруг увидел, что вышел на то самое место, где дорога разветвлялась на две: одна вела к источнику Сирены, где, как он знал, его ждет Люси, другая, минуя источник, шла прямо в замок Рэвенсвуд. Прежде чем ступить на тропинку, ведущую в замок, Эдгар с минуту помедлил, стараясь придумать какой-нибудь такой предлог для отъезда, который не показался бы странным. «Срочное письмо из Эдинбурга, — бормотал он, — все равно, что... Главное, скорее прочь отсюда». Но в это мгновение к нему подбежал запыхавшийся Генри Эштон.

— Мастер Рэвенсвуд, — закричал он, — вам придется проводить Люси в замок. Я не смогу пойти с ней: меня ждет Норман. Он идет в обход, и я хочу пойти вместе с ним. Ни за какие сокровища я здесь не останусь. А Люси боится идти одна, хотя бояться уже нечего: всех буйволов давно перебили. Ступайте прямо к ней.

Когда на обеих чашах лежит равный груз, достаточно перышка, чтобы одна из них перевесила. «Не могу же я, — сказал себе Рэвенсвуд, — оставить молодую женщину одну в лесу. Ничего не произойдет, если после стольких встреч я увижусь с нею еще раз. К тому же было бы неучтивым не сообщить ей о моем намерении покинуть замок».

Убедив себя таким образом не только в благоразумности, но в совершенной необходимости увидеть Люси еще раз, Эдгар свернул на дорожку, ведущую к роковому источнику, а Генри, удостоверившись, что

Рэвенсвуд направляется к его сестре, с быстротою молнии бросился в другую сторону, чтобы разыскать лесника и вместе с ним насладиться любимым занятием. Между тем Рэвенсвуд, разом отбросив все сомнения, спешил к роднику и, достигнув его, увидел Люси, одиноко сидевшую подле развалин.

Она сидела на одном из камней, оставшихся от древнего храма, задумчиво глядя на прозрачную воду, которая, искрясь и играя, обильно струилась, пробиваясь к свету из-под сени мрачного свода, некогда воздвигнутого над источником благоговейной или, быть может, покаянной рукой. Человек суеверный при виде Люси Эштон в ее клетчатой мантилье, с длинными волосами, выбившимися из-под ленты и рассыпавшимися по плечам, вероятно решил бы, что перед ним убитая нимфа фонтана. Но Рэвенсвуд видел перед собой только прелестную девушку, которая теперь — да и могло ли быть иначе, после того как он узнал, что она любит его, — казалась ему еще пленительней. Его решимость покинуть замок таяла, как воск в лучах солнца, и потому он поспешно вышел из чащи и приблизился к Люси. Увидев его, она улыбнулась, но не встала с камня.

— Мой ветреный брат бросил меня здесь одну, — сказала она, — но думаю, что он не заставит себя долго ждать: он легко загорается, но так же быстро остывает!

Рэвенсвуд был не в силах противоречить ей и потому промолчал о том, что Генри отправился в далекую экскурсию и отнюдь не собирается вскоре вернуться. Он опустился подле нее на траву; несколько минут оба молчали.

— Я люблю это место, — проговорила наконец Люси, — журчанье воды, шепот листьев, густая трава, цветы, растущие среди развалин, — все это напоминает мне сцену из рыцарского романа. К тому же об этом источнике говорится в старинном предании, которое я очень люблю.

— Это место считается роковым для рода Рэвенсвудов, — отозвался Эдгар, — и я не могу не согла-

ситься с этим: здесь я впервые увидел мисс Эштон и здесь же должен навеки проститься с нею.

Яркий румянец, выступивший на щеках Люси при первых словах Рэвенсвуда, сменился смертельной бледностью.

— Проститься! — воскликнула она. — Что случилось, отчего вы так внезапно покидаете нас?.. Я знаю, Элис ненавидит... я хочу сказать, не любит моего отца... Она была сегодня очень странная и говорила как-то таинственно. Но я убеждена, что отец искренне благодарен вам за все, что вы сделали для нас. Позвольте мне надеяться, что мы не потеряем вашей дружбы, которой добились с таким трудом.

— О нет, мисс Эштон! Куда бы ни кинула меня судьба, что бы ни случилось со мною, я всегда останусь вашим другом, вашим искренним другом. Но надо мною тяготеет злой рок, и я должен уехать отсюда, если не хочу вместе с собою погубить и других.

— Не уезжайте! — сказала Люси и со свойственной ей простотой и сердечностью коснулась края его одежды, словно пытаясь удержать его. — Не покидайте нас! Мой отец — влиятельный человек, у него много могущественных друзей. Позвольте же ему на деле доказать вам свою благодарность. Я знаю, он уже хлопочет за вас в Тайном совете.

— Возможно, — гордо ответил Рэвенсвуд, — но не стараниям вашего отца, мисс Эштон, а лишь собственным усилиям я хочу быть обязан успехом на избранном мною поприще. А там мне нужны только плащ и шпага, смелое сердце и твердая рука.

Люси закрыла лицо ладонями и, сама того не желая, горько разрыдалась.

— Простите меня; — сказал Рэвенсвуд, взяв ее за руку, которую она после минутного колебания оставила ему, продолжая другой рукой закрывать себе лицо, — простите меня, я слишком груб, слишком невоспитан, слишком неотесан для такого кроткого и нежного существа, как вы. Забудьте мрачное видение, явившееся на вашем пути, и позвольте мне идти своей дорогой, а я... После разлуки с вами большее несчастье меня уже не может ожидать.

Люси все еще плакала, но слезы ее были уже не столь горькими. Чем больше причин называл Рэвенсвуд, доказывая необходимость немедленного отъезда, тем яснее становилось, что на самом деле он был бы рад остаться. В конце концов, вместо того чтобы проститься с Люси, он поклялся ей в вечной любви и услышал ответное признание. Все это произошло так внезапно, слова любви прозвучали так неожиданно, что, прежде чем Рэвенсвуд успел опомниться, нежный поцелуй и пламенные объятия скрепили взаимную клятву.

— Теперь, — произнес Рэвенсвуд после минутного колебания, — я обязан говорить с сэром Уильямом Эштоном. Он должен знать, что мы любим друг друга. Пусть никто не скажет, что, живя под его кровом, я тайно похитил сердце его дочери.

— Говорить с отцом! — нерешительно повторила Люси. — О нет, не делайте этого! — прибавила она мягко. — Подождите, пока решится ваша судьба, упрочится ваше положение в свете и определятся ваши намерения. Я знаю, отец расположен к вам, я уверена — он даст согласие на наш брак, но моя мать...

Люси остановилась: ей было совестно признаться, что сэр Эштон не посмеет дать ответа, не испросив предварительного мнения супруги.

— Ваша мать, Люси? — удивился Рэвенсвуд. — Леди Эштон происходит из дома Дугласов, а они даже в пору наивысшего расцвета охотно роднились с моим семейством. Что может она возразить против меня?

— Я не говорю — возразить... — ответила Люси. — Но она очень ревностно относится к своим правам. Она скажет, что ей, как матери, в таком деле принадлежит первое слово.

— Пусть так, — возразил Рэвенсвуд, — но хотя до Лондона и не близко, однако можно, отправив туда письмо, через две недели получить ответ. Я не стану требовать от лорда-хранителя немедленного решения.

— Но, может быть, лучше подождать... подождать несколько недель до возвращения леди Эштон? Когда

матушка познакомится с вами и поближе узнает вас, я уверена, она одобрит мой выбор. Но вы совсем незнакомы, и потом эта древняя вражда между нашими семьями...

Рэвенсвуд устремил на Люси пристальный взгляд, словно желая проникнуть ей в душу.

— Люси, — сказал он, — ради вас я нарушил страшную клятву, отказавшись от планов мести, которые долго вынашивал в своем сердце. Я принес эту жертву вашей красоте, еще не зная вас. В ночь после погребения отца я отрезал у себя прядь волос и, предав ее огню, дал зарок мстить его врагам и преследовать их, пока моя злоба не испепелит их как огонь и не развеет их прах.

— Какой грех давать такую клятву! — прошептала Люси, бледнея.

— Да, грех, — ответил Рэвенсвуд, — но было бы еще большим грехом исполнить эту клятву. Ради вас я отрекся от преступных замыслов, хотя вначале сам не сознавал, что было тому причиной, и только увидев вас снова, я понял, как велика ваша власть надо мной.

— Зачем вы вспоминаете об этом сейчас? Зачем говорите мне о ненависти, когда только что говорили о любви, заставив поверить искренности вашего чувства?

— Я хочу, чтобы вы знали, какой ценой я плачу за вашу любовь и что я вправе рассчитывать на вашу верность. Я не говорю, что принес вам в жертву честь нашего рода, последнее оставшееся нам достояние, я не говорю этого и не думаю так, но, что скрывать, люди будут обвинять меня.

— Так вот какова ваша любовь! О, как жестоко вы поступили со мной! Но еще не поздно: если наше обручение роняет вашу честь, я возвращаю вам слово. Будем считать, что между нами ничего не было сказано. Забудьте меня. Я тоже постараюсь забыть вас.

— Вы несправедливы ко мне, Люси! Клянусь всеми святыми, вы несправедливы ко мне. Если я упомянул о том, какой ценой приобрел я вашу любовь, то лишь для того, чтобы доказать вам, как она дорога

мне, и скрепить наши клятвы еще более крепкими узами. Вы должны знать, от чего я отрекся ради права называть вас своею и как буду страдать, если вы покинете меня!

— А почему я должна покинуть вас? Что дает вам право подозревать меня в неверности? Неужели моя просьба отложить объяснение с отцом? Я дам вам любые клятвы, Эдгар. В них нет нужды, но, если это может развеять ваши подозрения, я готова.

Рэвенсвуд каялся, молил о прощении и даже опустился на колени, стараясь загладить свою вину. И Люси, столь же добрая, сколь и прямодушная, простила ему обидные сомнения. Эта случайная ссора кончилась тем, что влюбленные обменялись залогом верности — обычай, доньше сохранившийся в народе: переломив золотой, от которого отказалась Элис, они разделили его между собой.

— Клянусь никогда не расставаться с этим залогом любви, — сказала Люси и, обвязав лентой половинку монеты, надела ее на шею, прикрыв сверху платком. — Разве что Эдгар Рэвенсвуд потребует обратно свой дар. Но пока я ношу его у себя на груди, мое сердце не будет принадлежать никому другому.

Рэвенсвуд тоже произнес торжественные заверения, пряча вторую половинку поближе к сердцу. Тут они заметили, что за разговором время промчалось незаметно, а их долгое отсутствие могло вызвать неудовольствие, а возможно, даже тревогу в замке. Они встали и только собрались покинуть источник, явившийся безмолвным свидетелем их взаимных клятв, как вдруг в воздухе просвистела стрела и вонзилась в вóрона, сидевшего на сухой ветке соседнего дуба. Птица пролетела несколько ярдов и упала к ногам Люси, обрызгав кровью ее платье.

Люси вскрикнула, а Рэвенсвуд, пораженный и разгневанный, огляделся кругом, отыскивая стрелка, так неожиданно и некстати показавшего им свое искусство. Тот не заставил себя долго ждать и тотчас сам явился перед ними. Это был Генри Эштон, выбежавший из чащи с луком в руке.

— Я знал, что напугаю вас, — расхохотался мальчик, — вы так увлеклись разговором, что ничего не слышали. Жаль, что птица не шлепнулась вам на голову! О чем это Рэвенсвуд говорил с тобой, Люси?

— Я говорил вашей сестре, что вы суший бездельник: заставляете дожидаться вас столько времени, — ответил за Люси Рэвенсвуд, чтобы дать ей время оправиться от смущения.

— А зачем вам было ждать меня? Я же сказал вам, что собираюсь с Норманом в обход Гейберрийского участка, и просил вас проводить мою сестрицу домой. Мы ходили не меньше часу, не пропустили ни одного оленьего следа, ни одной отметинки, а вы, ленивый пентюх, прохлаждались тут подле Люси.

— Пусть так, мистер Генри, — перебил его Рэвенсвуд. — Но как вы оправдаетесь передо мною в убийстве вóрона? Вам известно, что вóроны находятся под особым покровительством лордов Рэвенсвудов, и убить одну из этих птиц в присутствии Рэвенсвуда — значит накликать беду? Вас следовало бы примерно наказать.

— Так и Норман говорит. Он провожал меня сюда и, когда мы были на расстоянии выстрела от вас, заметил вóрона и сказал, что никогда не видел его так близко от человека. Норман говорит — это не к добру, потому что ворон — ручные, конечно, не в счет — самая дикая птица. Тогда я подкрался поближе и... з-з-з... спустил тетиву — и вот попал! Что, разве плохой выстрел? А ведь я почти не стрелял из самострела — раз десять, не больше.

— Отличный выстрел, — подтвердил Рэвенсвуд. — Из вас выйдет прекрасный лучник, если вы будете упражняться.

— Так и Норман говорит. Да, я не виноват, что мало стреляю из лука. Будь моя воля, я бы его из рук не выпускал. Только отец и учитель не очень-то довольны, да и мисс Люси туда же, дуется, хотя сама способна целый день просидеть у колодца, любезничая с красивым молодым человеком. Можете мне поверить: я раз двадцать заставлял ее за этим занятием.

При этих словах мальчишка взглянул на сестру и внезапно заметил, что его злословие действительно задевает ее, хотя не понимал, почему и как больно он ее ранит.

— Ладно, Люси, не печалься! Если я сказал что-нибудь лишнее, могу взять свои слова обратно. К тому же какое мастеру Рэвенсвуду дело до твоих поклонников, будь их у тебя хоть целая сотня.

Вначале Рэвенсвуду очень не понравились эти речи, но, как человек благоразумный, он принял их за пустую болтовню избалованного мальчишки, который, желая уязвить сестру, ищет местечко почувствовать себя сильнее. Хотя Эдгар не легко поддавался новым впечатлениям, так же неохотно он расставался и со старыми. Вздорные шутки Генри заронили в его сердце подозрение. Что, если его помолвка принесет ему одно унижение? Что, если его, как это делали с поверженным врагом на триумфе в Риме, сначала выставят напоказ, а затем повлекут прикованным к колеснице победителя, не знающего иных помыслов, кроме удовлетворения своего честолюбия? Безусловно, у него не было никаких оснований для подобных мыслей, и нельзя даже сказать, чтобы он хотя бы на мгновение отнесся к ним серьезно. И разве мог он, встречаясь взглядом с чистыми лазоревыми глазами Люси, питать малейшее сомнение в искренности ее чувств! Но гордость и бедность сделали подозрительным сердце человека, которому при более счастливых обстоятельствах было бы недоступно столь низкое чувство.

Когда они достигли замка, то увидели, что сам сэр Уильям Эштон, встревоженный их слишком долгим отсутствием, вышел им навстречу.

— Если бы мою дочь, — сказал он, — сопровождал другой человек, не доказавший столь блестящим образом свою готовность защищать ее от опасности, я бы очень беспокоился и, наверно, уже послал бы слуг на розыски. Но в обществе мастера Рэвенсвуда, я уверен, ей ничто не грозит.

Люси начала было оправдываться, но, чувствуя себя виноватой, смешалась и замолкла. Рэвенсвуд, пытаясь выручить ее, хотел привести какую-нибудь

важную причину опоздания, но тотчас запутался, подобно тому, как человек, вытаскивая товарища из трясины, нередко увязает сам. Трудно предположить, чтобы смущение наших влюбленных ускользнуло от зорких глаз искусного юриста, имевшего обыкновение, как в силу привычки, так и по роду своих занятий, исследовать все уголки человеческого сердца. Но сейчас он предпочел ничего не замечать. Он хотел связать Рэвенсвуда по рукам и ногам, самому же остаться совершенно свободным. Он ни разу даже не подумал, что его дочь может нарушить все его планы, влюбившись в молодого человека, которому, по замыслу лорда-хранителя, она должна была вскружить голову. «Впрочем, — рассуждал он сам с собой, — если Люси увлечется Рэвенсвудом, а леди Эштон решительно воспротивится этому браку, можно будет съездить с девочкой в Эдинбург или даже в Лондон, подарить ей мантилью из брюссельских кружев и найти любезных кавалеров. Их сладкие речи быстро изгладят из ее памяти образ человека, о котором ей лучше будет позабыть». Таковы были те меры, к которым лорд-хранитель собирался прибегнуть в случае неудачи, а так как он был почти уверен в благополучном исходе своего предприятия, то скорее поощрял, нежели осуждал мимолетную, как ему казалось, склонность дочери к Рэвенсвуду. К тому же, пока молодые люди гуляли в парке, он получил письмо, с которым спешил теперь ознакомить Рэвенсвуда.

Как раз в это самое утро скороход доставил лорду-хранителю письмо от приятеля, упомянутого нами выше, того самого, который, не жалея сил, тайком сколачивал партию патриотов под предводительством самого страшного противника сэра Уильяма, деятельного и честолюбивого маркиза Э***. Этот весьма полезный приятель немало преуспел в переговорах с сэром Эштоном: не то чтобы он добился от хитрого вельможи благосклонного ответа, но, во всяком случае, был выслушан им со вниманием. Когда он доложил об этом маркизу, тот ответил старинной французской поговоркой: «Château qui parle, et femme qui

écoute, l'un et l'autre va se rendre». ¹ Государственный деятель, молча выслушивающий предложение о смене правительства, по мнению маркиза, мало чем отличался от замка, вступившего в переговоры с неприятелем, или красавицы, внимающей словам любви. Маркиз решил ускорить захват крепости, именуемой лордом — хранителем печати.

Поэтому к посланию друга и союзника маркиза Э*** было приложено его собственное письмо, в котором он откровенно предлагал без всяких церемоний заехать в замок Рэвенсвуд. Друзья как раз направлялись на юг страны и могли ехать туда любой дорогой; трактиры были отвратительны; с одним из путешественников сэра Эштон состоял в давней дружбе, с другим, хотя и находился в менее близких отношениях, был, однако, достаточно знаком, чтобы это посещение не вызвало подозрений и не дало пищи для пересудов тем, кто пожелал бы приписать его политическим интригам. Сэр Эштон ответил немедленным согласием, однако про себя он решил не делать ни единого шагу далее, чем того потребует *разум*, под каковым лорд-хранитель понимал собственные интересы.

Два обстоятельства были ему особенно на руку: присутствие Рэвенсвуда и отсутствие супруги. Пользуясь пребыванием Рэвенсвуда в его доме, лорд-хранитель надеялся предупредить всякую возможность опасных враждебных действий со стороны молодого человека, которые тот мог бы предпринять против него под покровительством маркиза. С другой стороны, теперь, когда он намеревался прибегнуть к тактике промедления и оттяжек, Люси подходила ему как хозяйка дома куда больше, чем ее гордая, своенравная мать, которая, несомненно, постаралась бы расстроить его политические планы. Он принялся уговаривать Рэвенсвуда остаться до приезда родственника и без труда преуспел в этом, так как после объяснения у источника Сирены молодой человек

¹ Замок, вступающий в переговоры, и женщина, выслушивающая признание в любви, весьма близки к тому, чтобы сдаться (*франц.*).

уже не испытывал желания немедленно покинуть замок. А Люси и Локхард получили указание заняться — каждый в своих пределах — необходимыми приготовлениями для приема гостей с таким блеском и роскошью, какие по тем временам были совершенно необычны для Шотландии.

Глава XXI

Морал

Сэр, там ждет вельможа,
Прибывший только что.

Оверрич

Вести немедля
И делать, что скажу я...
Готова ль музыка, как я велел,
Его приветствовать?

*«Новый способ платить
старые долги»*

Несмотря на все свое благоразумие, обширные юридические познания и богатый жизненный опыт, сэр Уильям обладал некоторыми такими чертами характера, которые скорее были под стать трусливому и вкрадчивому выскочке, пробивающему себе дорогу в свете, чем могущественному сановнику, каким он теперь стал; эти черты изобличали врожденную мелочность ума, хотя и изрядно образованного, и плебейскую сущность души, хотя и тщательно скрываемую. Он любил окружать себя роскошью, но не потому, что в силу привычки роскошь сделалась для него необходимостью, а скорее потому, что для него она все еще имела прелесть новизны. Он сам входил во все хозяйственные подробности, и Люси вскоре пришлось увидеть, как краска стыда заливает щеки Рэвенсвуда всякий раз, когда ее отец принимается в его присутствии обсуждать с Локхардом или даже с экономкой такие мелочи, на которые в знатных домах не принято обращать внимания, ибо считается, что они сами собой разумеются.

— Я охотно извиняю волнение сэра Уильяма, — сказал однажды вечером Рэвенсвуд, когда лорд-хранитель вышел из комнаты. — Посещение маркиза — большая честь, и ею нужно дорожить. Но, должен сознаться, я устал от этих мелочных забот по поводу буфетной, кладовой, чуть ли не птичьего двора, — они просто нестерпимы. Право, я предпочитаю бедность «Волчьей скалы» богатству замка Рэвенсвуд.

— Однако, — возразила Люси, — только обращая внимание на все эти мелочи, отец и приобрел те владения...

— ...которые мои предки потеряли, потому что не обращали на них внимания, — докончил за нее Рэвенсвуд. — Пусть так! И все-таки, носильщик всегда останется только носильщиком, даже если за плечами у него мешок с золотом.

Люси вздохнула. Она ясно видела, что ее возлюбленный презирует манеры и привычки ее отца — ее лучшего друга и покровителя, чья нежная любовь столько раз утешала ее, вознаграждая за неласковое, пренебрежительное отношение матери.

Вскоре молодые люди убедились, что на этом разногласия их не кончаются. В те смутные годы религия, этот величайший источник мира на земле, была так дурно и ложно понимаема, что ее обряды и догматы оказались предметом нескончаемых споров и жесточайших распрей. Лорд-хранитель, принадлежавший к партии вигов, само собой разумеется, исповедовал пресвитерианство и время от времени находил нужным проявлять даже больше рвения к делам своей церкви, чем, быть может, действительно чувствовал. Его дети, конечно, были воспитаны в той же вере. Рэвенсвуд, как известно, принадлежал к Высокой, или епископальной, церкви. Он не упускал случая указать Люси на фанатизм ее единоверцев, а она, со своей стороны, хотя и не говорила об этом прямо, но давала почувствовать, что ей ненавистно вольнодумство, которое она привыкла считать неотъемлемым свойством англиканской церкви.

По мере того как молодые люди ближе узнавали друг друга, любовь их не только не уменьшалась,

но, напротив, все больше усиливалась, однако к их чувствам примешивалась некоторая горечь. Несмотря на всю свою любовь к Рэвенсвуду, Люси испытывала перед ним какой-то страх. Он обладал душой более возвышенной, более гордой, чем все те люди, с кем ей до сих пор приходилось встречаться; его мысли отличались большей страстностью и свободой, и он открыто презирал многие понятия, в которых она была воспитана. Со своей стороны, Рэвенсвуд видел, что у Люси крайне мягкий, уступчивый нрав и что она легко поддается — по крайней мере ему так казалось — влиянию окружающей ее родни. Он чувствовал, что ему нужна жена с более твердым характером, способная идти с ним рука об руку навстречу бурям так же смело, как и при попутном ветре. Но Люси так искренне была ему предана, она была так прелестна, так нежна и добра, что, как ни хотелось ему видеть в ней больше твердости и решимости, как ни сердился он порой на нее, видя ее чрезмерный страх, что любовь их может открыться до времени, — он тем не менее чувствовал, что ее мягкость, порою граничившая со слабостью, делает ему еще дороже это существо, отдавшее себя под его покровительство и вверившее ему свою судьбу на радость и горе. Словом, его чувства к Люси в такие минуты вполне можно было описать прекрасными словами нашей бессмертной Джоанны Бейли:

О ты, нежнейшее создание,
Которое когда-либо цеплялось
Побегами своими за скалу,
Прильнешь ли ты ко мне? Я — грубый, жесткий,
Но полюби меня, и я отвечу
Тебе всем сердцем, честным и правдивым,
Хоть знаю, что совсем не подхожу
К столь нежному и кроткому созданию.

Таким образом, самое различие их характеров, казалось, должно было в какой-то мере упрочить их любовь. Возможно, узнай они друг друга раньше, прежде чем в порыве страсти связали себя неруши-

мой клятвой верности, Люси, быть может, страшась Рэвенсвуда, никогда бы его не полюбила, а он, со своей стороны, приняв мягкость и податливость ее характера за недостаток ума, счел бы ее недостойной своего внимания. Но они поклялись любить друг друга, и Люси теперь боялась только одного — чтобы ее гордый возлюбленный не раскаялся в данном им обете, а Рэвенсвуд — чтобы в его отсутствие или в случае возможных препятствий покорная Люси, поддавшись уговорам и настояниям своих близких, не отреклась от данного ему слова.

— Ваши опасения напрасны, — сказала она однажды, когда он, случайно проговорившись, высказал ей свои сомнения. — Зеркало, что отражает на своей поверхности один предмет за другим, сделано из твердых материалов: стекла или стали; а вот мягкий воск навеки сохранит отпечаток дотронувшейся до него руки.

— Это поэзия, Люси, — ответил Рэвенсвуд, — в поэзии же много вымысла, а иногда и лжи.

— В таком случае позвольте мне сказать вам честной прозой, — возразила Люси, — что хотя я никогда не выйду замуж без согласия родителей, но никакая сила, никакие уговоры не заставят меня отдать руку другому, если только вы сами не откажетесь от ваших прав на меня.

У влюбленных было много времени для подобных разговоров. Генри редко досаждал им своим присутствием. Если он не сидел за уроками, с величайшей неохотой слушая учителя, то наслаждался обществом лесников или конюхов, с удовольствием внимая их наставлениям. Что же касается лорда-хранителя, то он проводил утро в кабинете, просматривая корреспонденцию, с тревогой обдумывая разного рода известия, поступавшие со всех концов страны, касательно ожидаемых изменений в шотландской политике, взвешивая силы партий, готовящихся принять участие в борьбе за власть. Остальное время дня он занимался тем, что отдавал, отменял и вновь отдавал распоряжения, делая необходимые приготовления

к приему маркиза Э***, приезд которого уже дважды откладывался из-за каких-то весьма важных обстоятельств.

Поглощенный этими разнообразными политическими и хозяйственными занятиями, он, по-видимому, не замечал, что его дочь и Рэвенсвуд стали неразлучны. Зато соседи, которым всегда до всего есть дело, заметили это и осуждали опрометчивого отца, допускавшего чрезмерную близость между молодыми людьми. Легкомыслие сэра Уильяма можно было оправдать только тем, что он предназначал их друг для друга. На самом же деле он стремился лишь выиграть время, пока не выяснится, как далеко простирается интерес маркиза к делам молодого родственника и что, в сущности, тот сможет сделать для Эдгара. До выяснения же этих двух вопросов лорд-хранитель твердо решил любыми средствами сохранить за собою свободу действий. Но, подобно многим коварным людям, он горько обманулся в своих расчетах.

Среди лиц, особенно сурово порицавших сэра Уильяма Эштона за то, что он позволяет Рэвенсвуду так долго жить в его доме и ухаживать за мисс Люси, был новый лэрд Гернингтон и его верный оруженосец и собутыльник, уже известные читателю как Хейстон из Бакло и его приятель капитан Крайнгельт. Бакло наконец получил в наследство огромное имение своей зажившейся двоюродной бабки и значительный капитал в придачу; он тотчас выкупил родовое поместье (по имени которого продолжал называть себя), хотя капитан Крайнгельт и предлагал ему выгоднейший способ помещения денег в финансовое предприятие некоего Лоу, слух о котором как раз докатился до Англии, и предлагал немедленно отправиться для этой цели в Париж. Но Бакло извлек из своих несчастий полезный урок и, несмотря на все усилия Крайнгельта, оставался глух к его предложениям, не имея ни малейшего намерения рисковать недавно обретенной независимостью. Тот, кому пришлось утолять голод овсяными лепешками, а жажду — прокисшим вином, — заявил он, — кто вынужден

был спать в тайнике замка «Волчья скала», тот на всю жизнь научился ценить хороший стол и мягкую постель и уж наверняка постарается впредь не нуждаться в чужом гостеприимстве.

Итак, на первых порах надежды Крайгенгельта нагреть руки на богатстве Бакло не увенчались успехом. Тем не менее он извлек немало выгод из счастливой судьбы своего приятеля. Бакло, никогда не отличавшийся особой щепетильностью в выборе друзей, привязался к Крайгенгельту; к тому же капитан развлекал его — с ним можно было вместе посмеяться какой-нибудь забавной шутке, а то при случае и над ним самим. Ради личной выгоды капитан готов был стерпеть, как говорится, «и тычок и щелчок», знал толк во всевозможных играх и в охоте, а если лэрду приходила благая мысль распить бутылочку (что случалось довольно часто) — охотно разделял его общество, избавляя от тягостного удела напиваться в одиночестве. Благодаря этим своим достоинствам Крайгенгельт подолгу, чуть ли не безвыездно, гащивал в Гернингтоне.

Ничего хорошего от их сближения нельзя было ожидать. Правда, Бакло, как никто другой, знал характер своего приятеля и испытывал к нему величайшее презрение, что, возможно, несколько уменьшило бы дурные последствия этой дружбы. Но при сложившихся обстоятельствах общение со столь дурным человеком расшатало в Бакло те добрые начала, которые были заложены в нем от природы.

Крайгенгельт не забыл, с каким презрением Рэвенсвуд сорвал с него личину храбрости и честности, и, мечтая отомстить ему за обиду, не подвергая себя при этом опасности, этот трусливый, но хитрый и коварный негодяй старался внушить Бакло злобные чувства к его недавнему другу. Он не упускал случая напомнить Бакло об отказе Рэвенсвуда принять его вызов и всячески пытался убедить своего покровителя в том, что ему нанесено бесчестье и что необходимо требовать от Рэвенсвуда удовлетворения, пока наконец Бакло решительнейшим образом не приказал ему замолчать.

— Согласен, — сказал он, — Рэвенсвуд поступил со мной не как джентльмен. Он не имел права довольствоваться словесным ответом, в то время как я требовал от него удовлетворения. Но он спас мне однажды жизнь, и теперь мы квиты. Если он заденет меня еще раз, я открою новый счет, и уж тогда его милости лучше поостеречься!

— Еще бы! — поддакнул Крайгенгельт. — Ставлю полдюжины бордо, что если вы будете упражняться, то уложите его на третьем ударе.

— Вы или ничего не понимаете в этом деле, Крайгенгельт, или никогда не видели, как он фехтует.

— Это я-то ничего не понимаю? Да вы смеетесь надо мной! Правда, я не видел, как фехтует ваш хваленый Рэвенсвуд, но я, к слову сказать, учился у мосье Сагуна, первого *maitre d'armes*¹ в Париже; и у синьора Поко во Флоренции, у мейнгера Дурхштоссена в Вене! И видел, как они владеют шпагой!

— Не знаю, где вы там учились, — ответил Бакло. — Да и учились ли вообще? Впрочем, если и учились, то что из этого?

— А то, что, будь я проклят, Бакло, если когда-либо видел француза, итальянца или голландца, фехтовавшего лучше вас!

— Вы, конечно, лжете, Крайги: но я и вправду смогу постоять за себя! Я владею рапирой, шпагой, саблей, мечом, кинжалом и палашем. А что еще можно требовать от джентльмена?!

— Ну, в таком случае девяносто девять шотландцев из ста не знают и половины того, что вы. Эти увальни, научившись нескольким приемам, считают, что в совершенстве изучили благородное искусство фехтования. Однажды в Руане в тысяча шестьсот девяносто пятом году я отправился в оперу вместе с шевалье де Шапо, и там мы встретили трех собак Круглоголовых, трех англичан, которые...

— Ваша история длинная? — бесцеремонно перебил его Бакло.

¹ Учителя фехтования (франц.).

— Это как вам будет угодно, — подобострастно ответил приживал. — Мы с ними расправились быстро.

— Ну, так и рассказывайте побыстрее. А какая это история — веселая или серьезная?

— Чертовски серьезная; уверяю вас, им не поздоровилось: Шапо и я...

— Ну, так и слушать не стоит! Налейте-ка лучше стакан бордо из запасов моей покойной тетушки, упокой господь ее душу, и, как говорят добрые шотландцы: *skioch doch na skiaill*.¹

— Вот точь-в-точь так же говаривал и сэр Эван Дху, когда мы с ним воевали в тысяча шестьсот восемьдесят девятом году: «Крайгенгельт, — говорил он, — вы храбрый солдат, но у вас есть один недостаток...»

— Ну, знай он вас, как я, он нашел бы их еще двадцать. Однако к черту все ваши рассказы. Провозглашайте тост.

Крайгенгельт встал, подошел на цыпочках к двери, выглянул и, убедившись, что никого поблизости нет, тщательно ее затворил; затем он возвратился к столу, надел набекрень обшитую золотым позументом шляпу и, взяв в одну руку стакан, а другую приложив к эфесу шпаги, произнес:

— За здоровье нашего короля, что по ту сторону моря!

— Послушайте, капитан Крайгенгельт! — воскликнул Бакло. — Я не собираюсь излагать вам свои мысли по этому поводу: я слишком чту память моей достойной тетушки леди Гернингтон, чтобы пожертвовать ее земли и доходы на заговор против законных властей. Когда король Иаков прибудет в Эдинбург во главе тридцатитысячного войска, тогда я сообщу вам, что я думаю о его праве на престол. Но я не такой дурак, чтобы лезть в петлю и рисковать своим состоянием. Так что, ежели вам охота салютовать шпагой и подымать бокал, предлагая мятежные тосты, ищите себе другое место и другого приятеля.

¹ Не порть попойки проповедью (шотланд).

— Ну-ну,— примирительно сказал Крайгенгельт,— провозгласите тост сами, а за мною дело не станет: с вами я готов выпить хоть бездонную бочку.

— Мой тост стоит того, дружище,— заявил Бакло.— За здоровье мисс Люси Эштон! Что вы на это скажете?

— Согласен! — воскликнул капитан, поднимая бокал.— Самая красивая девушка во всем Лотиане. Очень жаль, что этот старый интриган, окаянный виг, ее папаша, отдает ее за какую-то голь перекатную, за нищего спесивца Рэвенсуда.

— Ну, это еще неизвестно,— сказал Бакло таким тоном, что, несмотря на все его видимое равнодушие, Крайгенгельт взглянул на него с жадным любопытством: по-видимому, капитан надеялся удостоиться доверия своего покровителя и, узнав его тайну, сделаться ему тем самым необходимым,— стоило ли довольствоваться ролью приживала, которого едва терпят, если хитростью и усердием он мог приобрести права на постоянную благосклонность патрона.

— А мне казалось, что это дело решенное,— сказал он, помолчав с минуту.— Они всегда вместе, и во всей округе, от Ламмерло и до Трапрэна, только и разговору, что про их свадьбу.

— Пусть себе болтают. Я-то лучше знаю. За здоровье мисс Люси Эштон!

— Я на коленях выпил бы за ее здоровье, если бы знал, что у нее хватит духу натянуть нос этому чертову гранду.

— Натянуть нос! — сердито повторил Бакло.— Попрошу вас, Крайгенгельт, никогда не употреблять таких вульгарных выражений, когда вы говорите о мисс Эштон.

— Как! Разве я сказал «натянуть нос»?.. «Сбросить», дорогой мой, клянусь Юпитером, я хотел сказать — «сбросить», — заюлил Крайгенгельт.— Надеюсь, она сбросит его, как мелкую карту в пикете, и прикупит червонного короля. Вы понимаете, кого я разумею под червонным королем? Но все-таки...

— Что — все-таки?

— Но все ж таки я точно знаю, они часами гуляют одни по полям и лесам.

— Это все дурацкие штучки ее отца: он, кажется, уже впал в детство. Ну, ничего, Люси без труда забудет эти глупости, которые ей успели вбить в голову. А теперь налейте-ка еще вина, капитан, сейчас я вас обрадую: я доверю вам тайну, посвящу вас в заговор. Для вашего друга готовятся сети — только сети самые обыкновенные.

— Речь идет о свадьбе? — воскликнул Крайгенгелт, и крайнее огорчение отразилось на его лице: он предвидел, что эта женитьба сделает его положение в Гернингтоне весьма шатким, и ему не придется благоденствовать, как в счастливые дни, пока его покровитель еще холост.

— Да, приятель, о свадьбе! Но с чего это наш доблестный воин вдруг пал духом? Куда исчез румянец с алых его щек? Для вас за этим столом всегда найдется местечко, а на столе — тарелка, а рядом с ней — стакан, и они будут полны до краев, даже если против вас ополчатся все юбки в Лотиане... Ну-ну! Уж кто-кто, а я не дам водить себя на помочах!

— Все так говорят, — вздохнул Крайгенгелт, — и мои дорогие друзья тоже; но, черт возьми, не знаю почему, только женщины меня терпеть не могут и всегда ухитряются выжить из дому еще во время медового месяца.

— Значит, надо продержаться первый месяц, а там, возможно, дослужишься и до пожизненной пенсии.

— Вот это мне никогда не удавалось, — уныло ответил бравый капитан. — Уж какими друзьями мы были с лэрдом Кэстл-Куди — прямо водой не разольешь: я ездил на его лошадях, занимал деньги у него, занимал деньги для него, приваживал его соколов, советовал, как выгоднее заключать пари, а когда ему вздумалось жениться, сосватал ему Кэти Глег, в которой был увсерен, насколько вообще мужчина может быть уверен в женщине. И что же? Не прошло и двух недель после свадьбы, как она, словно по накатанной дорожке, выпроводила меня за ворота.

— Успокойтесь,— рассмеялся Бакло,— я, кажется, непохож на Кэстл-Куди, а Люси — на вашу Кэти Глег. Впрочем, нравится вам это или нет, я от своего намерения не отступлюсь. Сейчас меня интересует другое: хотите помочь мне в этом деле?

— Помочь вам! — воскликнул Крайгенгельт. — Да для вас, лучшего из людей, самого дорогого моего друга, я готов босым обежать весь свет. Назовите только — что, где, когда и как надо сделать, и нет той службы, какую я не сослужил бы вам.

— Ну, так вам придется проскакать для меня двести миль.

— Хоть тысячу! Какой же это труд?! Мне это ничего не стоит! Сейчас же велю оседлать коня.

— Подождите. Выслушайте прежде, куда и зачем вас посылают. Я, кажется, говорил вам, что у меня в Нортумберленде есть родственница, некая леди Бленкенсоп. В то время как я был наг и нищ, я имел несчастье потерять ее расположение. Но с тех пор как фортуна начала мне улыбаться вновь, дражайшая леди любезно обратила ко мне свой лик.

— Черт побери всех этих лицемерных потаскух! — воскликнул капитан трагическим тоном. — Вот Джон Крайгенгельт, так это настоящий друг, в счастье и в несчастье, в бедности и в довольстве; вы это знаете, Бакло.

— Я ничего не забыл, Крайгенгельт. Как же! Я прекрасно помню, что, когда я попал в тиски, вы пытались упечь меня в солдаты не то к французскому королю, не то к претенденту; к тому же, разумея — вам это, конечно, было известно, — что старуха Гернингтон дышит на ладан, вы не отказались ссудить мне несколько золотых. Ну-ну, не хмурьтесь, Крайгенгельт: я не сомневаюсь, что вы меня по-своему любите, это уж моя беда, если мне сейчас больше не с кем посоветоваться. Впрочем, возвратимся к леди Бленкенсоп; вы, вероятно, знаете, что она очень дружна с герцогиней Сарой.

— Вот как! Дружна с Салли Дженингс! Хороша же ваша тетушка!

— Помолчите и поберегите для другого раза ваши торийские глупости, — остановил его Бакло. — Так вот, я говорю, эта самая моя родственница познакомилась у герцогини Марлборо с леди Эштон, женой лорда-хранителя, или, лучше сказать, леди — хранительницей лорда-хранителя. На обратном пути из Лондона она удостоила визитом леди Бленкенсоп и сейчас гостит у нее в замке на берегах Уансбека. Ну, и так как у этих высокопоставленных леди не принято считаться с мнением мужа в семейных делах, то им заблагорассудилось, не осведомившись о намерениях сэра Уильяма Эштона, обсудить вопрос о браке между Люси Эштон и вашим покорным слугой. Леди Эштон выступила как полномочный представитель дочери и мужа, а тетюшка Бленкенсоп без моего ведома защищала мои интересы. Можете себе представить, каково было мое удивление, когда в один прекрасный день мне сообщили, что брачный договор, который в некоторой степени меня касается, почти заключен, прежде чем я дал на то свое согласие.

— Ловко! Только это не по правилам игры! — воскликнул Крайгенгельт. — Ну, и что же вы ответили?

— В первую минуту решил послать к чертям и договор и старых хрычовок-свах, чтобы не совали нос не в свое дело, ну а потом рассмеялся и, поразмыслив, пришел к заключению, что мне предлагают выгодную и вполне подходящую партию.

— По-моему, вы только однажды видели свою невесту... да и то в маске. Вы, кажется, сами мне об этом говорили.

— Ну и что же?! Она мне тогда очень понравилась. Я не забуду, как Рэвенсвуд обошелся со мною... выгнал из замка и отправил обедать с лакеями, потому что он, дескать, принимал в своей нищей норе лорда — хранителя печати и его дочь. Будь я проклят, если не отплачу ему за эту обиду. Я сыграю с ним шутку похлеще.

— Так и надо! Молодец, — просиял Крайгенгельт, видя, что дело принимает приятный для него обо-

рот. — Если вы отобьете у него красотку, он же лопнет со злости!

— Едва ли, — усмехнулся Бакло. — Его сердце подчинено рассудку и закалено философией — штука, о которой нам с вами, Крайгенгельт, слава богу, ничего не известно. Но я нанесу удар его гордости, а мне только это и нужно.

— Постойте! — воскликнул капитан. — Теперь я понимаю, почему он так непристойно выпроводил вас из своей полуразвалившейся башни. Вы думаете, он стыдился вашего общества? Ничего подобного! Он просто боялся соперничать с вами.

— Вы думаете, Крайги? Нет, черт возьми! Он гораздо красивее меня!

— Кто — он? — возмутился приживал. — Да он черен, как висельник. Рост у него, конечно, хороший, но, по мне, лучше, когда мужчина не так высок, но зато дороден и бел лицом.

— Чумы на вас нет, Крайгенгельт, — прервал его Бакло, — да и я хорош: развесил уши. Будь я горбат, вы, верно, заявили бы, что горб — лучшее украшение мужчины. Ну, а что касается Рэвенсвуда... Он тогда не посчитался со мной, а теперь я не посчитаюсь с ним, и, если мне удастся отбить у него Люси Эштон, я отобью ее.

— Отбить? В два счета. Ваши козыри, пик — раз, пик — два, три — делаем капот. Все взятки ваши.

— Уймите ваше картежное красноречие, Крайги, — остановил его приятель. — Сватовство уже изрядно продвинулось. Во всяком случае, я принял предложение своей родственницы, договорился о приданом, вдовьей доле наследства в случае моей смерти и обо всем прочем. Все решится окончательно, как только леди Эштон возвратится домой. Известно, что она полностью распоряжается и дочерью и сыном. А пока высокочтимые леди просят прислать им доверенное лицо с необходимыми бумагами.

— Клянусь этим вином, ради вас я готов скакать на край света! Хоть до стен Иерихона! Хоть до престола самого пресвитера Иоанна!

— Охотно верю, Крайги, что вы не откажетесь помочь мне в моих делах, в особенности если рассчитываете при этом выгодно устроить свои. Конечно, этот пакет можно бы отправить с кем угодно, но в этом деле у меня на вас особые виды. Постарайтесь в разговоре с леди Эштон как бы невзначай упомянуть о том, что Рэвенсвуд гостит у лорда-хранителя и часто видится с Люси. Вверните, между прочим, что все кругом только и говорят о визите маркиза Э***, которого ждут, чтобы огласить помолвку ее дочери с Рэвенсвудом. Мне очень важно знать, как посмотрит на их шашни леди Эштон. Я не хочу, черт возьми, браться за это дело, если Рэвенсвуд сможет обскакать меня: у него и так много шансов.

— Ну, что вы, мисс Эштон слишком умна... Я в этом убежден, и потому еще раз за ее здоровье. Будь у меня время, я осушил бы кубок, стоя на коленях, а если нашелся бы негодяй, который отказался бы поддержать мой тост, я заставил бы его проглотить собственный язык.

— Потихе, Крайгенгельт, вы попадете в общество знатных леди, — наставительно сказал Бакло. — Пожалуйста, попридержите язык и не поминайте черта на каждом слове. Впрочем, я напишу им, что вы человек грубоватый и неотесанный.

— Да, да, — закивал Крайгенгельт, — простой, грубоватый, но честный и прямотдушный воин.

— Ну, насчет вашей честности и воинских доблестей позвольте усомниться. Но как бы там ни было, а вы мне нужны: необходимо пришпорить леди Эштон.

— Не беспокойтесь! — воскликнул капитан. — Я ее так подхлестну — прискачет сюда галопом, как корова, что мчится, задравши хвост, спасаясь от слепней.

— Да, вот еще что, Крайгенгельт, — продолжал Бакло. — Ваши сапоги и камзол достаточно хороши для трактира, но в гостиную в таком виде войти нельзя. Пожалуйста, обзаведитесь чем-нибудь попрличнее. Вот деньги на расходы.

— Ну, знаете, Бакло... Клянусь честью, вы меня обижаете. Впрочем, — добавил Крайгенгельт, опуская

деньги в карман, — раз вам так хочется... пожалуй-ста... я покоряюсь.

— Итак, на коня и в путь, как только будет готово платье. Можете взять гнедую кобылу, черт с вами, дарю ее вам.

— Пью за удачный исход моего посольства! — провозгласил довольный эmissар, опрокидывая в рот содержимое кружки, вмещавшей не меньше полпинты.

— Спасибо, Крайги. Налейте-ка и мне. Бояться нам нечего. Разве что отец или дочь вздумают заупрямиться. Но говорят, леди Эштон вертит ими, как хочет. Да, будьте осторожны и не оскорбите ее нестати сказанной похвалой якобитам.

— Да, да, она ведь сторонница вигов, приятельница Салли Марлборо. Ну, я, слава богу, не фанатик и, когда нужно, могу служить под любым знаменем. Я сражался в армии Джона Черчила не хуже, чем в войсках нашего Данди или у герцога Берика.

— Вот тут я охотно вам верю, Крайги, — сказал хозяин дома. — Не откажите в любезности спуститься в погреб и притащить бутылочку бургундского тысяча шестьсот семьдесят восьмого года. Оно в четвертой ячейке справа. Знаете что, Крайги, пировать так пировать! Тащите уж полдюжины. Ей богу! Мы сегодня повеселимся всласть!

Глава XXII

Увидели зеленых молодцов
И четверней упряжку.

«Герцог против герцога»

Получив новое платье, Крайгенгельт отправился выполнять возложенное на него поручение. Усердно погоняя коня, он быстро совершил свое путешествие и ловко устроил дела патрона, вполне оправдав его доверие. Как доверенное лицо мистера Хейстона Бакло, Крайгенгельт был принят обеими дамами на редкость любезно, ибо, заранее расположенные к не-

знакомцу, они, как это часто бывает, находили, по крайней мере в первое время, достоинства в его недостатках и совершенства в его пороках. Хотя леди Эштон и леди Бленкенсоп привыкли к хорошему обществу, они во что бы то ни стало желали видеть в друге мистера Хейстона. любезного, отлично воспитанного джентльмена и вполне в этом преуспели. Правда, Крайгенгельт был теперь превосходно одет, что, конечно, имело немалое значение. К тому же благородные дамы приписывали его наглый тон честному простодушию солдата, его бахвальство принимали за храбрость, а его дерзости — за острословие. Однако, дабы читатель не обвинил нас в нарушении правдоподобия, так же как и ради оправдания досточтимых леди, мы считаем своим долгом присокупить, что их проницательный ум был в то время несколько притуплен, а чувство благосклонности, напротив, обострено, ибо по счастливой случайности Крайгенгельт явился как раз в тот момент, когда им недоставало партнера для партии в триктрак, в какой игре, как, впрочем, и во всех других, наш бравый капитан то ли благодаря умению, то ли благодаря удаче считался непревзойденным.

Убедившись в благосклонности хозяйки дома и ее высокопоставленной гостью, Крайгенгельт принялся хлопотать о делах своего покровителя. Задача была не слишком трудной, ибо леди Эштон чрезвычайно доброжелательно относилась к этому браку, предложенному леди Бленкенсоп отчасти из добрых чувств к родственнику, отчасти же из любви к сватовству. По мнению леди Эштон, Бакло вполне подходил для ее «ламмермурской пастушки», тем более что он, как утверждали, уже избавился от своих расточительных привычек. Этот брак обеспечивал Люси прекрасное состояние и мужа — достойного сельского джентльмена. Леди Эштон считала, что в этом случае судьба ее дочери была бы устроена самым приличным образом. К тому же, унаследовав поместье Гернингтон, Бакло приобрел значительное политическое влияние в соседнем графстве, где находились также и родовые земли Дугласов, леди же Эштон давно уже лелеяла

мысль о том, чтобы ее первенец Шолто был избран членом английского парламента от этого графства, а потому тотчас рассудила, что союз с Бакло поможет осуществить эту заветную мечту.

Крайгенгельт, отнюдь не страдавший отсутствием сообразительности, сразу понял, куда клонятся желания леди Эштон, и повел атаку в нужном направлении.

— Бакло, конечно, и сам мог бы выдвинуть свою кандидатуру в парламент, — заметил он как бы невзначай, — успех обеспечен... Пройдет навверняка. У него среди избирателей два двоюродных брата, шесть дальних родственников, его собственный управляющий и камердинер — все они проголосуют по его указке. Да и другие, кто из любви, а кто из страха, отдадут свои голоса за Гернингтона. Только Бакло так же интересно лезть в первый ряд, как мне играть в подкидного дурака. Жаль, что некому помочь ему добрым советом и подсказать, как лучше употребить свое влияние.

Леди Эштон внимательно и благосклонно выслушала слова капитана, втайне решив взять на себя заботу о том, как распорядиться политическим влиянием будущего зятя и повести дело в интересах своего первенца Шолто, а также и других заинтересованных лиц.

Убедившись, что ее светлость уже достаточно разгорячена, капитан решил, как сказал Бакло, дать шпоры. Он сообщил о положении дел в замке Рэвенсвуд и, упомянув о длительном пребывании там наследника этого имени, пересказал все слухи, ходившие на этот счет среди соседей (хотя, черт возьми, он, Крайгенгельт, не придавал им никакого значения! — в планы капитана не входило проявлять особое беспокойство относительно этого предмета). По раскрасневшимся щекам леди Эштон, дрогнувшему голосу и сверкающим глазам он без труда догадался, что его собеседница не на шутку встревожилась, — удар попал в цель. С некоторых пор супруг писал леди Эштон не так часто и не столь аккуратно, как она того требовала; она оставалась в полном неведе-

нии относительно всех интересных событий последних дней: ей ничего не сообщили ни о посещении лордом-хранителем башни «Волчья скала», ни о госте, которого с таким радушием принимали в замке Рэвенсвуд. Теперь обо всем этом она узнала случайно, от постороннего человека. В ее представлении подобная скрытность граничила с изменой, чуть ли не с прямым бунтом против ее супружеской власти, и в глубине души леди Эштон поклялась расправиться с лордом-хранителем, как с непокорным вассалом, замыслившим мятеж против своего сюзерена. Негодование жгло ее тем сильнее, что ей приходилось скрывать свои чувства от леди Бленкенсоп и от капитана — то есть от родственницы и от ближайшего друга Бакло, союз с которым был для нее теперь вдвойне желанным, ибо ее муж, как ей казалось в пылу раздражения, намеревался то ли из политических соображений, то ли из трусости предпочесть Рэвенсвуда ее протеже.

Капитан был достаточно опытным стратегом: он тотчас обнаружил, что шнур к подведенной им мине уже начал тлеть, а потому ничуть не был удивлен, когда в тот же день леди Эштон объявила о принятом ею решении сократить свое пребывание у леди Бленкенсоп и на заре следующего дня отправиться в Шотландию со всею быстротой, на какую можно было рассчитывать при тогдашнем состоянии дорог и медленных средствах передвижения.

Несчастный лорд-хранитель! Он и не подозревал, какая гроза несетя на него по дорогам Шотландии в старинной карете шестерней. Всецело поглощенный предстоящим визитом маркиза Э***, он, подобно дону Гайферосу, «забыл красавицу жену». Наконец пришло долгожданное известие, что высокочтимый вельможа беспрерывно и безотлагательно окажет ему честь прибыть в Рэвенсвуд в тот же день, в час полудни. В замке поднялась невообразимая суматоха. Сэр Уильям прошел по всем комнатам, спустился в погреб, где состоялось совещание с дворецким, и даже осмелился заглянуть на кухню, рискуя навлечь на себя гнев повара, который, будучи очень важной

персоной, не желал подчиняться даже самой леди Эштон. Удостоверившись в конце концов, что приготовления к приему высокого гостя идут полным ходом, сэр Уильям вместе с Рэвенсвудом и Люси поднялся на террасу замка, откуда можно было обозревать окрестности, дабы не пропустить даже первые приметы, возвещавшие о приближении маркиза. Терраса, примыкавшая к толстой зубчатой стене, тянулась вдоль фасада на высоте второго этажа; посетители попадали во двор только через ворота, крыша которых соединялась с террасой широкой, пологой лестницей. Это сооружение придавало замку скорее вид богатого загородного дома, чем укрепленной крепости, — по-видимому, в те времена, когда лорды Рэвенсвуды строили себе жилище, они хотя и не забывали о возможности нападения, тем не менее были уже твердо уверены в своем могуществе и полной безопасности.

С террасы открывался великолепный вид на окрестности и — что в настоящих обстоятельствах было особенно важно — на две дороги, из которых одна шла на восток, а другая на запад. Спускаясь с разных сторон горного хребта, возвышающегося на горизонте, эти дороги постепенно сближались и наконец почти у самых ворот парка сходились в одну. Все взоры были устремлены на запад, откуда ждали предвестников появления маркиза: лорд-хранитель смотрел на дорогу с чувством волнения и тревоги, дочь его не спускала с нее глаз из любви к отцу, а Рэвенсвуд — из любви к дочери, хотя поведение сэра Эштона вызывало в нем тайную досаду.

Ждать пришлось недолго. Сначала во главе кортежа появились два скорохода, одетых во все белое, в черных шапочках и с длинными жезлами. Они бежали впереди кареты и всадников, искусно сохраняя предписанное этикетом расстояние. Быстро мелькающие ноги, равномерно колышущиеся тела и ровно вздымающиеся груди этих чудо-бегунов, казалось, бросали вызов усталости. В старинных пьесах часто упоминаются эти скороходы (сошлюсь хотя бы на «Свет помешался, господа» Мидлтона), да и старики

в Шотландии, наверное, еще помнят те времена, когда скороходы составляли необходимую принадлежность парадного выезда вельможи. За этими блестящими метеоритами, которые неслись с такой скоростью, словно сам ангел смерти преследовал их по пятам, показалось облако пыли, поднятое всадниками, скакавшими впереди, позади и по бокам кареты маркиза.

В те времена привилегии аристократии не были пустым звуком. Толпы одетых в ливреи лакеев, пышный выезд, внушительный, чуть ли не воинственный вид вооруженной свиты — все это подымало вельможу на недостижимую высоту по сравнению с простым лэрдом, который обычно путешествовал в сопровождении одного или, в лучшем случае, двух слуг; что же касается купцов и прочей торговой братии, то о них и говорить нечего: с равным успехом они могли бы помышлять о том, чтобы подражать королевским выездам. Нынче же все переменялось; даже я, Питер Петтисон, отправившись недавно в Эдинбург, имел честь сидеть в дилижансе, как говорится, бок о бок с английским пэром. В старину же все было совсем по-иному, и маркиз, которого столь долго и безуспешно ждали в замке, теперь приближался к нему со всей торжественностью и пышностью, какой обставляла себя аристократия былых времен. Сэр Уильям был так поглощен представшей его взору картиной и так волновался, как бы слуги не допустили какой-нибудь ошибки в церемониале торжественной встречи, что даже не расслышал восклицания сына:

— Смотрите, с другой стороны спускается еще одна карета шестерней. Неужели она тоже принадлежит маркизу?

Только когда мальчик, дернув отца за рукав, заставил его обернуться,

Тот обратил свой взор и увидел
Ужасную картину.

Не могло быть никаких сомнений: еще одна карета шестерней, в сопровождении четырех слуг, во

весь опор неслась по восточной дороге; трудно было сказать, который из двух экипажей, приближавшихся к дому с разных сторон, первым окажется у ворот. Один экипаж был зеленый, другой голубой, и никогда зеленые и голубые колесницы не возбуждали такого волнения в цирках Рима или Константинополя, какое это видение породило в душе лорда — хранителя печати. Кто не помнит, какой ужас охватил умирающего распутника, когда его приятель, пытаясь излечить несчастного от навязчивой идеи — тот уверял, что в урочный час его посещает призрак, — нарядился привидением и явился к постели больного. «Mon Dieu! — воскликнул грешник, испуская дух. — Il y en a deux!»¹

С не меньшим трепетом лорд-хранитель взирал сейчас на раздвоившуюся карету: в голове у него мутилось. В эту эпоху строжайшего этикета никто из соседей не осмелился бы явиться так бесцеремонно. Разум подсказывал ему, что то могла быть только леди Эштон. Содрогаясь от страха, он предугадывал причину столь внезапного и неожиданного возвращения. Он понимал, что «попался». Общество, в котором сейчас застанет его жена, несомненно придется ей не по вкусу. Сэру Эштону оставалась единственная надежда — положиться на присущее леди Эштон чувство приличия, которое одно лишь могло удержать ее от публичного скандала. Он был так растерян и напуган, что совершенно забыл о церемониале, придуманном им для встречи маркиза.

Страх владел не только им одним. Люси, бледная как смерть, стояла рядом с Рэвенсвудом, в отчаянии сжимая руки.

— Это она! Это мать!

— Ну, так что же? — вполголоса спросил ее Рэвенсвуд. — Отчего вы так встревожены? Мне кажется, возвращение хозяйки дома после столь долгого отсутствия должно вызывать в ее близких несколько иные чувства, чем смятение и страх.

¹ Боже мой!., Их двое! (франц.).

— Вы не знаете леди Эштон, — ответила Люси прерывающимся от ужаса голосом. — Что она скажет, встретив вас здесь!

— Очевидно, я, и в самом деле, слишком заго-стился в вашем доме, если мое присутствие может показаться леди Эштон предосудительным, — над-менно сказал Рэвенсвуд. — Милая Люси, — прибавил он ласково, желая успокоить девушку, — вы, как ма-лое дитя, боитесь леди Эштон. Она мать семейства, дама из высшего общества, женщина, превосходно знающая свет и свои обязанности по отношению к мужу и его гостям.

Люси молча покачала головой и тотчас, словно мать, которая пока еще находилась в полумиле от замка, могла увидеть и осудить ее поведение, быстро отошла от Рэвенсвуда и, опершись на руку брата, на-правилась в противоположный конец террасы. Лорд-хранитель поспешил вниз, к воротам, забыв пригласить с собой Рэвенсвуда, и, таким образом, тот остался один, покинутый и, так сказать, отвергнутый хозяе-вами замка.

Подобное обращение не могло понравиться моло-дому человеку, столь же гордому, сколь и бедному. Рэвенсвуд полагал, что, отказавшись от стародавней вражды и приняв приглашение сэра Уильяма Эштона, он тем самым оказал ему честь и был вправе рассчиты-вать на почтительное к себе отношение.

«Я могу извинить Люси, — думал он, — она еще очень молода, застенчива и чувствует себя виноватой, обручившись со мной без согласия матери. Все же ей следовало бы помнить, кому она дала слово, и не заставлять меня думать, что она стыдится своего вы-бора. Что же касается лорда-хранителя, то он, зави-дев карету леди Эштон, совершенно растерялся, даже изменился в лице. Посмотрим, чем все это кончится: если замечу, что я здесь лишний, то немедленно уеду отсюда».

Погруженный в эти размышления, Эдгар спустил-ся с террасы и, пройдя в конюшню, приказал осед-лать свою лошадь, чтобы в случае необходимости немедленно покинуть замок.

Между тем кучера обеих карет, приближение которых вызвало такое смятение в замке, наконец заметили друг друга и сообразили, что, спускаясь различными дорогами, они стремятся к общей цели — к центральной аллее парка. Леди Эштон, намереваясь объясниться с мужем до прибытия гостей, кто бы они ни были, приказала скакать во весь опор. Увидев, что противник натягивает поводья, возница маркиза, не желавший ронять собственное достоинство и честь своего господина, решил, как и подобало истинному представителю этой корпорации во все времена и у всех народов, не уступать пальму первенства. К ужасу лорда-хранителя, это соперничество возниц, которые, мрачно пожирая друг друга глазами и яростно орудуя кнутом, мчались с горы со все увеличивающейся скоростью, сокращало и без того уже ничтожное число минут, еще остававшихся ему на размышление.

Единственное, что могло спасти сэра Эштона, — это столкновение карет, при котором либо жена его, либо маркиз сломали бы себе шею. Мы не беремся утверждать, что сэр Эштон всенепременно желал этого, но, если бы несчастье произошло, он, надо полагать, недолго оставался бы безутешен. Как бы то ни было, но судьба судила иначе. Хотя леди Эштон никого и ничего не боялась, она все же понимала, в какое смешное положение она себя ставит, стремясь опередить знатного гостя у ворот собственного замка, а потому, подъезжая к аллее, распорядилась сдержать лошадей, пропустив вперед чужой экипаж. Кучер охотно выполнил это указание, последовавшее как раз вовремя, чтобы спасти его честь, ибо лошади маркиза были лучше или, во всяком случае, свежее его коней. Итак, он убавил шаг, и зеленая карета вместе со всем эскортом с быстротою вихря первая влетела в аллею. Но как только разодетый возница маркиза убедился, что *pas d'avance*¹ осталось за ним, он тоже поехал медленнее, и экипаж маркиза, сопровождаемый многочисленной свитой, торжественно покатыл к замку по обсаженной вязами

¹ Поле боя (франц.).

аллее. Карета леди Эштон на некотором расстоянии медленно следовала за ним.

подавив в себе страх и смущение, сэр Уильям Эштон вместе с младшим сыном и дочерью ждал гостя у ворот, ведущих во внутренний двор замка; несколько поодаль стояли его многочисленные слуги всех рангов, одни — в ливреях, другие в обычном платье. В те времена знать и дворянство Шотландии окружали себя неимоверным количеством челяди: труд дешево стоил в стране, где рабочих рук было куда больше, чем работы.

Люди, вышколенные подобно лорду-хранителю, прекрасно владеют собой и умеют казаться невозмутимыми даже при самом неблагоприятном стечении обстоятельств. Поэтому, когда маркиз вышел из кареты, сэр Эштон встретил его с отменной учтивостью и, проводив в большой зал, выразил надежду, что гость остался доволен путешествием. Маркиз был высокого роста и хорошо сложен. В его умных, пронизательных глазах горел огонь честолюбия, заменявший живость молодости: лицо имело смелое, гордое выражение, правда несколько смягченное привычной осторожностью и желанием приобрести популярность, вполне естественным для главы политической партии. Он любезно отвечал на любезные вопросы хозяина, который со всей надлежащей церемонией подвел гостя к мисс Эштон. И тут лорд-хранитель обнаружил, чем на самом деле были заняты его мысли: представляя дочь маркизу, он назвал ее — «моя жена, леди Эштон».

Люси вспыхнула; маркиз не мог скрыть удивления при виде столь юной хозяйки дома, а лорд-хранитель, заставив себя побороть смущение, принялся объяснять причину этой странной оговорки:

— Простите, милорд, я хотел сказать: моя дочь — мисс Эштон. Дело в том, что экипаж леди Эштон только что въехал в аллею вслед за вашей каретой, и...

— Не стоит извинений, милорд, — ответил гость. — Поспешите же навстречу вашей супруге, а я тем временем короче познакомлюсь с вашей прелестной

дочерью. Мне, право, совестно, что мои слуги опередили хозяйку у ворот ее собственного дома, но, как известно вашей милости, я полагал, что леди Эштон еще на юге. Сделайте одолжение, милорд, не церемоньтесь, идите встречать жену.

Именно этого и добивался сэр Уильям, а потому, не теряя ни минуты, воспользовался любезным разрешением маркиза. В глубине души он надеялся, что леди Эштон, сорвав свой гнев на нем, милостиво согласится принять его гостей и соблюсти необходимые приличия.

Карета остановилась, и внимательнейший из мужей с готовностью предложил жене руку. Однако, не удостоив склонившегося перед ней супруга даже взглядом, леди Эштон оттолкнула его и обратилась за помощью к капитану Крайнгельту, который, сопровождая ее в качестве *cavalier servant*,¹ теперь стоял у кареты с непокрытой головой. Опираясь на руку этого почтенного джентльмена, леди Эштон миновала двор, отдав по пути несколько приказаний слугам, но так и не сказав ни слова сэру Уильяму, хотя он всячески старался обратить на себя ее внимание. Она даже не позволила ему идти рядом с собой, а заставила плестись следом. В зале они застали маркиза, оживленно беседующего с Рэвенсвудом; Люси, воспользовавшись первым предложением, скрылась. Все, кроме маркиза, казались крайне смущенными; даже Крайнгельт, несмотря на всю свою наглость, не сумел скрыть страха при виде Рэвенсвуда; что же касается остальных, то они живейшим образом ощущали всю неловкость того положения, в котором неожиданно для себя оказались.

Так и не дождавшись, чтобы сэр Уильям представил его жене, маркиз решил наконец сделать это сам.

— Лорд-хранитель, — сказал он, любезно склоняясь перед леди Эштон, — только что, представляя меня вашей дочери, по ошибке назвал ее женой. Я бы не удивился, если бы он обмолвился вторично, назвав вас дочерью. Вы совсем не изменились за эти

¹ Кавалера (итал.).

несколько лет, что прошли со времени последней нашей встречи. Надеюсь, леди Эштон не откажет в благосклонном приеме старому знакомому.

Маркиз был уверен, что леди Эштон не позволит себе ответить грубостью на его учтивые слова и, несколько помедлив, продолжал:

— Миледи, я прибыл сюда в качестве примирителя и потому прошу позволения представить вам моего молодого родственника, мастера Рэвенсвуда.

Леди Эштон поневоле пришлось присесть перед Рэвенсвудом, но она проделала это с таким высокомерным и пренебрежительным видом, что ее реверанс был равнозначен грубому отказу. Рэвенсвуду также пришлось ответить на приветствие, и он холодно кивнул головой, воздав презрением за презрение.

— Позвольте и мне, милорд, — обратилась леди Эштон к маркизу, — представить вашей милости моего друга.

Крайгенгельт тотчас разлетелся к маркизу и с развязностью, которую люди его толка принимают за приятное обхождение, отвесил поклон, описав при этом в воздухе большой круг украшенной золотым позументом шляпой.

— Сэр Уильям, — продолжала леди Эштон, впервые обращаясь к мужу, — за время нашей разлуки мы с вами, как видно, приобрели новых знакомых. Итак, позвольте мне представить вам одного из тех, кто увеличил число моих друзей: капитан Крайгенгельт.

Снова поклон и большой круг расшитой позументом шляпой. Лорд-хранитель милостиво ответил на приветствие капитана, словно никогда не видал его ранее, стараясь всем своим видом дать понять, что жаждет мира между враждующими сторонами и забвения былых обид.

— Позвольте познакомить вас с мастером Рэвенсвудом, — сказал он Крайгенгельту, решив и далее следовать взятой на себя роли миротворца.

Но Эдгар, гордо выпрямившись, не удостоил капитана взглядом и ответил с подчеркнутой холодностью:

— Мы с капитаном давние знакомые.

— Давние... давние, — словно эхо отозвался капитан упавшим голосом. Его шляпа снова описала круг, но на этот раз гораздо меньший, чем тот, каким он почтил маркиза и лорда-хранителя.

В это мгновение в зал вошел Локхард в сопровождении трех слуг, несущих вина и закуски, которые, по тогдашнему обычаю, предшествовали обеду. Как только угощение было подано, леди Эштон попросила позволения покинуть гостей на несколько минут, дабы обсудить с мужем одно неотложное дело. Маркиз, разумеется, просил ее оставить все церемонии и ни в чем себя не стеснять. Что же касается Крайгенгельта, то он, осушив поспешно два стакана канарского, также предпочел удалиться, ибо перспектива остаться в обществе маркиза и Рэвенсвуда отнюдь его не прельщала: первый внушал ему почтительный страх, а второй заставлял дрожать от ужаса. Бравый капитан тотчас обратился в бегство, сославшись на необходимость присмотреть за лошадьми и вещами, хотя леди Эштон строго-настрого приказала Локхарду окружить Крайгенгельта особым вниманием и позаботиться о том, чтобы он ни в чем не испытывал недостатка. Таким образом, маркиз и его молодой родственник остались в зале одни и могли обсудить оказанный им прием.

Между тем леди Эштон направилась на свою половину, а сэр Эштон с видом приговоренного к казни преступника последовал за ней.

Войдя в спальню, леди Эштон дала волю ярости, которую до сих пор с трудом сдерживала из уважения к приличиям. Пропустив вперед оробевшего лорда-хранителя, она заперла за ним дверь, вынула ключ, обратила к мужу лицо, все еще не утратившее своей гордой прелести, и, сверкая полными злобной решимости глазами, набросилась на ошеломленного сэра Уильяма:

— Я несколько не удивлена, милорд, что за время моего отсутствия вы завели весьма странные знакомства. Они вполне соответствуют вашему низкому рождению и воспитанию. Я заблуждалась, ожидая от

вас много поведения, и признаю, что заслужила постигшее меня разочарование.

— Дорогая леди Эштон, дорогая моя Элеонора, — сказал лорд-хранитель, — будьте же благоразумны. Выслушайте меня, и вы убедитесь, что я действовал, соблюдая честь, равно как и интересы моего семейства.

— О да, не спору, интересы вашего семейства вы способны блюсти, — возразила разгневанная супруга. — Вы способны заботиться даже о чести *вашего* семейства, хотя в этом, кажется, нет особой необходимости. Но так как, к несчастью, честь моего рода неразрывно связана с вашим, то не взыщите, если я хочу позаботиться о ней сама.

— Чего вы хотите, леди Эштон? Чем вы недовольны? Почему, не успев войти в дом после столь долгого отсутствия, вы обрушиваете на меня все эти обвинения?

— Почему? Спросите у своей совести, сэр Уильям. Спросите себя, что заставило вас изменить своей партии и политическим убеждениям, почему вы вздумали выдать замуж свою единственную дочь за разорившегося, нищего якобита, да к тому же еще и закланного врага вашего рода?

— Помилуйте, сударыня, не мог же я, вопреки здравому смыслу и приличиям, выгнать из моего дома человека буквально на другой день после того, как он спас жизнь моей дочери и мне?

— Спас жизнь? Слышала я эту историю. Лорд — хранитель печати испугался соловой коровы, а убившего ее бездельника принял за Гая из Уорика. Этак любой мясник из Хэддингтона будет притязать на ваше гостеприимство.

— Леди Эштон, — пробормотал сэр Уильям, — это невыносимо. Ведь я готов на все, лишь бы успокоить вас. Скажите только, чего вы хотите.

— Возвратитесь к вашим гостям, — приказала властолюбивая матрона, — извинитесь перед Рэвенсвудом и скажите ему, что вы не можете долее держать его у себя в замке, так как к вам пожаловал капи-

тан Крайгенгельт и другие гости. Кстати, я действительно жду мистера Хейстона Бакло.

— Помилосердствуйте, сударыня! — взмолился лорд-хранитель. — Как можно! Чтобы Рэвенсвуд уступил место Крайгенгельту! Отъявленному картежнику и доносчику! Я едва удержался, чтобы не выгнать этого молодчика из замка, и, признаюсь, был крайне удивлен, увидев его в вашей свите.

— Раз я удостоила его этой чести, — ответила покорнейшая из супругов, — вы можете не сомневаться в его порядочности. Что же касается этого Рэвенсвуда, то с ним поступают точно так же, как он — я об этом имею верные сведения — поступил с одним из моих уважаемых друзей, не так давно имевшим несчастье пользоваться его гостеприимством. Впрочем, выбирайте: или Рэвенсвуд уедет отсюда, или уеду я.

Удрученный и испуганный, сэр Уильям несколько раз прошелся по комнате; страх, стыд и возмущение боролись в нем с привычкой во всем уступать своей дражайшей половине; наконец, как в подобных обстоятельствах всегда поступают трусливые люди, он решил прибегнуть к *mezzo termine*, то есть к полумерам.

— Я скажу вам прямо, сударыня, что не хочу и не могу обойтись с Рэвенсвудом так неучтиво, как велите вы: он этого не заслужил. Если вам угодно безрассудно оскорблять дворянина в вашем собственном доме, не в моих силах помешать вам в этом. Но служить орудием такого ни с чем не сообразного поступка я не намерен.

— Не намерены?

— Нет, клянусь небом, — решительно заявил сэр Эштон. — Я готов исполнить любое требование, не противоречащее общепринятым приличиям, скажем — прекратить знакомство постепенно... или что-нибудь в таком роде... Но выгнать Рэвенсвуда из замка — нет, на это я не могу и не хочу согласиться.

— В таком случае, мне и на этот раз придется поддержать честь семейства самой, как это нередко случалось и прежде.

Леди Эштон села к столу и быстро набросала несколько строк. Лорд-хранитель попытался было еще раз предостеречь жену от столь опрометчивого шага, но она отворила дверь и позвала камеристку, находившуюся в соседней комнате.

— Подумайте, что вы делаете, сударыня. Вы превращаете в смертельного врага человека, у которого вскоре не будет недостатка в средствах, чтобы вредить нам.

— Вы когда-нибудь видели, чтобы Дугласы боялись врага? — презрительно улыбнулась леди Эштон.

— Рэвенсвуд горд и злопамятен, как сотня Дугласов и сто дьяволов в придачу. Повремените хотя бы до утра.

— Ни одной минуты, — ответила леди Эштон. — Миссис Патулло, отнесите эту записку молодому Рэвенсвуду.

— Мастеру Рэвенсвуду, сударыня? — переспросила служанка.

— Пусть мастеру, если вам так больше нравится.

— Я умываю руки, — сказал лорд-хранитель. — Спускаюсь в сад посмотреть, собрал ли садовник фрукты к десерту.

— Ступайте, — промолвила леди Эштон, награждая его взглядом, полным бесконечного презрения. — Благодарите бога, что он дал вам жену, способную радеть о чести семьи с не меньшим рвением, чем вы — о яблоках и грушах.

Лорд-хранитель оставался в саду ровно столько времени, сколько, по его расчетам, нужно было, чтобы переждать, пока отбушует леди Эштон и пройдет по крайней мере первая вспышка гнева у Рэвенсвуда. Вернувшись в зал, он застал там маркиза, отдававшего распоряжения своим слугам: маркиз был явно разгневан, и когда сэр Уильям рассыпался в извинениях за свое продолжительное отсутствие, резко его прервал:

— Я полагаю, сэр Уильям, вам известна странная записка, которую ваша супруга соизволила написать *моему* родственнику Рэвенсвуду, — маркиз сделал особое ударение на слове «моему», — и вас едва ли

может удивить, что я собираюсь покинуть ваш дом. Мой родственник уже уехал, не считая нужным проститься с вами, так как все ваше прежнее гостеприимство зачеркнуто этим неслыханным оскорблением.

— Уверяю вас, милорд, — ответил сэр Уильям, принимая от маркиза записку леди Эштон, — я не причастен к этому письму, и мне неизвестно его содержание: я знаю только, что леди Эштон питает неприязнь к Рэвенсвуду и что она очень вспыльчива. Я искренне огорчен, если она чем-то обидела вашего родственника или если он обиделся на нее. Но, надеюсь, вы понимаете, что женщина...

— Должна вести себя по отношению к высокопоставленным лицам так, как подобает ее собственному высокому положению в свете, — закончил за него маркиз.

— Разумеется, милорд, — согласился бедный лорд-хранитель, — но примите во внимание, что леди Эштон все-таки женщина...

— И как таковая, мне кажется, — снова перебил его маркиз, — должна знать свои обязанности хозяйки дома. Но вот и она. Надеюсь, я узнаю из ее собственных уст, что побудило ее нанести такое неслыханное и неожиданное оскорбление моему родственнику, который, как и я, находился в гостях у ее светлости.

В эту минуту в зал действительно вошла леди Эштон. Бурное объяснение с мужем и последующий затем разговор с дочерью не помешали ей позаботиться о туалете — наряд ее был очень красив. Любезное выражение лица и величественные манеры придавали ей в эту минуту то особое величие, с каким знатная дама должна появляться в подобных случаях.

Маркиз надменно ей поклонился, и она ответила ему с равным высокомерием и холодностью. Тогда, взяв из неподвижной руки сэра Уильяма пресловутое послание, маркиз подошел к виновнице происшествия, намереваясь потребовать у нее объяснения, но она предупредила его:

— Я вижу, милорд, вы хотите начать неприятный разговор. Мне очень жаль, что подобный разговор возникает между нами, особенно сейчас, когда он может омрачить, пусть на короткое время, почтительный прием, который нам подобает оказать вашей светлости. Но таковы обстоятельства. Мистер Эдгар Рэвенсвуд, которому я адресовала эту записку, злоупотребил гостеприимством нашей семьи и доверчивостью сэра Уильяма, вырвав у молодой девушки обещание вступить с ним в брак без ведома ее родителей, которые никогда не дали бы на это свое согласие.

— Это непохоже на моего родственника! — воскликнул маркиз.

— Еще менее это похоже на мою дочь!.. — запротестовал лорд-хранитель.

Но леди Эштон перебила их обоих:

— Ваш родственник, милорд, если мистер Рэвенсвуд действительно имеет честь быть таковым, попытался тайком овладеть сердцем юного и неопытного создания. А ваша дочь, сэр Уильям, была столь глупа, что позволила себе поощрять домогательства этого совершенно неподходящего поклонника.

— Если это все, сударыня, что вы собирались сообщить нам, — гневно воскликнул лорд-хранитель, изменяя своей обычной осторожности и сдержанности, — то вам лучше было бы помолчать и не предавать огласке семейную тайну.

— Простите меня, сэр Уильям, — спокойно ответила леди Эштон, — но милорд вправе знать причину, заставившую меня отказать от дома джентльмену, которого он называет своим родственником.

— Эта причина, — воскликнул разгневанный лорд-хранитель, — если в ней есть хоть крупица правды, явилась уже потом. Тогда, когда вы писали вашу записку Рэвенсвуду, вам ничего еще не было известно.

— Я впервые слышу обо всем этом, — сказал маркиз. — Но поскольку вы сами затронули такой щекотливый вопрос, миледи, то позвольте мне сказать: происхождение и положение в свете моего родственника обязывали вас выслушать его предложе-

ние и отказать ему в приличной форме, даже если он дерзнул поднять взоры на дочь сэра Уильяма Эштона.

— Надеюсь, вы не забыли, милорд, что в моей дочери течет благородная кровь Дугласов.

— Ваша родословная мне хорошо известна, миледи, — сказал маркиз. — Вы происходите от младшей ветви Ангюса, а Рэвенсвуды — прошу прощения, миледи, но я вынужден напомнить вам об этом — трижды женились на девушках из старшей ветви. Право, мне достаточно хорошо известна истинная причина вашего гнева, миледи. Я понимаю, что трудно превозмочь старинные предубеждения, и готов считаться с вашими чувствами. Я только потому и не последовал за моим родственником, с позором изгнанным из вашего дома, что не теряю надежды примирить вас. Даже сейчас мне не хотелось бы доводить дело до ссоры, и потому я решил остаться здесь до вечера. Вечером же я отправлюсь вслед за Рэвенсвудом, который ждет меня в нескольких милях отсюда. Итак, постараемся обсудить это дело хладнокровно.

— Я только этого и желаю, милорд! — поспешил вмешаться сэр Уильям. — Леди Эштон, неужели мы допустим, чтобы маркиз покинул наш дом с обидой в душе! Мы должны упросить его остаться и отобедать с нами.

— Пока милорду угодно быть нашим гостем, замок и все, чем мы владеем, к его услугам, — сказала леди Эштон. — Что же касается того, чтобы продолжить этот неприятный разговор...

— Простите, миледи, — перебил ее маркиз. — Не будем принимать необдуманных решений в столь важном деле. Мне выпало счастье возобновить знакомство с леди Эштон, и я надеюсь, сударыня, вы не заставите меня рисковать вашим расположением из-за какого-то неприятного разговора. По крайней мере прежде чем вернуться к нему, позвольте мне насладиться вашим обществом. К тому же в замок, кажется, прибыли новые гости.

Леди Эштон поклонилась и, улыбнувшись, подала руку маркизу, который повел ее в столовую, галантно соблюдая правила старинного этикета, не позволявшего джентльмену брать даму под руку, как это принято на праздниках среди простонародья.

В столовой они нашли Бакло, Крайгенгельта и нескольких соседей, заранее приглашенных лордом-хранителем по случаю приезда маркиза. Мисс Эштон, сославшись на легкое недомогание, не вышла к столу. Обед был великолепен и затянулся до позднего вечера.

Глава XXIII

Хоть горек был отца удел,
Все ж лучше моего:
В изгнание друга он имел,
А я — я никого.

Уоллер

Не стану описывать гнев и негодование, которые охватили Рэвенсвуда, когда он покидал замок, некогда принадлежавший его предкам. Содержание записки леди Эштон было таково, что человек, даже менее гордый и самолюбивый, чем Рэвенсвуд, — а его нельзя было упрекнуть в недостатке этих чувств, — не остался бы у Эштонов ни минутой долее. Маркизу также была нанесена обида; однако он все еще не терял надежды примирить враждующие стороны и поэтому отпустил своего молодого родственника одного, взяв с него слово остановиться в «Лисьей норе» — маленькой харчевне, расположенной, как это, возможно, помнит любезный читатель, на полпути между замком Рэвенсвуд и «Волчьей скалой», в пяти милях от каждого из означенных мест. Маркиз предполагал встретиться с Рэвенсвудом либо в тот же вечер, либо на следующее утро. Разумеется, он также немедленно покинул бы замок, но ему не хотелось так легко отказываться от возможных выгод, которые сулил ему визит к лорду-хранителю. Впрочем, и сам Рэвенсвуд, даже в пылу жесточайшего гнева,

не собирався отрезать себе пути к примирению, надеясь на благосклонность сэра Эштона и вмешательство влиятельного родственника. Тем не менее он уехал тотчас же и значительно дальше, чем того требовали обстоятельства.

Пришпорив коня, Рэвенсвуд галопом промчался по аллее, словно быстрая скачка могла заглушить боль и утишить страдания, переполнявшие его сердце. Углубившись в глухую, уединенную часть парка, откуда за кронами деревьев уже не видны были зубцы замковых башен, он осадил коня и предался грустным размышлениям, которые так и не сумел отогнать от себя. Тропинка, по которой он ехал, вела к источнику Сирены, а оттуда к домику Элис, и юноша невольно вспомнил, что это место считалось роковым для его рода и что слепая уже однажды предостерегала его.

«Старинные предания часто говорят правду, — думал Рэвенсвуд. — Этот родник снова оказался свидетелем легкомыслия одного из Рэвенсвудов. Элис была права: я очутился в том постыдном положении, которое она мне предсказывала. Нет! Во сто крат хуже: я не только не стал родственником и союзником человека, погубившего мой род, но, жалкий неудачник, унизившись до желания породниться с ним, я получил отказ».

Мы считаем своим долгом рассказывать нашу историю так, как слышали ее сами; а эта история не была бы истинно шотландской, — примите в соображение давность описываемых событий и наклонности тех, кто сохранил ее нам в веках, — если бы в ней не нашлось места для шотландских суеверий. Вот что, согласно преданию, случилось с Рэвенсвудом у заброшенного источника: его конь, спокойно и мерно ступавший по тропинке, вдруг заартачился, захрапел, поднялся на дыбы и, несмотря на шпоры, ни за что не хотел идти вперед, словно почуял что-то страшное. Взглянув в направлении источника, Рэвенсвуд увидел женщину в белом или, скорее, дымчатом одеянии. Она сидела на том самом месте, где всего несколько дней назад Люси Эштон внимала роковым словам

любви. Первой его мыслью было, что Люси, догадавшись, какой дорогой он поедет, поспешила прийти в это памятное им обоим уединенное место, чтобы разделить горе своего возлюбленного и проститься с ним. Уверенный в этом, он соскочил с коня и, привязав его к дереву, бросился к источнику, шепча заветное имя: — Мисс Эштон! Люси!

Женщина, словно услышав его призывы, обернулась, и, к величайшему своему изумлению, Рэвенсвуд увидел перед собой совсем не Люси, а слепую Элис. Необычайный наряд ее, скорее напоминавший саван, нежели женское платье, вся ее, как ему казалось, неясно очерченная фигура, а главное, то обстоятельство, что слепая, немощная старуха повстречалась ему на таком далеком — если учесть ее недуги — расстоянии от дома, — все это наполнило сердце Рэвенсвуда неизъяснимым страхом. При его приближении старуха медленно поднялась со своего места и простерла иссохшую руку, словно приказывая ему остановиться; ее поблекшие губы зашевелились, но с них не слетело ни звука. Рэвенсвуд остановился и, подождав немного, шагнул вперед. Тогда Элис — или то была бесплотная тень ее? — устремив взгляд на Рэвенсвуда, отступила или, вернее, скользнула в чашу и вскоре скрылась за деревьями. Ноги Эдгара словно приросли к земле; с минуту он оставался недвижим, цепenea при мысли, что виденное им существо явилось к нему из другого мира. Наконец, призвав на помощь все свое мужество, он заставил себя подойти к камню, на котором только что сидела таинственная фигура: трава кругом была не примята, и, как он ни старался, ему не удалось обнаружить никаких признаков, указывающих на пребывание здесь живого человека.

Полный странных мыслей и смутных опасений, рождающихся в душе человека при встрече с явлениями, которые разум его не в силах постичь, Рэвенсвуд повернул назад, но то и дело оборачивался, словно ожидая, что видение предстанет перед ним вновь. Однако, был ли то действительно призрак или лишь игра разгоряченного, расстроенного воображения, но дух Элис не вернулся. Когда Рэвенсвуд

подошел к лошади, она была вся в мыле и дрожала, словно во власти инстинктивного страха, который, как говорят, охватывает животных в присутствии сверхъестественного существа. Рэвенсвуд сел в седло и пустил лошадь шагом; время от времени он поглаживал бедное животное, не перестававшее вздрагивать, словно за каждым поворотом ему чудился страшный призрак. Поразмыслив, Рэвенсвуд решил, что ему необходимо дознаться до истины.

«Неужели это был обман зрения? — думал он. — Нет, наваждение длилось слишком долго. Может быть, старуха только притворяется больной, рассчитывая вызвать сострадание? Однако эта женщина в белом двигалась как-то неестественно, совсем не так, как живое существо. Неужели я должен согласиться с молвой и поверить, что Элис спозналась с дьяволом! Нет, во что бы то ни стало я проникну в эту тайну. Я не поддамся обману, не поверю в мираж».

В таком настроении Рэвенсвуд подъехал к маленькой калитке, ведущей в сад Элис. Скамейка под плакучей ивой была пуста, хотя погода стояла великолепная и в небе ярко светило солнце. Он подошел к хижине, и до слуха его донеслись женский плач и причитания. Он постучал в дверь — никто не ответил. Подождав немного, Эдгар приподнял щеколду и вошел в дом. Воистину то был приют одиночества и скорби. На жалком тюфяке лежало бездыханное тело последней верной служанки Рэвенсвудов, доселе остававшейся на их родовой земле. Элис только что отошла, и девочка, ухаживавшая за нею в последние минуты жизни, ломала руки, рыдая над прахом хозяйки: детский страх мешался с подлинным большим горем.

Рэвенсвуд попытался утешить бедняжку, но его неожиданное появление испугало ее еще больше. Когда же ему наконец удалось немного успокоить девочку, она взглянула на него и сказала:

— Вы пришли слишком поздно!

Сначала Рэвенсвуд ничего не понял, однако, расспросив маленькую служанку, узнал, что, почувствовав приближение смерти, Элис послала за ним

в замок, умоляя немедленно прийти к ней, и с величайшим нетерпением ожидала от него ответа. Но гонцы бедняков медлительны и нерадивы; посыльный добрался до замка, когда Рэвенсвуда там уже не было, и, зазевавшись на роскошные экипажи гостей, не спешил с возвращением в убогую хижину. Между тем тревога умирающей возрастала с каждой минутой, и, по словам Бейби, единственной ее сиделки, старуха горячо молилась, прося бога о последнем свидании с сыном своего господина, дабы еще раз предостеречь его. Она умерла, когда часы в соседнем селении пробили два. Рэвенсвуд невольно вздрогнул: он вспомнил, что слышал бой часов в лесу за несколько мгновений до того, как ему явился — теперь он уже не сомневался в этом — призрак умершей.

Из уважения к усопшей и из жалости к испуганной девочке Рэвенсвуд счел своей обязанностью позаботиться обо всем самому. Элис, как сказала Бейби, завещала похоронить себя на уединенном кладбище, близ харчевни «Лисья нора», которое в народе называли «Пустынь». Там покоились многие Рэвенсвуды и их вассалы. По обычаю шотландских крестьян, старая служанка даже после смерти желала оставаться верной своим господам, и Эдгар решил исполнить ее желание, чего бы ему это ни стоило. Первым делом он послал Бейби в соседнее селение за женщинами, чтобы обрядить слепую; сам же остался подле тела: в Шотландии, как некогда в Фессалии, считалось крайним неуважением к памяти усопшего покинуть тело в пустом доме.

Итак, Рэвенсвуд остался подле праха той, чей беспокойный дух всего лишь четверть часа назад — если только глаза не обманули его — искал с ним встречи у источника Сирены. Несмотря на врожденную смелость, Эдгар был крайне взволнован течением столь странных обстоятельств. Мысли чередой проносились в его уме.

«Умирая, она молила небо о свидании со мной, — думал он. — Неужели страстное желание, высказанное в последнюю минуту жизни, способно побороть

смерть, и духу, уже покинувшему тело, дано вновь предстать перед человеком в своей земной оболочке? Но если это так и душа Элис могла явиться глазам моим, то почему же она не говорила со мной? Почему же не поведала то, ради чего явилась мне? Зачем было нарушать законы природы, если цель этого посещения все равно осталась для меня скрытой? Тщетные вопросы! Только смерть, которая превратит меня в такой же безжизненный, холодный прах, разрешит мои сомнения».

Эдгар встал и, не в силах более смотреть на окаменевшее лицо покойной, накрыл его платком. Отойдя от изголовья, он уселся в старинное дубовое кресло с родовым гербом Рэвенсвудов, которое Элис удалось оставить себе, когда жадная свора кредиторов, стряпчих, судебных приставов и слуг принялась грабить замок после отъезда хозяев. Эдгар старался отогнать от себя страшные предчувствия, невольно охватившие его после странной встречи в лесу. И без них на душе у него было достаточно тяжело. Давно ли он, счастливый возлюбленный Люси Эштон и уважаемый друг ее отца, гостил в замке Рэвенсвуд, а теперь, печальный и одинокий, сторожил останки нищей старухи, всеми брошенной и забытой!

Впрочем, от этой грустной обязанности его освободили значительно раньше, чем можно было ожидать, учитывая немалое расстояние от убогого жилища Элис до ближайшего селения, в особенности же возраст и многие недуги трех старух, которые прибыли, говоря языком военных, сменить Рэвенсвуда на его посту. В любом другом случае эти почтенные сивиллы не стали бы проявлять столько прыти: одной из них было за восемьдесят, другая лишь недавно поднялась после апоплексического удара, а третья хромала. Но проводить умершего в последний путь считается у шотландцев, у мужчин, равно как и у женщин, священной обязанностью. Я не знаю, объясняется ли это характером шотландского народа, его мрачностью и экзальтированностью, или же воспоминаниями об отошедших в прошлое временах католичества, когда на погребальные обряды смотрели как

на праздник для живых, — только пиры, увеселения, даже пьянство и поныне сопровождают похороны в Шотландии. И если мужчины с нетерпением ожидают погребального пиршества, то женщины получают свою долю удовольствия, наряжая покойника для гроба. Расправить окоченевшие члены на специально предназначенном для этой печальной цели ложе, облечь тело в чистое полотняное белье и шерстяной саван было почетной обязанностью местных старух, которые находили в этом занятии какое-то своеобразное мрачное удовольствие.

Три старухи, криво улыбаясь, поклонились Рэвенсвуду, и ему сразу вспомнилась встреча Макбета с тремя ведьмами на вересковой поляне у Форреса. Эдгар дал старухам немного денег, поручив позаботиться о прахе сверстницы, и они тотчас принялись за дело, попросив его удалиться и не мешать совершению обряда. Рэвенсвуд охотно подчинился обычаю, однако счел необходимым задержаться, чтобы попросить их отнестись к усопшей с должным вниманием и узнать, где найти могильщика или церковного сторожа, ведавшего заброшенным кладбищем «Пустынь», на котором, согласно последней воле бедной Элис, теперь предстояло приготовить ей место вечного успокоения.

— Да, уж ног не стопчете, искавши Джони Мордшуха, — сказала старшая подружка, растянув в улыбке беззубый рот, — он живет подле «Лисьей норы» — веселого дома, где часто бражничают и гуляют. Смерть и хмель всегда были добрыми соседями.

— Что правда, то правда, — закивала хромая и, опираясь на клюку, которой она помогала себе, когда ступала на короткую левую ногу, шагнула вперед. — Я помню, как отец вот этого Рэвенсвуда, что стоит теперь перед нами, проткнул молодого Блэкхолла: тот сказал ему что-то невпопад за стаканом вина или, может быть, бренди, кто их там разберет... Вошел в харчевню веселый, как жаворонок, а вышел ногами вперед. Меня тогда позвали обрядить тело. Как смыла кровь да как взглянула на него — такой красивый, красивее покойника и не видывала.

Не трудно догадаться, что эти малоподходящие случаю воспоминания заставили Рэвенсвуда, не мешкая, покинуть общество зловещих и злобных фурий. Однако, пока он отвязывал лошадь и подтягивал подпругу, укрепляя седло, из-за низкой изгороди маленького садика до него долетали слова, которыми обменивались хромая старуха и ее восьмидесятилетняя приятельница. Ковыляя по саду, они собирали розмарин, мяту, руту и другие ароматные травы, часть которых предназначалась для убранства тела покойной, а остальные — для курения в комнате. Параличная старуха, обессилев от долгого пути, осталась охранять прах, дабы колдуны или злые духи не причинили ему вреда.

Вот какие зловещие речи невольно услышал Рэвенсвуд.

— Взгляни, Энни Уинни, как вытянулась молоденькая цикута, — сказала хромая. — Ни одна ведьма не отказалась бы от такого коня, чтобы лететь через горы и доли, сквозь тьму или при луне, а потом опуститься прямо в погреба французского короля.

— Э, милая! — ответила другая старуха. — Нынче дьявол стал жестокосерднее самого лорда — хранителя печати и других вельмож: а уж у них в груди не сердца, а камни. Вот они считают нас ведьмами, и колют, и режут, и жгут, и ломают нам пальцы в тисках, а сколько ни читай молитву наизусть, хоть десять раз сряду, сатане все равно до нас дела нет.

— А что, Эйлси, видала ты когда-нибудь черного врага?

— Нет, наяву не приходилось, а вот во сне он мне часто являлся. Когда-нибудь меня за это сожгут. Да что там, милая! Вот золотой, который дал нам Рэвенсвуд: купим хлеба, эля, табаку, немного бренди в придачу да кусочек сахара. А там черт или не черт, а мы сегодня ночью погуляем на славу.

Дряблые щеки сморщились, и старуха отвратительно захихикала: смех ее был похож на крик филина.

— Он хороший юноша, и не жадный, этот Рэвенсвуд, — прошамкала Энни Уинни, — красивый молодой человек: в плечах широк, а в бедрах узок. Славный

будет покойничек. Вот уж кого я с удовольствием и обмою и обряжу.

— Да у него на лбу написано, что ни мужской руке, ни женской не придется касаться его после смерти и никто не будет распрямлять его тело на сосновой доске. Здесь тебе ничего не перепадет, Энни, и не найдется. Уж я-то знаю об этом из верных рук.

— Ты хочешь сказать, Эйлси, что ему уготована славная участь его предков — умереть в бою? А от чего он погибнет — от меча или от пули?

— И не допытывайся, Энни! Я тебе ничего не скажу, — отрезала вещунья. — Только не думаю, что судьба будет к нему столь милостива.

— О, я давно говорю, Эйлси Гурли, что ты здесь самая умная. А от кого ты все это знаешь?

— Не суй нос, куда не следует, Энни. Сказано тебе — из верных рук.

— Но ты же сама призналась, что никогда не видала черного ворога.

— Сказано — из верных рук. На него еще не надели первой рубашонки, а путь ему был уже предначертан.

— Тс, слышишь топот его лошади? Станный звук. Не предвещает ничего хорошего.

— Эй вы, милые, поторапливайтесь, — раздался голос параличной старухи, оставшейся в доме. — Надо ведь успеть все сделать и прочесть, что положено. Тело совсем уж одеревенело, а если мы не сможем его выпрямить — сами знаете, какая стрясется беда.

Рэвенсвуд был уже далеко и не слышал конца этой поучительной беседы. К чести его надо сказать, что он относился с величайшим презрением ко всякому колдовству, дурным предзнаменованиям и предсказаниям судьбы, хотя в то время, особенно в Шотландии, люди слепо верили во все это и даже сомнение в нечистой силе почиталось не меньшим грехом, чем неверие сарацина или еврея. Он знал также, что на несчастных старух, угнетенных годами, болезнями и нищетой, нередко падало подозрение в колдовстве и что сами они, под страхом смерти и нечеловечески

жестоких пыток, возводили на себя нелепые обвинения, которыми, к стыду нашему, испещрены страницы судебных летописей Шотландии XVII века. Однако привидение, явившееся ему в то утро, — был ли то действительно призрак или лишь обман зрения, — наполнило его суеверными мыслями, хотя он тщетно старался от них избавиться; к тому же дело, ради которого он спешил в «Лисью нору», едва ли могло развеселить его.

Ему нужно было повидать Мордшуха, кладбищенского сторожа, и договориться о похоронах. Человек этот жил недалеко от дома Элис, и, перекусив в харчевне, Эдгар отправился к печальному приюту, где предстояло покоиться праху верной служанки. Кладбище находилось в излучине быстрого, пенящегося ручья, сбегавшего с окрестных гор. В соседней скале была высечена пещера в форме креста; некогда в ней замаливал грехи какой-то пустынник, и потому всё это место называли «Пустынь». Позднее богатый Колдингемский монастырь воздвиг поблизости часовню, от которой уже ничего не осталось, кроме окружавшего ее погоста, где очень редко, в особых случаях, еще совершали захоронения. Несколько полузасохших от старости тисов росло на этой некогда священной земле. Здесь покоились воины и бароны, но имена их были забыты, а памятники разрушились; и только грубые надгробия из неотесанного камня, поставленные над могилами людей простого звания, оставались нетронутыми временем. Одинокая сторожка лепилась у полуразвалившейся стены; крыша, обильно поросшая травой, мхом и лишайником, почти касалась земли, придавая всему жилищу вид заброшенной могилы. Рэвенсвуд постучал в дверь, и ему сказали, что служитель смерти ушел на свадьбу, ибо он не только исправлял должность могильщика, но к тому же был еще и скрипачом. Эдгару ничего не оставалось, как повернуть назад, и, наказав передать сторожу, чье двойное ремесло делало его равно необходимым как в доме радости, так и в доме скорби, что зайдет к нему рано утром, он двинулся в обратный путь.

Не успел он войти в гостиницу, как туда прискакал курьер маркиза с известием, что его светлость прибудет на следующее утро; ввиду этого Рэвенсвуд, собравшийся было проследовать в свою уединенную башню, решил дожидаться родственника в «Лисьей норе» и заночевал там.

Глава XXIV

Г а м л е т. Или этот молодец не чувствует, чем он занят, что он поет, роя могилу?

Г о р а ц и о. Привычка превратила это для него в самое простое дело.

Г а м л е т. Так всегда: рука, которая мало трудится, всего чувствительнее.

«Гамлет», акт V, сц. 1¹

Рэвенсвуд провел беспокойную ночь: сон его тревожили ужасные видения, он беспрестанно просыпался, и его тотчас обступали грустные мысли о прошедшем и опасения за будущее. Вероятно, из всех путешественников, когда-либо проводивших ночь в этой жалкой конуре, он единственный не роптал поутру на скверное помещение и ужасные неудобства. Воистину, «тело просит неги, когда спокойна душа». Поднявшись чуть свет в надежде, что утренняя прохлада принесет ему облегчение, которого не дал сон, Эдгар направился к уединенному кладбищу, находившемуся в полумиле от «Лисьей норы».

Легкий голубоватый дымок, вившийся над землянкой, отличая это жилище живых от обители мертвых, означал, что сторож дома и уже встал. И точно, войдя за ограду, Рэвенсвуд увидел старика, копавшего могилу.

«Судьба, — подумал Рэвенсвуд, — словно нарочно, сталкивает меня со зрелищами смерти и печали. Но я

¹ Перевод М. Лозинского.

не поддамся ребяческим страхам; я не позволю во-
ображению взять верх над разумом».

Увидев приближавшегося к нему незнакомца, старик перестал копать и оперся на лопату, словно ожидая приказаний; тщетно прождав с минуту, он решил сам начать разговор:

— Надо полагать, вы пришли звать меня на свадьбу, сэр?

— Почему вы так думаете, любезный? — спросил Рэвенсвуд.

— Меня кормят два ремесла, сэр, — весело ответил старик, — скрипка и заступ; прибыль и убыль рода человеческого. Ну, а за тридцать лет я как-никак научился распознавать заказчика.

— На этот раз вы, однако, ошиблись, — сказал Рэвенсвуд.

— Ошибся? — удивился старик, внимательно оглядывая юношу. — Все может быть. И вправду, похоже, что за вашим большим лбом прячутся сразу две мысли: одна — о смерти, другая — о свадьбе. Что ж, сэр, лопата и заступ поработают на вас не хуже, чем смычок и скрипка.

— Я хочу поручить вам погребение старой Элис Грей. Она жила в Рэвенсвудском парке.

— Элис Грей! Слепая Элис! Померла наконец! Теперь, видно, скоро и мой черед. Помню, как Хебби Грей привез ее сюда с юга. Красивая была молодка и все смотрела на нас, северян, свысока. Ну, да годы поубавили у нее спеси. Значит, она умерла?

— Да. Вчера. Она завещала похоронить себя здесь, подле мужа. Вы ведь знаете, где он лежит?

— А кому же об этом знать? — уклончиво, как все шотландцы, ответил могильщик. — Я здесь всех знаю; знаю, где кто лежит. Так вам, значит, нужна могила для слепой Элис. Господи помилуй! Только если правда, что болтали о старухе люди, обычной могилой тут не обойдешься. Для нее нужно яму футов в шесть глубиной, не меньше, а то ее же собственные приятельницы ведьмы сорвут с нее саван и утащат на шабаш. Ну, да все равно, шесть футов или три фута, а кто, скажите на милость, мне за это заплатит?

— Я заплачу все, что следует.

— Все, что следует? Порядком же вам придется заплатить: за место — раз, за колокол — два; правда, он треснул, но это все равно, ну, потом, мне за работу, чаевые, да еще за бренди и эль на помин души. Так что, думаю, меньше, чем за шестнадцать шотландских фунтов, вам ее никак не похоронить.

— Получите, любезный. Тут даже больше, чем вы просите. Только смотрите не ошибитесь местом.

— Вы, надо полагать, ее родственник из Англии? — осведомился седовласый гробокопатель. — То-то поговаривали, что Хебби был ей неровня. Ну что ж, правильно делаете: дали ей вволю помучиться, пока была жива, а как померла, приехали похоронить прилично. Это вам честь и слава, а не ей. Конечно, пусть эти родственники при жизни справляются, как знают; пусть их сами из беды выпутываются; а вот погребение — это другое дело. Не годится хоронить человека как собаку: покойнику, конечно, все равно, а вот родне бесчестье.

— Вы, наверно, считаете, что родственникам и о свадьбах не следует забывать, — сказал Рэвенсвуд, которого немало забавляло это профессиональное человеколюбие могильщика.

Старик поднял на него серые проницательные глаза и лукаво улыбнулся, словно одобряя шутку; но тотчас спохватился и продолжал с прежней серьезностью:

— О свадьбах?.. А как же! Кто забывает о свадебных обрядах, тот не заботится о продолжении рода человеческого. Свадьбу нужно справлять весело: чтобы гостей было много и музыки побольше — чтобы и арфа была, и лютия, и волынка. Ну, а если старинные инструменты взять неоткуда, что ж, можно обойтись хорошей скрипкой да флейтой.

— И, разумеется, скрипка вполне заменит все остальное, — заметил Рэвенсвуд.

Сторож снова бросил на него лукавый взгляд.

— Еще бы... еще бы... если на ней хорошо играть. А вот и могила Хэлберта Грея, — сказал он, явно стремясь переменить разговор. — Вон тот третий

холмик от большого каменного саркофага, что стоит на шести ножках: под ним лежит один из Рэвенсвудов. Здесь их много, этих Рэвенсвудов, вместе с их вассалами, дьявол их всех побери, хотя семейный склеп у них на другом погосте.

— Вы, кажется, не очень жалуете этих Рэвенсвудов? — спросил Эдгар, которому непочтительный отзыв могильщика о его предках не доставил особого удовольствия.

— А за что их жаловать? — последовал ответ. — Когда у них в руках были земли и власть, они не умели ими пользоваться. А теперь вот попали в беду — и кому охота о них печалиться?

— Вот как! — воскликнул Рэвенсвуд. — Первый раз слышу, чтобы об этом несчастном семействе говорили здесь с такой неприязнью. Правда, они теперь бедны, но разве можно презирать их за это?

— А как же? — заявил сторож. — Возьмите хоть меня. Я человек вполне порядочный, а не скажу, чтобы люди относились ко мне с особым уважением. А вот живи я в двухэтажном каменном доме, все было бы иначе. Что же до Рэвенсвудов, то я знал их три поколения сряду, и, черт возьми, все они друг друга стоили.

— Мне казалось, они оставили по себе хорошую память, — сказал потомок этого нещадно поносимого семейства.

— Хорошую память! — подхватил могильщик. — Вот что я вам скажу, сэр: я жил на земле старого лорда еще совсем мальчишкой. Легкие у меня были тогда здоровые, и я лучше всех играл на трубе. Куда лучше Морена, что трубил для лордов во время суда. Уж его-то я легко заткнул бы за пояс вместе с его дудкой. Разве у него хватило бы духу на «Сапоги и седла» или «Кавалеры, приглашайте дам», или «По коням, ребята!»?

— Не понимаю, какое это имеет отношение к старому лорду Рэвенсвуду, любезный, — прервал его Эдгар, которому, естественно, не терпелось вернуться к основному предмету разговора. — Что общего между ним и искусством игры на волынке?

— А то, сэр, — отрезал могильщик, — что у него-то на службе я и загубил свои легкие. Я служил у него трубачом в замке: за небольшое вознаграждение должен был возвещать зорю и час обеда, играть для гостей и самого старого лорда. Ну вот, когда ему вздумалось собрать отряд милиции, чтобы драться с пустоголовыми вигами у Босуэл-бриджа, я тоже не утерпел: сел на коня да и отправился вместе с ним.

— А как же иначе? Вы были его вассалом и получали от него жалованье.

— Как вы говорите? Жалованье? Да, получал. Только за его деньги я должен был сзывать гостей к обеду, ну и в самом крайнем случае играть на похоронах; но я никогда не брался трубить сбор для их кровавой свары. Но погодите, сейчас услышите, что из всего этого вышло. Вот тогда и скажете, должен ли я восхвалять Рэвенсвудов. Ну вот, в одно прекрасное утро, двадцать четвертого июня тысяча шестьсот семьдесят девятого года, мы туда прибыли, как сейчас помню: бой барабанов, грохот выстрелов, топот и ржанье коней. Хэкстона из Рэтилета с отрядом пехоты, вооруженной мушкетами, карабинами, копьями, мечами, косами и всем, чем ни попало, отрядили охранять мост, а нам, кавалерии, приказали перебраться вброд через реку. Я вообще не люблю воды, а тут еще на другом берегу нас поджидали тысячи вооруженных до зубов людей. Старый Рэвенсвуд встал во главе отряда и, размахивая своим «Андреа Феррара», орал: «Вперед! Вперед!», словно посылал нас прогуляться по ярмарке; в арьергарде шел Кaleb Болдерстон — этот и сейчас еще жив — и клялся Гогом и Магогом набить свинцом желудок каждому, кто повернет назад; а молодой Аллан Рэвенсвуд — тогда он еще назывался мастер Рэвенсвуд — размахивал заряженным пистолетом (слава богу, что не выпалил) и кричал во всю силу своих негодных легких: «Труби, бездельник, труби же, проклятый трус! Труби, или я размозжу тебе голову!» У меня совсем дыхание сперло, но я все-таки сыграл атаку. Правда, звук получился такой, что по

сравнению с ним даже кудахтанье показалось бы музыкой.

— Нельзя ли покороче? — прервал его Рэвенсвуд.

— Покороче? Да, мне чуть жизнь не укоротили второе, чуть не оборвали ее во цвете лет, как говорится в писании. Я о том и толкую. Ну ладно, бросились мы в воду: лошади все сбились в кучу, будто обезумели от страха, да и люди тоже не лучше. С противоположного берега из-за кустов в нас стреляют виги — все кругом в огне. Наконец моя лошадь достигла берега и только ступила на землю, как вдруг огромный детина — двести лет проживу, не забуду его лица: глаза как у ястреба, бородища шириной с эту лопату — остановился в трех шагах от меня и целит мне прямо в грудь. Тут, слава богу, лошадь моя взвилась на дыбы, я упал, а пуля просвистела мимо. В ту же минуту старый лорд ударом сабли раскроил вигу череп, этот олух повалился на меня и придавил меня своей тушей.

— По-моему, вы должны быть благодарны старому лорду: он спас вам жизнь, — заметил Рэвенсвуд.

— Благодарен? За что? Сначала он втянул меня в опасное дело, а потом опрокинул на меня этого верзилу, который раздавил мне легкие. С тех пор я и стал задыхаться. Другой раз сто шагов не пройду, а уж все во мне хрипит, как у мельничной клячи.

— Из-за этого вы и потеряли место трубача в замке?

— Ну да, потерял, сами понимаете: у меня уже не хватало сил играть даже на флейте. Но ничего, мне оставили жалованье, квартиру и не донимали работой: иногда приказывали пикировать на скрипке, — в общем, все было бы не так уж плохо, если бы не Аллан, последний лорд Рэвенсвуд, который оказался во сто крат хуже своего отца...

— Неужели мой отец... — перебил его Рэвенсвуд, — то есть, я хотел сказать, неужели сын старого лорда — последний лорд Рэвенсвуд — лишил вас вспомоществования, назначенного его отцом?

— Вот именно, лишил. Он промотал свое состояние и отдал нас сэру Уильяму Эштону, а тот ничего

не дает даром. Он выгнал нас всех из замка, где таким беднякам, как я, раньше не отказывали в корке хлеба и миске супа, да к тому же всегда можно было найти угол, где приклонить голову.

— Лорд Рэвенсвуд заботился о своих людях, пока мог, — сказал Эдгар, — и, мне кажется, любезный, уж кому-кому, а его бывшим слугам не пристало поносить его имя.

— Это как вам угодно, сэр, — возразил упрямый старик. — Только меня никто не убедит в том, что лорд Рэвенсвуд исполнил свой долг, разорив себя и своих вассалов. Ведь по его милости нас выставили за ворота. А разве не мог он отдать нам в пожизненную аренду наши дома и надель? Разве это дело, чтобы в мои-то годы да с моим ревматизмом ютиться в этом склепе, который не то что живым, но и мертвым не годится; а в моем доме, где в окна настоящие стекла, благоденствует Джон Смит. И все потому, что Аллан Рэвенсвуд управлял своим имением как дурак.

— Пожалуй, вы правы, — пробормотал Рэвенсвуд, задетый за живое, — расточитель причиняет зло не только себе, но и всем вокруг.

— Впрочем, — прибавил могильщик, — молодому Эдгару с лихвой воздастся за все, что я претерпел от его семейства.

— Вот как, — удивился Рэвенсвуд. — Каким же образом?

— Говорят, он женится на дочери леди Эштон и готов отдать себя в руки ее милости. Ну, а она уж сумеет свернуть ему шею, можете не сомневаться. Не желал бы я быть на его месте; впрочем, рыбка сама так и просится в сети. Уж чего хуже, если он, забыв о чести, собирается породниться с врагами отца, которые отняли у него все родовые земли и мой славный огородик в придачу.

Сервантес справедливо заметил, что лесть приятна нам даже в устах безумца; однако похвала или порицание также не оставляют нас безучастными, даже если исходят от человека, мнения которого мы презираем, а доводы почитаем неосновательными.

Рэвенсвуд резко оборвал старика и, повторив приказание позаботиться о достойных похоронах для Элис, быстро пошел прочь. Слова могильщика камнем легли ему на сердце: сознание, что все, от самых знатных до самых ничтожных, будут осуждать его помолвку с Люси Эштон, как этот невежественный, жадный мужик, было ему нестерпимо.

— Итак, я унизился до того, что люди чернят мое имя, и тем не менее получил отказ. О Люси! Как чиста должна быть ваша любовь, как нерушимо ваше слово, чтобы вознаградить меня за тяжкое оскорбление, которым людская молва и поведение вашей матери бесчестят наследника Рэвенсвудов.

Он поднял глаза и в ту же минуту увидел перед собой маркиза Э***, который, прибыв в гостиницу и не застав там своего молодого родственника, отправился его разыскивать.

Поздоровавшись, маркиз извинился перед Эдгаром за то, что не приехал накануне.

— Я собирался покинуть замок вслед за вами, — объяснил он, — но неожиданное открытие заставило меня задержаться. Оказывается, дорогой родственник, тут замешана любовь, и хотя следовало бы попенять вам, что вы не посоветовались на этот счет со мной, как с главой рода...

— С вашего позволения, милорд, — ответил Рэвенсвуд, — я крайне благодарен вам за участие, которое вы принимаете во мне, но я позволю себе заметить, что сам являюсь главой и старшим моего рода.

— Разумеется... разумеется, — примирительно сказал маркиз, — с точки зрения геральдики и генеалогии, вы, безусловно, глава своего рода. Но я хотел сказать, что в некотором смысле вы находитесь под моим покровительством...

— Осмелюсь возразить вам, милорд, — перебил его Рэвенсвуд, и, судя по тому, каким тоном были произнесены эти слова, дружеские отношения между родственниками висели на волоске; к счастью, в эту минуту могильщик, который, тяжело дыша, все время шел за ними, вмешался в разговор, осведомившись,

не желают ли господу скрасить музыкой скучный завтрак, ожидающий их в гостинице.

— Нам не надо музыки, — резко ответил Рэвенсвуд.

— Ваша милость не знает, от чего отказывается, — заявил скрипач с навязчивостью, свойственной людям этой профессии. — Я могу сыграть вам шотландские песни: «Не хочешь ли еще разок» и «Умерла у старика кобыла» — куда лучше самого Пэтти Бирни. Прикажете только, и я мигом слетаю за скрипкой.

— Оставьте нас в покое, сэр! — оборвал маркиз.

— О, судя по выговору, ваша милость, кажется, прибыли с севера, — не отставал от них музыкант, — я могу сыграть для вас «Старину Коша», и «Муллин «Дху», и «Кумушки из Этола».

— Оставьте нас в покое, любезный, и не мешайте нам разговаривать.

— А если ваши милости принадлежат к тем, кто называет себя «честными людьми», — прибавил могильщик, понижая голос, — то я могу сыграть «Килликрэнки» или «Король возьмет свое», а то еще «Вернутся Стюарты сюда». Хозяйка гостиницы умеет держать язык за зубами; она знать не знает и ведать не ведает, какие тосты провозглашают у нее за столом и какие песни поют у нее в доме. Она ничего не слышит, кроме звона серебра.

Маркиз, которого неоднократно подозревали в тайном сочувствии якобитам, не мог сдерживать улыбки и, бросив скрипачу золотой, посоветовал ему отправиться на кухню и, коль скоро ему непременно нужны слушатели, показать свое искусство слугам.

— Что ж, джентльмены, — сказал скрипач, — честь имею кланяться. Я получил золотой — значит, тем лучше для меня; вы остались без песен — значит, тем хуже для вас. Пойду-ка кончу поскорей могилу, сменю лопату на вторую мою кормилицу и отправлюсь веселить ваших слуг: может быть, они больше любят музыку, чем их господа,

Глава XXV

О верная любовь, я знаю,
Нелегко будет жребий твой,
Богатство, спесь, причуды света
Грозят тебе борьбой.

Друзья мне часто говорили,
И сердце рассказало вновь,
Что время и причуды могут
Сгубить и верную любовь.

Хендерсон

— Теперь, когда мы избавились от этого назойливого скрипача, — начал маркиз, — я хочу сообщить вам, дорогой родственник, что пытался вести переговоры с Эштонами относительно ваших сердечных дел с их дочерью. Кстати, эту молодую особу я видал сегодня впервые, да и то мельком, поэтому, не имея возможности судить о ее достоинствах, но хорошо зная ваши, думаю, я не обижу ее, если скажу, что вы могли бы сделать лучший выбор.

— Весьма обязан вам, милорд, за участие, которое вы приняли в моих делах, — прервал его Рэвенсвуд. — Я отнюдь не собирался утруждать вас этим вопросом. Впрочем, поскольку вам стала известна моя помолвка с мисс Эштон, считаю нужным сказать, что я взвесил все доводы против брака с дочерью сэра Уильяма и если все-таки решился на такой шаг, то, следовательно, имею на это достаточно веские основания.

— Если бы вы дослушали меня до конца, мастер Рэвенсвуд, — ответил ему родственник, — ваше замечание было бы излишне, ибо, не углубляясь в причины, побудившие вас, несмотря на все обстоятельства, добиваться брака с мисс Эштон, я сам употребил все средства, — разумеется, в тех пределах, в каких считал для себя возможным, — чтобы добиться согласия ее родителей.

— Благодарю вас, милорд, за добровольное посредничество, — сказал Рэвенсвуд. — Я искренне признателен вам, ибо уверен, что, ведя переговоры, вы

не вышли за те пределы, какие я считал бы возможными для себя.

— В этом вы можете не сомневаться. Мне и самому было достаточно ясно, какое это щекотливое дело, и я, конечно, не поставил бы кровного родственника в унижительное или двусмысленное положение перед этими Эштонами. Напротив, я представил им все выгоды брака их дочери с наследником знатного и древнего рода, связанного кровными узами с первыми домами Шотландии; разъяснил им, в какой степени родства мы находимся; намекнул на предстоящие политические перемены и дал понять, в чьих руках окажутся теперь козыри. Наконец, я сказал им, что смотрю на вас как на сына или племянника, а не какого-нибудь там дальнего родственника и что ваши дела меня не менее трогают, чем мои собственные.

— Чем же окончились эти переговоры, милорд? — спросил Рэвенсвуд, сам еще не зная, сердиться ли ему на маркиза или же благодарить за вмешательство.

— Лорд-хранитель охотно склонялся к доводам разума. Он очень дорожит своим местом, а ввиду предстоящих перемен ему придется освободить его. К тому же он, по-видимому, расположен к вам, не говоря уже о том, что прекрасно понимает все выгоды этого союза. Но его супруга, у которой он под башмаком...

— Леди Эштон, милорд! — воскликнул Рэвенсвуд. — Прошу вас прямо сказать мне, чем окончились ваши переговоры. Я готов ко всему.

— Очень рад слышать это, — кивнул маркиз. — Право, мне стыдно повторить и половину того, что она говорила. Достаточно сказать — она решительно против... Начальница пансиона для благородных девиц не могла бы с большим высокомерием отказать отставному ирландскому капитану, ищущему руки единственной дочери богатого вест-индского плантатора, чем это сделала леди Эштон, отвергая ваше предложение и мое посредничество. Я отказываюсь понимать ее поступки. Другой такой блестящей партии для дочери ей никогда не представится. Что

касается денег, то ее это никогда не заботило. Такими вопросами интересуется ее муж. Мне кажется, она ненавидит вас за то, что вы обладаете титулом, которого нет у ее мужа, и не имеете состояния, которое есть у него. Впрочем, не будем продолжать этот неприятный для вас разговор. Вот и гостиница.

Из всех многочисленных щелей и трещин убогой харчевни распространялись аппетитные запахи: повара маркиза сбились с ног, чтобы приготовить достойное угощение, как говорится — устроить пир на весь мир, в этой забытой богом дыре.

— Милорд, — сказал Рэвенсвуд, останавливаясь на пороге, — вы случайно узнали тайну, в которую я пока не собирался посвящать даже вас, моего родственника, но коль скоро эта тайна, касающаяся лишь меня и еще одной особы, разглашена, я рад, что она стала известна именно вам — моему благородному родственнику и другу.

— Вы можете быть уверены в том, что я не разглашу вашей тайны, дорогой Рэвенсвуд, — ответил маркиз. — Однако, признаюсь, мне очень хотелось бы услышать, что вы отказались от мысли о брачном союзе, который так или иначе будет для вас унижительным.

— Об этом разрешите судить мне, милорд, и, будьте уверены, я сумею соблюсти свою честь и достоинство не хуже, чем любой из моих друзей. Я не вступал ни в какие отношения с сэром Уильямом или леди Эштон; я связан словом только с мисс Эштон, и дальнейшее мое поведение будет всецело зависеть от нее. Если, несмотря на мою бедность, она предпочтет меня всем богатым женихам, которых ей сватает ее родня, я сочту вполне справедливым поступиться куда менее существенным и осязательным преимуществом высокого происхождения и пожертвую давними предрассудками старинной родовой вражды. Если же мисс Эштон переменится ко мне, то, надеюсь, мои друзья не станут упоминать о постигшем меня разочаровании, врагов же я заставлю молчать.

— Хорошо сказано! — произнес маркиз. — Но, сознаюсь, я слишком ценю вас, Рэвенсвуд, чтобы не

огорчиться вашим решением. Этот сэр Уильям Эштон лет двадцать назад был ловким стряпчим и, подвизаясь в суде и в парламентских комиссиях, сумел кое-чего добиться. Он выдвинулся на дарьенском деле: заполучил верные сведения и, здраво оценив положение, вовремя сбыл с рук все имевшиеся у него акции. Но все, что он мог, он уже совершил. Ни одно правительство не купит его по той бешеной цене, какую они с женой заломили. При его нерешительности и ее наглости они продорожатся, а когда спохватятся и уступят, никто уже не даст за него и гроша. Я не хочу ничего сказать против мисс Эштон, но уверяю вас: если вы породнитесь с Эштонами, это не принесет вам ни чести, ни выгоды, разве что сэр Уильям вернет вам в виде приданого какую-то часть ваших владений. Но, поверьте, вы большего добьетесь, если рискнете обратиться в палату лордов. А я, со своей стороны, — добавил он, — готов выкурить эту лису из норы и заставить сэра Уильяма проклясть тот день, когда он отклонил даже слишком лестное для него предложение — предложение, исходившее от *меня* и касавшееся *моего* родственника.

Возможно, сам того не желая, маркиз перестался. Эдгар не мог не заметить, что его достойный родственник не столько печется об интересах и чести семьи Рэвенсвуд, сколько разобижен отказом от предложенной им, маркизом Э***, сделки. Подобное открытие не вызвало в юноше ни досады, ни удивления. Он еще раз повторил, что связан словом только с мисс Эштон, что не ждет для себя ни выгод, ни почестей от богатства и влияния ее отца и что никто не принудит его расторгнуть помолвку, разве что сама Люси этого пожелает. Наконец, Эдгар просил маркиза никогда не возобновлять этого разговора, пообещав держать его в курсе событий.

Вскоре внимание маркиза привлекли более интересные и приятные предметы. Нарочный, посланный из Эдинбурга в замок Рэвенсвуд, разыскал его в «Лисьей норе» и вручил пакет с радостными известиями. Политические планы маркиза удались как

в Лондоне, так и в Эдинбурге; власть, за которой он так гонялся, казалось, уже была у него в руках.

Между тем подали завтрак, приготовленный поварями маркиза, и, надо полагать, такой эпикуреец, как маркиз, должен был получить особое наслаждение, вкушая изысканные блюда в столь жалкой лачуге. Застольная беседа вполне соответствовала утонченным яствам, способствуя приятному расположению духа. Маркиз без умолку говорил о могуществе, ожидавшем его в недалеком будущем в результате некоторых весьма вероятных событий, и о своем намерении употребить это могущество на пользу дорогому родственнику. Рэвенсвуд, хотя и находил, что не следует так много говорить об одном и том же, тем не менее — в который уже раз! — от души поблагодарил маркиза. Вино подали отменное, сохранившее весь свой букет, несмотря на долгий путь из Эдинбурга, откуда его везли в бочонке; маркиз же, особенно в приятном обществе, имел обыкновение подолгу сидеть за столом. Поэтому отъезд отложили часа на два.

— Не беда! — заявил маркиз. — Ваш замок всего в нескольких милях отсюда, и, надеюсь, вы не откажете в гостеприимстве родственнику, как не отказали лорду — хранителю печати.

— Сэр Уильям взял мой замок приступом, — ответил Рэвенсвуд, — и, подобно многим завоевателям, очень скоро убедился, что не стоило радоваться этой победе.

— Так! Так! — сощурился маркиз, чья чопорность после усиленных возлияний несколько поубавилась. — Я вижу, без взятки от вас ничего не добьешься. Пью за здоровье красавицы, которая недавно провела ночь в вашем замке и, кажется, осталась им вполне довольна. Я не такого хрупкого сложения, как она; все же мне хотелось бы провести ночь в той самой комнате, в которой почивала она. Мне любопытно, насколько жестким должно быть ложе, чтобы любовь превратила его в мягкий пуховик.

— Вы вольны, милорд, налагать на себя любую епитимью, — улыбнулся Рэвенсвуд. — Но пожалейте моего старого слугу. Он повесится или бросится с

башни, если вы пожелаете так неожиданно. Уверю вас, в замке хоть шаром покати, и нам решительно невозможно вас принять.

В ответ на это признание маркиз заявил, что он неприхотлив и готов сносить любые неудобства, а потому остается тверд в своем решении и непременно поедет взглянуть на «Волчью скалу». Один из его предков, сказал он, пировал там вместе с Рэвенсвудом накануне Флодденской битвы, в которой оба они сложили свои головы. Волей-неволей Рэвенсвуду пришлось согласиться. Он попросил разрешения отправиться вперед, чтобы хоть как-то, насколько это было возможно в столь короткий срок и при таких неблагоприятных обстоятельствах, подготовиться к приему гостя, но маркиз не пожелал лишиться приятного общества и только позволил послать верхового с известием бедняге Болдерстону о неожиданном нашествии.

Вскоре после этого путешественники покинули гостиницу. Рэвенсвуд по просьбе маркиза пересел к нему в экипаж; в пути они короче узнали друг друга, и маркиз стал развивать смелые планы возвышения своего молодого собеседника в случае успеха предпринятой им, маркизом, политической интриги. Он предполагал послать Рэвенсвуда на континент с очень важным тайным поручением, которое можно было доверить только человеку знатному, талантливому и вполне надежному; это дело требовало от исполнителя многих достоинств, а потому оно должно было принести ему не только славу, но и богатство. Нет нужды входить в содержание и цели этого поручения, достаточно сказать, что оно сулило Рэвенсвуду многие выгоды, и он с радостью ухватился за возможность избавиться от тягостного состояния бездействия и нищеты, в котором находился, и обрести независимость и почетные обязанности.

Пока Рэвенсвуд жадно ловил каждое слово маркиза, почтившего его своим доверием, нарочный, отправленный в замок «Волчья скала», успел повидать Калеба и возвратиться с ответом. Старый слуга просил нижайше кланяться и заверить милорда, что,

насколько позволит короткий срок, «все будет приведено в надлежащий порядок и готово к приему их милостей».

Рэвенсвуду слишком хорошо был известен образ действий и склад речи старого мажордома, чтобы положиться на эти заверения. Он знал, что Калев любил поступать по примеру испанских генералов, которые, считая несовместимым со своим достоинством и честью Испании признаться в недостатке людей и боеприпасов, постоянно докладывали главнокомандующему принцу Оранскому, что их полки полностью укомплектованы и снабжены всем необходимым; результаты обмана сказались в день битвы. Ввиду этого Рэвенсвуд счел необходимым предупредить маркиза, что многообещающие заверения Калеба ни в коей мере не могут служить порукой за приличный прием.

— Вы несправедливы к себе, Рэвенсвуд, — сказал маркиз. — Или, быть может, вы хотите сделать мне приятный сюрприз? Из окна кареты я вижу яркий свет в том направлении, где, если мне не изменяет память, стоит ваш замок, и по великолепному освещению старой башни догадываюсь, какой великолепный прием нас ожидает. Помню, лет двадцать назад, когда ваш отец пригласил меня сюда на соколиную охоту, он тоже решил подшутить надо мной, что, однако, не помешало нам чудесно провести время в «Волчьей скале», не хуже, чем в любом из моих поместий.

— Боюсь, милорд, вам придется убедиться на собственном опыте, как ограничены средства нынешнего владельца некогда гостеприимного замка, — хотя излишне говорить, что он, так же как его предки, желал бы достойно принять вас. Однако я сам не знаю, чем объяснить зарево над «Волчьей скалой». В башне очень мало окон, к тому же они узкие, и часть их, расположенная в нижнем этаже, скрыта крепостной стеной. Даже праздничное освещение не может дать такого яркого света.

Однако разгадка не заставила себя долго ждать. Не прошло и минуты, как кортеж остановился, и у

двери кареты раздался голос Калеба Болдерстона, дрожащий от страха и отчаяния:

— Остановитесь, джентльмены! Остановитесь! Ни шагу дальше! Сворачивайте скорее направо! В замке пожар! Все в огне: кабинеты и залы, богатая отделка фасада и внутренних покоев, вся наша утварь, картины, шпалеры, ручные вышивки, гардины и другие украшения. Все пылает, словно бочка смолы, словно сухая солома. Сворачивайте направо, джентльмены! Умоляю вас — у Эппи Смолтраш найдется для вас приют и пища. О, горе мне! О, горе мне! Зачем я дожил до этой ночи!

Услышав об этом новом неожиданном бедствии, Рэвенсвуд остолбенел, но уже в следующее мгновение выскочил из экипажа и, наскоро простившись с маркизом, бросился вперед, к охваченному пламенем замку: огромный столб поднимался над башней, и его отражение далеко мерцало в волнах океана.

— Возьмите коня! — крикнул ему вдогонку маркиз, неприятно пораженный этим новым несчастьем, свалившимся на голову его протеже. — Где мой иноходец? Что вы стали? Вперед, в замок, — прибавил он, обращаясь к слугам. — Спасайте, что можно! Выносите мебель! Тушите пожар! Вперед! Вы трусы!! Вперед!

Слуги засуетились и, приказав Калебу указать дорогу, пришпорили коней. Но верный мажордом не торопился исполнить приказание; перекрывая шум, он закричал громким голосом:

— Остановитесь! Ни с места, джентльмены! Осадите коней, ради всего святого. Пусть пропадает наше богатство! Пощадите человеческие жизни! В погребках старой башни хранятся тридцать бочек пороха, доставленные сюда из Дюнкерка при покойном лорде. Огонь еще не проник туда, но он уже близко. Ради бога, поезжайте направо! Только направо! По эту сторону горы мы будем укрыты от гибели, потому что, если на нас посыплются камни «Волчьей скалы», ни один лекарь не сумеет спасти пострадавших.

Нетрудно понять, что после такого разъяснения маркиз и его слуги поспешили свернуть на указанную

Калемом дорогу, увлекая за собой и Рэвенсвуда, хотя тот сопротивлялся, ничего не понимая из рассказанной дворецким истории.

— Порох! — воскликнул он, схватив за полу старого слугу, тщетно пытавшегося ускользнуть от него, — какой порох! Не понимаю, откуда в замке порох и почему мне об этом ничего не известно.

— Зато я понимаю, — шепнул ему маркиз. — Я все понимаю. Ради бога, не спрашивайте больше ни о чем.

— Ну да, ну да, — подхватил Калев, который, освободившись из рук своего господина, приводил в порядок платье. — Ваша милость не откажется поверить свидетельству их светлости. Их светлость не забыли, что в год, когда умер так называемый король Уилли...

— Тс! Молчите, уважаемый, — перебил его маркиз. — Я сам дам необходимые объяснения вашему господину.

— Но почему жители Волчьей Надежды не смогли затушить пожар в самом начале? — спросил Рэвенсвуд.

— О, они, бездельники, прибежали чуть ли не всей деревней! Но я не осмелился впустить их в замок, где столько серебра и других драгоценностей.

— К черту! Бессовестный лгун, — заорал Рэвенсвуд, не помня себя от гнева, — там нет и унции...

— К тому же, — продолжал Калев, дерзко возвышая голос, чтобы заглушить слова своего хозяина, — огонь распространился очень быстро: загорелись gobelены и резная дубовая панель в парадном зале. А как только эти трусы услышали о порохе, они бросились прочь, точно крысы с тонущего корабля.

— Прошу вас, Рэвенсвуд, — снова вмешался маркиз, — не расспрашивайте его ни о чем.

— Одно только слово, милорд. Что с Мизи?

— Мизи? — переспросил Калев. — Мне некогда было думать о какой-то Мизи. Она осталась в замке и, надо думать, ждет своей горькой участи.

— Клянусь богом, я ничего не понимаю, — воскликнул Рэвенсвуд. — Как! В замке гибнет старая преданная служанка! Не удерживайте меня, милорд!

Я должен поехать в замок и убедиться воочию, так ли велика опасность, как утверждает этот болван.

— Что вы! Что вы! — закричал Калев. — Клянусь вам, Мизи жива и невредима. Я сам вывел ее из замка. Неужели я мог забыть старую женщину, с которой мы столько лет служили одним господам.

— Но минуту назад вы говорили совсем другое!

— Разве? — удивился Калев. — Я, наверно, бредил: в такую ужасную ночь не мудрено потерять рассудок. Уверяю вас, Мизи — невредима. В замке не осталось ни одной живой души. И слава богу, иначе все взлетело бы на воздух.

Лишь после многократных клятвенных заверений Калеба, Рэвенсвуд, преодолев в себе страстное желание присутствовать при страшном взрыве, которому суждено было развеять в прах последнюю цитадель его древнего рода, перестал рваться к замку и позволил увлечь себя в селение Волчья Надежда, где не только в харчевне тетушки Смолтраш, но и в доме нашего доброго знакомого, бочара, высоких гостей ожидало богатое угощение — обстоятельство, требующее от нас некоторых дополнительных объяснений.

В свое время мы забыли упомянуть о том, что Локхард, разузнав, каким образом Калев добыл припасы для обеда, которым потчевал лорда-хранителя, доложил об этом своему господину. Сэр Уильям от души посмеялся проделкам старого дворецкого и, желая доставить удовольствие Рэвенсвуду, рекомендовал Гирдера из Волчьей Надежды на должность королевского бочара, что должно было окончательно примирить его с утратой жаркого из дикой утки. Назначение Гирдера явилось приятным сюрпризом для Калеба. Спустя несколько дней после отъезда Рэвенсвуда старику понадобилось спуститься в рыбацье селение по неотложному делу. И вот как раз когда он неслышно, словно привидение, крался мимо дома бочара, опасаясь, как бы его не окликнули и не спросили о результатах обещанного ходатайства или, чего хуже, не стали бы поносить за то, что водил хозяев за нос, прельщая несбыточными надеждами, Калев

вдруг, трепеща от страха, услышал свое имя, произнесенное одновременно дискантом, альтом и басом.

— Мистер Калев! Мистер Калев! Мистер Калев Болдерстон! — зывали к нему миссис Гирдер, ее почтенная матушка и сам бочар. — Неужели вы пройдете мимо нашего дома и не зайдете к нам промочить горло: ведь мы так вам обязаны.

Калев не знал, принимать ли ему это приглашение за чистую монету или за насмешку. Предполагая наихудшее, он притворился, что ничего не слышит, и продолжал свой путь, низко надвинув на лоб старую шляпу и опустив глаза долу, словно ему вдруг непременно понадобилось пересчитать булыжники на мостовой. Однако внезапно он обнаружил, что попал в положение величественного торгового судна, которое в узком Гибралтарском проливе окружили три алжирских галиота (да простят мне благосклонные читательницы это морское сравнение).

— Не бегите от нас, мистер Болдерстон, — прошептала миссис Гирдер.

— Кто бы мог ожидать этого от старого доброго друга, — поддержала ее мать.

— Отказаться от благодарности! — присовокупил бочар. — И это от моей-то: ведь я не часто бываю торюват. Уж не обиделись ли вы на меня, мистер Болдерстон? Или нашелся негодяй, у которого повернулся язык сказать, что я не благодарен вам за место королевского бочара! Погодите, я с ним разделаюсь.

— Видите ли, дорогие мои, хорошие мои друзья... — неуверенно начал Болдерстон, еще не зная, как в действительности обстоит дело. — Стоит ли разводить церемонии? Каждый старается услужить друзьям чем может; иногда это удается, а иногда нет. Я бы предпочел никогда не слышать этих изъявлений благодарности. Терпеть их не могу.

— Ну, если бы вы только *желали* услужить мне, то не было бы вам никаких благодарностей. От меня, уж во всяком случае, — откровенно признался бочар, — уж я бы вам припомнил и гуся, и уток, и канарское, для полного счета. Доброе желание — все равно что разошедшаяся бочка, куда не *наль*ешь вина,

а вот доброе дело — это славный бочоночек, крепко сбитый, ладный да складный, в котором можно хранить вино хоть для самого короля.

— Да разве вы не слышали о грамоте, где черным по белому написано, что наш Гирдер назначен королевским бочаром? — сказала теща. — А ведь каждый, кто хоть раз пробовал набить обруч на бочку, проился на это место.

— Это я-то не слышал?! — воскликнул Калёб, который уловил наконец, куда дует ветер. — Я не слышал? — повторил он, мгновенно преображаясь; шаркающая, крадущаяся, будто вороватая, походка сменилась уверенной величественной поступью; шляпа взлетела на затылок, и из-под нее, словно солнце из-за тучи, появилось чело, сияющее всей гордостью, на какую только способна аристократия.

— Ну, конечно, слышал! Мистер Болдерстон, да не слышал! — произнесла миссис Гирдер.

— Конечно! Конечно! Кому же и слышать об этом, как не мне?! — заявил Калёб. — А потому я вас сейчас расцелую, хозяйшюка. А вам, бочар, пожелаю успеха на новом поприще. Действуйте смело: теперь вы знаете, кто ваши друзья; вам известно, что они *уже сделали* и что *еще могут* сделать для вас. Да я нарочно притворился, будто ни о чем не догадываюсь. Хотелось узнать, из какого вы теста. Ну, ничего, вы выдержали пробу.

Калёб с истинно королевским достоинством расцеловал обеих женщин и в знак покровительства милостиво коснулся твердой, как железо, ладони бочара. Затем, располагая исчерпывающими и вполне удовлетворяющими его сведениями, Калёб, само собой разумеется, без колебаний принял приглашение на торжественный обед, на который, кроме него, были званы не только все именитые люди Волчьей Надежды, но даже исконный враг мистера Болдерстона — стряпчий Дингуолл. Старый дворецкий, конечно, был самым желанным и самым почетным гостем на пиру; он так убедительно рассказывал честной компании, как вертит своим господином, а его господин — лордом-хранителем, а лорд-хранитель — Тайным сове-

том, а совет — королем, что, расходясь (а это случилось, кажется, не ранее первых петухов), гости бочара уже мнили себя вознесенными на виднейшие должности в государстве благодаря усилиям их друга и покровителя, мистера Калеба Болдерстона. За один этот вечер хитрый старик сумел не только возвратить себе былое влияние, которым пользовался как доверенное лицо могущественных баронов Рэвенсвудов, но еще более возвысился в глазах жителей Волчьей Надежды. Даже сам стряпчий — такова уж непреодолимая жажда почестей — не мог устоять перед соблазном и, улучив удобную минуту, отвел Калеба в дальний угол, чтобы поведать, конечно с должным прискорбием, о тяжком недуге секретаря шерифа.

— Отличнейший человек, неоценимый человек. Но уж очень тучен. Все мы только бранные существа... Сегодня мы здесь, а завтра нас уже нет... Когда бедняга отдаст богу душу, надо же будет заменить его кем-нибудь... И, если бы вы посодествовали мне в получении этого местечка, я бы не постоял за благодарностью. Скажем, пара перчаток, туго набитых стерлингами, а? Знаете, друг мой, надо и о себе позаботиться... И потом, мы нашли бы способ полюбовно кончить спор между этими мужланами из Волчьей Надежды и мастером Рэвенсвудом, то есть я хотел сказать, лордом Рэвенсвудом, да сохранит его господь.

В ответ Калеб только улыбнулся и, дружески пожав стряпчему руку, тотчас поспешил удалиться, остерегаясь связывать себя какими-либо обещаниями.

— Сохрани меня боже! Ну и дурни! — воскликнул Калеб, очутившись на улице и получив наконец возможность дать волю распиравшему его торжеству. — Право, чайки и олуши, летающие над Басом, и те в сто раз умнее. Да будь я сам правительственным комиссар, и то, кажется, они не могли бы больше юлить передо мной. Надо сознаться, я тоже перед ними юлил. Но стряпчий-то, стряпчий! Ха-ха-ха! Ох-хо-хо! Да, помилуй бог, надо же мне было дожить до седых волос, чтобы провести этого крючка. Секре-

тарь шерифа! Очень хорошо! У меня с этим молодчиком старые счеты, и теперь он мне заплатит сполна. Уж я заставлю его поклянчить и поклоняться, будто и в самом деле от меня зависит, дать ему место или нет. А ведь на это нет никакой надежды. Разве что мой господин наберется ума-разума и поймет, как надо жить на этом свете. Но он этого никогда не поймет.

Глава XXVI

Почему ту вершину окутало пламя
И во мраке взвиваются искры снопам?
Тот огонь, что небесную тьму озарил,
Он твое родовое гнездо разорил.

Кэмпбел

Обстоятельства, описанные в конце предыдущей главы, объясняют, почему маркиз Э*** и мастер Рэвенсвуд встретили такой радушный прием в Волчьей Надежде. Едва Калев объявил о пожаре башни, как все селение поднялось на ноги и готово было бежать на помощь. Но старый слуга тотчас охладил рвение верных вассалов, сообщив, что в подвале замка хранится порох; тогда их усердие приняло другое направление. Никогда еще в Волчьей Надежде не резали такого множества каплунов, жирных гусей и прочей домашней птицы; никогда еще не варили столько копченых окороков; никогда не пекли столько сладких пирогов, молочных оладий, овсяных лепешек, коврижек, крендельков и прочих лакомств, почти неизвестных нынешнему поколению; никогда не откупоривали столько бочонков эля и бутылок старого вина. Простой народ настуже распахнул двери перед слугами маркиза — этими предвестниками потока благодетелей, который отныне, минуя все другие города и веси Шотландии, ливнем хлынет на селение Волчья Надежда, близ Ламмермура. Пастор, помышлявший, как говорили, о месте викария соседнего прихода, человека весьма болезненного, потребовал, чтобы именитые гости остановились у него; но Калев предоставил эту честь бочару,

его жене и теще, которые буквально прыгали от радости, узнав об оказанном им предпочтении.

Не переставая низко приседать и кланяться, ослепленные хозяева повели знатных гостей к себе в дом, где все уже было готово к их приему, устроенному со всей роскошью, на какую только были способны эти простые люди; теща, служившая в молодости в замке Рэвенсвуд, имела, как она утверждала, достаточное представление о том, что требуется для их милостей, и, насколько позволяли обстоятельства, распорядилась всем наилучшим образом. Дом бочара был так просторен, что каждому из путешественников отвели отдельную комнату, куда их тотчас же и с должными церемониями проводили отдохнуть с дороги; в столовой тем временем заканчивались приготовления к роскошному ужину.

Оставшись один, Рэвенсвуд, побуждаемый тысячью различных чувств, покинул дом и, выбравшись за околицу, стал поспешно взбираться на вершину возвышавшегося за Волчьей Надеждой холма, откуда открывался вид на башню. Он хотел увидеть собственными глазами, как рухнет дом его предков. Несколько деревенских мальчишек, налюбовавшись запряженной шестерней каретой и пышной свитой маркиза, теперь из любопытства отправились посмотреть, как взорвется «Волчья скала», и Рэвенсвуд слышал, как они кричали друг другу:

— Скорее, скорее! Сейчас старая башня взлетит на воздух! Сейчас она рассыплется, как кожура печеного лука!

«И это — дети вассалов моего отца, — с возмущением подумал Рэвенсвуд, — дети людей, которые как по закону, так и из чувства благодарности обязаны следовать за нами в бой, в огонь и в воду. Гибель замка их ленных владельцев — всего лишь забавное зрелище для них».

В это мгновение он почувствовал, что кто-то дергает его за плащ.

— Что тебе надо, собака? — раздраженно крикнул Рэвенсвуд, давая волю накипевшей злости и горечи.

— Да, я собака, к тому же старая собака, — ответил Калев, ибо это был он. — Чего мне ждать, кроме брани и побоев? Но теперь мне все равно: я уж слишком старая собака, чтобы выучиться новым штукам или искать себе нового хозяина.

Между тем, достигнув вершины холма, Рэвенсвуд увидел замок. Каково же было его удивление, когда он обнаружил, что пожар уже совсем угас — и только края медленно плывущих над башней облаков были красноватого цвета, словно в них отражалось потухающее пламя.

— Башня цела! — воскликнул Рэвенсвуд. — Неужели она не взорвалась? Если в погребах хранилась хотя бы четверть того количества пороха, о котором вы говорили, взрыв был бы слышен за двадцать миль.

— Все может быть, — сдержанно ответил Калев.

— Значит, огонь не дошел до погребов?

— Все может быть, — сказал Калев тем же невозмутимым тоном.

— Послушайте, Калев, — воскликнул Рэвенсвуд, — я теряю всякое терпение! Я сам пойду в замок и взгляну, что там делается.

— Ваша милость не пойдет туда, — решительно заявил Калев.

— Не пойду? — вспыхнул Рэвенсвуд. — Кто же осмелится мне помешать?

— Я, — еще решительнее сказал Калев.

— Вы, Болдерстон? — крикнул Рэвенсвуд. — Вы, кажется, совсем уж забылись!

— Нет, ваша милость. Выслушайте меня спокойно, и вы узнаете все, как если бы сами побывали в замке. Только не гневайтесь и не выдайте себя перед этими ребятами или, чего хуже, перед маркизом, когда сойдете вниз.

— Говорите же, болван! Не смейте ничего скрывать от меня. Я должен знать все: и хорошее и дурное.

— Ничего хорошего и ничего дурного. Старая башня цела и невредима и так же пуста, как в тот день, когда вы ее оставили.

— Как, а пожар...

— Никакого пожара не было. Разве что сгорело немного торфа, да, возможно, просыпались искры из трубки старой Мизи.

— А пламя? Яркий огненный столб, который был виден за добрых десять миль?

— Пламя? Есть такая старинная пословица: «Коль ночь темна, так и свечка видна!» Немного старого папоротника да охапка сухой соломы, которые я поджег, как только этот неуч из свиты маркиза убрался со двора. Вот вам и пламя. Прошу вас, сэр, в следующий раз, когда вам вздумается привести или послать сюда кого-нибудь, то пусть это будут господа, но без доверенных слуг вроде этого проныры Локхарда, который все высматривал да вынюхивал и только искал, где бы найти какие-нибудь неполадки, чтобы потом позорить наш дом. Из-за него я чуть не загубил свою душу, сочиняя с невероятной скоростью одну небылицу за другой. Уж лучше я, в самом деле, подпалю башню, да и сам сгорю вместе с ней, чем второй раз терпеть такое бесчестье.

— Очень вам благодарен, Калеб, за ваши заботы, — сказал Рэвенсвуд, с трудом удерживаясь от смеха, хотя в душе он все еще сердился на своего дворецкого. — А как же порох? Порох в погребах? Маркиз, кажется, знает о наших запасах?

— Порох! Ха-ха-ха! Маркиз! Ха-ха-ха! — расхохотался Калеб. — Хоть убейте меня, ваша милость, не могу не смеяться. Маркиз! Порох! Есть ли порох в замке? Был когда-то. Знал ли об этом маркиз? Конечно, знал. В том-то вся и штука. Я полагал, что не так-то легко будет сладить с вами. Вот я и вспомнил про порох, предоставив маркизу заняться этим делом самому.

— Но вы так и не ответили на мой вопрос, — нетерпеливо перебил его Рэвенсвуд. — Как попал порох в замок и куда он потом делся?

— Сейчас все объясню, — прошептал Калеб с таинственным видом. — Несколько лет назад здесь готовилось восстание; маркиз и все лорды с севера были в заговоре. Тогда-то и навезли сюда из Дюнкерка пропасть всяких ружей и палашей, не говоря

уже о порохе. Нелегкая это была работа — перетаскать в башню столько ящиков и бочонков за одну ночь; сами понимаете, такое дело нельзя было поручить первому встречному. Однако нам пора возвращаться в селение: нас ждут к ужину; по дороге я доскажу остальное.

— Ну, а эти ребятишки? — спросил Рэвенсвуд. — Неужели вы хотите, чтобы они просидели здесь всю ночь, ожидая взрыва?

— Зачем же! Раз вашей милости не угодно, чтобы они здесь оставались, они немедленно отправятся по домам. Впрочем, — добавил он, — с ними и так ничего не приключится, меньше орать будут завтра да крепче спать. Но раз это не угодно вашей милости...

И, подойдя к мальчишкам, взобравшимся на соседний холм, Калев решительно объявил им, что, по приказанию лорда Рэвенсвуда и маркиза Э***, взрыв башни произойдет не раньше, чем завтра в полдень. При этом утешительном известии мальчуганы разбежались, однако один из них, тот самый, которого Калев уже однажды обманул, унеся у него из-под носа вертел с утками, остался, в надежде получить более точные сведения.

— Мистер Болдерстон, мистер Болдерстон! — закричал он. — А ведь пламя совсем погасло, словно трубка во рту у дряхлой старухи!

— Верно, мой милый, — согласился дворецкий. — Что же ты думаешь, замок такого вельможи, как лорд Рэвенсвуд, так и будет гореть, как ни в чем не бывало, прямо на глазах у его милости. — И, отпустив маленького оборванца восвояси, прибавил, обращаясь к Рэвенсвуду: — Никогда не следует пренебрегать случаем поучить этих детишек уму-разуму, как говорят умные люди. И, прежде всего, надо внушать им почтение к старшим.

— Но вы так и не сказали мне, Калев, что стало с порохом и оружием? — заметил Рэвенсвуд.

— Ах, оружие! — спохватился Калев, —

Уплыло на запад, ушло на восток,
А то, что осталось, сам черт уволок,

как говорится в детской песенке. А что до пороха, то мало-помалу я выменял его на джин и бренди у капитанов голландских люгеров и французских судов. Эти бочонки долго служили нам верой и правдой. И разве не превосходная мена: получить напиток, веселящий душу, за зелье, несущее смерть! Впрочем, несколько фунтов я придержал для ваших надобностей. Если бы не эти запасы, право не знаю, где бы я доставал вам порох для охоты. Ну, теперь ваш гнев, кажется, поостыл, согласитесь же, что я поступил правильно: ведь внизу, в Волчьей Надежде, вам куда удобнее, чем в вашей старой, полуразвалившейся башне. Хоть и больно признаться, да что там греха таить!

— Пожалуй, вы правы, Калев; но только, прежде чем сжигать мой замок даже в шутку, не мешало бы предупредить меня об этом.

— Что вы, ваша милость! Еще куда ни шло, чтобы я, старый дурак, лгал да обманывал ради чести рода, но вашей милости это уж никак не пристало. К тому же вы, молодые люди, слишком горячи. И солжете, да все без толку. Вот возьмем хоть этот пожар, — потому что, имейте в виду, у нас был пожар, и я готов даже сжечь старые конюшни, чтобы положить конец всяким сомнениям, — так вот, этот пожар, говорю я, превосходный предлог, чтобы просить у соседей все, что нам нужно. О, этот пожар не раз еще нас выручит, к тому же без всякого урона для чести дома. Теперь уж мне не придется по двадцать раз на день придумывать одну небылицу за другой, которым эти бездельники и бездельницы все равно не верят.

— Да, не легко вам приходилось, Калев. И все же я никак не пойму, каким образом этот пожар сможет возвратить нам доверие соседей и наше доброе имя.

— Ну, не говорил ли я: молодо — зелено! Как нам поможет пожар, спрашиваете вы? Да это же превосходный предлог, который спасет честь семьи и поддержит ее на много лет, если только пользоваться

им умеючи. «Где семейные портреты?» — спрашивает меня какой-нибудь охотник до чужих дел. «Они погибли во время большого пожара», — отвечаю я. «Где ваше фамильное серебро?» — выпытывает другой. «Ужасный пожар, — отвечаю я. — Кто же мог думать о серебре, когда опасность угрожала людям». — «Где платье и белье, гобелены и шпалеры? Где кровати под балдахинами с ткаными покрывалами и легкими пологам? Где ковры, скатерти, ручные вышивки?» — «Пожар! Пожар! И еще раз пожар!» Пожар ответит за все, что было и чего не было. А ловкая отговорка в некотором роде стоит самих вещей. Вещи ломаются, портятся и ветшают от времени, а хорошая отговорка, если только пользоваться ею осторожно и с умом, может прослужить дворянину целую вечность.

Рэвенсвуд хорошо знал упрямый характер старика и потому воздержался от бесполезного спора. Предоставив Калебу радоваться успеху его предприятия, он возвратился в Волчью Надежду, где маркиз и обе хозяйки уже беспокоились о нем: маркиз — потому что не знал, куда он направился, а женщины — потому что боялись, как бы не перестоялся ужин. С приходом Рэвенсвуда все облегченно вздохнули и искренне обрадовались, услышав, что пожар в замке сам собою прекратился, не достигнув погребов, — ибо Рэвенсвуд счел возможным ограничиться этим кратким сообщением, воздержавшись от более подробного описания хитроумной проделки Калеба.

Гостей тотчас проводили к столу, уставленному богатым угощением. Несмотря ни на какие уговоры, мистер и миссис Гирдер даже в собственном доме не согласились занять место рядом с высокопоставленными особами, предпочитая исполнять при них обязанности почтительных и ревностных слуг. Таковы были нравы тех времен. Только старая теща, ввиду своих преклонных лет и давнего знакомства с Рэвенсвудами, решила пренебречь правилами этикета. Играя роль не то содержательницы гостиницы, не то хозяйки дома, принимающей гостей значительно выше себя

рангом, она потчевала маркиза и Рэвенсвуда, настойчиво предлагая им лучшие куски, причем не забывала и себя, отведывая понемногу от каждого блюда, дабы служить примером гостям.

— Ваша милость ничего не кушает... — то и дело обращалась она к маркизу. — Мастер Рэвенсвуд, вам попалась кость! Увы, разве мы можем предложить вашей милости достойное вас угощение! Лорд Аллан, упокой господь его душу, любил соленого гуся. Он всегда шутил, что по-латыни соленый гусь означает «стаканчик бренди»! Бренди у нас прямо из Франции: наши суда пока еще не забыли дорогу в Дюнкерк, несмотря на все английские законы и таможи.

Тут бочар предостерегающе толкнул тещу локтем, но она и не подумала уgomониться.

— Нечего толкать меня, Джон. — Никто не говорит, что ты знаешь, откуда мне привозят бренди. Конечно, тебе как королевскому бочару это не пристало. Но мне... Велика беда! — повернулась она к Рэвенсвуду. — Королю, королеве или там кайзеру очень важно, у кого такая старуха, как я, покупает щепотку табаку или стакан бренди повеселить душу.

Загладив таким образом мнимую оплошность, почтенная матрона весь вечер одна продолжала занимать гостей, изо всех сил стараясь поддержать беседу, в которой Рэвенсвуд и маркиз почти не принимали участия. Наконец, отодвинув от себя бокалы, они попросили разрешения удалиться на покой.

Маркизу отвели парадную комнату, которая имела в каждом зажиточном доме и обычно пустовала в ожидании особо почетного гостя. В то время штукатурка еще не вошла в употребление, а штофными обоями покрывали стены только в домах знати или дворян. Поэтому бочар, человек столь же тщеславный, сколь и богатый, поступил по примеру мелких землевладельцев и духовенства, украсив стены парадной комнаты тисненой нидерландской кожей с изображениями деревьев и животных из золотой фольги и многими благочестивыми изречениями, которые, хотя они и были начертаны по-фламандски, соблюдались в его доме со всею строгостью. Помещение вы-

глядело довольно мрачно, однако в камине весело потрескивала сухая клепка; на кровати лежали новые, ослепительно белые простыни, посланные ради торжественного случая в первый и, возможно, в последний раз. Над столом висело старинное зеркало в филигранной раме, некогда принадлежавшее к развешанному по всему свету убранству замка Рэвенсвуд. По одну сторону зеркала, словно часовые, стояли высокая бутылка тосканского вина и длинный узкий стакан, примерно такой, какой можно видеть в руках у Тенирса, когда он изображает себя участником деревенской пирушки. По другую сторону, не сводя взора с двух иноземных стражей, находились два приземистых шотландских караульных: кувшин доброго эля, вмещавший не менее пинты, и стопа из слоновой кости и черного дерева в серебряной оправе — плод мастерства Гирдера, которым он особенно гордился. Меры были приняты не только против жажды, но и против голода, ибо на туалете, кроме всего прочего, красовался огромный сладкий пирог. Со всеми этими припасами комната могла бы выдержать двух- или даже трехдневную осаду.

Слуга предусмотрительно разостлал парчовый халат маркиза на большом кожаном кресле, подкатив его ближе к камину, на спинку же положил вышитую бархатную шапочку, отороченную брюссельскими кружевами. Но пора нам покинуть знатного гостя, предоставив ему пользоваться всеми этими предметами, приготовленными ради его удобства, — предметами, о которых мы рассказали столь подробно, дабы познакомить читателя с обычаями шотландской старины.

Нет нужды останавливаться на описании покоя, отведенного Рэвенсвуду: хозяева уступили ему свою спальню. Стены этой комнаты были обиты неяркой шерстяной тканью, изготавливаемой в Шотландии, — нечто вроде нынешнего шалона. На видном месте висел аляповатый портрет самого Джона Гирдера, намалеванный каким-то умиравшим с голоду французом, прибывшим в Волчью Надежду бог весть как и зачем, не то из Дюнкерка, не то из Флиссингена вместе

с контрабандистами. Изображению нельзя было отказать в некотором сходстве с нашим упрямым, своенравным, но вполне здравомыслящим мастеровым. Однако мосье ухитрился придать выражению лица и позе этакую французскую легкость, которая настолько не вязалась с угрюмой чопорностью оригинала, что невозможно было смотреть на картину без смеха. Впрочем, все семейство очень кичилось этим произведением искусства, чем вызвало даже осуждение соседей, обвинивших бочара в чрезмерном тщеславии и высокомерии, ибо, заказав себе портрет и, более того, украсив им свою опочивальню, он, по всеобщему мнению, превысил данные ему права — осмелился выйти за поставленные его сословию пределы и посягнул на аристократические привилегии. Уважение к памяти моего покойного друга, мистера Ричарда Тинто, заставило меня остановиться на этом предмете: однако я избавляю читателя от его пространных, хотя и небезынтересных, замечаний о французской школе живописи, равно как и об успехах этого искусства в Шотландии в начале XVIII века.

В остальном спальня, приготовленная для Рэвенсвуда, была убрана точно так же, как парадная комната, предоставленная маркизу.

На другой день маркиз и его молодой родственник поднялись чуть свет, намереваясь отправиться в дальнейший путь. Но гостеприимные хозяева не отпустили их без завтрака. Стол ломился от снеди: ростбифов, холодных и горячих, овсяных пудингов, вин и всяческих настоек, молока во всевозможных видах — все это свидетельствовало о неослабном желании радужного семейства почтить дорогих гостей. Между тем вся Волчья Надежда всполошилась, готовясь к отбытию маркиза; отъезжающие расплачивались по счетам, обменивались рукопожатиями с поселянами, седлали коней, закладывали экипажи и раздавали чаевые. Маркиз вручил бочару изрядную сумму для челяди; Гирдер хотел было поначалу присвоить ее, тем более что стряпчий Дингуолл всецело его в этом поддерживал, ссылаясь на понесенные тороватым

хозяином издержки, без которых не было бы и благодарности. Однако, несмотря на столь авторитетное суждение, Джон как-то не решился умалить блестящий успех своего гостеприимства неблагоприятным поступком и только объявил слугам, что они будут последними свиньями, если вздумают покупать бренди в чужих погребах, а так как не было никаких сомнений относительно того, каким именно образом они употребят даяние маркиза, то бочар утешал себя мыслью, что денежки все равно перекочат в его карман, причем без малейшего ущерба для его чести и совести.

Пока шли приготовления к отъезду, Рэвенсвуд отозвал в сторону Калеба и обрадовал старика, поведав ему, правда в очень осторожных выражениях — ибо слишком хорошо знал пылкую фантазию своего дворецкого, — о благоприятной перемене, которая ожидается в его судьбе. Он тут же отдал Калебу большую часть наличных денег, чуть ли не клятвенно заверив, что почти наверняка получит большие суммы по приезду в Эдинбург. Затем он строго-настрого приказал Калебу, грозя иначе лишить его своего расположения, прекратить набеги на жителей Волчьей Надежды, их погреба и другие владения, на что, к немалому удивлению Рэвенсвуда, старый слуга охотно согласился.

— Конечно, — сказал он, — стыдно, бесчестно и даже грешно разорять этих бедняг, когда можно обойтись собственными средствами. К тому же, — прибавил он, — нужно дать им небольшую передышку, чтобы потом в случае надобности можно было бы вновь на них приналечь.

Порешив на этом и дружески простившись со старым слугой, Рэвенсвуд присоединился к маркизу, уже садившемуся в экипаж. Обе хозяйки — старая и молодая, — ослеславленные прощальным поцелуем высоких гостей, стояли на пороге и умильно улыбались, пока роскошный экипаж и его многочисленная свита не скрылись из виду. Джон Гирдер также стоял на крыльце, то поглядывая на свою правую руку, удостоившуюся пожатий лорда и маркиза, то бросая

взгляд внутрь дома на царивший там после пиршества беспорядок, словно соизмерял полученные почести с понесенными издержками.

— Так, так, — вымолвил он наконец. — Ну, будет. Маркизы там или мастера, герцоги или графы, лорды или лэрды, а вам пора за работу. Приберите в комнатах, унесите на ледник остатки жаркого, а что уж вовсе не годится, отдайте бедным. Вас же, дражайшая теща и женушка, попрошу об одном: чтобы я больше не слышал ни слова обо всей этой чепухе, ни дурного, ни хорошего. Можете чесать языками у себя взаперти или с вашими кумушками. У меня и так голова идет кругом.

Гирдер пользовался беспрекословной властью в доме, и потому все тотчас разошлись и принялись каждый за свое дело, предоставив хозяину полную свободу мечтать о грядущих милостях двора, которые он приобрел, поступившись частицей принадлежавших ему мирских благ.

Глава XXVII

Что ж, я схватил за волосы Фортуну,
И если вырвется — моя вина.

Тот, кто борется мог с противным
ветром,

С попутным справится наверняка.

Старинная пьеса

Наши путешественники без приключений прибыли в Эдинбург, и Рэвенсвуд, как и было условлено, поселился у маркиза.

Между тем долгожданный политический переворот совершился, и тори как в Шотландии, так и в Англии ненадолго пришли к власти. Мы не намерены здесь исследовать причины и следствия этого переворота: скажем только о том, как он сказался на различных политических партиях, в зависимости от их направления и принципов. В Англии многие сторонники Высокой церкви, во главе с Харли, впоследствии получившим титул графа Оксфордского, тотчас порвали

с якобитами, за что и получили прозвище «непостоянных». В Шотландии же приверженцы Высокой церкви, или кавалеры, как они себя называли, оказались более последовательными, хотя и менее благоразумными. Они рассматривали происшедшую перемену как первый шаг к возведению на престол после смерти королевы Анны ее брата, шевалье де Сен-Жоржа. Те, кто пострадал за верность претенденту, теперь тешили себя безрассудными надеждами не только возратить утраченное, но и отомстить политическим противникам. Виги же предвидели возобновление преследований, которым подвергались при Карле II и его брате, равно как и отчуждения имущества, конфискованного у якобитов при короле Вильгельме.

Но более других перепугалось племя осмотрительных, каковое существует при всех правительствах и особенно многочисленно в провинции, такой, как Шотландия. Люди эти, по меткому выражению Кромвеля, «служат судьбе», иными словами, всегда готовы присоединиться к правящей партии. Многие из них поспешили явиться к маркизу Э*** с повинной и, заметив, что он принимает живейшее участие в своем молодом родственнике, мастере Рэвенсвуде, наперебой принялись давать юноше советы, как лучше действовать, чтобы вернуть хотя бы часть прежних владений и титул, которого был лишен его отец.

Особенно волновался старый лорд Тернтипет.

— У меня сердце обливается кровью, — сокрушался он, — когда я вижу, что такой прекрасный юноша, отпрыск поистине благородного и древнего семейства, а главное, кровный родственник маркиза Э***, которого я уважаю более всех на свете, находится в столь тяжком положении.

Со своей стороны, «дабы содействовать восстановлению древнего дома», вышеупомянутый Тернтипет прислал Эдгару, причем совершенно безвозмездно, три семейных портрета (без рам) и шесть стульев с высокими спинками и мягкими сиденьями, украшенных гербом Рэвенсвудов: он приобрел их шестнадцать

лет назад при распродаже обстановки в доме покойного лорда Рэвенсвуда в Кэнонгейте.

Маркиз принял этот дар весьма холодно, заявив, что Рэвенсвуд и его друзья только в том случае сочтут себя удовлетворенными, если лорд Тернтипет возвратит поместье, которое он сначала взял в заклад под ничтожную сумму, а затем, пользуясь беспорядками в делах Рэвенсвудов, присвоил с помощью всем известных сутяжнических махинаций. Тернтипет страшно перепугался, но не подал виду и изобразил крайнее недоумение.

Старый приспешник всех правительств попытался было уклониться от требований маркиза: клялся и божился, что не понимает, зачем молодому Рэвенсвуду тотчас вступать во владение означенным поместьем, когда он, несомненно, возвратит себе большую часть своего состояния, отняв имение у сэра Уильяма Эштона, что было бы только разумно и справедливо и чему он, лорд Тернтипет, готов всячески содействовать. Наконец, он даже предложил отказать спорные земли Эдгару после своей смерти.

Однако все эти отговорки ни к чему не привели, и Тернтипету пришлось вернуть чужую собственность, удовлетворившись получением закладной суммы. Не имея другого средства сохранить мир с властью имущими, он возвратился домой, расстроенный и обиженный, горько жалуясь друзьям, что «не было еще такого перемещения и изменения в правительстве, которое не принесло бы ему хоть маленькую выгоду, тогда как нынешнее лишило его лучшего куска».

Точно так же поступили и с другими лицами, нажившимися за счет Рэвенсвудов, и сэр Уильям Эштон со дня на день ожидал, что решения суда, по которым к нему перешли замок и родовое имение Рэвенсвудов, будут обжалованы в палате лордов. Однако мастер Рэвенсвуд считал себя обязанным ради Люси, равно как и в благодарность за оказанное ему гостеприимство, решить это дело полюбовно. Поэтому он написал письмо бывшему лорду-хранителю (ибо сэр Эштон уже не состоял в этой должности), в котором чистосердечно объявлял о своей помолвке с Люси,

прося согласия на брак с ней и предлагая покончить споры на любых условиях, угодных сэру Уильяму.

Тому же курьеру было поручено отвезти письмо леди Эштон, в котором Рэвенсвуд умолял простить его, если невольно подал повод к неудовольствию; он описывал свою нежную привязанность и беспредельную любовь к Люси, заклинал леди Эштон, как истинную представительницу рода Дугласов не только по имени, но и по духу, отказаться от давней вражды и ненависти и, наконец, заверял, что в его лице семья Эштонов приобретает друга, а сама леди — почтительнейшего и преданного слугу. Письмо было подписано: Эдгар, мастер Рэвенсвуд.

Третье письмо было адресовано Люси, и посланный получил приказание изыскать достаточно надежный способ, чтобы тайно вручить его мисс Эштон в собственные руки. В письме заключались пылкие уверения в вечной любви и говорилось об ожидающей Эдгара в ближайшем будущем перемене, которой он придавал немаловажное значение, поскольку эта перемена, возможно, устранил препятствия к их браку. Он также сообщал о предпринятых им попытках преодолеть предубеждение ее родителей, особенно леди Эштон, и выражал надежду, что они согласятся с его доводами. В противном случае оставалось уповать на то, что за время его отсутствия (ему предстояло уехать по важному и почетному делу) сэр Эштон и леди Эштон изменят свое решение. Он слепо полагался на силу любви и верил, что Люси сумеет противостоять любым попыткам разлучить ее с ним, и так далее, и тому подобное. В письме говорилось еще о множестве вещей, близких сердцу наших влюбленных, но мало чем интересных или поучительных для читателей. На эти три письма Рэвенсвуд получил три ответа, которые были весьма различны по стилю и доставлены ему весьма различными способами.

Ответ леди Эштон привез его собственный нарочный, которому дозволили оставаться в замке ровно столько, сколько понадобилось, чтобы набросать следующие строки:

Мистеру Рэвенсвуду из «Волчьей скалы».

Сэр! Я получила письмо, подписанное Эдгар, мастер Рэвенсвуд. Полагаю, что оно написано самозванцем, ибо семья Рэвенсвудов в лице покойного лорда Аллана была лишена титула за государственную измену. Если полученное мною письмо написано вами, то, да будет вам известно, что, пользуясь правом матери, я намерена устроить счастье своей дочери, мисс Люси Эштон, по собственному усмотрению и что она выйдет замуж за достойного человека, которому уже обещана ее рука. И даже будь мисс Эштон свободна, я никогда не приняла бы предложения от вас, сэр, или членов вашего семейства, зная, что ваш род был всегда враждебен единственно правоверной пресвитерианской церкви. Сэр, никакие быстропреходящие удачи, случайно выпавшие на вашу долю, не изменят моего решения. Мне и прежде, подобно царю Давиду, случалось видеть нечестивца грозного, расширившегося, подобно укоренившемуся многоветвистому дереву, но я прошла, и вот нет его, и даже след его исчез с лица земли. Советую вам для вашей же пользы уразуметь вышеизложенное и прошу никогда более не обращаться к не имеющей намерения оставаться вашей слугой

Маргарет Дуглас,
в замужестве *Эштон.*

Два дня спустя после получения этого весьма неприятного послания Рэвенсвуд шел по Хай-стрит в Эдинбурге; вдруг он почувствовал, что кто-то задел его локтем, и едва незнакомец снял шляпу, чтобы принести свои извинения, как Рэвенсвуд узнал в нем Локхарда, доверенного слугу сэра Уильяма Эштона. Локхард поклонился, сунул Эдгару в руку пакет и тотчас скрылся. Содержавшееся в этом пакете письмо состояло из четырех страниц, исписанных убористым почерком, и, как нередко случается с сочинениями великих юристов, не заключало в себе ничего определенного. Из него явствовало только то, что автор его находится в большом затруднении.

Сэр Уильям Эштон очень много распространялся о том, как высоко он ценит и уважает своего молодого друга, мастера Рэвенсвуда, и как беспрельдно ценит и уважает маркиза Э***, своего дорогого старого друга; он выражал надежду, что, каковы бы ни были меры, принятые касательно давней тяжбы, они окажутся в должном соответствии с законами и постановлениями, вынесенными *in foro contentioso*; ¹ он торжественно заверял, что если законы Шотландии, выраженные в решениях ее верховных судов, подвергнутся пересмотру в английской палате лордов, то общественное зло от столь незаконных действий будет для него более тяжким ударом, нежели любые имущественные потери. Затем следовали громкие слова о великодушии и взаимном прощении и, между прочим, несколько замечаний на тему о переменчивости человеческих судеб — предмет, о котором так любят поговорить сторонники проигравшей партии. Он горячо сетовал на то, что столь поспешно был смещен с должности лорда-хранителя, которую благодаря долголетнему опыту занимал не без пользы для общества, и недоумевал, почему ему даже не дали возможности объясниться с теми, кто сменил его у власти, дабы выяснить, действительно ли так уж велики их политические расхождения. Он выражал уверенность, что маркиз Э***, так же как он сам, так же как и любой другой человек, не имеет иной цели, кроме служения обществу, а потому, если бы они встретились и пришли к соглашению относительно тех мер, какими желательно добиваться этой цели, он был бы рад помочь новому правительству своим опытом и личными связями. Что касается помолвки между Рэвенсвудом и его дочерью, то сэр Эштон говорил об этом мало и как-то сбивчиво. Он сокрушался, что этот важный шаг был сделан преждевременно, и напоминал Рэвенсвуду, что сам он никогда не поощрял его любви к Люси. Он не преминул указать, что помолвка, совершенная *inter minores*, ² без согласия

¹ В разбирательстве с прениями сторон (*лат.*).

² Между несовершеннолетними (*лат.*).

родителей, не имеет юридической силы и считается незаконной. Этот опрометчивый поступок, добавлял он, произвел на леди Эштон крайне неблагоприятное впечатление, которое не изгладилось и поныне. Его старший сын, полковник Дуглас Эштон, полностью разделяет мнение матери, и он, сэр Уильям Эштон, не может идти наперекор их желаниям, дабы не посеять тем самым неизбежный и непримиримый раздор в собственной семье. Во всяком случае, пока об этом не могло быть и речи. Однако он не терял надежды, что время — этот великий целитель — залечит все раны.

В короткой приписке сэр Эштон, прибегая к несколько более ясным выражениям, сообщал, что, так как не желает, даже косвенно, служить причиной жестокого уничтожения шотландского суда, каковым явилась бы отмена решений о замке и поместьях Рэвенсвудов в чужеземной инстанции, он, сэр Уильям, готов сам, без судебного вмешательства, пойти на значительные уступки.

Наконец, неизвестно каким образом, к Рэвенсвуду попало письмо от Люси Эштон.

«Я получила письмо: но ценой какого риска! Не пишите мне сейчас, ждите более благоприятных обстоятельств. Меня не перестают преследовать, но я буду верна своему слову, если только не лишусь рассудка. Знать, что вы счастливы и что судьба к вам благосклонна, — большая радость для меня, единственная в моем теперешнем положении. А мне это сейчас так необходимо». Записка была подписана: Л. Э.

Пробежав эти строки, Рэвенсвуд пришел в сильное волнение. Несмотря на просьбу Люси, он несколько раз пытался переслать ей письма и даже просил о свидании; но из этого ничего не получилось; к тому же он узнал, что леди Эштон приняла самые решительные меры, дабы пресечь всякую возможность переписки. Важное дело, порученное ему маркизом, не терпело отлагательства, день его отъезда из Шотландии неотвратимо приближался. Рэвенсвуд был в отчаянии. Он показал письмо, полученное от сэра

Эштона, маркизу, и тот, прочитав сие витиеватое послание, заметил с улыбкой, что звезда бывшего лорда-хранителя закатилась и теперь ему придется учиться распознавать, с какой стороны греет солнце.

С большим трудом Рэвенсвуду удалось уговорить маркиза не передавать дела в парламент, если сэр Эштон даст согласие на его брак с Люси.

— Я вряд ли разрешил бы вам так легкомысленно бросаться отцовским наследством, — сказал на это маркиз, — если бы не был убежден, что леди Эштон, или леди Дуглас, или как ее там еще, что называется, закусил удила, а ее муженек не осмелится ей противоречить.

— И все же, — отозвался Рэвенсвуд, — надеюсь, милорд, вы будете считать мою помолвку с Люси Эштон священной.

— Да, конечно, — ответил маркиз. — Я остаюсь вашим другом, даже когда вы делаете глупости, мой дорогой. Ну, а теперь, когда мое мнение вам известно, я попытаюсь по возможности действовать согласно вашему желанию.

Рэвенсвуду оставалось только поблагодарить своего великодушного родственника и покровителя. Уполномочив маркиза вести свои дела, он уехал на континент, где по всем расчетам должен был пробыть несколько месяцев.

Глава XXVIII

Кто обольщал когда-нибудь
 так женщин?
Кто женщину так обольстить сумел?
Она — моя!

«Ричард III»¹

Со времени отъезда Рэвенсвуда на континент прошел целый год. Возвращения его ожидали гораздо раньше, однако то дело, по которому он был послан, а по некоторым слухам, личные интересы, все еще

¹ Перевод А. Радловой.

удерживало его за границы. Что же касается семьи сэра Эштона, то о переменах, происшедших за минувшее время в этом доме, мы сейчас узнаем из беседы, которую мистер Бакло однажды вел со своим загадочным другом и собутыльником, небезызвестным капитаном Крайнгельтом.

Друзья расположились в столовой замка Гернингтон, по обе стороны огромного, похожего на гробницу, камина. Дрова весело потрескивали; на круглом дубовом столе рядом с бутылкой первосортного бордо стояли два стакана и множество закусок.

Несмотря на явное довольство и достаток, лицо хозяина выражало сомнение, тоску и неудовлетворенность. Крайнгельт, смертельно боявшийся припадков хандры, как он выражался, у своего принцепала, изо всех сил старался изобрести какое-нибудь средство, дабы развеять его дурное настроение.

После длительного молчания, нарушаемого только равномерной дробью, которую Бакло отбивал носком сапога о решетку камина, Крайнгельт наконец осмелился заговорить.

— Будь я проклят, — сказал он, — если вы похожи на человека, который собирается жениться. У вас такой вид, черт возьми, будто вас не сегодня-завтра должны повесить.

— Весьма благодарен за комплимент, — отозвался Бакло. — Но, пожалуй, виселица — это скорее по вашей части, потому что вам, как видно, ее не миновать. А почему, скажите, капитан Крайнгельт, как вы себя величаете, почему я должен казаться веселым, когда на душе у меня кошки скребут?

— Вот это-то меня и злит: мало того, что вы женитесь на лучшей невесте во всей округе, вы к тому же берете за себя девушку, на которой вы хотели жениться. И вот теперь, когда ваше желание исполняется, вы сидите понутив голову, словно медведица, которую разлучили с медвежатами.

— Не знаю... — угрюмо заметил лэрд. — Может быть, мне лучше отказаться от этой женитьбы. Только, кажется, я уж слишком далеко зашел, чтобы идти на попятный.

— Идти на попятный! — воскликнул Крайгенгельт, изображая крайнее изумление. — Да теперь это все равно, что столкнуться со свидетелем, а потом отречься от него и оставить на бобах. Идти на попятный! Когда у девчонки такое приданое...

— У мисс Эштон, с вашего разрешения, — оборвал его Бакло.

— Ладно, ладно! Виноват. Но ведь за ней и впрямь дают такой куш, как ни за какой другой невестой во всем Лотиане.

— Не спорю, — сказал Бакло. — Только я не нуждаюсь в ее приданом. Я и сам достаточно богат.

— А теща, которая вас любит как родного...

— Даже больше. Во всяком случае, больше, чем родную дочь, — усмехнулся Бакло. — Иначе не видать бы мне Люси.

— А полковник Шолто Дуглас Эштон, который спит и видит вашу свадьбу?

— Потому что надеется с моей помощью пройти в парламент от нашего графства...

— А отец, который ждет подписания брачного контракта с таким же нетерпением, как я конца удачной партии в пикет?

— Э! — пренебрежительно протянул Бакло. — Сэр Уильям Эштон ведет свою обычную игру: раз ему не удалось променять дочь на поместье Рэвенсвудов, которое английская палата лордов вот-вот вырвет из его когтей, он хлопочет о другом выгодном браке.

— Ну, а ваша невеста? Разве она не самая красивая девушка в Шотландии? Вы же сходили по ней с ума, когда она и слышать о вас не хотела. Теперь же, когда она согласна выйти за вас, нарушив слово, данное Рэвенсвуду, вы вдруг заартачились. Право, вы просто рехнулись: сами не знаете, что вам нужно.

— Я вам скажу, что мне нужно, — ответил Бакло и, встав со стула, прошелся по комнате. — Я хочу знать, черт возьми, отчего мисс Эштон вдруг изменила свое мнение.

— А вам-то что до этого? — удивился Крайгенгельт. — Ведь она изменила его в вашу пользу.

— Вот то-то и оно! — вздохнул принципал. — Я никогда не имел дела с такого рода девицами и думаю, что они чертовски строптивы и своенравны. Но мисс Эштон переменилась ко мне как-то уж слишком внезапно и слишком круто, чтобы можно было принять ее поведение за простой каприз. Ручаюсь, это работа леди Эштон. Она наверняка знает множество средств, как сломить человека, и у нее их не меньше, чем у нас удил, мартингалов и капцунов, когда мы объезжаем молодых лошадок.

— Но, черт возьми! Без них же не справиться с лошадей!

— Что верно, то верно, — согласился Бакло: он перестал мерить шагами комнату и облокотился на спинку стула. — Все равно Рэвенсвуд еще стоит у меня на дороге. Вы думаете, он откажется от Люси Эштон?

— Конечно, откажется, — заявил Крайгенгельт. — Зачем ему упрямиться, раз он собирается жениться на другой и Люси тоже избрала себе другого мужа?

— И вы всерьез верите, что он женится на какой-то иностранке?

— Вы же сами слышали, что сказал капитан Уэстенго. Он рассказывал о пышных приготовлениях к счастливой свадьбе.

— Этот капитан Уэстенго слишком похож на вас, дорогой Крайги, чтобы считать его, как говорит сэра Эштон, «отменным свидетелем». Он мастерски умеет пить, играть в карты и божиться и, думаю, к тому же умеет еще лгать да мошенничать. В определенном кругу все это, конечно, полезные качества, но они как-то больше к лицу разбойнику с большой дороги, чем джентльмену, на слово которого можно положиться.

— Пусть так, — сказал Крайгенгельт. — Но вы же не можете не поверить полковнику Дугласу Эштону, который сам слышал, как маркиз Э***, не подозревая о его присутствии, публично заявил, что Рэвенсвуд нашел себе партию получше Люси Эштон и не намерен жертвовать отцовским наследством ради худосоч-

ной дочери низвергнутого вига, а потому с радостью уступит Бакло свои обноски.

— Он так сказал! — иступленно заорал Бакло, приходя в страшное неистовство, которое было свойственно ему по натуре. — Будь я при этом, я вырвал бы ему язык из глотки на глазах у всех его прихвостней и подхалимов, всех его заносчивых горцев. Почему Эштон не уложил его на месте?

— Право, не знаю, — ответил капитан. — Маркиз этого вполне заслуживал. Но, видите ли, он — старик, да к тому же и министр, так что больше риска, чем чести, иметь с ним дело. Лучше подумайте, как ограждать мисс Люси от грозящего ей бесчестья. Маркиза оставьте в покое! Он слишком стар, чтобы с ним драться, и слишком высоко сидит, чтобы до него достать.

— Ну нет, рано или поздно я до него доберусь. И до его родственничка тоже. А тем временем позабочусь о том, чтобы честь мисс Эштон не пострадала от их подлой клеветы. Однако трудная это работа — ухаживать за девушкой. Скорей бы уж конец! Я даже не знаю, как с этой мисс Люси разговаривать. Ну, да ладно. Наполняйте стаканы, Крайги, выпьем за ее здоровье. Уже поздно, а перед сном лучше опрокинуть бокал бургундского, чем ломать себе голову по пустякам.

Глава XXIX

Ему об этом только и твердила:
Ночами даже не давала спать
И за обедом часто упрекала, —
В гостях на это намекала вечно.

«Комедия ошибок»¹

На следующее утро Бакло и его верный Ахат Крайгенгельт прибыли в замок Рэвенсвуд. Они были приняты с величайшей любезностью сэром Уильямом, его супругой и их сыном, полковником Эштоном.

¹ Перевод А. Некора,

Всякий раз, как ему случалось попасть в светское общество, Бакло, не знавший страха в других делах, с непривычки испытывал крайнее смущение; и теперь он долго запинался и краснел, прежде чем сумел объяснить, что хотел бы поговорить с мисс Эштон об их предстоящей свадьбе. Сэр Уильям и его сын вопросительно взглянули на леди Эштон, которая без малейшей тени смущения ответила, что Люси тотчас выйдет к мистеру Бакло.

— Я надеюсь, — добавила она с любезной улыбкой, — что наш дорогой мистер Бакло согласится на просьбу моей дочери и разрешит мне присутствовать при этом разговоре: Люси так молода, к тому же совсем недавно у нее обманом вынудили обещание, которого теперь она от души стыдится.

— Конечно, миледи, — ответил оробевший Бакло, — я сам, со своей стороны, собирался просить вас об этом. Я совсем незнаком с этим самым «галантным обхождением» и, уж наверное, нагорожу глупостей, если миледи откажется мне помочь.

Таким-то образом, растерявшийся перед решительным объяснением с Люси, Бакло со страху вдруг забыл, что подозревал леди Эштон в роковом влиянии на дочь, и упустил возможность самому убедиться в истинных чувствах своей невесты.

Сэр Эштон с сыном вышли из комнаты, а через несколько минут возвратилась леди Эштон в сопровождении дочери. Бакло не заметил в Люси особых перемен: она казалась скорее спокойной, нежели взволнованной; правда, будь на его месте даже более проникательный наблюдатель, то и он едва ли мог бы решить, было ли то спокойствие отчаяния или безразличия. Бакло же сам был слишком взволнован, чтобы как следует разобраться в чувствах молодой девушки. Он с трудом выдавил из себя несколько бессвязных фраз, перепутал все, что хотел сказать, и, запнувшись, умолк на полуслове. Неизвестно, выслушала ли его мисс Эштон или только сделала вид, — но в ответ она не сказала ни слова. Глаза ее были устремлены на вышивание, пальцы то ли инстинктивно, то ли по привычке быстро двигались.

Леди Эштон поставила свой стул немного поодаль, в глубокой нише, почти скрывавшей ее от собеседников. Теперь, не вставая с места, она проговорила нежным, сладким голосом, в котором, однако, слышались предостерегающие и даже повелительные нотки:

— Люси, дитя мое, помни... Ты слышала, что сказал мистер Бакло?

Несчастливая девушка, казалось, забывшая о присутствии матери, вздрогнула, выронила иглу и быстро, почти не переводя дыхания, пробормотала:

— Да, миледи... Нет, миледи... Простите, я не слышала.

— Ты напрасно краснеешь, дорогая, и совсем уж напрасно бледнеешь и дрожишь, — сказала леди Эштон, подходя к ним. — Мы знаем, что девичье ушко должно быть глуховато к любезностям мужчины. Но не забывай, что мистер Хейстон пришел говорить с тобой о свадьбе, и ты сама уже давно согласилась благосклонно выслушать его. Ты же знаешь, как твой отец и я желаем вашего союза.

В словах леди Эштон, дышавших, казалось бы, горячей материнской нежностью, содержался ловко скрытый, но достаточно выразительный и грозный намек. Тон предназначался для Бакло, которого не трудно было обмануть, суть же — для Люси, превосходно понимавшей, как ей толковать слова матери, хотя их истинная цель была искусно скрыта от постороннего уха.

Люси выпрямилась, кинула вокруг себя взгляд, исполненный страха и какой-то дикой тревоги, но ничего не ответила. Тогда Бакло, не перестававший ходить взад и вперед по комнате, собрался с духом и, остановившись в нескольких шагах от ее стула, заговорил:

— Мне кажется, мисс Эштон, — начал он, — я вел себя чертовски глупо. Я пытался говорить с вами на языке, который, как принято считать, приятен молодым девушкам, но, мне кажется, вы меня не поняли; впрочем, чему тут удивляться, когда я сам, черт возьми, ничего не понял. Однако, что бы там ни было, я должен объясниться с вами раз и навсегда и на

чистом шотландском языке. Ваши родители согласны на мое предложение и, если вы не побрезгуете простым малым, который ни в чем не будет вам перечить, я сделаю вас хозяйкой лучшего имения в целых трех Лотианах, а в Эдинбурге вам будет принадлежать дом леди Гернингтон в районе Кэнонгейта — живите где хотите, делайте что хотите, принимайте кого хотите. Вот вам мое слово, и я от него не отступлюсь. А у меня к вам только одна просьба: место в конце стола для одного моего беспутного приятеля. Я, может быть, прогнал бы его, да он внушил мне, что мне и часу без него не обойтись. Надеюсь, вы не выставите за дверь моего Крайги, хотя, конечно, можно подыскать компанию и получше.

— Полноте, Бакло, полноте! — поспешила вмешаться леди Эштон. — Как могла у вас явиться мысль, что Люси будет иметь что-нибудь против такого прямого, честного и добродушного человека, как капитан Крайгенгельт?

— Ну, что касается искренности, честности и добродушия, — усмехнулся Бакло, — боюсь, что этих добродетелей у него и в помине нет. Впрочем, это неважно. Крайги знает мои привычки, умеет быть мне полезным, так что, как я уже сказал, мне без него трудно обходиться. Но мы отвлеклись от цели. Я нашел в себе смелость, мисс Эштон, объясниться с вами начистоту и хотел бы услышать прямой ответ из ваших собственных уст.

— Дорогой Бакло, — снова вмешалась леди Эштон, — позвольте мне помочь моей застенчивой дочери. Я повторяю вам в ее присутствии, что Люси вполне согласна положиться в этом вопросе на выбор своих родителей. Люси, дитя мое, — добавила она, по-прежнему облакая в ласковые слова настойчивый свой приказ — игра, которую мы уже отмечали выше, — Люси, милая моя, скажи сама, верно ли я говорю?

— Я обещала повиноваться вам, — ответила бедная жертва глухим, прерывающимся голосом, — но при одном условии...

— Люси хочет сказать, — поспешно пояснила леди Эштон, поворачиваясь к Бакло, — что ждет ответа на

письмо, посланное не то в Вену, не то в Ратисбон, не то в Париж — кто знает, где его там носит, этого молодчика, — с требованием возвратить ей обманом вырванное у нее слово. Я уверена, мой друг, вы не осудите мою дочь за эту шепетильность, дело касается нас всех.

— Нет, почему же? Мисс Эштон поступает правильно... Очень честно даже... — сказал Бакло и не то пропел, не то продекламировал припев старинной песенки:

Не тани ты с любовью постылой,
Если новую вздумал завести.

Но, мне кажется, — сказал он, помедлив немного, — можно было уже сто раз получить ответ от Рэвенсвуда. Черт возьми! Я готов сам поехать и привезти от него письмо, если мисс Эштон окажет мне честь таким поручением.

— Ни в коем случае, — всполошилась леди Эштон. — Нам стоило большого труда отговорить Дугласа (а ему уж это скорее пристало) от такого опрометчивого шага. Неужели вы думаете, что мы разрешим вам, нашему другу, которого любим как родного сына, пуститься в такое опасное путешествие, да еще с таким опасным поручением. Впрочем, все наши друзья едины в своем мнении, и Люси следовало бы к нему прислушаться: если этот недостойный человек не ответил на ее письмо, его молчание, как всегда в подобных случаях, должно быть принято за согласие расторгнуть помолвку. Всякое обязательство теряет силу, если заинтересованная сторона не настаивает на его исполнении. Сэр Уильям, который превосходно знает законы, не имеет никаких сомнений на этот счет, а потому, дорогая Люси...

— Миледи! — воскликнула Люси с необычной для нее энергией. — Не надо меня убеждать. Я уже сказала, что если эта несчастная помолвка будет расторгнута, вы можете распоряжаться мною, как вам угодно... Но до тех пор я не могу поступить так, как вы того требуете. Это был бы великий грех перед богом и людьми.

— Но, дорогая моя, если он будет упорно молчать...

— Он не будет молчать, — ответила Люси. — Прошло всего шесть недель, как я послала ему письмо с верным человеком.

— Ты послала!.. Ты осмелилась!.. Ты это сделала!.. — закричала леди Эштон срывающимся от гнева голосом, выходя из принятой на себя роли. Но тут же опомнилась и пропела как нельзя слаще: — О дорогая моя! Как ты могла на это решиться!

— Бог с ним, — вступился за Люси Бакло. — Я уважаю чувства мисс Эштон и жалею только об одном — что она не избрала меня своим посыльным.

— А позвольте узнать, дорогая мисс Эштон, — иронически спросила мать, — сколько времени обязаны мы ждать возвращения вашего Паколета — вашего волшебного гонца, ибо, как я понимаю, обычно смертному вы не доверили бы столь важное послание?

— Я высчитала недели, дни, часы и даже минуты, — ответила Люси. — Через неделю придет ответ. Если его не будет — значит, Эдгара уже нет в живых. Я буду вам признательна, сэр, — добавила она, обращаясь к Бакло, — если вы попросите мою мать до истечения этого срока не возобновлять разговора о свадьбе.

— Я готов умолять об этом леди Эштон, — сказал Бакло. — Клянусь честью, я уважаю ваши чувства, мисс Эштон. И хотя мне не терпится покончить с этим делом, я джентльмен и уж лучше совсем откажусь от сватовства, чем соглашусь причинить вам даже минутное огорчение.

— Мистер Хейстон, — воскликнула леди Эштон, побелев от гнева. — Я отказываюсь понимать вас! Разве сердцу матери не дорого счастье дочери? Я хотела бы знать, мисс Люси, в каких выражениях было составлено ваше письмо?

— Оно было точной копией предыдущего, которое вы сами мне продиктовали.

— В таком случае, — сказала леди Эштон, и в ее голосе снова послышались ласковые нотки, — мы бу-

дем надеяться, что по истечении недели, дорогая моя, ты примешь окончательное решение.

— Не будем торопить мисс Эштон, миледи, — вмешался Бакло, у которого, несмотря на грубые манеры, сердце было доброе. — Гонец может замешкаться или его могут задержать непредвиденные обстоятельства: однажды я сам потерял в пути целый день, оттого что лошадь моя расковалась. Позвольте, я загляну в свой календарь: через двадцать дней праздник святого Иуды. Накануне я должен присутствовать на скачках в Кавертон Эдже: хочу взглянуть, как вороная кобыла лэрда Китлгирта будет тягаться с четырехгодовалым жеребцом лабазника Джонстона. Но я могу прискакать обратно за одну ночь, или Крайги сообщит мне, чем кончились скачки. А пока я и сам не буду надоедать мисс Эштон и надеюсь, что вы, миледи, сэр Уильям и полковник Дуглас тоже не будете торопить ее с ответом.

— Вы великодушный человек, сэр, — сказала Люси.

— Не знаю, мисс, скорей, как я уже вам докладывал, простой и незлобивый малый, который будет рад сделать вас счастливой. Только разрешите мне это и научите, как за это взяться.

Сказав это, он отвесил Люси низкий поклон, обнаруживая при этом сердечность чувств, обычно ему не свойственную, и направился к выходу.

Леди Эштон шла за ним следом и, провожая, не переставала уверять, что Люси глубоко ценит искренность его чувств. Она просила Бакло не уезжать, не повидавшись с сэром Уильямом, «потому что, — сказала она, бросив многозначительный взгляд в сторону Люси, — в день святого Иуды мы должны быть готовы скрепить подписью и печатью брачный контракт».

— Скрепить подписью и печатью, — повторила Люси, как только за ними закрылась дверь. — Скрепить подписью и печатью — скрепить свой смертный приговор! — И, прижав к груди исхудалые руки, бедная девушка почти без чувств упала в кресло.

Шумное появление Генри вывело ее из оцепенения. Мальчик прибежал за алой лентой, которую сестра обещала ему на банты для новых подвязок. Люси покорно поднялась, открыла маленькую шкатулку из слоновой кости, отыскала ленту, аккуратно отмерила и отрезала от нее два ярда, а затем, по просьбе брата, завязала для него банты.

— Подожди! Не закрывай! — воскликнул Генри. — Мне еще нужно серебряной тесьмы, чтобы привязать колокольчики к кольцу моего нового сокола. Правда, он того не стоит. Мы чуть ноги не протянули, пока достали его из гнезда, а он оказался просто мерзким душегубом: вонзит когти в куропатку, пустит ей кровь — да бросит. А бедной птице что остается? Помучается немного и околеет где-нибудь в вересняке или под первым же кустом дрока, куда хватит сил до-тащиться.

— Ты верно заметил, Генри. Ах, как верно! — вздохнула Люси и, передав ему моток тесьмы, с тоской сжала его руку в своей. — Сколько таких разбойников на свете! А сколько насмерть раненных птичек, которые ищут лишь места, где бы им спокойно умереть, и нет для них даже вересковой полянки, даже кустика дрока, куда бы можно было спрятаться.

— Ну, — произнес Генри, — это, наверно, что-то из романа. Шолто говорит, что ты из-за них совсем помешалась. Ого! Кажется, Норман свищет сокола. Бегу закреплять путы.

И он умчался, беспечный, веселый мальчуган, а Люси с ее горькими думами осталась одна.

«Видно, так уж мне на роду написано, чтобы все меня покинули, — подумала она, — даже те, кому, казалось, следовало бы любить меня, — покинули и отдали в руки моим преследователям. Значит, так и надо. Я сама, ни у кого не спросясь совета, вступила на путь опасностей, и теперь сама же, ни у кого не спрашивая совета, должна найти выход или умереть».

Глава XXX

...То порождало
В нем меланхолию, она ж сестра
Отчаянья угрюмого и злого;
И вслед за ней идет болезней рать...

«Комедия ошибок»¹

Чтобы в какой-то мере оправдать легкость, с которой Бакло, и в самом деле, добрый малый, как он любил называть себя, отказался от собственного мнения по вопросу о браке с Люси, склонившись на сторону леди Эштон, мы должны напомнить читателю, в каком строжайшем повиновении держали в те времена женщин в шотландских семьях.

В этом, как и во многих других отношениях, нравы Шотландии мало чем отличались от нравов дореволюционной Франции. Девушки знатного происхождения почти не появлялись в обществе до замужества; и юридически и фактически они находились в полном подчинении у родителей, которые обычно решали их судьбу по собственному усмотрению, не обращая внимания на их сердечные привязанности. Жених довольствовался молчаливым согласием невесты подчиниться воле родителей, а так как молодые люди почти не имели случая познакомиться (мы уж не говорим — сблизиться) до брака, то мужчина выбирал себе жену, как искатели руки Порции — шкатулку: по одному лишь внешнему виду, в надежде, что в этой лотерее он вытащит счастливый билет.

Таковы были нравы века, и потому нет ничего удивительного, что Бакло, мот и кутила, почти не знавший порядочного общества, не пытался особенно вникать в чувства своей нареченной, — ведь люди гораздо умнее, тактичнее и опытнее, чем он, вероятно поступили бы на его месте точно так же. Он знал, — а для него это было главное, — что родные и друзья невесты решительно на его стороне и что у них имеются веские причины оказывать ему предпочтение.

¹ Перевод А. Некора.

Со времени отъезда Рэвенсвуда все поступки маркиза Э*** были направлены к тому, чтобы воздвигнуть неодолимую преграду между его молодым родственником и Люси Эштон. Маркиз искренне желал Рэвенсвуду добра, но, действуя в его интересах, подобно всем друзьям и покровителям, соображался только со своим мнением, нимало не задумываясь, что поступки его могут противоречить стремлениям молодого человека.

Пользуясь властью министра, маркиз подал в английскую палату лордов апелляцию на решение шотландских судов, передавших сэру Уильяму родовые владения семейства Рэвенсвуд. Эта мера, к которой так часто прибегают ныне, тогда была применена в Шотландии впервые, и юристы, принадлежавшие к враждебной маркизу партии, объявили его действия беспрецедентным, произвольным и даже тираническим нарушением суверенных прав Шотландии. Если эта апелляция так возмутила людей посторонних, связанных с сэром Уильямом только политическими интересами, то легко себе представить, что говорили и думали сами Эштоны, узнав о ниспосланном им суровом испытании. Сэр Уильям, в котором жажда земных благ была сильнее даже врожденной осмотрительности, пришел в отчаяние от угрожавшей ему потери. Его надменный сын впадал в ярость при одной только мысли, что его лишат ожидаемого наследства. В глазах же злобной, мстительной леди Эштон поведение Рэвенсвуда, или, вернее, его покровителя, было глубочайшим оскорблением, вызывающим к самому беспощадному мщению отныне и во веки веков. Под влиянием окружающих даже кроткая, доверчивая Люси находила поступок Рэвенсвуда опрометчивым и в какой-то мере неблагоприятным.

«Разве не отец пригласил Эдгара сюда? — думала она. — Он сочувствовал или по крайней мере не мешал нашей любви. Эдгар должен был бы помнить об этом и хотя бы из чувства благодарности немного подождать с утверждением своих предполагаемых прав. Я бы, не задумываясь, отказалась ради него от двух состояний; а он добивается этого поместья с

таким рвением, будто не помнит, что меня все это тоже касается».

Люси страдала молча, боясь своими жалобами усилить враждебные чувства, которые все в замке питали к ее возлюбленному, наперебой осуждая принятые в его интересах меры и объявляя их неоправданными, незаконными, произвольными, словом, такими, какие можно было ожидать в самые худшие времена самых худших Стюартов. Они заявляли, что пересмотр решений, вынесенных учеными судьями Шотландии, английской палатой лордов, членами которой были люди, несомненно, весьма знатные, но отнюдь не сведущие в гражданских тяжбах и, что вполне возможно, предубежденные против шотландских судов, — позор для Шотландии. Ссылаясь на эту вопиющую несправедливость, замышляемую против сэра Уильяма, родственники не щадили сил и не скупились на доводы, чтобы убедить Люси расторгнуть помолвку с Рэвенсвудом, которую они называли не иначе как позорной, постыдной, греховной, упрекая бедную девушку в том, что она связала себя словом со смертельным врагом дома, и уверяя, что ее упорство усиливает горе, постигшее ее родителей.

Но Люси не теряла мужества. Одна, без всякой поддержки, она нашла бы в себе силы вынести многое: жалобы отца, его сетования на то, что он называл тиранией правящей партии, бесконечные обвинения Рэвенсвуда в неблагодарности, нескончаемые рассуждения о том, как расторгать и аннулировать контракты, цитаты из гражданского, муниципального и канонического права и разглагольствования о *patria potestas*.¹

Она могла бы вытерпеть или обойти презрительным молчанием язвительные насмешки, а подчас и оскорбления старшего брата, полковника Эштона, дерзкое и назойливое вмешательство друзей и родственников. Но она была бессильна против постоянных, настойчивых преследований леди Эштон, которая, отбросив прочие дела, направила все усилия своего

¹ Мощи отечества (лат.).

изобретательного ума к единой цели — расторгнуть помолвку дочери с Рэвенсвудом и воздвигнуть между ними неодолимую преграду, выдав ее замуж за Бакло. Умея глубже, чем муж, проникать в тайники человеческой души, леди Эштон понимала, что таким способом нанесет страшный, сокрушительный удар человеку, которого считала своим смертельным врагом, и не колеблясь подняла руку, хотя знала, что этим же ударом разобьет сердце родной дочери. Ни на минуту не забывая о поставленной цели, она старалась проникнуть в душу бедной Люси и на досуге, надевая на себя то одну, то другую личину сообразно обстоятельствам, готовила страшные орудия пытки, которыми можно сломить человека и заставить его отказаться от ранее принятого решения. Некоторые из придуманных ею способов были просты, а потому достаточно лишь бегло упомянуть о них, другие же, характерные для времени, страны и лиц, действующих в этой необычной драме, заслуживают большего внимания.

Прежде всего леди Эштон сочла нужным пресечь всякую возможность общения между влюбленными и, действуя где подкупом, где властью, полностью забрала в свои руки всех тех, кто находился подле Люси; ни одна крепость не подвергалась такой жестокой осаде, как эта несчастная девушка, хотя внешне ее ни в чем не ограничивали. Пределы владений сэра Эштона стали для нее как бы невидимым магическим кругом, начертанным вокруг волшебного замка, куда и откуда не могло проникнуть ничто недозволенное. Все письма Рэвенсвуда к мисс Эштон, в которых он объяснял причины своего долгого отсутствия, и все записки бедной Люси, отправленные, как ей казалось, через верных людей, неизбежно попадали в руки ее матери. Надо полагать, что в этих конфискованных посланиях, особенно в письмах Рэвенсвуда, заключалось нечто крайне неприятное для леди Эштон, что распаляло ее злобу, хотя ее давняя ненависть и без того была уже накалена до предела. Прочитав захваченные листки, она всякий раз сжигала их все до единого, наблюдая, как они превращаются в дым и

пепел, — казалось, она была уверена, что точно так же обратятся в пепел чаяния несчастных влюбленных: улыбка не сходила с ее сжатых губ, злобная радость сверкала в пристальном взоре... Судьба обычно играет на руку людям, умеющим быстро пользоваться подвернувшимся случаем. Как раз в это время разнесся слух, основанный якобы на весьма достоверных фактах, на самом же деле совершенно вздорный, будто Рэвенсвуд собирается жениться на богатой и знатной чужеземке. Эта новость вызвала всеобщий интерес, так как и тори и виги, оспаривая друг у друга власть и популярность, охотно разглашали интимные подробности из жизни противников, используя их в политической игре.

Маркиз Э*** прямо и во всеуслышание выразил свое мнение о браке Рэвенсвуда, и, хотя в действительности не употребил тех грубых выражений, какие впоследствии приписывал ему Крайгенгельт, слова его были весьма обидны для Эштонов.

— Мне думается, что эти слухи весьма правдоподобны, — заявил он. — Я от души желаю, чтобы они подтвердились. Такой брак достойнее и почетнее для молодого человека, чем союз с дочерью старого адвоката-вига, чьи интриги погубили его отца.

Напротив, сторонники Эштона, забыв об отказе, полученном Рэвенсвудом от родителей Люси, возмущались его непостоянством и изменой, словно он обманом вырвал слово у дочери сэра Уильяма, а потом без всяких причин бросил ее ради новой возлюбленной.

Леди Эштон не преминула позаботиться, чтобы слухи эти достигли замка Рэвенсвуд. Она понимала, что чем чаще будут повторять Люси это известие, чем больше различных людей будут сообщать его, тем достовернее оно ей покажется. Одни рассказывали о предполагаемом браке Рэвенсвуда как о чем-то совершенно обычном, другие преподносили эту новость как нечто чрезвычайно важное; то как злую шутку шептали Люси на ухо, то говорили как о серьезном деле, которое должно заставить ее глубоко задуматься.

Даже юный Генри был превращен в орудие истязаний бедной Люси. Однажды утром он вбежал к ней в комнату, размахивая ивовой ветвью, и со смехом заявил, что это украшение только что прибыло из Германии специально для нее. Люси, как нам известно, была очень привязана к младшему брату, и эта неосмысленная шалость ранила ее больше, чем обдуманные оскорбления старшего брата.

Но она не рассердилась на мальчика.

— Бедный Генри, — прошептала она, обнимая его за плечи, — ты повторяешь то, чему тебя научили.

И слезы неудержимым потоком хлынули из ее глаз.

Несмотря на всю свою ветреность, Генри растрогался.

— Черт меня побери, если я снова соглашусь мучить тебя, Люси! Честное слово, я люблю тебя больше их всех. Хочешь, я дам тебе покататься на моем сером пони? — прибавил он, нежно целуя сестру. — Можешь пустить его галопом и даже поехать за селение, если тебе вздумается.

— Кто тебе сказал, — насторожилась Люси, — что я не могу ездить куда хочу?

— О! Это тайна! — заявил мальчик. — Попробуй выехать за Волчью Надежду, и твоя лошадь тотчас потеряет подкову, или охромееет, или в замке зазвонит колокол, или еще что-нибудь случится, только тебе обязательно придется вернуться. Больше я ничего тебе не скажу: если узнает Дуглас, он не подарит мне настоящий морской флажок, а он уже обещал. Прощай, сестра!

Этот разговор поверг Люси в еще более глубокое отчаяние; теперь она окончательно убедилась в том, о чем прежде только догадывалась: в доме родного отца ее держали как узницу.

В начале нашего повествования мы упоминали, что Люси была девушкой романического склада, зачитывалась рыцарскими романами и любила воображать себя на месте сказочных героинь, чьи приключения, за неимением лучших примеров, постоянно занимали ее мысли. Волшебная палочка, ранее служившая ей, чтобы вызывать чудесные видения, улаждавшие ее

одиночество, превратилась теперь в жезл колдуна, верного раба злых духов, окружавшего ее страшными призраками, которые заставляли ее трепетать от ужаса. Ей чудилось, что родные относятся к ней с подозрением, с недоброжелательством, даже с ненавистью, а тот, из-за кого все от нее отвернулись, вероломно ее покинул. И в самом деле, доказательства измены Рэвенсвуда день ото дня становились все убедительнее.

Примерно в это время с континента прибыл некий авантюрист по имени Уэстенго, старый приятель Крайгенгельта. Достойный капитан, всегда усердно помогавший леди Эштон в осуществлении всех ее планов, даже не сговариваясь с ней, и на этот раз без труда убедил старого приятеля подтвердить известие о предстоящем браке Рэвенсвуда, слегка преувеличив кой-какие подлинные факты и присочинив остальные.

Преследуемая со всех сторон, доведенная до полного отчаяния, Люси не выдержала тяжких ударов судьбы и непрекращающихся гонений. Она сделалась мрачна и рассеянна, и — что совсем уж противоречило ее робкой и мягкой натуре, — часто с раздражением и даже с яростью ополчалась на своих мучителей. Здоровье ее также пошатнулось: лихорадочный румянец и блуждающий взгляд свидетельствовали о душевном недуге. Всякая мать сжалилась бы над несчастной дочерью, но не такова была леди Эштон. Неколебимо и неотступно стремясь к поставленной цели, наблюдала она за этими признаками умственного и физического истощения, как вражеский генерал следит за башнями осажденного города, шатающимися под огнем его артиллерии; иными словами, леди Эштон рассматривала внезапные вспышки гнева и припадки тоски у Люси как неоспоримые признаки того, что решимость ее жертвы иссякла, и словно рыболов, сторожащий предсмертные муки и судорожные движения пойманной рыбы, ждала минуты, чтобы подсечь лесу. Стремясь ускорить развязку, леди Эштон прибегла к некоему средству, весьма характерному для жестоких нравов той эпохи, средству, которое читатель без сомнений найдет отвратительным и поистине дьявольским.

Глава XXXI

В той чаше, где царили смрад
и мгла,
Когда-то ведьма злобная жила.
Она здесь поселилась одиноко,
Вдали от всех, чтоб черные дела
И козни адские вершить жестоко,
Разя несчастных тайно, издалека.

«Королева фей»

Вскоре здоровье Люси настолько ухудшилось, что ее пришлось поручить заботам специальной сиделки, более опытной в уходе за больными, чем простые служанки. Выбор леди Эштон по известным ей одной причинам пал на Эйлси Гурли, прозванную Боденской Колдуньей.

Эта женщина пользовалась большой известностью среди невежественных крестьян как целительница различных недугов, особенно падучей и других таинственных болезней, от которых не могут помочь доктора. Она лечила травами, собранными в разные часы ночи, заговорами, заклинаниями и ворожбой, которые, случалось, иногда положительно действовали на воображение больного. Таково было ремесло Эйлси Гурли, и не трудно догадаться, что не только соседи, но и местное духовенство относилось к ней весьма подозрительно. Кроме знахарства, Эйлси еще тайно промышляла колдовством, ибо, невзирая на ужасные наказания, налагавшиеся за это воображаемое преступление, находилось немало людей, готовых из-за нужды или по злобе надеть на себя ненавистную и опасную личину, отчасти ради того, чтобы иметь власть над окружающими, отчасти же ради жалких прибылей, которые они извлекали из своего мнимого искусства.

Эйлси Гурли была не так глупа, чтобы открыто признаться в сообщничестве с нечистой силой: такое признание немедленно привело бы ее на костер. Подобно Калибану, она уверяла, что ей помогает безвредная фея. Она предсказывала судьбу, толковала сны, составляла снадобья, обнаруживала покражи, устраивала и расстраивала свадьбы, причем

порой так удачно, что, по мнению соседей, несомненно пользовалась помощью самого Вельзевула. Величайшее зло, творимое этими воображаемыми кудесниками, состояло, однако, в том, что, чувствуя всеобщее к себе отвращение, они, не задумываясь, шли на любое гнусное дело и под видом колдовства нередко совершали подлинные злодеяния. Читая судебные отчеты о процессах этих несчастных, невольно перестаешь негодовать, когда узнаешь, что многие из них, как отравители, соучастники и бессердечные исполнители тайных семейных преступлений, вполне заслуживали того жестокого наказания, к которому были присуждены за мнимое колдовство.

Такова была Эйлси Гурли, которой леди Эштон поручила попечение о здоровье дочери, надеясь с ее помощью окончательно сломить волю Люси. Женщина менее влиятельная никогда бы не осмелилась на такой шаг; но высокое положение леди Эштон и сила характера делали ее недосыгаемой для мнения света: она могла приставить к дочери «эту лучшую во всей округе, опытейшую сиделку и целительницу», не боясь обвинения в том, что прибегает к помощи сообщницы и союзницы дьявола.

Старая ведьма без долгих слов поняла, чего от нее ждут. Она вполне подходила для взятой на себя роли, где требовалось немалое знание человеческого сердца и страстей. Достойная Гурли не могла не заметить, что один ее вид, — с которым мы познакомили читателя выше, когда впервые встретились с ней у смертного одра слепой Элис — заставляет Люси содрогнуться от ужаса, и сразу же возненавидела бедную девушку. Однако, затаив смертельную обиду, она принялась за дело, стараясь ослабить и преодолеть предубеждение мисс Эштон. Это оказалось нетрудным, и Люси скоро забыла об отталкивающей наружности своей сиделки, покоренная ее мнимой добротой и участием, от которых бедняжка за последнее время совсем отвыкла. Заботливая услужливость и расторопность старухи не замедлили снискать ей расположение у ее подопечной, хотя и не приобрели ей полного доверия. Желая якобы развлечь больную,

Эйлси принялась рассказывать легенды, которые передавала очень искусно, и вскоре без труда овладела вниманием девушки: привычка к чтению и склонность к мечтательности заставляли Люси с интересом прислушиваться к подобного рода историям.

Сначала рассказы Гурли были бесхитростны и занимательны. Она говорила

О феях, пляшущих в ночной тиши,
Любовниках, на муки обреченных,
И о страдальцах, в замках заключенных,
Во власти колдунов.

Однако мало-помалу рассказы эти стали приобретать все более мрачный и таинственный характер и, наконец, сделались совсем страшными. К тому же старуха нашептывала их при свете ночника, голос ее беспрестанно прерывался, мертвенно-бледные губы дрожали, костлявый палец то и дело предостерегающе поднимался кверху, голова тряслась, а водянистые голубые глаза злобно сверкали. Все это могло бы навеять ужас даже на человека менее восприимчивого, чем Люси, и в эпоху, менее пораженную суевериями, чем та, в которую она жила. Старая ведьма тотчас сообразила, что Люси попала в ее сети, и стала ту же стягивать петлю на шее послушной жертвы. Теперь она перешла к сказаниям о Рэвенсвудах, их былом величии и грозном могуществе, которые народная молва окружила многими суевериями. Старая вещунья повторила от начала до конца всю историю рокового источника, украсив ее ужасными подробностями; она снабдила таинственными комментариями то пророчество о мертвой невесте последнего из Рэвенсвудов, которое мы уже слышали от Калеба. Наконец, она поведала Люси о призраке, явившемся Рэвенсвуду в лесу, используя преувеличенные слухи, ходившие об этом происшествии благодаря неосторожным расспросам Эдгара в хижине покойной Элис.

Если бы Люси не пала духом или если бы эти рассказы касались другого семейства, она, вероятно, отнеслась бы к ним равнодушно. Но при ее болезненном состоянии они произвели на нее сильное впечатление;

мысль о том, что злой рок тяготеет над ее несчастной любовью, овладела всем ее существом; под влиянием суеверных страхов ее рассудок, и так уже ослабевший от горя, страданий и неизвестности, подавленный сознанием того, что она покинута и одинока, окончательно помутился. В историях, сообщаемых ей слугами, было тоже много сходного с ее собственной судьбой, и мало-помалу Люси начала рассуждать с Эйлси о трагических и таинственных предметах, с каждым днем все больше доверяясь старой ведьме, хотя та по-прежнему вызывала в ней невольный трепет. Старуха не преминула ловко воспользоваться этими ростками доверия. Она стала внушать бедной девушке желание узнать будущее — вернейший способ окончательно расстроить рассудок и сломить силу духа. Эйлси принялась разъяснять предзнаменования, истолковывать сны, а возможно, прибегла и к другим плутовским средствам, которыми мнимые приспешники дьявола одурачивали и запугивали свои жертвы. В обвинительном акте против Эйлси Гурли (отрадно знать, что эту старую каргу судили, приговорили к костру и сожгли на вершине Норт-Берика по приговору специальной комиссии Тайного совета) среди прочих преступлений я нашел упоминание о том, что она с помощью дьявола показывала некоей знатной девице обручение ее жениха, находившегося тогда в чужеземной стране, с другой женщиной. Но в этой, как и в некоторых других частях обвинения, имена и даты, по-видимому, намеренно изменены; возможно, из уважения к заинтересованным лицам. Во всяком случае, совершенно ясно, что Эйлси Гурли не могла разыграть такую комедию одна, полагаясь только на свою ловкость или плутовские проделки. Как бы то ни было, вся эта ворожба произвела свое пагубное действие на больной рассудок Люси: она сделалась еще раздражительнее, здоровье ее день ото дня ухудшалось, она стала ко всему безучастной, мрачной и подавленной. Сэр Уильям, догадываясь о причинах этой перемены, решил наконец проявить какое-то подобие власти, что дотоле было ему не свойственно, и потребовал прогнать Эйлси Гурли из замка. Однако

тетива была спущена, и стрела по самую бородку во-
злизалась в бок раненой жертвы.

Вскоре после ухода Эйлси Гурли родители приступи-
ли к Люси с требованием дать ответ Бакло.

— Я знаю, — сказала она с живостью, удивившей
ее родителей, — небо, земля и ад ополчились на мой
союз с Рэвенсвудом. Но я связала себя словом: я не
могу нарушить его и не нарушу без согласия Рэвенс-
вуда. Я должна быть уверена, — добавила она, — что
он возвратит мне свободу или, если угодно, откажется
от меня. Мне безразлично, как это будет. Когда уже
нет бриллиантов, не все ли равно, в каком футляре
они хранились.

Это было сказано с такой твердостью, при этом
глаза Люси так странно сверкали, пальцы же были
так крепко стиснуты, что родители не осмелились ей
перечить. Единственное, чего при всей своей хитрости
добилась леди Эштон, — это согласия Люси написать
под ее диктовку письмо Рэвенсвуду с требованием
дать решительный ответ, намеревается ли он остаться
верным их, как говорила Люси, «несчастной помолвке»
или согласен расторгнуть ее.

Леди Эштон воспользовалась представившейся воз-
можностью и так ловко составила письмо, что, попади
оно в руки нашему благосклонному читателю, он, не-
сомненно, решил бы, что Люси просит своего возлюб-
ленного отказаться от обязательства, противоречащего
интересам и склонностям их обоих. Не полагаясь, од-
нако, на эту уловку, леди Эштон в конце концов ре-
шила уничтожить письмо, надеясь, что Люси, не по-
лучая ответа, придет в негодование и сама откажется от
Рэвенсвуда. Однако она ошиблась в своих расчетах.

Время, необходимое для получения ответа с конти-
нента, уже давно миновало. Слабый луч надежды,
озарявший сердце Люси, почти померк. И все же она
не уступала. Ее не покидала мысль, что письмо ее,
возможно, не было отправлено. Новая хитрость ма-
тери неожиданно доставила бедной девушке случай
узнать то, что ее так заботило.

После того как слуга дьявола была изгнана из
замка, леди Эштон решила все с той же целью при-

бегнуть к помощи слуги совсем иного рода — пресвитерианского священника, уже упомянутого нами достопочтенного мистера Байдибента, известного своими строгими правилами и благочестием; к нему она и обратилась, рассчитывая, что

Послушный мне священник ей докажет,
Что нет греха отречься от обета,
Который мне противен, —

как говорит тиран в одной трагедии.

Но надежды леди Эштон не оправдались. Сначала, используя предрассудки мистера Байдибента, она легко склонила его на свою сторону, изобразив ему ужасные последствия союза дочери богобоязненных, истовых пресвитериан с наследником кровожадного прелата и гонителя, чьи предки обагрили руки в крови мучеников за веру. Достопочтенный пастор тотчас вспомнил союз моавитянского пришельца с дочерью Сиона.

Однако, хотя мистер Байдибент был пропитан всеми предрассудками своей секты и исповедовал ее крайние принципы, он обладал здравым смыслом и состраданием, которому научился в той самой школе гонений, откуда люди нередко выходят с ожесточенными сердцами. Переговорив с мисс Эштон наедине, он был тронут ее горем и, поразмыслив, заявил, что она права, настаивая на том, чтобы ей позволено было самой снестись с Рэвенсвудом. Когда же Люси поделилась с ним своими сомнениями, рассказав, что не уверена, было ли вообще отправлено ее письмо, священник пришел в сильное волнение: покачивая седой головой, он то шагал по комнате, то останавливался, опираясь на посох с набалдашником из слоновой кости. Наконец, после долгих колебаний, честный пастырь признался, что эти опасения кажутся ему основательными и что он сам берется помочь ей устранить их.

— Я полагаю, мисс Эштон, — начал он, — что ваша высокочтимая матушка несколько погорячилась, хотя она действовала исключительно из любви к вам и имея в виду ваши интересы, ибо лицо, вами избранное, сын гонителя и сам гонитель, он — кавалер, или,

как их иначе называют, «злойбный», богохульник, и нет ему места в колене Иессеевом. Тем не менее мы обязаны быть справедливыми ко всем и держать слово и обязательства, данные врагам нашим в равной мере, как и братьям. И потому я сам, да, да, я сам берусь переслать письмо этому человеку, по имени Эдгар Рэвенсвуд, в надежде, что помогу вам высвободиться из тенет, коими сей грешник опутал вас. Но, поступая так, я желаю в точности соблюсти волю ваших достойных родителей, а потому прошу вас слово в слово, ничего не добавляя и не сокращая, переписать письмо, ранее продиктованное вашей поистине достойнейшей матушкой. Я приму все меры, дабы письмо сие было отправлено, и если, достойная леди, вы не получите на него ответа, вам придется заключить, что человек этот решил молчаливо уклониться от исполнения данного им слова, которое, без сомнения, не желает честно и прямо возвратить вам.

Люси с радостью приняла предложение почтенного пастора. Она написала новое письмо, в точности повторявшее предыдущее, и мистер Байдибент передал его Сондерсу Муншайну — превосходному церковному старосте на суше и отважному контрабандисту на море, смело направлявшему свой бриг наперерез ветрам, что дуют между Кампвером и восточным побережьем Шотландии. По просьбе пастора он взялся доставить письмо мастеру Рэвенсвуду, при каком бы иностранном дворе тот ни находился.

Это объяснение понадобилось нам, чтобы помочь читателю понять смысл разговора между мисс Эштон, ее матерью и Бакло, разговора, о котором мы подробно рассказали в предыдущей главе.

Люси напоминала теперь моряка, потерпевшего кораблекрушение в разбушевавшемся океане: несчастный ухватился за доску, силы его с каждым мгновением иссякают, вокруг него непроглядная тьма, изредка сверкают молнии, злобно озаряя седые валы, готовые его поглотить.

Дни шли за днями, недели за неделями. Наступил день св. Иуды — последний назначенный Люси срок, — а от Рэвенсвуда не было ни письма, ни известия.

Глава XXXII

Здесь в книге так несхожа

подпись их

С каракулями грязными других
Жених писал уверенно и прямо,
Как сосны буквы высятся упрямо,
А у невесты буквы, как цветки,
Сплели узор, изящны и легки

Крабб

Итак, день св. Иуды — последний срок, назначенный самой Люси, — наступил, а от Рэвенсвуда, как мы уже сказали, не было ни письма, ни известия. Зато Бакло и его верный приспешник Крайгенгельт не заставили себя ждать: ранним утром они уже прибыли в замок, чтобы получить окончательный ответ и подписать необходимые бумаги.

Брачный контракт был тщательно составлен под надзором самого сэра Уильяма, и ввиду слабого здоровья невесты было решено не приглашать на помолвку никого из посторонних. Свадьбу же условились отпраздновать на четвертый день после подписания контракта, на чем особенно настаивала предусмотрительная леди Эштон, опасавшаяся, как бы Люси не передумала или не заупрямилась. Однако несчастная девушка, по-видимому, уже полностью покори-лась. Она выслушала известие о предстоящей свадьбе с равнодушием отчаяния, с полным безучастием, свидетельствовавшим о глубокой подавленности. Бакло, не отличавшийся проницательностью, объяснил себе ее поведение естественным для застенчивой девицы страхом перед замужеством, тем более что Люси, как он превосходно знал, шла за него, подчиняясь воле родителей, а не велению собственного сердца.

После положенных приветствий Люси разрешили на некоторое время удалиться к себе для совершения туалета, ибо леди Эштон заявила, что брак только тогда бывает счастливым, когда контракт подписан до полудня.

Люси позволила служанкам одеть себя для предстоящей церемонии по собственному вкусу и разуме-

нию, и они облекли ее в роскошный наряд, надев на нее платье из белого атласа и брюссельских кружев, убрали ей волосы множеством бриллиантов, хотя праздничный блеск камней явно не соответствовал смертельной бледности невесты и тревожному выражению ее глаз.

Едва туалет был закончен, как явился Генри, чтобы отвести покорную сестру в гостиную, где все было готово для подписания брачного контракта.

— Знаешь, Люси, — сказал Генри, — я рад, что ты выходишь за Бакло, а не за Рэвенсвуда. Он похож на испанского гранда, и мне всегда казалось, что он собирается перерезать нам глотки, чтобы потом топтать наши трупы ногами. Я рад, что он сейчас за тридевять земель отсюда. Никогда не забуду, как я испугался, когда принял его за оживший портрет сэра Мэлиза. Скажи по совести, Люси, разве ты не рада, что от него отделалась?

— Оставь меня, Генри, — ответила несчастная девушка, — мне все на свете опостылело.

— Э, все невесты так говорят, — засмеялся Генри. — Но ничего, не огорчайся, через год ты запоешь совсем другое. Знаешь, я буду твоим шафером и поеду во главе процессии. Все родственники, знакомые и союзники, наши и Бакло, будут сопровождать тебя в церковь. Я надену пунцовый камзол с кружевами, шляпу с пером, золотую перевязь point d'Espagne¹ и кинжал вместо шпаги. Я, конечно, предпочел бы шпагу, но отец и слышать об этом не хочет. Все это и пропасть всякого добра старый Гилберт доставит сегодня вечером из Эдинбурга на мулах. Я покажу тебе свои обновки, как только он приедет.

Появление леди Эштон, уже начинавшей беспокоиться из-за долгого отсутствия дочери, прервало болтовню мальчика. С нежнейшей улыбкой мать взяла Люси под руку и повела в зал, где их уже ждали сэр Уильям Эштон, полковник Дуглас Эштон в полной парадной форме, Бакло в нарядном костюме жениха,

¹ Испанского кружева (франц.).

Крайгенгельт, облаченный щедротами своего патрона с головы до пят во все новое и разукрашенный кружевами, как, по его разумению, следовало одеваться капитану, а также преподобный мистер Байдибент, ибо в правоверных пресвитерианских семействах присутствие пастора во всех торжественных случаях считалось совершенно необходимым.

На столе, где был разложен брачный контракт, стояли вина и закуски.

Но, прежде чем собравшиеся подписали бумаги и принялись за угощение, мистер Байдибент, по знаку сэра Уильяма, пригласил их сотворить вместе с ним молитву о ниспослании благодати на брачный союз, заключаемый между достойными сторонами. С обычной для того времени простотой, позволявшей пастырю говорить без околичностей, он просил всевышнего излечить скорбную душу Люси в награду за покорность достойнейшим родителям, ибо, почтив отца и мать своих, она исполнила заповедь господи нашего, а потому да пребудет в счастье и радости отныне и во веки веков. Потом он просил господи избавить жениха от дурных привычек, отвращающих юношей от стези добродетели, и наставить его, дабы порвал с недостойными друзьями: безбожниками, возмутителями и пьяницами (при этих словах Бакло подмигнул Крайгенгельту), и не знался с людьми, толкающими его на стезю греха. В заключение мистер Байдибент просил небо ниспослать божественную благодать на сэра Уильяма, леди Эштон и все их семейство и, таким образом, не обошел никого из присутствующих, за исключением Крайгенгельта, которого, надо полагать, считал закоснелым грешником, недостойным молитвы своей.

Вслед за этим хозяева и гости приступили к делу, ради которого собрались. Сэр Уильям подписал контракт с надлежащей торжественностью и аккуратностью, его сын подмахнул бумаги с небрежностью военного, Бакло ставил свое имя с молниеносной быстротой, едва только Крайгенгельт переворачивал страницы, и, кончив, вытер перо о кружевное жабо этого достойного джентльмена.

Теперь настала очередь Люси. Заботливая мать сама подвела ее к столу. Сначала невеста коснулась бумаги сухим пером; когда же ей указали на это, она никак не могла попасть в массивную серебряную чернильницу, стоящую прямо перед ней. Леди Эштон поспешила прийти ей на помощь.

Я сам видел этот роковой контракт. Имя Люси Эштон четко выведено под каждой страницей, и только чуть заметная кривизна букв указывает на то, что рука ее дрожала. Последняя же подпись не закончена, написана неразборчиво и размазана: дело в том, что как раз в тот момент послышался лошадиный топот, затем торопливые шаги по галерее и повелительный голос — приезжий требовал, чтобы его тотчас выпустили в зал.

— Это он, это он! — вскрикнула Люси, и перо выпало из ее рук.

Глава XXXIII

Как, этот голос! Среди нас —
Монтекки!

Эй, паж, мой меч!..

О нет, клянусь я честью
предков всех,

Убить его я не сочту за грех!

«Ромео и Джульетта»¹

Не успело еще перо выпасть из рук мисс Эштон, как дверь в зал распахнулась и Эдгар Рэвенсвуд появился на пороге.

Локхард и второй слуга, тщетно пытавшиеся преградить ему доступ в зал, теперь в оцепенении застыли за его спиной; их испуг немедленно сообщился всем присутствующим. На лице полковника Эштона можно было прочесть не только страх, но и гнев; Бакло изобразил высокомерие и подчеркнутое безразличие; остальные, даже леди Эштон, не могли скрыть своего ужаса; Люси окаменела, словно перед ней

¹ Перевод Т. Щепкиной-Куперник.

был не человек, а призрак. Рэвенсвуд и в самом деле походил скорее на призрак, чем на живое существо.

Эдгар остановился посреди зала, против стола, у которого сидела Люси; не обращая ни на кого внимания, словно она была там одна, он устремил на нее взгляд, исполненный глубокой печали и нескрываемого негодования. Его темный дорожный плащ, соскользнув с одного плеча, ниспадал широкими складками наподобие мантии; богатая одежда была в беспорядке и забрызгана грязью от быстрой езды; сбоку висела шпага, а из-за пояса торчали пистолеты. Навдвинутая на лоб шляпа, которую он не снял при входе, бросала тень на его смуглое от природы лицо; обычно суровое, ныне же осунувшееся от горя и мертвенно-бледное после продолжительной болезни, оно имело теперь жестокое, даже свирепое выражение. В беспорядке ниспадавшие из-под шляпы волосы и застывшая поза делали его похожим на мраморную статую. Он не произнес не единого слова: несколько минут прошло в глубоком молчании.

Наконец к леди Эштон вернулось ее обычное самообладание, и она пожелала узнать, чем вызвано это дерзкое вторжение.

— Миледи, — сказал полковник, — разрешите мне предложить мастеру Рэвенсвуду этот вопрос и просить его последовать за мной, чтобы поговорить наедине.

— Нет, — перебил его Бакло, — я никому не уступлю права требовать объяснений у мастера Рэвенсвуда. Крайгенгельт, — сказал он, меняя тон, — что вы таращите глаза, словно увидели призрак, черт вас возьми! Мою шпагу! Живо!

— Простите, — заявил полковник, — я настаиваю на моем праве первым требовать удовлетворения у этого человека, нанесшего такое неслыханное оскорбление моей семье!

— Успокойтесь, джентльмены, — сказал Рэвенсвуд, поворачиваясь к ним и подымая руку, словно предлагая прекратить споры, — успокойтесь. Если жизнь опостылела вам так же, как мне, поверьте, я найду время и место для поединка с каждым из вас. Но сейчас мне не до пустяков.

— Не до пустяков! — повторил полковник, обнажая шпагу.

— Не до пустяков! — закричал Бакло, хватаясь за эфес шпаги, принесенной ему Крайгенгельтом.

Сэр Уильям в страхе за сына бросился между ним и Рэвенсвудом.

— Сын мой, я тебе запрещаю! — воскликнул он. — Бакло, умоляю вас! Именем королевы и закона — ни с места!

— Именем господи нашего, — вскричал Байдибент и, воздев руки к небу, встал между противниками, — именем господи нашего, ниспославшего на землю мир и благоволение, я прошу вас, я приказываю, я требую — откажитесь от насилия. Алчущий крови не угоден господу. Поднявший меч от меча да погибнет!

— За кого вы меня принимаете, сэр! — воскликнул полковник, гневно глядя на пастора. — Чтобы я снес такую обиду в доме моего отца? Пустите меня, Бакло! Он сейчас же даст мне удовлетворение, или, клянусь небом, я немедленно убью его как собаку.

— Ну нет, этого я не позволю, — ответил Бакло. — Он спас мне жизнь, и, будь он сам дьявол, вознамерившийся погубить ваш дом и род, вы убьете его не иначе, как в честном поединке.

Воспользовавшись несогласием, возникшим в стане противника, Рэвенсвуд заговорил снова.

— Успокойтесь, джентльмены! — сказал он решительно. — Если вы ищете опасности, вам придется немного подождать, пока я освобожусь. Мое дело не потребует много времени. Ваша ли это рука, мисс? — спросил он более мягким тоном, протягивая Люси ее письмо.

Чуть слышное «да» сорвалось с ее губ: казалось, она едва сознает, что говорит.

— И это тоже ваш почерк? — продолжал он, протягивая ей их тайный брачный контракт.

Люси молчала. Страх, а может быть, более сильное чувство, сковал ее разум, и едва ли она понимала, о чем ее спрашивают.

— Если вы намерены предъявлять какие-то требования на основании этих бумаг, — вмешался сэр Эш-

тон, — то предупреждаю вас: они не имеют никакой юридической силы.

— Сэр Уильям Эштон, — сказал Рэвенсвуд, — я прошу вас и всех присутствующих здесь выслушать меня и постараться правильно понять, чего я хочу. Если мисс Эштон, как мне показалось из ее последнего письма, по собственной воле и собственному желанию требует расторгнуть нашу помолвку, эта бумага будет иметь для меня не больше цены, чем сорванный осенним ветром лист, валяющийся на земле. Но я хочу услышать отказ из ее собственных уст. И, не получив его, я не уйду отсюда. Вас здесь много, а я один, и вы можете убить меня, но я вооружен, доведен до отчаяния и дорого продам свою жизнь. Вот вам мое последнее слово: я должен услышать решение вашей дочери от нее самой; от нее самой, наедине, без свидетелей. Теперь выбирайте, — прибавил он: правой рукой он вынул шпагу из ножен, левой достал из-за пояса пистолет и, взведя курок, опустил дулом вниз. — Выбирайте, — повторил он, — либо кровь обогреть этот зал, либо вы дадите мне возможность объясниться с моей нареченной невестой, на что я имею полное право по законам божеским и законам этой страны.

Все невольно отпрянули, уstraшенные звуком его голоса и решительным видом: человек, одержимый отчаянием, всегда берет верх над людьми, охваченными более мелкими чувствами. Пастор первым прервал молчание.

— Именем господа нашего, — сказал он, обращаясь к сэру Уильяму, — умоляю вас, не отвергайте посредничества смиренного слуги его. Требование мастера Рэвенсвуда, угрожающего нам насилием, кажется мне основательным. Пусть мисс Люси скажет ему, что она сама сочла нужным согласиться с желанием своих родителей и рассказывает в данном ему слове. И тогда он удалится с миром и не станет больше тревожить нас. Увы! Роковые следствия грехопадения праотца нашего Адама сказываются даже в созданиях, искупленных спасителем; нам же следует выказывать христианское долготерпение к людям, которые,

пребывая во гневе и несправедности, поддаются неуправляемому потоку страстей своих. Удостоите мастера Рэвенсвуда объяснением, на котором он настаивает. Оно не сможет глубоко ранить сердце мисс Эштон, ибо эта благородная девица уже твердо решила следовать выбору своих достойных родителей. И да будет так, говорю я. Мой долг просить вас согласиться на это мое предложение.

— Никогда! — вскричала леди Эштон, в сердце которой злоба пересилила удивление и страх. — Никогда этот человек не останется наедине с моей дочерью, нареченной невестой другого джентльмена! Уходите, если вам угодно, я остаюсь. Я не боюсь ни угроз, ни оружия, хотя кое-кто из моей родни, — прибавила она, бросая взгляд на полковника, — кажется, испугался.

— Ради бога, миледи, — воскликнул достойный пастьер, — не подливайте масла в огонь. Я уверен, что мастер Рэвенсвуд, принимая в соображение нездоровье мисс Эштон и ваш материнский долг, не станет противиться вашему желанию присутствовать при его разговоре с мисс Люси. Я тоже останусь: быть может, мои седины предотвратят ненужные вспышки гнева.

— Пожалуйста, сэр, — сказал Рэвенсвуд. — Пусть леди Эштон также останется, если ей угодно. Но остальных я попрошу удалиться.

— Вы мне за все ответите, Рэвенсвуд, — сказал полковник, устремляясь мимо него к выходу.

— Когда вам угодно, — отозвался Рэвенсвуд.

— Не забудьте, — криво улыбнулся Бакло, — что вам прежде придется встретиться со мной: у нас с вами старые счеты.

— Разбирайтесь между собой как знаете, — ответил Рэвенсвуд, — но сегодня попрошу вас оставить меня в покое. Завтра же я сочту самым важным для себя делом дать вам обоим удовлетворение, любое, какое вы сочтете нужным.

Полковник Эштон и Бакло удалились, но сэр Уильям решил задержаться.

— Мастер Рэвенсвуд, — сказал сэр Уильям примирительным тоном, — я, кажется, ничем не заслужил

этого позора, этого взрыва ненависти в собственном доме. Если вы вложите шпагу в ножны и проследуете за мной в кабинет, то при помощи самых неопровержимых доводов я докажу вам всю бесполезность предлагаемого вами разбирательства.

— Завтра, сэр, завтра! — перебил его Рэвенсвуд. — Завтра я выслушаю все, что вам угодно, но сегодня мне надлежит заняться другим священным и необходимым для меня делом.

С этими словами он указал на дверь, и сэр Уильям послушно вышел из комнаты.

Рэвенсвуд вложил шпагу в ножны, разрядил пистолет и спрятал его за пояс, затем запер двери зала, возвратился к столу и, сняв шляпу, устремил на Люси взгляд, исполненный жгучего горя, в котором словно растворилась вся его недавняя ярость.

— Вы узнаете меня, мисс Эштон, — начал он, откидывая назад спадавшие на лоб волосы. — Я Эдгар Рэвенсвуд.

Люси молчала.

— Да, — продолжал он все с большим и большим воодушевлением, — я Эдгар Рэвенсвуд, который из любви к вам порвал священные узы, обязывающие его мстить за поправленную честь рода. Я тот самый Рэвенсвуд, который ради вас простил давние обиды; более того — я дружески жал руку гонителю и разорителю моего семейства, человеку, оклеветавшему и убившему моего отца.

— Моя дочь, — прервала его леди Эштон, — не имеет оснований сомневаться в том, что вы Рэвенсвуд: злобная ненависть, которой пышет ваша речь, не замедлила напомнить ей, что перед нею смертельный враг ее отца.

— Прошу вас, не перебивайте меня, миледи, — возразил Рэвенсвуд. — Я жду ответа от вашей дочери. Итак, я продолжаю. Мисс Эштон! Я Рэвенсвуд, которому вы дали клятву в верности. Правда ли, что вы хотите отречься от нее и взять назад свое слово?

Бескровные губы Люси зашевелились.

— Этого хочет моя мать, — еле слышно произнесла она.

— Это правда! — воскликнула леди Эштон. — Именно я, по праву, данному мне богом и людьми, не только посоветовала моей дочери, но и поддержала ее намерение отказаться от злополучного, опрометчиво данного ею слова и считать, согласно священному писанию, эту помолвку недействительной.

— Священному писанию! — презрительно усмехнулся Рэвенсвуд.

— Мистер Байдибент, — обратилась леди Эштон к священнику, — прочтите текст, в силу которого вы сами после долгих раздумий объявили недействительной мнимую помолвку, на которой настаивает этот иступленный безумец.

Пастор достал из кармана библию, отстегнул застежки и прочел следующее:

— «Если женщина даст обет господу и положит на себя зарок в доме отца своего в юности своей, и услышит отец обет ее и зарок, который она положила на душу свою, и промолчит о том отец ее, то все обеты ее состоятся и всякий зарок ее, который она положила на душу свою, состоится».

— Именно о нас говорят приведенные вами слова, — воскликнул Рэвенсвуд.

— Терпение, молодой человек, терпение, — остановил его пастор, — слушайте, что сказано далее: «Если же отец ее, услышав, запретит ей, то все обеты ее и зарок, которые она возложила на душу свою, не состоятся и господь простит ей, потому что запретил ей отец ее».

— Ну! — торжествующе крикнула леди Эштон. — Разве не о нас говорят приведенные здесь слова? Посмеет ли он отрицать, что, как только мы, родители обманутой им девушки, узнали о данном ею обете, или зароке, который она возложила на свою душу, мы тотчас решительно воспротивились ее поступку и письменно уведомили этого джентльмена о нашем решении.

— И это все? — воскликнул Рэвенсвуд, повернувшись к Люси. — Неужели ради этих жалких, лицемерных софизмов вы соглашаетесь нарушить священную

клятву, которую дали по доброй воле, и принести в жертву нашу любовь?

— Слышите? — закричала леди Эштон. — Он богохульствует!

— Да простит ему господь! — вздохнул пастор. — И да наставит его на путь истины!

— Вспомните, чем я пожертвовал ради вас, — продолжал Рэвенсвуд, по-прежнему обращаясь к Люси. — Честь древнего рода, советы друзей — ничто не могло поколебать моего решения: ни доводы рассудка, ни предзнаменования не могли заставить меня отказаться от вас. Мертвые выходили из гробов, чтобы предvarить меня об опасности, но я не внял их предостережениям. Неужели в благодарность за мою верность вы пронзите мне сердце тем самым оружием, которое, слепо веря вам, я сам вложил в ваши руки?

— Мастер Рэвенсвуд, — прервала его леди Эштон, — вы задали все вопросы, которые сочли нужными. Вы видите, что моя дочь не в силах говорить с вами. Но я отвечу за нее раз и навсегда. Вы хотите знать, по своей ли воле Люси Эштон взяла назад слово, которое вы выманили у нее? У вас в руке письмо, написанное моей дочерью, в котором она просит вас расторгнуть помолвку. Если вам мало этого доказательства — взгляните: вот брачный контракт с мистером Хейстоном Бакло, который она только что подписала в присутствии этого distinguished джентльмена.

Рэвенсвуд взглянул на лежащие перед ним листы и словно окаменел.

— Мисс Эштон сама подписала этот контракт? Без насилия? Без обмана? — спросил он пастора.

— Сама, — ответил Байдибент, — клянусь вам в этом.

— Что ж, миледи, вы представили неопровержимые доказательства, — мрачно сказал Рэвенсвуд. — Бессмысленно, да и недостойно тратить время на пустые уговоры и упреки. Вот, мисс Эштон, возвращаю вам залог вашей первой любви, — и он положил перед Люси ее обязательство и половинку золотой моне-

ты. — Желаю вам сохранить верность слову, данному вами ныне, и попрошу вас вернуть мне свидетельство моего обманутого доверия, или, вернее, моего безумия.

Люси ответила на презрительные речи своего возлюбленного бессмысленным взглядом; однако она, по-видимому, что-то уловила из его слов, так как подняла руку, словно желая развязать голубую ленту, обвивавшую ее шею. Но силы оставили ее, и леди Эштон поспешила прийти ей на помощь. Перерезав ленту, она сняла с нее половинку золотой монеты, которую Люси все еще носила на груди, — письменное обещание Рэвенсвуда давно уже находилось в руках леди Эштон, — и с надменным поклоном протянула то и другое молодому человеку.

«И она могла носить мой дар! — подумал он, и гнев его заметно смягчился. — Носить на груди... Носить у сердца! Даже в ту минуту, когда она... Но к чему сожаления!»

Отерев набежавшую на глаза слезу, Рэвенсвуд с прежней решительностью подошел к камину, бросил в огонь листок бумаги вместе с кусочком золота и, словно стремясь убедить себя в том, что все кончено, раздавил угли каблуком.

— Я не стану более докучать вам, миледи, — сказал он леди Эштон. — В ответ на ваши зложелательства и интриги я позволю себе только выразить надежду, что вы не станете больше играть честью и счастьем вашей дочери. А вам, мисс, — прибавил он, взглянув на Люси, — скажу: дай бог, чтобы люди не показывали на вас пальцем, как на клятвопреступницу.

С этими словами Рэвенсвуд повернулся и вышел из зала.

Опасаясь встречи с Рэвенсвудом, сэр Уильям просьбами и угрозами увлек сына и Бакло в отдаленную часть замка. Однако, когда Эдгар спускался по большой лестнице, Локхард подал ему записку от Шолто Дугласа Эштона. Полковник просил уведомить его, где он сможет найти мастера Рэвенсвуда через четыре или пять дней, ввиду необходимости по окончании

семейного торжества уладить с ним одно важное дело.

— Передайте полковнику Эштону, — холодно ответил Рэвенсвуд, — что я к его услугам и жду его в башне «Волчья скала».

Когда Эдгар спускался по внешней лестнице, ведущей к воротам, его нагнал Крайгенгельт и от имени своего принципала выразил надежду, что Рэвенсвуд не покинет берегов Шотландии по крайней мере в течение ближайших десяти дней, ибо лорд Бакло желал бы отблагодарить его за некоторые прошлые, равно как и недавно оказанные услуги.

— Скажите вашему хозяину, — раздраженно ответил Рэвенсвуд, — что я буду в башне «Волчья скала». Он найдет меня там в любое время, если смерть не опередит его.

— Моему хозяину! — возмутился Крайгенгельт, осмелев при виде появившихся на террасе полковника и Бакло. — Да будет вам известно, что нет на земле человека, которого бы я признал своим хозяином. Я не позволю оскорблять себя.

— Так отправляйтесь в ад. Там ваш хозяин! — крикнул Рэвенсвуд, давая волю накипевшей ярости, и с такой силой отшвырнул от себя капитана, что тот кубарем скатился с лестницы и распластался внизу без чувств.

«Какой я глупец! — подумал Рэвенсвуд. — Зачем я набросился на этого презренного труса!»

Стремительно вскочив на лошадь, оставленную перед замком у балюстрады, он пустил ее шагом. Полковник и Бакло наблюдали за ним с террасы. Поравнявшись с ними, Эдгар приподнял шляпу и пристально посмотрел им в глаза. Они ответили таким же пристальным и мрачным взглядом. Затем Эдгар медленно проехал по аллее, словно желая показать, что не избегает, а скорее ищет с ними встречи, но, миновав ворота, обернулся, в последний раз взглянул на замок, прищипорил коня и поскакал прочь с быстротою адского духа, выпущенного на волю заклинателем.

Кто был в покое новобрачных?
То ангел смерти Азраил.

«Талаба»

После этой ужасной сцены Люси перенесли в ее комнату, где она пролежала несколько часов в полном оцепенении. На следующий день силы и твердость духа, казалось, к ней вернулись, но вместе с тем появилась какая-то безудержная веселость, вовсе не соответствовавшая ее характеру и тем более состоянию. Вспышки безумного смеха перемежались с приступами молчаливой тоски и припадками необычайной раздражительности. Леди Эштон не на шутку встревожилась и послала за докторами. Они явились, пощупали пульс, не нашли в нем никаких изменений и, объявив, что больная страдает душевным недугом, прописали моцион и развлечения.

Люси ни словом не обмолвилась о том, что было накануне. Казалось, она ничего не помнила из того, что произошло, так как то и дело проводила рукой по шее, словно отыскивая голубую ленту, и, не находя ее там, удивленно и разочарованно бормотала:

— Эта нить связывала меня с жизнью.

Несмотря на эти явные симптомы безумия, леди Эштон зашла уже слишком далеко, чтобы отложить свадьбу дочери, даже при ее теперешнем состоянии. Напротив, она употребила все усилия, чтобы скрыть болезнь Люси от Бакло, ибо превосходно знала, что стоит ему заметить малейшее нерасположение к себе со стороны невесты, как он тотчас расторгнет помолвку, к величайшему стыду и бесчестию семьи. Поэтому леди Эштон решила, что, если Люси не станет хуже, свадьба совершится в назначенный день. Она утешала себя надеждой, что перемена места, обстановки и новое окружение скорее и вернее исцелят расстроенное воображение ее дочери, нежели все медленные средства, предложенные учеными докторами. Сэр Уильям, лелеявший мысль о возвеличении своего семейства и искавший поддержки против успешных про-

исков маркиза́ Э***, -охотно согласился на то, чему он все равно, надо полагать, не мог бы помешать, если бы даже захотел. В свою очередь, Бакло и полковник Эштон даже слушать не хотели об отсрочке: по их мнению, после всего случившегося было бы позором отложить свадьбу хотя бы на час, так как кто-нибудь мог подумать, что они испугались непрошеного визита Рэвенсвуда и его угроз.

Впрочем, если бы Бакло знал о физическом или, лучше сказать, душевном состоянии мисс Эштон, он едва ли стал бы ее торопить. Но, по тогдашнему обычаю, жених и невеста могли видаться очень редко, да и то недолго, — обстоятельство, оказавшееся на руку леди Эштон, — так что Бакло не только не знал, но даже и не подозревал о недуге своей будущей жены.

Накануне дня свадьбы у Люси снова был припадок необычайной веселости: она с детским любопытством пересмотрела все наряды, приготовленные для членов семьи по случаю предстоящей церемонии.

Утро этого памятного дня выдалось великолепное. Нарядные гости съезжались со всех сторон. Не только родственники сэра Уильяма Эштона и еще более знатная родня его супруги, а также множество друзей и близких Бакло, все пышно разодетые, верхом на великолепных конях, покрытых богатыми чепраками, — но и каждое мало-мальски значительное пресвитерианское семейство на пятьдесят миль в округе почли своим долгом присутствовать на свадьбе, которую рассматривали как победу, одержанную над маркизом Э*** в лице его родственника Рэвенсвуда. После роскошного завтрака все стали собираться в церковь. Вышла невеста в сопровождении матери и брата Генри. Вчерашняя веселость уступила место глубокой задумчивости, что несколько не противоречило торжественному обряду. Глаза Люси блестели, на щеках играл румянец, чего давно уже не было, и, когда она появилась, сияя великолепием наряда, среди гостей поднялся восхищенный гул, в котором слышны были даже голоса дам. Пока гости садились на лошадей, сэр Уильям — человек миролюбивый, к тому же во всем любивший порядок — пожурил младшего сына

за то, что тот нацепил не по росту длинную саблю, принадлежавшую старшему брату.

— Уж если тебе во что бы то ни стало понадобилось надеть оружие для такой мирной церемонии, — сказал он, — так взял бы кинжал, который я нарочно выписал для тебя из Эдинбурга.

Мальчик сказал, что кинжал затерялся.

— Скорее всего ты сам его куда-нибудь запрятал, — заметил отец, — лишь бы покрасоваться с этой огромной саблей на боку, которая под стать разве что сэру Уильяму Уоллесу. Ну, все равно, садись на лошадь и смотри за сестрой.

Генри повиновался и занял место в центре блестящей кавалькады. Он был так занят своей саблей, вышитым камзолом, шляпой с перьями и отлично выезженным конем, что ни на кого не обращал внимания; но впоследствии он до самой смерти вспоминал, что когда подсаживал сестру на лошадь, ее влажная рука была холодна, как могильный мрамор.

Свадебный кортеж, пестрой лентой растянувшись по холмам и долам, достиг наконец приходской церкви, которая едва вместила его, ибо, не считая домочадцев, в нем было более ста мужчин и женщин. Венчание было совершено по обрядам пресвитерианской церкви, к которой с некоторых пор принадлежал и Бакло. На паперти под присмотром Джона Мордшуха, недавно получившего повышение в чине и сменившего обязанности привратника заброшенного кладбища на должность сторожа Рэвенсвудской церкви, было роздано щедрое подаяние нищим всех соседних приходов. Эйлси Гурли и две ее подружки, те самые, что обряжали покойную Элис, усевшись поодаль на могильной плите, завистливо сравнивали полученные ими дары.

— Все-таки мог бы Джон Мордшух вспомнить старые времена и уважить старых приятельниц, хотя он и вырядился нынче в черную рясу, — прошамкала Энни Уинни. — Вместо шести селедок мне досталось только пять, да и те никуда не годятся, а кусок говядины по крайней мере на целую унцию меньше, чем у

остальных. И разве это мясо? Одни жилы. Вот твой кусочек, Мегги, кажется от лопатки.

— Мой? — отозвалась параличная старуха. — Одни кости! Уж коли эти богатеи суют бедняку подачку на свадьбах да похоронах от щедрот своих, так могли бы хоть дать что-нибудь получше.

— Э-э, милая, — усмехнулась Эйлси Гурли. — Они раздают милостыню вовсе не из любви к нам. Их нимало не заботит, сыты мы или умираем с голода. Да они не посовестились бы сунуть нам камень вместо хлеба, если бы это потешило их тщеславие. Да еще потребовали бы от нас благодарности, словно и впрямь служат ближним из христианской любви.

— Истинная правда, — согласилась ее подруга.

— Эйлси, ты самая старшая из нас, скажи, видала ли ты такую пышную свадьбу?

— Свадьба хороша, — ответила Эйлси, — только похороны будут еще лучше.

— Люблю похороны, — сказала Энни Уинни. — Кормят на поминках не хуже, чем на свадьбах, и не заставляют при этом скалить зубы, умильно хихикать, делать радостное лицо и желать счастья их пустоголовым светлостям, которые обходятся с нами не лучше, чем со скотиной. Нет, уж я люблю похороны — получил милостыньку и пой себе на здоровье славную песенку:

Есть хлеб у меня и монетка в мошне,
Не лучше тебе, да не хуже и мне ¹

— Что правда, то правда, Энни. Пошли нам бог ведро в июле да побольше покойников.

— А не скажешь ли, матушка Гурли, — продолжала хромая, — ведь ты у нас самая старшая и самая

¹ Реджиналд Скотт сообщает о старухе, успешно лечившей различные болезни, за что она была обвинена в колдовстве. Когда стали выяснять, как и на каких условиях старуха эта занималась врачеванием, оказалось, что за свои услуги она брала только каравай хлеба и серебряную монету, а все колдовство, при помощи которого удалось излечить столько недугов, заключалось в исполнении той самой песенки, что приведена нами выше (Прим. автора)

умная — кто из этих веселых господ первым отпра-
вится на тот свет?

— Видите вон ту щеголиху, убранную золотом и драгоценностями? Вон ту, которую подсаживают на белую лошадь позади молоденького вертопраха в пунцовом камзоле, с длинной саблей на боку.

— Да ведь это новобрачная! — воскликнула Энни Уинни, и даже ее холодное сердце затрепетало от жалости. — Это сама новобрачная! Такая молодая, такая красивая, такая богатая! Неужто час ее близок?

— Пора шить для нее саван, говорю я вам, — сказала вешунья. — В песочных часах ее, что держит смерть, высыпаются уже последние крупинки. И что тут удивительного — немало их трясли, эти часы! Скоро начнут падать листья, но ей не видать, как в день святого Мартина ветер станет кружить их по земле.

— Ты, кажется, три месяца ходила за ней, — сказала параличная старуха, — и получила за это, чтобы не соврать, два золотых?

— Как же, как же, — криво усмехнулась Эйлси, — и сэр Уильям посулил мне красную рубашку в придачу, позорный столб, веревку и бочку смолы. Недурно? Все за то, что я с утра до вечера нянчилась с его слабоумной дочкой. Приберег бы лучше такой подарочек для своей женушки.

— Говорят, с ней опасно иметь дело, — сказала Энни Уинни.

— Глядите, — оживилась Эйлси Гурли, — вон она гарцует на серой кобыле. Ишь какой гордой красавицей сидит в седле! А ведь в ней одной больше дьявольщины, чем во всех шотландских ведьмах, что когда-либо летали на шабаш над Норт-Бериком.

— Что вы тут мелете о ведьмах, старые образины! — прикрикнул на них Мордшух. — Уж не творите ли вы здесь чары, чтоб накликать беду на молодых? Убирайтесь подобру-поздорову! А то как возьму дубинку, так живо найдете дорогу до дому.

— Ой, ой, ой! — притворно запричитала Эйлси Гурли. — Как же мы возгордились в новой черной

рясе и напудренном парике! Будто уж сами никогда не знавали ни голода, ни холода. И мы, конечно, будем сегодня пикировать на скрипке и потешать гостей в замке вместе с другими горе-музыкантами, сбежавшими сюда со всей округи? Смотри, как бы у тебя дека не треснула, Джонни. Вот так-то, дружок!

— Будьте свидетелями, люди хорошие, — вскричал Мордшух, — она грозитя насрать на меня беду, порчу на меня напускает. Ну, погоди ж ты у меня. Если нынче ночью со мной что случится или скрипка моя сломается, так тебе не поздоровится. Век меня будешь помнить. Потащу тебя и в суд и в синод. Я теперь сам вроде пастора: не кто-нибудь, а церковный сторож в большом приходе.

Если взаимная ненависть, существовавшая между старыми колдуньями и остальной частью рода человеческого, отвратила их сердца от веселья, то этого никак нельзя было сказать об окрестных жителях. Великолепие свадебного поезда, яркие наряды, резвые кони, праздничный вид красивых женщин и блестящих кавалеров, прибывших на венчание, — все это произвело свое обычное действие на толпу. Когда же жених и невеста вышли из церкви, народ приветствовал их криками: «Да здравствуют Эштоны и Бакло!», грянули выстрелы из пистолетов, ружей и мушкетенов — салют в честь новобрачных, и все собравшиеся повалили в замок. Правда, нашлось несколько стариков и старух, подтрунивавших над помпезным шествием выскочек Эштонов и вспоминавших былые дни благородных Рэвенсвудов, но и они, соблазнившись обильным угощением, которое в этот день ожидало в замке и богатых и бедных, несмотря на предубеждение, признали власть l'Amphitrion où l'on dîne.¹

Таким образом, сопровождаемая многочисленной свитой, состоящей из богатых, равно как и бедных, Люси возвратилась под родительский кров. Бакло всю дорогу ехал рядом с молодой женой, но, не зная, как вести себя в новом положении, заботился только о том, чтобы показать себя и свое искусство наездника,

¹ Амфитриона, у которого обедают (франц.).

отнюдь не стремясь завязать с Люси беседу. Наконец под несмолкаемый гул радостных приветствий новобрачные благополучно прибыли в замок.

В старину свадьбы справлялись пышно, при большом стечении народа — обычай, отвергнутый в наш более утонченный век. Эштоны задали гостям роскошный пир, остатков которого хватило не только слугам, но и горланящей у дверей толпе; при этом хозяева приказали выкатить множество бочонков эля, так что веселье во дворе не уступало ликованию в покоях замка. Мужчины, по обычаю того времени, долго сидели за столом, ублажая себя дорогими винами, тогда как дамы с нетерпением ожидали их появления в зале, чтобы, как водится, завершить свадебное празднество балом. Наконец, довольно поздно, мужчины, разгоряченные вином и оживленные ввиду радостного события, явились в зал и, сняв шпаги, пригласили потерявших всякое терпение дам на танцы. На хорах уже играла музыка, разносившаяся под сводами древнего замка. Хотя по правилам этикета бал должны были открыть новобрачные, леди Эштон, сославшись на нездоровье дочери, сама подала руку Бакло и предложила ему начинать.

Но в ту минуту, когда, грациозно откинув голову, леди Эштон застыла в ожидании первого удара смычка, возвещавшего начало танца, она вдруг увидела странную перемену в убранстве зала.

— Кто посмел заменить портрет? — невольно воскликнула она.

Все взоры мгновенно устремились на стену, и те из гостей, кому приходилось бывать в этом зале раньше, с удивлением заметили, что на месте изображения отца сэра Уильяма висел теперь портрет сэра Мэлиза Рэвенсвуда, словно с гневом и мстительной усмешкой взиравшего на собравшееся здесь общество. Подменить портрет могли лишь в короткий промежуток времени, когда зал оставался пустым, и никто ничего не заметил, пока не зажгли люстры и канделябры для бала. Мужчины, со свойственной им надменностью и горячностью, потребовали немедленно разыскать

виновника, оскорбившего хозяина и всех гостей; но к леди Эштон уже вернулось самообладание, и она объявила, что это — не стоящая внимания проделка полоумной служанки, содержащейся в замке из милости: бедняжка наслушалась рассказов Эйлси Гурли о «прежнем семействе», как леди Эштон называла Рэвенсудов. Злополучный портрет немедленно вынесли, и леди Эштон открыла бал. Грациозность и достоинство заменяли ей очарование юности, и, глядя на нее, нельзя было не согласиться с неумеренными похвалами, которые расточали ей старики, уверявшие, что она танцует несравненно лучше молодых.

Возвратившись на место, леди Эштон обнаружила, что, как и следовало ожидать, Люси покинула зал, и тотчас поспешила за нею следом, намереваясь изгладить то тяжелое впечатление, которое, по всей вероятности, должна была произвести на дочь таинственная замена портрета. По-видимому, опасения леди Эштон не оправдались, так как примерно через час она вернулась к гостям и, подойдя к новобрачному, шепнула ему что-то на ухо, после чего тот вышел из круга танцующих и исчез. Музыка играла все громче, пары кружились в танце со всем пылом молодости, вдохновляемой весельем и праздничным настроением, как вдруг раздался страшный, пронзительный вопль. Музыка замолкла, танцы прекратились. Крик повторился. Тогда полковник Эштон, схватив канделябр и потребовав у Генри, исполнявшего обязанности шафера, ключ от спальни новобрачных, бросился туда, сопровождаемый сэром Уильямом, леди Эштон и несколькими ближайшими родственниками; гости, оцепенев от ужаса, ожидали их возвращения.

Подойдя к спальне, Шолто постучался и окликнул сестру и Бакло, но ответа не последовало: из спальни слышались только приглушенные стоны. Тогда полковник решительно толкнул дверь, но что-то лежащее изнутри мешало отворить ее. Наконец дверь подалась — на пороге в луже крови лежал несчастный жених. Присутствующие не могли сдержать крик ужаса,

и гости, услышав это новое подтверждение беды, толпою ринулись в спальню.

— Она его убила, — шепнул полковник матери. — Ищите ее!

И, выхватив шпагу из ножен, он стал на пороге, громко крича, что никому, кроме пастора и доктора, не позволит войти в комнату. Бакло еще дышал; его подняли и перенесли в соседнюю опочивальню, куда собрались его друзья; встревоженные и негодующие, они горели нетерпением поскорее узнать приговор врача.

Между тем сэр Уильям, леди Эштон и прибежавшие с ними родственники обыскали брачное ложе и обшарили всю спальню, но никого не нашли, а так как в этой комнате не было второго выхода, то оставалось предположить, что Люси выбросилась в окно. Вдруг один из искавших, случайно наклонив свечу, заметил что-то белое в глубине большого старинного камина. Это была Люси. Она сидела или, вернее, скорчилась, поджав ноги, словно заяц, волосы ее были растрепаны, ночная рубашка разодрана и забрызгана кровью, глаза дико блестели, лицо сводила судорога. Увидев, что ее обнаружили, она что-то быстро и невнятно забормотала, затем принялась корчить гримасы и, растопылив окровавленные пальцы, торжествующе замахала руками.

Только с помощью служанок несчастную удалось силой извлечь из ее убежища; когда же ее выводили из комнаты, она обернулась и, словно насмехаясь и торжествуя, произнесла единственные за все время членораздельные слова:

— А! Где же ваш прекрасный женишок?

Дрожащие от страха служанки отвели Люси в другую комнату, в отдаленной части замка, где ее уложили в постель и оставили под неусыпным надзором нескольких женщин, как того требовало ее состояние. Невозможно передать отчаяние родителей, ужас и смятение гостей, яростное столкновение между друзьями Бакло и приверженцами Эштонов, кипение страстей, распаленных еще не выветрившимися винными парами.

Только врачу удалось наконец водворить тишину и заставить обе стороны выслушать себя. Он объявил, что, хотя рана Бакло глубока и опасна, она не смертельна, если его оставить в покое и не трогать с места. Это заявление положило конец неистовству друзей пострадавшего, настаивавших, чтобы его немедленно перевезли в дом кого-нибудь из них. Однако они потребовали, чтобы, ввиду случившегося, четверо из них вместе с должным количеством вооруженной челяди остались в замке для охраны раненого. Полковник Эштон и сэр Уильям приняли это условие, и остальные друзья Бакло, несмотря на поздний час и темноту, тотчас покинули замок. Доктор между тем занялся мисс Эштон, чье состояние, по его мнению, было крайне серьезным. Немедленно послали за другими врачами. Всю ночь Люси металась в бреду, а к утру впала уже в полное беспамятство. Доктора объявили, что вечером наступит кризис. Действительно, к ночи больная очнулась, позволила переменить на себе белье и оправить постель. Но едва она подняла руку к шее, словно отыскивая голубую ленту, как ее охватили ужасные воспоминания, которых она не в силах была вынести. Начались судороги, и вскоре бедняжка умерла, так и не сказав ни слова о том, что произошло накануне между нею и Бакло.

На следующее утро после смерти Люси прибыл шериф и, стараясь по возможности щадить несчастное семейство, произвел расследование печального происшествия. Он не нашел никаких улик, подтверждающих всеобщее мнение, будто невеста в неожиданном припадке исступления заколола жениха на пороге спальни. Правда, в комнате нашли окровавленный кинжал — тот самый кинжал, который пропал у Генри в день свадьбы: Люси, по-видимому, сумела припрятать его накануне, когда брат показывал ей обновки, привезенные из Эдинбурга.

Друзья Бакло надеялись, что, выздоровев, он не замедлит пролить свет на эту темную историю, и настойчиво предлагали ему множество вопросов, но больной все время уклонялся от ответов, ссылаясь

на слабость и недомогание. Когда же доктора объявили, что он совсем оправился, и разрешили ему перебраться в собственный дом, Бакло собрал своих близких, мужчин, равно как и женщин, считавших себя вправе рассчитывать на его откровенность, и, поблагодарив за оказанное ему участие, так же как и за предложение поддержки и помощи, сказал:

— Я хочу, чтобы вы знали, что мне нечего сообщать вам и не за что мстить. Если о событиях этой несчастной ночи меня спросит дама, я ничего ей не отвечу, но впредь буду считать, что она пожелала прекратить со мной знакомство. Если же такой вопрос задаст мне мужчина, я приму это за оскорбление и предложу ему встретиться со мной в аллее Герцога.¹

Такое решительное заявление не требовало дополнительных объяснений. Бакло поднялся с постели другим человеком: серьезным и благоразумным. Он отказался от услуг Крайгенгельта, щедро одарив его на прощание, так что, если бы наш brave капитан здраво распорядился полученной суммой, он никогда не знал бы ни бедности, ни искушений.

Вскоре Бакло уехал за границу, чтобы никогда уже не возвращаться в Шотландию, и до самой своей смерти никому ни единым словом так и не обмолвился о событиях роковой ночи.

Многие читатели, пожалуй, найдут наш рассказ слишком страшным, чересчур романтическим и припишут это неистовому воображению автора, желающего угодить вкусам толпы, любящей, как известно, все ужасное, но те, кому приходилось читать семейные хроники Шотландии, несмотря на перемену имен и некоторые дополнительные подробности, узнают в нашей истории некое истинное происшествие.

¹ Аллея в окрестностях Холирудского замка, названная так в честь герцога Йоркского, впоследствии Иакова II, который часто гулял по ней во время своего пребывания в Шотландии. Аллея эта в течение долгого времени служила местом дуэлей. (Прим. автора)

Глава XXXV

Чьи ум и сердце так окаменели,
Чтоб весть о столь неслыханной беде
Из них бы не исторгла скорбной песни?
Узреть, как столь достойный кавалер
Был на землю повергнут и погиб
Так неожиданно и так ужасно,
Когда безвестным долом мчался он.

*Стихотворение из «Геральдики»
Низбета, т. II*

Сообщив читателю о выздоровлении Бакло и его дальнейшей судьбе, мы несколько забежали вперед, чтобы затем уже не отвлекаться от событий, следовавших за погребением несчастной Люси. Эта печальная церемония совершилась на рассвете в туманный осенний день; Люси хоронили без всякой пышности, ограничившись самыми необходимыми обрядами. Только ближайшие родственники пришли проводить тело усопшей в ту самую церковь, где всего несколько дней назад она, против своей воли, венчалась с Бакло. Простой гроб, на котором не значилось ни имени, ни числа, опустили в семейный склеп, устроенный сэром Уильямом в одном из приделов церкви, и каменная могила скрыла бранные останки той, что некогда была прелестным, кротким, невинным существом и умерла, доведенная до безумия настойчивым и безжалостным преследованием.

Пока в склепе происходил печальный обряд, три деревенские ведьмы, словно вороны, почуявшие падаль, несмотря на ранний час, уже восседали на могильной плите и по обыкновению вели между собой нечестивую беседу.

— Ну, кумушки, — сказала Эйлси Гурли, — разве я не говорила вам, что за пышной свадьбой последуют пышные похороны?

— Не вижу здесь ничего пышного, — возразила Энни Уинни. — Нет ни мяса, ни эля. Швырнули нам несколько серебряных монет — и все. Стоило плестись ради этого в такую даль. Ведь мы уж не молоденькие.

— Молчи, глупая! — ответила Эйлси. — Никакое угощение не сравнится с блаженным чувством возмездия. Всего четыре дня назад они гарцевали на

холеных конях, а ныне бредут такие же понурые и приумолкшие, какими были мы в день их веселья. Тогда на них сияло золото и серебро, а ныне они черны, как печная заслонка. А эта гордячка мисс Эштон! Она дрожала от отвращения, когда к ней приближалась честная женщина. А теперь даже жаба может квакать на крышке ее гроба, и она не в силах прогнать ее. В груди у леди Эштон — ад. А сэр Уильям, грозящий несчастным виселицами, кострами и позорным столбом! Хотелось бы мне знать, какого он мнения о колдовстве, которым промышляют в его собственном доме?

— Говорят, дьявол стащил молодую с брачного ложа и унес в трубу, а молодому свернул голову на сторону, — прошамкала параличная старуха.

— Не все ли равно, кто это сделал и как он с ними расправился, — усмехнулась Эйлси. — Ясно, что здесь не обошлось без нечистого. О, достойные леди и джентльмены надолго запомнят этот день!

— А правда, — спросила Энни Уинни, — правда, будто портрет старого сэра Мэлиза Рэвенсвуда вышел из рамы и напугал всех, кто тогда был в зале?

— Нет, не так. Но портрет действительно оказался в зале, — сказала Эйлси. — Уж кому-кому, а мне доподлинно известно, как он туда попал: он явился, чтобы предречь Эштонам конец их гордыни. Но это было не последнее знамение. И сейчас там, в склепе, тоже нечисто... Вы видели, что их двенадцать в трауре попарно спустились в склеп?

— Очень нужно было на них смотреть, — сказала хромая.

— Двенадцать, я сосчитала, — оживилась старшая из старух, для которой похороны были слишком интересным зрелищем, чтобы смотреть на них равнодушно.

— Вы, верно, не заметили, что к ним присоединился тринадцатый, о котором они ничего не знают, — торжествующе продолжала Эйлси, довольная тем, что превосходит подруг наблюдательностью. — Если старые поверья не лгут, одному из них недолго ходить по земле. Но пойдемте отсюда, кумушки. Случись

здесь несчастье, мы же первые будем в ответе, а хорошего тут ждать нечего.

И, зловеще каркая, словно вóроны перед мором, три пророчицы удалились с кладбища.

В самом деле, когда погребальный обряд кончился, провожающие заметили, что их стало одним человеком больше, и шепотом сообщили эту новость друг другу. Подозрение пало на юношу, одетого, как и все, в глубокий траур. Он стоял, прислонившись к одному из столбов склепа, и, по-видимому, никого не видел и ничего не слышал. Родственники Эштонов начали перешептываться, выражая свое недоумение и неудовольствие появлением незнакомца. Но полковник Эштон, который в отсутствие отца распоряжался церемонией, попросил их замолчать.

— Я знаю, кто это, — сказал он. — У этого человека не меньше, чем у нас, причин для скорби и, вероятно, вскоре будет еще больше. Предоставьте мне заняться им и не нарушайте похоронной службы ненужной оглаской.

С этими словами он подошел к незнакомцу и, тронув его за рукав, произнес негромко, но решительно: — Следуйте за мной.

При звуке его голоса незнакомец словно очнулся от забытья и машинально повиновался. Они поднялись по обветшалым ступеням, ведущим из склепа на погост. Остальные пошли за ними и, задержавшись у двери склепа, с тревогой наблюдали за тем, что происходит между полковником и незнакомцем, которые, отойдя в дальний конец кладбища, остановились в тени старого тиса и, по-видимому, вступили в оживленную беседу.

— Я, без сомнения, говорю с мастером Рэвенсвудом? — спросил полковник, когда они достигли этого уединенного места.

Незнакомец молчал.

— Так, значит, я говорю с убийцей моей сестры? — воскликнул Шолто, дрожа от злобы.

— Вы назвали мое имя, — ответил Рэвенсвуд глухим, прерывающимся голосом.

— Если вы раскаиваетесь в том, что сделали, — сказал полковник, — то пусть прощает вас бог! Меня же вы не растрогаете! Вот мера моей шпаги, — прибавил он, протягивая Рэвенсвуду листок бумаги, — время встречи — завтра на рассвете, место — песчаная коса к востоку от Волчьей Надежды.

Рэвенсвуд взял листок; казалось, он был в нерешительности.

— Не доводите до последней крайности несчастного, уже и так доведенного до отчаяния, — произнес он наконец. — Живите с миром, пока можете, а мне дайте умереть от чьей-нибудь другой руки.

— Нет, не бывать этому! — воскликнул полковник. — Или я убью вас, или вы довершите гибель моего семейства, убив меня. Если вы не примете мой вызов, знайте: я буду всюду преследовать вас, буду оскорблять вас, пока имя Рэвенсвуда не станет символом бесчестия, благо оно уже стало эмблемой низости.

— Вам не удастся покрыть позором честное имя Рэвенсвудов, — гневно воскликнул Эдгар. — Если суждено, чтобы с моей смертью угас наш славный род, я обязан памяти предков оградить их от бесчестия. Я принимаю ваш вызов и согласен на все условия. Полагаю, у нас не будет секундантов?

— Мы встретимся одни, — сказал полковник Эштон. — И только один из нас вернется после поединка.

— Да простит господь душу того, кто падет, — произнес Рэвенсвуд.

— Аминь! — отозвался полковник. — Эту милость я готов оказать даже смертельному врагу. А теперь расстанемся, нам могут помешать. Итак, завтра на рассвете, на песчаной косе к востоку от Волчьей Надежды, оружие — шпаги!

— Превосходно! Я не заставляю себя ждать, — ответил Рэвенсвуд.

Они разошлись. Рэвенсвуд направился к лошади, оставленной им за церковной оградой. Эштон присоединился к ожидавшим его родственникам. Вернувшись в замок, Шолто под благовидным предлогом оставил гостей и, сменив траурные одежды на костюм

для верховой езды, отправился в Волчью Надежду, намереваясь заночевать в гостинице, чтобы рано утром явиться на место дуэли.

Неизвестно, как провел Рэвенсвуд остаток этого печального дня. Поздно ночью он прибыл в башню «Волчья скала» и разбудил старого Калеба, уже не чаявшего дожидаться своего господина. Смутные, противоречивые слухи о трагической смерти мисс Эштон, вызванной таинственными причинами, дошли до старика, наполнив сердце его глубочайшей тревогой: он опасался за рассудок Рэвенсвуда.

Поведение молодого человека нимало не рассеяло эти страхи. Сначала Эдгар ничего не отвечал Калебу, испуганно молившему его подкрепиться с дороги, затем потребовал вина и против обыкновения выпил сразу несколько рюмок. Увидев, что хозяину не до ужина, Калек попросил позволения проводить его в спальню. Ему пришлось несколько раз повторить эту просьбу, прежде чем Эдгар, по-прежнему не говоря ни слова, знаком выразил согласие. Однако, когда Болдерстон проводил молодого хозяина в заново отделанную комнату, которую тот занимал со времени своего возвращения, Рэвенсвуд, словно вкопанный, остановился на пороге.

— Не сюда, — сказал он глухо, — проведите меня в комнату, где умер отец, в ту комнату, где ночевала она.

— Кто, сэр? — спросил Калек, ничего не соображавший с испуга.

— Она, Люси Эштон! Ты хочешь убить меня, старик! Зачем ты заставляешь меня произносить ее имя!

Калек хотел было возразить, что старая спальня очень запущена, но, взглянув на хозяина, лицо которого приняло раздраженно-нетерпеливое выражение, не сказал ни слова. Молча, дрожа от страха, старик пошел вперед, освещая путь. Придя в заброшенную комнату, он поставил лампу на стол и кинулсяправлять постель, но Рэвенсвуд тоном, не допускающим промедления, приказал ему удалиться. Старик повиновался, но не пошел спать, а стал молиться за своего господина. Время от времени он прокрадывался

к закрытой двери, но всякий раз убеждался, что Рэвенсвуд еще не ложился. До его слуха беспрестанно доносился звук тяжелых шагов, изредка прерываемый глухими стонами. Этот непрерывный стук от тяжело ступающих ног безошибочно говорил ему, что его несчастный хозяин охвачен неудержимым отчаянием. Старику казалось, что ночь никогда не кончится. Но время не считается с нашими ощущениями и проходит своей чередой, независимо от того, кажется ли нам его течение медленным или быстрым. Наступил рассвет, и румяные полосы легли на необъятную гладь поблескивавшего океана. Было начало ноября, и для поздней осени стояла удивительно тихая, ясная погода. Но ночью поднялся восточный ветер, и волны ближе, чем обычно, подступили к подножию скалы, на которой высилась башня.

С первыми лучами зари Калев снова подкрался к дверям спальни и сквозь щелку увидел, что Рэвенсвуд измеряет шпаги, хранившиеся в соседнем чулане. Остановив свой выбор на одной из них, Эдгар пробормотал:

— Его шпага длиннее. Тем лучше! Пусть у него будет еще одним преимуществом больше.

Калебу не нужно было объяснять, что означают все эти приготовления. Он также знал, что его вмешательство ни к чему не приведет. Он едва успел отскокить от двери: Рэвенсвуд внезапно вышел из комнаты и направился к конюшням. Верный слуга бросился за ним. Платье Рэвенсвуда было в беспорядке, взор блуждал, и Калев мог убедиться, что его молодой хозяин провел эту ночь не сомкнув глаз.

Когда Калев вошел в конюшню, Рэвенсвуд седлал коня. Протянув дрожащие руки, Калев прерывающимся голосом попросил разрешения помочь ему, но Эдгар знаком отклонил его услуги и вывел коня во двор. Калев вышел следом. Эдгар уже занес ногу, чтобы вскочить в седло, когда старый дворецкий, подчиняясь чувству глубокой привязанности к хозяину, — единственной привязанности всей его жизни, — превозмог страх и, бросившись к ногам Рэвенсвуда, припал к его коленям.

— О сэр, о мой господин, — молил он. — Убейте меня, если вам угодно, но откажитесь от страшного дела! Подождите один день! Завтра... Завтра придет маркиз Он все уладит.

— У вас больше нет господина, Калев, — сказал Рэвенсвуд, пыгаясь освободиться от него. — Бедный старик, зачем цепляться за башню, которая уже готова рухнуть?!

— Нет, у меня есть господин! — вскричал Калев, не выпуская Рэвенсвуда. — У меня есть господин, пока жив наследник рода Рэвенсвудов. Я слуга, я родился слугой вашего отца, нет, еще вашего деда! Я родился, чтобы служить семье Рэвенсвудов, жил для них и умру за них! Оставайтесь! Оставайтесь, и все устроится.

— Устроится! Устроится! — мрачно повторил Рэвенсвуд. — Глупый старик, в моей жизни уже ничего не может устроиться, и самым счастливым часом я назову свой смертный час.

С этими словами он вырвался из рук старого дворецкого, вскочил на коня и выехал за ворота; но тотчас вернулся обратно, бросив кинувшемуся ему на встречу Калебу туго набитый золотом кошелек.

— Назначаю вас моим душеприказчиком, Калев! — крикнул он и, натянув поводья, поскакал под гору.

Золото так и осталось лежать на земле: старый слуга, забыв все на свете, смотрел вслед удаляющемуся хозяину, который, свернув налево, пустил коня по узкой извилистой тропинке, спускавшейся через расселину в скале к маленькой бухте, где в былое время стояли на причале лодки Рэвенсвудов. Пройдя, по какой дороге поехал Эдгар, Калев поспешно поднялся на сторожевую башню, откуда открывался вид на все побережье, до самой Волчьей Надежды. Он видел, как Эдгар во весь опор мчится по направлению к деревне, и вдруг вспомнил страшное пророчество о том, что последний лорд Рэвенсвуд погибнет в зыбучих песках Келпи, лежащих на полпути между башней и песчаной косой, к востоку от Волчьей Надежды. Эдгар достиг роковых песков — и исчез.

Полковник Эштон, снедаемый жаждой мщения, уже прибыл на условленное место и в ожидании противника крупными шагами расхаживал взад и вперед, бросая нетерпеливые взгляды на старую башню. Солнце уже встало и ярким диском сияло над морем. Полковник без труда мог различить фигуру всадника, скакавшего к нему с не меньшим нетерпением. Внезапно всадник и лошадь скрылись из виду, будто растаяли в воздухе. Шолто протер глаза: уж не призрак ли ему привиделся? — и бросился к пескам. С другой стороны навстречу ему бежал Болдерстон. Они не нашли никаких следов... Осенние ветры и высокие приливы отодвинули границу зыбучих песков, и, по всей вероятности, несчастный в безумной своей поспешности предпочел укатанной тропинке у подножия скалы прямой, но самый опасный путь. Позднее, во время прилива, море выбросило к ногам Калеба черное перо, украшавшее шляпу Рэвенсвуда. Старик поднял его, обсушил и с тех пор носил у сердца.

Узнав о случившемся, жители Волчьей Надежды сбежались к месту ужасного происшествия; они обыскали все побережье и даже выходили на лодках в море, но тщетно: зыбучие пески не отдают своей добычи.

Наш рассказ подходит к концу. Обеспокоенный тревожными слухами и опасаясь за благополучие родственника, маркиз Э*** на следующий день прибыл в «Волчью скалу». Возобновив поиски и ничего не найдя, он оплакал потерю и возвратился в Эдинбург, где вскоре множество политических и государственных дел помогло ему забыть о случившемся.

Но Кaleb Болдерстон ничего не забыл. Если бы мирские блага могли утешить старика, он жил бы в довольстве и счастье, ибо к старости был обеспечен не в пример лучше, чем когда-либо в молодые годы; но жизнь утратила для него всякий интерес. Все его помыслы, все его чувства — гордость, радости, горе — были неотделимы от исчезнувшего рода Рэвенсвудов. Он ходил с опущенной головой, оставил все прежние свои занятия и привычки и только бродил по покоям старой башни, где некогда жил Рэвенсвуд. Он ел, не

ощущая вкуса пищи, спал, не обретая покоя; не прошло и года со времени ужасного происшествия, как верный старик умер с тоски по хозяину — преданность, на которую иногда бывает способна собака, но человеческой натуре почти не свойственная.

Род Эштонов просуществовал немногим дольше рода Рэвенсудов. Сэр Уильям Эштон похоронил старшего сына, убитого на дуэли во Фландрии, а Генри, унаследовавший титул и состояние отца, умер бездетным. Леди Эштон достигла глубокой старости, пережив всех тех, кого погубила своим неукротимым нравом. Возможно, что в глубине души она раскаялась и примирилась с богом, чего мы не хотим и не смеем отрицать, но внешне не обнаруживала ни малейших признаков раскаяния или сожаления, оставаясь такой же гордой, надменной и непреклонной, какой была до рассказанных выше печальных событий. Великолепное мраморное надгробие сохраняет для потомства ее имя, титулы и добродетели, тогда как несчастные жертвы ее не удостоились ни памятников, ни эпитафий.

**ЛЕГЕНДА
О МОНТРОЗЕ**

ВВЕДЕНИЕ

Когда сержант Мор Мак-Элпин жил среди нас, он был самым уважаемым из обитателей Гэндерклю. Субботним вечером в общем зале гостиницы «Уоллес» никто не вздумал бы оспаривать его право на самый уютный уголок у камелька. Да и наш пономарь Джон Дайруорд никогда бы не допустил, чтобы кто-либо занял место на первой скамье, слева от кафедры, где сержант имел обыкновение сидеть во время воскресной службы. В церковь Мак-Элпин неизменно являлся в тщательно вычищенном синем военном мундире. Две медали на груди, а также пустой правый рукав свидетельствовали о бранных подвигах старого воина. Его обветренное лицо, седые волосы, заплетенные в жидкую косичку, как в старину носили военные, и несколько наклоненная к левому плечу голова — дабы лучше слышать слова проповеди — выдавали и ремесло и немощи ветерана. Рядом с ним сидела его сестра Дженет, маленькая опрятная старушка в чепце и клетчатом пледе, какие носят шотландские горцы, и не спускала глаз со своего брата, которого почитала величайшим человеком на земле; во время проповеди она проворно находила в его библии с серебряными застёжками те места, которые читал или разъяснял священник.

Должно быть, именно то обстоятельство, что достойный сержант был окружен в Гэндерклю почетом и уважением людей всех сословий, и побудило его избрать нашу деревню местом своего постоянного пребывания, ибо это отнюдь не входило в его первоначальные намерения.

Ревностной службой в разных странах мира он добился звания артиллерийского сержанта и считался одним из самых испытанных и надежных солдат в шотландском ополчении. Пуля, раздробившая ему руку во время похода в Испанию, положила конец его военному поприщу, и он вышел в отставку, получив пенсию инвалида и приличное вознаграждение из общественных фондов. Вдобавок сержант Мор Мак-Элпин был человеком не только храбрым, но и предусмотрительным; из своих сбережений и денежных наград он составил небольшой капиталец, который и поместил в трехпроцентные консоли.

Он вышел в отставку, намереваясь насладиться своими скромными доходами в горной долине на диком севере Шотландии; там он некогда пас стада овец и коз, пока не слышал бой барабана и не последовал за ним, сдвинув набекрень свой берет горца, с тем чтобы уже не отставать от него в течение почти сорока лет. В памяти сержанта эта глухая долина осталась прекраснейшим уголком земли: красоту ее не могли затмить никакие картины природы, виденные им в его странствиях. Даже Счастливая долина принца Расселаса — и та показалась бы ему жалкой по сравнению с ней. И вот он приехал в родные места и нашел только бесплодное ущелье, окруженное голыми утесами, по которому стремительно неслась горная речка. Но не это было самое печальное: огни тридцати очагов погасли, от его отчего дома осталось только несколько замшелых камней, родная речь почти забылась, древний род, принадлежностью к которому он так гордился, нашел убежище за океаном. Один арендатор с южного предгорья, три пастуха в серых пледах и шесть овчарок населяли теперь эту долину, где в пору его детства, хорошо ли, плохо ли, но жило свыше двухсот человек.

Однако в доме нового арендатора сержанта Мак-Элпина ожидала радостная встреча, согревшая его сердце. По счастью, его сестра Дженет питала столь глубокую уверенность, что брат ее когда-нибудь возвратится домой, что отказалась покинуть родину вместе со своей семьей. Мало того, — она даже согласилась — правда, не без чувства уязвленной гордости — поступить в услужение к незваному пришельцу с предгорья; впрочем, по словам Дженет, ее хозяин, даром, что сакс, обращался с ней хорошо. Это неожиданное свидание с сестрой почти примирило сержанта Мак-Элпина со всеми разочарованиями, выпавшими на его долю, хотя он едва удерживался от слез, слушая, как Дженет с красноречием, присущим лишь женщинам северных гор, рассказывала горестную повесть об изгнании их семьи.

Она долго и обстоятельно описывала, как тщетно пытались они продлить срок аренды, просили принять арендную плату вперед, хотя это и привело бы их на грань нищеты, — лишь бы им разрешили прожить свой век и умереть на родной земле. Не преминула она сообщить брату о тех знамениях, которые предвещали изгнание кельтского племени и приход чужестранцев. Еще за два года до отъезда семьи в завывания ночного ветра в ущелье Балахра явственно слышалась песня «Нам нет возврата», которую, по обычаю, поют переселенцы, прощаясь с родными берегами. Зловещие крики пастухов с предгорья и лай их овчарок часто раздавались в окутанных туманом горах задолго до появления пришельцев. Старый бард, последний из кельтских бардов, сложил песню об изгнании коренных обитателей ущелья, от которой слезы навернулись на глаза закаленного воина; первая строфа этой песни звучала приблизительно так:

Зачем, зачем, о сын предгорья,
Зачем ты покинул свой край родной?
Зачем принес ты горцам горе
В долины, где раньше царил покой? ¹

¹ Стихотворные переводы, кроме особо оговоренных, выполнены Б. Лейтиным.

Горе бедного сержанта усугублялось еще тем, что виновником этих печальных событий было то самое лицо, которое, по преданию и по общему мнению, почиталось преемником древних предводителей клана; прежде сержант Мор с гордостью доказывал при помощи генеалогических вычислений, в каком родстве он состоит с этим лицом. Теперь в его чувствах произошла прискорбная перемена.

Когда Дженет кончила свой рассказ, он встал и зашагал по комнате.

— Я не могу и не хочу проклинать его, — сказал сержант Мак-Элпин. — Он потомок и наследник моих прадедов. Но отныне никто из смертных не услышит его имя из моих уст.

И он сдержал слово: до его последнего часа никто не слышал, чтобы он помянул своего корыстного и безжалостного повелителя.

После того как сержант провел день в печальных воспоминаниях, бодрость духа, которая помогла ему преодолеть столько опасностей, и теперь взяла верх над жестоким разочарованием.

— Мы поедем, — объявил он, — за океан, туда, где наши родные называли канадскую долину именем ущелья наших предков. Дженет, — добавил он, — подшей свои платья, как это делают женщины, отправляясь с войском в поход. И не говори, что это далеко. Черт возьми! Не такие путешествия и походы я проделывал даже тогда, когда в этом было меньше надобности, чем сейчас.

С этим намерением он покинул родные горы и вместе с сестрой добрался до Гэндерклю, лежащего на пути в Глазго, откуда он думал отплыть в Канаду. Но тем временем наступила зима, и сержант рассудил, что лучше дожидаться весны, когда откроется навигация по заливу св. Лаврентия, и решил провести у нас последние месяцы своего пребывания в Англии. Как мы уже сказали, почтенный ветеран был принят с должным уважением всеми слоями общества; и когда наступила весна, старик уже так обжился в нашей деревне, что и не возвращался к мысли о Канаде. К тому же Дженет боялась пускаться в море,

а сам он все сильнее чувствовал приближение старости, да и долгая ратная служба давала себя знать. Поэтому Мак-Элпин пришел к выводу, как он признался нашему священнику и моему достойному патрону, мистеру Клейшботэму, что «лучше остаться с добрыми друзьями, чем уехать туда, где, возможно, будет хуже».

Таким образом, он поселился в Гэндерклю, к величайшей радости, как мы уже говорили, всех его обитателей, для которых он стал незаменимым толкователем газет, правительственных извещений и бюллетеней, сущим оракулом, искусно раскрывающим смысл всех военных событий, прошлых, настоящих и даже будущих.

Правда, не всегда рассуждения сержанта Мак-Элпина отличались строгой последовательностью. Так, например, он был убежденным якобитом, по той причине, что его отец и четверо родичей воевали на стороне короля в сорок пятом году; но он был не менее убежденным приверженцем короля Георга, потому что на службе у этого монарха он сам приобрел свое маленькое состояние, а его три брата сложили головы; так что вам грозила опасность навлечь на себя гнев старика и в том случае, если бы вы назвали принца Карла претендентом и если бы вы неуважительно отозвались о короле Георге. Не станем отрицать также и того обстоятельства, что в те дни, когда сержант получал проценты со своего капитала, ему случалось засиживаться в гостинице «Уоллес» дольше, чем это было совместимо с строгой умеренностью и его личной выгодой; ибо в такие вечера посетители столь усердно угождали ему, распевая якобитские песни, проклиная Бонапарта и осушая стаканы в честь герцога Веллингтона, что сержант не только расплачивался за всю выпивку, но даже зачастую одалживал небольшие суммы своим коварным собутыльникам. После таких возлияний, как он сам выражался, когда мысли его снова обретали ясность, он неизменно возносил хвалу богу и герцогу Йоркскому, благодаря которым ныне старому служаке несравненно труднее

разориться от излишеств, нежели это было в дни его молодости.

Должен сказать, что не в гостинице «Уоллес» искал я общества сержанта Мак-Элпина. Но иногда на досуге я сопровождал старика в его утренней или вечерней прогулке, которую он называл смотром и на которую, если только позволяла погода, являлся с неизменной точностью, как будто только что пробили зорю. Утром он всегда прогуливался на кладбище под вязами, «ибо, — как он говорил, — я столько лет прожил бок о бок со смертью, что не вижу причин раззнакомиться с ней». Под вечер его можно было увидеть на берегу реки, недалеко от лужайки, где белили холсты; окруженный деревенскими политиками, старый ветеран, вооружившись очками, читал газету, растолковывал своим слушателям военные выражения, для вящей наглядности чертя тростью по земле. Иногда его обступала ватага школьников, которых он либо обучал артикулам, либо, к некоторому неудовольствию родителей, посвящал в тайны пиротехники (как это именуется в энциклопедии); в этом деле он был большой знаток, и во всех торжественных случаях деревня поручала ему устройство фейерверка.

Чаше всего я встречался со стариком во время его утренней прогулки. И когда я смотрю на дорожку, окаймленную высокими тенистыми вязами, мне так и мерещится, что он с тростью в руке идет навстречу размеренным шагом, расправив плечи, готовый отдать мне честь... Но его уже нет в живых, и он покоится рядом со своей верной Дженет под третьим вязом, если считать от западного угла кладбищенской ограды.

Беседы с сержантом Мак-Элпином имели для меня большую прелесть не только потому, что он рассказывал мне о своей богатой приключениями кочевой жизни; от него узнал я множество преданий северных горцев, которые он в детстве запоминал со слов своих родителей и усомниться в истинности которых он и сейчас, на склоне лет, почел бы ересью. Немало этих преданий относилось к походам Монтроза, под чьим

знаменем, по-видимому, отличились и некоторые предки сержанта. Как ни странно, но, несмотря на то, что именно в междоусобицах того времени горцы стяжали себе наибольшую военную славу, впервые показав свое превосходство над южными шотландцами, о войнах Монтроза было создано гораздо меньше легенд, чем о других, нередко менее значительных событиях. Вот почему я с великой радостью слушал рассказы моего друга о любопытных чертах той эпохи; в них сказалась тяга к фантастическому и сверхъестественному, присущая и моему собеседнику и тем далеким временам; я предоставляю читателю полную свободу выбора — чему верить и чему не верить, однако с условием, чтобы он не подвергал сомнению исторические события моего повествования, ибо эти события, как и все те, которые я уже ранее имел честь предложить его вниманию, соответствуют истине.

Глава I

Здесь каждый веровать привык
В священный текст мечей и пик.
А спор решать — прием любимый
Здесь пушек гром непогрешимый,
И догмы в ум вбивать крепки
Апостольские кулаки.

Батлер

Начало нашего повествования относится ко временам великой и кровавой гражданской войны, потрясавшей Англию в XVII веке.

Междоусобные распри еще не коснулись Шотландии, хотя политические разногласия уже делили ее обитателей на два лагеря: многие шотландцы, недовольные своим правительством, осуждали принятое им решение — послать в Англию многочисленные войска на поддержку английского парламента; они намеревались при первом удобном случае объявить себя приверженцами короля и, если бы им не удалось привлечь на свою сторону большую часть населения Шотландии, добиться хотя бы возвращения армии генерала Лесли из Англии. К этому стремилось главным образом северное дворянство, оказавшее упорное сопротивление принятию Торжественной лиги и кове-

нанта, а также большинство предводителей горных кланов, которые понимали, что их собственная власть зависит от прочности королевского престола, и к тому же питали глубокую неприязнь к пресвитерианскому вероучению; кроме того, эти горные кланы находились на той низкой ступени общественного развития, когда любая война кажется более желательной, нежели мир.

Такое состояние умов предвещало бурные события, и обычные набеги северных горцев, опустошавших юго-восточное предгорье, постепенно принимали характер открытых военных действий, составлявших как бы часть общего стратегического плана войны.

Люди, которые стояли у власти, знали о надвигающейся опасности и тщательно готовились к тому, чтобы во всеоружии встретить и отразить ее. Впрочем, они не без удовлетворения отмечали то обстоятельство, что среди роялистов до сих пор не появилось ни одного достаточно популярного вождя, который мог бы сплотить вокруг себя армию или хотя бы объединить под своей властью те разрозненные отряды, которые страсть к грабежу побуждала к враждебным действиям, пожалуй, не меньше, чем политические убеждения. Правительство надеялось, что размещение достаточного количества войск в предгорье, примыкающем к границам Верхней Шотландии, сдержит воинственный пыл главарей горных кланов; и что северные бароны, поддерживающие парламент, — как, например, граф Маршал, старинный род Форбсов, Лесли, Ирвины, Гранты и другие пресвитерианские кланы, — не только сумеют одолеть клан Огилви и прочих роялистов из Ангюса и Кинкэрдина, но даже и обуздать могущественный род Гордонов, власть которых была так же безгранична, как их ненависть к пресвитерианству.

У правительства было немало врагов в горах Западной Шотландии, но, по общему мнению, мощь этих враждебно настроенных кланов была сломлена и воинственный дух их вождей усмирен благодаря огромному влиянию маркиза Аргайла, который пользовался полным доверием шотландского парламента; могущество маркиза в горных районах, уже и ранее

почти безграничное, еще более укрепилось благодаря уступкам, которые ему удалось вырвать у короля во время последних мирных переговоров. Всем было известно, что маркиз Аргайл — скорее искусный политик, нежели отважный воин, и более способен плести тонкие политические интриги, нежели усмирять кривошею горцев, однако численность подвластного ему клана и отвага верных ему предводителей могли с лихвой возместить недостаток доблести у вождя; Кэмбелы уже не раз одерживали победу над соседними кланами, и можно было думать, что побежденные не скоро решатся снова помериться силами со столь могущественным противником.

Итак, удерживая в своих руках самую богатую часть королевства — весь юг и запад Шотландии, а также графство Файф с плодородными землями, и насчитывая многочисленных и могущественных сторонников даже в областях, расположенных севернее залива Форт и реки Тэй, шотландский парламент полагал, что опасность не столь уж велика, и не видел необходимости менять свою политику; менее всего он был склонен отозвать из Англии двадцатитысячную армию, посланную на подмогу братскому английскому парламенту, помощь которой оказалась столь существенной, что роялисты вынуждены были перейти к обороне в пору своего наибольшего торжества и успеха.

Причины, побудившие в то время шотландский парламент принять столь непосредственное и деятельное участие в английской междоусобной войне, подробно изложены нашими историками, но, может быть, стоит здесь вкратце напомнить о них. Со стороны короля не было никаких новых обид или поползновений на права шотландцев, и мир, заключенный Карлом Первым со своими шотландскими подданными, ничем не был нарушен; но правители Шотландии прекрасно понимали, что король принял мирные условия только под давлением английского парламента и под угрозой их собственных вооруженных сил. Правда, после заключения мира король Карл посетил столицу своего древнего королевства, признал

новое устройство церкви и удостоил почестей и наград многих предводителей враждебной ему партии, особенно ожесточенно боровшихся против него. Однако шотландцы опасались, что милости, столь неохотно расточаемые, будут вновь отобраны при первом же удобном случае. Неудачи английского парламента вызывали тревогу в Шотландии: здесь отлично понимали, что если бы Карлу удалось с помощью военной силы усмирить своих английских подданных, он не замедлил бы отомстить шотландцам за то, что они подали пример неповиновения, первыми подняв оружие против короля.

Таковы были политические соображения, побудившие шотландцев отправить войско в Англию; цель похода была открыто провозглашена в манифесте шотландского правительства, в котором излагались причины, заставившие его оказать столь своевременную и существенную помощь английскому парламенту. Английский парламент, говорилось в манифесте, уже выказал Шотландии свою дружбу и будет ее выказывать и впредь; король, правда, дал шотландцам ту религию, которую они пожелали, но нет никаких оснований полностью доверять королевским обещаниям, ибо слова короля не всегда соответствуют его действиям. «Наша совесть, — говорилось в заключение, — и бог, который выше нашей совести, да будут нам свидетели, что мы желаем только мира для обоих народов во славу божью и к чести короля, когда, соблюдая закон, усмиряем и караем тех, кто являются зачинщиками смут в Израиле, дьявольскими подстрекателями, — Кор, Валаамов, Доиков, Рабсаков, Аманов, Товиев и Санаваллатов нашего времени, и, совершив сие, мы не пойдем далее. И мы, во исполнение сих благочестивых намерений, не прибегали к посылке войска в Англию, покуда все другие средства, кои мы могли измыслить, не потерпели неудачи, и нам осталось лишь это последнее и единственное средство».

Предоставив казуистам решать вопрос, имеет ли право одна из сторон нарушать торжественный договор только на том основании, что она подозревает

возможность такого нарушения другой стороной, мы перейдем к двум другим обстоятельствам, оказавшим на шотландский народ и его правителей не менее сильное влияние, чем сомнения в искренности добрых намерений короля.

Прежде всего — состав и характер шотландского войска, возглавляемого обедневшим и недовольным дворянством. Большинство офицеров этой армии выучилось своему ремеслу на материке, во время германских войн. Мало-помалу они почти утратили не только представление о различии политических убеждений, но и понятие о различии между странами, и, движимые одной только корыстью, чистосердечно полагали, что первейший долг солдата — верность государству или монарху, которые ему платят, независимо от того, за правое или неправое дело они сражаются и каково их личное отношение к той или другой из враждующих сторон. Вот какую суровую оценку дает Гроций подобным людям: «Nullum vitae genus est improbius, quam eorum, qui sine causae respectu mercede conducti, militant». ¹

Для этих наемников, как и для захудалых дворян, которые делили с ними командные должности и легко перенимали их убеждения, успех недавнего кратковременного вторжения в Англию в 1641 году был достаточным основанием желать повторения столь выгодного похода. Хорошее жалованье и вольный постой в Англии оставили глубокий след в памяти этих искателей приключений, и надежда на контрибуцию в размере восьмисот пятидесяти фунтов стерлингов в день оказывала на них более сильное воздействие, нежели любые соображения государственного или нравственного порядка.

Но если войско стремилось в Англию, охваченное жадной наживы, то большинство шотландского народа воодушевляло нечто другое. Споров — и устных и на бумаге — относительно формы церковной власти было так много, что этот вопрос занимал умы го-

¹ Нет более бесчестного образа жизни, чем у воюющих ради платы, без уважения к делу, которому они служат (лат.).

раздо сильнее, нежели догматы протестантского вероучения, признаваемые и той и другой стороной. Наиболее ревностные приверженцы епископальной церкви и сторонники пресвитерианства в своей нетерпимости не уступали папистам, и ни те, ни другие не допускали возможности спасения вне лона своей церкви. Тщетны были все попытки разъяснить этим фанатикам, что если бы создатель христианской веры считал какую-либо форму церковной власти необходимой для спасения души, об этом было бы сказано в евангелии с такой же точностью, как в книгах Ветхого завета. Обе партии продолжали стоять на своем с таким ожесточением, словно указания самого неба подтверждали их правоту. Епископ Лод в дни своего могущества сам подлил масла в огонь, попытавшись навязать шотландскому народу церковные обряды, чуждые его духу и традициям. Успешное противодействие этим попыткам и установление пресвитерианской религии, естественно, усилили приверженность к ней всего народа, видевшего в этой победе свое, народное, торжество. Лига и ковенант, признанный большинством шотландцев и затем силой меча введенный во всем шотландском королевстве, имели своей главной целью учреждение догматов пресвитерианской церкви и разгром еретиков и вероотступников; добившись в своей стране водворения этого «златого светильника», шотландцы возымели великодушное и братское намерение воздвигнуть подобный же в Англии. Они предполагали, что это легко осуществить, если послать на помощь английскому парламенту значительный отряд шотландского войска. В то время в английском парламенте оппозицию возглавляла многочисленная и могущественная партия пресвитериан, тогда как индепенденты и прочие сектанты, которые впоследствии, при Кромвеле, взялись за меч и свергли власть пресвитериан как в Шотландии, так и в самой Англии, — предпочитали пока тайно выжидать под защитой более могучей и богатой партии. Поэтому введение единой религии и единой церкви в Англии и в Шотландии казалось делом столь же благим, сколь и желательным.

Прославленный сэр Генри Вэйн, уполномоченный вести переговоры о союзе между Англией и Шотландией, понял, какое огромное влияние эта приманка имела на умы шотландцев; будучи сам ревностным индипендентом, он сумел одновременно и возбудить и обмануть пламенные надежды пресвитериан, взяв на себя обязательство преобразовать англиканскую церковь «согласно слову божью и сообразно устройству наилучших реформированных церквей». Ослепленные своим фанатизмом, не питая и тени сомнения в *Jus divinum*¹ своих церковных установлений и не допуская мысли, чтобы подобные сомнения могли явиться у кого бы то ни было, шотландский парламент и шотландская церковь решили, что под этими словами подразумевается не что иное, как введение пресвитерианства. Они продолжали пребывать в своем заблуждении до тех пор, пока сектанты, не нуждаясь более в их помощи, не дали им понять, что эти слова могут быть истолкованы и в пользу индипендентства и любого иного вероучения, лишь бы власть имущие признали его «согласным со словом божьим и сообразным с устройством реформированных церквей». Столь же неприятно поразило обманутых шотландцев то обстоятельство, что английские сектанты стремились к свержению монархии, тогда как шотландцы намеревались только ограничить королевскую власть, отнюдь не упраздняя самого престола. Однако в этом отношении они поступили как те неосторожные врачи, которые в начале болезни пичкают своего пациента таким множеством лекарств, что доводят его до полного истощения, когда уже никакие средства не в состоянии вернуть ему силы.

Но эти события в то время были еще делом будущего. Пока что шотландский парламент считал свое соглашение с Англией справедливым, разумным и благочестивым, и военные действия, предпринятые им, развивались весьма успешно. После соединения шотландского войска с войсками Ферфакса и Манчестера парламентская армия осадила Йорк и дала решительное

¹ Божественном праве (лат.).

сражение при Марстон-муре, в котором принц Руперт и маркиз Ньюкаслский были разбиты наголову. Правда, в этой победе на долю шотландских союзников выпало меньше славы, нежели того могли бы пожелать их соотечественники. Шотландская конница под предводительством Дэвида Лесли сражалась храбро и разделила честь победы с отрядом индепендентов, дравшихся под началом Кромвеля; но престарелый граф Ливен, один из шотландских генералов, сильным натиском принца Руперта был обращен в бегство и находился уже на расстоянии тридцати миль от поля битвы на пути в Шотландию, когда до него дошла весть о том, что парламентские войска одержали блестящую и полную победу.

Отправка армии в помощь английским пресвитерианам для похода против короля, ослабив мощь шотландского парламента, способствовала волнениям среди противников пресвитерианства, о чем мы упомянули в начале этой главы.

Глава II

Достала мать для сына еле-еле
Лишь латы мужа вместо колыбели.
Под лязг их ржавый погружаясь

в сон,

На жесткость лат не жаловался он.
Во сне пройдя войны грядущей беды,
Проснувшись, он уж дрался

до победы.

Холл, «Сатиры»

Однажды поздним летним вечером, в те тревожные времена, о которых мы только что говорили, хорошо вооруженный молодой человек, видимо знатного рода, верхом на добром коне медленно поднимался по одному из тех крутых ущелий, которые соединяют горную Шотландию с равнинами Пертшира.¹ Его сопро-

¹ Некоторое представление о нем можно себе составить по живописному ущелью Лени близ Каллендера, в графстве Ментейт. (Прим. автора)

вождало двое слуг — один из них вел в поводу навьюченную лошадь. Некоторое время путникам пришлось ехать вдоль берега горного озера, в глубоких водах которого отражались багряные лучи заходящего солнца. Неровная тропинка, по которой не без труда продвигались всадники, то пряталась в чаще старых берез и дубов, то вилась по краю обрыва, под выступами могучих скал. В иных местах горы, окаймлявшие северный берег живописного озера, возвышались сплошной, но менее отвесной стеной, и склоны их были покрыты темно-пурпуровым ковром вереска. В мирные времена столь романтический пейзаж имел бы, несомненно, большую прелесть в глазах путника; но тот, кому приходится путешествовать в исполненные тревог и сомнений дни, мало обращает внимания на живописные картины природы.

Там, где лесная тропинка расширялась, знатный всадник ехал рядом с одним или обоими своими слугами и вел с ними серьезную беседу: сословные различия легко стираются между людьми, когда они подвергаются общей опасности. Предметом беседы служили намерения предводителей кланов, населяющих этот дикий край, и вероятность их участия в предстоящих политических столкновениях.

Путешественники не проехали и половины пути вдоль озера, и молодой вельможа только что указал своим спутникам вправо, на крутой подъем, где дорога, оставляя в стороне берег, сворачивала в ущелье, — как вдруг они увидели одинокого всадника, ехавшего прямо навстречу им. Отблеск солнечных лучей на его шлеме и латах свидетельствовал о том, что незнакомец в полном вооружении, и наши путники не могли пропустить его мимо, не допросив.

— Надо узнать, кто он такой и куда направляется, — сказал молодой вельможа.

Пришпорив коня, он поскакал впереди своих слуг так быстро, как только позволяла неровная дорога, к месту, где тропинка, пролегающая вдоль берега, пересекалась дорогой, ведущей к ущелью; тем самым он лишил незнакомца возможности свернуть в сторону и избежать встречи с ним.

Одинокий всадник, заметив скачущих к нему трех верховых, тоже было прибавил шагу, но, увидев, что те остановились и, выстроившись в ряд, преградили ему дорогу, — осадил коня и стал медленно продвигаться вперед, так что обе стороны имели полную возможность хорошенько рассмотреть друг друга. Под незнакомцем была прекрасная лошадь, отлично приспособленная к военной службе и тяжести, которую ей приходилось нести; всадник же сидел в своем боевом седле так уверенно, словно никогда не покидал его. На голове всадника красовался блестящий стальной шлем с плюмажем, на груди — плотный панцирь, непроницаемый для мушкетных пуль, спина была защищена кирасой из более легкой стали. Эти доспехи вместе со стальными рукавицами и со стальными же нарукавниками, доходившими до самого локтя, были надеты поверх кожного камзола.

Впереди, на луке седла, была укреплена пара пистолетов, размером значительно больше обыкновенных; они имели около двух футов длины и заряжались пулями весом в одну двадцатую фунта. На кожаном с широкой серебряной пряжкой поясе всадника слева висел длинный обоюдоострый меч с прочной рукояткой и лезвием, рассчитанным на то, чтобы и рубить и колоть; справа был прицеплен кинжал дюймов восемнадцати длиной; за спиной, на двух перевязях крест-накрест, висели мушкетон и патронташ с пулями. Стальные набедренники, спускавшиеся до самого верха высоченных ботфуртов, завершали полное боевое вооружение кавалериста того времени.

Наружность самого незнакомца вполне соответствовала его боевым доспехам, с которыми он, по-видимому, давно свyksя. Он был выше среднего роста и достаточно крепкого сложения, чтобы свободно выносить тяжесть своего наступательного и оборонительного оружия. На вид ему было за сорок, и вся его внешность изобличала в нем человека решительного, воина, закаленного в боях, оставивших на его теле немало рубцов и шрамов.

Шагах в тридцати от группы всадников он остановил коня и приподнялся на стременах, видимо ста-

раясь угадать намерения противника; передвинув мушкетон, он взял его в правую руку, готовясь пустить в ход, если того потребуют обстоятельства. Во всех отношениях, кроме численности, он имел явное преимущество перед теми, кто, по-видимому, возымел намерение преградить ему дорогу. Правда, предводитель маленького отряда ехал на прекрасном коне и был одет в богато расшитый кожаный камзол — полувоенную одежду того времени; но на его слугах были лишь простые, из домотканого сукна, куртки, которые едва ли могли защитить их от удара меча, нанесенного крепкой рукой. К тому же никто из них не имел при себе иного оружия, кроме палаша и пистолетов, без которых благородные господа, как и их слуги, редко пускались в путь в те тревожные времена.

С минуту обе стороны внимательно присматривались друг к другу; затем молодой вельможа задал вопрос, обычный для того времени в устах каждого путника при встрече с незнакомцем:

— Вы за кого?

— Сначала вы сами мне скажите, за кого вы? — отвечал воин. — Более сильная сторона должна высказываться первой.

— Мы за бога и за короля Карла, — отвечал молодой вельможа. — Теперь объявите свою партию, раз уж вы знаете нашу.

— Я за бога и за свое знамя, — отвечал всадник.

— За какое знамя? — спросил предводитель маленького отряда. — Кавалер или круглоголовый? За короля или за ковенант?

— Скажу вам по чести, сэр, — отвечал воин, — мне не хотелось бы говорить вам неправду, ибо это недостойно дворянина и воина. Но, чтобы ответить на ваш вопрос вполне искренне, я должен раньше сам решить, к какой из партий, ныне враждующих между собой, я примкну окончательно, а этого я еще не могу сказать с уверенностью.

— Я полагаю, — сказал молодой вельможа, — что, когда речь идет о верности престолу и религии, ни один дворянин, ни один честный человек не может долго колебаться в выборе партии.

— Поистине, сэр, — возразил воин, — если вы это говорите с намерением оскорбить меня, задеть мою честь или благородное происхождение, то я с радостью приму ваш вызов и готов сразиться один против вас троих. Но если вы просто желаете вступить со мной в логические рассуждения, каковым я в молодости обучался в эбердинском духовном училище, то я готов доказать по всем правилам логики, что, откладывая на время свое решение принять ту или иную сторону в этих распрях, я поступаю не только как подобает честному человеку и дворянину, но и как должен поступить человек благоразумный и осторожный, впитавший с юных лет мудрость гуманитарных наук и затем удостоившийся чести воевать под знаменем непобедимого Северного Льва — великого Густава Адольфа и многих других храбрых военачальников, как лютеран и кальвинистов, так и папистов и арминиан.

Переговорив со своими спутниками, молодой предводитель сказал:

— Я охотно побеседую с вами, сэр, относительно столь животрепещущего вопроса и буду весьма рад, если мне удастся склонить вас в пользу того дела, которому я сам служу. Сейчас я направляюсь к одному из своих друзей, дом которого находится примерно в трех милях отсюда; если вы согласитесь сопровождать меня, вы найдете там удобный ночлег. А наутро никто не помешает вам продолжать путь, если вы не соизволите присоединиться к нам.

— А кто может мне в этом поручиться? — спросил осторожный воин. — Человек должен знать, с кем он имеет дело, иначе он легко может попасть впросак.

— Я граф Ментейт, — отвечал молодой вельможа, — и я надеюсь, что моя честь может служить достаточной порукой.

— Слову дворянина, носящего такое громкое имя, можно верить, — отвечал воин. Одним движением он перекинул мушкетон за спину, по-военному отдал честь молодому графу и, продолжая разговаривать, подъехал к нему ближе. — Надеюсь, — сказал он, — что мои собственные заверения в том, что я останусь

добрым товарищем — *bon samarado* — вашей светлости как при мирных обстоятельствах, так и в минуту опасности, не будут отвергнуты с пренебрежением в эти тревожные времена, когда, как говорится, голове надежнее в стальном шлеме, нежели в мраморном дворце.

— Уверяю вас, сэр, — отвечал лорд Ментейт, — что, глядя на вас, я вполне могу оценить, как приятно находиться под вашей охраной; но я надеюсь, что вам на сей раз не придется проявлять вашу доблесть, ибо в доме, куда я намерен доставить вас, нас ожидает радушный и дружеский прием и хороший ночлег.

— Хороший ночлег, милорд, всегда является желанным, — заметил воин, — и выше его, пожалуй, можно поставить только хорошее жалованье или хорошую добычу, не говоря уже, конечно, о дворянской чести или выполнении воинского долга. И сказать по правде, милорд, ваше великодушное предложение мне тем более по сердцу, что я не знал, где мне с моим бедным товарищем (тут он потрепал по шее своего коня) найти пристанище на эту ночь.

— В таком случае разрешите узнать, — спросил лорд Ментейт, — кому мне посчастливилось служить квартирмейстером?

— Извольте, милорд, — отвечал воин. — Мое имя — Дальгетти, Дугалд Дальгетти, ритмейстер Дугалд Дальгетти из Драмсуэжита, к услугам вашей светлости. Это имя вам могло встретиться на страницах «*Gallo Belgicus*»,¹ или в «Шведском вестнике», или, если вы читаете по-голландски, в «*Fliegenden Mercurius*»,² издаваемом в Лейпциге. Родитель мой своей рачительностью довел наше прекрасное родовое поместье до полного разорения, и к восемнадцати годам мне больше ничего не оставалось, как переправить свою ученость, приобретенную в эбердинском духовном училище, свою благородную кровь и дворянское звание да пару здоровых рук и ног в Германию, чтобы в ратном деле искать счастья и пробивать себе дорогу

¹ «Галло-Бельгийского листка» (лат.).

² «Летучем Меркурии» (гол.).

в жизнь. Да будет вам известно, милорд, что мои руки и ногигодились мне куда более, нежели знатный род и книжная премудрость. И пришлось же мне потаскаться с пикой, когда я служил простым солдатом под началом сэра Людовика Лесли! Тогда я так крепко затвердил воинский устав, что до самой смерти не забуду! Бывало, сэр, выстаиваешь в трескучий мороз по восьми часов в сутки — с полудня до восьми часов вечера — в карауле у дворца, в полном вооружении в стальных латах, шлеме и рукавицах; и все это лишь за то, что я, проболтав лишнюю минутку с квартирной хозяйкой, опоздал на перекличку.

— Однако, сэр, — возразил лорд Ментейт, — вам, без сомнения, доводилось бывать и в жарком деле, а не только нести службу на морозе, как вы изволите рассказывать?

— Об этом, милорд, мне самому не пристало говорить, но тот, кто дрался под Лейпцигом и под Лютценом, может сказать, что он побывал в бою; тот, кто был свидетелем взятия Франкфурта, Шпангейма, и Нюрнберга, и прочих городов, имеет кое-какое понятие об осадах, штурмах, атаках и вылазках.

— Но ваши труды и ваши заслуги, сэр, были, без сомнения, должным образом вознаграждены повышением по службе.

— Не скоро, милорд, не скоро! — отвечал Дальгети. — Но по мере того как редели ряды наших славных соотечественников и старые воины, предводители доблестных шотландских полков, слывших грозой Германии, погибали один за другим — кто от чумы, кто на поле брани, — мы, их питомцы, по наследству занимали освободившиеся места. Я, сэр, прослужил шесть лет рядовым в дворянской роте и три года копьеносцем; от алебарды я отказался, считая это ниже своего дворянского достоинства, и, наконец, был произведен в прапорщики лейб-гвардии королевской Черной конницы. После этого я дослужился до чина лейтенанта, а затем ритмейстера под начальством непобедимого монарха, оплота протестантской веры, Северного Льва, грозы австрийцев, победоносного Густава Адольфа.

— Насколько я вас понимаю, капитан Дальгетти... Кажется, этот чин соответствует иноземному званию ритмейстера?

— Совершенно верно, — отвечал Дальгетти, — ритмейстер означает командир отряда.

— Так вот, — продолжал лорд Ментейт, — если я вас правильно понял, вы все же оставили службу у этого великого государя?

— После его смерти, — возразил Дальгетти, — только после его смерти, милорд, когда долг уже больше не удерживал меня в рядах его войска. Признаюсь вам откровенно, милорд, в этом войске было многое, что не так-то легко переварить благородному воину. Жалованье ритмейстеру, к примеру, полагается не бог весть какое, всего каких-нибудь шестьдесят талеров в месяц; однако непобедимый Густав никогда, бывало, не выплачивал более одной трети этой суммы, да и та выдавалась в виде ссуды; хотя — если считать по справедливости — сам великий монарх, в сущности, брал у нас займы остальные две трети. И мне случалось быть свидетелем того, как целые полки немцев и голштинцев поднимали бунт на поле сражения и, точно какие-нибудь конюхи, орали: «Гельд, гельд!» — что означало требование денег, — вместо того, чтобы бросаться в бой, как это делали наши молодцы, отважные шотландцы, которые никогда не роняли своей чести ради презренной корысти.

— Но разве солдатам не выплачивали долг в установленные сроки? — спросил лорд Ментейт.

— Могу заверить вас честью, милорд, — отвечал Дальгетти, — что ни в какие сроки и никаким образом ни один крейцер не был нам возмещен! Лично я никогда не имел в кармане и двадцати талеров за все время службы у непобедимого Густава; разве что посчастливится во время штурма, при взятии города или селения, когда доблестный воин, хорошо знакомый с правилами ведения войны, всегда найдет случай поживиться.

— Я скорее удивляюсь тому, что вы так долго прослужили в шведских войсках, сэр, — сказал лорд

Ментейт, — нежели тому, что вы в конце концов оставили эту службу.

— И вы совершенно правы, сэр, — отвечал капитан, — но этот великий король и полководец, Северный Лев и оплот протестантской веры, так ловко выигрывал сраженья, брал города, захватывал страны и взимал контрибуции, что служить под его началом было истинным наслаждением для каждого дворянина, избравшего благородное ремесло воина. Я сам, милорд, был комендантом целого Дункельшпильского графства на Нижнем Рейне, жил во дворце пфальцграфа, распивал с товарищами лучшие вина из его погреба, взимал контрибуции, производил реквизиции и получал доходы, не забывая облизывать пальчики, как полагается всякому доброму повару. Но, увы, все это пошло прахом, как только наш великий полководец, сраженный тремя пулями, пал под Лютценом. Убедившись, что колесо фортуны повернулось в другую сторону, что займы и ссуды по-прежнему идут из нашего жалованья, а все случайные источники доходов иссякли, я подал в отставку и перешел на службу к Валленштейну, поступив в ирландский полк Уолтера Батлера.

— А позвольте узнать, — спросил лорд Ментейт, видимо заинтересованный рассказом доблестного воина, — как вам понравилось служить новому господину?

— Весьма понравилось, — отвечал капитан, — весьма! Не могу сказать, чтобы император платил лучше великого Густава. И колотили нас изрядно. Мне не раз приходилось на собственной шкуре испытывать хорошо знакомые мне шведские перышки; ваша светлость должны знать, что это не что иное, как раздвоенные заостренные колья с железными наконечниками, выставляемые впереди отряда, вооруженного пиками, для защиты от натиска конницы. Эти самые шведские перышки хоть и выглядят очень красиво и напоминают кустарник или подлесок, а мощные пики, выстроенные в боевом порядке позади них, похожи на высокие сосны в лесной чаще, — далеко не так приятны на ощупь, как гусиные перья. Однако,

несмотря на тяжелые удары и легковесное жалованье, доблестный воин может преуспеть на службе у императора, ибо там к его случайной наживе не так придираются, как в шведской армии. И если офицер исправно выполняет свой долг на поле сражения, то ни Валленштейн, ни Паппенгейм, ни блаженной памяти старик Тилли не стали бы выслушивать жалобы поселян или бюргеров на поведение солдат или их командира, ежели бы те позволили себе обобратить их до нитки. Так что опытный воин, умеющий, как говорят у нас в Шотландии, «приложить голову свиньи к хвосту поросенка», может высосать из населения все то, что ему недоплачивает император.

— Все сполна, конечно, да еще с лихвой, — заметил лорд Ментейт.

— Без сомнения, милорд, — подтвердил Дальгетти с достоинством, — ибо вдвойне позорно было бы для воина-дворянина, если бы он запятнал свое доброе имя из-за безделицы.

— Скажите, пожалуйста, сэр, — продолжал лорд Ментейт, — что же, собственно, заставило вас покинуть столь выгодную службу?

— А вот что, сэр, — отвечал воин. — Был у нас в полку ирландец, майор О'Киллигэн, и как-то вечером мы крепко поспорили с ним о том, кто лучше и более достоин уважения — шотландцы или ирландцы. Наутро он вздумал отдавать мне приказания, держа жезл на отлете и концом вверх, вместо того чтобы опустить его концом вниз, как это подобает воспитанному командиру, когда он говорит с подчиненным, равным ему по званию, хотя бы и младшим по чину. По сему случаю мы дрались на дуэли; а так как после дознания наш полковник Уолтер Батлер изволил подвергнуть своего соотечественника более легкому взысканию, нежели меня, то я, оскорбленный этой несправедливостью, вышел в отставку и перешел на службу к испанцам.

— Надеюсь, эта перемена оказалась для вас к лучшему? — спросил лорд Ментейт.

— Сказать по правде, — отвечал ритмейстер, — сетовать мне не приходилось. Жалованье нам выдавали

довольно аккуратно, благо деньги поставлялись богатыми фламандцами и валлонами из Нидерландов. Постой был отличный, фламандские пшеничные булочки куда вкуснее ржаного шведского хлеба, а рейнское вино мы имели в таком изобилии, в каком, бывало, я не видывал и черного ростокского пива в лагере Густава. Сражений не было, обязанностей было немного, да и те — хочешь выполняй, хочешь нет, как угодно. Отличное житье для воина, несколько утомленного походами и битвами, стяжавшего ценой собственной крови достаточную славу, чтобы иметь право отдохнуть и пожить в свое удовольствие.

— А нельзя ли узнать, — снова спросил лорд Ментейт, — почему вы, находясь в столь завидном — судя по вашим словам — положении, все же покинули службу в испанских войсках?

— Примите во внимание, милорд, — ответил капитан Дальгетти, — что испанцы спесивы сверх всякой меры и отнюдь не умеют ценить по заслугам благородного иностранца, который сообразовал служить в их рядах. А ведь любому честному воину обидно, ежели его затирают и обходят по службе, отдавая предпочтение какому-нибудь надутому сеньору, который, когда дело коснется того, чтобы первым броситься в атаку с копьем наперевес, охотно пропустит вперед шотландца! Кроме того, сэр, у меня совесть была неспокойна в отношении религии.

— Я никак не думал, капитан Дальгетти, — заметил граф Ментейт, — что старый воин, столько раз менявший службу, может быть особенно щепетилен в этом вопросе.

— Да я, милорд, вовсе и не щепетилен, — сказал капитан, — ибо я полагаю, что решать подобные вопросы как за меня, так и за любого храброго воина входит в обязанности полкового священника, тем более что, насколько мне известно, и делать-то ему больше нечего, а жалованье и довольствие он как-никак получает. Но тут был особый случай, милорд, — так сказать, *casus improvisus*,¹ когда возле меня не

¹ Непредвиденный случай (лат.).

было священника моего вероисповедания, который мог бы дать мне добрый совет. Короче говоря, я вскоре убедился, что, хотя на мою принадлежность к протестантской церкви и смотрели сквозь пальцы, ибо я хорошо знал свое дело и в военных вопросах был опытнее всех донов нашего полка вместе взятых, — однако, когда мы стояли гарнизоном, от меня требовалось, чтобы я вместе со всеми ходил к обедне. А я, милорд, как истый шотландец, притом же воспитанник эбердинского духовного училища, привык считать обедню худшим примером папизма, слепого идолопоклонства и не желал потворствовать этому своим присутствием. Правда, я посоветовался со своим почтенным соотечественником, неким отцом Фэйтсайдом из шотландского монастыря в Бюрибурге...

— И я надеюсь, — заметил лорд Ментейт, — что вы получили точные разъяснения у этого святого отца?

— Как нельзя более точные, — отвечал капитан Дальгетти, — принимая во внимание, что мы с ним распили добрую полдюжину рейнского и опорожнили около двух кувшинов киршвассера. Отец Фэйтсайд объявил мне, что, по его разумению, для такого закоренелого еретика, как я, уже все едино — ходить или не ходить к обедне, ибо я и без того обречен на вечную погибель, как нераскаявшийся грешник, упорствующий в своей преступной ереси. Несколько смущенный таким ответом, я обратился к голландскому пастору реформатской церкви, и тот сказал, что, по его мнению, религия не запрещает мне ходить к обедне, ибо пророк разрешил Нееману, могущественному вельможе, военачальнику сирийскому, сопровождать своего повелителя в храм Риммона, языческого бога, сиречь идола, и поклониться ему, когда царь обопрется на его руку. Но и этот ответ не удовлетворил меня, прежде всего потому, что нельзя же все-таки равнять помазанного царя Сирии с нашим испанским полковником, которого я мог бы сбить с ног одним щелчком, а главное, я не нашел ни в одной статье воинского устава указаний на то, что я обязан

ходить к обедне; кроме того, мне не было предложено никакого возмещения, ни в виде дополнительного жалования, ни в виде особого вознаграждения, за ущерб, который я нанес бы своей душе.

— Так что вы опять переменили службу? — спросил Ментейт.

— Ваша правда, милорд. И, после нескольких кратковременных попыток послужить двум-трем другим государям, я даже одно время состоял на службе у голландцев.

— И что же, эта служба пришлась вам по вкусу?

— Ах, милорд! — воскликнул воин. — Поведение голландцев в дни платежа должно бы служить примером для всей Европы! Тут уж ни займов, ни ссуд, ни проволочек, ни обмана: все точно рассчитано и выплачено, как в банке. Квартиры отличные, довольствие превосходное; но уж зато, сэр, голландцы — народ аккуратный, щепетильный, ничем не дадут поживиться! Так что уж если какой-нибудь простолюдин пожалуется на пробитый череп или кабатчик — на разбитый кувшин, а глупая девчонка запищит чуть погромче, честного воина притянут к ответу, да не перед своим военным судом, который мог бы разобраться в его проступке и наложить должное взыскание, а перед каким-нибудь бургомистром из ремесленников низкого звания, а тот начнет угрожать тюрьмой, виселицей и еще невесть чем, как будто бы он имеет дело с одним из своих презренных толстопузых мужланов. Никак я не мог ужиться с этими неблагодарными плебеями; они хоть и не могут собственными силами защищать свою страну, однако не дают благородному иностранцу, состоящему у них на службе, ничего, кроме скудного жалования. А кто же, знающий себе цену, не предпочтет такому порядку привольное житье и почтительное обращение? Вот я и решил расстаться с мингерами. А тут прослышал я, к великой моей радости, что нынче летом найдется мне дело по душе в моих родных краях, — вот я и явился сюда, как говорится, словно нищий на брачный пир, дабы предложить моим возлюбленным соотече-

ственникам свой многолетний боевой опыт, добытый в чужих странах. Теперь ваша светлость знает вкратце историю моей жизни, за исключением деяний, совершенных мной на поле брани, при осадах, штурмах и атаках, но о них скучно рассказывать, да и, пожалуй, приличнее было бы вам услышать об этом из других уст, нежели из моих собственных.

Глава III

Министрам толковать законы надо...

Бой — жребий мой, а хлеб —

моя награда.

Ландскнехт одно лишь знает на войне:

Кто платит вдвое, тот и прав вдвойне.

Дони

Тропинка постепенно становилась все уже и движение по ней все затруднительнее, так что разговор между обоими спутниками сам собой оборвался, и лорд Ментейт, придержав лошадь, стал тихо переговариваться со своими слугами. Капитан Дальгетти, очутившись теперь впереди маленького отряда, медленно и с большим трудом взбирался по крутому и каменистому склону; проехав с четверть мили, они наконец достигли высокогорной долины, орошаемой стремительным потоком; зеленеющие свежей травой отлогие берега были достаточно широки, и всадники продолжали путь конь о конь.

Лорд Ментейт не замедлил возобновить прерванную беседу.

— Мне думается, — сказал он, обращаясь к капитану Дальгетти, — что благородный кавалер, столь долгое время сопровождавший доблестного шведского короля в его походах и питающий вполне понятное презрение к голландским штатам жалких ремесленников, должен был бы не задумываясь принять сторону короля Карла, отдав ему предпочтение перед теми худородными круглоголовыми ханжами и негодаями, которые взбунтовались против его власти.

— Вы рассуждаете логично, милорд, — отвечал Дальгетти, — и *caeteris paribus*¹ я, пожалуй, был бы склонен взглянуть на это дело вашими глазами. Но у нас на юге есть хорошая поговорка: «Словами репу не подмаслишь». Возвратившись на родину, я понаслушался разных разговоров и убедился в том, что честный воин может свободно принять в этой междоусобной войне ту сторону, которая покажется ему наиболее выгодной. «Верность престолу», — говорите вы, милорд. «Свобода!» — кричат по ту сторону предгорья. «За короля!» — орут одни. «За парламент!» — режут другие. «Да здравствует Монтроз!» — провозглашает Доналд, подбрасывая вверх свою шапочку. «Многие лета Аргайлу и Ливену!» — кричит Сондерс на юге, размахивая шляпой с пером. «Сражайся за епископов!» — подстрекает священник в стихаре и мантии. «Твердо стой за пресвитерианскую церковь!» — восклицает пастор в кальвинистской шапочке и белом воротнике. Все это хорошие слова, прекрасные слова! Но чья сторона лучше — не могу решить. Одно могу сказать, что мне частенько приходилось драться по колено в крови за дела и похуже...

— В таком случае, капитан Дальгетти, — промолвил граф, — если вам кажется, что обе стороны правы, не будете ли вы так любезны сообщить нам, чем вы намерены руководствоваться при окончательном выборе?

→ Два соображения решат дело, милорд, — отвечал капитан. — Во-первых, которая из двух сторон будет более нуждаться в моих услугах; а во-вторых — и это условие вытекает из первого, — которая из двух сторон лучше вознаградит меня за мои услуги. Откровенно говоря, милорд, в настоящее время оба эти соображения скорее склоняют меня на сторону парламента.

— Прошу вас объяснить, какие причины заставляют вас так думать, — возразил лорд Ментейт, — и, может быть, мне удастся выставить против них более веские доказательства.

¹ При прочих равных условиях (лат.).

— Сэр, — начал капитан Дальгетти, — я не буду глух к вашим уговорам, если это окажется совместимо с моей честью и личной выгодой. Дело в том, милорд, что в этих диких горах собирается, или уже собрался, большой отряд шотландских горцев, сторонников короля. А вам, сэр, хорошо известны нравы наших горцев. Я не отрицаю, что это народ крепкий телом и стойкий духом, который умеет хорошо сражаться на свой лад; но они воюют как дикари и о настоящей военной тактике и дисциплине знают не больше, чем древние скифы или американские индейцы нашего времени. Они и понятия не имеют о том, что такое немецкий рожок или барабан, как поют сигналы: «В поход!», «Тревога!», «На приступ!», «Отбой!», или играют утреннюю или вечернюю зорю, или отдают еще какую-нибудь команду; а звуки их проклятой скрипучей волынки, которые они сами якобы отлично понимают, совершенно непостижимы для слуха испытанного воина, привыкшего воевать по всем правилам военного искусства. Стало быть, вздумай я командовать этой ордой головорезов в юбках, никто бы меня не понял, а хоть бы и поняли, — судите сами, милорд, могу ли я рассчитывать на послушание этих полудиких горцев, которые привыкли почитать своих танов и предводителей, выполнять их волю и не желают повиноваться военному начальству? Если бы я, к примеру, стал их учить строиться в каре, то есть становиться в шеренги так, чтобы число людей в каждом ряду соответствовало квадратному корню всего числа людей, — что мог бы я ожидать в награду за сообщение столь драгоценной тайны военной тактики, кроме удара кинжалом в живот за то, что поместил какого-нибудь Мак-Элистер Мора, Мак-Шимея или Капперфэ на фланге или в арьергарде, тогда как он желает находиться в авангарде? Поистине, хорошо сказано в священном писании: «Не мечи бисера перед свиньями, ибо они обратятся на тебя и растерзают тебя».

— Я полагаю, Андерсон, — обратился лорд Ментейт к одному из своих слуг, ехавших за ним следом, — вам нетрудно будет убедить этого джентльмена в том, что мы нуждаемся в опытных офицерах

и гораздо более склонны воспользоваться их знаниями, нежели он, по-видимому, предполагает.

— С вашего позволения, — проговорил Андерсон, почтительно приподняв шапку, — когда подоспеет ирландская пехота, которую мы поджидаем и которая, вероятно, уже высадилась в Западной Шотландии, нам понадобятся опытные воины для обучения новобранцев.

— Что же, я рад, весьма рад послужить у вас, — заявил Дальгетти. — Ирландцы — славные ребята, лучше и не надо на поле сражения! Однажды, при взятии Франкфурта-на-Одере, мне довелось видеть отряд ирландцев; он один выдержал натиск врага и, действуя мечом и копьем, отбил два шведских полка, желтый и голубой, из числа наиболее стойких, сражавшихся под знаменами бессмертного Густава. И хотя храбрый Хепберн, отважный Ламсдейл, бесстрашный Монро и другие начальники прорвались в город в другом месте, но если бы мы повсюду встретили подобное сопротивление, то нам пришлось бы отступить с большими потерями и малым успехом. Вот почему эти отважные ирландцы, хоть и были, как водится, преданы смерти все до единого, все же заслужили бессмертную славу и почет. И вот ради них я люблю и уважаю всех, принадлежащих к этой нации, которую почитаю первой после моих соотечественников-шотландцев.

— Думаю, что почти наверное могу обещать вам службу офицера в ирландской армии, — сказал Ментейт, — если вы согласитесь принять сторону короля.

— Однако, — возразил капитан Дальгетти, — второй и наиболее существенный вопрос еще ждет ответа; ибо, хотя я и считаю, что не пристало воину говорить лишь о презренных деньгах и о жалованье, как это делают подлые наемники, немецкие ландскнехты, о которых я уже имел случай упоминать, и хотя я с мечом в руках готов доказать, что почитаю честь выше любого жалованья, вольного постоя и легкой наживы, — однако, *contrario*,¹ поскольку сол-

¹ С другой стороны (лат.).

датское жалованье есть вознаграждение за его службу, благоразумному и осмотрительному воину надлежит заранее удостовериться, какую мзду он получит за свои труды и из каких средств она будет выплачиваться. И поистине, милорд, по всему, что я здесь видел и слышал, мне ясно, что мощна-то в руках парламента. Горцев, пожалуй, легко ублаготворить, если разрешить им угонять скот; что касается ирландцев, то ваша светлость и ваши благородные союзники могут, конечно, по старому военному обычаю, выплачивать им жалованье так редко и в таком малом размере, как вам заблагорассудится. Однако такой способ оплаты не применим к благородному кавалеру, коим являюсь, к примеру, я, ибо мы должны содержать своих лошадей, слуг, оружие, снаряжение и не можем, да и не хотим, идти воевать за свой счет.

Андерсон — слуга, который уже и раньше вступал в разговор, — почтительно обратился к своему господину.

— Я полагаю, милорд, — сказал он, — что, с вашего разрешения, я мог бы кое-что сообщить капитану Дальгетти, что помогло бы рассеять его второе сомнение так же легко, как и первое. Он спрашивает нас, где мы достанем денег для выплаты жалованья; но, по моему скромному разумению, источники богатств открыты для нас так же, как и для пресвитериан. Они облагают страну налогами по своему усмотрению и расхищают имущество друзей короля; нагрянув на южную часть страны во главе наших горцев и ирландской пехоты, мы найдем немало разжиревших предателей; награбленное ими добро пополнит нашу военную казну и пойдет на уплату жалованья нашему войску. Кроме того, начнутся конфискации, и король, жалуя конфискованные поместья отважным воинам, сражающимся под его знаменами, наградит своих друзей и заодно накажет своих врагов. Короче говоря, тот, кто присоединится к круглоголовым псам, будет получать грошовое жалованье, а тот, кто станет под наши знамена, может надеяться на титул рыцаря, барона или графа, если посчастливится.

— Вы когда-нибудь служили, любезный друг? — спросил капитан Дальгетти, обращаясь к Андерсону.

— Недолго, сэр, только во время наших междоусобиц, — скромно отвечал тот.

— И никогда не служили ни в Германии, ни в Нидерландах? — продолжал Дальгетти.

— Не имел чести, — отвечал Андерсон.

— Должен признать, что слуга вашей светлости обнаруживает весьма здравый, разумный взгляд на военное дело, — заметил Дальгетти, обращаясь к лорду Ментейту. — Правда, то, что он предлагает, несколько не по правилам и сильно смахивает на шкуру неубитого медведя. Однако я приму его слова к сведению.

— И хорошо сделаете, — сказал лорд Ментейт. — У вас впереди целая ночь для размышлений, ибо мы уже приближаемся к дому, где, ручаюсь, вас ожидает радушный прием.

— А это сейчас будет весьма кстати, — отвечал капитан, — ибо у меня еще ничего не было во рту с самого утра, кроме простой овсяной лепешки, да и ту мне пришлось разделить с моим конем. Я так отощал, что даже вынужден был затянуть пояс потуже, опасаясь, как бы он не соскользнул с меня!

Глава IV

Когда-то (их не встретишь ныне!)
Бродили горцы здесь в долине
Был каждый ловок, крепко сбит,
При нем кинжал, палаш и щит.
В штанах коротких шеголяя,
Бродили в Лохэбере, в Скае,
Накинув плед, надев берет...
Вы знали их? Хорош портрет?

Местон

Разговаривая таким образом, путники подъехали к холму, поросшему старым пихтовым лесом. Верхние обнаженные ветви самых высоких деревьев вырисовывались на фоне вечернего неба, пламенея в лучах

заходящего солнца. В самой чаще леса высились башни, вернее сказать — печные трубы господского дома, называемого замком, куда держали путь наши всадники.

По обычаю того времени дом состоял из двух узких строений под островерхой крышей, пересекающихся крест-накрест под прямым углом. Две сторожевые вышки и башенки по углам крыши, сильно напоминающие перечницы, давали усадьбе право именоваться замком Дарнлинварах. Главное здание и прилежащие к нему службы были обнесены низкой каменной оградой.

Приблизившись, путники заметили, что обитателями замка были приняты меры предосторожности, необходимые в столь смутные и тревожные времена: в стенах и в каменной ограде были пробиты новые бойницы; на окнах появились перекрещивающиеся железные прутья, похожие на тюремные решетки. Ворота во двор были заперты на все засовы, и лишь после долгих переговоров одна из створок открылась, и перед путниками появилось двое слуг, здоровенных горцев, вооруженных с ног до головы и готовых, подобно Битию и Пандору в «Энеиде», преградить путь любому опасному пришельцу.

Когда путешественников наконец впустили во двор, они увидели еще новые приготовления к обороне: вокруг стен шли подмости для мушкетеров, а несколько легких пушек, так называемых фальконетов, были размещены в угловых и боковых башнях.

Толпа слуг в национальной шотландской одежде тотчас же выбежала из дому; одни бросились принимать у приехавших лошадей, другие выстроились у входа, готовые проводить гостей во внутренние покои. Однако капитан Дальгетти отказался от всех предложенных ему услуг и пожелал самолично позаботиться о своем коне.

— Таков уж мой обычай, друзья мои, — всегда самому ставить в конюшню моего Густава (ибо это имя я дал ему в честь моего непобедимого военачальника). Мы старые друзья и боевые товарищи, и, так же как мне служат его ноги, ему служит мой язык,

требуя для него то, в чем он нуждается. — С этими словами капитан Дальгетти без дальнейших церемоний проследовал в конюшню за своим скакуном.

Ни лорд Ментейт, ни его спутники не оказали подобного внимания своим коням и, поручив их заботам прислуги, вошли в дом. Здесь, в темных сводчатых сенях, в числе прочей разнородной утвари красовалась огромная бочка дешевого пива, а около нее стояло несколько деревянных не то ковшей, не то чарок с двумя ручками, словно приглашая всех, кто пожелает, воспользоваться ими. Лорд Ментейт без всяких церемоний вынул из бочки втулку, напился сам и передал чарку Андерсону, который последовал примеру своего господина, предварительно выплеснув, однако, остатки пива из чарки и слегка ополоснув ее.

— Кой черт! — возмутился старый слуга-горец. — Он, видите ли, не может пить после своего хозяина, не вымыв чашки и не расплескав пива. Пропади ты пропадом!

— Я вырос во Франции, — отвечал Андерсон, — а там ни один человек не станет пить из чашки после другого, разве только после молодой женщины.

— А ну их к черту, выдумают тоже! — сказал Доналд. — А по мне, если пиво доброе, не все ли тебе равно, чьи чужие усы побывают в чашке раньше твоих?

Товарищ Андерсона выпил пиво, не соблюдая церемоний, столь возмущивших Доналда, и оба они последовали за своим господином в зал с низкими каменными сводами, служивший, по обычаю шотландских знатных семейств, местом сбора для всех обитателей замка. Там было полутемно — тусклый свет исходил только от огромного очага в дальнем углу, где тлели куски торфа; из-за пронизывающей сырости зал отапливали даже в летние месяцы. Два-три десятка щитов, столько же шотландских палашей и кинжалов, пледы, кремневые ружья, мушкеты, луки и арбалеты, секиры, посеребренные латы, стальные шлемы и шишаки, старинные кольчуги — рубашки из металлической сетки с такими же капюшонами

и рукавами — все это попеременно висело по стенам и могло бы в течение целого месяца служить развлечением любому члену наших обществ любителей старины. Но в те времена подобные предметы были слишком привычны, чтобы привлекать внимание посетителей замка.

Посреди зала стоял громоздкий дубовый стол, на котором Доналд с почтительным радушием поспешил расставить предназначавшееся для лорда Ментейта угощение, состоявшее из молока, масла, козьего сыра, кувшина пива и фляги шафранной водки, между тем как младший по должности слуга готовил такую же закуску на нижнем конце стола — для спутников приезжего гостя. Расстояние между верхним и нижним концом стола считалось, по понятиям того времени, достаточной дистанцией между господином и слугой, даже если первый и принадлежал, как граф Ментейт, к знатному роду. Во время этих приготовлений гости отогревались у огня: молодой граф стоял у самого очага, а слуги — на некотором расстоянии от него.

— Что вы скажете о нашем спутнике, Андерсон? — обратился лорд Ментейт к своему слуге.

— Малый хоть куда, — ответил Андерсон, — если правда все то, что он о себе рассказывает. Неплохо бы нам иметь десятка два таких молодцов, чтобы хоть как-нибудь обтесать наших ирландцев.

— Я держусь иного мнения, Андерсон, — возразил лорд Ментейт. — Я полагаю, что этот Дальгетти — одна из тех ненасытных пиявок, которые, насосавшись крови в чужих странах, возвращаются на родину, чтобы упиться кровью своих соотечественников. Стыд и позор всей этой своре продажных вояк! Они на всю Европу ославили шотландцев, этим именем называют теперь презренных наемников, которые не знают ни чести, ни убеждений, а только свое месячное жалованье, и готовы изменить любому знамени по воле случая или ради более высокой платы; их жадности и корыстолюбию, их погоне за чужим добром и беспечной жизнью мы в немалой доле обязаны той междоусобной войной, которая заставляет нас обречь

наши мечи против своих же собратьев. У меня едва хватило терпения слушать болтовню этого наемного гладиатора, хотя вместе с тем я с трудом удерживался от смеха над его беспримерной наглостью!

— Прошу прощения, ваша светлость, — сказал Андерсон, — но я позволю себе посоветовать вам при теперешних обстоятельствах умерить порывы вашего благородного негодования: мы, к сожалению, не можем осуществить своих намерений без помощи тех, кто движим более низкими побуждениями, нежели наши. Мы не можем отказаться от услуг таких молодцов, как наш приятель — капитан Дальгетти. Изъясняясь библейским слогом святош из английского парламента, мы говорим: «Сыны Зеруаха еще слишком опасны для нас».

— Стало быть, мне и впредь придется притворяться, — сказал лорд Ментейт, — как я делал это до сих пор, поняв ваш намек. Но я с удовольствием послал бы этого молодца ко всем чертям!

— Да, милорд, — заключил Андерсон, — помните, что укус скорпиона лечат, приложив к ранке другого, раздавленного скорпиона. Но тише... Нас могут услышать.

Одна из дверей зала отворилась, и на пороге показался рослый мужчина, чья гордая осанка и уверенная поступь, равно как его одежда и орлиное перо на шапочке, изобличали человека высокого звания. Он медленно подошел к столу, не обращая внимания на Ментейта, который поздоровался с ним, назвав его Алланом.

— Не нужно сейчас с ним заговаривать, — шепнул графу старый слуга.

Вошедший сел на пустую скамью перед очагом и, вперив неподвижный взгляд в рдеющие угли, погрузился в глубокое раздумье. Его мрачный взгляд, дикое и иступленное выражение лица выдавали в нем человека, который так поглощен собственными мыслями, что не замечает окружающего. Будь это житель Нижней Шотландии, такая угрюмая суровость — быть может, следствие уединенной и аскетической жизни — могла бы быть приписана религиозному фанатизму:

но шотландские горцы редко страдали этим духовным недугом, столь распространенным в ту пору среди англичан и обитателей Нижней Шотландии. Впрочем, и у горцев были свои предрассудки, затуманивавшие их разум нелепыми бреднями так же сильно, как пуританство затуманивало умы их соседей.

— Ваша милость, — повторил старый слуга, приблизившись к лорду Ментейту и говоря еле слышным шепотом, — вам лучше сейчас не обращаться к Аллану — рассудок его помрачен.

Лорд Ментейт кивнул головой и уже больше не делал попыток заговорить с молчаливым хозяином.

— Не сказал ли я, — внезапно произнес последний, выпрямившись во весь рост и пристально глядя на старого слугу, — не сказал ли я, что придут четверо? А здесь их только трое.

— Верно, так ты сказал, Аллан, — отвечал старый горец, — и четвертый уже идет сюда из конюшни, громяхая железом. Он точно краб в скорлупе — и грудь, и спина, и бедра, и ноги у него в латах. А куда прикажешь посадить его — подле Ментейта или на нижнем конце стола, рядом с его почтенными слугами?

Лорд Ментейт сам ответил на этот вопрос, указав на стул рядом с собой.

— А вот и он, — объявил Доналд, увидев входящего в зал капитана Дальгетти. — Надеюсь, в ожидании более сытной трапезы, господа не откажутся закусить хлебом и сыром. Как только хозяин со своими гостями, прибывшими из Англии, вернется с охоты, наш повар Дугалд угостит вас жареной козлятиной и дикой олениной.

Между тем капитан Дальгетти вошел в комнату и, подойдя прямо к стулу, стоявшему рядом со стулом лорда Ментейта, облокотился на спинку. Андерсон и его товарищ почтительно ожидали в конце стола разрешения занять свои места; трое или четверо горцев, под надзором старого Доналда, сновали взад и вперед, расставляя на столе принесенные яства, или стояли за стульями гостей, ожидая приказаний.

В самый разгар этих приготовлений Аллан внезапно вскочил с места и, выхватив из рук слуги светильник, поднес его к самому лицу Дальгетти, сурово и внимательно разглядывая его.

— Вот уж, поистине, — промолвил Дальгетти с некоторой досадой, когда Аллан, молча покачав головой, прекратил свой осмотр, — мы с этим молодцом, надо думать, сразу узнаем друг друга, доведись нам снова встретиться!

Тем временем Аллан решительным шагом направился к нижнему концу стола и, осветив лицо Андерсона и его товарища, подверг их столь же тщательному осмотру. Постояв с минуту в глубоком раздумье, он потер рукой лоб, потом вдруг схватил Андерсона за руку и, прежде чем тот успел оказать малейшее сопротивление, повел — вернее, потащил — его к свободному месту на верхнем конце стола. Молча указав Андерсону на пустой стул, Аллан с той же стремительностью повлек капитана Дальгетти к противоположному концу стола. Капитан, взбешенный такой вольностью обращения, попытался оттолкнуть Аллана; но, несмотря на свое богатырское сложение, он оказался слабее исполина-горца, и тот с такой силой отбросил его, что капитан отлетел на несколько шагов и растянулся во весь рост, огласив каменные своды грохотом своих доспехов. Поднявшись на ноги, он прежде всего выхватил меч и бросился на Аллана, который, скрестив на груди руки, ожидал его нападения с презрительным равнодушием. Лорд Ментейт и его спутники поспешили стать между противниками, стараясь успокоить их, тогда как слуги замка, сорвав со стен оружие, уже готовились принять участие в схватке.

— Он не в своем уме, — прошептал Ментейт на ухо капитану, — совсем помешанный, нет никакого смысла вступать с ним в ссору.

— Если ваша светлость ручается за то, что он *compos mentis*,¹ — отвечал Дальгетти, — что, впрочем, вполне подтверждается его обращением и поступ-

¹ Не в здравом уме (лат.).

нами, то дело должно на этом кончиться, ибо безумец не может ни нанести обиды, ни дать удовлетворения на поле чести. Но могу вас заверить, если бы я уже успел подкрепиться и пропустить бутылочку рейнского, я бы так легко не поддался ему. И, право, жаль, что он слаб рассудком, будучи таким дюжим молодцом, который должен отлично владеть копьем, моргенштерном¹ или любым иным оружием.

Итак, мир был восстановлен, и гости уселись за стол в прежнем порядке, уже более не нарушаемом Алланом, который вернулся на скамью у очага и вновь погрузился в свои думы. Лорд Ментейт, обратившись к старейшему из слуг, поспешил завести с ним беседу, чтобы сгладить впечатление от недавнего происшествия.

— Ты говоришь, Доналд, что твой господин отправился в горы и вместе с ним приезжие англичане?

— Именно так, как ваша милость изволит говорить; он охотится в горах, и с ним два англичанина, один из них — сэр Майлс Масгрейв, другой — Кристофер Холл, оба из Камрайка, — так, кажется, они называли свою местность.

— Холл и Масгрейв? — переспросил лорд Ментейт, взглянув на своих спутников. — Их-то мы и хотели видеть.

— А вот я, — сказал Доналд, — желал бы никогда не видеть их в наших краях, ибо они явились сюда только затем, чтобы пустить нас по миру.

— Что с тобой, Доналд? — удивился лорд Ментейт. — Ты прежде никогда не скупился на мясо и

¹ Так назывался род булавы, или палицы, которой пользовались в первой половине семнадцатого века при защите проломов и брешей в стенах. Когда во время осады Штральзунда немцы, насмехаясь над шотландцами, уверяли, что, по слухам, из Дании пришел корабль, доставивший им груз курительных трубок, «один из наших солдат, — рассказывает полковник Роберт Мурро, — выставив из-за стены моргенштерн — толстую дубину, окованную железом, подобно древку алебарды, с шарообразным наконечником, утыканным железными шипами, — сказал «Вот какими трубками мы будем вышибать из вас дух, когда вы вздумаете идти на приступ». (Прим автора)

пиво. И хоть они и англичане, но вряд ли съедят весь скот, который пасется на лугах твоего хозяина.

— А хоть бы и съели! — отвечал Доналд. — Это бы с полбеды. Здесь у нас немало преданных людей, которые не дадут нам голодать, пока на землях между замком и Пертом пасется хоть один козленок. Тут дело похуже — об заклад побились!

— Об заклад? — с удивлением повторил лорд Ментейт.

— Вот то-то и оно! — продолжал Доналд, горя желанием выложить свои новости лорду Ментейту, с любопытством ожидавшему рассказа старика. — Ведь ваша милость — родня нашим господам и друг семьи, да к тому же вы вскорости и так об этом услышите, почему мне не рассказать вам сейчас? Так вот, коли угодно знать, когда наш хозяин в последний раз ездил в Англию, — а ездит он туда чаще, нежели того хотели бы его друзья, — он был приглашен в дом этого самого сэра Майлса Масгрейва; и там, изволите ли видеть, было поставлено на стол шесть шандалов, и, говорят, эти шандалы вдвое больше тех, что стоят в Данблейнской церкви: и не какие-нибудь медные, железные или оловянные, а чистого серебра... Уж и гордости у этих англичан — просто не знаю, куда девать ее! Вот и начали они поддразнивать нашего хозяина, будто он никогда не видывал такого богатства в своей нищей стране; а наш хозяин, разгневавшись, что при нем поносят его родину, поклялся как истый шотландец, будто у него дома, в его замке, еще больше шандалов, да таких, каких и не бывало в домах Камберленда; Камберленд она называется — местность-то ихняя.

— Слова, достойные верного сына своей родины, — заметил лорд Ментейт.

— Так-то оно так, — сказал Доналд, — но лучше бы его милость на сей раз попридержал язык; ведь если при англичанах сболтнешь что-нибудь лишнее, они сейчас же и заставят тебя биться об заклад, да так быстро, что кузнец не успел бы лошадь подковать. Вот и пришлось моему хозяину либо взять свои слова обратно, либо прозакладывать две сотни мерков.

Конечно, он принял заклад, чтобы не срамиться перед этими господами. А теперь вот нужно раскошелиться! Оттого, думается мне, он и не торопится возвращаться домой.

— Судя по тому, что мне известно о вашем фамильном серебре, — заметил лорд Ментейт, — твой хозяин, Доналд, наверняка потеряет свою ставку.

— Верно, верно, ваша милость. А где он денежки возьмет — ума не приложу, — он уже занимал направо и налево. Я советовал ему потихоньку упрятать обоих англичан вместе с их слугами в подземелье под башней и держать их там до тех пор, покуда они сами не откажутся от заклада, — да хозяин и слушать не хочет.

При этих словах Аллан вскочил с места, большими шагами подошел к старому слуге и громовым голосом произнес:

— Да как ты смел давать моему брату такие полные советы? И как ты смеешь говорить, что он проигрывает ставку, если ему угодно было побиться об заклад?

— Твоя правда, Аллан Мак-Олей, — отвечал старик. — Не дело, чтоб сын моего отца перечил сыну твоего отца, и, стало быть, господин мой, надо думать, выиграет заклад! Да только я-то хорошо знаю, что в доме у нас не найдется ни одного шандала, кроме старых железных светильников, которые остались со времен лорда Кеннета, и оловянных подсвечников, которые ваш батюшка заказывал старику Уилли Уинки; а что до серебра, то сам черт не сыщет в доме ни одной унции, если не считать старой молочной кружки вашей покойной матушки, да и та без крышки и одна ножка сломана.

— Молчи, старик! — гневно крикнул Аллан. — А вас, господа, если ваша трапеза окончена, я попрошу покинуть зал; я должен все приготовить к приему наших английских гостей.

— Идемте, — шепнул старый слуга, дернув за рукав лорда Ментейта. — На него нашло, — добавил он, указывая глазами на Аллана, — теперь ему нельзя перечить.

Все вышли из зала, и Доналд проводил Ментейта и капитана Дальгетти в одну сторону, а один из младших слуг повел обоих спутников лорда в другую. Едва Ментейт успел войти в небольшую комнату, нечто вроде кабинета, как явился сам владелец замка, Ангюс Мак-Олей, в сопровождении английских гостей. Встреча была самая дружеская, ибо лорд Ментейт был хорошо знаком с обоими англичанами; а капитан Дальгетти, представленный лордом Ментейтом, был радушно принят хозяином дома. Но после первых радостных приветствий лорд Ментейт не мог не заметить, что чело его друга омрачено печалью.

— Вы, вероятно, уже слышали, — сказал сэр Кристофер Холл, — что дело, затеянное нами в Камберленде, окончилось неудачей? Милиция не захотела двинуться в Шотландию, а ваши ушастые пуритане порядком потрепали наших друзей в южных графствах. И вот, прослышав, что вы здесь зашевелились, мы с Масгрейвом, не желая сидеть дома сложа руки, прибыли сюда, чтобы повоевать вместе с вашими молодцами в юбках и пледах.

— Надеюсь, вы захватили с собой оружие, людей и казну? — улыбаясь спросил Ментейт.

— Всего каких-нибудь десятка два солдат, которых мы оставили в последней деревушке предгорья, — отвечал Масгрейв. — Да и то, если бы вы знали, с каким трудом нам удалось притащить их туда!

— Что касается денег, — заметил другой англичанин, — то мы рассчитываем пополнить казну с помощью нашего друга и любезного хозяина.

При этих словах Мак-Олей весь покраснел и, отведя Ментейта в сторону, выразил ему свою досаду по поводу глупого положения, в которое попал по своей вине.

— Я уже слышал об этом от Доналда, — сказал лорд Ментейт, едва сдерживая улыбку.

— Черт бы побрал старика, — сказал Мак-Олей. — Он готов разболтать все, что угодно, хоть бы это стоило человеку жизни. Впрочем, и для вас, милорд, в этом ничего веселого нет, ибо я очень рассчитываю на ваше дружеское и братское расположение

и надеюсь, что вы, как близкий родственник, можете мне расплатиться с этими английскими пудингами. Иначе скажу вам напрямик, что вы на переключке недосчитаетесь Мак-Олея, ибо, будь я проклят, если не продамся пресвитерианам скорее, нежели взгляну в глаза этим господам, не расплатившись с ними! Мне и так уж будет не сладко, ибо я и убыток потерплю и хвастуном перед всеми явлюсь.

— Вам, конечно, неизвестно, милорд, что и мои денежные дела не блестящи в настоящее время, — возразил граф Ментейт. — Но вы можете быть уверены, что я сделаю все возможное, чтобы помочь вам, во имя нашего старинного родства, соседства и дружбы.

— Благодарю вас!.. Очень, очень вас благодарю!.. — сказал Мак-Олей. — А поскольку эти деньги так или иначе пойдут на службу королю, то не все ли равно, кто их внесет — вы, они или я сам? Ведь все мы дети одного отца, не правда ли? Но вы должны еще помочь придумать какую-нибудь разумную отговорку; иначе мне придется обнажить шпагу, ибо я не потерплю, чтобы меня в моем собственном доме называли обманщиком и хвастуном, тогда как, видит бог, я только хотел поддержать честь своего рода и своей отчизны.

Во время их разговора в комнату вошел Доналд с таким сияющим лицом, какого трудно было ожидать от него в ту минуту, когда столь печальная участь угрожала карману и достоинству его господина.

— Кушанье подано и свечи зажжены, — произнес старый слуга с особым ударением на последних словах.

— Черт побери, что он хочет сказать? — заметил Масгрейв, взглянув на своего соотечественника.

Лорд Ментейт вопросительно посмотрел на хозяина дома, но в ответ на его взгляд Мак-Олей только недоумевающе покачал головой.

В дверях произошла небольшая задержка, вызванная спором, кому пройти первому. Лорд Ментейт стоял на том, чтобы уступить гостям это право, при-

надлежащее ему в силу его высокого звания; он сослался на то, что он у себя на родине и к тому же свой человек в этом доме. Итак, оба английских гостя первыми вступили в зал, где глазам их представилось необычайное зрелище. Огромный дубовый стол был весь заставлен сытными мясными кушаньями, а вокруг него в надлежащем порядке были размещены стулья. За каждым стулом стоял слуга-горец, исполлинского роста, в национальном костюме и в полном вооружении. Каждый горец держал в правой руке обнаженный меч острием вниз, а в левой — пылающий факел. Факелы были сделаны из особого вида сосны, произрастающей на болотах Шотландии. Дерево это настолько смолисто, что, расщепленное и высушенное, оно отлично заменяло горцам свечи. Картина, открывшаяся взорам гостей, была поистине внушительная: пламя горящих факелов отбрасывало багровый свет на суровые лица горцев, на их необычную для постороннего глаза одежду и сверкающее оружие; густые клубы дыма поднимались под самые своды, образуя над залом как бы воздушный дымчатый шатер.

Прежде чем гости пришли в себя от изумления, Аллан выступил вперед и, не вынимая палаша из ножен, указал им на горцев с зажженными факелами.

— Взгляните, благородные гости, — сказал он торжественно, — каковы шандалы в доме моего брата, каков старинный обычай в нашем древнем роде; ни один из этих горцев не знает иного закона, кроме воли своего вождя! Так дерзнете ли вы, господа, сравнить этих людей с самым драгоценным металлом, извлекаемым из недр земли? Что вы на это скажете, господа? Выиграли вы заклад или проиграли?

— Програли, проиграли! — весело воскликнул Масгрейв. — Мои собственные серебряные шандалы уже давно расплавлены и обращены в новобранцев; хорошо, если они окажутся хотя бы вполовину надежнее этих. Извольте, сэр, — продолжал он, обращаясь к хозяину, — получайте ваши деньги; кошельки наши немного отощают, но ничего не поделаешь — долг чести нужно платить!

— Да будет проклят отцом сын моего отца, — прервал его Аллан, — если он примет от вас хоть пенни! Достаточно того, что вы не притязаете на выигрыш!

Лорд Ментейт горячо поддержал Аллана, и старший Мак-Олей охотно присоединился к их мнению, заявив, что вся затея была сущим вздором, о котором не стоит больше говорить. Англичане из вежливости стали было спорить, но быстро согласились обратить все дело в шутку.

— А теперь, Аллан, прошу тебя удалить твои светильники, — сказал хозяин дома. — Наши английские гости достаточно насмотрелись на них и предпочтут пообедать при свете старых оловянных подсвечников, не задыхаясь от дыма.

Тотчас же, по знаку Аллана, живые шандалы, вложив свои мечи в ножны и держа их концом вверх, один за другим вышли из зала, после чего хозяева и гости приступили к пиршеству.¹

Глава V

В нем было столько смелости
и страсти
И в гневе был он так неукротим,
Что сам отец, предчувствуя
несчастье,
Просил, чтоб он бесстрашием своим
Зверей не трогал, досаждая им.
Но сын хотел, чтоб, укрощенный
словом,
И лев на брюхе ползал перед ним
И тигр свирепый уходил бы с ревом,
Угрозу чуя в окрике суровом.

Спенсер²

В те времена чревоугодие англичан вошло в поговорку среди шотландцев, но за обедом в замке Дарнлинварах аппетит английских гостей никак не мог

¹ Точно такое пари, по слухам, держал Мак-Доналд Киппox и вышел из запутанного положения точно таким же способом, как здесь рассказано. (*Прим. автора.*)

² Перевод И. Миримского.

идти в сравнение с чудовишной прожорливостью Дальгетти, хотя сей доблестный воин уже успел проявить немалое упорство и решительность, когда бросился в атаку на легкую закуску, предложенную приезжим по их прибытии в замок. За обедом он не проронил ни слова; и лишь после того как почти все яства были убраны со стола, он соблаговолил объяснить своим сотрапезникам, не без удивления наблюдавшим за ним, какие причины побуждают его столь стремительно и основательно насыщаться.

— Привычку есть быстро, — сказал он, — я по необходимости приобрел за столом стипендиатов эбердинского духовного училища, ибо там, если не работать челюстями, как кастаньетами, очень легко остаться ни с чем. А что касается обилия поглощаемой мною пищи, — продолжал капитан, — то да будет вам, господа, известно, что долг каждого коменданта крепости — пополнять запасы всеми доступными ему средствами, заготавливая столько провианта и оружия, сколько могут вместить склады, — на тот случай, если придется выдерживать непредвиденную осаду. Согласно этому правилу, я полагаю, что если перед воином стоит вкусная и обильная еда, то он поступит вполне разумно, насытившись дня на три вперед, ибо никто не знает, когда ему снова доведется пообедать.

Хозяин дома выразил свое одобрение подобной предусмотрительности и посоветовал капитану запить глотком бренди и бутылкой кларета поглощенные им мясо и дичь, на что тот охотно согласился.

После того как было убрано со стола и все слуги вышли — за исключением паж, который остался в зале, чтобы в случае надобности принести что-нибудь или позвать кого-нибудь, — одним словом, исполняя обязанности современного колокольчика, — разговор перешел на политические темы и положение в стране; лорд Ментейт обстоятельно и подробно расспрашивал о том, какие именно кланы должны прибыть на предстоящий сбор сторонников короля.

— Все зависит от того, милорд, кто станет во главе, — отвечал Мак-Олей, ибо вам должно быть

известно, что если несколько наших северных кланов соединятся, они не всегда склонны подчиняться одному из своих вождей, да и, по правде говоря, кому бы то ни было. Ходят слухи, будто Колкитто — младший Колкитто, иначе говоря — Аластер Мак-Доналд — переправится из Ирландии с отрядом людей графа Энтрима; они высадились в Кайле и дошли до Эрднамурхана. Им следовало уже быть здесь, но я предполагаю, что они задержались в пути, соблазнившись легкой поживой, и теперь занимаются грабежами.

— Может быть, Колкитто и будет вашим вождем? — спросил лорд Ментейт.

— Колкитто! — сказал Аллан Мак-Олей презрительно. — Кто говорит о Колкитто? На свете есть только один человек, за которым мы все пойдем, — это Монтроз.

— Но о Монтрозе нет ни слуху ни духу со времени нашей неудачной попытки поднять восстание на севере Англии, — возразил сэр Кристофер Холл. — Полагают, что он возвратился в Оксфорд, чтобы получить от короля новые указания.

— В Оксфорд? — заметил Аллан, презрительно усмехнувшись. — Я бы вам сказал, где он... Да не стоит: скоро сами узнаете.

— Знаешь, Аллан, — сказал лорд Ментейт, — этак ты выведешь из терпения всех друзей. Твоя мрачность становится просто невыносимой. Впрочем, мне понятна причина, — добавил он засмеявшись, — должно быть, ты сегодня еще не видел Эннот Лайл?

— Как ты сказал? Кого я не видел? — хмуро спросил Аллан.

— Эннот Лайл, волшебную фею пения и музыки, — отвечал граф.

— Бог свидетель, я рад бы никогда больше не видеть ее, — вздохнув, сказал Аллан, — лишь бы такой запрет был наложен и на тебя!

— Почему же именно на меня? — небрежно спросил Ментейт.

— А потому, — отвечал Аллан, — что у тебя на лбу написано, что вы погубите друг друга. — С этими словами он встал и покинул комнату.

— Давно это с ним? — спросил лорд Ментейт, обращаясь к старшему Мак-Олею.

— Третьи сутки, — отвечал Ангюс, — припадок уже кончается, завтра ему будет лучше. Однако, гости дорогие, не наполнить ли нам чарки? За здоровье короля! Да здравствует король Карл! И пусть подлый изменник, который откажется от этого тоста, сложит свою голову на плахе!

Тост был немедленно принят, за ним последовал второй, и третий, и четвертый — все в том же духе, предложенные столь же торжественно. Капитан Дальгетти, однако, счел нужным сделать оговорку.

— Милостивые государи, — сказал он, — я присоединяюсь к вашим заздравным тостам, *primo*¹ — из уважения к этому почтенному и гостеприимному кро-ву, и *secundo*² — потому, что я *integer rosula*³ не считаю нужным быть особо шепетильным в вопросах политики, но предупреждаю, что, согласно предварительному уговору с его светлостью, я оставляю за собой право, невзирая на сегодняшние тосты, завтра же поступить на службу к пресвитерианам, буде мне так заблагорассудится.

Услышав такое неожиданное заявление, Мак-Олей и его английские гости с изумлением и гневом посмотрели на капитана; но лорд Ментейт быстро восстановил спокойствие, пояснив обстоятельства дела и условия уговора.

— Я надеюсь, — добавил он в заключение, — что нам удастся привлечь капитана Дальгетти на нашу сторону и заручиться его поддержкой.

— А если нет, — сказал хозяин дома, — то я, в свою очередь, предупреждаю: никакие обстоятельства, ни даже то, что он нынче ел мою хлеб-соль и пил со мной бренди, бордоское вино и шафранную настойку, не помешают мне рассечь ему голову до самого шейного позвонка.

¹ Во-первых (лат.).

² Во-вторых (лат.).

³ За стаканом вина (лат.)

— Сделайте одолжение, — отвечал капитан, — если только мой меч не сумеет защитить мою голову, что ему уже не раз удавалось, и притом в таких случаях, когда мне угрожала большая опасность, нежели ваша вражда.

Тут лорду Ментейту снова пришлось вмешаться, и после того, как согласие было не без труда восстановлено, его скрепили обильными возлияниями.

Однако лорд Ментейт, сославшись на усталость и нездоровье, встал из-за стола раньше, чем это было принято в замке, к немалому разочарованию храброго капитана, который, помимо всего прочего, пристрастился в Нидерландах к вину и приобрел способность поглощать невероятное количество крепких напитков.

Хозяин дома самолично проводил гостей в галерею, служившую спальней, где стояла большая кровать под клетчатым пологом; вдоль стены помещалось несколько ларей, или, вернее, длинных корзин; три из них были набиты свежим вереском и, видимо, предназначались в качестве постелей для гостей.

— Мне едва ли нужно объяснять вам, милорд, — сказал Мак-Олей, отведя Ментейта в сторону, — как у нас обычно устраивают ночлег для гостей. Но, скажу вам откровенно, мне не хотелось оставлять вас на ночь наедине с этим немецким бродягой, и я приказал приготовить постели вашим слугам подле вас. Чем черт не шутит, милорд! В наше время можно лечь спать целым и невредимым, со здоровой глоткой, способной пропустить любое количество бренди, а наутро оказаться с перерезанным горлом, зияющим, как вскрытая устрица.

Лорд Ментейт, сердечно поблагодарив хозяина за его заботы, сказал, что сам хотел просить о таком распорядке, ибо хотя он нимало не опасается насилия со стороны капитана Дальгетти, но все же всегда предпочитает иметь Андерсона поближе к себе, потому что это не простой слуга, а человек весьма достойный.

— Я прежде не видал у вас этого Андерсона, — заметил Мак-Олей. — Вы, вероятно, наняли его в Англии?

— Да, — отвечал лорд Ментейт. — Завтра вы его увидите, а пока желаю вам спокойной ночи.

Мак-Олей, попрощавшись с гостями, покинул галерею; он сделал было попытку пожелать спокойной ночи также и капитану Дальгетти, но, заметив, что внимание храброго воина всецело поглощено кувшином с поссетом, не стал прерывать столь похвальное занятие и удалился без дальнейших церемоний.

Почти тотчас же после его ухода явились слуги лорда Ментейта. Милейший капитан, несколько отяжелевший от выпитого вина и тщетно пытавшийся растегнуть пряжки своего панциря, обратился к Андерсону со следующей речью, прерываемой частой икотой:

— Андерсон, дружище, ты, наверное, читал в священном писании: «Пусть не хвалится подпоясывающийся, как распоясывающийся...» Конечно, это непохоже на команду... Но суть дела в том, что мне придется спать в моих доспехах, как тем честным воинам, которые уснули навеки, если ты не поможешь мне растегнуть вот эту пряжку.

— Помоги ему снять латы, Сибболд, — сказал Андерсон другому слуге.

— Клянусь святым Андреем! — в изумлении воскликнул капитан, круто повернувшись на каблуках. — Простой слуга, наймит, получающий четыре фунта в год и лакейскую ливрею, считает для себя унижительным услужить ритмейстеру Дугалду Дальгетти, владельцу Драмсуэкиа, изучавшему гуманитарные науки в эбердинском духовном училище и состоявшему на службе у монархов доброй половины европейских государств!

— Капитан Дальгетти, — сказал лорд Ментейт, которому, видно, суждено было в этот вечер играть роль миротворца, — прошу вас принять во внимание, что Андерсон никогда и никому не прислуживает, кроме меня; но я охотно сам помогу Сибболду растегнуть ваш панцирь.

— Слишком много чести, милорд, — возразил Дальгетти, — хотя, быть может, вам и не мешало бы поучиться снимать и надевать военные доспехи. Я натягиваю и стягиваю свои, как перчатку; вот только

нынче, хоть я и не ebrius,¹ но, как говорили древние, vino ciboque gravatus.²

Тем временем капитан уже был освобожден от своих доспехов и теперь, стоя перед очагом с выражением пьяного глубокомыслия на лице, предавался размышлениям о событиях минувшего вечера. Больше всего, по-видимому, его занимала личность Аллана Мак-Олея.

Так ловко суметь обойти этих англичан! Выставить вместо шести серебряных шандалов — восемь голоштаных горцев с горящими факелами! Да ведь это верх находчивости! Умнейшая выдумка, просто фокус!... А говорят, что он сумасшедший! Боюсь, милорд (капитан покачал головой), что хоть он вам и родня, а придется мне признать, что он в своем уме, и либо поколотить его хорошенько за насилие, совершенное над моей личностью, либо вызвать его на поединок, как подобает оскорбленному дворянину.

— Если вы согласны в столь позднее время выслушать длинный рассказ, — отвечал лорд Ментейт, — то я могу сообщить вам о некоторых обстоятельствах, которыми сопровождалось появление на свет Аллана Мак-Олея, и вы сами поймете, почему нельзя так строго судить его и требовать от него удовлетворения.

— Длинный рассказ на ночь глядя, милорд, — отозвался капитан Дальгетти, — да чарочка вина и теплый ночной колпак — лучшее снотворное. А потому, если вашей светлости угодно взять на себя труд рассказывать, я буду иметь честь быть вашим терпеливым и признательным слушателем.

— Думаю, что и вам, Андерсон, и тебе, Сибболд, — обратился лорд Ментейт к своим слугам, — очень хочется услышать об этом странном человеке; и я полагаю, что лучше мне удовлетворить ваше любопытство, чтобы вы в случае надобности знали, как обращаться с ним. Подсаживайтесь-ка все поближе к огню.

Собрав вокруг себя слушателей, лорд Ментейт присел на край широкой кровати, а капитан Даль-

¹ Пьян (лат.)

² Отягчен вином и едой (лат.).

гетти, вытерев капельки молочного напитка с усов и бороды и повторив несколько раз первый стих лютеранского псалма «Всякое дыхание да хвалит господу...» — улегся в одну из приготовленных постелей; высунув из-под одеяла взлохмаченную голову, он слушал рассказ молодого графа, находясь в блаженном состоянии полупьяной дремоты.

— Отец Ангюса и Аллана, — начал свой рассказ лорд Ментейт, — происходил из почтенного и древнего рода и был предводителем одного из северных кланов — немногочисленного, но стяжавшего добрую славу; его супруга, мать обоих братьев, была женщиной благородного происхождения, из хорошей семьи, если мне дозволено будет так говорить об особе, родственной мне по крови. Ее брат, смелый и достойный молодой человек, получил от короля Иакова Шестого звание лесничего и, наряду с другими привилегиями, право охоты на королевской земле, примыкавшей к его поместью. Пользуясь этим правом и защищая его, он имел несчастье навлечь на себя вражду одного из тех горных кланов, которые занимаются разбоем и о которых вы, капитан, вероятно, слышали.

— Как не слышать, — отвечал капитан, с трудом открывая слипающиеся глаза. — Еще в бытность мою в эбердинском духовном училище Дугалд Гарр пошаливал в Гариохе, а Фаркерсоны — на берегах Ди, клан Чэттен — на землях Гордонов, а Гранты и Кameronы — во владениях Морей. А после того понасмотрелся я на хорватов и пандуров в Паннонии и Трансильвании. Видел и казаков с польской границы. Видел я и всяких разбойников, бандитов и грабителей со всех концов света; так что имею кое-какое понятие о том, каковы ваши отчаянные горцы!

— Клан, с которым дядя Ангюса и Аллана с материнской стороны находился во вражде, — продолжал лорд Ментейт, — был просто шайкой бездомных разбойников, прозванных Сынами Тумана за их вечные скитания по горам и долам. Это жестокие и отчаянные люди, мстительные и неистовые в своих диких страстях, не знающие узды, налагаемой цивилизованным обществом. Несколько человек из этого клана подсте-

регли злополучного лесничего в то время, как он охотился в горах без своих слуг, неожиданно напали на него и зверски убили, подвергнув бесчеловечным истязаниям. Затем разбойники отрубили лесничему голову и в порыве бесшабашного удалства решили подкинуть ее в замок зятя лесничего. Хозяина не было дома, и жене его поневоле пришлось принять непрощенных гостей, перед которыми она побоялась закрыть двери своего дома. Сынам Тумана было подано угощение, и они, улучив удобную минуту, вынули из плеча голову своей жертвы, поставили ее на стол и вложили в ее безжизненные уста кусок хлеба, предлагая откусать с того самого стола, за которым убитый не раз пировал. Хозяйка дома, покинувшая комнату, чтобы позаботиться об ужине, вошла в эту самую минуту и, увидя голову своего брата, стремглав бросилась в лес, испуская дикие вопли. Злодеи, удовлетворенные успехом своей жестокой выходки, удалились. Перепуганные слуги, едва придя в себя от охватившего их ужаса, кинулись во все стороны разыскивать свою несчастную госпожу, но она исчезла бесследно. Злополучный муж возвратился домой на другой день и с помощью своих людей предпринял более тщательные поиски как вблизи замка, так и в отдаленных окрестностях, но, увы, и эти поиски оказались тщетными. Все говорили, что, помешавшись от ужаса, бедная женщина, вероятно, бросилась с обрыва в реку или утонула в глубоком озере, расположенном на расстоянии мили от замка. Ее гибель вызвала всеобщую скорбь, тем более что она была на шестом месяце беременности; старшему ее сыну, Ангюсу, было в ту пору полтора года. Однако я, кажется, утомил вас, капитан Дальгетти, и вас как будто клонит ко сну?

— Нисколько, — отвечал воин, — я и не думал засыпать. Просто я лучше слышу с закрытыми глазами. Этому я научился, когда стоял на часах.

— Уж наверное, — шепнул лорд Ментейт Андерсону, — начальник караула не раз тыкал в него алебардой, чтобы заставить его открыть глаза!

Однако роль рассказчика, по-видимому, пришлась молодому графу по вкусу, и он продолжал свое повествование, обращаясь преимущественно к своим слугам и не уделяя больше никакого внимания задремавшему ветерану.

— Все окрестные бароны, — снова начал Ментейт, — поклялись отомстить за это страшное злодеяние. Объединившись с зятем убитого и другими его родственниками, они выследили Сынов Тумана и умертвили их с не меньшей жестокостью, чем те умертвили лесничего. Разделив между собой семнадцать отрубленных голов — трофеи кровавой расправы, — союзники выставили их на воротах своих замков, на съедение воронам; немногие уцелевшие Сыны Тумана перебрались в еще более безлюдные места, отступив в глубь страны.

— Направо равняйся, кругом шагом марш! Отступить на прежние позиции! — вдруг закричал капитан Дальгетти.

Последние слова графа, видимо, пробудили в его дремлющем сознании слова привычной команды, но, тут же очнувшись, капитан стал уверять, что все время с глубочайшим вниманием следил за каждым словом рассказчика.

— Каждое лето, — продолжал лорд Ментейт, пропуская мимо ушей извинения капитана, — здесь угоняют коров на горные пастбища, на подножный корм; крестьянские девушки и служанки окрестных замков ходят туда доить коров утром и вечером. Однажды служанки этого дома, к великому своему ужасу, заметили, что за ними издали наблюдает какая-то бледная, истощенная женщина; по облику она очень напоминала их покойную госпожу, и, конечно, они решили, что это ее дух. Те, кто похрабрее, все же решились приблизиться к этому бледному призраку, но женщина с диким криком бросилась от них прочь и исчезла в чаще леса. Уведомленный о случившемся, хозяин замка, захватив с собой людей, поспешил на поиски, и ему удалось преградить беглянке путь к отступлению в горы и задержать несчастную женщину; но — увы! — рассудок ее был безнадежно по-

мрачен. Как она существовала во время своих блужданий по лесу — осталось неизвестным; предполагают, что она питалась кореньями и дикими ягодами, которыми изобилуют наши леса в летнюю пору; но простой народ был убежден, что либо она питалась молоком диких ланей, либо она обязана своим спасением волшебству и что кормили ее, вероятно, лесные феи. Ее появление на пастбище объяснить было нетрудно. Из чащи леса она увидела, как доят коров, и так как наблюдение за молочным хозяйством всегда было ее любимым занятием, то привычка взяла свое, несмотря на душевный недуг.

В положенное время несчастная женщина произвела на свет мальчика, который, по-видимому, не только не пострадал от невзгод, перенесенных матерью, но был, по всем признакам, необыкновенно здоровым и крепким ребенком. Бедная мать после родов пришла в себя — к ней вернулся рассудок; но бывшая веселость и ясность духа были утрачены навсегда. Аллан был ее единственной отрадой. Она окружала его непрестанной заботой; нет сомнения в том, что многие суеверия и предрассудки, к которым тяготеет его угрюмая и страстная натура, были внушены ему в раннем детстве матерью. Она скончалась, когда ему шел десятый год. Последние ее слова были сказаны ему с глазу на глаз, но, бесспорно, она завещала ему отомстить Сынам Тумана за смерть дяди; и он свято хранит этот завет.

С того часа поведение Аллана круто изменилось. Прежде он не разлучался с матерью, слушал ее полубезумные речи, рассказывал ей свои сны, питая свое воображение, вероятно от природы расстроенное, столь обычными среди шотландских горцев дикими и жуткими суевериями, которым его мать особенно предавалась после злодейского убийства брата. Вследствие такого воспитания мальчик рос диким, нелюдимым. Часто уходил один в лесную чащу и больше всего на свете боялся общества сверстников. Помню, как однажды — хотя я несколькими годами моложе Аллана — отец привез меня сюда погостить; никогда не забуду того удивления, которое вызвал во мне этот

маленький отшельник, отклонявший малейшую мою попытку втянуть его в игры, свойственные нашему возрасту. Помню, как его отец жаловался моему на угрюмый нрав Аллана, однако он говорил, что не считает себя вправе отнять у жены мальчика, лишить ее единственного утешения в жизни. К тому же забота о ребенке развлекала ее и, по-видимому, предотвращала возврат страшного недуга, поразившего несчастную женщину. И вот тотчас после смерти матери в характере и поведении мальчика произошла резкая перемена. Правда, он по-прежнему оставался угрюмым и задумчивым, по-прежнему случалось, что он часами не произносил ни одного слова и не обращал внимания на окружающих, — но теперь он иногда сам искал общества молодежи своего клана, которого раньше тщательно избегал. Он принимал участие во всех их забавах и играх и благодаря своей необыкновенной физической силе вскоре стал первенствовать во всех играх своего брата и прочих юношей, несмотря на то, что был моложе их. Те, кто прежде относился к нему с презрением, начали уважать его, хотя и недолго любили. И если прежде Аллана считали изнеженным, мечтательным мальчиком, то теперь его соперники в играх и физических упражнениях жаловались, что, возбужденный борьбой, он подчас готов обратить эти игры в драку, вместо того чтобы видеть в них предмет дружеского состязания в силе. Однако я, кажется, обращаюсь к невнимательным ушам, — прервал свою речь лорд Ментейт, ибо мощный храп капитана Дальгетти не оставлял сомнений в том, что доблестный ветеран пребывает в объятиях Морфея.

— Если вы имеете в виду уши этой храпящей свиньи, милорд, — заметил Андерсон, — то они в самом деле глухи ко всему, что бы ни говорилось; но так как здесь не место для более серьезной беседы, то я надеюсь, что вы не откажете в любезности продолжить ваш рассказ для нас с Сибболдом. В судьбе бедного юноши таится глубокий и зловещий смысл.

— Так слушайте, — продолжал лорд Ментейт. — Физическая сила и дерзость Аллана с годами развилась еще более. В пятнадцать лет он уже не призна-

вал ничьей власти, не терпел ни малейшего надзора, что глубоко тревожило его отца. Под предлогом охоты юноша дни и ночи пропадал в лесу, хотя далеко не всегда возвращался домой с дичью; старик был тем более обеспокоен, что некоторые из Сынов Тумана, пользуясь усиливающимся брожением в стране, отважились вернуться в свои прежние логовища, а он считал небезопасным возобновлять враждебные действия против них. Мысль о том, что Аллан в своих скитаниях может подвергнуться нападению этих мстительных разбойников, служила постоянным источником тревоги для его отца.

Я сам был свидетелем трагической развязки, будучи в то время гостем этого замка. Аллан с рассветом ушел в лес; я тщетно пытался разыскать его там; наступила темная, ненастная ночь, а он все не возвращался домой. Отец его, чрезвычайно встревоженный, решил наутро послать людей на розыски сына; но вдруг, в то время как мы сидели за ужином, дверь отворилась и в зал уверенной поступью, гордо подняв голову, вошел Аллан. Старик, хорошо зная строптивый нрав и безрассудство сына, ничем не выразил своего неудовольствия, только заметил, что вот я на охоте убил крупного оленя и воротился домой за светом, а он, Аллан, пробыл в горах до полуночи и пришел, видимо, с пустыми руками.

— Так ли? — с гневом спросил Аллан. — Я сейчас докажу, что вы не правы.

Только тут мы заметили, что руки и лицо у него забрызганы кровью, и мы с нетерпением ждали его объяснений. Вдруг он отвернул полу своего плаща, выкатил на стол, видимо, только что отрубленную, окровавленную человеческую голову и крикнул: «Лежи здесь, где до тебя лежала голова более достойного мужа!»

По резким чертам, всклокоченным рыжим волосам и бороде, в которых пробивалась седина, отец Аллана и другие присутствующие сразу узнали голову Гектора — одного из самых известных предводителей Сынов Тумана, наводившего на всех ужас своей необычайной силой и свирепостью; он участвовал

в убийстве злополучного лесничего, дяди Аллана, и только благодаря отчаянному сопротивлению и необыкновенному проворству ему удалось спастись от гибели, постигшей большинство его товарищей. Вы понимаете, что все мы онемели от изумления; но Аллан не пожелал удовлетворить наше любопытство, и мы могли только догадываться о том, что он, по всей вероятности, одолел разбойника лишь после ожесточенной борьбы, ибо вскоре обнаружилось, что сам он получил во время схватки несколько ран. После этого происшествия были приняты все меры, чтобы уберечь его от кровавой мести разбойников; но ни раны, ни строжайший запрет отца, ни засовы на дверях его комнаты и на воротах замка не могли помешать Аллану искать встречи с теми, кто больше всех жаждал его смерти. Он убегал из дому ночью через окно своей комнаты и, словно в насмешку над заботами отца, приносил то одну, то сразу две отрубленные головы Сынов Тумана. В конце концов даже этих людей обуял страх перед неистребимой ненавистью и безудержной отвагой, с какой Аллан приближался к их убежищам. Видя, что он, не задумываясь, вступает в борьбу, каково бы ни было превосходство противника, они пришли к убеждению, что на нем заговор и он находится под особым покровительством волшебных сил. «Ни ружье, ни кинжал, ни целый дурлах¹ — ничто его не берет», — говорили они. Причина этой неуязвимости крылась, по общему мнению, в необычайных обстоятельствах, при которых он появился на свет. Дело дошло до того, что даже пятеро или шестеро отчаянных головорезов, слышав охотничий клич Аллана или звук его рога, обращались в бегство.

Однако Сыны Тумана не унимались и по-прежнему разбойничали, нанося семейству Мак-Олеев, их родичам и друзьям громадный ущерб. Это вызвало необходимость нового похода против них, в котором и мне довелось принять участие; нам удалось застать

¹ Д у р л а х — колчан; буквально — мешок со стрелами. (Прим. автора.)

их врасплох, закрыть одновременно все перевалы и ущелья занятой ими местности; и мы, как водится, жестоко расправились с ними, убивая и сжигая все на своем пути. В этих свирепых войнах между кланами редко щадят даже женщин и детей. Одна только маленькая девочка, с улыбкой глядевшая на занесенный над ней кинжал, по моей настоятельной просьбе избежала мщения Аллана. Мы привезли ее в замок, и здесь она выросла под именем Эннот Лайл; и, уж верно, милей этой девочки вы не нашли бы среди маленьких фей, пляшущих при лунном свете на вересковой лужайке. Аллан долгое время не выносил присутствия ребенка, пока в его пылком воображении не зародилась уверенность, вызванная, вероятно, ее необычайной красотой, что она не связана кровным родством с ненавистным ему племенем, а была сама захвачена в плен во время одного из разбойничьих набегов; в таком предположении, в сущности, нет ничего невозможного, но Аллан верит в него, как в священное писание. Его особенно восхищает ее искусство в музыке; игра Эннот Лайл на арфе по своему совершенству превосходит исполнение лучших музыкантов страны. Вскоре все заметили, что игра Эннот оказывает благотворное влияние на помраченный рассудок Аллана и разгоняет его тоску, подобно тому как в древности музыка разгоняла тоску иудейского царя. У Эннот Лайл такой кроткий нрав, ее простодушная веселость столь восхитительна, что все в замке обращаются с ней скорее как с сестрой хозяина дома, нежели как с бедным приемышем, живущим здесь из милости. Поистине невозможно не плениться ею, видя ее искренность, живость и ласковую приветливость.

— Будьте осторожны, милорд! — заметил Андерсон улыбаясь. — Столь восторженные похвалы не доведут до добра. Аллан Мак-Олей, судя по вашему описанию, вряд ли окажется безопасным соперником.

— Пустяки! — сказал лорд Ментейт, рассмеявшись и в то же время, однако, сильно покраснев. — Аллану чужды волнения любви. Что касается меня, —

продолжал он серьезно, — темное происхождение Эннот не позволяет мне питать надежды на брак с нею, а беззащитность девушки ограждает ее от иных притязаний.

— Слова, достойные вас, милорд! — сказал Андерсон. — Но, надеюсь, вы доскажете нам вашу увлекательную повесть?

— Она почти окончена, — промолвил лорд Ментейт. — Мне осталось только добавить, что благодаря огромной силе и храбрости, решительному и неукротимому нраву и еще потому, что, по общему мнению, которое он сам всячески поддерживает, он пользуется покровительством сверхъестественных сил и может предсказывать будущее, — Аллан Мак-Олей окружен в клане гораздо большим почетом, нежели его старший брат. Ангюс, бесспорно, человек достойный и храбрый, но не выдерживает сравнения со своим несбыкновенным младшим братом.

— Такая личность, — заметил Андерсон, — должна, несомненно, оказывать огромное влияние на умы наших горцев. Мы должны во что бы то ни стало заручиться содействием Аллана, милорд. С его отчаянной отвагой и даром предвидения...

— Тсс, — шепнул лорд Ментейт, — сова просыпается.

— Я слышу, вы говорите о *deuteroscopia*, сиречь о ясновидении, — проговорил капитан. — Помню, блаженной памяти майор Мунро рассказывал мне, как волонтер в его роте, славный солдат Мардох Макензи, уроженец Ассинта, предсказал смерть Доналда Тафа из Лохэбера и нескольких других лиц, а также самого майора при внезапной атаке во время осады Штральзунда...

— Я часто слышал об этом даре, — заметил Андерсон, — но всегда считал тех, кто себе приписывает его, либо безумцами, либо просто обманщиками.

— Не могу причислить ни к тем, ни к другим своего родственника Аллана Мак-Олея, — возразил лорд Ментейт. — Он слишком часто проявляет проницательность и здравомыслие, в чем вы сегодня вечером имели случай убедиться, чтобы назвать его безум-

цем; а его высокое понятие о чести и его мужественный нрав, бесспорно, снимают с него обвинение в умышленном обмане.

— Итак, вы, ваша светлость, верите в его способность предрекать будущее? — спросил Андерсон.

— Отнюдь нет, — отвечал молодой граф. — Я полагаю, что просто он сам внушает себе, будто прорицания, которые в действительности лишь плод здравых наблюдений и раздумий, подсказаны ему какими-то сверхъестественными силами, точно так же как религиозные фанатики принимают игру своего воображения за откровение свыше. Во всяком случае, если это объяснение не удовлетворяет вас, Андерсон, я ничего лучшего не могу придумать; да, кстати, после такого утомительного путешествия нам всем давно уже пора спать.

Глава VI

Облик грядущего — тенью пред нами!

Кэмбел

Утром гости, ночевавшие в замке, поднялись спозаранку, и лорд Ментейт, переговорив со своими слугами, обратился к капитану, который, усевшись в угол, начищал свои доспехи крупным песком и замшей, мурлыча себе под нос песню, сложенную в честь непобедимого Густава Адольфа:

Пусть носятся ядра, гремит канонада,
Вы смерти не бойтесь, вам слава — награда!

— Капитан Дальгетти, — сказал лорд Ментейт, — настало время, когда мы с вами должны либо распрощаться, либо стать товарищами по оружию.

— Надеюсь, однако, не раньше, чем мы позавтракаем? — спросил капитан Дальгетти.

— А я думал, что вы запаслись провиантом по крайней мере дня на три, — заметил граф.

— У меня еще осталось немного места для мяса и овсяных лепешек, — отвечал капитан, — а я никогда не упускаю случая пополнить свои запасы.

— Однако, — возразил лорд Ментейт, — ни один разумный полководец не потерпит, чтобы парламентареры или посланцы нейтральной стороны оставались в его лагере дольше, чем это позволяет осторожность; поэтому нам необходимо точно узнать ваши намерения, после чего мы либо отпустим вас с миром, либо будем приветствовать вас как своего соратника.

— Коли на то пошло, — сказал капитан, — я не намерен оттягивать капитуляцию лицемерными переговорами (как это отлично проделал сэр Джеймс Рэмзи при осаде Ганнау в лето от рождества Христова тысяча шестьсот тридцать шестое) и откровенно признаюсь, что если ваше жалованье придется мне так же по душе, как ваш провиант и ваше общество, то я готов тотчас же присягнуть вашему знамени.

— Жалованье мы теперь можем назначить очень небольшое, — отвечал лорд Ментейт, — ибо выплачивается оно из общей казны, которая пополняется теми из нас, у кого есть кое-какие средства. Я не имею права обещать капитану Дальгетти больше полталера в сутки.

— К черту все половинки и четвертушки! — воскликнул капитан. — Будь на то моя воля, я не позволил бы делить пополам этот талер, так же как женщина на суде Соломона не позволила разрубить пополам свое собственное дитя.

— Это сравнение едва ли уместно, капитан Дальгетти, ибо я уверен, что вы скорее бы согласились разделить талер пополам, нежели отдать его целиком вашему сопернику. Впрочем, я могу обещать вам целый талер, с тем что задолженность будет покрыта по окончании похода.

— Ох, уж эта задолженность! — заметил капитан Дальгетти. — Вечно обещают покрыть ее и никогда не держат слова. Что Испания, что Австрия, что Швеция — все поют одну и ту же песню! Вот уж дай бог здоровья голландцам: хоть они никуда не годные солдаты и офицеры, но зато платить — мастера! И, од-

нако, милорд, если бы я мог удостовериться в том, что мое родовое поместье Драмсуэкиг попало в руки какого-нибудь негодяя из числа пресвитериан, которого в случае нашего успеха можно было бы признать изменником и отобрать у него землю, то я, пожалуй, согласился бы воевать заодно с вами, так сильно я дорожу этим плодородным и красивым уголком.

— Я могу ответить на вопрос капитана Дальгетти, — сказал Сибболд, второй слуга графа Ментейта, — ибо если его родовое поместье Драмсуэкиг не что иное, как пустынное болото, лежащее в пяти милях к югу от Эбердина, то я могу ему сообщить, что его недавно купил Элиас Стрэкен, отъявленный мятежник, сторонник парламента.

— Ах, он, лопоухий пес! — воскликнул капитан Дальгетти в бешенстве. — Кто дал ему право покупать наследственное имение, принадлежавшее нашему роду в течение четырех столетий! *Cynthiaus augem vellet*,¹ как говорили у нас в духовном училище; это означает, что я за уши вытащу его из дома моего отца! Итак, милорд, отныне моя рука и мой меч принадлежат вам; я весь ваш, телом и душой, пока смерть нас не разлучит, — или до конца ближайшего похода: смотря по тому, что наступит раньше.

— А я, — сказал молодой граф, — скреплю наш договор, выдав вам жалованье за месяц вперед.

— Это даже лишнее, — заявил Дальгетти, торопясь, однако, припрятать деньги в карман. — А теперь я должен спуститься вниз, осмотреть свое боевое седло и амуницию, позаботиться, чтобы Густаву дали корму, и сообщить ему, что мы с ним снова поступаем на службу...

— Хорош наш новый союзник! — обратился лорд Ментейт к Андерсону, как только капитан вышел. — Боюсь, что нам от него будет мало чести.

— Зато он умеет воевать по-новому, — заметил Андерсон, — а без таких офицеров нам едва ли удастся достигнуть успеха в нашем предприятии.

¹ Кинфий дернет за ухо (лат.).

— Сойдем-ка и мы вниз,— отвечал лорд Ментейт,— посмотрим, как идет сбор, ибо я слышу шум и суету в замке.

Когда они вошли в зал, где слуги почтительно стояли у стен, лорд Ментейт обменялся приветствием с хозяином и его английскими гостями; Аллан, сидевший у очага на той же скамье, что и накануне вечером, не обратил на вошедших ни малейшего внимания.

В это время старик Доналд поспешно вбежал в комнату:

— Посланный от Вих-Элистер Мора: ¹ он прибудет сегодня к вечеру.

— А много ли с ним людей? — спросил Мак-Олей.

— Двадцать пять — тридцать человек, — отвечал Доналд, — его обычная свита.

— Навали побольше соломы в большом сарае, — приказал хозяин.

Тут, спотыкаясь, вбежал в зал другой слуга и объявил о приближении сэра Гектора Мак-Лина, «прибывающего с большой свитой».

— Этих тоже в большой сарай, — распорядился Мак-Олей, — только в другом углу, а то они того и гляди передерутся.

Снова появился Доналд; лицо старика выражало полную растерянность.

— Видно, народ взбесился, — заявил он. — Мне думается, все горцы поднялись с места. Эван Дху из Лохиеля будет здесь через час, а сколько с ним людей — один бог ведает.

— Отведи им помещение в солодовне, — сказал хозяин.

Слуги не успевали докладывать о прибытии все новых и новых вождей, из которых ни один не согласился бы пуститься в путь без свиты в шесть-семь человек. При каждом новом имени Ангюс Мак-Олей отдавал приказание отвести помещение для вновь прибывающих: конюшни, сеновал, скотный двор, сарай — словом, все службы радушно предоставлялись

¹ Родовое имя Мак-Доннела Гленгарри. (Прим. автора.)

на эту ночь в распоряжение гостей. Появление Мак-Дугала Лорна, приехавшего, когда все уже было занято, привело хозяина в немалое замешательство.

— Что же, черт возьми, теперь делать, Доналд? — промолвил он. — В большом сарае, пожалуй, поместилось бы еще человек пятьдесят, если бы потеснее уложить их друг на дружку; но они пустят в ход ножи из-за того, кому где лежать, и к утру мы застанем в сарае кровавое месиво.

— О чем тут думать? — сказал Аллан, вскакивая и подходя к брату со свойственной ему стремительностью. — Разве у нынешних шотландцев тело слабее или кровь жиже, чем у их отцов? Выкати им бочку асквибо — вот им и ужин. Вереск будет им ложем, пледы — постелью, чистое небо — пологом. И если прибавит хоть тысяча горцев — всем хватит места на широком лугу!

— Аллан прав, — заметил его брат. — Странно, — добавил он, обращаясь к Масгрейву, — что Аллан, который, говоря между нами, не совсем в своем уме, часто оказывается разумнее всех нас вместе взятых! Понаблюдайте за ним.

— Да, — продолжал Аллан, вперив мрачный взор в глубину зала, — пусть начнут с того, чем кончат. Многие из тех, что нынче уснут здесь на вереске, когда подуют осенние ветры, будут лежать на этом лугу, не чувствуя стужи и не сегоуя на холодную постель.

— Не предсказывай, брат! — воскликнул Ангюс. — Ты накличешь беду.

— А чего же иного ты ждешь? — спросил Аллан, и вдруг глаза его закатились, судорога пробежала по всему телу, и он упал на руки Доналда и старшего брата, уже ожидавших припадка и потому успевших подхватить больного. Они усадили его на скамью и поддерживали под руки, пока он не пришел в себя и не попытался снова заговорить.

— Ради бога, Аллан, — обратился к нему брат, хорошо знавший, какое тяжелое впечатление могли произвести на гостей его пророчества, — не говори ничего, что могло бы лишить нас мужества!

— Я ли могу лишить вас мужества? — спросил Аллан. — Пусть каждый идет навстречу своей судьбе, как я иду навстречу своей. Чему быть, того не миновать. И много славных побед одержим мы на поле брани, прежде чем выйдем к месту последнего побоища или взойдем на черную плаху.

— Какое побоище? Какая плаха? — слышались голоса со всех сторон, ибо Аллан давно заслужил среди горцев славу ясновидца.

— Вы и так слишком скоро это узнаете, — отвечал Аллан. — А теперь оставьте меня. Я устал от ваших вопросов. — Он прижал руку ко лбу, оперся локтем о колено и погрузился в глубокое раздумье.

— Пошли за Эннот Лайл и вели принести арфу, — шепнул Ангюс своему слуге. — А вас, господа, прошу пожаловать к столу; надеюсь, вы не побрезгуете нашим непрехотливым завтраком.

Все, кроме Ментейта, последовали за гостеприимным хозяином. Молодой граф остановился в глубокой амбразуре одного из окон.

Вскоре в комнату неслышно скользнула Эннот Лайл; она вполне оправдывала слова лорда Ментейта, назвавшего ее самым воздушным, волшебным созданием, когда-либо ступавшим по зеленой лужайке в лучах лунного света. Она была мала ростом и потому казалась очень юной, и хотя ей уже шел восемнадцатый год, ее можно было принять за тринадцатилетнюю девочку. Ее прелестная головка, кисти рук и ступни так хорошо гармонировали с ее ростом и легким, воздушным станом, что сама царица фей Титания едва ли могла бы найти более достойное воплощение. Волосы у Эннот были несколько темнее того, что принято называть льняными, и густые кудри красиво обрамляли ее нежное лицо, выражавшее простодушную веселость. Если ко всему этому добавить, что девушка, несмотря на свою сиротскую долю, казалась самым жизнерадостным и счастливым существом на свете, читателю станет понятным то внимание, которым она была окружена. Эннот Лайл была всеобщей любимицей; она появлялась среди суровых обитателей замка, «словно луч солнца над мрачной морской

пучиной», — как выразился о ней, пребывая в поэтическом настроении, сам Аллан, — вселяя в окружающих кроткую радость, которой было переполнено ее сердце.

Когда Эннот показалась на пороге, лорд Ментейт вышел из своего убежища и, подойдя к молодой девушке, приветливо пожелал ей доброго утра.

— Доброго утра и вам, милорд, — вспыхнув, отвечала она и с улыбкой протянула ему руку. — Не часто мы видим вас в замке в последнее время. А сейчас, боюсь, вы приехали сюда не с мирными намерениями.

— Во всяком случае, Эннот, я не помешаю вам наслаждаться музыкой, — возразил лорд Ментейт, — хотя мое появление в замке, быть может, и внесет разлад. Бедняге Аллану сейчас нужны ваша игра и ваше пение.

— Мой избавитель, — сказала Эннот Лайл, — имеет право на мое скромное дарование, так же как и вы, милорд, — вы ведь тоже мой избавитель: вы принимали самое горячее участие в спасении моей жизни, которая сама по себе не имела бы никакой цены, если бы я не могла быть хоть чем-нибудь полезной моим покровителям.

С этими словами она села на скамью, недалеко от Аллана Мак-Олея, и, настроив свою небольшую арфу — размером около тридцати дюймов, — запела, аккомпанируя себе. Она напевала старинную гэльскую мелодию, и слова этой песни, на том же языке, были очень древнего происхождения. Мы прилагаем ее здесь в переводе Секундуса Макферсона, эсквайра из Гленфоргена; и хотя перевод подчинен законам английского стихосложения, мы надеемся, что он не менее достоверен, чем перевод Оссиана, сделанный его знаменитым однофамильцем.

1

— Нам беду сулить готовы
Вороны, сычи и совы.
Спит больной. Летите прочь!
Крик ваш слушал он всю ночь.

Прочь в руины, в подземелья,
В чашу зарослей, в ущелья —
В царство мрака! Чу, с высот
Жаворонок песню льет!

2

Убегайте в топь, в леса,
Волк-шатун, юла-лиса!
Близок хлев, а в нем — ягнятки,
Убегайте без оглядки,
Не оставив и следа, —
День идет, а с ним — беда.
Слышите: вдали, у лога,
Будят эхо звуки рога.

3

Как призрак тает, все бледнея,
Луна с рассветом. Злая фея,
Фантом, пугающий в пути
Скитальцев робких, прочь лети!
Гаси свой факел, дух бесплотный,
Он в топь ведет во тьме болотной.
Ты отплясал, твой срок истек —
Уже в лучах горит восток.

4

Рой грешных мыслей, черных дум,
Во сне гнетущих вялый ум,
Отхлынь от спящего. Так тает
Туман, когда заря блистает.
И ты, злой дух, чей страшный вид
Нам кровь и сердце леденит,
Шпорь вороного! Убирайся
И с ликом солнца не встречайся!

Во время пения Аллан Мак-Олей постепенно пришел в себя и начал сознавать, что происходит кругом. Глубокие морщины на лбу разгладились, и черты его,

искаженные душевной болью, стали спокойней. Когда он поднял голову и выпрямился, выражение его лица, оставаясь глубоко печальным, утратило, однако, прежнюю дикость и жестокость, и теперь Аллан казался мужественным, благородным и не лишенным привлекательности, хотя его отнюдь нельзя было назвать красивым. Густые темные брови уже не были угрожающе сдвинуты, а его серые глаза, перед тем иступленно сверкавшие зловещим огнем, смотрели теперь спокойно и твердо.

— Слава богу, — произнес он после минутного молчания, когда замерли последние звуки арфы. — Рассудок мой больше не затемнен... Туман, омрачавший мою душу, рассеялся...

— За эту счастливую перемену, брат Аллан, — сказал лорд Ментейт, подходя к нему, — ты должен благодарить не только господа бога, но и Эннот Лайл.

— Благородный брат мой Ментейт, — отвечал Аллан, вставая со скамьи и здороваясь с графом столь же почтительно, сколь и приветливо, — хорошо знает мой тяжкий недуг и по доброте своей не посетует на то, что я столь поздно приветствую его как гостя этого замка.

— Мы с тобой такие старые знакомые, Аллан, — сказал лорд Ментейт, — и к тому же такие добрые друзья, что всякие церемонии между нами излишни, но сегодня здесь соберется добрая половина всех горных кланов, а с их вождями, как тебе известно, необходимо соблюдать все правила учтивости. Как же ты отблаговаришь Эннот за то, что она сделала тебя способным принять Эвана Дху и еще невесть сколько гостей в шапках с перьями?

— Чем он отблагодарит меня? — сказала Эннот улыбаясь. — Да, уж надеюсь, не меньше, чем самой лучшей лентой с ярмарки в Дуне.

— С ярмарки в Дуне, Эннот? — печально повторил Аллан. — Много прольется крови, прежде чем наступит этот день, и, быть может, мне не суждено увидеть его. Но хорошо, что ты напомнила мне о том, что я давно хотел сделать.

С этими словами он вышел из комнаты.

— Если он будет продолжать в том же духе, — заметил лорд Ментейт, — вам придется постоянно держать наготове вашу арфу, милая Эннот.

— Надеюсь, что нет, — грустно промолвила Эннот. — Этот припадок длился очень долго и, вероятно, не скоро повторится. Как ужасно видеть человека от природы великодушного и доброго и пораженного столь жестоким недугом!

Она говорила так тихо, что лорд Ментейт невольно подошел поближе и слегка наклонился к ней, чтобы лучше уловить смысл ее слов. При неожиданном появлении Аллана они так же невольно отшатнулись друг от друга с виноватым видом, словно застигнутые врасплох во время разговора, который они хотели бы сохранить в тайне от него. Это не ускользнуло от внимания Аллана; он резко остановился в дверях, лицо его исказилось, глаза грозно сверкнули; но это длилось лишь одно мгновение. Он провел по лицу своей широкой мускулистой рукой, точно желая стереть все следы гнева, и подошел к Эннот, держа в руке небольшой дубовый ларчик с причудливой инкрустацией.

— Будь свидетелем, лорд Ментейт, — сказал Аллан, — что я дарю Эннот Лайл этот ларец и все, что в нем хранится. Это немногие драгоценности, принадлежавшие моей покойной матери. Пусть вас не удивляет, что большой цены они не имеют, — жена шотландского горца редко владеет дорогими украшениями.

— Но это же фамильные драгоценности, — кротко и смущенно произнесла Эннот, отстраняя ларец. — Я не могу принять их.

— Они принадлежат лично мне, Эннот, — прервал ее Аллан. — Моя мать, умирая, завещала их мне. Это все, что я могу назвать своим, кроме пледа и палаша. Возьми эти безделушки, мне они не нужны, и сохрани их в память обо мне... если мне не суждено вернуться с этой войны...

С этими словами он открыл ларец и подал его Эннот.

— Если эти вещи имеют хоть какую-нибудь ценность, — продолжал он, — располагай ими, они поддержат тебя, когда этот дом погибнет в огне и тебе нигде будет приклонить голову. Но, прошу тебя, сохрани одно кольцо на память об Аллане, который за твою доброту отблагодарил тебя как мог, если и не сделал всего того, что бы желал.

Тщетно старалась Эннот Лайл удержать подступившие к глазам слезы в то время, как она говорила:

— Одно кольцо я приму от тебя, Аллан, как память о твоей доброте к безродной сиротке; но не ставляй меня брать ничего больше, ибо я и не хочу и не могу принять столь драгоценного подарка.

— Тогда выбирай, — сказал Аллан, — быть может, ты и права; остальное будет превращено в нечто более полезное для тебя же самой.

— И не думай об этом! — сказала Эннот, выбрав одно колечко, показавшееся ей самым малоценным из всех украшений. — Сохрани их для своей будущей невесты или для невесты твоего брата... Боже мой! — воскликнула она, глядя на кольцо. — Что это я выбрала?

Аллан бросил на кольцо быстрый взгляд, исполненный тревоги и страха: на эмалевом поле кольца был изображен череп над двумя скрещенными кинжалами. Увидев эту эмблему, Аллан так горестно вздохнул, что Эннот невольно выпустила кольцо из рук, и оно покатилося по полу. Лорд Ментейт поднял его и подал дрожавшей от страха Эннот.

— Бог свидетель, — торжественно произнес Аллан, — что твоя, а не моя рука поднесла ей этот зловещий подарок! Это траурное кольцо, которое моя мать носила в память о своем убитом брате.

— Я не боюсь дурных примет, — сказала Эннот, улыбаясь сквозь слезы, — и ничто, полученное из рук моих покровителей (так Эннот любила называть Аллана и лорда Ментейта), не может принести несчастья бедной сироте.

Она надела кольцо на палец и, перебирая струны арфы, запела веселую песенку, бывшую в то время в в большой моде, — неизвестно какими судьбами эта

песенка, отмеченная всеми признаками изысканной и вычурной поэзии эпохи Карла Первого, попала прямо с какого-нибудь придворного маскарада в дикие горы Пертшира:

Не в звездах вся судьба людей,
Их жизни перемены, —
Гляди, гадая, чародей,
В глаза моей Елены.

Но не сули мне, звездочет,
Измены и разлуки,
Чтоб не изведать в свой черед
Такой же горькой муки.

— Она права, Аллан, — сказал лорд Ментейт, — и конец этой песенки справедливо говорит о том, как тщетны все наши попытки заглянуть в будущее.

— Нет, она не права, — мрачно возразил Аллан, — хотя ты, столь легкомысленно отвергающий мои предостережения, может быть и не увидишь, как сбудется это знамение. Не смейся так презрительно, — продолжал он, — или, впрочем, смейся сколько тебе угодно, скоро твоему веселью будет положен предел!

— Твои пророчества меня не устрашат, Аллан, — сказал лорд Ментейт. — Как бы коротка ни была отпущенная мне жизнь, нет того ясновидца, который мог бы увидеть ее конец.

— Замолчите, ради всего святого! — воскликнула Эннот, прерывая его. — Ведь вы же знаете его нрав и знаете, что он не терпит...

— Не бойся, Эннот, — сказал Аллан, перебивая ее. — Мысли мои ясны и душа спокойна. Что касается тебя, Ментейт, — продолжал он, обращаясь к графу, — то знай: мои взоры искали тебя на полях сражений, усеянных телами горцев из Верхней и Нижней Шотландии так густо, как густо усеяны грачами ветви этих вековых деревьев, — и он указал на рошу, видневшуюся за окном. — Мои взоры искали тебя, но твоего трупа там не было... Мои взоры искали тебя в рядах захваченных в плен и обезоруженных воинов, выстроенных во дворе старинной полуразрушенной

крепости; залп за залпом... вражеские пули сыпались на них... взвод за взводом они падали, как сухие осенние листья... но тебя не было среди них... Я видел, как воздвигают помосты и готовят плахи; видел землю, посыпанную опилками, священника с молитвенником и палача с топором, — но и здесь мои взоры не нашли тебя.

— Так, значит, мне судьбой предназначена виселица! — сказал лорд Ментейт. — Однако я надеюсь, что меня избавят от петли, хотя бы из уважения к моему старинному роду.

Он произнес эти слова небрежным тоном, но в них сквозили любопытство и тайная надежда получить ответ; ибо желание заглянуть в будущее нередко овладевает даже теми, кто отказывается верить в самую возможность подобных пророчеств.

— Твое знатное имя не понесет бесчестья ни от тебя, ни от своей смерти. Трижды видел я, как горец наносит тебе удар кинжалом в грудь, — такова участь, уготованная тебе судьбой.

— Скажи мне, каков этот горец, — сказал лорд Ментейт, — и я избавлю его от труда выполнять твоё пророчество, если только плед его не окажется непригодным для пули или для острия меча.

— Оружие едва ли спасет тебя, — отвечал Аллан, — и я не могу удовлетворить твоё желание: видение упорно отворачивало от меня своё лицо.

— Да будет так, — сказал лорд Ментейт. — И пусть оно останется в тумане, которым окутано твоё предсказание. Это не мешает мне весело пообедать среди ваших пледов, кинжалов и юбок.

— Может быть, оно и так, — отвечал Аллан, — и, может быть, ты прав, что наслаждаешься минутами, которые для меня отравлены предчувствием грядущих бед. Но запомни, — продолжал он, — вот это оружие, то есть такое оружие, как это, — Аллан дотронулся до рукоятки своего кинжала, — решит твою участь.

— А пока что, — заметил лорд Ментейт, — ты, Аллан, до того перепугал Эннот Лайл, что вся кровь отхлынула у нее от лица. Оставим же этот разговор, мой друг, и обратимся к тому, что мы оба по-

древние ландтаги священной империи, где самый за-худалый барон, все владения которого ограничивались замком, торчащим на голой скале, и сотней-другой акров земли вокруг, притязал на ранг суверенного государя и на соответствующее этому рангу место среди высших сановников страны.

Свита каждого предводителя клана располагалась обычно отдельно от него, в отведенном для нее помещении, однако вождь оставлял при себе своего паж, который прислуживал ему, следуя за ним как тень и исполняя малейшее требование своего повелителя.

Во дворе замка можно было наблюдать довольно своеобразную картину. Горцы, съехавшиеся со всех концов Верхней Шотландии, с островов, из горных ущелий и долин, поглядывали друг на друга издали, кто с любопытством, кто с затаенным чувством зависти, а кто и с явным недоброжелательством. Но самым поразительным явлением на этом сборище, по крайней мере для непривычного слуха южанина, было состязание волынщиков. Каждый из этих воинственных менестрелей был глубоко убежден в превосходстве своего клана и чрезвычайно гордился своим искусством; сначала они играли браваурные пиброхи, стоя впереди своих отрядов. Но затем, наподобие тетеревов, которые, как говорят охотники, к концу лета токуют, то есть собираются стаями, привлеченные ликующим клекотом своих собратьев, — все волынщики, распустив свои пледы и клетчатые юбочки так же победоносно, как птицы распускают свои хвосты, начинали понемногу приближаться друг к другу на такое расстояние, чтобы дать возможность соперникам оценить их игру.

Гордо и вызывающе глядя друг на друга, они из всех сил дули в свои визгливые инструменты и извлекали из них такие пронзительные звуки (причем каждый наигрывал свой излюбленный мотив), что если бы какой-нибудь музыкант-итальянец был похоронен даже за десять миль от этих мест, он, наверное, восстал бы из гроба, чтобы убежать подальше.

Между тем в большом зале замка происходило тайное совещание всех предводителей кланов. Среди

них были люди весьма знатные и влиятельные; многих привлекла сюда искренняя преданность королю, других — ненависть к жестокому и могущественному Аргайлу, который занимал первенствующее положение в стране и все сильнее притеснял своих менее удачливых соседей. И в самом деле, маркиз, человек весьма одаренный, располагавший большой властью, имел, однако, столь существенные недостатки, что оттолкнул от себя большинство предводителей горных кланов. Благочестие его носило характер мрачный и фанатичный; честолюбие не знало пределов; и многие из подчиненных ему вождей жаловались на его мелочность и скупость. Добавим к этому, что, хотя он был уроженцем гор, из старинного рода, до и после него прославившегося своей доблестью, Джилспай Грумах¹ (этим прозвищем он обязан был своему косязанию, и так его и величали на севере, где не знают ни титулов, ни званий) слыл скорее тонким политиком, нежели храбрым воином. Он и его род были особенно ненавистны Мак-Доналдам и Мак-Линам, двум многочисленным кланам, которые, хоть и враждовали исстари между собой, объединились в общей ненависти к Кэмбелам, или — как их все называли — к Сынам Диармида.

Собравшиеся вожди некоторое время безмолвствовали, ожидая, чтобы кто-нибудь начал первым. Наконец один из самых могущественных предводителей заговорил:

— Мы были приглашены сюда, Мак-Олей, для совещания по важным вопросам, касающимся короля и государства; и мы желаем знать, кто возьмет на себя обязанность изложить собранию суть дела.

Мак-Олей, не отличавшийся красноречием, высказал пожелание, чтобы эту обязанность взял на себя лорд Ментейт. Скромно, но вместе с тем с большим воодушевлением, молодой лорд начал свою речь, сказав, что он предпочел бы, чтобы предложения, которые он намерен внести, исходили от лица более известного и почтенного, нежели он. Но если уж на его

¹ Grumach — злополучный. (Прим. автора.)

долю выпала эта честь, он должен сообщить собранию, что те, кто желает сбросить с себя постыдное ярмо, которое слепой фанатизм стремится надеть им на шею, не должны терять ни минуты.

— Сторонники ковенанта, — продолжал он, — уже дважды вооружались против своего монарха и вынудили его удовлетворить все их требования, как разумные так и неразумные. И после того как их военачальники были осыпаны наградами и почестями, после того как, вслед за милостивым посещением его величеством своего родного края перед отбытием в Англию, было всенародно провозглашено, что «довольный король возвращается от довольного народа», — после всего этого, без какой-либо уважительной причины, а лишь из-за догадок и подозрений, столь же оскорбительных для короля, сколь неосновательных по существу, эти же самые люди выслали сильную армию на помощь мятежному английскому парламенту, хотя эти междоусобные распри так же мало касаются шотландцев, как войны в Германии. И хорошо еще, — продолжал лорд Ментейт, — что поспешность, с какой они совершили это предательство, помешала узурпаторам, захватившим в свои руки управление Шотландией, разглядеть опасность, которой они тем самым подвергали самих себя. Армия, посланная в Англию под начальством Ливена, состоит из старых, испытанных ветеранов; это цвет того войска, которое было набрано в Шотландии во время двух последних войн...

Тут капитан Дальгетти попытался было встать, чтобы разъяснить присутствующим, какое количество опытных офицеров, искушенных в германских войнах, должно было, по его точным сведениям, находиться в войсках графа Ливена. Но Аллан Мак-Олей одной рукой удержал его на месте, приложив, в знак молчания, указательный палец другой руки к своим губам, и, хоть не без труда, но предотвратил вмешательство бравого воина. Капитан Дальгетти бросил на своего соседа негодующий и полный презрения взгляд, впрочем нисколько того не смутивший, и лорд Ментейт беспрепятственно продолжал свою речь.

— Настал час, — сказал он, — наиболее благоприятный для того, чтобы каждый честный, преданный королю шотландец мог доказать, что в этой измене повинна только горсточка своекорыстных и честолубивых мятежников, а также слепой фанатизм, проповедуемый с пятисот церковных кафедр и бурным потоком разлившийся по всей Нижней Шотландии.

Лорд Ментейт сообщил также, что он получил письма с севера, от маркиза Хантли, которые он охотно покажет каждому из присутствующих вождей. Этот вельможа, столь же преданный королю, сколь могущественный, готов оказать самое горячее содействие общему делу, и к нему готов присоединиться могущественный граф Сифорт. Подобные же заверения пришли от графа Эйрли и от клана Огилви из Ангюшира; нет сомнения в том, что все они, вместе с кланами Хэйсов, Лейтов, Барнетов и прочими преданными королю дворянами, сядут на коней, и силы их будут более чем достаточны для устрашения северных мятежников, которые уже не раз имели случай испытать на себе их доблесть в прошлых битвах.

— К югу от залива Форт и реки Тэй, — продолжал Ментейт, — у короля немало приверженцев; недовольные вынужденной присягой, принудительным рекрутским набором, непосильными налогами, несправедливо назначаемыми и неравномерно взимаемыми, изнемогая под гнетом деспотического управления парламента и инквизиторской власти пресвитерианских священнослужителей, они только и ждут, когда взойдется королевское знамя, чтобы взяться за оружие. Дуглас, Трекуэр, Роксбург, Юм — все они преданы делу короля и сумеют оказать противодействие влиянию пресвитериан на юге; а присутствующие среди нас двое знатных и почтенных англичан могут поручиться за поддержку графств Камберленд, Уэстморленд и Нортумберленд. Против столь многочисленного и доблестного войска южные ковенантеры могут выставить лишь неотесанных новобранцев: пастухов западных графств да пахарей и ремесленников с юга. Что касается западных гор, то там парламент не имеет приверженцев, за исключением одного человека,

хорошо всем известного и одинаково всем ненавистного. Но кто же из присутствующих, при виде доблести, могущества и знатности собравшихся здесь вождей, хотя на миг усомнится в том, что они могут победить любое войско, которое выставит против них Джилспай Грумах?

В заключение лорд Ментейт сообщил, что армия обеспечена крупными денежными средствами и вооружением (при этих словах Дальгетти наострил уши); что для обучения солдат, которым понадобится преподавать военное ремесло, приглашены опытные военачальники, один из которых находится в данное время среди присутствующих (тут капитан Дальгетти присосанился и обвел взглядом собрание); что многочисленный отряд вспомогательных войск из Ирландии, снаряженный графом Энтримом в Улстере, благополучно высадился на шотландском берегу, с помощью войска Раналда захватил и укрепил замок Мингарри и, несмотря на попытку Аргайла преградить ему путь, ускоренным маршем направляется сюда.

— Теперь остается только одно, — сказал Ментейт, — чтобы собравшиеся здесь благородные вожди, отбросив все мелочные побуждения, объединились ради общего дела. Разошлите огненные кресты по своим кланам, соберите все свои силы, не теряя ни минуты, не давая неприятелю ни подготовиться, ни опомниться от страха, который охватит его при первых звуках ваших волюнок. Я сам, хоть и не могу причислить себя к наиболее богатым и могущественным дворянам Шотландии, чувствую себя обязанным отстоять честь своего древнего и благородного рода, сражаясь за независимость древней и благородной нации, и готов пожертвовать жизнью и всем своим достоянием ради этого великого дела. И если те, кто могущественнее меня, проявят не меньшую преданность нашему делу, то я не сомневаюсь в том, что они заслужат благодарность своего короля и признательность потомства.

Громкие крики одобрения раздались в ответ на речь лорда Ментейта; это свидетельствовало о том, что все присутствующие разделяют высказанные им

чувства; однако, когда шум утих, собравшиеся продолжали переглядываться, как будто еще что-то оставалось недосказанным. Пошептавшись с соседями, с ответным словом выступил убеленный сединой старик, преклонный возраст которого давал ему право на всеобщее уважение, хоть он и не принадлежал к могущественным предводителям кланов.

— Тан ментейтский! — заговорил он. — Ты хорошо сказал, и нет среди нас ни одного, в чьей груди не горели бы те же чувства. Но не только сила побеждает в сражении; ум полководца, не менее чем рука воина, ведет к победе. Я спрашиваю тебя: кто же поднимет и будет держать знамя, вокруг которого ты призываешь нас объединиться? Уж не думаешь ли ты, что мы пошлем воевать наших сыновей и лучших людей из наших кланов, не зная заранее, кому мы вверяем их жизнь? Неужели мы пошлем на убой тех, кого, по законам божеским и человеческим, мы призваны охранять? Где королевский указ, в силу которого его вассалы призываются к оружию? Какими бы простаками и невеждами нас ни считали, мы все же имеем понятие о правилах ведения войны, а также о законах нашей отчизны; и мы не намерены нарушать мир в Шотландии иначе, как по особому повелению короля и под предводительством военачальника, достойного вести в бой таких людей, какие ныне собрались здесь.

— Где вы найдете такого вождя, — сказал предводитель другого клана, вставая с места, — если не обратитесь к человеку, облеченному властью самим монархом, владеющему по своему рождению наследственным правом предводительствовать войском любого клана Верхней Шотландии? И кто этот вождь, как не отпрыск славного рода Вих-Элистер Мора?

— Я признаю, что нам нужен достойный предводитель, — резко прервал его другой вождь, — но не согласен с таким выводом. Если Вих-Элистер Мор желает, чтобы его считали наместником короля, пусть докажет, что его кровь краснее моей!

Лорд Ментейт бросился между ними, уговаривая и заклиная их помнить о том, что интересы Шотлан-

дии, ее свобода и дело короля — важнее личных ссор из-за превосходства по рождению, власти и могуществу. Многие из присутствующих, не желавшие признавать главенства ни того, ни другого из спорящих, поддержали Ментейта, и решительнее всех высказался прославленный Эван Дху.

— Я прибыл со своих озер, — сказал он, — как поток устремляется по горному склону, не для того, чтобы поворотить вспять, а для того, чтобы выполнить свое назначение. Не тем послужим мы отчизне и королю Карлу, что будем оглядываться на свои старые споры. Я подам свой голос за того военачальника, которого назначит сам король и который, без сомнения, будет обладать всеми достоинствами, необходимыми для предводительства людьми, подобными нам. Он должен быть знатного рода, дабы мы не унизили себя, повинаясь ему; мудрым и опытным, дабы уберечь от опасности наших людей; храбрейшим из храбрых, дабы не пострадала наша честь; хладнокровным, твердым и решительным, дабы удержать нас в тесном союзе. Таков должен быть человек, который станет нашим главой. Готов ли ты, тан ментейтский, сказать нам, где найти такого вождя?

— Есть только один такой вождь, — произнес Аллан Мак-Олей. — Вот он, — добавил он, кладя руку на плечо Андерсона, стоявшего позади Ментейта, — здесь, перед нами!

В ответ на это среди присутствующих поднялся недоуменный и негодующий ропот, но Андерсон, откинув капюшон, закрывавший ему лицо, выступил вперед и сказал:

— Я не имел намерения слишком долго оставаться немым свидетелем этого военного совета, однако нетерпение моего друга заставило меня открыться несколько раньше, чем я предполагал. Достоин ли я высокого звания, возлагаемого на меня этой грамотой, и сумею ли я оправдать доверие короля, — покажет будущее. Вот приказ, скрепленный большой государственной печатью, на имя Джеймса Грэма, графа Монтроза, принять начальство над

всеми войсками, которые будут призваны на службу его величества в шотландском королевстве.

Единодушный крик одобрения огласил зал. И в самом деле, никому иному, кроме Монтроза, не согласились бы подчиниться кичливые горцы. Старинная наследственная вражда его рода и рода маркиза Аргайла служила порукой тому, что он поведет войну решительно, а его слава блестящего и бесстрашного полководца вселяла надежду на благоприятный исход кампании.

Глава VIII

Наш замысел таков, что лучше не придумаешь. Друзья у нас верные и преданные. Славный замысел, славные друзья, можно надеяться на успех. Превосходный замысел, очень хорошие друзья.

«Генрих IV», ч. I

Не успели смолкнуть возгласы радостного удивления, как со всех сторон раздались голоса, требовавшие тишины для оглашения королевского указа; и тотчас же, из уважения к высочайшему рескрипту, все обнажили головы, а до этой минуты собравшиеся сидели в шапках, — вероятно, потому, что никто не хотел первым оказать другому эту честь. Указ, весьма пространный и подробный, уполномочивал графа Монтроза призвать к оружию подданных его величества для усмирения мятежа, который подняли некоторые предатели и смутьяны против своего короля, тем самым изменив долгу верности и нарушив мир между обоими королевствами. Всем местным властям предписывалось повиноваться Монтрозу и оказывать помощь в его предприятии; сам граф получал право издавать приказы и постановления, карать провинившихся, миловать преступников, назначать и сменять правителей и военачальников. Словом, это была грамота, облакавшая Монтроза самой полной властью, какой монарх может наделить своего подданного.

Как только Монтроз закончил чтение, собравшиеся вожди одобрительными возгласами подтвердили свою готовность подчиниться воле короля. Монтроз не только выразил собранию свою признательность за столь лестный прием, — он поспешил поблагодарить каждого из присутствующих в отдельности. Все самые влиятельные предводители кланов были с давних пор знакомы ему лично, но он обратился даже к наименее знатным, обнаружив при этом отличное знание их прозвищ и знакомство с прошлым и настоящим каждого клана, что показывало, как тщательно он изучал нравы и обычаи горцев и как давно готовился к той высокой должности, которую теперь занял.

Сейчас, когда граф Монтроз расхаживал по залу, подходя по очереди к каждому из присутствующих, особенно резко бросалось в глаза несоответствие между его изящными манерами, выразительными чертами лица, благородной осанкой — и грубой простотой его одежды. Как это часто бывает, лицо Монтроза было одним из тех лиц, которые ничем не поражают с первого взгляда, но становятся тем привлекательней, чем дольше в них всматриваешься. Он был немного выше среднего роста, но превосходно сложен, обладал большой физической силой и редкой выносливостью. Здоровье у него было поистине железное, и это помогало ему переносить тяготы труднейших кампаний, во время которых он, словно простой солдат, подвергал себя всем опасностям и лишениям походной жизни. Ловкий, искусный в военных упражнениях и в мирных играх, он держался с той непринужденной грацией, которая свойственна людям, привыкшим приспособливаться к любому положению.

Его длинные каштановые волосы по обычаю, принятому среди знатных роялистов того времени, были расчесаны на прямой пробор и падали вдоль щек локонами, причем один завиток, на два или три дюйма длиннее остальных, спускался на лоб, указывая на то, что Монтроз следовал моде, против которой мистер Принн, как истый пуританин, почел своим долгом

написать целый трактат под названием: «Непривлекательность локонов, долженствующих привлекать любовь». Лицо Монтроза было из тех, обаяние которых заключено не в правильности линий, а в своеобразии всего облика. Орлиный нос, большие пронизательные серые глаза и здоровый румянец искупали некоторую тяжеловатость и неправильность нижней части лица, и поэтому наружность Монтроза была не лишена приятности. Но все, кому довелось видеть его в минуты, когда его взор светился вдохновением, кто слышал его пламенную речь, — восхищались его красотой, хотя, судя по сохранившимся до сего времени портретам, это было некоторым преувеличением. Во всяком случае, именно такое впечатление он произвел на собрание горных вождей, а, как известно, на вершине общественной лестницы всегда придается весьма большое значение внешности.

Объявив свои полномочия, Монтроз в дальнейшей беседе рассказал присутствующим, каким опасностям он подвергался, выполняя возложенное на него дело. Вначале он предполагал собрать отряд приверженцев короля на севере Англии, откуда они должны были, исполняя приказ маркиза Ньюкаслского, выступить в Шотландию. Однако нежелание англичан перейти границу и промедление графа Энтрима, который должен был высадиться со своим ирландским войском в заливе Солуэй, помешали Монтрозу выполнить это намерение. Другие его планы тоже потерпели крушение, и ему пришлось скрываться под чужим именем, дабы благополучно пробраться через Нижнюю Шотландию, в чем ему оказал любезное содействие его родственник, граф Ментейт. Каким образом Аллан Мак-Олей сумел узнать его, он не пытался объяснить. Те, кто верил в пророческий дар Аллана, таинственно улыбались; но сам Аллан ответил только, что «граф Монтроз не должен удивляться тому, что его знают тысячи людей, которых он, конечно, не всегда может помнить».

— Клянусь своей воинской честью, — воскликнул капитан Дальгетти, улучив наконец минутку, чтобы вставить слово, — я почитаю за счастье и горжусь

тем, что случай привел меня обнажить меч под начальством вашей светлости; и я готов забыть весь свой гнев, и досаду, и злобу против мистера Аллана Мак-Олея и великодушно простить ему, что он вчера оттащил меня на нижний конец стола. Правда, сегодня он говорил как человек, находящийся в здравом уме, так что я в глубине души пришел к убеждению, что он не имеет никакого права пользоваться преимуществом невменяемого. Но так как я перенес унижение ради благородного графа, моего будущего военачальника, я заявляю при всех, что признаю всю справедливость оказанного ему предпочтения и сердечно приветствую Аллана, как своего будущего *bon-samarado*.

Произнеся эту речь, которой многие не поняли, а другие не слушали, капитан Дальгетти, не снимая рукавицы, схватил Аллана за руку и крепко потряс ее; Аллан ответил на это рукопожатие, сжав, словно тисками, руку капитана с такой силой, что железные чешуйки рукавицы впились тому в тело.

Капитан Дальгетти мог бы, пожалуй, усмотреть в этом новое оскорбление, если бы в то время, как он встряхивал пораненную руку и дул на нее, его внезапно не позвал сам граф Монтроз.

— Да будет вам известно, капитан Дальгетти... или, лучше сказать, майор Дальгетти... — проговорил он, — что ирландцы, которым предстоит перенять у вас ваш военный опыт, находятся сейчас всего в нескольких милях от нас.

— Наши охотники, — сказал Ангюс Мак-Олей, — посланные за дичью для дорогих гостей, слышали о появлении в наших краях отряда иноземцев, которые будто бы не говорят ни по-английски, ни на чисто гэльском наречии и с трудом объясняются с нашим населением; они идут в боевом порядке, при оружии и, как слышно, под предводительством Элистера Мак-Доналда, более известного под кличкой Колкитто-младший.

— Это, несомненно, наш отряд! — отозвался Монтроз. — Надо немедленно выслать им навстречу гонцов, чтобы их проводили сюда и помогли им.

— Последнее будет нелегко сделать, — заметил Ангюс Мак-Олей, — ибо до меня дошли сведения, что они, кроме мушкетов и небольшого количества боевых припасов, нуждаются решительно во всем: у них нет ни денег, ни обуви, ни одежды.

— Нет никакой надобности заявлять об этом столь громогласно, — сказал Монтроз. — Как только мы достигнем Глазго, мы позаботимся о том, чтобы тамошние ткачи-пуритане не замедлили снабдить их достаточным количеством тонкого сукна. А если в свое время пасторам удалось своими проповедями выманить у шотландских старух их запасы домотканого полотна, из которого повстанцы понаделали палаток в лагере при Данзлоу,¹ то надеюсь, что и я сумею повлиять на них и заставить этих святош повторить свой патриотический дар, а их мужей — этих лопоухих мошенников — порастрасти свои кошельки!

— Что касается оружия, — начал капитан Дальгети, — если ваша светлость позволит старому воину высказать свое мнение, я полагаю, что лишь одна треть войска должна быть вооружена мушкетами; для остальных я отдал бы предпочтение моему любимому оружию — пике: она пригодна как при сопротивлении конной атаке, так и при наступлении на пехоту. Простой кузнец может выковать сотню наконечников в день, а в лесу достаточно деревьев для древков. Я утверждаю, что, согласно всем правилам ведения войны, батальон, вооруженный пиками, построенный по образцу батальонов великого Северного Льва, бессмертного Густава Адольфа, способен победить даже македонскую фалангу, о которой мне приходилось читать в духовном училище, когда я еще пребывал в древнем городе Эбердине. Далее, осмелюсь заранее предсказать...

Тут тактические выкладки капитана были внезапно прерваны Алланом Мак-Олеем, который торопливо произнес:

— Место нежданному и нежеланному гостю!

¹ Сторонники ковенанта стояли лагерем под Данзлоу во время смуты 1639 года. (Прим. автора)

В ту же минуту двери зала распахнулись, и взорам собравшихся предстал убеленный сединами старик весьма почтенного вида; в его фигуре чувствовалась величавость и даже властность. Его гордая осанка, весь его облик выдавали человека, привыкшего повелевать. Войдя, он окинул строгим, почти грозным взглядом собравшихся вождей. Наиболее могущественные и знатные из них ответили на этот взгляд презрительным равнодушием, но некоторые дворяне помельче, из западных округов, несомненно, готовы были провалиться сквозь землю.

— К кому из вас я должен обратиться как к предводителю? — спросил старик. — Или вы еще не успели избрать то лицо, которое должно занимать этот пост, столь же опасный, сколь почетный?

— Обращайтесь ко мне, сэр Дункан Кэмбел, — отвечал Монтроз, выступив вперед.

— К вам? — произнес Дункан Кэмбел с некоторым пренебрежением.

— Да, ко мне, — повторил Монтроз, — к графу Монтрозу, если вы не узнаете меня.

— Да вас и нелегко узнать в одежде конюха, — проговорил Дункан Кэмбел. — Впрочем, мне следовало бы догадаться, что только под тлетворным влиянием вашей светлости — известного возмутителя Израиля — могло быть создано это безрассудное собрание людей, совращенных с пути истинного.

— Я отвечу вам, — сказал Монтроз, — в духе ваших же пуритан. Я не возмущал народа Израиля, а смутил только тебя и дом отца твоего. Но прекратим наши пререкания, они никому не интересны, кроме нас самих, и послушаем, какие вести привезли вы нам от вашего вождя Аргайла, ибо я полагаю, что на наше собрание вы явились от его имени.

— От имени маркиза Аргайла, — отвечал сэр Дункан Кэмбел, — от имени шотландского парламента я спрашиваю вас, что означает сие странное сборище? Если оно имеет целью нарушение мира в стране — больше подобало бы честным людям и добрым соседям предупредить нас, дабы мы могли принять меры.

— Странные дела творятся ныне в Шотландии, — сказал Монтроз, отворачиваясь от Дункана Кэмбела и обращаясь ко всему собранию. — С каких это пор именитые и знатные шотландцы не имеют права собираться в доме своего общего друга без вмешательства и допроса со стороны наших правителей, желающих знать предмет нашего совещания? Помнится мне, что наши предки имели обыкновение съезжаться на охоту в горах или собираться вместе ради другой какой-нибудь цели, не испрашивая предварительного разрешения ни у великого Мак-Каллумора, ни у кого-либо из его эмиссаров или приспешников.

— Были такие времена в Шотландии, — отозвался один из западных вождей, — и таковые настанут вновь, когда непрошенные гости, захватившие наши исконные владения, принуждены будут довольствоваться своим озерным краем и перестанут налетать на нас, как стая прожорливой саранчи.

— Должен ли я понимать это так, — спросил Дункан, — что все ваши воинственные замыслы направлены только против моего клана? Или же Сыны Диармида должны пострадать заодно со всем мирным и добропорядочным населением Шотландии?

— Я желал бы, — вскочив с места, крикнул свирепого вида предводитель одного из кланов, — задать только один вопрос рыцарю Арденвору, прежде чем он станет продолжать свои дерзкие расспросы. Уж не о двух ли он головах, что не побоялся явиться к нам с оскорбительными речами?

— Друзья! — воскликнул Монтроз. — Прошу вас сохранять спокойствие! Лицо, посланное к нам для переговоров, имеет право свободно высказаться и может рассчитывать на полную неприкосновенность. А уж если сэр Дункан Кэмбел так настойчив, то я готов сообщить ему, что он находится среди верных слуг короля, созванных мною именем и властью его величества, в силу высочайших полномочий, возложенных на меня.

— Стало быть, — промолвил Дункан Кэмбел, — у нас начинается настоящая междоусобная война? Я слишком старый солдат, чтоб эта мысль могла

испугать меня; но было бы к чести лорда Монтроза, если бы в настоящем деле он меньше считался со своим собственным честолюбием и больше думал бы о спокойствии отечества.

— Личным своим честолюбием и личными интересами руководствуются те, сэр Дункан, — возразил Монтроз, — кто довел страну до ее теперешнего состояния и вызвал необходимость применения крутых мер, на которые мы сейчас решаемся против своей воли.

— И какое же место среди этих честолюбцев, — спросил Дункан Кэмбел, — мы предоставим благородному графу, некогда столь ревностно преданному парламенту, что в тысяча шестьсот тридцать девятом году он первым переправился вброд через реку Тайн во главе своего полка и атаковал королевское войско? Если я не ошибаюсь, ведь это он огнем и мечом вводил ковенант в городах и селах Эбердина?

— Я понимаю ваш презрительный намек, сэр Дункан, — сдержанно возразил Монтроз, — и только отвечу вам, что если искреннее раскаяние может искупить грехи молодости и мое излишнее доверие к лукавым наветам честолюбивых лицемеров, то да простятся мне преступления, в которых вы меня обвиняете. Я приложу все свои силы, дабы заслужить прощение; я с мечом в руках готов пролить свою кровь во искупление моих заблуждений, — а более того не может ни один смертный!

— Я сожалею, милорд, — проговорил Дункан, — что должен передать подобные речи маркизу Аргайлу. Впрочем, маркиз уполномочил меня сказать, что согласен — во избежание кровавых распрей, которые неизбежно возникнут между горными кланами вследствие войны — установить мир к северу от границы горных районов, ибо в Шотландии и без того достаточно места для драки и нет необходимости соседям уничтожать друг друга и разрушать наследственные угодья.

— Столь миролюбивого предложения, — отвечал Монтроз улыбаясь, — вполне можно было ожидать от человека, личное поведение которого всегда было

гораздо более миролюбиво, нежели те распоряжения, которые он отдавал. И если бы условия такого мирного соглашения были установлены по всей справедливости и если бы мы могли быть уверены, — а это, сэр Дункан, необходимо, — что ваш маркиз честно будет соблюдать эти условия, я, со своей стороны, не прочь оставить за собой мир, ибо впереди нас ждет война. Но вы, сэр Дункан, слишком старый и слишком опытный воин, чтобы мы могли позволить вам стать свидетелем наших приготовлений. Поэтому, как только вы отдохнете и подкрепите ваши силы, мы попросим вас возвратиться в Инверэри, а вместе с вами отправим уполномоченного для уточнения условий мира среди горцев — на тот случай, если маркиз искренне его желает.

В знак согласия Дункан Кэмбел наклонил голову.

— Милорд, — продолжал Монтроз, обращаясь к Ментейту, — будьте любезны позаботиться о сэре Дункане Кэмбеле Арденворе, пока мы здесь обсудим, кто должен будет отправиться вместе с ним к его начальнику. Прошу, Мак-Олей, оказать нашему гостю надлежащее гостеприимство.

— Я тотчас же распоряжусь, — сказал Аллан Мак-Олей, вставая с места и подходя ближе. — Я люблю сэра Дункана Кэмбела; в былые дни мы вместе страдали, и я этого не забыл.

— Милорд, — обратился к графу Ментейту Дункан Кэмбел, — мне прискорбно видеть, что вы, в столь юные годы, дали вовлечь себя в такое отчаянное и мятежное предприятие!

— Я молод, это правда, — отвечал Ментейт, — однако достаточно жил, чтобы уметь отличить добро от зла, верность от мятежа; и чем раньше я вступлюсь за правое дело, тем лучше и дольше послужу ему!

— И вы, мой друг, Аллан Мак-Олей! — продолжал Дункан, взяв Аллана за руку. — Неужели мы должны называть друг друга врагами, мы, которые столь часто сражались вместе против общего недруга? — Затем, обращаясь к собранию, он добавил: — Прощайте, господа, многим из вас я искренне желаю добра,

и ваш отказ принять условия мирного соглашения глубоко огорчает меня. Пусть всевышний рассудит нас, — произнес он, возведя глаза к небу, — и укажет, кто прав: мы ли в своих мирных побуждениях или те, кто стремится посеять междоусобную распрю!

— Амины! — отвечал Монтроз. — Пред этим судом мы все готовы предстать.

Дункан Кэмбел покинул зал в сопровождении Аллана Мак-Олея и лорда Ментейта.

— Вот истый Кэмбел, — сказал ему вслед Монтроз. — Все они таковы: мягко стелют, да жестко спать!

— Простите, милорд, — возразил Эван Дху, — хоть мы и враждуем с его родом, но я не раз имел случай убедиться, что рыцарь Арденвор храбр в бою, честен в мирное время и искренен в своих советах.

— Таков он, несомненно, по своей натуре, — ответил Монтроз, — но сейчас он действует по наущению своего вождя — маркиза, самого лживого человека, когда-либо жившего на земле. И знаете что, Мак-Олей, — продолжал он, понизив голос, — дабы он не смутил неопытный ум Ментейта и затуманенный рассудок вашего брата, пошлите к ним музыкантов — музыка мешает уединенной беседе.

— Какие у меня музыканты! — отвечал Мак-Олей. — Был один-единственный волынщик, да и тот надорвался, желая перещеголять троих сотоварищей по искусству. Впрочем, я могу послать туда Эннот Лайл с ее арфой. — И он покинул зал, чтобы отдать распоряжение.

Между тем среди собравшихся возник горячий спор о том, кто возьмет на себя опасное поручение сопровождать Дункана на его обратном пути в Инверэри. Невозможно было возложить эту обязанность на кого-либо из лиц высшего звания, привыкших считать себя по достоинству разными самому Мак-Каллуму; для прочих, которые не могли выставить ту же отговорку, это поручение все же казалось неприемлемым. Можно было подумать, что замок Инверэри — своего рода долина смерти, такое отвращение вызывали даже наименее знатные вожди при одной

мысли приблизиться к нему. После некоторого замешательства истинная причина была наконец высказана, а именно: кто бы из родовитых горцев ни принял на себя это поручение, маркиз, несомненно, затяит против того злобу и при первом же удобном случае заставит его горько раскаяться в своем поступке.

Монтроз, хотя и считал, что предложение перемирия не более как стратегическая уловка со стороны Аргайла, все же не решился отклонить его в присутствии тех, кого оно столь близко касалось; поэтому он предложил возложить это опасное и почетное дело на капитана Дальгетти, не принадлежавшего ни к одному горному клану и не имевшего владений в Верхней Шотландии, на которые могла бы обрушиться месть Аргайла.

— Однако у меня все же есть шея, — откровенно заявил Дальгетти. — А что, коли ему вздумается на мне сорвать свою досаду? Мне известен случай, когда честного парламентаря вздернули на виселицу, как шпиона. Римляне тоже не очень-то милостиво расправились с послами при осаде Капуи, хотя, впрочем, я где-то читал, что им всего-навсего отсекли руки и носы, выкололи глаза и отпустили с миром.

— Клянусь честью, капитан Дальгетти, — воскликнул Монтроз, — если маркиз, вопреки правилам войны, осмелится применить к вам малейшее насилие, то я отомщу ему так, что содрогнется вся Шотландия!

— Но бедному Дальгетти от этого не станет легче! — возразил капитан. — Впрочем, *coragio!*¹ — как говорят испанцы. Имея в виду землю обетованную, сиречь мое поместье Драмсуэки, — *теа раурега регна*,² как мы говорили в эбердинском училище, — я не намерен отказываться от поручения вашей светлости, ибо считаю, что честный воин должен повиноваться своему командиру, не страшась ни виселицы, ни меча.

¹ Мужайся! (*исп.*).

² Мои нищие владения (*лат.*).

— Благородные слова! — отвечал Монтроз. — И, если вам угодно будет отойти со мной в сторону, я сообщу вам условия, которые вы должны будете изложить Мак-Каллумору и на основании которых мы согласны не трогать его горных владений.

Не будем утруждать читателя подробностями. Условия были составлены в уклончивых выражениях и рассчитаны только на то, чтобы пойти навстречу предложению, которое, по мнению Монтроза, было сделано с единственной целью выиграть время. Когда капитан Дальгетти, получив от Монтроза все необходимые указания и откланявшись по-военному, направился было к двери, граф знаком вернул его обратно.

— Надеюсь, — сказал он, — мне незачем напоминать офицеру, служившему под знаменем великого Густава Адольфа, что от него, как от лица, посланного для мирных переговоров, требуется нечто большее, нежели простая передача условий, и что его военачальник вправе ожидать по его возвращении кое-каких сведений о положении дел в лагере противника, насколько они окажутся в поле его зрения. Короче говоря, капитан Дальгетти, вам следует быть *un peu clair-voyant*.¹

— Верьте мне, ваша светлость, — отвечал капитан, придав грубым чертам своего лица неподражаемое выражение лукавства и смышлености, — если только они не наденут мне на голову мешок, что иногда проделывают с честными воинами, заподозренными в том самом, за чем вы посылаете меня, — ваша светлость может рассчитывать на точный доклад обо всем, что Дальгетти удастся увидеть или услышать, будь то хотя бы количество ладов в волянках Мак-Каллумора или число клеток на его пледе и штанах.

— Отлично! — отвечал Монтроз. — Прощайте, капитан Дальгетти, и помните, что женщина обычно излагает свою главную мысль лишь в приписке к письму; так же и я хотел бы, чтобы вы считали последние

¹ Немного проницательнее (франц.).

мои слова самой важной частью возложенного на вас поручения.

Дальгетти еще раз многозначительно ухмыльнулся и, ввиду предстоящего утомительного путешествия, пошел позаботиться о дорожном провианте для себя и для своего коня.

У дверей конюшни, — ибо он неизменно в первую очередь заботился о своем Густаве, — капитан Дальгетти увидел Ангюса Мак-Олея и сэра Майлса Масгрейва, осматривавших его коня. Похвалив ноги и стать лошади, оба в один голос начали отговаривать капитана от намерения совершить утомительное путешествие верхом на столь прекрасном скакуне.

Ангюс расписывал самыми мрачными красками дорогу — вернее, те дикие тропы, которыми капитану придется пробираться по Аргайлширу, — те жалкие хижины и лачуги, в которых ему предстоит останавливаться на ночлег, где невозможно добыть никакого фуража для лошади, если только она не пожелает глодать прошлогодний бурьян. Он решительно утверждал, что после такого странствования конь окажется совершенно непригодным для военной службы.

Англичанин энергично поддерживал мнение Ангюса и готов был прозакладывать душу и тело дьяволу, уверяя, что это просто грех — тащить с собой коня, стоящего хотя бы грош, в столь пустынный и негостеприимный край. Капитан Дальгетти с минуту пристально смотрел сначала на одного, потом на другого, а затем, как бы в нерешительности, спросил их: что же они посоветуют ему делать с Густавом при таких обстоятельствах?

— Клянусь рукой моего отца, любезный мой друг, — отвечал Мак-Олей, — если вы оставите коня на моем попечении, вы можете быть совершенно спокойны, что он будет и кормлен и холен, как подобает такому прекрасному и замечательному скакуну, и по возвращении вы застанете его гладким, как луковка, прокипяченная в масле.

— А если достойный воин пожелает расстаться со своим скакуном за умеренную мзду, — ска-

зал Майлс Масгрейв, — то у меня в кошельке еще побрякивают остатки от серебряных шандалов, и я с радостью готов переправить их в его карман.

— Короче говоря, мои почтенные друзья, — проговорил капитан Дальгетти, вновь поглядывая на своих собеседников с насмешливой прозорливостью, — я вижу, что вы оба не прочь были бы оставить себе что-нибудь на память о старом воине в том случае, если бы Мак-Каллумору вздумалось повесить его на воротах своего замка. И, несомненно, в таком случае для меня было бы весьма лестно, что такой благородный и честный кавалер, как сэр Майлс Масгрейв, или такой почтенный и гостеприимный предводитель клана, как наш любезный хозяин, окажется моим душеприказчиком.

Оба джентльмена поспешили торжественно заверить капитана, что у них и в мыслях не было подобных намерений, но между тем все так же продолжали распространяться о непроходимости горных дорог. Ангюс Мак-Олей невнятно бормотал какие-то труднопроизносимые гэльские названия, обозначающие особенно опасные перевалы, ущелья, пропасти, вышки и стремнины, через которые, по его словам, лежал путь к Инверэри, а подошедший к конюшне старый Доналд не преминул подтвердить рассказ своего хозяина, всплескивая руками, возводя глаза к небу и качая головой при каждом гортанном звуке, произносимом Ангюсом. Но все это не переубедило непоколебимого капитана.

— Почтенные друзья мои, — сказал он. — Мой Густав далеко не новичок в этом деле и привык к опасным путешествиям в горах Богемии; а дороги в этих горах (не в обиду будь сказано тем стремнинам и ущельям, о которых упоминает мистер Ангюс, и всем ужасам, о которых предупреждает сэр Майлс, никогда не выдавший их) могут поспорить с наихудшими дорогами в Европе. К тому же моя лошадь обладает прекрасным и общительным нравом, и хотя она не пьет вина, охотно разделяет со мной краюху хлеба и едва ли будет страдать от голода там, где

можно будет достать сухарь или пресную лепешку. И чтобы покончить с этим делом, прошу вас, друзья мои, полюбоваться на походного коня сэра Дункана Кэмбела, который стоит тут в стойле перед нами, такой сытый и гладкий! А в ответ на высказанное вами беспокойство обо мне я честью могу вас заверить, что во время нашего совместного путешествия мы с Густавом начнем страдать от голода не раньше, чем конь сэра Дункана и его ездок.

С этими словами капитан наполнил большую меру овсом и подошел с ней к своему коню; Густав тихонько заржал, прядая ушами, и несколько раз ударил копытом о землю, словно желая показать, какая тесная дружба связывает его с хозяином. Он не прикоснулся к овсу, пока не ответил на ласку своего господина, лизнув ему руки и лицо. После такого обмена приветствиями конь усердно принялся за еду, с быстротой, изобличавшей старую военную привычку; а Дальгетти, полюбовавшись минут пять своим боевым товарищем, произнес:

— Да будет все это впрок твоему честному сердцу, мой Густав! А теперь я и сам пойду подкрепить свои силы перед походом.

Затем он вышел из конюшни, предварительно поклонившись англичанину и Ангюсу Мак-Олею. Оставшись одни, они некоторое время молча смотрели друг на друга, а потом разразились дружным хохотом.

— Этот малый пройдет сквозь огонь и воду, — заявил сэр Майлс Масгрейв.

— Я тоже так думаю, — отвечал Мак-Олей, — особенно если ему удастся выскользнуть из рук Мак-Каллумора так же легко, как он выскользнул из наших...

— Неужели вы думаете, — сказал англичанин, — что маркиз не сочтет нужным в лице капитана Дальгетти уважать законы цивилизованной войны?

— Не более, чем я счел бы нужным уважать распоряжение ковенантеров, — отвечал Мак-Олей. — Но, однако, пойдем, мне пора вернуться к гостям.

Глава IX

...Избрали их во время бунта,
Когда закон — не то, что подобает,
А то, что неизбежно. В лучший час
Сказать бы надо: «То, что подобает,
Должно таким остаться неизбежно»
И в прах их власть низвергнуть.

«Кориолан»¹

В небольшой комнате, вдали от гостей, собравшихся в замке, лорд Ментейт и Аллан Мак-Олей почтительно ухаживали за Дунканом Кэмбелом, потчужа его всевозможными яствами. В своей беседе с Алланом Дункан предавался воспоминаниям о некоей облаве, предпринятой ими сообща против Сынов Тумана, с которыми рыцарь Арденвор, так же как и семейство Мак-Олей, был в смертельной, непримиримой вражде. Однако Дункан очень скоро постарался свести разговор на причины своего приезда в замок Дарнлинварах.

Ему крайне прискорбно видеть, говорил он, что друзья и соседи, которым следовало бы стоять плечом к плечу, готовы вступить в драку из-за дела, столь мало их касающегося.

— Не все ли равно вождям горных кланов, — продолжал он, — кто одержит верх — король или парламент? Не лучше ли предоставить им самим уладить свои разногласия, не вмешиваясь в их дела, а тем временем, воспользовавшись удобным случаем, укрепить свою собственную власть настолько, чтобы впоследствии на нее не могли посягнуть ни король, ни парламент?

Он напомнил Аллану Мак-Олею, что меры, принятые в предыдущее царствование якобы для примирения горных округов, в сущности, были направлены к уничтожению патриархальной власти вождей; при этом он упомянул о пресловутых поселениях так называемых файфских предпринимателей на острове Льюисе как о части заранее обдуманного плана, ко-

¹ Перевод И. Миримского.

торым предусматривалось расселение чужестранцев среди кельтских племен, с тем чтобы постепенно уничтожить их древние обычаи, образ правления и лишить их наследства отцов.¹

— А между тем, — продолжал Дункан, обращаясь к Аллану, — именно ради поддержания деспотической власти монарха, взлелеявшего подобные намерения, шотландские вожди собираются затеять ссору и обнажить меч против своих соседей, родичей и исконных союзников.

— Не ко мне, — сказал Аллан, — а к моему брату, старшему сыну моего отца и наследнику нашего дома надлежит вам, рыцарь Арденвор, обращаться с такими словами. Правда, я брат Ангюса, но, как таковой, я только первый член нашего клана и своим добровольным и полным подчинением его воле должен подавать пример остальным.

— Причина войны, — вмешался лорд Ментейт, — несравненно более глубокая, нежели предполагает сэра Дункан Кэмбел. Дело не исчерпывается саксами и гэлами, горами и предгорьем, Верхней и Южной Шотландией. Вопрос о том, будем ли мы и дальше терпеть неограниченную власть, присвоенную горсточкой людей, ничем не лучше нас самих, вместо того чтобы вновь признать законную власть государя, против которого они восстали. А что касается, в частности, положения горных кланов, — продолжал он, — прошу извинения у сэра Дункана Кэмбела за откровенность, но мне совершенно ясно, что единственным последствием незаконного захвата власти будет непомерное распространение могущества одного клана

¹ В царствование Иакова VI была сделана довольно странная попытка цивилизовать самую северную окраину Гебридского архипелага. Сей монарх отдал остров Льюис, подобно какому-нибудь неизведанному и дикому краю, во владение нескольким дворянам из южных округов Шотландии (преимущественно из графства Файф), получивших название предпринимателей, которые должны были колонизировать остров и обосноваться там. Вначале это предприятие было довольно успешным, но коренные жители острова, главным образом кланы Мак-Леод и Мак-Кензи, восстали против приезжих авантюристов и умертвили большинство из них. (Прим. автора)

за счет независимости прочих вождей в горных округах Шотландии.

— Не стану возражать вам, милорд, — сказал Дункан Кэмбел, — ибо мне известно ваше предубеждение, и я знаю, откуда оно исходит; однако позвольте сказать вам, что, будучи главой одной из соперничающих ветвей рода Грэмов, я, как и многие другие, знал некоего графа Ментейта, который не потерпел бы ни руководства в политике, ни командования над собой со стороны графа Монтроза.

— Не надейтесь, сэр Дункан, разжечь мое тщеславие наперекор моим убеждениям, — надменно ответил лорд Ментейт. — Мои предки получили из рук короля свой титул и свое звание; и это никогда не помешает мне сражаться за короля под началом человека, достойного быть главнокомандующим более, чем я. Меньше всего допустил бы я, чтобы чувство мелкой зависти помешало мне отдать свою руку и свой меч в распоряжение самого храброго, самого честного, самого доблестного мужа среди нашего шотландского дворянства.

— Жаль, — проговорил Дункан Кэмбел, — что вы к этому похвальному слову не можете добавить «самого верного, самого постоянного». Но я не намерен вступать с вами в спор, милорд, — добавил он, движением руки как бы отмахиваясь от дальнейших пререканий, — ваш жребий брошен. Позвольте мне только выразить свое глубокое сожаление по поводу горестной участи, на которую природная опрометчивость Ангюса Мак-Олея и ваше влияние, милорд, обрекают моего молодого друга Аллана вместе со всем кланом его отца и многими другими храбрыми людьми.

— Жребий брошен для всех нас, сэр Дункан, — хмуро произнес Аллан, отвечая собственным мрачным мыслям. — Железная рука неумолимого рока выжгла у нас на челе печать нашей судьбы задолго до того, как мы научились выражать свои желания или могли бы шевельнуть пальцем в свою защиту. Будь это иначе, как мог бы ясновидящий узнавать будущее по смутным предчувствиям, которые преследуют его

во сне и наяву? Провидеть можно только то, что должно совершиться неизбежно.

Дункан Кэмбел собрался ему ответить, и, вероятно, оба горца пустились бы в самые непроходимые дебри метафизики, если бы в это мгновение не отворилась дверь и в комнату не вошла Эннот Лайл с арфой в руках. Независимость вольной дочери гор была в ее походке и в ее взгляде, ибо, выросшая в постоянном общении с Ангюсом и его младшим братом, с лордом Ментейтом и другими юношами, посещающими замок Дарнлинварах, она не испытывала того смущения, которое молодая девушка, воспитанная среди одних женщин, испытывает — или считает нужным выказывать — в мужском обществе.

Она была одета по-старинному, ибо новые моды редко проникали в северные горы и еще с большим трудом могли бы найти доступ в замок, населенный почти одними мужчинами, единственными занятиями которых были война и охота. Однако одежда Эннот не только была ей к лицу, но и довольно роскошна. Ее открытый спереди корсаж из голубого сукна с высоким воротником был украшен богатой вышивкой и серебряными пряжками, которые, при желании, можно было застегнуть. Широкие рукава доходили только до локтя и заканчивались золотой бахромой. Из-под этой верхней одежды, — если ее можно так назвать, — выглядывала голубая шелковая рубашка, также богато расшитая, но несколько более светлого оттенка, нежели корсаж. Юбка была из шелковой шотландки, в клетках которой преобладал голубой цвет, что значительно смягчало обычную пестроту шотландского тартана с его резким контрастом различных цветов. Вокруг шеи Эннот обвивалась старинная серебряная цепочка, и на ней висел ключ, которым она настраивала свой инструмент. Из-под воротника был выпущен узенький рюш, заколотый у горла довольно дорогой брошью, некогда подаренной девушке лордом Ментейтом. Густые светлые кудри почти закрывали ее смеющиеся глаза, в то время как она, улыбаясь и слегка краснея, объявила, что Мак-Олей при-

казал осведомиться, не желают ли гости послушать музыку. Сэр Кэмбел с удивлением и большим интересом смотрел на прелестное видение, так неожиданно прервавшее его спор с Алланом.

— Неужели, — шепотом спросил он Аллана, — это прелестное и изящное создание принадлежит к числу домашних музыкантов вашего брата?

— О нет! — поспешил ответить Аллан и добавил с легкой запинкой: — Она... она... наша близкая родственница... И мы относимся к ней, — продолжал он уже более уверенно, — как к приемной дочери нашей семьи.

Он поспешно встал и с той почтительной учтивостью, которую способен выказать любой гордец, когда считает это нужным, уступил свое место Эннот и принялся угощать ее всем, что стояло на столе, с усердием, явно рассчитанным на то, чтобы показать Дункану Кэмбелу ее высокое положение. Но если таково было намерение Аллана, то оно оказалось излишним. Сэр Дункан не спускал глаз с Эннот, и взор его выражал несравненно более глубокий интерес, нежели обычное внимание к особе благородного происхождения. Эннот даже смутилась под пристальным взглядом старого рыцаря; она не без некоторого колебания настроила свой инструмент и, ободряемая взглядом лорда Ментейта и Аллана, исполнила следующую кельтскую балладу, которую наш друг мистер Секундус Макферсон, о чьей любезности уже упоминалось выше, перевел на английский язык:

СИРОТА

Над замком стих ноябрьский град.
Над мглою серых стен
Луч солнца заиграл, и в сад
Выходит леди Энн.

Под дубом сирота сидит.
Лохмотья лишь на ней,
И, не растаяв, град блестит
Меж спутанных кудрей.

«О госпожа, счастливы те,
Кого ласкала мать.
Но кто поможет сироте
Печаль ее унять?!»

«Дай боже никому не знать
Сиротского житья,
Но трижды горше потерять
И мужа и дитя.

Двенадцать лет назад я в ночь
Бежала от врагов
И потеряла крошку-дочь
У Фортских берегов».

«О госпожа, прошли как тень
Двенадцать лет тоски,
С тех пор как сеть в Бригитты день
Тащили рыбаки.

И был сетями извлечен
Ребенок чуть живой.
Смотри же, пред тобою он
С протянутой рукой».

Ее целует леди Энн:
«О дочь, ты вновь со мной!
Вовеки будь благословен
Бригитты день святой!»

И вот уж девочка в шелках,
Богат ее наряд...
И вместо града в волосах
Жемчужины блестят.¹

Во время исполнения баллады лорд Ментейт с удивлением заметил, что пение Эннот Лайл производит на сэра Дункана Кэмбела гораздо более сильное впечатление, нежели можно было бы ожидать от человека его возраста и такого сурового нрава. Он знал,

¹ Перевод И. Миримского.

что северные горцы несравненно более чувствительны к песням и сказкам, чем их соседи, жители предгорья. Но даже это обстоятельство, думал он, едва ли могло служить причиной того смущения, с каким старик отвел глаза от певицы, точно не желая позволить им любоваться столь чарующим зрелищем. Еще менее можно было ожидать, что в чертах лица, обычно выражавших гордость, трезвую рассудительность и привычку повелевать, отразится столь сильное волнение, вызванное, казалось бы, таким незначительным поводом. Лицо старого рыцаря все более омрачалось, седые косматые брови хмурились, на глаза навернулись слезы. Он сидел молча, застыв в неподвижной позе, в течение двух-трех минут после того, как замер последний звук песни. Потом он поднял голову и взглянул на Эннот Лайл, как бы намереваясь заговорить с ней; внезапно изменив свое намерение, он обернулся к Аллану, видимо желая о чем-то спросить его, — но в это время дверь отворилась и на пороге появился хозяин дома.

Глава X

Был день их странствий мрачен,
хмур, уныл,
И каждый холм опасность им сулил.
Но был вдвойне опасен и суров
Дом, где они нашли ночлег и кров.

«Путники», поэма

Поручение, возложенное на Ангюса Мак-Олея, было, видимо, такого рода, что выполнить его стоило хозяину немалого труда; и лишь после того, как он, путаясь в словах, несколько раз начинал свою речь, ему наконец удалось сообщить сэру Дункану Кэмбелу, что воин, который должен сопровождать его, ожидает в полном снаряжении и все готово для их немедленного отъезда в Инверэри. Сэр Дункан Кэмбел в негодовании поднялся с места; оскорбление, заключавшееся в этом известии, в один миг рассеяло чувствительное настроение, навеянное музыкой.

— Мог ли я ожидать, — начал он, гневно глядя на Ангюса Мак-Олея, — мог ли думать, что в наших горах найдется предводитель клана, который в угоду саксу предложит рыцарю Арденвору покинуть его замок в ту пору, когда солнце уже клонится к закату, и прежде, нежели осушен второй кубок вина. Прощайте, сэр! Пища со стола невежи нейдет впрок! И знайте, что если мне еще когда-либо доведется посетить замок Дарнлинварах, то я приду с обнаженным мечом в одной руке и пылающим факелом — в другой!

— Милости просим, — отвечал Ангюс. — Клянусь, что приму вас с честью. И, будь с вами хоть пятьсот Кэмбелов, я позабочусь приготовить для всех вас такое угощение, что вам не придется жаловаться на отсутствие гостеприимства в Дарнлинварахе!

— Благодарю за предупреждение! — промолвил сэр Дункан. — Ваша склонность прихвастнуть слишком хорошо известна, и никто не станет ронять свое достоинство, прислушиваясь к вашим угрозам. Вам, милорд, и Аллану, заместившему моего невежу хозяина, приношу искреннюю благодарность. А вам, моя красавица, — продолжал он, обращаясь к Эннот Лайл, — позвольте выразить мою признательность за то, что вы оживили родник, который уже много лет как высох в моей душе.

С этими словами он покинул комнату и отдал приказание позвать своих людей. Ангюс Мак-Олей, смущенный и вместе с тем глубоко задетый обвинением в недостатке гостеприимства, что считалось самым большим оскорблением для горца, не вышел провожать сэра Дункана во двор замка, где старый вождь садился на своего коня, подведенного к крыльцу. В сопровождении шести всадников и в обществе капитана Дальгетти, который ожидал его, держа Густава в поводу, в полной боевой готовности, но не садился в седло до появления рыцаря Арденвора, — сэр Дункан покинул замок.

Путешествие было долгим и утомительным, но отнюдь не сопровождалось теми чрезмерными лишениями, которые предрекал старший Мак-Олей.

По правде говоря, сэр Дункан умышленно уклонялся от тех тайных и более коротких горных троп, которыми быстро можно было достигнуть с запада Аргайлского графства, ибо его родич маркиз Аргайл нередко хвастал, что и за сто тысяч крон не согласился бы, чтобы кто-нибудь из смертных знал те пути, по которым враждебное войско могло бы проникнуть в глубь его владений.

Поэтому сэр Дункан Кэмбел тщательно избегал горных троп и, спустившись в предгорье, направился к ближайшей морской гавани, где всегда стояло наготове несколько полупалубных галер. Маленький отряд отплыл на одном из этих кораблей, взяв на борт и Густава, который настолько привык к разнообразным похождениям, что путешествовал по морю и по суше столь же спокойно, как и его хозяин.

Благодаря попутному ветру они быстро продвигались вперед на парусах и на веслах; и на следующий день рано утром капитану Дальгетти, помещавшемуся в небольшой каюте под палубой, было сообщено, что галера стоит под стенами замка сэра Дункана Кэмбела.

Поднявшись на палубу, он, в самом деле, увидел возвышавшийся перед ним замок Арденвор. Это была мрачная четырехугольная крепость внушительных размеров и очень высокая, стоявшая на скале, далеко выдававшейся в морской залив — вернее, морской рукав, — куда они вошли накануне вечером. Высокая стена с угловыми башнями защищала замок со стороны суши, в то время как со стороны моря замок так близко подступал к краю отвесной скалы, что там едва оставалось место для батареи из семи пушек, предназначенной для защиты крепости от нападения с залива; впрочем, эта батарея была расположена слишком высоко, чтобы оказать какую-либо существенную помощь в новейших условиях ведения войны.

Восходящее солнце поднималось из-за старой крепости; ее тень легла на воды озера, затемняя палубу галеры, по которой расхаживал капитан Дальгетти, ожидавший с некоторым нетерпением сигнала сойти

на берег. Сэр Дункан Кэмбел, как ему было сообщено, уже находился в стенах своего замка; но никто не внял предложению капитана Дальгетти последовать за ним на берег; слуги заявили, что ему надлежит подождать разрешения или приказа рыцаря Арденвора.

Вскоре приказ был получен: показалась лодка, на носу которой стоял волыщик с вышитым на левом рукаве кафтана серебряным гербом рыцаря Арденвора и что есть мочи наигрывал на волынке фамильный марш Кэмбелов, под названием «Кэмбелы идут!». Он прибыл, чтобы сопровождать посланца Монтроза в замок Арденвор.

Расстояние между галерой и берегом было столь незначительно, что едва ли была необходимость в восьми дюжих гребцах в беретах, коротких куртках и клетчатых штанах, чьи дружные усилия направили лодку в узкий заливчик, где ей полагалось причалить, так быстро, что капитан Дальгетти едва успел заметить, как она отделилась от борта корабля. Несмотря на сопротивление Дальгетти, два гребца подхватили его, усадили на спину третьему и, перейдя мелководье вброд, благополучно доставили капитана на берег у подножия скалы, на которой стоял замок. В передней грани этой скалы виднелось нечто вроде входа в низкую пещеру, по направлению к которой гребцы собирались было тащить нашего друга, но он, не без труда вырвавшись из их рук, объявил, что не сделает ни шагу, пока не убедится в том, что Густав благополучно доставлен на берег. Гребцы ничего не могли уразуметь из слов капитана, пока один из них, кое-как понимавший по-английски, вернее — немного знавший южношотландское наречие, не воскликнул: «Стой! Да ведь это он о своей лошади. И что она ему далась!» Дальнейшие возражения со стороны капитана Дальгетти были прерваны появлением самого сэра Дункана Кэмбела у входа пещеры. Он любезно предложил капитану Дальгетти воспользоваться гостеприимством замка Арденвор и заверил его честью, что слуги будут обращаться с Густавом соответственно тому великому имени, которое тот носит,

не говоря уж о высоком достоинстве его господина. Несмотря на эти заверения, капитан Дальгетти все еще колебался, желая лично убедиться, какая участь ждет его боевого товарища; но тут двое гребцов подхватили капитана под руки, двое других принялись подталкивать сзади, в то время как пятый восклицал: «Да он рехнулся! Не слышит, что ли, что сам хозяин замка приглашает его к себе в гости? Это ли не великая честь для него!»

Понуждаемый таким образом, капитан Дальгетти мог лишь через плечо поглядывать на галеру, где он покинул товарища своих бранных подвигов. Через несколько минут он очутился в полной темноте, на лестнице, которая, начинаясь в упомянутой нами пещере с низким сводом, спиралью вилась в самых недрах скалы.

— Проклятые горцы, дикари! — вполголоса бормотал капитан. — Что со мною станется, если Густав, тезка непобедимого Льва Протестантской унии, будет изувечен их корявыми руками?

— Не беспокойтесь об этом, — произнес в темноте голос сэра Дункана, который оказался гораздо ближе, чем предполагал капитан, — мои люди привыкли ходить за лошадьми, чистить их, грузить и снимать с галеры, и вы вскоре увидите своего Густава целым и невредимым, каким он был в ту минуту, когда вы расстались с ним.

Капитан Дальгетти достаточно знал правила приличия, чтобы позволить себе и дальше пререкаться с хозяином замка, какие бы сомнения втайне ни волновали его душу. Поднявшись на несколько ступенек вверх по лестнице, он увидел свет, падавший из дверного пролета, и через железную решетку вышел на открытую галерею, высеченную в скале. Пройдя по ней шесть или восемь ярдов, он очутился перед второй дверью, также защищенной железной решеткой, за которой дорога снова углублялась в скалу.

— Великолепнейший проход! — заметил капитан. — Одного орудия или даже просто нескольких мушкетов вполне достаточно, чтобы защитить замок от любого нападения.

Сэр Дункан Кэмбел ничего не ответил ему; но в следующую минуту, когда они вступили во вторую галерею, он постучал о стены палкой, сначала с одной, потом с другой стороны входа. Зловещий гул, раздавшийся в ответ на эти удары, ясно показал капитану Дальгетти, что по обеим сторонам прохода установлены пушки, направленные на галерею, где они только что прошли, хотя амбразуры, через которые в случае надобности мог быть открыт огонь, были с внешней стороны тщательно прикрыты камнями и дерном. Поднявшись по второй лестнице внутри скалы, капитан Дальгетти и сэр Дункан вновь оказались на открытой площадке и пошли по галерее, которую легко можно было обстрелять ружейным огнем или пушками в том случае, если бы кто-либо, пришедший сюда с враждебными намерениями, дерзнул продвигнуться дальше. Третья лестница, также высеченная в скале, но без верхнего перекрытия, привела их наконец на батарею, расположенную у подножия башни. Эта последняя лестница была также очень узкая и крутая, и, не говоря о том, что ее можно было легко обстрелять сверху, одного-двух отважных бойцов, вооруженных пиками или секирами, было бы вполне достаточно, чтобы защитить проход против сотни осаждающих; ибо на ступеньках лестницы два человека не смогли бы поместиться рядом, а самая лестница не была ограждена перилами со стороны отвесной скалы, у подошвы которой с грохотом разбивались волны морского прибоя. Словом, для защиты этой древней кельтской крепости были приняты такие решительные меры, что человек со слабыми нервами и подверженный головокружениям лишь с трудом проник бы в замок, даже если бы обитатели не оказали ему ни малейшего сопротивления.

Капитан Дальгетти, старый, испытанный воин, не был подвержен такой слабости и, едва вступив во двор замка, начал клясться всеми святыми, что из всех мест, какие ему довелось защищать во время его многочисленных походов, укрепления замка сэра Дункана больше всего напоминают знаменитую крепость Шпандау в Бранденбургской Марке. Однако он

неодобрительно отозвался о расположении пушек и заметил, что «если орудия, как галки или морские чайки, торчат на самой вершине утеса, они больше оглушают своим шумом, нежели наносят чувствительный урон врагу».

Сэр Дункан, ничего не отвечая, повел капитана в замок. Вход в него был защищен подъемной решеткой и окованной железом дубовой дверью, между которыми оставалось пустое пространство в толщину стены.

Войдя в зал, стены которого были увешаны гобеленами, капитан Дальгетти продолжал выражать свое неодобрение. Однако он тотчас умолк, увидев на столе превосходный завтрак, и с жадностью набросился на еду. Насытившись, он обошел весь зал и, заглядывая поочередно в каждое окно, тщательно осмотрел местность вокруг замка. Затем он возвратился к своему креслу, развалился в нем и, вытянув ногу, стал похлопывать хлыстом по высокой ботфорте с развязностью плохо воспитанного человека, разыгрывающего непринужденность в высшем обществе. Тут он снова принялся излагать свое непрошеное мнение.

— Видите ли, сэр Дункан, — начал он, — ваш дом, несомненно, укреплен совсем недурно, однако, на взгляд опытного воина, все же нельзя сказать, что он выдержит длительную осаду. Ибо, сэр Дункан, если позволите обратить ваше внимание, со стороны суши над вашим домом возвышается или господствует, как говорим мы, военные, вон тот кругленький холм, на котором неприятель может установить такую батарею пушек, что вам волей-неволей через сорок восемь часов придется капитулировать, если только бог не сотворит для вас чудо.

— Здесь нет дорог, по которым можно было бы подвезти пушки для осады Арденвора, — сухо ответил сэр Дункан. — Мой замок окружен топями и непроходимыми болотами, и даже вы со своим конем не проберетесь иначе, как по узким тропинкам, которые можно заградить в течение нескольких часов.

— Вам угодно так думать, сэр Дункан, — возразил капитан, — но мы, военные люди, полагаем, что

там, где есть морской берег, есть и свободный доступ: когда нельзя подвезти пушки и боевые припасы сухим путем, их легко доставить морем к тому месту, где их нужно пустить в ход. Нет такого замка, как бы надежно ни было его местоположение, который мог бы считаться неуязвимым — вернее сказать, неприступным. И я заверяю вас, сэр Дункан, что бывали случаи, когда двадцать пять человек благодаря дерзкому и неожиданному нападению брали с бою крепость, защищенную не хуже вашего Арденвора, и убивали, захватывали в плен или задерживали в качестве заложников целый гарнизон, вдесятеро превышавший их численностью.

Невзирая на светское воспитание и умение скрывать свои чувства, сэр Дункан был все же явно уязвлен и раздосадован замечаниями, которые капитан Дальгетти высказывал с простодушной важностью, избрав предметом беседы такую область, в которой считал себя способным блеснуть и, как говорится, «сказать свое слово», нимало не думая о том, приятно это хозяину или нет.

— Вам незачем объяснять мне, капитан Дальгетти, — произнес сэр Дункан несколько раздраженным тоном, что крепость может быть взята приступом, если ее недостаточно доблестно защищают или защитники ее захвачены врасплох. Надеюсь, что моему скромному жилищу не грозит ни то, ни другое, даже если бы сам капитан Дальгетти вздумал осаждать его.

— И все же, сэр Дункан, — не унимался разошедшийся вояка, — я по-дружески советовал бы вам возвести форт на том холме и выкопать за ним глубокий ров или траншею, что нетрудно сделать, заставив работать окрестных крестьян; доблестный Густав Адольф столь же часто воевал лопатой и заступом, как копьем, мечом и мушкетом. Мой совет вам также — укрепить упомянутый форт не только рвом или канавой, но и частоколом, так называемым палисадом.

Тут сэр Дункан, окончательно выведенный из терпения, покинул комнату; но неугомонный капитан

последовал за ним до дверей и, возвышая голос по мере того, как его хозяин удалялся, продолжал разглагольствовать, пока тот еще мог его слышать:

— А этот частокол, или палисад, следует искусно соорудить с выходящими внутрь углами и бойницами или зубцами для стрелков, так что если бы неприятель... Ах он, невежа! Северный дикарь! Все они надуты, как павлины, и упрямы, как козлы.. Упустить такой случай, когда он мог превратить, хоть и не по всем правилам военного искусства, свой дом в неприступную крепость, о которую любая осаждающая армия обломала бы себе зубы! Однако, — продолжал капитан, высунувшись в окно и глядя вниз, на полосу земли у подножия скалы, — я вижу, что они благополучно доставили Густава на берег. Славный мой конь! Я бы узнал его гордо вскинутую голову среди целого эскадрона! Я должен пойти взглянуть, как они его устроят.

Но едва он вышел во двор и стал спускаться по лестнице, ведущей к морю, как двое часовых, скрестив свои секиры, дали понять, что ему грозит опасность.

— Черт побери! — воскликнул воин. — Ведь я не знаю пароля. А объясняться с ними на их тарбарском наречии я не мог бы даже под страхом смерти.

— Я вас выручу, капитан Дальгетти, — произнес сэр Дункан, который, появившись неизвестно откуда, вновь приблизился к нему. — Мы вместе пойдем и посмотрим, как там устроили вашего любимца.

С этими словами сэр Дункан повел капитана Дальгетти вниз по лестнице к берегу моря; обогнув утес, они очутились перед конюшнями и прочими службами замка, приютившимися за выступом скалы. Тут капитан Дальгетти обратил внимание на то, что со стороны суши замок был огражден глубоким горным ущельем, частично созданным природой, частично искусственно углубленным, и доступ в замок через него был возможен только по подъемному мосту.

И все же, несмотря на то, что сэр Дункан с торжествующим видом указал ему на эти надежные

меры защиты, капитан Дальгетти продолжал твердить, о необходимости возвести форт на холме Драмснэб — круглой возвышенности на восток от замка, ибо оттуда замок мог быть осыпан градом пушечных ядер, начиненных огнем по способу, изобретенному польским королем Стефаном Баторием. Благодаря своей остроумной выдумке этот монарх до основания разрушил великий город Москву — столицу Московии. Правда, капитан Дальгетти признался, что сам никогда не видел этого новшества, но тут же добавил, что «с превеликим удовольствием посмотрел бы, как действуют такие ядра против замка Арденвор или какой-либо иной крепости». При этом он заметил, что «столь интересный опыт не может не порадовать каждого истинного любителя военного искусства».

Сэру Дункану Кэмбелу удалось наконец отвлечь капитана Дальгетти от этого разговора тем, что он привел его в конюшню, где разрешил ему по собственному усмотрению позаботиться о Густаве. После того как это было самым тщательным образом исполнено, капитан Дальгетти выразил желание возвратиться в замок, заметив, что время до обеда, который, по его расчетам, должен быть подан около полудня, он намерен употребить на чистку своих доспехов, несколько потускневших от морского воздуха, ибо он опасается, как бы неопрятный вид не уронил его в глазах Мак-Каллумора.

На обратном пути в замок капитан Дальгетти не преминул предостеречь сэра Дункана Кэмбела от великого ущерба, который тот может понести при внезапном нападении неприятеля, если его лошади, рогатый скот и амбары с хлебом окажутся отрезанными и уничтоженными. Поэтому он снова настоятельно советовал ему возвести форт на холме, носящем название Драмснэб, и предлагал свои дружеские услуги для составления плана. В ответ на все его бескорыстные советы сэр Дункан удовольствовался тем, что, приведя своего гостя в предназначенную для него комнату, сообщил, что звон колокола известит его о времени обеда.

Глава XI

Так это, Болдвин, замок твой?
Печально
Флаг траурный над башней он
простер,
Вспененных вод сверканье помрачая.
Когда бы жил я здесь, смотрел
на мглу,
Которая пятнает лик природы,
И слушал чаек крик и ропот волн —
Я б лучше быть хотел в лачуге
жалкой
Под ненадежным кровом бедняка
Браун

Доблестный ритмейстер охотно посвятил бы свой досуг изучению окрестностей замка сэра Дункана, дабы воочию убедиться в степени его неприступности. Но дюжий часовой с секирой в руках, поставленный у дверей его комнаты, весьма выразительным жестом дал ему понять, что он находится как бы в почетном плену.

«Странное дело, — думал про себя Дальгетти, — как хорошо эти дикари знают правила военной тактики. Кто бы мог ожидать, что им известен принцип великого и божественного Густава Адольфа, считавшего, что парламентар должен быть наполовину посланником, наполовину лазутчиком?»

Покончив с чисткой своего оружия, Дальгетти спокойно уселся в кресло и занялся вычислением тех сумм, которые он получит в конце шестимесячной кампании, если ему будут платить по полталера в сутки. Решив эту задачу, он приступил к извлечению квадратного корня из двух тысяч, чтобы вычислить, по сколько человек нужно ставить в шеренгу, чтобы построить полк в каре.

Его математические выкладки были прерваны веселым трезвоном обеденного колокола, и тот самый горец, который только что исполнял обязанности часового, теперь, в роли церемониймейстера, ввел его в зал, где стол, накрытый на четыре прибора, являл все признаки шотландского хлебосольства. Сэр Дункан вошел в зал, ведя под руку свою супругу —

высокую увядшую, печальную женщину в глубоком трауре. За ними следовал пресвитерианский пастор в женевской мантии и черной шелковой шапочке, так плотно сидевшей на его коротко остриженных волосах, что их почти не было видно, вследствие чего открытые торчащие уши казались чрезмерно большими. Такова была безобразная мода того времени, отчасти послужившая поводом к презрительным прозвищам — круглоголовые, лопоухие псы и тому подобное, которыми надменные приверженцы короля щедро награждали своих политических врагов.

Сэр Дункан представил своего гостя жене, которая ответила на его военное приветствие строгим и молчаливым поклоном, и трудно было решить, какое чувство — гордость или печаль — преобладало в этом движении. Священник, которому был затем представлен капитан, бросил на него взгляд, исполненный недоброжелательства и любопытства.

Капитан, привыкший к худшему обхождению, к тому же со стороны лиц гораздо более опасных, не обратил особого внимания на косые взгляды хозяйки и пастора и всей душой устремился к громадному блюду вареной говядины, дымившемуся на другом конце стола. Но атаку — как выразился бы капитан — пришлось отложить до окончания весьма длинной молитвы, после каждого стиха которой Дальгетти хватался за нож и вилку, словно за копьё или мушкет во время наступления, и вновь принужден был нехотя опускать их, когда велеречивый пастор начинал новый стих молитвы. Сэр Дункан слушал молитву вполне благопристойно, хотя ходили слухи, будто он присоединился к сторонникам ковенанта скорее из преданности своему вождю, нежели из искренней приверженности к свободе или пресвитерианству. Зато супруга его слушала молитву с чувством глубокого благоговения.

Обед прошел в почти монашеском молчании. Капитан Дальгетти не имел обыкновения пускаться в разговоры, пока его рот был занят более существенным делом; сэр Дункан не проронил ни слова, а его супруга лишь изредка обменивалась замечаниями

с пастором, впрочем, так тихо, что ничего нельзя было расслышать.

Но когда кушанья были убраны со стола и на их месте появилось вино различных сортов, капитан Дальгетти, не имея уже веских причин для молчания и устав от безмолвия присутствующих, предпринял новую атаку на своего хозяина по поводу все того же предмета:

— Касательно той горки или возвышенности, вернее — холма, называемого Драмснэбом, мне было бы весьма лестно побеседовать с вами, сэр Дункан, о характере укрепления, которое следовало бы на нем возвести; должен ли это быть остроугольный или тупоугольный форт? По этому поводу мне довелось слышать ученый спор между великим фельдмаршалом Бэнером и генералом Тифенбахом во время перемирия.

— Капитан Дальгетти, — сухо прервал его сэр Дункан, — у нас в горах не принято обсуждать военные дела с посторонними лицами. А мой замок, думается мне, выдержит нападение и более сильного врага, нежели та армия, которую могут выставить против него злополучные воины, оставшиеся в Дарнлинварахе.

При этих словах хозяйка дома тяжело вздохнула, словно они вызвали в ее памяти какие-то мучительные воспоминания.

— Всевышний даровал, — торжественно произнес пастор, обращаясь к ней, — и он же отъял. Желаю вам, миледи, еще долгие годы благословлять имя его.

На это поучение, предназначавшееся, видимо, для нее одной, миледи отвечала наклоном головы, более смиренным, нежели капитан Дальгетти мог бы ожидать от нее. Предполагая, что теперь она будет более общительна, он немедленно обратился к ней:

— Не удивительно, что ваша милость изволили приуныть при упоминании о военных приготовлениях, которые, как я неоднократно замечал, порождают смущение в сердцах женщин всех наций и почти всех состояний. Однако Пентесилея в древности, а равно Жанна д'Арк и еще некоторые другие женщины были

совсем иного рода. А когда я служил у испанцев, мне говорили, будто в прежние времена герцог Альба составил из девушек, следовавших за его войском, особые *tertias* (называемые у нас полками) и назначил им офицеров и командиров из их же женского сословия, под руководством военачальника, называемого по-немецки *Huteweibler*, что значит в переводе: «командир над девками». Правда, это были особы, которых нельзя ставить на одну доску с вашей милостью, так сказать *quae quae estum corporibus faciebant*,¹ как мы в эбердинском училище имели обыкновение называть Джин Дрокилс; французы их называют куртизанками, а у нас в Шотландии...

— Миледи избавит вас от дальнейших разъяснений, капитан Дальгетти, — прервал его хозяин довольно сурово, а священник добавил, что подобные речи скорее пристало слышать в кордегардии, среди нечестивых солдат, нежели за столом почтенного дворянина, в присутствии знатной дамы.

— Прошу прощения, святой отец или доктор, — *aut quocumque alio nomine gaudes*,² ибо да будет вам известно, что я обучен правилам учтивой речи, — сказал, нимало не смущаясь, доблестный парламентар, наливая вино в объемистый кубок. — Я не вижу оснований для вашего упрека, ибо я упомянул об этих *turpes personae*³ не потому, что считаю их личность и занятие надлежащим предметом беседы в присутствии миледи, но просто случайно, *per accidens* — в виде примера, дабы указать на их храбрость и решительность, усугубленные, без сомнения, отчаянными условиями, в которых им приходится жить.

— Капитан Дальгетти, — произнес сэр Дункан, — нам придется прекратить этот разговор, ибо мне необходимо сегодня вечером закончить кое-какие дела, чтобы иметь возможность сопровождать вас завтра в Инверэри, а следовательно...

¹ Те, кто наживается, торгуя телом (лат.).

² Или каким другим именем ты имеешь удовольствие называться (лат.)

³ Безнравственных личностях (лат.).

— Завтра сопровождать в Инверэри этого человека! — воскликнула миледи. — Не может этого быть, сэр Дункан! Неужели вы забыли, что завтра день печальной годовщины и что он должен быть посвящен печальному обряду?..

— Нет, не забыл, — отвечал сэр Дункан. — Может ли быть, чтобы я когда-нибудь забыл об этом? Но наше тревожное время требует, чтобы я без промедления препроводил этого офицера в Инверэри.

— Однако, надеюсь, вы не имеете намерения лично сопровождать его? — спросила миледи.

— Было бы лучше, если бы я это сделал, — отвечал сэр Дункан. — Впрочем, я могу завтра послать письмо Аргайлу, а сам выехать на следующий день. Капитан Дальгетти, я сейчас напишу письмо, в котором объясню маркизу ваши полномочия и ваше поручение, и попрошу вас завтра рано утром быть готовым для поездки в Инверэри.

— Сэр Дункан Кэмбел, — возразил Дальгетти, — я полностью и всецело в вашей власти; тем не менее прошу вас не забывать о том, что вы запятнаете свое имя, ежели допустите, чтобы мне как уполномоченному вести мирные переговоры была нанесена малейшая обида, — *clam, vi, vel precario*.¹ Я не говорю, что это может случиться с вашего согласия, но вы отвечаете даже в том случае, если не проявите достаточной заботы, чтобы помочь мне избежать этого.

— Моя честь будет вам порукой, сэр, — отвечал сэр Дункан Кэмбел, — а это более чем достаточное ручательство. А теперь, — продолжал он, вставая из-за стола, — я должен подать вам пример и удалиться на покой.

Хотя час был еще ранний, Дальгетти почувствовал себя вынужденным последовать этому примеру, но, как искусный полководец, он решил воспользоваться хотя бы минутным промедлением, которое случай предоставлял ему.

— Верю вашему благородному слову, — произнес он, наливая себе вина, — и пью за ваше здоровье,

¹ Будь то тайно, с намерением или случайно (лат.).

сэр Дункан, и за продолжение вашего знатного рода!

Глубокий вздох был единственным ответом на эти слова.

— А теперь, сударыня, — продолжал капитан, вновь поспешно наполняя свой кубок, — позвольте выпить за ваше драгоценное здоровье и исполнение всех ваших благих желаний! Затем, ваше преподобие, я наполняю чашу (тут он не преминул согласовать свои слова с делом) и пью за то, чтобы утопить в вине все неприязненные чувства, которые могли бы возникнуть между вами и капитаном, правильное сказать — майором Дальгетти. А так как во фляге осталась еще одна чарочка, я выпиваю последнюю каплю за здоровье всех честных кавалеров и храбрых воинов... Ну вот, теперь фляга пуста, и я готов, сэр Дункан, последовать за вашим слугой или часовым к месту моего отдохновения.

Он получил милостивое разрешение удалиться, причем было сказано, что, так как вино пришлось ему, по-видимому, по вкусу, то в его комнату будет прислана вторая фляга, которая поможет ему с приятностью коротать часы одиночества.

Едва капитан достиг предназначенной ему комнаты, как это обещание было исполнено, а появившаяся вслед за тем закуска в виде паштета из оленины вполне примирила его с отсутствием общества и пребыванием в почетном заключении.

Тот же самый слуга, по-видимому — дворецкий, который приносил угощение, передал капитану Дальгетти запечатанный пакет, перевязанный, согласно обычаю того времени, шелковым шнурком и адресованный в самых почтительных выражениях «высоко-родному и могущественному властителю Арчибалду, маркизу Аргайлу, лорду Лорнскому и прочая». Подавая пакет, дворецкий в то же время уведомил капитана, что ему надлежит рано утром отправиться верхом в Инверэри, прибавив, что письмо сэра Дункана послужит ему одновременно и рекомендацией и пропуском в пути. Не забывая о том, что, помимо обязанности парламентаря, ему было поручено

собрать все нужные сведения, и желая ради собственной безопасности узнать причину, побудившую сэра Дункана отправить его вперед одного, капитан Дальгети со всей осторожностью, подсказанной ему большим жизненным опытом, осведомился у слуги, какие именно обстоятельства задерживают сэра Дункана дома на следующий день. Слуга, родом из предгорья, ответил, что сэр Дункан и его супруга имеют обыкновение отмечать суровым постом и молитвой день печальной годовщины, когда их замок подвергся внезапному нападению и их четверо детей были жестоко умерщвлены шайкой горцев. Все это произошло во время отсутствия самого сэра Дункана, находившегося в походе, предпринятом маркизом против Мак-Линов, владевших островом Мэлл.

— Поистине, — сказал на это капитан, — милорд и миледи имеют основания для поста и молитвы. Все же я позволю себе заметить, что если бы сэр Дункан внял совету какого-нибудь опытного воина, искушенного в деле укрепления уязвимых мест, он построил бы форт на небольшом холме, находящемся слева от подъемного моста. И преимущества этого я могу сейчас доказать тебе, мой почтенный друг. Допустим, к примеру, что этот паштет представляет собой крепость. Скажи, кстати, как тебя зовут, дружище?

— Лоример, ваша милость, — отвечал слуга.

— За твое здоровье, почтенный Лоример! Так вот, Лоример, допустим, что этот паштет будет главным центром или цитаделью защищаемой крепости, а эта мозговая кость — форт, возводимый на холме...

— Простите, сударь, — прервал его Лоример, — я, к сожалению, не могу дольше оставаться и дослушать ваши объяснения, ибо сейчас прозвонит колокол. Сегодня вечером в замке совершает богослужение достопочтенный мистер Грэнингаул, духовник маркиза Аргайла; а так как из шестидесяти человек домашней челяди всего семеро понимают южно-шотландский язык, неудобно было бы одному из них отсутствовать, да и миледи была бы мной весьма

недовольна. Вот тут, сударь, трубки и табачок, если вам угодно будет затянуться дымком; а если еще что-нибудь потребуется, все будет доставлено часа через два, по окончании службы. — С этими словами Лоример покинул комнату.

Едва он удалился, как раздались мерные удары башенного колокола, призывавшего обитателей замка на молитву; в ответ со всех концов замка послышались звонкие женские голоса вперемешку с низкими мужскими; громко разговаривая на местном гортанном наречии, слуги спешили в часовню по длинному коридору, куда выходили многочисленные двери из жилых комнат, — в том числе и дверь из помещения, занимаемого капитаном Дальгетти.

«Бегут, словно на переключку, — подумал капитан, — и если все обитатели замка будут присутствовать на параде, я мог бы пока немножко прогуляться, подышать свежим воздухом да кстати проверить свои наблюдения относительно уязвимых мест этой крепости».

Итак, когда все вокруг стихло, он отворил дверь своей комнаты и только было решился переступить порог, как сразу же увидел в конце коридора своего приятеля часового, приближавшегося к нему, не то насвистывая, не то напевая какую-то гэльскую песенку. Показать свое смущение было бы и неразумно и недопустимо для военного человека. Поэтому капитан с самым независимым видом стал насвистывать шведский сигнал к отбою еще громче, нежели часовой насвистывал свою песенку, и, притворившись, что он выглянул лишь на минуту, чтобы глотнуть свежего воздуха, шаг за шагом отступил в свою комнату, и, когда часовой почти поравнялся с ним, захлопнул дверь перед самым его носом.

«Очень хорошо, — подумал про себя капитан. — Сэр Дункан упрядил мое честное слово тем, что приставил ко мне сторожей, ибо, как говорилось у нас, в эбердинском училище, *fides et fiducia sunt relativa*,¹ и если он не доверяет моему слову, то и я не

¹ Верность и доверие — понятия относительные (лат.).

чувствую себя обязанным держать его, если по каким-либо обстоятельствам мне вздумается нарушить его Честное слово, бесспорно, теряет свою силу, как только взамен его вступает в действие сила физическая».

Итак, утешая себя метафизическими рассуждениями, на которые его толкнула бдительность часового, ритмейстер Дальгетти возвратился в отведенные ему покои. Вечер он провел, деля свое время между теорией и практикой военного дела, а именно: то предавался тактическим вычислениям, то решительно шел на приступ паштета и фляги с вином.

На рассвете его разбудил Лоример, явившийся с весьма обильным завтраком и объяснивший, что, как только капитан подкрепитсЯ, он должен отправиться в Инверэри, ибо лошадь и проводник уже ждут его. Капитан воспользовался любезным предложением хлебосольного дворецкого и, покончив с завтраком, направился к выходу. Проходя по замку, он увидел, что в большом зале слуги занавешивают стены черным сукном, и заметил своему спутнику, что такое убранство ему довелось видеть, когда тело бессмертного Густава Адольфа было выставлено в замке Вольгаст, и, следовательно, по его разумению, это свидетельствует о строжайшем соблюдении самого глубокого траура.

Когда капитан Дальгетти сел в седло, он увидел, что его окружают пять или шесть Кэмбелов, которые были приставлены к нему в качестве не то провожатых, не то конвойных. Все хорошо вооруженные, они находились под командой начальника, который, судя по гербу на щите и короткому петушиному перу на шапочке, а также по напускаемой им на себя важности, был, вероятно, дунье-вассал, то есть член клана высокого ранга; величая осанка его говорила о том, что он состоит в довольно близком родстве с хозяином, а именно приходится ему десятиюродным или в крайнем случае двенадцатиюродным братом. Однако капитан Дальгетти не имел ни малейшей возможности

получить какие-нибудь сведения как по этому, так и по любому другому вопросу, ибо ни начальник отряда, ни один из его подчиненных не говорили по-английски. Капитан ехал верхом, а военный конвой сопровождал его пешком; но столь велико было их проворство и столь многочисленны естественные препятствия, встречавшиеся на пути всадника, что пешие не только не отставали от капитана, а, напротив, ему было трудно поспевать за ними. Он заметил, что они изредка поглядывают на него, словно опасаясь его попыток к бегству; и однажды, когда капитан слегка замешкался, переправляясь вброд через ручей, один из слуг стал поджигать фитиль своего ружья, давая ему понять, чтобы он лучше не пытался отставать от отряда. Дальгетти чувствовал, что подобное бдительное наблюдение за его особой не предвещает ничего хорошего; но делать было нечего, ибо попытка убежать от своих спутников в этой непроходимой и совершенно незнакомой ему местности была бы просто безумием. Поэтому он терпеливо продвигался вперед по пустынному и дикому краю, пробираясь по тропинкам, известным лишь пастухам да гуртовщикам, и поглядывая не с удовольствием, а с неприязнью на те живописные горные ущелья, которые в настоящее время привлекают со всех концов Англии многочисленных туристов, желающих усладить свои взоры величием горных красот Шотландии и ублажить свои желудки своеобразными кушаньями шотландской кухни.

Наконец отряд достиг южного берега великолепного озера, над которым возвышался замок Инверэри. Начальник затрубил в рог, и звуки его прокатились мощными отголосками по прибрежным скалам и лесам, послужив сигналом для хорошо оснащенной галеры, которая, выйдя из глубокой бухты, где она была укрыта, взяла на борт весь отряд, включая и Густава. Это смышленное четвероногое, выдавшее виды в своих многочисленных странствиях по морю и по суше, взшло на корабль и сошло на берег с достоинством воспитанного человека.

Плывя по зеркальной поверхности озера Лох-Файн, капитан Дальгетти мог бы любоваться одним из великолепнейших зрелищ, созданных природой. Он мог бы заметить, как реки-соперницы Эрей и Ширей впадают в озеро, беря начало каждая в своем собственном темном и лесистом ущелье. Он мог бы увидеть на склоне холма, отлого поднимающегося над озером, древний готический замок, чьи причудливые очертания, зубчатые стены, башни, внешние и внутренние дворы были куда более живописны, нежели теперешние массивные и однообразные постройки. Он мог бы любоваться дремучими лесами, на много миль простиравшимися вокруг этого грозного, но поистине царственного жилища, и взор его мог бы насладиться стройным силуэтом пика Дэникоик, который, отвесно поднимаясь от самого озера, упирался в небо своей препоясанной туманами вершиной, где, подобно орлиному гнезду, примостилась сторожевая башня, усугублявшая грозное величие древней твердыни.

Все это и еще многое другое мог бы заметить капитан Дальгетти, будь он к тому расположен. Но, надо признаться, доблестного капитана, позавтракавшего на рассвете, больше всего занимали дымок, вившийся из трубы замка, и предвкушение обильного провианта — как он обычно называл то, что этот дымок ему сулил.

Галера вскоре причалила к неровному молу, соединявшему озеро с маленьким городком Инверэри, в те далекие времена представлявшим собой лишь жалкое скопище хижин, среди которых там и сям были разбросаны редкие каменные дома. Городок простирался вверх от берега Лох-Файна до главных ворот замка, и картина, представившаяся глазам путников, отбила бы аппетит и заставила содрогнуться всякого, кто обладал бы менее мужественным сердцем и более слабыми нервами, нежели ритмейстер Дугалд Дальгетти, драмсуэкитский дворянин без поместья.

Глава XII

Он все презрел — и нравы и законы, —
Сей наглый ум, для черных дел рожденный,
Неутомимый, злой, благопристойный,
У власти — зверь, в опале — беспокойный.

«Авессалон и Ахитофель»¹

Селение Инверэри, ныне чистенький провинциальный городок, в те времена жалким видом своих домишек и хаотическим расположением немощеных улиц вполне отвечал характеру сурового семнадцатого столетия.

Но еще более страшную черту той эпохи являла собой довольно просторная, неправильной формы базарная площадь, расположенная на полпути между пристанью и грозными воротами замка с его мрачным порталом, подъемными решетками и боковыми башнями. Посередине площади стояла грубо сколоченная виселица, на которой болталось пять мертвецов, из коих двое, судя по одежде, были уроженцами Нижней Шотландии; трое остальных были закутаны в национальные пледы горцев Верхней Шотландии. Две-три женщины сидели у подножия виселицы и, видимо, оплакивали покойников, вполголоса распевая поминальные молитвы. Впрочем, зрелище это было, очевидно, столь обычным, что не привлекало внимания местных жителей, ибо, столпившись вокруг капитана Дальгетти, они с любопытством рассматривали его воинственную фигуру, блестящие доспехи, рослого коня и даже не оглядывались на виселицу, украшавшую базарную площадь их селения.

Посланец Монтроза отнесся к делу не столь равнодушно, и, услышав два-три слова, произнесенных по-английски одним из горцев довольно миролюбивого вида, он тотчас же осадил Густава и обратился к горцу:

— Я вижу, у вас тут поработал начальник военной полиции. Не скажешь ли ты мне, за что казнены эти преступники?

¹ Перевод И. Миримского.

Говоря это, Дальгетти взглянул на виселицу, и горец, поняв вопрос скорее по выражению его лица, нежели по произнесенным словам, тотчас же ответил:

— Трое — горцы-разбойники, мир праху их! — Тут он перекрестился. — А двое — с предгорья; чем-то они прогневили Мак-Каллумора, — и, с равнодушным видом отвернувшись от Дальгетти, пошел прочь, не дожидаясь дальнейших расспросов.

Дальгетти пожал плечами и поехал дальше, тем более что десятиюродный брат сэра Дункана Кэмбела начал проявлять признаки нетерпения.

У ворот замка его ожидало другое, не менее страшное свидетельство феодальной власти. За частоколом, или палисадом, возведенным, по-видимому, совсем недавно в качестве дополнительного укрепления ворот, защищенных с обеих сторон двумя пушками мелкого калибра, было небольшое огороженное место; посреди него стояла плаха, а на ней лежал топор. То и другое было залито свежей кровью, а рассыпанные кругом опилки отчасти изобличали, отчасти скрывали следы недавней казни.

В то время как Дальгетти смотрел на это новое доказательство жестокости, начальник конвоя внезапно дернул его за полу кожаной куртки, чтобы привлечь его внимание, и указал пальцем и кивком головы на высокий шест, на котором торчала человеческая голова, принадлежавшая, несомненно, казненному. Злобная усмешка, скользнувшая по лицу горца в то время, как он указывал на это ужасное зрелище, не предвещала ничего хорошего.

Дальгетти спешил к воротам замка, и Густава тотчас увели, не позволив капитану лично проводить его до конюшни, как он к тому привык.

Это устрасило храброго воина гораздо больше, чем вид орудий насильственной смерти.

«Бедный Густав! — подумал он про себя. — Если со мной случится недоброе, то уж лучше бы я оставил его в Дарнлинварахе, а не брал с собой к этим дикарям, которые едва умеют отличить голову лошади от ее хвоста. Но иногда долг заставляет человека расставаться с самым для него близким и дорогим...

Пусть ядра грохочут, гремит канонада,
Вы смерти не бойтесь, вам слава — награда.
Исполним же долг свой, добудем победу
Святой нашей вере и славному шведу!»

Усыпив до некоторой степени свои опасения заключительной строфой военной песни, капитан последовал за своим проводником в кордегардию замка, где толпились вооруженные горцы. Его предупредили, что он должен оставаться здесь, пока о его прибытии не будет доложено маркизу. Чтобы придать своему сообщению больше веса, отважный капитан передал начальнику конвоя пакет от сэра Дункана Кэмбела, пытаясь как можно лучше разъяснить ему знаками, что пакет должен быть вручен маркизу в собственные руки. Тот кивнул головой и удалился.

Капитан провел около получаса в кордегардии, где он вынужден был либо с презрением отворачиваться, либо дерзко отвечать на пытливые и вместе с тем враждебные взгляды вооруженных гэлов, у которых его внешность и воинские доспехи вызывали любопытство, так же как его личность и происхождение — явную ненависть. Все это капитан переносил с чисто военным хладнокровием, пока, по истечении указанного выше срока, не появился человек, одетый в черное бархатное платье, с золотой цепью на шее — наподобие современного эдинбургского судьи; но это был всего-навсего дворецкий маркиза. Войдя в комнату, он почтительно и торжественно пригласил капитана последовать за ним, чтобы предстать перед его господином.

В покоях, через которые им пришлось проходить, толпились слуги и гости разного чина и звания — вероятно, приглашенные умышленно, дабы ослепить посланника Монтроза и дать ему почувствовать, сколь велико могущество и великолепие дома Аргайлов по сравнению с соперничающим с ним домом Монтрозов. В одном из залов было полно лакеев в коричнево-желтых ливреях — то были цвета дома Аргайлов; выстроившись шпалерами, они безмолвно глядели на проходившего мимо них капитана Дальгетти.

В другом зале собрались знатные горцы и представители младших ветвей кланов; они развлекались игрой в шахматы, в триктрак и в другие игры, едва отрываясь, чтобы бросить любопытный взгляд на незнакомца. Третий зал был полон дворян из предгорья и военных, состоявших, по-видимому, при особе маркиза, и, наконец, в четвертом — аудиенц-зале — находился сам маркиз, окруженный почетной стражей, свидетельствовавшей о его высоком звании.

Этот зал, двойные двери которого распахнулись, чтобы пропустить капитана Дальгетти, представлял собой длинную галерею со сводчатым потолком над открытыми стропилами, балки которых были богато украшены резьбой и позолотой; стены были увешаны гобеленами и фамильными портретами. Галерею освещали стрельчатые готические окна с массивным переплетом в виде колонок и с цветными стеклами, пропускавшими тусклый свет сквозь нарисованные кабаньи головы, галеры, палицы и мечи, являвшие собой геральдические знаки могущественного дома Аргайлов и эмблемы почетных наследственных должностей — верховного судьи Шотландии и камергера королевского двора, издревле занимаемых членами этого рода. В верхнем конце великолепной галереи стоял сам маркиз, окруженный пышной толпой северных и южных дворян, среди которых находилось два-три духовных лица, приглашенных, вероятно, для того, чтобы они могли воочию убедиться в приверженности его светлости к пресвитерианству.

Сам маркиз был одет по моде того времени, неоднократно запечатленной на портретах Ван-Дейка. Но одежда маркиза была строга и однотонна и скорее богата, нежели нарядна. Его смуглое лицо, изборожденный морщинами лоб и потупленный взор придавали ему вид человека, постоянно погруженного в размышления о важных государственных делах и в силу этой привычки сохранявшего многозначительное и таинственное выражение, даже когда ему нечего было скрывать. Его косоглазие, которому он был обязан своим прозвищем — Джилспай Грумах, было менее заметно, когда он смотрел вниз, что и явилось,

вероятно, одной из причин, почему он редко поднимал глаза. Он был высок ростом и очень худ, но держался с величавым достоинством, как это подобало его высокому положению. Была какая-то холодность в его обращении и что-то зловещее во взгляде, хотя он и говорил и вел себя с обычной учтивостью людей своего круга. Он был кумиром своего клана, возвышению которого много способствовал; но в той же мере его ненавидели горцы других кланов, ибо одних он уже успел обобрать, другие опасались его будущих посягательств на их владения, и все трепетали перед его все возрастающим могуществом.

Мы уже упоминали о том, что, появившись среди своих советников, чинов своего двора и пышной свиты своих вассалов, союзников и подчиненных, маркиз Аргайл, вероятно, рассчитывал произвести сильнейшее впечатление на капитана Дугалда Дальгетти. Но сей доблестный муж подвизался на военном поприще в Германии в эпоху Тридцатилетней войны, а в те времена отважный и преуспевающий воин был равней великим мира сего. Шведский король и, по его примеру, даже надменные немецкие князья нередко смиряли свою гордость и, не будучи в состоянии удовлетворить денежные требования своих воинов, задабривали их всяческими привилегиями и знаками внимания. Капитан Дугалд Дальгетти мог с полным правом похвастать тем, что на пирах, задаваемых в честь монархов, ему не раз доводилось сидеть рядом с коронованными особами, и поэтому его трудно было смутить и удивить даже такой пышностью, какой окружил себя Мак-Каллумор. Капитан по своей натуре отнюдь не отличался скромностью — напротив, он был столь высокого о себе мнения, что, в какую бы компанию он ни попал, самоуверенность его возрастала соответственно окружающей обстановке, и он чувствовал себя столь же непринужденно в самом высшем обществе, как и среди своих обычных приятелей. Его высокое мнение о своей особе в значительной степени зиждилось на его благоговении перед воинским званием, которое — по его словам — ставило доблестного воина на одну доску с императором.

Поэтому, будучи введен в аудиенц-зал маркиза, он скорее развязно, нежели учтиво, направился в верхний конец галереи и подошел бы вплотную к Аргайлу, если бы тот движением руки не остановил его. Капитан Дальгетти повиновался, небрежно отдал честь и обратился к маркизу:

— Доброе утро, милорд! Или, точнее говоря, — добрый вечер! *Beso a usted las manos*,¹ как говорят испанцы.

— Кто вы такой, сэр, и что вам здесь нужно? — спросил маркиз ледяным тоном, чтобы положить конец оскорбительной фамильярности капитана.

— Вот это прямой вопрос, милорд, — сказал Дальгетти, — на который я отвечу, как подобает благородному воину, и притом *peremptorie*,² как говорилось у нас в эбердинском духовном училище.

— Узнай, кто он и зачем он здесь, Нийл, — угрюмо произнес маркиз, — обращаясь к одному из дворян.

— Я избавлю почтенного джентльмена от труда наводить справки, — сказал посланец Монтроза. — Я Дугалд Дальгетти, владелец Драмсуэжита, бывший ритмейстер в различных войсках, а ныне майор какого-то там ирландского полка. Прибыл же я сюда в качестве парламентаря от имени высокородного и могущественного лорда, графа Джеймса Монтроза, и от других знатных особ, поднявших оружие во славу его величества. Итак, да здравствует король Карл!

— Вы, очевидно, не знаете, где вы находитесь и какой опасности подвергаетесь, позволяя себе шутить с нами, — снова обратился к нему маркиз, — если так отвечаете мне, будто я малое дитя или глупец! Граф Монтроз заодно с английскими мятежниками; и я подозреваю, что вы один из тех ирландских бродяг, которые явились в нашу страну, чтобы огнем и мечом разорить ее, как это делалось и раньше под предводительством сэра Фелима О'Нейла.

— Милорд, — возразил капитан Дальгетти, — я отнюдь не бродяга, хоть и майор ирландского полка;

¹ Целую ваши руки (*исп.*).

² Вполне определенно (*лат.*).

это могут засвидетельствовать непобедимый Густав Адольф, этот Северный Лев, Банер, Оксеншьерн, блестящий герцог Саксен-Веймарский, Тилли, Валленштейн, Пикколомини и другие великие полководцы, как почившие, так и ныне здравствующие; а что касается благородного графа Монтроза, прошу вашу светлость прочесть вот эту верительную грамоту, дающую мне полномочия вести с вами переговоры от имени достопочтенного военачальника.

Маркиз мельком взглянул на документ за подписью и печатью Монтроза, который капитан Дальгетти вручил ему, и, с презрением бросив его на стол, обратился к окружающим с вопросом: чего заслуживает тот, кто открыто признает себя посланником и доверенным лицом низких предателей, поднявших оружие против государства?

— Высокой виселицы и короткой расправы, — таков был готовый ответ одного из придворных.

— Я попросил бы почтенного дворянина, только что высказавшего свое мнение, не слишком торопиться с заключениями, — сказал Дальгетти, — а вашу светлость — быть осмотрительнее при утверждении подобных приговоров, памятуя, что таковые могут быть вынесены лишь людям низших сословий, а не храбрым воинам, которые по долгу службы подвергают свою жизнь опасности при исполнении обязанностей парламентаря так же неизбежно, как во время осады, атаки и в битвах всякого рода. И хотя при мне нет ни трубача, ни белого флага, по той причине, что наша армия еще не имеет необходимого снаряжения, тем не менее почтенные дворяне и вы, ваша светлость, должны согласиться со мной, что неприкосновенность посла, явившегося для мирных переговоров, ограждается не трубным гласом, который есть лишь звук пустой, или белым флагом, который сам по себе не что иное, как старая тряпка, — а доверием посланного и самого посланного к чести тех, кому направлено послание, и убеждением, что в лице посла будут уважены как *jus gentium*,¹ так и правила войны.

¹ Международное право (лат.).

— Вы здесь не для того, чтобы учить нас правилам войны, — промолвил маркиз, — которые не могут и не должны быть применены к бунтовщикам и мятежникам, а для того, чтобы понести должное наказание за дерзость и глупость, побудившие вас доставить коварное послание верховному судье Шотландского королевства, который обязан за это преступление предать вас смертной казни

— Господа, — обратился к окружающим капитан Дальгетти, которому весьма мало нравился такой оборот дела, — прошу вас не забывать, что вам придется отвечать жизнью и имуществом перед графом Монтрозом за малейший ущерб, нанесенный мне или моему коню вследствие такого неслыханного образа действий, и что он будет вправе отомстить вам, посягнув на вашу жизнь и на ваше имущество.

Эта угроза была встречена презрительным смехом, а один из Кэмбелов заметил: «Далеко отсюда до Лохоу», что было излюбленной поговоркой их клана и означало, что их старинные наследственные владения недостижимы для вражеского нашествия.

— Однако, господа, — продолжал злополучный капитан, отнюдь не желавший быть приговоренным без суда и следствия, — хоть и не мне решать, далеко ли отсюда до Лохоу, поскольку я чужой человек в этих краях, но, что гораздо ближе к делу, я надеюсь, вы примете во внимание, что за мою неприкосновенность ручался своим честным словом благородный дворянин вашего собственного клана — сэр Дункан Кэмбел Арденвор. И прошу вас не забывать, что, посягнув на мою неприкосновенность, вы тем самым покроете позором его честное и благородное имя!

Это заявление оказалось, по-видимому, совершенно неожиданным для большинства присутствующих, ибо они начали перешептываться между собой, а лицо маркиза, несмотря на его умение скрывать свои чувства, выразило нетерпение и досаду.

— Правда ли, что сэр Дункан Арденвор поручился своей честью за неприкосновенность этого человека, милорд? — спросил один из Кэмбелов, обращаясь к маркизу.

— Я этому не верю, — отвечал маркиз, — впрочем, я еще не успел прочесть его письмо.

— Мы просим вашу светлость сделать это, — заметил другой член клана Кэмбелов. — Наше доброе имя не должно быть запятнано из-за этого приятеля.

— Ложка дегтя может испортить бочку меда, — промолвил один из пасторов

— Ваше преподобие, — обратился к нему капитан Дальгетти, — так как ваше замечание может послужить мне на пользу, я охотно прощаю вам ваше неслестное сравнение; я также охотно извиняю джентльмена в красной шапке, назвавшего меня приятелем, вероятно, с целью меня оскорбить. Я не позволил бы так величать себя, если бы неоднократно не слышал обращения «друг-приятель» от своих собратьев по оружию — великого Густава Адольфа, этого Северного Льва, и других прославленных полководцев как в Германии, так и в Нидерландах. Что касается поручительства сэра Дункана Кэмбела, я готов прозакладывать свою голову, что он завтра же подтвердит мои слова, как только прибудет сюда.

— Если, в самом деле, ожидается скорое прибытие сэра Дункана, милорд, — сказал один из заступников капитана, — было бы жаль раньше времени предрешать судьбу этого бедняги.

— И, кроме того, — подхватил другой, — да простит мне ваша светлость мое почтительное вмешательство, — вам все же следовало бы ознакомиться с содержанием письма рыцаря Арденвора и узнать, на каких условиях он прислал сюда этого майора Дальгетти, как он себя именует.

Все столпились вокруг маркиза и вполголоса совещались между собой, то по-английски, то на гэльском языке. Патриархальная власть предводителей кланов была очень велика, а власть маркиза Аргайла, облеченного всеми наследственными правами блюстителя правосудия, была неограниченна. Но и в самом деспотическом правлении бывают сдерживающие обстоятельства того или иного порядка. Таким сдерживающим обстоятельством, полагающим предел произволу кельтских вождей, была необходимость убла-

жать своих родичей, которые командовали боевыми отрядами своих кланов во время войны и составляли нечто вроде родового совета в мирное время. Сейчас маркиз счел нужным прислушаться к доводам своего сената или, точнее, старейшин клана Кэмбелов и, выступив из окружавшей его толпы, отдал приказание отвести пленника в надежное место.

— Пленника?! — воскликнул Дальгетти, изо всех сил пытаясь отбиться от двух горцев, которые уже несколько минут как подошли к нему сзади вплотную и только ждали приказа, чтобы схватить его. Капитан действовал так энергично, что едва не очутился на свободе, и маркиз Аргайл, изменившись в лице, отступил на шаг и схватился за рукоятку своей шпаги, а несколько членов его клана самоотверженно бросились между ним и пленником, который мог на него напасть. Однако горцы оказались сильнее и, обезоружив несчастного капитана, поволокли его по длинным и мрачным переходам, пока не достигли низкой боковой двери, окованной железом, за которой находилась вторая — деревянная. Старый угрюмый горец с длинной седой бородой отпер одну за другой обе двери, за которыми обнаружилась очень узкая и крутая лестница, ведущая вниз. Стража столкнула капитана с первых ступенек и, отпустив его, предоставила ему ощупью добираться вниз; это оказалось довольно трудной и даже опасной задачей, ибо, после того как обе двери захлопнулись, пленник остался в полной темноте.

Глава XIII

Кто б ни явился в этот храм,
Достоин сожаленья,
Когда, смирясь, не склонит там
Пред господом колени.

*Бернс, «Эпиграмма
на посещение Инверэри»*

Итак, оставшись в потемках и очутившись в довольно неопределенном положении, капитан Дальгетти со всеми возможными предосторожностями начал

спускаться вниз, надеясь в конце лестницы найти место, где можно было бы отдохнуть. Но, несмотря на всю свою осмотрительность, он все-таки оступился и последние четыре-пять ступеней миновал столь стремительно, что едва удержался на ногах. А в конце лестницы он споткнулся о какой-то мягкий тюк, который при этом пошевелился и застонал, отчего капитан окончательно потерял равновесие; сделав еще несколько неверных шагов, он упал на четвереньки на каменный пол сырого подземелья.

Придя в себя, капитан Дальгетти прежде всего пожелал узнать, на кого он наткнулся.

— Еще месяц тому назад это был человек, — отвечал глухой, надтреснутый голос.

— А кто же он теперь, — спросил Дальгетти, — если считает приличным, свернувшись в клубок, укладываться на последней ступеньке лестницы, так что благородный воин, попавший в беду, рискует разбить себе нос по его милости?

— Кто он теперь? — отвечал тот же голос. — Теперь он жалкий ствол, у которого одну за другой обрубили все ветви и которому все равно, когда его самого вырвут с корнем и расколуют на поленья для печки.

— Друг мой, — сказал Дальгетти, — мне жаль тебя, но *расіencia!*¹ — как говорят испанцы. Однако, если бы ты не лежал здесь бревном, как ты себя величаешь, я не ободрал бы себе кожу на руках и коленях.

— Ты воин, — отвечал ему друг по несчастью, — а жалуешься на ушибы, о которых мальчишка не стал бы тужить!

— Воин? — повторил капитан. — А как ты узнал в этой чертовой темноте, что я воин?

— Я слышал звон твоих доспехов, когда ты падал, — отвечал узник, — а теперь вижу, как они блещут. Когда ты насидишься в темноте так долго, как я, глаза твои привыкнут различать самую маленькую ящерицу, ползающую по полу.

¹ Терпение (*исп.*).

— Лучше бы уж черт их выколол! — воскликнул Дальгетти. — Коли на то пошло, я предпочел бы веревку на шею, краткую солдатскую молитву и прыжок с лестницы. Однако скажи мне, собрат по несчастью, каков здесь провиант? Чем тебя тут кормят?

— Хлеб да вода один раз в день, — отвечал голос.

— Сделай милость, дружище, дай мне отведать твоего хлеба, — сказал Дальгетти. — Надеюсь, мы будем добрыми друзьями, сидя вместе в этой отвратительной дыре.

— Хлеб и кувшин с водой там в углу, — отвечал узник, — направо, в двух шагах от тебя. Возьми и ешь на здоровье. Мне земная пища уже не нужна.

Не дожидаясь вторичного приглашения, Дальгетти ошупью нашел провизию и принялся жевать черствую овсяную лепешку с не меньшим аппетитом, чем, как нам известно, он уплетал самые изысканные блюда.

— Этот хлеб, — бормотал он с набитым ртом, — не слишком вкусен; впрочем, он лишь немногим хуже того, который мы ели во время знаменитой осады Вербена, когда доблестный Густав Адольф расстроил все замыслы славного Тилли, этого грозного, закаленного в боях старца, прогнавшего с поля сражения двух королей, а именно — Фердинанда Богемского и Христиана Датского. А что касается воды, то хоть она и не отличается свежестью, я все же выпью за твое быстрое освобождение, дружище, не забывая и о своем собственном, и искренне сожалею о том, что это не рейнское вино или не пенистое любекское пиво, что более пристало бы для подобного тоста.

Болтая таким образом, Дальгетти в то же время усердно работал челюстями и быстро уничтожил провизию, которую великодушные или, вернее, равнодушные его товарища по несчастью предоставило его ненасытному желудку. Покончив с этим, капитан завернулся в свой плащ и, усевшись в углу подземелья, где он мог одновременно прислониться к двум стенкам (ибо, не преминул он заметить, с юных лет имел пристрастие к удобным креслам), принялся расспрашивать своего сотоварища по заключению.

— Почтенный друг мой, — начал капитан, — так как мы с тобою сейчас сожители, то нужно нам поближе познакомиться. Я Дугалд Дальгетти, владелец Драмсуэзита и прочая; служу в чине майора в полку верноподданных ирландцев и являюсь чрезвычайным послом высокородного и могущественного лорда, графа Джеймса Монтроза. Прошу тебя теперь назвать свое имя.

— Тебе от этого не станет легче, — отвечал его менее говорливый собеседник.

— Предоставь мне самому судить об этом, — возразил капитан.

— Ну так знай: меня зовут Раналд Мак-Иф, что значит: Раналд Сын Тумана.

— Сын Тумана! — воскликнул Дальгетти. — Я бы сказал — сын непроглядного мрака. Ну, Раналд, — коли таково твое имя, — как же ты попал в лапы правосудия? Проще говоря, какой черт тебя сюда занес?

— Мои несчастья и мои преступления, — отвечал Раналд. — Знаешь ли ты рыцаря Арденвора?

— Знаю этого почтенного мужа, — сказал Дальгетти.

— А не знаешь ли ты, где он сейчас? — спросил Раналд.

— Сегодня он постится в Арденворе, — отвечал чрезвычайный посол, — чтобы иметь возможность пировать завтра в Инверэри. Если же он почему-либо не осуществит своего намерения, мое дальнейшее пребывание на земле станет несколько сомнительным.

— Так передай ему, что его злейший враг и в то же время его лучший друг просит его заступничества, — промолвил Раналд.

— Откровенно говоря, я желал бы передать ему менее двусмысленную просьбу, — возразил Дальгетти. — Сэр Дункан не большой любитель разгадывать загадки.

— Трусливый сакс! — воскликнул узник. — Скажи ему, что я тот ворон, который пятнадцать лет тому назад налетел на его укрепленное гнездо и растерзал его потомство... Я тот охотник, который отыскал

волчье логово на скале и задушил всех волчат... Я предводитель той шайки, которая, день в день, ровно пятнадцать лет тому назад напала врасплох на его замок Арденвор и предала мечу четверых его детей.

— Поистине, мой почтенный друг, коли таковы твои заслуги, которыми ты думаешь снискать милость сэра Дункана, то я предпочел бы умолчать о них, ибо я имел случаи наблюдать, что даже неразумные твари питают злобу к тем, кто причиняет вред их детенышам, — а тем более человек и христианин никогда не простит насилия, совершенного над членами его семейства! Но будь так любезен, скажи мне, с какой стороны ты произвел нападение на замок? Уж не с того ли холма, называемого Драмснэб, который я считаю самым подходящим местом для атаки, если он не будет защищен возведенным на нем фортом?

— Мы влезли на скалу по лестницам, сплетенным из ивовых ветвей и молодых побегов, — сказал узник, — которые спустил нам наш сообщник, член нашего клана: полгода прослужил он в замке для того, чтобы в ту ночь упиться сладостью мщения. Сова ухала над нами, пока мы висели между небом и землей; морской прибой бушевал у подножия скалы, разбив в щепы наш челн; но ни один из нас не дрогнул. Наутро лишь кровь и пепел остались там, где еще накануне царили мир и довольство.

— Славная ночная атака, что и говорить, Раналд Мак-Иф! Хорошо задумано и достойным образом выполнено... Тем не менее я начал бы натиск со стороны небольшого возвышения под названием Драмснэб. Но ведь вы ведете беспорядочную войну, на скифский лад, дружище Раналд; вы воюете примерно как турки, татары и другие азиатские народы. А какова же причина, каков был повод к этой войне, так сказать *terribilis causa*?¹ Объясни мне, пожалуйста, Раналд.

— Род Мак-Олей и другие западные кланы так сильно притесняли нас, что нам стало небезопасно оставаться на своих землях.

¹ Омерзительнейшая причина (лат.).

— Ага! — заметил Дальгетти. — Я уже как будто кое-что слышал об этих делах. Не вы ли воткнули хлеб с сыром в рот человеку, у которого уже не было желудка, чтобы его переварить?

— Значит, ты слышал о том, как мы отомстили надменному лесничему?

— Помнится, что-то слышал, — отвечал Дальгетти, — и притом совсем недавно. Веселая это была шутка — набить хлебом рот покойнику, но, пожалуй, уж слишком грубая и дикая, по понятиям цивилизованных людей, не говоря уж о бесполезном расходовании съестных припасов. Не раз случалось мне видеть, друг Раналд, как во время осады или блокады живой солдат был бы счастлив получить ту корку хлеба, которую ты, Раналд, потратил зря, всунув ее в зубы мертвецу.

— Сэр Дункан напал на нас, — продолжал Мак-Иф. — Брат мой был убит, его голова торчала на зубчатой стене, через которую мы лезли... Я поклялся отомстить, а такой клятвы я еще никогда не нарушал.

— Так-то оно так, — отвечал Дальгетти, — и каждый истый воин согласится с тобой, что нет ничего слаще мщения; но мне что-то невдомек: каким образом вся эта история может побудить сэра Дункана вступить за тебя? Разве что он попросит маркиза изменить способ твоей казни: не просто повесить тебя, подтянув за шею, а сначала колесовать и переломать тебе кости лемехом плуга или умертвить при помощи какой-нибудь еще более жестокой пытки. Был бы я на твоём месте, Раналд, я бы не напоминал о себе сэру Дункану и, сохранив про себя свою тайну, попросту дал бы вздернуть себя, как это делали твои предки.

— Выслушай меня, чужестранец! — сказал горец. — У сэра Дункана, рыцаря Арденворского, было четверо детей. Трое из них погибли под ударами наших кинжалов, но четвертый остался жив. И дорого бы дал старик, чтобы покачать на коленях это оставшееся в живых дитя, вместо того чтобы ломать мои старые кости, которым все равно, как он утолит свою жажду мщения. Одно только слово, — если бы я захотел произнести его, — превратило бы день скорби

и поста в радостный день благодарения богу и преломления хлеба. О, я по себе это знаю! Стократ дороже мне мой Кеннет, который гоняется за бабочками на берегах Овена, нежели все десять моих сыновей, лежащие в сырой земле или питающие своими трупами хищных птиц.

— Я полагаю, Раналд, — заметил Дальгетти, — что те трое молодцов, которых я видел на базарной площади подвешенными за шею, наподобие вяленой трески, до некоторой степени знакомы тебе?

Последовало короткое молчание, прежде чем горец произнес в сильном волнении:

— То были мои сыновья, чужестранец, мои сыновья! Кровь от крови моей, кость от кости моей! Быстроногие, бьющие без промаха, непобедимые, пока Сыны Диармида не одолели их численностью! И зачем я стремлюсь пережить их? Старому стволу легче, когда выкорчевывают его корни, нежели когда падают обрубленные нежные ветви. Но Кеннет должен быть возвращен для мщенья... Старый орел должен научить орленка когтить своего врага. Ради него я готов выкупить свою жизнь и свободу, открыв мою тайну рыцарю Арденвору.

— Тебе легче будет этого достигнуть, — произнес третий голос, вмешиваясь в разговор, — если ты доверишь свою тайну мне.

Все горцы суеверны.

— Враг рода человеческого среди нас! — воскликнул Раналд Мак-Иф, вскакивая на ноги. Цепи загремели при его попытке отступить как можно дальше от того места, откуда раздался голос.

Страх его до некоторой степени передался капитану Дальгетти, который принялся повторять разноязычный запас заклинаний, когда-либо им слышанных, причем помнил он не более одного-двух слов из каждого.

— *In nomine domini!*¹ — как говорилось у нас в училище, *Santisima madre de Dios!*² — как это гам у

¹ Во имя господне (лат)

² Пресвятая мать божья (исп).

испанцев... Alle guten Geister loben den Herrn!¹ — сказано у святого псалмопевца, в переводе доктора Лютера.

— Полно вам причитать, — произнес тот же голос. — Хотя я и появился здесь несколько необычным образом, однако я такой же смертный, как и вы, и появление мое может быть для вас весьма полезным в вашем теперешнем положении, если вы не погнушаетесь выслушать мой совет.

При этих словах незнакомец слегка приоткрыл свой фонарь, и при слабом его свете капитану Дальгетти с трудом удалось рассмотреть, что собеседник, так таинственно присоединившийся к ним и вмешавшийся в их разговор, — человек высокого роста, в ливрейном плаще служителей маркиза. Прежде всего капитан взглянул на его ноги, но не увидел ни раздвоенного копыта, которое шотландские легенды приписывают черту, ни лошадиной подковы, по которой черта узнают в Германии. Несколько успокоившись, капитан спросил незнакомца, как он попал к ним.

— Ибо, — добавил он, — если бы вы воспользовались дверью, мы услышали бы скрип ржавых петель, а ежели вы пролезли сквозь замочную скважину, то, кем бы вы ни прикидывались, сэр, поистине вас невозможно причислить к полку живых.

— Это моя тайна, — отвечал незнакомец, — и я не раскрою ее вам, пока вы этого не заслужите, сообщив мне в обмен ваши тайны. Тогда, может быть, я сжалюсь над вами и выведу вас тем же путем, каким сам проник сюда.

— В таком случае это будет, конечно, не замочная скважина, — сказал капитан Дальгетти, — ибо мой панцирь застрял бы в ней, даже если предположить, что пролез бы шлем. Что касается тайны, то у меня лично нет никакой, да и чужих немного. Но поведайте нам, какие тайны хотелось бы вам услышать от нас, или, как обычно говорил профессор Снафлгрик в эбердинском духовном училище: «Выскажись, дабы я познал тебя».

¹ Всякое дыхание хвалит господа (нем.).

— До вас еще не дошла очередь, — отвечал незнакомец, наводя фонарь на изможденное, угрюмое лицо и высохшую фигуру старого горца, который, прижавшись к дальней стене подземелья, как будто все еще сомневался, точно ли перед ним живое существо.

— Я кое-что принес вам, друзья, — произнес незнакомец уже более дружелюбным тоном, — чтобы вы могли подкрепиться; если вам предстоит умереть завтра, это еще не причина, чтобы уже не жить сегодня вечером.

— Конечно, конечно, не причина! — подхватил капитан Дальгетти, немедленно принимаясь извлекать содержимое небольшой корзинки, которую незнакомец принес под своим плащом, в то время как горец, то ли от недоверия, то ли от гордости, не обратил никакого внимания на лакомые куски.

— За твоё здоровье, дружище! — провозгласил капитан, успевший покончить с огромным куском жареной козлятины и принявший теперь за флягу с вином. — А как твоё имя, любезный?

— Мардох Кэмбел, сэр, — отвечал слуга. — Я лакей маркиза, а при случае исполняю обязанности помощника дворецкого.

— Ну так еще раз — за твоё здоровье, Мардох! — сказал Дальгетти. — Именной тост в твою честь принесет тебе счастье! Если не ошибаюсь, это вино — калькавелла? Итак, почтеннейший Мардох, беру на себя смелость заявить, что ты заслуживаешь быть старшим дворецким, ибо ты выказал себя в двадцать раз более опытным, нежели твой хозяин, по части снабжения продовольствием честных джентльменов, попавших в беду. На хлеб и на воду — вот еще что выдумал! Этого было бы вполне достаточно, Мардох, чтобы пустить дурную славу о подземельях господина маркиза. Но я вижу, тебе хочется побеседовать с моим другом Раналдом Мак-Ифом. Не обращай на меня внимания — я удалюсь в уголок, забрав с собой эту корзиночку, и ручаюсь, мои челюсти будут так громко работать, что мои уши ничего не услышат.

Несмотря на такое обещание, brave воин, однако, постарался не пропустить ни слова из этой беседы, —

то есть, по его собственному выражению, он «настрожил уши, как Густав, когда тот слышит звук открываемого закрома с овсом». Благодаря тесноте подземелья ему удалось подслушать следующий разговор.

— Известно ли тебе, Сын Тумана, что ты выйдешь отсюда только для того, чтобы быть повешенным? — спросил Кэмбел.

— Те, кто мне всего дороже, уже совершили этот путь раньше меня, — отвечал Мак-Иф.

— Так, значит, ты ничего не хочешь сделать для того, чтобы избежать этого пути? — продолжал спрашивать посетитель.

Узник долго гремел своими цепями, прежде чем ответить на этот вопрос.

— Много готов я сделать, — промолвил он наконец, — но не ради спасения моей жизни, а ради того, кто остался в долине Стратхэвен.

— А что же бы ты сделал, чтобы отвлечь от себя сей страшный час? — снова спросил Мардох. — Мне все равно, по какой причине ты желал бы его избежать.

— Я сделал бы все, что может сделать человек, сохранив свое человеческое достоинство.

— Ты еще считаешь себя человеком, — сказал Мардох, — ты, совершавший деяния хищного волка?

— Да, — отвечал разбойник, — я такой же человек, какими были мои предки. Живя под покровом мира, мы были кротки, как агнцы; но вы сорвали этот покров и теперь называете нас волками? Верните нам наши хижины, сожженные вами, наших детей, умерщвленных вами, наших вдов, которых вы уморили голодом; соберите с виселиц и с шестов изуродованные трупы и побелевшие черепа наших родичей, верните их к жизни, дабы они могли благословить нас, — тогда, и только тогда, мы станем вашими вассалами и вашими братьями. А пока этого нет — пусть смерть, и кровь, и обоюдная вражда воздвигнут черную стену раздора между нами!..

— Итак, ты ничего не хочешь сделать, чтобы получить свободу? — повторил свой вопрос Мардох.

— Готов пойти на все, но никогда не назовусь другом вашего племени! — отвечал Мак-Иф.

— Мы гнушаемся дружбой грабителей и разбойников, — возразил Мардох, — и не унизились бы до нее. В обмен на твою свободу я требую от тебя одного: скажи, где дочь и наследница рыцаря Арденвора?

— Чтобы вы, по обычаю Сынов Диармида, обвенчали ее с каким-нибудь нищим родичем вашего господина? — промолвил Раналд. — Разве долина Гленорки до сего часа не взывает о мщении за насилие, совершенное над беззащитной девушкой, которую ее родные сопровождали ко двору государя? Разве ее провожатые не были вынуждены спрятать ее под котел, вокруг которого они сражались, пока все до одного не погибли на месте? И разве девушка не была доставлена в этот злосчастный замок и выдана замуж за брата Мак-Каллумора? И все это только из-за ее богатого наследства!¹

— Пусть это правда, — сказал Мардох. — Она заняла положение, которого сам король Шотландии не мог бы предоставить ей. Впрочем, это к делу не относится. Дочь сэра Дункана Арденвора — нашего рода, она не чужая нам; и кто, как не Мак-Каллумор, предводитель нашего клана, имеет право узнать о ее судьбе?

— Так ты от его имени вопрошаешь меня об этом? — спросил разбойник.

Слуга маркиза отвечал утвердительно.

— И вы не причините никакого зла этой девушке? Она и так уже достаточно пострадала по моей вине.

— Никакого зла, даю тебе слово христианина, — отвечал Мардох.

— И в награду мне будет дарована жизнь и свобода? — спросил Сын Тумана.

— Таково наше условие.

¹ Такое предание существует о наследнице клана Кэлдеров, которая была похищена так, как это описано выше, а затем выдана замуж за Дункана Кэмбела. От них пошел род кавдорских Кэмбелов. (Прим. автора)

— Так знай же, что девочка, которую я спас из жалости во время набега на укрепленный замок ее отца, воспитывалась у нас, как приемная дочь нашего племени, пока на нас не напал в ущелье Боллендатхил, этот дьявол во образе человека, наш заклятый враг Аллан Мак-Олей, по прозванию Кровавая Рука, вместе с леннокской конницей под предводительством наследника Ментейтов.

— Так, значит, она очутилась во власти Аллана Кровавой Руки, — промолвил Мардох, — она, считавшаяся дочерью твоего племени? Тогда, без сомнения, его кинжал обагрился ее кровью, и ты не сообщил мне ничего такого, что могло бы спасти твою жизнь.

— Если моя жизнь зависит только от ее жизни, — отвечал разбойник, — то я спасен, ибо она жива. Но мне грозит другая опасность — вероломство Сына Диармида.

— Это обещание не будет нарушено, — сказал Кэмбел, — если ты можешь поклясться, что она жива, и укажешь мне, где она находится.

— В замке Дарнлинварах, — отвечал Раналд Мак-Иф, — под именем Эннот Лайл. Я не раз слышал о ней от моих родичей, которые вновь посещают свои родные леса, и еще совсем недавно я видел ее своими собственными старыми глазами.

— Ты? — воскликнул Мардох в изумлении. — Как же ты, предводитель Сынов Тумана, решился приблизиться к дому твоего заклятого врага?

— Так знай же, Сын Диармида, — отвечал разбойник, — я сделал больше того — я был в зале замка, переодетый арфистом с пустынных берегов Скианакского озера. Я пришел туда с намерением вонзить кинжал в сердце Аллана Кровавой Руки, пред которым трепещет наше племя; а потом я предал бы себя в руки божии. Но я увидел Эннот Лайл в ту самую минуту, когда я уже схватился за кинжал. Она тронула струны арфы и запела одну из песен Сынов Тумана, которой выучилась, живя у нас. В этой песне я услышал шум наших зеленых дубрав, где в старину нам так привольно жилось, и журчание ручейков, светлые воды которых некогда радовали нас. Рука моя

замерла на рукоятке кинжала, глаза увлажнились слезами — и час жестокого мщения миновал. А теперь, Сын Диармида, скажи мне — разве я не уплатил выкупа за свою голову?

— Да, если только ты говоришь правду, — отвечал Мардох. — Но какие доказательства можешь ты привести?

— Да будут небо и земля свидетелями, — воскликнул разбойник, — он уже измышляет способ, как бы нарушить свое слово!

— Нет, — возразил Мардох, — все обещания будут выполнены, когда я буду уверен в том, что ты сказал мне правду... А сейчас мне нужно сказать еще несколько слов другому пленнику.

— Всегда и всюду — мягко стелют, да жестко спать, — проворчал узник, снова бросившись ничком на пол подземелья.

Между тем капитан Дальгетти, не проронивший ни одного слова во время этого разговора, делал про себя следующие замечания:

«Что нужно от меня этому хитрецу? У меня нет детей — ни своих, насколько мне известно, ни чужих, о которых я мог бы ему рассказывать сказки. Но пусть спрашивает — придется ему порядком попрыгать, прежде чем удастся зайти во фланг старому вояке».

И, словно солдат, готовящийся с пикой в руках защищать брешь в стене крепости, капитан весь подобрался в ожидании нападения — настороженно, но без страха.

— Вы гражданин мира, капитан Дальгетти, — начал Мардох Кэмбел, — и не можете не знать нашей старой шотландской поговорки: «Gif-gaf»,¹ которая к тому же существует у всех народов и во всех армиях.

— В таком случае я ее, наверно, слышал, — отвечал Дальгетти, — ибо, за исключением турок, почти нет такого монарха в Европе, в войсках которого я

¹ На староанглийском языке: *ka me ka thee* — то есть взаимная услуга. (Прим. автора)

бы не служил; я даже подумывал было, не поступить ли мне к Бетлену Габору или к янычарам.

— Как человек опытный и без предрассудков, вы, конечно, сразу меня поймете, — продолжал Мардох, — если я вам скажу, что ваше освобождение будет зависеть от вашего прямого и честного ответа на некоторые пустяковые вопросы, касающиеся благородных лордов, с которыми вы недавно расстались: в каком состоянии их армия? Какова численность их войск и род оружия? И что вам известно о плане предстоящей кампании?

— Только для того, чтобы удовлетворить твое любопытство? — спросил Дальгетти. — И без каких-либо иных целей?

— Без малейших! — отвечал Мардох. — Что нужды такому бедняге, как я, знать о планах их похода?

— Ну, так задавай вопросы, — сказал Дальгетти, — и я буду отвечать на них *regemptorie*.¹

— Много ли ирландцев идет на соединение с мятежником Монтрозом?

— Вероятно, тысяч десять, — отвечал капитан Дальгетти.

— Десять тысяч! — в сердцах воскликнул Мардох. — Нам известно, что в Арднамурахане высадилось не более двух тысяч.

— Стало быть, ты знаешь больше меня, — невозмутимо отвечал капитан Дальгетти, — а я еще не видал их в строю или хотя бы с оружием в руках.

— А сколько людей думают выставить кланы? — спросил Мардох.

— Сколько удастся собрать, — отвечал капитан.

— Вы, сударь, не отвечаете на мой вопрос, — заметил Мардох. — Говорите прямо — тысяч пять будет?

— Вероятно, что-нибудь в этом роде, — отвечал Дальгетти.

— Вы играете своей жизнью, сэр, если вздумали шутить со мной, — сказал Мардох. — Стоит мне свистнуть, и через десять минут ваша голова будет болтаться на подъемном мосту.

¹ Вполне определенно (лат.).

— Но скажите по чести, мистер Мардох, — заметил капитан, — разумно ли с вашей стороны расспрашивать меня о военных тайнах нашей армии, с которой я подрядился проделать весь поход? Если я научу вас, как разбить Монтроза, что станется с моим жалованьем, наградами и моей долей добычи?

— А я повторяю вам, — отвечал Кэмбел, — что если вы будете упрямитесь, то ваш поход начнется и кончится шествием на плаху, воздвигнутую у ворот замка нарочно для таких проходимцев, как вы. Если же вы будете честно отвечать на мои вопросы, я готов принять вас к себе... то есть к Мак-Каллумору на службу.

— А хорошо ли он платит? — спросил капитан Дальгетти.

— Он удвоит ваше жалованье, если вы согласитесь вернуться к Монтрозу и действовать там по его указаниям.

— Жаль, что я не познакомился с вами, сэр, прежде, чем договорился с ним, — произнес Дальгетти как бы в некотором раздумье.

— Напротив, теперь-то я и могу предложить вам более выгодные условия, — сказал Кэмбел, — конечно, если вы будете верным слугой.

— Верным слугою вам — значит изменником Монтрозу, — отвечал капитан.

— Верным слугою религии и порядка, — возразил Мардох, — а это оправдывает любой обман, к которому приходится прибегать.

— А что маркиз Аргайл, — я спрашиваю на тот случай, если бы вздумал перейти к нему на службу, — добрый ли он начальник? — спросил Дальгетти.

— Как нельзя лучше, — промолвил Кэмбел.

— И щедрый для своих офицеров? — продолжал капитан.

— Щедрее его нет человека в Шотландии, — отвечал Мардох.

— Честен и благороден в исполнении принятых на себя обязательств? — продолжал Дальгетти.

— Самый честный дворянин, какой только существует на свете! — заявил Мардох.

— Никогда еще не приходилось мне слышать о нем так много лестного, — заметил Дальгетти. — Вы, вероятно, с ним близко знакомы или, быть может, вы и есть маркиз? Лорд Аргайл, — внезапно воскликнул капитан, бросаясь на переодетого вельможу, — именем короля Карла, вы арестованы, как изменник! Если вы попытаетесь звать на помощь — я сверну вам шею!

Нападение капитана на маркиза было столь внезапно и неожиданно, что капитану удалось в один миг повалить его; одной рукой Дальгетти плотно прижал маркиза к полу подземелья, а другой схватил за горло, готовый задушить его при малейшей попытке позвать на помощь.

— Лорд Аргайл, — сказал капитан Дальгетти, — теперь моя очередь ставить условия капитуляции. Если вам будет угодно показать мне потайной ход, через который вы проникли сюда, я вас отпущу, при условии, что вы останетесь моим *locum tenens*¹ — как говорилось у нас в эбердинском училище, — пока ваш тюремщик не придет проведать своих узников. Если нет — я сначала задушу вас, — меня этому искусству научил один польский гайдук, бывший когда-то невольником в турецком серале, — а затем постараюсь найти способ выбраться отсюда.

— Негодяй! Не за мою ли доброту ты хочешь умертвить меня? — прохрипел Аргайл.

— Нет, не за вашу доброту, милорд, — отвечал Дальгетти, — но, во-первых, чтобы научить вашу светлость обращению с дворянином, который явился к вам, имея охранную грамоту, а во-вторых, чтобы предостеречь вас от опасности делать неблагоприятные предложения честному воину, в целях соблазнить его и подбить на то, чтобы до истечения срока изменить тому знамени, которому он в данное время служит.

— Пощади мою жизнь, — молвил Аргайл, — и я сделаю все, что ты хочешь.

Дальгетти, однако, продолжал держать маркиза за горло, слегка сжимая пальцы, когда задавал во-

¹ Заместителем (лат.).

прос, а потом отпуская их настолько, чтобы дать маркизу возможность ответить.

— Где находится потайная дверь? — спросил капитан.

— Подними фонарь, освети угол справа от себя — и ты увидишь железный щиток, прикрывающий пружину, — отвечал маркиз.

— Отлично. А куда ведет этот ход?

— В мой кабинет, где дверь скрыта гобеленом, — отвечал распростертый на полу вельможа.

— А как оттуда добраться до ворот?

— Через парадный зал, прихожую, лакейскую, кордегардию...

— И всюду полным-полно солдат, слуг и домочадцев? Нет, милорд, на это я не согласен. Разве у вас не имеется такого же потайного выхода к воротам, как сюда, в подземелье? Я видел таковые в Германии.

— Есть ход через часовню, — произнес маркиз, — прямо из моего кабинета.

— А какой нынче пароль для часовых?

— «Меч левита», — отвечал маркиз. — Но если ты согласишься моему честному слову, я пойду с тобой, проведу мимо часовых и дам тебе полную свободу, снабдив пропуском.

— Я еще мог бы поверить вам, милорд, если бы ваша шея не почернела от моих пальцев, а при таких обстоятельствах — *beso las manos a usted*, как говорят испанцы. Впрочем, пропуском вы можете меня снабдить. В вашем кабинете, вероятно, имеются письменные принадлежности?

— Конечно; и бланки для пропуска, которые остается только подписать. Я немедленно все для тебя сделаю, — сказал маркиз. — Идем!

— Слишком много чести для меня, — возразил Дальгетти. — Пусть уж лучше ваша светлость останется здесь под охраной моего почтенного приятеля Раналда Мак-Ифа; поэтому прошу вас, позвольте мне подтащить вас поближе к его цепям. Почтеннейший Раналд, ты сам видишь, как обстоят дела. Не сомневаюсь, что мне удастся выпустить тебя на свободу. А пока — делай так же, как я: возьми высокородного

и могущественного вельможу за глотку, запустив руку под воротник, — вот так; а если он вздумает сопротивляться или кричать — не стесняйся, друг мой Раналд, нажимай крепче; если же дело дойдет до *ad deliquium*, Раналд, то есть если он потеряет сознание, — то это не беда, принимая во внимание, что он и твою и мою глотку предназначил для более жестокой участи.

— Если он заговорит или начнет отбиваться, — сказал Раналд, — он умрет от моей руки.

— Правильно, Раналд, хорошо сказано! Догадливый приятель, понимающий тебя с полуслова, дороже золота.

Оставив, таким образом, маркиза на попечении своего нового союзника, Дальгетти нажал пружину, и потайная дверь немедленно распахнулась без малейшего шума — так хорошо были пригнаны и смазаны ее петли. Обратная сторона двери была снабжена весьма крепкими болтами и засовами, около которых висело несколько ключей, предназначенных, вероятно, для того, чтобы отмыкать замки на кандалах. Узкая лестница, поднимавшаяся в толще стены замка, кончалась, как и говорил маркиз, у двери его кабинета, замаскированной коврами. Подобные тайные ходы не были редкостью в старинных феодальных замках; они давали возможность владельцу крепости, как некогда Дионисию Сиракузскому, подслушивать разговоры своих пленников или, при желании, переодевшись, навещать их, как это имело место в настоящем случае, столь неудачно закончившемся для маркиза.

Предварительно просунув голову в дверь, чтобы убедиться, что путь свободен, капитан вошел в кабинет, поспешно взял один из лежавших на столе бланков, перо и чернильницу, мимоходом прихватил кинжал маркиза и шелковый шнур от портьеры и снова спустился по лестнице в подземелье. Прислушавшись у дверей темницы, он различил сдавленный голос маркиза, делавшего заманчивые предложения Раналду, в надежде получить от него разрешение поднять тревогу.

— Ни за целый лес с оленями, ни за тысячу голов скота, — отвечал разбойник, — ни за все угожья,

когда-либо принадлежавшие Сынам Диармида, не нарушу я слова, которое дал закованному в железо.

— Закованный в железо, — проговорил Дальгетти, входя, — премного тебе благодарен, Мак-Иф. А этот благородный лорд сейчас будет связан; но сначала мы заставим его подписать пропуск на имя майора Дугалда Дальгетти и его проводника — если он не хочет сам получить пропуск на тот свет.

При тусклом свете фонаря маркиз заполнил пропуск и скрепил его своей подписью, как ему указал капитан.

— А теперь, друг мой, — сказал Дальгетти, — скинь свою верхнюю одежду, то есть дай-ка сюда твой плед, Раналд. Я хочу завернуть в него Мак-Каллумора и превратить его на время в одного из Сынов Тумана. Нет, уж позвольте мне завернуть вас с головой, милорд, чтобы предотвратить возможность ваших неуместных криков... Вот так! Теперь он укутан на славу... Руки прочь, или, ей-богу, я всажу вам в сердце ваш же собственный кинжал! Вы будете связаны не более, не менее, как шелковым шнуром, милорд, как подобает вашему высокому званию!.. Ну, теперь он спокойно может лежать так, пока кто-нибудь не придет освободить его. Если он приказал подать нам поздний обед, Раналд, он же сам от этого пострадает... В котором часу, дружище Раналд, приходит обычно тюремщик?

— Не раньше, чем солнце склоняется к закату, — отвечал Мак-Иф.

— Итак, в нашем распоряжении целых три часа, — заметил предусмотрительный капитан. — Теперь приступим к твоему освобождению.

Прежде всего понадобилось осмотреть цепи, которыми был прикован Раналд. Их удалось отомкнуть одним из ключей, висевших за потайной дверью; вероятно, их вешали здесь на тот случай, если бы маркизу вздумалось лично, без помощи тюремщика, отпустить заключенного или перевести его в другое место. Разбойник потянулся, расправил онемевшие руки и вскочил на ноги, счастливый вновь обретенной свободой.

— Возьми ливрейный плащ этого благородного узника, — приказал капитан Дальгетти, — надень его и следуй за мной.

Разбойник повиновался. Они поднялись по потайной лестнице, предварительно заперев за собой дверь в подземелье, и благополучно добрались до кабинета маркиза.¹

Глава XIV

Таков был вход и лестница...

Куда же дальше?

Но кто уверен, что умрет на суше,
Пренебрегает компасом и картой,
Без штурмана вверяясь океану.

«Бренновальтская трагедия»²

— Поищи потайной выход через часовню, Раналд, — сказал капитан, — а я должен здесь просмотреть кое-что.

С этими словами он одной рукой схватил пачку самых секретных документов Аргайла, а другой — кошелек с золотом, лежавший вместе с бумагами в ящике массивного бюро, дверцы которого были гостеприимно растворены. Капитан не преминул воспользоваться и шпагой, и пистолетами с пороховницами и пулями, висевшими тут же на стене.

— Разведка и военная добыча, — сказал Дальгетти, засовывая в карманы захваченное добро. — Каждый честный воин должен позаботиться о первой — для своего начальника, о второй — для самого себя. Это шпага работы Андреа Феррара, а пистолеты, по-

¹ Ненадежное положение феодального дворянства породило целую систему шпионажа в их замках. Сэр Роберт Кэри рассказывает, что, переодевшись в платье одного из тюремщиков, он выслушал полную исповедь из уст своего узника Джорди Бурна, которого тут же велел повесить в награду за откровенное признание. В прекрасном замке Нзуорте имеется потайная лестница из покоев лорда Уильяма Говарда, по которой он мог спускаться в подземелье замка в точности так, как в этой главе спустился маркиз Аргайл. (*Прим. автора.*)

² Перевод Т. Казмичевой.

жалуй, лучше моих. Но честный обмен — не есть грабеж. Нельзя безнаказанно подвергать опасности воина, да еще совершенно безосновательно, милорд! Легче, легче, Раналд. Куда это ты собрался, мудрый Сын Тумана?

Было самое время приостановить решительные действия Мак-Ифа, ибо, не найдя достаточно быстро потайного хода и потеряв, по-видимому, всякое терпение, он сорвал со стены меч и щит и собрался идти прямо в парадный зал, с явным намерением так или иначе пробить себе дорогу сквозь все препятствия.

— Стой, пока жив! — шепнул ему на ухо Дальгетти, схватив его за плечо. — Нам нужно постараться не выдать себя. Прежде всего запрем эту дверь — как будто Мак-Каллумор пожелал уединиться в своем кабинете, — а затем я сам произведу рекогносцировку и отыщу потайной ход.

Заглядывая за висевшие на стенах ковры, капитан в конце концов обнаружил потайную дверь, а за ней коридор, после нескольких поворотов упиравшийся в другую дверь, которая, несомненно, вела в часовню. Но каково было изумление и неудовольствие капитана Дальгетти, когда по ту сторону двери он ясно услышал зычный голос пастора, произносившего проповедь.

— Так вот что заставило этого негодяя указать нам именно этот путь! — сказал капитан. — Не мешало бы вернуться и перерезать ему глотку.

Все же он тихонько отворил дверь, выходящую на маленькую галерею с высокой решеткой, которой, по-видимому, пользовался только сам маркиз; все занавеси были плотно задернуты — вероятно, для того, чтобы все думали, будто маркиз усердно молится, в то время как он занимался своими мирскими делами. В галерее никого не было, ибо по обычаю, существовавшему в знатных домах того времени, все семейство маркиза занимало другую галерею, несколько ниже той, которая предназначалась для владельца замка. Обследовав все это, капитан Дальгетти решил притаиться здесь, тщательно заперев за собой дверь.

Никогда еще — хотя, может быть, это и очень дерзкое предположение — проповедь не была выслушана с большим нетерпением и меньшим благочестием, чем на сей раз, — по крайней мере одним из присутствующих. С чувством, близким к отчаянию, капитан вынужден был слушать все эти «в шестнадцатых, в семнадцатых, в восемнадцатых» и «в заключение». Но даже поучение нельзя читать до бесконечности (ибо эти проповеди назывались поучениями), и пастор наконец умолк, не преминув отвесить глубокий поклон в сторону верхней галереи, отнюдь не подозревая, кого он почтительно приветствует. Судя по той поспешности, с какой все стали расходиться, домочадцы маркиза едва ли получили большее удовольствие от богослужения, нежели сгоравший от нетерпения капитан Дальгетти. Правда, большинство молящихся составляли горцы, не понимавшие ни единого слова из проповеди пастора; но, по особому приказанию Мак-Каллумора, все без исключения обитатели замка обязаны были присутствовать на богослужении и беспрекословно выполнили бы это приказание, даже если бы проповедником оказался турецкий имам.

Однако, после того как часовня мгновенно опустела, пастор еще долго расхаживал взад и вперед по готическим приделам, не то размышляя о только что произнесенной проповеди, не то обдумывая новое поучение для следующего раза. Как ни был отважен Дальгетти, он не мог сразу решить, что ему делать. Но время шло, и с каждой минутой увеличивалась опасность, что их бегство будет обнаружено тюремщиком, если ему вздумается посетить подземелье раньше обычного. В конце концов он шепотом приказал Раналду, следившему за каждым его движением, идти следом за ним, сохраняя полное спокойствие, и с принужденным видом спустился по лестнице, которая вела из галереи в часовню. Человек менее опытный, чем Дальгетти, попытался бы проскользнуть мимо достопочтенного пастора, в надежде, что тот его не заметит. Но капитан, предвидевший всю опасность в случае провала такой попытки, не спеша пошел прямо навстречу священнику и, обнажив голову, намеревался

с почтительным поклоном пройти мимо. Каково же было его удивление, когда, взглянув на проповедника, он узнал того самого духовника, с которым накануне обедал в замке Арденвор! Но он тут же нашелся и, прежде чем пастор успел открыть рот, обратился к нему первый.

— Я не мог, — сказал он, — покинуть этот дом, не высказав вам, ваше преподобие, мою смиренную благодарность за проповедь, которой вы сегодня осчастливили нас.

— Я не заметил вас в церкви, сэр, — возразил пастор.

— Его светлости маркизу было угодно почтить меня местом в его личной галерее, — скромно молвил Дальгетти.

Священник почтительно склонил голову, зная, что подобной чести удостаиваются только лица очень высокого звания.

— За время моей скитальческой жизни, — продолжал капитан, — мне доводилось неоднократно слушать проповедников различных вероисповеданий — лютеран, евангелистов, реформатов, кальвинистов и прочих, но никогда еще не слышал я проповеди, подобной вашей.

— Не проповеди, а поучения, достопочтенный сэр, — произнес пастор, — наша церковь называет это поучением.

— Как ни называй, — сказал Дальгетти, — во всяком случае, это было ganz fortre flich,¹ как говорят немцы; и я не могу уехать, не засвидетельствовав вам, как глубоко взволновала меня ваша душеспасительная проповедь и как я искренне раскаиваюсь в том, что вчера за вечерней трапезой я как будто не выказал достаточного уважения, подобающего вашей особе.

— Увы, достопочтенный сэр, — отвечал пастор, — в сем мире мы блуждаем, как тени в долине смерти, не зная, с кем нас может столкнуть судьба. Поистине, нет ничего удивительного, если мы подчас пренебре-

¹ Превосходно (нем., искаж.).

гаем теми, кому оказали бы глубокое уважение, знаем, с кем имеем дело. Вас я склонен был принимать скорее за безбожного приверженца короля, нежели за благочестивого человека, почитающего господа бога даже в лице ничтожнейшего слуги его.

— Таков уж мой обычай, ученейший муж! — отвечал Дальгетти. — Ибо, состоя на службе у бессмертного Густава Адольфа... Впрочем, я, кажется, отвлекаю вас от ваших благочестивых размышлений? — На сей раз затруднительные обстоятельства, в которых капитан очутился, победили в нем желание поговорить о шведском короле.

— Ничуть, достопочтенный сэр, — возразил пастор. — Позвольте вас спросить, каков был распорядок у этого великого государя, чья память так дорога каждому протестантскому сердцу?

— Утром и вечером барабан созывал нас на молитву, сэр, точно так же, как на перекличку; и если солдат проходил мимо капеллана, не поклонившись ему, то его на целый час сажали на деревянную кобылу. Позвольте, сэр, пожелать вам доброго вечера — я принужден покинуть замок, ибо пропуск мне уже вручен Мак-Каллумором.

— Подождите минутку, сэр! — остановил его проповедник. — Не могу ли я чем-нибудь засвидетельствовать мое глубокое уважение ученику великого Густава Адольфа и столь прекрасному ценителю благочестивого красноречия?

— Ничем, сэр, ничем, — отвечал капитан, — вот разве только попрошу вас указать мне ближайшую дорогу к воротам, да еще, раз уж вы так любезны, — присовокупил он с необыкновенной дерзостью, — не прикажете ли слуге подвести туда моего коня — темно-серого мерина; стоит только кликнуть: «Густав!» — и он насторожит уши. Сам я не знаю, где помещаются конюшни, а мой проводник, — добавил он, взглянув на Раналда, — не говорит по-английски.

— Спешу исполнить вашу просьбу и услужить вам, — сказал пастор. — А вам ближе всего будет пройти по этому сводчатому коридору.

«Да будет благословенно твое непомерное тщеславие! — подумал капитан. — А то я уже побаивался, что придется пуститься в путь без моего Густава».

И в самом деле, пастор проявил такое усердие ради столь превосходного ценителя благочестивого красноречия, что в то время как Дальгетти объяснялся с часовым у подъемного моста, предъявляя свой пропуск и сообщая пароль, слуга подвел ему коня, оседланного и готового к дальнейшему пути.

Во всяком другом месте внезапное появление капитана на свободе после того, как он на глазах у всех был отправлен в тюрьму, вызвало бы подозрение и повело к расспросам; но подчиненные и домочадцы маркиза привыкли к загадочным поступкам своего господина, и часовые попросту решили, что капитан был освобожден самим маркизом, давшим ему какое-нибудь тайное поручение. Поэтому, услышав от капитана условленный пароль, они беспрепятственно пропустили его.

Дальгетти медленно поехал по базарной площади городка Инверэри; Раналд, в качестве слуги, шел рядом с его лошадью. Проходя мимо виселицы, старик взглянул на болтавшиеся тела и в отчаянии заломил руки. И взгляд и движение были мгновенны, но в них отразилась глубокая скорбь. Быстро подавив волнение, Раналд на ходу шепнул что-то одной из женщин, которая, подобно Ресфе, дочери Аия, сторожила мертвые тела и оплакивала эти жертвы феодального произвола и жестокости. Женщина вздрогнула при звуке его голоса, но тотчас овладела собой и вместо ответа слегка наклонила голову.

Выехав из города, Дальгетти продолжал путь, раздумывая, следует ли ему попытаться захватить, либо нанять лодку, чтобы переправиться через озеро, или же лучше углубиться в лес и там скрываться от преследования? В первом случае он рисковал быть настигнутым немедленно: галеры маркиза с высокими реями, обращенными к подветренной стороне, стоявшие наготове у причала, отнимали у него всякую надежду уйти от них на обыкновенной рыбацкой лодке. Если же он решился бы на второе — то как найти про-

питание и надежное убежище в этом диком и незнакомом ему краю? Город остался позади, а капитан все еще не мог решить, где ему искать спасения, и начал подумывать, что, бежав из темницы инверэрского замка — что само по себе было поистине отчаянным поступком, — он выполнил лишь наиболее легкую часть своей трудной задачи. Если бы его теперь поймали, участь его была бы решена, ибо личное оскорбление, которое он нанес человеку столь могущественному и мстительному, могло быть искуплено только немедленной позорной смертью. Пока он предавался этим невеселым размышлениям и озирался вокруг в явной нерешительности, Раналд Мак-Иф внезапно спросил его, в какую сторону он намерен направиться?

— Вот в том-то и дело, мой почтенный попутчик, — отвечал Дальгетти, — я сам не знаю, что тебе на это ответить. Право же, Раналд, сдается мне, что лучше бы нам с тобой остаться в темнице на черном хлебе и воде до приезда сэра Дункана, который хотя бы уж ради собственной чести сумел бы выволить меня оттуда.

— Слушай меня, сакс! — отвечал Мак-Иф. — Не жалею, что променял смрадное дыхание темницы на свежий воздух под открытым небом. А главное, не раскаиваясь в том, что оказал услугу Сыну Тумана. Доверься мне, и я головой ручаюсь за твою безопасность.

— Можешь ты провести меня через эти горы и доставить обратно в армию Монтроза? — спросил Дальгетти.

— Могу, — отвечал Мак-Иф. — Нет никого, кто бы так хорошо знал эти горные проходы, пещеры, ущелья, заросли и дебри, как знает их любой из Сынов Тумана! В то время как другие ползают по долинам, вдоль берегов озер и рек, мы преодолеваем отвесные кручи в непроходимых горах и ущельях, откуда берут начало горные потоки. И никакая свора ищеек Аргайла не нападет на наш след в дремучей чаще, через которую я проведу тебя.

— Если так, дружище Раналд, то ступай вперед, — сказал Дальгетти, — ибо в этих водах я не берусь спасти корабль от гибели.

Итак, свернув в лес, простиравшийся на многие мили вокруг замка, разбойник пошел вперед столь стремительно, что Густав едва поспевал за ним крупной рысью, причем Раналд так часто менял направление, сворачивая то вправо, то влево, что капитан Дальгетти вскоре потерял всякое представление о том, где он находится и в какую сторону держит путь. Тропинка, постепенно становившаяся все уже, вдруг окончательно затерялась в зарослях и лесном молодняке. Вблизи слышен был рев горного потока, почва стала неровной, топкой, и ехать дальше оказалось совершенно невозможно.

— Черт побери! — воскликнул Дальгетти. — Что же теперь делать? Неужели мне придется расстаться с Густавом?

— Не беспокойся о своем коне, — сказал разбойник, — ты скоро получишь его обратно.

Он тихонько свистнул, и из чащи терновника, словно звереныш, выполз полуголый мальчик, еле прикрытый клетчатой тряпкой; густая шапка спутанных волос, подвязанных кожаным ремешком, служила ему единственной защитой от солнца и непогоды; он был ужасающе худ, и серые сверкающие глаза, казалось, занимали на его изможденном лице вдесятеро больше места, чем им полагалось.

— Отдай своего коня мальчику, — сказал Раналд Мак-Иф, — твое спасение зависит от этого.

— Ох-ох-ох! — воскликнул капитан в отчаянии. — Неужто я должен поручить Густава такому конюху?

— В своем ли ты уме, что тратишь время на разговоры! — сказал Раналд. — Мы ведь не на дружеской земле, чтобы на досуге прощаться с конем, точно с родным братом. Говорю тебе, ты получишь его обратно; но — даже если бы тебе суждено было никогда больше не увидеть этого мерина — разве твоя жизнь не дороже самого лучшего жеребца, когда-либо рожденного кобылой?

— Что правда, то правда, дружище, — вздохнув, согласился Дальгетти. — Но если бы ты только знал цену моему Густаву и все, что нам пришлось пережить и выстрадать вместе!.. Смотри, он поворачивает голову, чтобы еще раз взглянуть на меня! Будь с ним поласковее, мой славный голоштанник, а я уж тебя отблагодарю!

С этими словами, чуть не плача, капитан бросил горестный взгляд на Густава и последовал за своим проводником.

Однако это оказалось не так-то легко, и вскоре от Дальгетти потребовалась такая ловкость, на которую он не был способен. Прежде всего, как только капитан расстался со своим конем, ему пришлось, хватаясь за свисающие ветви и торчащие из земли корни, спуститься с высоты восьми футов в русло потока, по которому Сын Тумана повел его. Они карабкались через огромные камни, продирались сквозь заросли терновника и боярышника, взбирались и спускались по крутым склонам. Все эти препятствия и еще много других быстроногий и полуобнаженный горец преодолевал с проворством и ловкостью, возбуждавшими искреннее удивление и зависть капитана Дальгетти; он же, обремененный стальным шлемом, панцирем и другими доспехами, не говоря уж о тяжелых ботфортах, в конце концов настолько обессилел, что присел на камень перевести дух и начал объяснять Раналду Мак-Ифу разницу между путешествием *expeditus*¹ и *impeditus*,² как эти военные выражения толковались в эбердинском училище. Вместо ответа горец положил ему руки на плечо и указал назад, в ту сторону, откуда дул ветер. Дальгетти ничего не мог различить, ибо сумрак быстро надвигался, а они находились в это время на дне глубокого оврага. В конце концов Дальгетти явственно расслышал глухие удары большого колокола.

— Это, должно быть, набат, — сказал он, — *Sturm-glocke*, как говорят немцы.

¹ Налегке (*лат.*).

² С поклажей (*лат.*).

— Он возвещает час твоей смерти, — отвечал Раналд, — если ты помедлишь еще немного. Ибо каждый удар этого колокола стоит жизни честному человеку.

— Поистине, Раналд, мой верный друг, — сказал Дальгетти, — не стану отрицать, что таков может быть вскоре и мой собственный удел, ибо я совершенно выдохся (будучи, как я уже объяснял тебе, *impeditus*, ибо, будь я *exreditus*, пешее хождение не затруднило бы меня ни чуточки), и мне остается только залечь в этом кустарнике и спокойно ждать участи, уготованной мне небом. Убедительно прошу тебя, дружище Раналд, позаботься о самом себе, а меня предоставь моей судьбе, как сказал Северный Лев, бессмертный Густав Адольф, мой незабвенный начальник (о котором ты, наверно, слыхал, Раналд, если даже не слыхивал ни о ком другом), обращаясь к Францу Альберту, герцогу Саксен-Лауенбургскому, будучи смертельно ранен в сражении под Лютценом. К тому же не советую тебе терять окончательно надежду на мое спасение, Раналд, ибо я, воюя в Германии, попадал и не в такие переделки, особливо помню я случай во время злополучной битвы под Нерлингеном, после которой я перешел на другую службу.

— Хоть бы ты поберег дыхание сына твоего отца и не тратил понапрасну время на пустые рассказы! — прервал его Раналд, выведенный из терпения многословием капитана — Если бы твои ноги могли двигаться так же быстро, как твой язык, то еще можно было бы надеяться, что ты нынче ночью приклонишь голову на подушку, не орошенную твоей собственной кровью

— В твоих словах определенно чувствуется военная сноровка, — отвечал капитан, — хотя выражаешься ты слишком резко и непочтительно по отношению к офицеру в высоком чине. Но я склонен простить такую вольность во время похода, принимая во внимание, что в войсках всех народов мира допускаются послабления в подобных случаях. А теперь, мой друг Раналд, води меня дальше, ввиду того, что я немного отдышался, или, выражаясь более точно: *I прае*,

sequar,¹ как обычно говорилось у нас в эбердинском училище.

Догадавшись о намерении капитана скорее по его жестам, нежели поняв из его слов, Сын Тумана снова пустился в путь, безошибочно, словно инстинктивно, находя дорогу и уверенно ведя капитана вперед через самую непроходимую чащу, какую только можно себе представить. Едва передвигая ноги в тяжелых ботфортах, стесненный в своих движениях стальными набедренниками, рукавицами, нагрудником и кирасой, не считая толстого кожаного камзола, который был надет под всеми этими доспехами, разглагольствуя всю дорогу о своих прежних подвигах, — хотя Раналд и не обращал на его болтовню ни малейшего внимания, — капитан Дальгетти с трудом поспевал за своим проводником. Так они прошли значительное расстояние, как вдруг по ветру донесся до них громкий сиплый лай, каким охотничья собака дает знать, что она напала на след добычи.

— Окаянный пес, — воскликнул Раналд, — твоя глотка никогда не предвещала ничего доброго Сыну Тумана! Будь проклята сука, породившая тебя! Вот уже напала на наш след! Но поздно, подлая тварь, исчадь адаво: олень успел добраться до стада.

Раналд тихонько свистнул, и ему так же тихо ответили с вершины горного склона, по которому они поднимались. Ускорив шаг, они наконец достигли вершины, и капитан Дальгетти при ярком свете только что взошедшей луны увидел отряд из десяти — двенадцати горцев и примерно столько же женщин и детей, которые встретили Раналда Мак-Ифа бурными изъявлениями радости; капитан догадался, что окружавшие их люди были Сыны Тумана. Место, где они расположились, вполне соответствовало их прозвищу и их образу жизни. Это была нависшая над пропастью скала, вокруг которой вилась очень узкая тропинка, едва заметная с вершины.

Раналд быстро и взволнованно рассказывал что-то сынам своего племени, после чего мужчины один за

¹ Иди впереди, я последую за тобой (лат).

другим стали подходить к Дальгетти и пожимать ему руку, а женщины теснились вокруг него, шумно выражая свою благодарность и чуть ли не целуя край его одежды.

— Они клянутся тебе в верности, — сказал капитану Раналд Мак-Иф, — в благодарность за добро, которое ты нынче сделал нам.

— Довольно об этом, Раналд, — отвечал Дальгетти, — довольно! Скажи им, что я не люблю рукопожатий: это путает все понятия о чинах и званиях в военном деле. А что касается целования рукавиц, одежды и тому подобное, мне вспоминается, как бессмертный Густав Адольф, проезжая по улицам Нюрнберга, где его таким же образом приветствовал народ (чего он, конечно, был гораздо более достоин, нежели бедный, но честный кавалер вроде меня), обратился к толпе с упреком, сказав: «Если вы будете поклоняться мне, как божеству, — кто может поручиться, что мщение небес не обрушится на мою голову и не докажет вам, что я смертный?» Так, значит, ты намерен здесь укрепиться и оказать сопротивление нашим преследователям, друг Раналд? *Voto a Dios*,¹ как говорят испанцы, прекрасная позиция, пожалуй, лучше позиции для небольшого отряда я еще не видывал за все время своей службы: враг не может приблизиться по этой дороге, не оказавшись под обстрелом пушки или мушкета. Но, Раналд, верный товарищ мой, у тебя, насколько я могу судить, нет пушки, да и мушкетов я что-то не вижу у этих молодцов. Так с какой же артиллерией ты намереваешься защищать проход, прежде чем дело дойдет до рукопашной? Поистине, Раналд, это выше моего понимания.

— Защитой нам будет отвага и оружие наших предков, — отвечал Мак-Иф, указывая на своих людей, вооруженных луками и стрелами.

— Лук и стрелы! — воскликнул Дальгетти. — Ха, ха, ха! Неужто вернулись времена Робина Гуда и Маленького Джона? Лук и стрелы! Вот уж сто лет, как ничего подобного не было видано в цивилизован-

¹ Клянусь богом (*исп.*).

ной войне. Лук и стрелы! А почему бы не навой ткача, как во времена Голиафа? Подумать только: Дугалд Дальгетти, владелец Драмсуэкиа, дожидаясь до того, что собственными глазами увидел людей, вооруженных луками и стрелами! Бессмертный Густав Адольф никогда бы этому не поверил! Ни Валленштейн... ни Батлер... ни старик Тилли. Что ж, друг Раналд, коли у кошки только и есть, что когти... Стрелы так стрелы! Постараемся воспользоваться ими как можно лучше. Но так как я совершенно не знаю поля обстрела и дальноточности столь допотопной артиллерии, то придется тебе по собственному усмотрению определить наилучшую диспозицию; ибо о том, чтобы я принял командование, — что я сделал бы с большим удовольствием, если вы бы сражались по-христиански, — не может быть и речи, поскольку вы сражаетесь, как древние нумидийцы. Впрочем, я, конечно, приму участие в предстоящей схватке, пустив в ход пистолеты, ввиду того, что мой карабин, к несчастью, остался на седле у Густава. Покорно благодарю вас, — продолжал он, обращаясь к одному из горцев, протянувшему было ему свой лук. — Дугалд Дальгетти может сказать о себе то, что заучил в эбердинском училище:

Non eget Mauris jaculis, neque arcu,
Nec venenatis gravida sagittis,

Fusce, pharetra...¹

что означает...

Раналд Мак-Иф вторично прервал многословие разболтавшегося капитана, дернув его за рукав и указывая вниз, на ущелье. Лай ищейки раздавался все ближе и ближе, и теперь уже можно было различить голоса людей, следовавших за ней и перекликавшихся между собой, когда они разъезжались в разные стороны: либо для того, чтобы ускорить свое продвижение вперед, либо для того, чтобы более тщательно обыскать заросли на своем пути. Они явственно приближа-

¹ Не нужны тому ни копье злых мавров,
Ни упругий лук, ни колчан с запасом

Стрел ядовитых... (лат.).

(Перевод А. Семенова-Тян-Шанского)

лись с каждой минутой. Тем временем Мак-Иф предложил капитану сбросить свои доспехи и дал ему понять, что женщины сумеют их спрятать в надежном месте.

— Прошу прощения, сударь, — возразил Дальгетти, — но это не принято в иностранных войсках. Я, например, помню, какой выговор бессмертный Густав Адольф закатил финским кирасирам, лишив их барабана за то, что они позволили себе на марше снять свои кирасы и сдать их в обоз. И они до тех пор не имели права бить в барабан перед полком, пока не отличились в битве под Лейпцигом. Такой урок трудно забыть, так же как и слова бессмертного Густава Адольфа, воскликнувшего: «Я узнаю, в самом ли деле мои офицеры любят меня, когда увижу, что они надевают латы: ибо, если мои офицеры будут убиты, кто же поведет моих солдат к победе?» Тем не менее, друг Раналд, я не прочь был бы избавиться от своих несколько тяжеловатых сапог, если бы мог чем-нибудь заменить их; ибо я не убежден в том, что мои подошвы достаточно загрубели, чтобы я мог босиком ходить по камням и колючкам, как это, видимо, делает твоя команда.

Стащить с капитана громоздкие сапожищи и натянуть на его ноги башмаки из оленьей шкуры, которые один из горцев тут же скинул и уступил ему, — было делом одной минуты, и Дальгетти сразу же почувствовал огромное облегчение. Он только было посоветовал Раналду Мак-Ифу выслать двух или трех человек вниз, на разведку, и в то же время несколько развернуть фронт, поставив по одному стрелку на правый и левый фланги в качестве наблюдательных постов, — как вдруг собачий лай раздался совсем близко, предупреждая о том, что погоня находится уже у подошвы ущелья. Наступила мертвая тишина, ибо, как ни был капитан болтлив в иных случаях, — сидя в засаде, он отлично понимал необходимость притаиться и хранить молчание.

Луна освещала каменистую тропинку и нависшие над ней выступы скалы, вокруг которой она вилась; там и сям ветки разросшегося в расщелинах скал кустарника и карликовых деревьев, свешиваясь над самым краем пропасти, затемняли лунный свет. На дне мрачного ущелья, в глубокой тени, чернели густые заросли,

напоминавшие своими неясными очертаниями волны скрытого туманом океана. По временам из самых недр этого мрака, со дна пропасти, доносился отчаянный лай, многократным эхом отдававшийся в окрестных горах и лесах. А временами наступала полнейшая тишина, нарушаемая лишь плеском горного ручейка, который то низвергался со скалы, то прокладывал себе более спокойное русло вдоль ее склона. Изредка снизу доносились приглушенные человеческие голоса; погоня, по-видимому, не наткнулась еще на узкую тропинку, которая вела к вершине утеса, а если и обнаружила ее, то не решалась воспользоваться ею из-за страшной крутизны, неверного освещения и возможности засады.

Наконец показались неясные очертания человеческой фигуры, которая, поднимаясь из мрака, со дна пропасти, и постепенно вырисовываясь в бледных лучах лунного света, начала медленно и осторожно пробираться вверх по каменистой тропинке. Очертания ее стали настолько явственны, что капитан Дальгети разглядел не только самого горца, но и длинное ружье, которое он держал в руках, и пучок перьев, украшавший его шапочку.

— Tausend Teufel!¹ Что это я ругаюсь, да еще перед самой смертью! — пробурчал капитан себе под нос. — Что теперь с нами будет, если они явились с огнестрельным оружием, а мы можем их встретить лишь стрелами?

Но в ту самую минуту, когда горец достиг выступа скалы, примерно на полпути подъема, и, остановившись, подал знак оставшимся внизу, чтобы они следовали за ним, — просвистела стрела, выпущенная из лука одним из Сынов Тумана, и, пронзив горца, нанесла ему такую тяжелую рану, что он, не сделав ни малейшей попытки к спасению, потерял равновесие и полетел вниз головой прямо в пропасть. Треск сучьев, которые он ломал по пути, и глухой звук падения тела вызвали крик ужаса и удивления у его спутников. Сыны Тумана, ободренные паникой, которую произвел среди преследователей их первый успех, ответили

¹ Тысяча чертей! (нем.).

на этот крик громкими, радостными криками и, подойдя к краю утеса, неистовыми воплями и угрожающими жестами старались утешить противника, показывая ему свою храбрость, численность и готовность защищаться. Даже привычная осторожность военного не помешала капитану Дальгетти вскочить с места и крикнуть Раналду громче, чем подсказывало благоразумие:

— *Qué bueno*,¹ приятель! — как сказал бы испанец. Да здравствует арбалет! Теперь, по моему скромному разумению, следует вывести вперед одну шеренгу, чтобы занять позицию...

— Южанин! — крикнул голос снизу. — Целься в южанина! Я вижу, как блестит его панцирь.

В то же мгновение раздались три мушкетных выстрела; одна пуля скользнула по надежному стальному нагруднику, прочности которого капитан неоднократно бывал обязан спасением своей жизни, а вторая пробила левый набедренник и свалила его с ног. Раналд тотчас же подхватил его на руки и оттащил от края пропасти, в то время как капитан сокрушенно говорил:

— Сколько раз я твердил и бессмертному Густаву Адольфу, и Валленштейну, и Тилли, и другим военачальникам, что, по моему слабому разумению, набедренники следует делать такими, чтобы их не пробила пуля.

Промолвив несколько слов на гэльском языке, Мак-Иф передал раненого на попечение женщин, находившихся в тылу маленького отряда, и хотел было возвратиться к месту битвы, но Дальгетти удержал его, крепко схватив за конец плеча.

— Не знаю, чем все это кончится, но я прошу тебя сообщить графу Монтрозу, что я умер как достойный соратник бессмертного Густава... И прошу тебя... не рискуй покидать теперешнюю позицию... даже с целью преследования неприятеля, в случае если одержишь временно верх... и... и...

Тут Дальгетти, потеряв много крови, стал заметно слабеть, и Мак-Иф, воспользовавшись этим обстоятельством, высвободил конец своего плеча из его руки

¹ Как хорошо (*исп.*).

и вложил в нее конец плаща одной из женщин. Капитан крепко ухватился за него, воображая, что Раналд по-прежнему внимает тактическим наставлениям, которыми он продолжал сыпать, пока у него хватало сил, хотя слова его с каждой минутой становились все более бессвязными.

— Главное, дружище, не забудь выставить мушкетеров впереди отряда с пиками, секирами и мечами. Держитесь, драгуны, на левом фланге! Что я говорил? Да, вот что! Раналд, если решишь отступить, оставь несколько горящих фитилей на ветках деревьев, — будет казаться, что стреляют... Но я совсем забыл... ведь у вас нет ни фитилей, ни кремневых ружей... только лук и стрелы... лук и стрелы... ха, ха, ха!..

Тут капитан окончательно выбился из сил и откинулся назад, покатываясь со смеху, ибо он, искушенный в науке современной войны, никак не мог примириться с мыслью о применении столь устаревшего оружия. Прошло много времени, прежде чем очнулся от забытья; и мы теперь оставим его на попечении Дочерей Тумана, оказавшихся добрыми и внимательными сиделками, невзирая на свою дикую внешность и угловатые движения.

Глава XV

Раз ты не запятнал стыдом
Измены честь свою,
Тебя прославлю я пером
И шпагой восхваляю.

Я послужу тебе, подав
В веках пример другим.
Из рук моих ты примешь лавр,
Все ревностней любим.

Монтроз, «Стихи»¹

Мы вынуждены, хотя и не без некоторого сожаления, временно покинуть храброго капитана Дальгетти на произвол судьбы, предоставив ему залечивать свои

¹ Перевод Т. Казмичевой.

раны, и постараемся вкратце описать военные действия Монтроза, вполне признавая, что они достойны более подробного изложения и более искусного историка. При содействии вождей горных кланов, с которыми мы уже познакомились раньше, и главным образом благодаря присоединению Мерри, Стюартов и других кланов Этола, с особенным рвением поддерживавших короля, Монтрозу вскоре удалось собрать войско в две-три тысячи горцев, к которым он присоединил ирландцев под начальством Колкитто. Этот последний, которого, к великому недоумению комментаторов, великий поэт Мильтон упоминает в одном из своих сонетов, носил имя Элистера, или Александра, Мак-Донела¹ и, будучи уроженцем одного из шотландских островов, приходился сродни графу Энтримскому, по милости которого и был назначен командующим ирландскими войсками. Во многих отношениях он был вполне достоин подобного отличия. Он был отважен и неустрашим до безрассудства, крепкого сложения и весьма деятелен, в совершенстве владел оружием и всегда был готов первым подать пример самой отчаянной храбрости. В противовес этим достоинствам нельзя не упомянуть, что он был неопытен в военной тактике, к тому же самоуверен и завистлив, из-за чего его личная доблесть редко

¹ Книга Мильтона под названием «Тетрахордон» была, как известно, высмеяна богословами, собравшимися в Уэстминстере, и другими лицами по причине ее мудреного названия, а Мильтон в своем сонете отплатил им той же монетой, перечисляя варварские шотландские имена, к которым междоусобная война приучила слух англичан.

И чем же легче Мак-Донел, Галасп
Иль, например, Гордон или Колкитто?
Где задохнулся бы Квинтилиан,
Там, сэры, пустяки для бритта.

«Можно предполагать, — говорит епископ Ньютон, — что это были известные личности среди шотландских священников, которые стояли за ковенант». Между тем Мильтон просто хотел высмеять варварские шотландские имена вообще и назвал без разбора Галаспа, одного из апостолов ковенанта, рядом с Колкитто и Мак-Донелом, его злейшим врагом (оба имени принадлежали одному лицу). (Прим. автора.)

содействовала успехам Монтроза. Но обаяние внешних качеств человека столь сильно действует на впечатление дикого народа, что беспримерная смелость и отвага этого воина производили куда большее впечатление на горцев, нежели военное мастерство и рыцарское благородство маркиза Монтроза. В горных ущельях Верхней Шотландии до сего времени еще сохранились многочисленные предания и легенды, связанные с именем Элистера Мак-Донела, тогда как имя Монтроза упоминается среди горцев очень редко.

Сборный пункт, к которому Монтроз в конце концов стянул свое небольшое войско, находился в Стратерне, на границе горных районов Пертшира, откуда маркиз мог угрожать главному городу этого графства.

Неприятель был готов встретить Монтроза надлежащим образом. Аргайл во главе своих горцев шел по пятам ирландцев, двигаясь с запада на восток, и, действуя силой, страхом или уговорами, успел собрать достаточное войско, чтобы дать сражение Монтрозу. Жители Нижней Шотландии также были готовы к войне по причинам, о которых мы уже упоминали в начале нашего рассказа. Войско, состоявшее из шести тысяч пехоты и шести-семи тысяч всадников, кошунственно называвшее себя воинством божьим, было спешно набрано в графствах Файф, Ангюс, Перт, Стерлинг и в соседних с ними округах. В прежние времена, пожалуй еще даже при предыдущем короле, было бы вполне достаточно значительно меньших сил, чтобы защитить границы Нижней Шотландии от натиска куда более грозной армии, нежели та, которой командовал Монтроз; но времена сильно изменились за последнее пятидесятилетие. Прежде жители предгорья вели непрерывную войну, так же как и горцы, но были более дисциплинированы и лучше вооружены. Излюбленный боевой порядок шотландцев несколько напоминал македонскую фалангу. Пехота, вооруженная длинными пиками, образовывала плотное каре, неуязвимое даже для тяжеловооруженной конницы того времени. Понятно, что пехота не могла быть смята беспорядочным натиском пеших горцев, вооружен-

ных лишь для ближнего боя палашами, плохо снабженных огнестрельным оружием и вовсе не имеющих артиллерии.

Такой способ ведения войны существенно изменился благодаря введению мушкетов в войсках Нижней Шотландии; но мушкеты, в то время еще не снабженные штыками, представляли опасность лишь на расстоянии и служили плохой защитой при атаке врага. Правда, пика еще не совсем вышла из употребления в шотландской армии, но она уже не была излюбленным ее оружием и не внушала прежнего доверия тем, кто ею пользовался. Тогдашний знаток военной тактики Дэниел Лэптон даже посвятил целую книгу преимуществам мушкета перед пикой.

Это нововведение началось еще со времени войн Густава Адольфа, войска которого с такой поспешностью совершали переходы, что его армии пришлось очень быстро отказаться от пики и заменить ее огнестрельным оружием. Неизбежным следствием этого новшества — вместе с созданием постоянной армии, благодаря чему военное дело стало ремеслом — было введение дисциплины и чрезмерно сложной системы военного обучения, где условным выражениям команды соответствовали различные операции и маневры. Малейшее нарушение правил неизбежно приводило к замешательству и путанице. Таким образом, война, как она теперь велась большей частью европейских армий, приобретала в значительно большей мере, нежели раньше, характер профессии или мастерства, для овладения которым необходимы были предварительная практика и опыт. Таковы были естественные последствия создания постоянной армии почти повсеместно, и прежде всего в Германии, в эпоху ее длительных войн; военная наука заменила то, что можно бы назвать естественной дисциплиной феодального ополчения.

Таким образом, ополченцы Нижней Шотландии оказались в положении, вдвойне невыгодном по сравнению с горцами. Они лишились пики — того оружия, которое в руках их предков столь часто отражало стремительный натиск горцев, и вынуждены были

подчиняться правилам новой и сложной науки, быть может вполне пригодной в регулярных войсках, где она могла быть изучена в совершенстве, но сбивавшей с толку ополченцев, малознакомых с ней и плохо понимавших ее. В наше время так много сделано в смысле возврата к первоначальным принципам тактики и упразднения педантизма в военном деле, что нам легко понять неблагоприятные условия, в каких приходилось воевать плохо обученным ополченцам, которым внушалось, что успех военной операции всецело зависит от точного соблюдения правил военной тактики, усвоенных ими, по всей вероятности, лишь настолько, чтобы видеть свои ошибки, не зная, однако, как исправить их. Нельзя также отрицать того, что в отношении военного искусства и воинственного духа южные шотландцы в семнадцатом веке значительно уступали своим соотечественникам северянам.

С давних времен, вплоть до слияния обеих корон, вся Шотландия — Верхняя и Нижняя — постоянно была ареной войн, либо междоусобных, либо с внешним врагом; и едва ли нашелся бы хоть один среди отважных жителей Шотландии в возрасте от шестнадцати до шестидесяти лет, кто не был бы готов — и по влечению сердца и согласно закону — взяться за оружие при первом кличе своего сюзерена или по приказу короля.

В 1645 году действовал тот же закон, что и сто лет назад, но поколения, выросшие за это время, были воспитаны в совершенно ином духе. Люди привыкли мирно сидеть среди своих виноградников и под сенью смоковниц, и призыв к оружию означал для них неприятную перемену жизни.

Южане, жившие в близком соседстве с горцами, находились в постоянном и невыгодном для себя общении с этими беспокойными обитателями горных высот, которые бесчинствовали, угоняли скот, разоряли дома и мало-помалу приобрели явное превосходство над ними путем непрерывных нападений. Жители предгорья, расселенные далеко от горных округов и, следовательно, меньше подвергавшиеся разорительным набегам, наслушавшись преувеличенных

толков о злодеяниях горцев, обычаи, язык и платье которых резко отличались от их собственных, почитали их за дикарей, не знающих ни страха, ни милосердия.

При таком предвзятом мнении, в совокупности с менее воинственным духом и слабым знанием новейшей военной науки, заменившей их бесхитростный способ воевать, южные шотландцы оказались на поле сражения в крайне невыгодном положении по сравнению с горцами. В противоположность этому, горцы, унаследовавшие оружие и бесстрашие своих предков и сохранившие свою собственную, простую и привычную тактику, с полным сознанием своей силы и уверенностью в победе бросались на врагов, для которых плохо усвоенные правила новой науки служили — как некогда воинские доспехи Саула Давиду — скорее препятствием, нежели помощью, «ибо они к ним не привыкли».

Вот при таких-то неблагоприятных условиях, содной стороны, и при явном преимуществе, с другой, — что несколько уравнивалось разницей в численности и наличием артиллерии и конницы, — произошло сражение между силами Монтроза и войсками лорда Илхо под Типпермуrom.

Пресвитерианское духовенство не пожалело сил, чтобы поднять дух своих сторонников; так, например, один из проповедников, обратившись с увещанием к войскам в самый день сражения, не задумался объявить солдатам, что если когда-либо господь бог глаголил его устами, то он именем господним обещает им в этот день великую и верную победу. Кроме того, царила уверенность, что конница и артиллерия обеспечат полный успех, ибо эти новые роды оружия уже не раз приводили горцев в замешательство. Местом сражения было открытое вересковое поле, не дававшее никаких преимуществ ни той, ни другой стороне, кроме того, что позволяло коннице пресвитериан действовать с успехом.

Никогда еще битва, имевшая столь важное и решающее значение, не была так легко и быстро выиграна. Конница южан пошла было в атаку, но —

оттого ли, что она была сразу же отброшена мушкетным огнем, или потому, что, как говорили, южные дворяне неохотно воевали против короля, — она не сумела смять горцев, не имевших даже штыков или пик для своей защиты, и отступила в беспорядке. Монтроз сразу же оценил этот успех и поспешил воспользоваться им. Он отдал приказ всей своей армии перейти в наступление, что она и сделала с дикой и отчаянной отвагой, присущей горцам. Только один офицер пресвитерианских войск, вышколенный в итальянских походах, оказал на правом фланге стойкое сопротивление. По всей остальной линии горцы прорвались при первом же натиске; и как только это преимущество было достигнуто, южане оказались совершенно неспособными противостоять в рукопашном бою своим более ловким и сильным противникам. Многие южане были убиты на месте, и такое множество людей погибло во время преследования, что, судя по донесениям, в этот день было уничтожено более трети всего пресвитерианского войска. Впрочем, в числе погибших следует считать немалое число тучных горожан, задохнувшихся на бегу при отступлении и умерших без единой раны.¹

Победители завладели Пертом и захватили крупные денежные суммы, а также большой запас оружия и снаряжения. Но все эти несомненные успехи сопровождались почти непреодолимыми затруднениями, неизбежно возникавшими в отрядах горцев. Никакими силами нельзя было убедить горные кланы в том, что они являются солдатами регулярного войска и должны действовать в соответствии с этим. Даже много позднее, в 1745—1746 годах, когда претендент Карл Эдуард острстки ради приказал расстрелять одного солдата за дезертирство, горцы, составлявшие его армию, были столь же возмущены этим поступком, сколь и напуганы. Они никак не могли признать

¹ Мы считаем нужным указать источник, где сообщается о столь удивительном происшествии: «Многие горожане были убиты — например, двадцать пять домовладельцев в Сент-Эндрю; а многие задохнулись во время бегства и умерли, не будучи ранены». (См. «Письма Бэйли», т. II, стр. 92.) (Прим. автора.)

справедливым закон, в силу которого можно было лишить человека жизни только за то, что он ушел домой, когда ему не захотелось больше оставаться в армии. Таков был обычай их предков: как только кончалось сражение, они считали кампанию законченной; если сражение было проиграно, они спешили укрыться в своих горах; если выиграно — возвращались домой, дабы в надежном месте укрыть свою добычу. Иногда у них находились какие-нибудь неотложные дела: надо было присмотреть за скотиной, засеять поля или собрать урожай, иначе их семьи умерли бы с голоду. В любом случае их службе в армии временно наступал конец; и хотя их очень легко было призвать обратно, соблазнив надеждой на новые подвиги и новую добычу, но тем временем благоприятный случай бывал обычно безвозвратно упущен. Это обстоятельство, — даже если бы история не подтверждала этого, — служит неоспоримым доказательством того, что, ведя войну, горцы никогда не стремились к завоеваниям, а добивались только временных преимуществ или оружием разрешали какую-нибудь ссору. По этой же причине Монтрозу, невзирая на все его блестящие победы, так и не удалось добиться прочного положения в Нижней Шотландии, и даже те из южных вельмож и дворян, которые склонны были принять сторону короля, не доверяли Монтрозу и неохотно вступали в ряды армии, носившей столь случайный и непостоянный характер, опасаясь, что горцы в любую минуту, обеспечив себе отступление в горы, могут бросить на произвол судьбы присоединившихся к ним и оставить их в руках разъяренного и превосходящего численностью неприятеля. Этим же объясняются внезапные походы, которые Монтроз вынужден был предпринимать с целью пополнения своей армии, и непрочность военных успехов, нередко вынуждавшая его отступать перед только что разбитым врагом.

Если среди читателей найдутся лица, заинтересовавшиеся этим повествованием не только ради развлечения, то приведенные выше замечания могут оказаться достойными их внимания.

Именно вследствие этих причин — равнодушия южных роялистов и временного ухода горцев из армии — Монтроз, даже после решительной победы под Типпермуrom, оказался не в состоянии сразиться со второй армией, которую Аргайл двинул против него с запада. В этот критический момент, решив возместить недостаток сил быстротой маневрирования, Монтроз внезапно повернул от Перта к Данди, а когда этот город не впустил его, перебросил свои войска к северу и пошел на Эбердин, где он рассчитывал соединиться с Гордонами и другими роялистами. Но пыл его союзников сильно охлаждал страх перед мощным корпусом пресвитериан численностью до трех тысяч человек под командованием лорда Берли. Однако Монтроз смело атаковал это войско, вдвое превосходившее числом его собственные силы. Сражение произошло под самыми стенами города, и доблестные приверженцы Монтроза вновь одержали победу, несмотря на все неблагоприятные условия.

Но такова была судьба этого великого полководца: неизменно стяжая славу, он редко пожинал плоды своих побед. Едва он успел дать небольшую передышку своим войскам в Эбердине, как оказалось, с одной стороны, что Гордоны вряд ли решатся примкнуть к нему, — по причинам, указанным выше, а также по чисто личным соображениям их вождя, маркиза Хантли; с другой стороны, Аргайл, силы которого пополнились несколькими примкнувшими к нему южными дворянами, выступал против Монтроза во главе армии, значительно превосходившей все те, с которыми Монтрозу до сих пор приходилось сражаться. Правда, эти войска двигались очень медленно, вследствие осторожного нрава своего начальника, но именно потому, что осмотрительность Аргайла была хорошо известна, самый факт его продвижения вызывал тревогу, ибо доказывал, что он идет во главе непреодолимо мощной армии.

Монтрозу оставался только один путь к отступлению, и он воспользовался им. Он ушел в горы, где не боялся преследования; кроме того, он был уверен, что в каждом ущелье сумеет найти и вернуть в армию

тех, кто временно покинул ее ряды, чтобы припрятать свою военную добычу. В том и состоял необычный характер войска, возглавляемого Монтрозом: с одной стороны, победы его часто давали пустячные результаты, с другой, вопреки самым неблагоприятным обстоятельствам, он всегда мог обеспечить себе отступление, собрать новые силы и снова идти против врага, с которым он еще совсем недавно не мог тягаться.

На сей раз он отступил к Баденоху и, быстро пройдя весь этот округ, а затем смежное с ним графство Этол, начал беспокоить пресвитериан рядом последовательных нападений в самых неожиданных местах, чем вызвал такую тревогу, что парламент слал своему главнокомандующему, маркизу Аргайлу, приказ за приказом, требуя во что бы то ни стало начать наступление и разгромить армию Монтроза.

Повелительные требования со стороны правительства пришлось не по вкусу высокомерному вельможе и отнюдь не отвечали его медлительному и осторожному образу действий. Поэтому он не обращал на них внимания и ограничивался тем, что сеял рознь между Монтрозом и немногими его союзниками из южных дворян, которых и так уже утомили тяготы военного похода в горах, вынуждавшего их к тому же бросать свои поместья на милость пресвитериан. В эту пору многие из них покинули лагерь Монтроза. Но зато к нему присоединились значительные силы его сторонников, более близких ему по духу и несравненно лучше приспособленных к ведению войны в создавшихся условиях; это подкрепление состояло из многочисленного отряда горцев, которых Колкитто, нарочно для этого посланный, завербовал в Аргайлшире. Среди наиболее видных из этих горцев можно назвать Джона Мойдарта, прозванного вождем клана Раналдов, Стюартов из Аппина, клан Грегоров, клан Мак-Нэбов и другие семьи, менее значительные. Благодаря этому подкреплению армия Монтроза так грозно разрослась, что Аргайл не пожелал более командовать войсками его противников и возвратился в Эдинбург, где сложил с себя полномочия под тем предлогом, что ему не дали военного снаряжения, какое ему

требовалось. Из Эдинбурга маркиз отправился в Инверэри, дабы в полной безопасности управлять своими вассалами и родичами, твердо полагаясь на то, что «далеко отсюда до Лохоу!» — как гласила старинная поговорка его клана.

Глава XVI

Отряд был заперт, словно в западне:
Вперед пойдешь — скалистых гор
 вершины,
Назад пойдешь — дремучий лес
 в огне,
А по бокам — болотные трясины.
И понял граф: все гибельны пути,
И он зовет начальников к себе.
Они решили лишь вперед идти,
Вручив себя изменчивой судьбе.

**«Флодденское поле»,
старинная песня¹**

Монтроз был теперь во всеоружии и мог совершить блестящий поход, если бы ему удалось склонить к этому свои доблестные, но непостоянные войска и их непокорных вождей. Путь к предгорью был открыт, и не было больше армии, способной остановить Монтроза; ибо сторонники Аргайла покинули войско пресвитериан, как только их начальник ушел со своего поста, а многие из других отрядов, утомленные войной, воспользовались тем же случаем, чтобы разойтись по домам. Итак, Монтрозу оставалось только спуститься по долине реки Тэй, одному из самых удобных горных проходов, и появиться в предгорье, чтобы пробудить в южанах дремлющий дух рыцарства и верности королю, воодушевлявший шотландское дворянство севернее залива Форт. Овладев этими южными округами, — мирным ли путем или с помощью военных действий, — Монтроз получил бы в свое распоряжение богатую и плодородную область королевства, что дало бы ему возможность вовремя

¹ Перевод И. Миримского.

выплачивать жалованье своим солдатам и тем сохранить более или менее постоянное войско; он мог бы дойти до Эдинбурга, а оттуда, быть может, и до английской границы, где рассчитывал снестись с непобежденными еще боевыми силами короля Карла.

Таков был план военных действий, с помощью которых могла быть одержана верная победа и обеспечен успех делу короля. Это отлично понимал честолюбивый и отважный полководец, уже заслуживший своими заслугами титул «великого маркиза». Но совсем иными соображениями руководствовались многие из его сторонников и, быть может, оказывали тайное и не осознанное им самим влияние на его собственные чувства.

Вожди западных кланов, находившиеся в армии Монтроза, почти все без исключения считали победу над маркизом Аргайлом истинной и непосредственной целью похода. Почти все они испытали на себе гнет его власти; почти все, уведя с собой в армию боеспособных людей своего клана, тем самым оставили свои семейства и свое имущество без защиты от его мести; все до единого жаждали ослабления его могущества; и, наконец, многие из них были столь близкими соседями Аргайла, что могли надеяться в случае победы урвать в свою пользу часть его земель. Для этих вождей захват замка Инверэри со всеми владениями маркиза был делом несравненно более важным и желательным, нежели взятие Эдинбурга. Взятие столицы Шотландии могло доставить их людям лишь единоразовную выплату жалованья или немного добычи, тогда как захват замка Инверэри обеспечил бы самим вождям безнаказанность за прошлое и безопасность на будущее.

Помимо чисто личных побуждений, сторонники похода на Инверэри приводили вполне разумные доводы, а именно, что, хотя сейчас силы Монтроза численностью превосходят силы неприятеля, но по мере удаления от горных областей будут постепенно уменьшаться, и ему не одолеть войско пресвитериан, которое те могут собрать из жителей предгорья и солдат местных гарнизонов; с другой же стороны, одержав

решительную победу над Аргайлом, Монтроз не только даст возможность своим западным союзникам вывести за собой ту часть ратных людей, которых они в противном случае должны будут оставить для охраны своих семейств, но и привлечет под свои знамена многие кланы, давно сочувствующие его делу и не примыкающие к нему лишь из страха перед Мак-Каллумором.

Все эти соображения, как уже говорилось выше, находили некоторый отклик в душе Монтроза, хотя и несколько противоречили его благородной натуре. С давних пор дом Аргайлов и дом Монтрозов соперничали друг с другом, и им неоднократно доводилось сталкиваться как в политических, так и в ратных делах; значительные привилегии, которых добились Аргайлы, делали их предметом зависти и неприязни другого дома, члены которого, сознавая свои равные права и заслуги, считали себя обделенными. Мало того — нынешние главы обоих семейств соперничали друг с другом с самого начала междоусобной войны.

Монтроз, считавший себя более одаренным, нежели Аргайл, и оказавший большие услуги пресвитерианам в начале войны, ожидал, что они предоставят ему первое место как на политическом, так и на военном поприще; парламент, однако, нашел более надежным отдать это место человеку с ограниченными способностями, но пользующемуся большим влиянием в стране. Оказанное Аргайлу предпочтение было тяжелой обидой для Монтроза; он не простил пресвитерианам и еще менее склонен был простить Аргайлу, которого ему предпочли. Поэтому вся ненависть, на какую был способен человек пылкого нрава в те суровые времена, побуждала Монтроза отомстить заклятому врагу своего рода и своему личному недругу. Очень вероятно, что эти личные причины оказали на него немалое влияние, когда он убедился, что большинство его приверженцев гораздо более расположено идти в поход на земли Аргайла, нежели предпринять более решительные шаги, без промедления двинувшись на юг.

Но как ни велик был для Монтроза соблазн напасть на владения Аргайла, ему не легко было отка-

заться от попытки победоносного вторжения в Нижнюю Шотландию. Он неоднократно созывал всех главных вождей на военный совет, силясь побороть их противодействие и, быть может, свои собственные тайные желания. Он указывал им на то, что даже для горцев почти невозможно подступиться к Аргайлширу с восточной стороны, по горным тропам, едва проходимым для пастухов и охотников за красным зверем, и через перевалы, малоизвестные даже тем кланам, которые жили поблизости. Все трудности похода еще усугублялись временем года: приближался декабрь, можно было ожидать, что горные дороги, и без того малодоступные, станут совершенно непроходимыми из-за снежных буранов. Однако эти доводы не удовлетворяли и не убеждали вождей, продолжавших настаивать на том, что воевать нужно по старинке, то есть гнать с собой скотину, которая, как гласит гэльская поговорка, «пасется на вражеских лугах».

Совет был распущен поздно ночью, однако никакого решения вынесено не было, кроме того, что вожди, стоявшие за нападение на Аргайла, обещали выбрать из своих людей надежных проводников для предстоящего марша.

Монтроз удалился в хижину, служившую ему походной палаткой, и растянулся на подстилке из сухого папоротника — единственном ложе, которое могло быть ему предоставлено. Но желанный покой не приходил: честолюбивые мечты гнали прочь сновидения. То ему рисовалось, будто он водружает королевское знамя на военной цитадели Эдинбурга, оказывает помощь монарху, корона которого зависит от его, Монтроза, побед, и получает в награду все преимущества и привилегии от короля, чью благодарность он заслужил. Потом эти мечты, сколь ни были они заманчивы, бледнели перед видениями утоленной мести и торжества над личным врагом. Захватить Аргайла врасплох в его инверэрской твердыне, сокрушить в его лице одновременно исконного врага своего рода и главный оплот пресвитернанства, показать парламенту, как он ошибся, вознеся Аргайла и унизив Монтроза, — такая картина была слишком соблазнительна для вообра-

жения феодала, обуреваемого жадой мщения, чтобы он мог легко от нее отказаться.

В то время как Монтроз предавался столь противоречивым размышлениям, солдат, стоявший на часах у входа в хижину, доложил ему, что двое неизвестных просят разрешения переговорить с его светлостью.

— Кто они такие, — спросил Монтроз, — и что побудило их явиться в столь поздний час?

На эти вопросы часовой, ирландец из отряда Коллитто, не мог толком ответить своему начальнику, поэтому Монтроз, который в военное время не считал возможным кому-либо отказывать в приеме, дабы не упустить случая получить важные сведения, распорядился осторожности ради поставить вооруженную охрану, а сам приготовился встретить поздних гостей. Его камердинер едва успел зажечь факелы, а сам Монтроз едва успел подняться со своего ложа, как в хижину вошли двое неизвестных; один из них был одет в рваную замшевую куртку, какие носят в предгорье; другой, высокий старик, изможденное лицо которого было столь сильно обветрено, что приобрело свинцовый оттенок, кутался в клетчатый плащ горца.

— Что привело вас ко мне, друзья? — спросил Монтроз, причем пальцы его невольно нащупали рукоять пистолета, ибо беспокойные времена и поздний час, естественно, внушали опасения, и даже благопристойная наружность посетителей не содействовала тому, чтобы эти опасения рассеялись.

— Честь имею, — сказал человек в куртке, — поздравить вас, мой благородный генерал и достопочтенный лорд, с великими победами, которые вы одержали с тех пор, как судьба разлучила нас. Чудесное было дело, эта схватка под Типпермуrom; тем не менее я позволил бы себе посоветовать...

— Прежде чем продолжать, — прервал его маркиз, — не будете ли вы так любезны сообщить мне, кто удостоивает меня чести давать мне советы?

— По правде говоря, милорд, — отвечал незванный посетитель, — я полагал, что в этом нет нужды, ибо не так уж давно я поступил к вам на службу и вы обещали мне чин майора с жалованьем полталера

в сутки и столько же по окончании похода; и я имею смелость надеяться, что ваша светлость не забыли ни своего обещания, ни моей особы.

— Любезный друг мой, майор Дальгетти! — сказал Монтроз, успевший тем временем узнать своего гостя. — Вы должны принять во внимание, какие важные события произошли за это время, если лицо друга могло выскользнуть из моей памяти; да к тому же это скудное освещение... Но все условия будут выполнены. А какие новости вы привезли мне из Аргайлшира, милейший майор? Мы считали вас погибшим, и я уже готовился жестоко отомстить этой старой лисе, поправшей в вашем лице все правила войны.

— Поистине, милорд, — отвечал Дальгетти, — я не желал бы, чтобы мое возвращение приостановило исполнение вашего справедливого и мудрого намерения; ибо, если я сейчас стою здесь, то это отнюдь не по милости и не по доброй воле маркиза, и я совсем не намерен быть его заступником перед вами. Своим спасением я обязан милосердному небу и той несравненной ловкости, с которой я как старый и опытный воин сумел совершить побег. Но, помимо неба, помощь в этом деле оказал мне вот этот старый горец, которого я осмеливаюсь поручить особому вниманию вашей светлости, как орудие спасения вашего покорного слуги Дугалда Дальгетти, наследника поместья Драмсуэки.

— Услуга, достойная благодарности, — промолвил маркиз, — и, без сомнения, будет должным образом вознаграждена.

— Преклони колено, Раналд, — сказал майор Дальгетти (как мы должны теперь величать его). — Преклони колено и поцелуй руку его светлости!

Но предписанная этикетом церемония приветствия не была в обычае у горцев, и Раналд ограничился тем, что, скрестив на груди руки, слегка наклонил голову.

— Да будет вам известно, милорд, — продолжал майор Дальгетти с важным видом и покровительственным тоном по отношению к Раналду, — бедняга

сделал все, что было в его слабых силах, чтобы защитить меня от моих врагов, не имея в качестве метательного снаряда ничего лучшего, кроме лука и стрел, чему ваша светлость едва ли поверит.

— Вы увидите немало этого оружия и в моем лагере, — отвечал Монтроз, — и мы считаем его весьма пригодным.¹

— Пригодным, милорд? — воскликнул Дальгетти. — Да простит мне ваша светлость мое крайнее изумление... Лук и стрелы! Не посетуйте на мою смелость и позвольте мне посоветовать вам заменить при первой же возможности это оружие мушкетами. Но должен вам сказать, что сей честный горец не только защитил меня, но и приложил все старания к тому, чтобы меня вылечить, ибо при отступлении я был ранен; и его заботы обо мне заслуживают того, чтобы я с благодарностью препоручил его особому вниманию и попечению вашей светлости.

— Как твое имя, дружище? — спросил Монтроз, обращаясь к горцу.

— Мне нельзя назвать его, — отвечал горец.

— Он хочет сказать, — пояснил майор Дальгетти, — что желал бы сохранить свое имя в тайне, ибо в былые дни он овладел неким замком, убил детей его владельца и совершил ряд других поступков, которые, как вашей светлости хорошо известно, совершаются сплошь и рядом во время войны, но которые не возбуждают особого доброжелательства со стороны родственников пострадавшего к виновнику его несчастий. Я по своему долгому военному опыту знаю, что крестьяне часто предавали смерти храбрых воинов единственно за то, что они позволяли себе кое-какие военные вольности в их стране.

— Понимаю, — сказал Монтроз. — Этот человек во вражде с кем-нибудь из наших сторонников. Отправьте

¹ К сведению любителей стрельбы из лука можем сообщить, что не только многие горцы в войске Монтроза были вооружены этими древними метательными снарядами, но даже в Англии во время великих гражданских войн еще иногда пользовались этим оружием, некогда составлявшим гордость и славу отважных британских йоменов. (Прим. автора.)

его в кордегардию, а мы пока подумаем, как лучше всего защитить его.

— Слышишь, Раналд, — с видом превосходства обратился к нему майор Дальгетти, — его светлость желает держать со мной тайный совет, а тебе надлежит отправиться в кордегардию. Да ведь он, бедняга, не знает, где что находится! Он еще молодой солдат, хотя и старый человек. Я сейчас препоручу его одному из часовых и немедленно возвращусь к вашей светлости.

Так Дальгетти и сделал и быстро возвратился в хижину.

Прежде всего Монтроз стал расспрашивать Дальгетти о его пребывании в Инверэри и внимательно выслушал его ответ, несмотря на неудержимое многословие майора. Маркизу потребовалось немало усилий, чтобы выслушать рассказ до конца; но он прекрасно знал, что, если хочешь извлечь нужные сведения из доклада посла, такого, как Дальгетти, нужно дать ему выговориться. Долготерпение маркиза было в конце концов вознаграждено: в числе прочей военной добычи, которую майор позволил себе захватить в замке, была пачка личных бумаг Аргайла. Ее-то майор и вручил своему начальнику. Впрочем, этим Дальгетти и ограничился, ибо нет никаких указаний на то, чтобы он в своем донесении упомянул о кошельке с золотом, который он присвоил себе одновременно с изъятием вышеупомянутой пачки. Сняв со стены один из факелов, Монтроз немедленно погрузился в чтение бумаг, среди которых нашел, по-видимому, нечто, подогревшее его личную ненависть к сопернику.

— Ах, он не боится меня? — проговорил он. — Так он узнает меня... Он спалит мой замок Мардох? Первым запалает Инверэри... Чего бы я не дал за проводника через ущелье Страт-Филлан!

Как сильно ни любовался собою Дальгетти, он все же достаточно хорошо знал свое дело, чтобы сразу догадаться, о чем думает Монтроз. Тотчас же прервав свои разглагольствования по поводу схватки, имевшей место в горах, и раны, полученной им при

отступлении, он повел речь о том, что больше всего занимало Монтроза.

— Если ваша светлость желает проникнуть в Аргайлшир, — сказал Дальгетти, — то этот бедняга Раналд, о котором я говорил вам, вместе со своими детьми и родичами знает в этом краю каждую тропинку, ведущую к замку Инверэри как с восточной, так и с северной стороны.

— В самом деле? — воскликнул Монтроз. — Но какие у вас основания доверять его знаниям?

— С разрешения вашей светлости, — отвечал Дальгетти, — в течение тех недель, что я провел среди его племени, залечивая свою рану, мы были вынуждены несколько раз перекочевывать с места на место, ибо Аргайл неоднократно возобновлял попытки завладеть особою офицера, облеченного доверием вашей светлости. Таким образом, я имел случай оценить необыкновенное знание местности этими людьми и то проворство, с каким они то отступали, то продвигались вперед. И когда наконец я оправился настолько, что мог вновь встать под знамена вашей светлости, то этот простой, честный малый, Раналд Мак-Иф, провел меня сюда такими путями, по которым мой конь Густав (если ваша светлость изволит его помнить) прошел совершенно беспрепятственно. Вот тогда-то я и сказал себе, что если бы во время похода в западных горах понадобился проводник, лазутчик или разведчик, то более опытных людей, нежели Раналд и его спутники, трудно было бы найти.

— А можете ли вы поручиться за верность и преданность этого человека? — спросил Монтроз. — Как его зовут и кто он такой?

— Он злодей и разбойник по ремеслу и, кажется, убийца и душегуб, — отвечал Дальгетти, — а зовут его Раналд Мак-Иф, что означает: Раналд, Сын Тумана.

— Мне что-то помнится это имя, — проговорил Монтроз задумчиво. — Не эти ли Сыны Тумана совершили какое-то злодейство в семье Мак-Олеев?

Майор Дальгетти заговорил об убийстве лесничего, и превосходная память Монтроза тотчас подсказала ему все подробности этой кровавой вражды.

— Очень досадно, — сказал Монтроз, — что между этими людьми и домом Мак-Олеев такая неприимимая вражда. Аллан выказал много мужества в нынешних походах, к тому же он имеет огромное влияние на умы своих соотечественников благодаря мрачной таинственности своего поведения и речей. Мне не хотелось бы вызывать его неудовольствие, это могло бы иметь очень неприятные последствия. А между тем эти люди были бы нам весьма полезны, и если, как вы утверждаете, на них можно вполне положиться...

— Я ручаюсь за них своим жалованьем и наградами, своим конем и оружием, своей головой и шей, — сказал майор, — а вашей светлости известно, что больше этого честный воин не может сказать даже про родного отца.

— Все это прекрасно, — возразил Монтроз, — но, поскольку вопрос этот чрезвычайной важности, я хотел бы знать, на чем покоится ваша столь твердая уверенность?

— Короче говоря, милорд, — отвечал майор, — они не только не польстились на недурное вознаграждение за мою голову, которым Аргайл удостоил меня, не только не посягнули на мое личное имущество, на которое, наверное, позарились бы солдаты любой регулярной армии в Европе, не только возвратили мне моего коня, весьма ценного, как ваша светлость изволит знать, — но я не мог никакими силами убедить их принять от меня ни одного стайвера, дойта или мараведи в уплату за беспокойство и в возмещение расходов, которые требовал уход за мной. Они решительно отказались от звонкой монеты, предложенной от всего сердца, а это редко приходится видеть в христианской стране.

— Согласен, — сказал Монтроз, — что поведение их по отношению к вам может служить залогом их надежности; но как предотвратить вспышку смертельной вражды между ними и Алланом Мак-Олеем? — С минуту он помолчал и вдруг неожиданно добавил: — Я совсем забыл, что я-то уже поужинал, а вы, майор, путешествовали всю ночь.

Он приказал слугам подать вина́ и закуску. Майор Дальгетти с аппетитом выздоравливающего, к тому же недавно покинувшего горные ущелья, не заставил себя долго просить и с жадностью накинулся на еду; маркиз, налив себе кубок вина и выпив его за здоровье майора, заметил, что, как ни скромен провиант в его лагере, майору Дальгетти, по-видимому, приходилось довольствоваться еще худшей пищей во время своих странствований по Аргайлширу.

— Можете быть уверены, ваша светлость, — с полным ртом отвечал почтенный майор, — вкус черствого хлеба и затхлой воды, которыми угощал меня Аргайл, до сих пор у меня во рту, а пища, которую доставляли мне Сыны Тумана, — хоть эти бедные, беспомощные создания и старались изо всех сил, — не шла мне впрок, так что, когда я надевал свои доспехи, которые, кстати, мне пришлось бросить ради удобства дальнейшего путешествия, мое тело болталось в них, как прошлогодний сморщенный орех в своей скорлупе.

— Вам нужно скорее вернуть потерянное, майор Дальгетти.

— По правде говоря, — сказал майор, — мне это едва ли удастся, если только мне не будет выдано жалованье, ибо, смею вас уверить, ваша светлость, те сорок два фунта веса, которые я сейчас потерял, были приобретены мной за счет жалованья, аккуратно выплачивавшегося правительством Голландии.

— В таком случае, — промолвил Монтроз, — вы сейчас достигли веса, при котором вам легче будет совершать походы. Что же касается жалованья, то дайте нам одержать победу, майор. Только одержать победу — и тогда все желания, и ваши и наши, исполнятся... А пока налейте себе еще вина.

— За здоровье вашей светлости, — провозгласил майор, наполняя кубок до самых краев, дабы выказать свою преданность, — за победу над всеми врагами, а главное — над Аргайлом! Надеюсь вырвать собственноручно второй клочок волос из его бороды, — однажды мне уже удалось ее пощипать.

— Прекрасно, — отвечал Монтроз. — Но возвратимся к вопросу об этих людях — Сынах Тумана. Вы, разумеется, понимаете, Дальгетти, что об их присутствии и о том, с какой целью мы намерены их использовать, никто не должен знать, кроме нас с вами?

Майор, в восторге от этого знака особого доверия со стороны своего начальника, — на что Монтроз и рассчитывал, — прижал ладонь к губам и важно кивнул головой.

— А много ли спутников у Раналда? — спросил маркиз.

— Насколько мне известно, — отвечал майор Дальгетти, — их всего человек восемь или десять мужчин и несколько женщин и детей.

— Где они сейчас находятся? — продолжал спрашивать маркиз.

— В ущелье, мили за три отсюда, — отвечал майор, — в ожидании приказа вашей светлости. Я не почел удобным привести их в лагерь без вашего на то соизволения.

— И хорошо сделали, — сказал Монтроз, — им лучше оставаться там, где они сейчас, или даже поискать себе убежище подальше отсюда. Я пошлю им денег, хотя у меня их сейчас маловато.

— В этом нет никакой надобности, — возразил майор Дальгетти. — Вашей светлости стоит лишь намекнуть, что Аллан направляется в ту сторону, и мои приятели, Сыны Тумана, немедленно сделают «направо кругом» и поспешат дать тягу.

— Это едва ли будет очень любезно с нашей стороны, — сказал Монтроз. — Лучше все-таки послать им немного денег — они смогут купить коров для того, чтобы прокормить женщин и детей.

— Поверьте, они сумеют приобрести себе коров гораздо более дешевым способом, — заметил майор. — Впрочем, как будет угодно вашей светлости.

— Пусть Раналд Мак-Иф выберет двух-трех людей понадежнее, — сказал Монтроз, — которым можно доверять и которые умеют держать язык за зубами; они-то и будут служить нам проводниками

под командой своего главаря. Пусть они завтра же на рассвете явятся ко мне, и постарайтесь, если возможно, чтобы они не догадались о моих намерениях и не разговаривали друг с другом наедине. А у этого старика есть дети?

— Все они убиты или повешены, — отвечал майор, — а было что-то около дюжины; у него остался только один внук, бойкий и смысленный мальчонка. Я никогда не видел его иначе, как с камнем, который он готов швырнуть во что попало. Если верить этой примете, то, как Давид, который имел обыкновение метать гладкие камешки, добытые со дна потока, он со временем будет храбрым воином.

— Этого мальчика, майор Дальгетти, я возьму себе в пажи, — сказал маркиз. — Надеюсь, что у него хватит ума сохранить свое имя в тайне?

— Ваша светлость может не беспокоиться, — отвечал Дальгетти. — Эти пострелята, едва вылупившись из яйца...

— Так вот, — прервал его Монтроз, — этот мальчик будет нам залогом верности деда, и если тот оправдает наше доверие, то мои заботы о судьбе мальчика будут ему наградой. А теперь, майор Дальгетти, я разрешаю вам удалиться на покой; завтра вы приведете ко мне Мак-Ифа и представите под именем и званием, которое он сам себе выберет. Я предполагаю, что его ремесло научило его всяким уловкам, в противном случае мы посвятим в свои планы Джона Мойдарта; у него есть здравый смысл, практичность и сообразительность, и он, вероятно, позволит этому старику на некоторое время выдавать себя за члена его клана. Что касается вас, майор, то мой камердинер будет на сегодняшний вечер вашим квартирмейстером.

Майор Дальгетти с легким сердцем откланялся и вышел, весьма польщенный оказанным ему приемом и в восторге от милостивого обращения своего нового начальника, который, как он пространно объяснил Раналду Мак-Ифу, своим поведением весьма напоминает ему бессмертного Густава Адольфа — Северного Льва и оплот протестантской веры.

Глава XVII

Построившись, войска пошли вперед..
И вслед ему с тоской смотрел народ.
И голод стал на берегу, как пес,
И горы снегу громоздил мороз
А он все шел, наперекор лишениям ..

«Тщета человеческих желаний»¹

На рассвете следующего дня Монтроз принял у себя в хижине старика Раналда и долго и подробно расспрашивал его о возможности проникнуть в графство Аргайл. Он записал его ответы, чтобы затем сличить их с показаниями двух его спутников, которых старик представил ему как очень опытных и надежных людей. Оказалось, что сведения всех троих полностью совпадают; однако, не удовлетворившись этим и считая, что в таком деле нужна особая предосторожность, маркиз сравнил полученные им сведения с теми, которые ему удалось собрать среди вождей, живших поблизости от места предстоящего вторжения; убедившись, что все сведения точно совпадают, он решил действовать, вполне полагаясь на них.

Только в одном Монтроз нашел нужным изменить свое первоначальное решение. Считая неудобным оставлять при себе юного Кеннета из опасения, что, если тайна его происхождения раскроется, таким поступком могут оскорбиться многочисленные кланы, которые питают ненависть к Сынам Тумана, Монтроз предложил майору Дальгетти принять мальчика под свое покровительство; а так как он высказал свою просьбу, основательно «сдобрив» ее — под предлогом приобретения одежды для юноши, — такое решение удовлетворило всех.

Перед самым завтраком, получив от Монтроза разрешение удалиться, майор Дальгетти отправился на поиски своих старых знакомых, лорда Ментейта и братьев Мак-Олеев; ему не терпелось поскорее сообщить им о своих приключениях и узнать от них подробности совершенного похода. Можно легко себе

¹ Перевод И. Миримского.

представить, с какой искренней радостью он был встречен людьми, для которых появление всякого нового лица было приятным разнообразием среди скуки лагерной жизни. Только один Аллан Мак-Олей весь как-то съежился при встрече со своим прежним знакомцем; однако, когда старший брат стал расспрашивать его о причине такого поведения, он не мог ничего объяснить, кроме того, что ему претит присутствие человека, который так недавно находился в обществе Аргайла и прочих врагов. Майор Дальгетти был несколько встревожен тем, что Аллан со свойственной ему сверхъестественной прозорливостью угадал, что он недавно находился среди враждебных Аллану людей; однако он вскоре успокоился, убедившись, что прозорливость ясновидца не всегда бывает непогрешимой.

Так как Раналд Мак-Иф поступил в распоряжение майора Дальгетти и находился под особым его покровительством, майору необходимо было представить его тем людям, с которыми ему предстояло чаще всего общаться. Свою одежду старик успел уже сменить на другую и вместо клетчатого пледа своего клана облачился в одежду, которую обычно носили жители отдаленных островов: нечто вроде жилета с рукавами и пришитой к нему юбкой. Это платье спереди имело шнуровку сверху донизу и несколько напоминало так называемый полонез, который до сих пор носят в Шотландии дети в семьях низших сословий. Узкие клетчатые штаны и шапочка довершали этот костюм, который был хорошо знаком старожилам прошлого столетия, выдавшим его на уроженцах дальних островов, ставших под знамена графа Мара в 1715 году.

Майор Дальгетти, искоса поглядывая на Аллана, представил Раналда Мак-Ифа под вымышленным именем Раналда Мак-Джиллихурана из Бенбекулы, бежавшего вместе с ним из подземелья маркиза Аргайла. Он отрекомендовал его как искусного арфиста и певца, а также как превосходного ясновидца или прорицателя. Делая это сообщение, майор Дальгетти мялся и запинаясь, и это было столь непохоже на его

обычную самоуверенность и развязность, что, несомненно, возбудило бы подозрения Аллана Мак-Олея, не будь его внимание всецело поглощено изучением лица незнакомца. Пристальный взгляд Аллана так смутил Раналда Мак-Ифа, что рука его невольно стала нащупывать рукоятку кинжала, словно он ждал нападения, как вдруг Аллан, перейдя через всю хижину, подошел к нему и подал ему руку в знак дружеского приветствия. Они уселись рядом и начали о чем-то беседовать вполголоса. Ни Ментейт, ни Ангюс Мак-Олей нисколько не были этим удивлены, ибо горцы, почитающие себя ясновидцами, составляют своего рода масонское братство и при встречах поверяют друг другу тайны своего пророческого дара.

— Скажи мне, омрачают ли видения твою душу? — спросил Аллан у своего нового знакомого.

— Омрачают, как тень, которая набегаёт на луну, когда она в середине неба и пророки предвещают недобрые времена.

— Пойди сюда, — сказал Аллан, — отойдем подалее, я хочу поговорить с тобой наедине, ибо я не раз слышал, что на ваших далеких островах видения бывают гораздо более явственными и яркими, нежели у нас, живущих слишком близко к саксам.

Пока они предавались своим мистическим рассуждениям, в хижину вошли два англичанина и радостно объявили Ангюсу Мак-Олею, что уже отдан приказ всем приготовиться к немедленному выступлению на запад. Сообщив эту новость, они весьма любезно приветствовали своего старого знакомого майора Дальгетти, которого они сразу узнали, и осведомились о здоровье его скакуна Густава.

— Покорно благодарю вас, джентльмены, — отвечал майор, — Густав здоров, хотя, как и его хозяин, несколько похудел и ребра его заметно обозначились по сравнению с тем временем, когда вы так любезно предлагали мне от него отделаться в Дарнлинварахе. Впрочем, могу вас заверить, что, прежде нежели вы совершите один или два перехода, к которым вы, по-видимому, готовитесь с большим удовольствием, вам, мои любезные рыцари, придется порастрасти

некоторую долю вашего английского мясца и, по всей вероятности, оставить позади парочку-другую английских лошадок.

Оба джентльмена заявили во всеуслышание, что им совершенно безразлично, что они найдут и что оставят позади, лишь бы сдвинуться с мертвой точки и перестать блуждать взад и вперед по графствам Ангюс и Эбердин в погоне за неприятелем, который не хочет ни драться, ни отступить.

— Если поход объявлен, — сказал Ангюс Мак-Олей, — то мне пора отдать приказания своим людям, а также позаботиться об Эннот Лайл, ибо путь во владения Мак-Каллумора будет куда более долгим и опасным, нежели предполагают эти сливки камберлендского рыцарства.

С этими словами он вышел из хижины.

— Эннот Лайл? — удивился Дальгетти. — Разве она участвует в походе?

— Еще бы, — отвечал сэр Джайлс Масгрейв, переводя взгляд с лорда Ментейта на Аллана Мак-Олея, — мы не можем ни тронуться в путь, ни дать сражения, ни наступать, ни отступать без мановения руки нашей царицы арф.

— Царицы мечей и щитов, — сказал бы я, — возразил другой англичанин, — ибо сама леди Монтроз не могла бы пожелать бóльших почестей: при ней состоят четыре девушки и столько же голоногих пажей, готовых к ее услугам.

— А как бы вы думали? — промолвил Аллан, внезапно обернувшись и прервав разговор с горцем. — Сами вы разве покинули бы невинную девушку, свою подругу детства, на произвол судьбы, под угрозой погибнуть от голода или умереть насильственной смертью? Ныне на доме моих предков не осталось крыши; наши посевы уничтожены, наш скот угнан; и вы должны благодарить господ бога, что, прибыв из менее суровой и более цивилизованной страны, в этой жестокой войне подвергаете опасности лишь свою собственную жизнь, не беспокоясь о том, что враг выместит свою злобу на беззащитных семьях, оставленных дома.

Англичане добродушно согласились с тем, что в этом отношении все преимущества на их стороне, после чего все разошлись и вернулись к своим делам и обязанностям.

Аллан несколько задержался, продолжая расспрашивать неохотно отвечавшего ему Раналда по поводу одного обстоятельства в своих видениях, которое его крайне удивляло.

— Неоднократно, — говорил Аллан, — посещало меня видение горца, который вонзал свой нож в грудь Ментейта, того молодого дворянина в расшитом золотом алом плаще, который только что вышел отсюда. Но как я ни старался, хотя всматривался до тех пор, пока мои глаза чуть не вылезали из орбит, я не мог разглядеть лицо этого горца или хотя бы догадаться, кто бы это мог быть; а между тем его облик казался мне хорошо знакомым.

— А не пробовал ли ты перевернуть свой плед, — спросил Раналд, — как это делают опытные ясновидцы в таких случаях?

— Пробовал, — отвечал Аллан глухим голосом и содрогаясь, словно от душевной боли.

— И в каком обличье являлся призрак? — спросил Раналд.

— Тоже с перевернутым пледом, — отвечал Аллан так же глухо и встревоженно.

— Так знай же, — молвил Раналд, — что твоя собственная рука, и ничья другая, совершит деяние, чья тень привиделась тебе.

— Сто раз эта мысль смущала меня, — отвечал Аллан, — но этого не может быть! Если бы даже я сам прочел это пророчество в книге судеб, я сказал бы все то же: этого не может быть! Мы связаны кровными узами и еще во сто крат более тесными узами: мы стояли плечом к плечу в сражении, и наши мечи обагрялись кровью общего врага... Нет, этого не может быть, чтобы я поднял руку на него!

— И все же это будет, — сказал Раналд, — хотя причина твоего деяния скрыта во мраке грядущего. Ты говоришь, — продолжал он, с трудом подавляя собственное волнение, — что, подобно охотничьим псам,

вы плечом к плечу преследовали добычу... А разве ты никогда не видел, как псы кидаются друг на друга и грызутся над трупом поверженного оленя!

— Это ложь! — воскликнул Аллан, вскакивая с места. — Это не предзнаменование неизбежной судьбы, а искушение злого духа, восставшего из адской бездны!

С этими словами он поспешно вышел из хижины.

— Поделом тебе! — сказал Сын Тумана, торжествующе глядя ему вслед. — Зазубренная стрела вошла тебе под ребро! Души убиенных, возвеселитесь! Ибо недалеко то время, когда мечи ваших убийц обагрятся их же собственной кровью!

На следующее утро все было готово, и Монтроз быстрым маршем повел войска вверх по течению реки Тэй. Его отряды беспорядочным потоком разлились по живописной долине озера Тэй, у истоков реки того же названия. Местность эта была населена Кэмбелами, но не вассалами Аргайла, а потомками другой ветви родственного дома Гленорхи, ныне известной под именем Брэдалбейнов. Захваченные врасплох, они не могли оказать никакого сопротивления, и им пришлось быть безучастными свидетелями того, как угоняли их стада. Продвигаясь таким образом в направлении озера Лох-Дохарт и разоряя все на своем пути, Монтроз дошел до того места, откуда начинался самый трудный этап его похода.

Для современной армии, даже при наличии хороших военных дорог, которые сейчас ведут через Тейн-драм к истокам озера Лох-Оуи, переход по обширным горным пустыням был бы делом весьма затруднительным. Но в те времена, и еще долгое время спустя, в этих местах вообще не было ни тропок, ни дорог, и, в довершение всего, горы были уже покрыты снегом. Величественное зрелище являли собой эти горные массивы, уступами громоздившиеся друг на друга; первые ряды их сверкали ослепительной белизной, тогда как на более отдаленных вершинах лежал розоватый отблеск заходящего зимнего солнца. Самая высокая вершина, Бен Круахан, словно твердыня горного духа, высилась над цепью гор, и ее сверкаю-

щий белизной конус был виден на много миль вокруг.

Солдаты Монтроза не принадлежали к числу людей, которых могла бы утратить величественная и грозная картина, развернувшаяся перед ними. Многие из них принадлежали к той древней породе горцев, которые не только охотно улеглись бы спать на снегу, но сочли бы излишней роскошью подложить себе под голову ком снега вместо подушки. Кровавая месть и богатая добыча ожидали их по ту сторону снеговых гор, и их не пугали никакие трудности перехода. Кроме того, Монтроз не давал им пасть духом. Он приказал волынщикам идти в авангарде и играть старинный шотландский пиброх под названием «Hoggil пат во» (что означает: «По снежным сугробам мы идем за добычей...»), пронзительные звуки которого так часто утешали жителей долины Леннокс.¹ Войска продвигались с быстротой, присущей горцам, и вскоре углубились в опасный проход, через который Раналд взялся их провести; старик шел впереди войска с небольшим отрядом разведчиков.

Силы человека кажутся особенно ничтожными, когда они противостоят величию грозных стихийных сил. Победоносная армия Монтроза, наводившая ужас на всю Шотландию, теперь, пробиваясь через этот страшный горный проход, казалась ничтожной горсточкой скитальцев, которых вот-вот поглотит разверстая пасть ущелья, готовая сомкнуться за ними. Сам Монтроз уже начинал было раскаиваться в своей дерзкой затее, когда, взглянув вниз с высоты первой достигнутой им вершины, он увидел свою разбросанную по склонам маленькую армию. Трудность продвижения вперед была столь велика, что линия войска сильно растягивалась и промежутки между авангардом, центром и арьергардом становились все больше, — это было и неудобно и опасно. Монтроз с беспокойством вглядывался в каждый выступ скалы,

¹ Военный марш Мак-Фарленов, воинственного и хищного клана, расселенного по западным берегам озера Лох-Ломонд, (Прим. автора)

опасаясь, что за ним притаился неприятель, готовый защищаться, и впоследствии он неоднократно повторял, что если бы Страт-Филланский перевал был защищен сотней-другой мужественных людей, то это не только приостановило бы его наступление, но вся его армия подверглась бы опасности быть уничтоженной. Однако беззаботность, погубившая не одну сильную страну и надежную крепость, предала и на сей раз владения Аргайла в руки его врагов. Вторгшемуся неприятелю приходилось считаться на своем пути только с естественными препятствиями и со снегопадами, которые, на его счастье, не были слишком обильными. Как только армия Монтроза достигла вершины горного хребта, отделяющего Аргайлшир от Брэдалбейнского округа, она ринулась вниз и напала на открывшиеся перед нею доли с яростью, не оставляющей сомнений в том, какие намерения побудили горцев совершить этот трудный и чреватый опасностями поход.

Монтроз разделил свою армию на три отряда, дабы захватить большее пространство и посеять большую панику: одним из отрядов командовал предводитель клана Раналд, второй был поручен командованию Колкитто, а третий остался под начальством самого Монтроза. Затем он проник во владения Аргайла с трех сторон. Никакого сопротивления оказано не было. Первые вести о вражеском нашествии принесли пастухи, бежавшие с горных пастбищ, где были застигнуты врасплох; жители не выступили на защиту своих владений, они были рассеяны, обезоружены, убиты неприятелем. Майор Дальгетти, посланный вперед, на приступ Инверэри, с тем небольшим отрядом конницы, которым располагало войско, действовал настолько успешно, что чуть не захватил самого Аргайла, как он выражался, *inter rosula*,¹ и только стремительное бегство на галере спасло маркиза от смерти или позорного плена. Но бедствия, которых избежал Аргайл, обрушились всею тяжестью на его клан и на его владения. Опустошение, произве-

¹ За стаканом вина (лат.).

денное Монтрозом в этом злосчастном краю, хоть и вполне отвечало духу времени и обычаям страны, однако справедливо отмечается историками как темное пятно на деяниях и личности Монтроза.

Между тем Аргайл явился в Эдинбург и подал жалобу парламенту. Правительство немедленно собрало значительную армию под командованием генерала Бэйли, способного и надежного сторонника парламента, разделившего свои полномочия с прославленным сэром Джоном Урри, наемным воином, как и Дальгетти, который уже дважды за время гражданской войны успел перейти со стороны на сторону и которому суждено было до ее окончания переметнуться еще и в третий раз. Со своей стороны Аргайл, пылая негодованием, приступил к набору своих собственных многочисленных войск, чтобы отплатить заклятому врагу. Его главный штаб находился в Данбартоне, где вскоре собрался большой отряд, состоявший преимущественно из его родичей, подчиненных и слуг. Соединившись с Бэйли и Урри, подоспевшими туда же во главе весьма значительных регулярных сил, Аргайл приготовился к походу на Аргайлшир, намереваясь жестоко покарать дерзкого захватчика его наследственных владений.

Но в то время как эти две грозные армии соединились для совместного наступления, Монтроз вынужден был покинуть разоренный им край, ибо узнал о приближении третьей армии, созданной на севере под командованием графа Сифорта, который после некоторых колебаний стал на сторону парламента и с помощью испытанных воинов Инвернесского гарнизона, собрав большое войско, угрожал теперь Монтрозу из Инвернессшира. Отрезанный в разоренном и враждебно настроенном краю, теснимый со всех сторон превосходящими силами наступающего неприятеля, Монтроз очутился в трудном положении, и гибель его казалась неминуемой. Но именно при этих обстоятельствах деятельная и решительная натура великого маркиза проявилась во всем своем блеске, вызвав восторг и ликование его друзей и ужас и изумление его врагов. словно по волшебству, Монтроз собрал

свое рассеянное по всему графству войско, занятое грабежом и разбоем. И едва лишь оно было собрано, как Аргайл и его союзники — правительственные генералы — получили сведения, что роялисты, внезапно покинув пределы Аргайлшира, отступили на север и ушли в безлюдные и непроходимые Лохэберские горы.

Военачальники, сражавшиеся против Монтроза, тотчас же поняли, что план его заключается в том, чтобы дать сражение Сифорту и по возможности уничтожить его войско прежде, чем они успеют подойти к нему на выручку. Это вызвало соответствующие изменения в их стратегических планах. Предоставив Сифорту самому разделяться с Монтрозом, Урри и Бэйли вновь отделили свои войска от ополчения Аргайла; имея под своей командой преимущественно конницу и части южношотландской армии, они двинулись вдоль южного склона Грэмпиенского горного хребта к востоку, в графство Ангюс, с намерением пробраться оттуда в Эбердиншир, наперерез Монтрозу, в случае если он сделает попытку ускользнуть в этом направлении.

Аргайл со своим кланом и прочими отрядами решил идти следом за Монтрозом, дабы Монтроз, с кем бы ему ни пришлось сражаться — с Сифортом или Бэйли и Урри, — оказался между двух огней благодаря этой третьей армии, которая на безопасном расстоянии станет угрожать ему с тыла.

С этой целью Аргайл снова двинулся в сторону Инверэри, на каждом шагу убеждаясь в необычайной жестокости, с какой враждебные ему кланы расправлялись с его людьми и разоряли его владения. И каковы бы ни были благородные чувства горцев, — а такие чувства у них были, — милосердия к побежденным они не знали. Но именно благодаря этому безжалостному опустошению страны войско пополнялось новыми сторонниками. Среди горцев и по сию пору существует поговорка: «Чей дом сожжен — тот должен стать солдатом», и сотни оставшихся без крова жителей этих злополучных гор и долин не видели теперь иного выхода, как обрушиться на других все бед-

ствия, которые им самим пришлось претерпеть, и много счастья в будущем — кроме сладости мщения.

Таким образом, войска Аргайла пополнялись благодаря тем самым обстоятельствам, которые послужили к разорению его страны, и вскоре Аргайл очутился во главе трех тысяч храбрых и энергичных солдат под началом дворян из его собственного рода, славившихся своей доблестью. Его ближайшими помощниками были сэр Дункан Кэмбел Арденвор и сэр Дункан Кэмбел Охенбрэк¹ — опытный и закаленный в боях воин, которого он нарочно для этого отозвал из Ирландии, где в ту пору шла война. Трезвый ум самого Аргайла, однако, умерял воинственный пыл его более отважных соратников, и было решено, несмотря на усиление армии, придерживаться прежнего плана действия, а именно: осторожно преследовать Монтроза, куда бы он ни направился, избегая столкновений, пока не представится удобный случай напасть на него с тыла в то время, как он будет с фронта отбиваться от другого врага.

Глава XVIII

Песнь походная Доналда Черного,
Песнь походная Черного Доналда,
Чу! Волюнки! Развернуто знамя
На свиданье друзей в Инверлохи.²

Военная дорога, соединяющая цепь укреплений и идущая в направлении Каледонского канала, в настоящее время открыла доступ в горную долину, вернее — глубокую расселину, пересекающую почти весь остров; некогда эта расселина, несомненно, представляла собой морской залив, и до сего времени в ней сохранилась система озер, посредством которых современная техника соединила Северное море с Атлантическим океаном. Дороги и тропинки, по которым

¹ Лицо историческое. (Прим. автора.)

² Перевод Т. Казмичевой.

местные жители обычно пробирались через эту обширную горную долину, зимой 1645—1646 годов находились в том же состоянии, в каком их впоследствии застал некий ирландский военный инженер, которому было предложено преобразовать их в удобные военные дороги. Панегирик ему начинается и, насколько мне помнится, заканчивается следующим двустишием:

Взглянуть бы вам, что было здесь до Уэда,

Дороги эти — рук его победа,¹

Но как ни были плохи эти дороги, Монтроз избегал даже их и вел свою армию, точно стадо диких оленей, с горы на гору, из чащи в чащу, так что врагу невозможно было выследить его передвижения. В то же время сам Монтроз имел точнейшие сведения о неприятеле — благодаря дружественно расположенным к нему кланам Камеронов и Мак-Донелов, через горные владения которых следовала его армия. Был отдан строжайший приказ следить за передвижениями войск Аргайла, и все сведения о его приближении должны были немедленно сообщаться самому главнокомандующему.

Была лунная ночь, и Монтроз, в полном изнеможении после дневного перехода, лег спать в жалкой лачуге, служившей ему палаткой. Он проспал не более двух часов, когда кто-то дотронулся до его плеча. Открыв глаза, он по статной фигуре и глухому голосу сразу узнал вождя клана Камеронов.

— У меня есть новости для вас, — проговорил вошедший, — они заслуживают того, чтобы вы встали и выслушали их.

— Иных нельзя и ожидать от Мак-Илду,² — отвечал Монтроз, называя вождя его родовым именем. — Хорошие вести или дурные?

— Решайте сами, — сказал Мак-Илду.

— А достоверны ли они? — спросил Монтроз.

— Да, — отвечал Мак-Илду, — иначе их сообщил

¹ Перевод И. Миримского.

² Мак-Коннел-Дху — потомок Черного Доналда. (Прим. автора.)

бы вам кто-нибудь другой... Так знайте же: мне наскучило сопровождать этого злосчастливого Дальгетти с его горсточкой конницы, которая задерживает меня на целые часы и заставляет плестись со скоростью хромого барсука, — и я, захватив с собой шестерых своих людей, ушел за четыре мили вперед, в направлении Инверлохи; тут мне повстречался Ян Гленрой, который ходил в разведку. Аргайл идет на Инверлохи во главе трехтысячного войска отборных солдат под начальством самых доблестных Сынов Диармида. Вот мои вести — они достоверны. Добрые это вести или дурные — решайте сами.

— Разумеется, добрые, — живо и весело отвечал Монтроз, — голос Мак-Илду всегда приятен для слуха Монтроза, и особенно приятен, когда предрекает хорошую схватку. Сколько нас числом?

Он приказал подать огня и без труда удостоверился в том, что большая часть его войска, как обычно, разошлась по домам, чтобы припрятать свою добычу, и при нем осталось всего каких-нибудь тысяча двести — тысяча четыреста человек.

— Немногим больше одной трети армии Аргайла, — сказал Монтроз, помолчав, — и притом горцы против горцев! С божьей помощью и во славу короля я бы не колеблясь дал сражение, будь у меня хоть один против двух.

— Тогда отбросьте колебания, — сказал Камерон, — ибо когда ваши трубы протрубят сбор к нападению на Мак-Каллумора, ни один человек в наших ущельях не останется глух к этому призыву. Гленгарри, Киппох, я сам — все мы готовы огнем и мечом поразить того негодяя, который посмел бы под лобным предлогом отстать от нас. Завтра или послезавтра настанет день великой битвы, и каков бы ни был исход, всякий, кто носит имя Мак-Донелов или Камеронов, будет принимать в ней участие.

— Хорошо сказано, мой благородный друг, — промолвил Монтроз, пожимая ему руку. — И я был бы просто трусом, если бы, имея таких союзников, посмел еще сомневаться в успехе! Мы повернем обратно и пойдем навстречу Мак-Каллумору, который пресле-

дует нас по пятам, как ворон, надеясь расклевать остатки нашей армии, если более храбрый враг сумеет одолеть ее! Велите созвать всех вождей и начальников, а вы, первый принесший нам весть о столь радостном событии — ибо оно будет таковым! — вы, Мак-Илду, укажете нам лучшую и наикратчайшую дорогу.

— С охотой, — отвечал Мак-Илду. — Если я указал вам путь, по которому вы могли отступать в этой пустыне, то теперь я тем охотнее научу вас, как пробиться навстречу врагу!

Началась всеобщая суматоха, и по всему лагерю вожди кланов торопливо подымались со своих жестких постелей, на которых искали хоть краткого отдыха.

— Вот уж не думал, — сказал майор Дальгетти, поднятый с ложа, состоявшего из охапки вереска, — что так трудно расставаться с постелью, ничуть не менее жесткой, нежели веник, которым подметают конюшню. Но, конечно, имея в своей армии всего лишь одного-единственного человека, по-настоящему сведущего в военном деле, его светлость маркиз волей-неволей должен возлагать на меня тяжелые обязанности.

Рассуждая таким образом, он явился на военный совет, где Монтроз обычно выслушивал майора довольно внимательно, несмотря на его многословие и педантизм, — отчасти потому, что Дальгетти, и в самом деле, обладал хорошим знанием военного дела и большим опытом, а отчасти потому, что это избавляло Монтроза от необходимости всецело присоединяться к мнениям горных вождей и давало ему лишние основания оспаривать эти мнения, когда они противоречили его собственным взглядам. Узнав, о чем идет речь, Дальгетти радостно приветствовал предложение повернуть навстречу Аргайлу; он сравнил этот план с отважным решением великого Густава Адольфа, когда тот напал на герцога Баварского и дал возможность своим войскам пожить в этой плодородной стране, несмотря на то, что с севера ему угрожала огромная армия Валленштейна, набранная в Богемии.

Предводители Гленгарри, Киппox и Лохил, чьи кланы, известные своей храбростью и военной доблестью, жили по соседству с предполагаемым театром военных действий, послали огненный крест своим вассалам, призывая каждого, кто мог владеть оружием, явиться к наместнику короля и стать под знамена своих вождей в походе на Инверлохи. Приказ был дан весьма торжественно и выполнен быстро и охотно. Воинственный дух горцев, их преданность королю, — ибо в их глазах король был вождем, которому изменили члены его клана, — а также их слепое повиновение воле предводителей привлекли в войска Монтроза не только всех жителей в округе, которые способны были носить оружие, но даже некоторых из тех, кто по своему возрасту мог бы уже считаться неспособным владеть им. В первый день похода, когда армия двигалась напрямик через горы Лохэбера, о чем неприятель даже и не подозревал, силы Монтроза продолжали расти; из каждого ущелья выходили люди и вливались в ряды войска, становясь под знамена своих вождей. Эти пополнения поднимали дух армии, ибо вскоре оказалось, что численность ее увеличилась более чем на одну четверть, как и предсказывал доблестный вождь клана Камеронов.

Тем временем Аргайл во главе своего храброго войска продвинулся вдоль южного берега озера Лох-Ил и дошел до реки Лохи, соединяющей это озеро с озером Лох-Лохи. Старинный замок Инверлохи, некогда, по преданию, королевская крепость, все еще представлял собой надежное укрытие для главной квартиры, а в окрестной долине, где река Лохи вливается в озеро Лох-Ил, было достаточно места для того, чтобы армия Аргайла могла стать здесь лагерем. На баржах был подвезен провиант, так что во всех отношениях армия находилась в самых выгодных условиях, каких можно бы желать и ожидать. Аргайл, совещаясь с Охенбрэком и Арденвором, высказал полную уверенность в том, что Монтроз на краю гибели, что войско его будет таять по мере продвижения на восток по трудным дорогам; что если он двинется на запад, он наткнется на Урри и Бэйли; если на север,

то попадет в лапы Сифорта; а если он вздумает где-нибудь остановиться, то будет атакован всеми тремя армиями сразу.

— Меня отнюдь не радует, милорд, что Джеймс Грэм будет разбит без нашего участия, — сказал Охенбрэк. — Он оставил в Аргайлшире такую память по себе, что я сгораю от нетерпения рассчитаться с ним за каждую каплю пролитой им крови. Я не люблю платить такие долги чужими руками.

— Вы слишком щепетильны, — отвечал Аргайл. — Не все ли равно, от чьей руки прольется кровь Грэмов? Важно одно, чтобы перестала литься кровь Сынов Диармида. А вы как думаете, Арденвор?

— Я полагаю, милорд, — отвечал сэр Дункан, — что желание Охенбрэка скоро исполнится и он будет иметь полную возможность лично свести свои счета с Монтрозом. До наших аванпостов дошли сведения, будто Камероны стягивают все свои силы в отрогах Бен-Невиса; по-видимому, они идут на соединение с Монтрозом, а отнюдь не собираются прикрывать его отступление.

— Они попросту замышляют какой-нибудь набег, — сказал Аргайл. — Все это козни Мак-Илду, которые он именует «преданностью королю». Они, по-видимому, рассчитывают просто напасть на наши аванпосты или помешать нашему завтрашнему переходу.

— Я выслал лазутчиков по всем направлениям, — сказал сэр Дункан, — чтобы получить самые точные сведения; мы скоро узнаем, правда ли, что они сосредоточивают свои силы, где именно и с какими намерениями.

До позднего часа не было никаких вестей; и лишь когда взошла луна, заметная суeta в лагере и вслед за тем шум в самом замке возвестили о том, что получены важные сообщения. Некоторые из лазутчиков, высланных Арденвором, возвратились, не собрав никаких сведений, кроме неясных слухов о каком-то движении во владениях Камеронов. Говорили, будто в отрогах Бен-Невиса слышатся те непонятные и зловещие звуки, которыми горцы иногда предупреждают о надвигающейся буре. Другие разведчики, чье усер-

дие завело их дальше в глубь страны, были изловлены и убиты или уведены в плен жителями ущелий, в которые они пытались проникнуть. В конце концов, ввиду быстрого продвижения вперед армии Монтроза, его авангард наткнулся на аванпосты Аргайла, и после небольшой перестрелки из мушкетов и арбалетов обе стороны отступили к своим главным силам, чтобы сделать донесение и получить дальнейшие приказания.

Сэр Дункан Кэмбел и Охенбрэк немедленно вскочили на коней и помчались проверять аванпосты, между тем как Аргайл поддержал свою славу опытного главнокомандующего, выстроив главные силы на равнине, ибо было совершенно ясно, что атаки следует ждать в ту же ночь или не позднее утра. Монтроз с такими предосторожностями расположил свои войска в горных ущельях, что никакие попытки, предпринятые Охенбрэком и Арденвором, не помогли им установить в точности силы противника. Однако можно было предполагать, что при любом подсчете силы Монтроза все же меньше их собственных, и они возвратились к Аргайлу, чтобы сообщить ему свои соображения; но сей вельможа отказался поверить, что Монтроз сам ведет против него войско. Это было бы чистым безумием, уверял он, на какое не способен даже Джеймс Грэм при всей своей безрассудной самонадеянности, и Аргайл не сомневался в том, что имеет против себя лишь своих исконных врагов — Гленко, Киппоха и Гленгарри; или же что Мак-Вориф с Макферсонами собрали отряд, значительно меньший по численности, нежели его собственное войско, — а следовательно, ему быстро удастся рассеять его или заставить капитулировать.

Сторонники Аргайла были настроены очень бодро и пылали жадой мщения за разгром, которому недавно подверглась их страна; ночь прошла в тревожном ожидании и в надежде, что вместе с зарею наступит желанный час возмездия. На аванпостах обеих армий стояли недремлющие часовые, и солдаты Аргайла спали в том боевом порядке, которого должны были держаться на следующий день.

Бледные лучи занимающегося утра едва осветили вершины горных громад, когда военачальники обеих армий начали готовиться к предстоящему бою. Это было второго февраля 1646 года. Войска Аргайла были выстроены в две шеренги неподалеку от того места, где река, впадая в озеро, образует угол, и являли зрелище внушительное и грозное. Охенбрэк охотно начал бы сражение, атаковав аванпосты неприятеля, но Аргайл, придерживаясь более осторожной тактики, предпочитал принять бой, нежели наступать самому. Вскоре послышались сигналы, возвещающие о том, что им недолго придется ждать. Кэмбелы услышали доносившиеся из горных ущелий воинственные напевы различных кланов, идущих в атаку. Громко отдавался в горах боевой клич Камеронов, начинающийся зловещим обращением к волкам и воронам: «Идите ко мне, и я накормлю вас мертвечиной». Клан Гленгарри не оставался безмолвным, отчетливо звучал его воинственный призыв на языке шотландских бардов; и уже явственно можно было разобрать звуки боевых маршей других кланов, появляющихся на выступках гор, откуда они начинали спускаться в долину.

— Вот видите, — сказал Аргайл своим приближенным, — я вам говорил, что нам придется иметь дело только с нашими соседями. Джеймс Грэм не посмел показать нам свое знамя.

В это самое мгновение раздались громкие звуки труб, игравших туш, которым шотландцы, по заведенному издревле обычаю, приветствовали королевский штандарт.

— По этому сигналу вы можете судить, милорд, — промолвил сэр Кэмбел, — что тот, кто выдает себя за наместника короля, находится среди своих солдат.

— И он, по-видимому, ведет за собой конницу, — присовокупил Охенбрэк, — чего я не предполагал. Но неужели это устрасит нас, милорд, когда перед нами враг, которому мы должны отомстить за обиды?

Аргайл молчал, поглядывая на свою руку, висевшую на перевязи после неудачного падения с лошади во время последнего перехода.

— Воистину, милорд, — с жаром воскликнул Арденвор, — вы в настоящее время не можете владеть ни мечом, ни пистолетом! Вам необходимо удалиться на галеру; ваша жизнь дорога нам, ибо вы мозг нашего клана... Ваша рука, рука воина, не может сейчас быть нам полезна.

— Нет, — отвечал Аргайл, в душе которого гордость боролась с малодушием. — Да не посмеет никто сказать, что маркиз Аргайл бежал перед Монтрозом. Если я не могу сражаться, то по крайней мере я хочу умереть среди своих сынов.

Прочие вожди клана Кэмбелов в один голос заклинали и умоляли своего главнокомандующего предоставить на сей день командование Арденвору и Охенбрэку и наблюдать за сражением издали, находясь в безопасности. Мы не решаемся запятнать честь Аргайла, обвинив его в трусости, ибо, хотя его жизненный путь и не был отмечен особыми подвигами, он с таким достоинством и хладнокровием держался в час своей трагической смерти, что поведение его в этой битве, как и в некоторых других случаях, следует скорее приписать нерешительности, нежели недостатку мужества. История знает немало таких примеров: когда глухому, несмелому голосу сердца, нашепывающему человеку, что его жизнь еще нужна ему, вторят голоса окружающих, уверяя, что жизнь его не менее нужна для общего блага — даже более отважные люди, нежели Аргайл, могут поддаться искушению.

— Прошу вас, проводите его до галеры, сэр Дункан, — сказал Охенбрэк своему родичу, — долг обязывает меня позаботиться о том, чтобы его нерешительность не передалась кому-нибудь из нас.

С этими словами он устремился в ряды воинов, уговаривая, приказывая и заклиная их помнить о своей былой славе и нынешнем превосходстве; помнить о мщении, которым они наслаются в случае успеха, и не забывать об участии, которая ожидает их в случае поражения; пламенными словами старался он заронить в души солдат искру того огня, который горел в его груди.

Тем временем Аргайл медленно, как бы нехотя, следовал за своим услужливым родичем, увлекавшим его на берег озера, откуда его препроводили на галеру; стоя на палубе, он — правда, без риска, зато и без славы — наблюдал за развернувшимися в долине боевыми действиями.

Несмотря на то, что времени терять было нельзя, сэр Кэмбел Арденвор постоял на берегу, провожая глазами корабль, увозивший его военачальника с поля сражения. Трудно выразить словами чувства, волновавшие его в ту минуту: предводитель рода был как бы отцом всего клана, и ни один из членов его не дерзал судить своего вождя, как судил бы любого другого из смертных. К тому же Аргайл, жестокий и суровый с чужими, был щедр и милостив к своим родичам, и благородное сердце рыцаря Арденвора обливалось кровью при мысли о том, как будет истолковано поведение маркиза.

«Может быть, так оно и лучше, — мысленно произнес он, стараясь подавить волнение. — Но... из сотни его предков я не знаю ни одного, кто покинул бы поле сражения, пока реет знамя Диармидов, угрожая закланному врагу».

Громкие крики заставили его оглянуться, и он поспешил возвратиться на свой пост на правом фланге небольшой армии Аргайла.

Отсутствие Аргайла не прошло незамеченным и для его бдительного врага, который, занимая позицию на более возвышенном месте, мог наблюдать за всем, что происходило внизу. Увидев нескольких всадников, скачущих в направлении озера, он понял, что отступающие — люди высокого звания.

— Они уводят лошадей подальше, чтобы уберечь их от опасности, — заметил Дальгетти, — как это делают все осмотрительные воины. Вон сэр Дункан Кэмбел на гнедом мерине, которого я облюбовал себе в качестве запасного коня.

— Вы ошибаетесь, майор, — возразил Монтроз с презрительной усмешкой, — они спасают своего драгоценного вождя. Немедленно дайте сигнал к атаке! Передайте приказ по рядам! Благородные вожди —

Гленгарри, Киппох, Мак-Вориф — вперед! Майор Дальгетти, скачите к Мак-Илду и скажите ему, чтобы он немедленно наступал, и возвращайтесь обратно ко мне с нашей конницей: пусть она вместе с ирландцами останется в резерве.

Глава XIX

Как пену тысячной волны —
утес, так встретил Инисфейла
Лохлин.

*Оссиан*¹

Трубы и волынки, эти громогласные глашатаи кровопролития и смерти, грянули разом, подавая сигнал к наступлению; им в ответ раздался дружный крик более двух тысяч воинов и звонкое эхо, прокатившееся по горам и долам позади них. Воины Монтроза тремя колоннами устремились вниз из темных ущелий, скрывавших их до сих пор от взора неприятеля, и с отчаянной решимостью бросились на Кэмбелов, стойко ожидавших нападения. За атакующими колоннами под начальством Колкитто шли ирландцы, составлявшие резерв. Они несли королевский штандарт; тут же был сам Монтроз; с флангов, под командой Дальгетти, шла конница, около пятидесяти всадников, каким-то чудом сохранившая относительную боеспособность.

Правую колонну рьялистов вел Гленгарри, левую — Лохил, а центром командовал граф Ментейт, который предпочел сражаться в пешем строю в одежде горца, нежели оставаться в тылу в рядах конницы.

С дикой яростью, вошедшей в поговорку, горцы стремительно бросились в атаку; они стреляли из ружей и выпускали свои стрелы почти в упор по неприятелю, который мужественно выдерживал их натиск. Будучи лучше вооружены огнестрельным оружием, нежели противник, и стоя на месте, — следова-

¹ Перевод Т. Казмичевой.

тельно, имея возможность вернее целиться, — сторонники Аргайла наносили своим огнем гораздо больше урона, нежели терпели сами. Убедившись в этом, роялистские кланы бросились в рукопашный бой и в двух местах смяли ряды неприятеля. В сражении с регулярными войсками это привело бы к победе; но здесь горцы шли против горцев, и род оружия, а также искусство владеть им были одинаковы с обеих сторон.

Схватка была отчаянной. Лязг сталкивающихся мечей и звон щитов под ударами секир смешивались с дикими криками горцев, которые они обычно выпускают во время боя, пляски и любого состязания в силе. Многие противники были знакомы между собой и старались перешеголять друг друга либо из личной ненависти, либо из более благородного чувства — соревнования в доблести. Ни одна из сторон не уступала ни пяди, и места убитых (а убитых было немало с обеих сторон) тотчас же занимали другие воины, рвавшиеся в первые ряды, навстречу опасности. Пар, точно от кипящего котла, поднимался в зимнем морозном воздухе и носился над сражающимися.

Так обстояло дело на правом фланге и в центре, без каких-либо решительных результатов, кроме множества убитых и раненых с той и другой стороны.

На правом фланге Кэмбелов рыцарь Арденвор добился некоторого преимущества благодаря своему боевому опыту и численному превосходству сил. Он обошел роялистов с фланга в тот момент, когда они ринулись в атаку, так что они очутились под перекрестным огнем с фронта и тыла и, несмотря на отчаянные усилия их начальника, пришли в замешательство. Тогда сэр Дункан отдал приказ атаковать неприятеля и, таким образом, совершенно неожиданно перешел в наступление в ту самую минуту, когда, казалось, он сам должен подвергнуться нападению. Подобная перемена положения всегда вносит смещение и часто приводит к роковым последствиям. Но тут подоспели ирландцы, бывшие в резерве, и под их сильным и непрерывным огнем рыцарь Арденвор потерял свое преимущество и вынужден был удовлетвориться оборонительными действиями. Тем време-

нем маркиз Монтроз, пользуясь прикрытием редкого березняка и дыма, поднимавшегося над полем от частых залпов ирландских мушкетов, крикнул Дальгетти, чтобы тот следовал за ним со своей конницей, и, зайдя с правого фланга, или даже в тыл врага, приказал шести трубачам трубить атаку. Звуки кавалерийских труб и топот скачущей конницы произвели на правом фланге Аргайла такое смятение, какого не могли бы произвести никакие иные звуки. В те времена горцы испытывали, подобно перуанцам, суеверный страх перед конницей и имели довольно своеобразное представление о том, каким способом обучают коней военному ремеслу. Поэтому, как только ряды их оказались внезапно смятыми и среди них появились существа, внушавшие им смертельный страх, всеобщая паника охватила горцев, несмотря на все попытки сэра Дункана образумить их. Поистине достаточно было одного майора Дальгетти, закованного в непроницаемые доспехи и поднимавшего Густава на дыбы, что делало более увесистым каждый его удар, чтобы новизна этого зрелища устрошила тех, кто никогда не видел ничего похожего на верхового коня, если не считать низкорослой лошадки, ковыляющей под тяжестью горца, вдвое выше ее самой.

Отброшенные было роялисты вновь перешли в наступление; ирландцы, сохраняя строй, поддерживали непрерывный и сокрушительный огонь. Сторонники Аргайла не устояли: смешав ряды, они обратились в бегство, большая часть бежала по направлению к озеру, остальные бросились врассыпную. Поражение правого фланга, само по себе решающее, оказалось непоправимым из-за смерти Охенбрэка, который пал, пытаясь восстановить порядок.

Рыцарь Арденвор, собрав отряд в две-три сотни человек, преимущественно знатных дворян, славившихся своей доблестью (считалось, что в роду Кэмбелов больше знатных дворян, нежели в любом другом из горных кланов), с беспримерным мужеством пытался прикрыть беспорядочное отступление своих солдат. Но это только привело к гибели их же самих,

ибо противник вновь и вновь нападал со свежими силами, разъединяя их и принуждая отбиваться поодиночке, пока наконец им больше ничего не оставалось, как дорого продать свою жизнь, оказывая врагу сопротивление до последнего дыхания.

— Почетный плен, сэръ Дункан! — воскликнул Дальгетти, увидев своего недавнего радушного хозяина, с двумя родичами отбивавшегося от нескольких теснивших их горцев. Дабы подкрепить свое предложение, майор подскочил к нему с поднятым палахом. Вместо ответа сэръ Дункан выстрелил в него в упор из пистолета, но пуля, не задев Дальгетти, попала прямо в сердце благородного Густава, и тот, мертвый, рухнул на землю. Раналд Мак-Иф, бывший среди горцев, теснивших сэра Дункана, воспользовался этим случаем, чтобы сразить старого рыцаря своим мечом в то мгновение, когда тот отвернулся, чтобы выстрелить в майора.

Но тут появился Аллан Мак-Олей. Кроме Раналда, все горцы, сражавшиеся в этой части поля, были из отряда его старшего брата.

— Мерзавцы! — закричал Аллан. — Кто из вас посмел это сделать, когда я строго-настрого приказал захватить рыцаря Арденвора живым?

Полдюжины ловких рук, спешивших обождать поверженного рыцаря, оружие и роскошная одежда которого вполне соответствовали его высокому званию, мгновенно прекратили свое занятие, и в то же время три голоса стали наперебой оправдываться, сваливая всю вину на «островитянина», как они называли Раналда Мак-Ифа.

— Проклятый пес! — крикнул Аллан, в порыве гнева забывая о том, что Раналд его собрат по ясновидению. — Ступай вперед и не смей его больше трогать, если не хочешь погибнуть от моей руки!

Теперь они были почти наедине, ибо угрозы Аллана Мак-Олея разогнали людей его клана, а все прочие устремились к озеру, сея ужас и смятение на своем пути и оставляя позади только убитых и умирающих. Искушение было слишком велико для мстительной натуры Мак-Ифа.

— Моя смерть от твоей руки, по локоть обогреной кровью моих родичей, — произнес он, отвечая на угрозу Аллана не менее угрожающим тоном, — не более вероятна, чем твоя гибель от моей руки! — И в ту же минуту он нанес Аллану удар столь молниеносно, что тот едва успел подставить свой щит.

— Негодяй! — воскликнул Аллан. — Что это значит?

— Я Раналд, Сын Тумана! — отвечал мнимый островитянин, нанося Аллану второй удар, и между ними завязалась отчаянная борьба. Но, видимо, Аллану на роду было написано карать сынов этого дикого племени в отмщение за страдания своей матери, ибо исход этой схватки был такой же, как и всех предыдущих. После нескольких яростных ударов с той и другой стороны Раналд Мак-Иф упал, тяжело раненный в голову, и Мак-Олей, наступив ему на грудь ногой, намеревался пронзить его палашиком, как вдруг кто-то сильным толчком отвел клинок смертоносного оружия. Это сделал не кто иной, как Дальгетти, который, будучи оглушен падением и придавлен мертвым телом своего коня, только сейчас высвободил из-под него свои ноги и окончательно пришел в себя.

— Уберите прочь оружие, — сказал он Аллану, — и не трогайте этого человека, ибо он состоит на службе у его светлости маркиза Монтроза, и здесь я отвечаю за его безопасность! И должен вам сказать, что, по военным законам, ни один честный воин не имеет права во время сражения сводить свои личные счета, — *flagrante bello, multo majus flagrante proelio*.¹

— Глупец! — сказал Аллан. — Поди прочь и не дерзай становиться между тигром и его добычей!

Но, вместо того чтобы повиноваться, Дальгетти перешагнул через простертого на земле Мак-Ифа и дал понять Аллану, что если тот называет себя тигром, то ему придется иметь дело со львом. Этого

¹ В разгар войны, а тем более в разгар сражения (*лат.*).

было вполне достаточно, чтобы вся ярость воинственного ясновидца обрушилась на того, кто помешал ему утолить свою жажду мщения, и между обоими противниками завязалась жестокая драка.

Схватка между Алланом и Раналдом прошла незамеченной, ибо личность последнего была мало известна среди солдат Монтроза, но поединок между Алланом и Дальгетти, которых все хорошо знали, привлек всеобщее внимание и, к счастью, и самого Монтроза, который прибыл сюда, чтобы собрать свою конницу и продолжать преследование неприятеля на берегах озера Лох-Ил. Понимая, к каким роковым последствиям могут привести размолвки среди воинов его небольшой армии, он поскакал к месту происшествия и, увидев поверженного Мак-Ифа, над которым стоял Дальгетти, пытаясь защитить его от Аллана, Монтроз мгновенно догадался о причине ссоры и тотчас нашел средство прекратить ее.

— Стыдитесь! — сказал он. — Виданное ли дело, чтобы благородные воины ссорились между собой на поле победоносного сражения! Да вы с ума сошли! Или, может, опьянели от славы, которую вы оба стяжали сегодня?

— Это не моя вина, ваша светлость, — отвечал Дальгетти. — Во всех европейских армиях я был известен как *bonus socius*,¹ *bon samarado*,² но тот, кто тронет человека, за жизнь которого я отвечаю...

— А тот, — заговорил Аллан, перебивая майора, — кто дерзнет помешать моему справедливому мщению...

— Стыдитесь, джентльмены! — повторил Монтроз. — У меня для вас обоих найдутся дела поважнее, нежели любая личная ссора, которую вы можете разрешить между собой в другое, более подходящее время. Майор Дальгетти, извольте преклонить колено!

— Колено? — воскликнул Дальгетти. — Я еще никогда не слышал такой команды, разве только с цер-

¹ Верный союзник (лат.).

² Хороший товарищ (исп., искаж.).

ковной кафедры. Впрочем, в шведских войсках первые ряды действительно становятся на одно колено, но лишь тогда, когда полк бывает построен в шесть рядов.

— Тем не менее, — повторил Монтроз, — именем короля Карла и его наместника приказываю вам преклонить колено.

Когда Дальгетти весьма неохотно повиновался, Монтроз слегка ударил его по плечу шпагой и торжественно произнес:

— В награду за доблестную службу в нынешней битве именем и властью государя нашего короля Карла посвящаю тебя в рыцари; будь храбр, предан и удачлив! А теперь, сэр Дугалд Дальгетти, за дело! Соберите ваших всадников, сколько можете, и преследуйте неприятеля, который бежит вдоль берега озера. Не рассеивайте свои силы и не забирайтесь слишком далеко, но не давайте врагам соединиться, что вам будет не слишком трудно. На коня, сэр Дугалд, и исполняйте свой долг!

— Но где же я возьму коня? — промолвил новопосвященный рыцарь. — Бедный мой Густав почил на ложе славы, как и его великий тезка! А я рыцарь, или Ritter,¹ как говорят немцы, но ездить мне не на чем.

— Этому горю можно помочь, — сказал Монтроз, спешиваясь. — Дарю вам своего коня, который считается неплохим; только прошу вас приступить скорее к делу, которое вы выполняете столь искусно.

Рассыпаясь в благодарностях, сэр Дугалд вскочил на коня, столь великодушно ему предоставленного, и, попросив его светлость не забывать, что он оставляет на его попечение Раналда Мак-Ифа, немедленно приступил к исполнению возложенного на него поручения с величайшим пылом и усердием.

— А вы, Аллан Мак-Олей, — сказал Монтроз, обращаясь к горцу, который, опираясь на свой палаш, воткнутый в землю, с презрительной усмешкой

¹ Немецкое слово Ritter, соответствующее латинскому eques, первоначально означало просто «всадник». (Прим. автора)

мрачно наблюдал за посвящением в рыцари своего противника, — вы, стоящий выше обыкновенных людей, движимых жадной наживой, грабежа и личных наград, вы, чьи глубокие знания сделали вас незаменимым нашим советником, — вас ли я застаю в драке с таким человеком, как Дальгетти, ради того, чтобы погасить последние проблески жизни в столь жалком противнике, лежащем во прахе перед вами? Придите в себя, мой друг! У меня есть другое дело для вас. Эта победа, если мы сумеем закрепить ее, привлечет Сифорта на нашу сторону. Не измена королю, а лишь неверие в успех нашего дела побудило его поднять оружие против нас. Это оружие после нашей победы может быть привлечено на нашу сторону. Я намерен прямо отсюда, с поля сражения, отправить к нему моего доблестного друга, полковника Гея: но ему должен сопутствовать кто-нибудь из дворян Верхней Шотландии, равный Сифорту по знатности рода и который своим высоким положением и личными качествами может внушить уважение к себе. Вы не только самое подходящее лицо для этого весьма важного поручения, но так как вы не занимаете должности командира в наших войсках, то мне легче отпустить вас, нежели одного из начальников отрядов. Вам известны все проходы и ущелья в горах, так же как нравы и обычаи каждого клана. Идите же на правый фланг к Гею, он уже получил от меня указания и ждет вас. Вы найдете его среди людей Гленморрисона. Будьте ему проводником, переводчиком и помощником.

Аллан Мак-Олей устремил на маркиза мрачный, испытующий взор, словно желая убедиться в том, что за этим внезапным поручением не кроется какой-то тайный смысл. Но Монтроз, превосходно умевший читать чужие мысли, так же искусно скрывал свои собственные. Он считал необходимым ради спокойствия в лагере удалить Аллана на несколько дней, дабы — как того требовала честь маркиза — оградить от опасности людей, служивших ему проводниками; что касается до ссоры Аллана с Дальгетти, то Монтроз не сомневался, что ее легко будет уладить. Аллан

беспрекословно удалился и лишь просил маркиза позаботиться о сэре Дункане Кэмбеле; Монтроз тотчас же приказал перенести тяжелораненого рыцаря в безопасное место. Он также распорядился относительно Мак-Ифа и велел перенести его в отряд ирландцев и позаботиться о нем, но не допускать к нему ни одного горца из какого бы то ни было клана.

Затем маркиз вскочил на коня, подведенного ему одним из слуг, и поехал осматривать поле битвы. Победа оказалась гораздо более полной, чем он мог ожидать, и превзошла его самые пылки надежды. Добрая половина трехтысячной храброй армии Аргайла погибла на поле сражения или была рассеяна. Многих отступавших оттеснили в ту часть равнины, где река образует озеро, и оттуда не было пути ни для отступления, ни для бегства: несколько сот человек, загнанных в озеро, утонули. Из уцелевших одни спаслись по реке вплавь, другие бежали вдоль берега озера, покинув поле брани в самом начале сражения. Немногие укрылись в древней крепости Инверлохи, но, не имея ни провианта, ни надежды на помощь, они решили сдаться, поставив условием, что им разрешат мирно разойтись по домам. Их оружие, знамена и обоз — все досталось победителям.

Такого страшного разгрома еще не знали Сыны Диармида, — так в Верхней Шотландии именовали Кэмбелов, — род их всегда славился тем, что был столь же удачлив, сколь и предусмотрителен в своих замыслах и храбр при выполнении их. В числе погибших насчитывалось не менее пятисот дунье-вассалов — то есть дворян хотя и незнатных, но происходящих из уважаемых и хорошо известных семей. Однако в глазах большинства членов клана даже эти страшные потери бледнели перед позором, которым покрыл их честное имя глава клана, чья галера бесславно снялась с якоря, как только поражение стало неминуемым, и на всех парусах и веслах унеслась вниз по озеру.

Глава XX

Был в ущелье грохот битвы
Еле слышен нам вдали.
Впереди — война и ужас,
Кровь и смерть за ними шли.

*Пенроуз*¹

Блестящая победа Монтроза над его могущественным соперником досталась ему не без потерь, хотя они и составляли всего лишь десятую часть того урона, который понес враг. Мужество и стойкость Кэмбелов стоили жизни многим храбрым воинам противника: еще больше было раненых, и среди них — отважный граф Ментейт, командовавший центром. Впрочем, рана его была легкая и не помешала ему благородно передать своему главнокомандующему знамя Аргайла, которое он выхватил из рук знаменосца, одолев его в единоборстве. Монтроз горячо любил своего юного сородича, в чьей душе сохранились проблески великодушного, бескорыстного рыцарства, отличавшего героев давно минувших дней и столь непохожего на мелочную расчетливость и себялюбие наемников, из которых состояли армии большинства европейских стран; в Шотландии, поставившей наемных солдат почти всем государствам мира, этот торгашеский дух был особенно силен.

Монтроз, по натуре не чуждый рыцарским чувствам, хотя жизненный опыт научил его пользоваться для своих целей слабостями своих ближних, не стал расточать перед Ментейтом ни похвал, ни обещаний, а, крепко прижав его к груди, воскликнул: «Мой доблестный брат!» Этот порыв искреннего восхищения взволновал Ментейта более глубоко и радостно, чем если бы его заслуги были отмечены в военном рапорте, посланном самому королю.

— Сейчас, по-видимому, я более ничем не могу быть вам полезен, милорд, — сказал Ментейт. — Позвольте мне исполнить долг человеколюбия. Я слы-

¹ Перевод Б. Томашевского.

шал, что рыцарь Арденвор у нас в плену и тяжело ранен.

— И поделом ему, — заявил подошедший сэра Дугалд Дальгетти с важностью, приобретенной вместе с новым званием. — Не он ли пристрелил моего доброго коня в ту минуту, когда я предлагал ему почетный плен! А такой поступок, должен сказать, скорее изобличает в нем невежественного горца, дикаря, у которого не хватило ума возвести форт для защиты своего допотопного замка, нежели почтенного воина знатного рода.

— Так, значит, мы должны выразить вам соболезнование по поводу гибели славного Густава? — спросил Ментейт.

— Вот именно, милорд, — отвечал Дальгетти с глубоким вздохом. — *Diem clausit supremum*,¹ как говорилось у нас в эбердинском училище. Однако уж лучше такой конец, нежели завязнуть в трясине или провалиться в снежный сугроб, как какое-нибудь выючное животное; такая участь, несомненно, ожидала его, если бы зимняя кампания затянулась. Но его светлости было угодно (здесь он отвесил поклон в сторону Монтроза) пожаловать мне взамен Густава благородного коня, которого я позволил себе назвать Вознагражденная Верность — в память сего достопримечательного события.

— Я надеюсь, что Вознагражденная Верность, как вы называете мою лошадь, окажется исправно обученной ратному делу, — заметил маркиз. — Но я должен вам напомнить, что в Шотландии в наше время за верность чаще награждают петлей на шею, нежели конем.

— Вашей светлости угодно шутить. Но должен сказать, что Вознагражденная Верность несколько не уступает Густаву в военном искусстве и к тому же несравненно красивее его. Правда, своим воспитанием она не может похвастаться; но это оттого, что она до сих пор бывала только в дурном обществе.

¹ Он закончил свой последний день (лат.).

— Уж не имеете ли вы в виду его светлость? — заметил Ментейт. — Стыдитесь, сэр Дугалд!

— Да было бы вам известно, милорд, — с важностью ответил рыцарь, — что я никогда не позволил бы себе такого невежества! Но я хочу лишь сказать, что его светлость общается со своим конем только во время учения, как и со своими солдатами; а потому он может вымуштровать и того и других и научить их военным маневрам; на основании этого я и говорю, что сей благородный конь прекрасно обучен. Но так как воспитание приобретает лишь в частной жизни, я склонен полагать, что ни один солдат не может позаимствовать лоску из разговоров со своим капралом или сержантом и что, соответственно, нрав Вознагражденной Верности вряд ли смягчился или улучшился в обществе конюхов его светлости, которые обычно угощают доверенных их попечению животных пинками, ударами и непристойной бранью, вместо того чтобы ласкать и холить их. Вследствие этого добродушные от природы четвероногие нередко становятся человеконенавистниками и до конца жизни обнаруживают несравненно более сильное желание лягать и кусать своего хозяина, нежели любить и почитать его.

— Мудрость глаголет вашими устами, — сказал Монтроз. — Если бы при эбердинском училище была учреждена академия для воспитания лошадей, никому, кроме сэра Дальгетти, не следовало бы доверять там кафедр.

— Тем более, — шепнул Ментейт на ухо Монтрозу, — что, будучи ослом, он приходился бы несколько сродни своим студентам.

— А теперь, с разрешения вашей светлости, — сказал новоиспеченный рыцарь, — я пойду отдать последний долг моему старому собрату по оружию.

— Уж не для того ли, чтобы совершить обряд погребения? — спросил маркиз, не зная, как далеко может завести сэра Дугалда привязанность к своему коню. — Подумайте, ведь даже наших храбрых солдат придется хоронить наспех.

— Да простит меня ваша светлость, — отвечал Дальгетти, — но мои намерения далеко не столь возвышенны. Я просто спешу поделить наследство моего бедного Густава с птицами небесными, предоставив им мясо и взяв себе шкуру. Из нее, в знак памяти о любимом друге, я намерен сшить себе куртку и штаны по татарскому образцу, чтобы носить их под доспехами, ибо мое платье находится сейчас в плачевном состоянии. Увы, мой бедный Густав! Как жаль, что ты еще лишний часок не прожил на свете и не удостоился чести носить на своей спине благородного рыцаря!

Дальгетти хотел было удалиться, но Монтроз окликнул его.

— Сэр Дугалд, вряд ли кто-либо опередит вас в осуществлении ваших добрых намерений по отношению к вашему старому другу и соратнику, — сказал Монтроз, — а потому прошу вас вместе с моими ближайшими друзьями отведать запасов Аргайла, которые в изобилии нашлись в его замке.

— С величайшей охотой, ваша светлость, — отвечал Дугалд, — ибо ни обед, ни обедня никогда не мешают делу. Кстати, мне нечего опасаться, что волки и орлы примутся нынешней ночью за моего Густава, ибо у них есть чем поживиться и помимо него. Но, — добавил он, — поскольку я буду находиться в обществе двух почтенных английских рыцарей и других особ рыцарского звания из свиты вашей светлости, я очень просил бы вас осведомить их о том, что отныне и впредь я имею право первенства перед всеми, ибо я был посвящен в рыцари на поле сражения.

«Черт бы его побрал! — проворчал про себя Монтроз. — Только я успел потушить огонь, как он снова раздувает его...» По этому вопросу, сэр Дугалд, — продолжал он вслух, обращаясь к Дальгетти, — я считаю себя обязанным осведомиться о мнении его величества; а в моем стане все должны быть равны, как рыцари Круглого Стола, и занимать места за трапезой по солдатской поговорке: кто первый сел, тот первый съел.

— Так уж я позабочусь о том, чтобы сегодня сэра Дугалда не занял первого места, — тихо сказал Ментейт маркизу. — Сэр Дугалд, — добавил он, повышая голос, — вы говорите, что ваше платье поизносилось; не наведаться ли вам в обоз неприятеля, вон туда, где стоит часовой? Я видел, как оттуда тащили прекрасную пару из буйволово́й кожи, расшитую спереди шелками и серебром.

— *Voto a Dios!* — как говорят испанцы, — воскликнул майор. — Пожалуй, еще какой-нибудь нищий юнец воспользуется этим добром, пока я тут попусту болтаю!

Надежда поживиться богатой добычей сразу вышибла из головы рыцаря всякую мысль о Густаве и о предстоящем пиршестве, и, пришпорив Вознагражденную Верность, Дальгетти поскакал по полю сражения.

— Скачет, собака, не разбирая дороги! — заметил Ментейт. — Наступает на лица и топчет тела людей, которые были куда лучше его. Столь же падок до чужого добра, как ястреб до мертвечины. И такого человека называют воином! А вы, милорд, нашли его достойным славного рыцарского звания, — если таковым его еще можно считать в наше время, — из рыцарской цепи вы сделали собачий ошейник.

— А что мне было делать? — возразил Монтроз. — У меня не было под рукой полуобглоданной кости, чтобы бросить ему, а задобрить его было необходимо: я не могу травить зверя один, а у этого пса есть свои достоинства.

— Если природа и наделила его таковыми, — заметил Ментейт, — то образ жизни совершенно извратил их, оставив ему одно чрезмерное себялюбие. Верно, что он щепетилен в вопросах чести и отважен в бою, но только потому, что без этих качеств он не мог бы продвигаться по службе. Даже его доброжелательство — и то не бескорыстно: он готов защищать своего товарища, пока тот держится на ногах; но если он упадет, сэра Дугалда не остановится перед тем, чтобы воспользоваться его кошельком так же, как

он спешит превратить шкуру Густава в кожаную куртку.

— Все это, может быть, и так, — отвечал Монтроз, — но зато весьма удобно командовать солдатом, чьи побуждения и душевные порывы могут быть вычислены с математической точностью. Такой тонкий ум, как ваш, друг мой, способный воспринимать множество впечатлений, столь же недоступных пониманию этого человека, сколь непроницаем для пуль его панцирь, — вот что требует чуткого внимания того, кто дает вам совет.

Внезапно переменив тон, Монтроз спросил Ментейта, когда он в последний раз виделся с Эннот Лайл?

Молодой граф ответил, густо покраснев:

— Я не видел ее со вчерашнего вечера. Впрочем... — добавил он с запинкой, — сегодня мельком, примерно за полчаса до начала боя.

— Любезный Ментейт, — начал Монтроз очень мягко, — если бы вы были одним из ветреных кавалеров, шеголяющих при дворе, которые в своем роде такие же себялюбцы, как наш милейший Дальгетти, разве я стал бы докучать вам расспросами об этой маленькой любовной интрижке? Над ней можно бы только весело посмеяться. Но здесь мы в волшебной стране, где сети, крепкие как сталь, сплетаются из женских кос, и вы как раз тот самый сказочный рыцарь, которого легко ими опутать. Эта бедная девушка прелестна и обладает талантами, способными пленить вашу романтическую натуру. Я не допускаю мысли, чтобы вы хотели обидеть ее, но ведь вы не можете жениться на ней?

— Милорд, — отвечал Ментейт, — вы уже не в первый раз повторяете эту шутку, — ибо так я понимаю ваши слова, — но вы заходите слишком далеко! Эннот Лайл — девушка неизвестного происхождения, пленница, вероятно дочь какого-нибудь разбойника, и живет из милости в доме Мак-Олеев...

— Не сердитесь на меня, Ментейт, — сказал Монтроз, прерывая его, — вы, кажется, любите классиков,

хотя и не получили образования в эбердинском училище, и, вероятно, помните, сколько благородных сердец было покорено пленными красавицами?

Movit Ajacem, Telamone natum,
Forma captivae dominum Tecmessae.¹

Одним словом, я очень обеспокоен всем этим. Быть может, я не стал бы тратить время на то, чтобы досаждать вам своими наставлениями, — продолжал он, нахмурившись, — если бы дело касалось только вас и Эннот Лайл; но у вас есть опасный соперник в лице Аллана Мак-Олея. И кто знает, до чего его может довести ревность. Мой долг — предупредить вас, что размолвка между вами может очень пагубно отразиться на вашей службе королю.

— Милорд, — отвечал Ментейт, — я знаю, что вы искренне желаете мне добра; думаю, что вы будете вполне удовлетворены, если я сообщу вам, что мы с Алланом Мак-Олеем уже обсудили этот вопрос. Я объяснил ему, что я не мог бы и помыслить о том, чтобы посягнуть на честь беззащитной девушки; с другой стороны, ее темное происхождение не позволяет мне мечтать о чем-либо ином. Я не скрою от вашей светлости, как не скрыл от Аллана, что, будь Эннот Лайл благородного происхождения, я не задумался бы дать ей свое имя и титул. Но при теперешних обстоятельствах это невозможно. Надеюсь, это объяснение удовлетворит вашу светлость, как оно удовлетворило человека менее благоразумного.

Монтроз пожал плечами.

— И что же, — сказал он, — вы оба, точно истые герои романа, сговорились между собой боготворить одну и ту же возлюбленную, как идолопоклонники — своего кумира, и ни один из вас не должен притязать на большее?

— Я этого не утверждаю, милорд, — отвечал Ментейт, — я только сказал, что при теперешних обстоя-

¹ Также и Аякс, Теламона отпрыск,
Пленный был склонен красотой Текмессы (лат.).

(Перевод А. Семенова-Тян-Шанского.)

тѣлствах, — и нет никаких оснований предполагать, что они когда-нибудь изменятся, — мой долг по отношению к моей семье и к самому себе запрещает мне быть для Эннот Лайл кем-либо иным, нежели другом и братом. Но прошу вашу светлость извинить меня, — сказал он, взглянув на свою руку, которую он перевязал носовым платком, — мне пора подумать о царапине, полученной сегодня.

— Вы ранены? — с тревогой спросил Монтроз. — Дайте я посмотрю. Увы! Я, вероятно, даже и не узнал бы об этой ране, если бы не сделал попытки нащупать и исследовать другую, более глубокую и мучительную. Мне искренне жаль вас, Ментейт. Я и сам в жизни знавал... Но стоит ли будить давно уснувшую печаль...

С этими словами он крепко пожал руку молодому графу и направился к замку.

Эннот Лайл, как многие жительницы Верхней Шотландии, обладала некоторыми познаниями по части медицины и даже хирургии. Вполне понятно, что здесь не делали разницы между хирургией и медициной и что те немногие способы врачевания, которые были известны, применялись преимущественно женщинами и стариками, успевшими приобрести большой опыт благодаря постоянной практике. Заботы, которыми сама Эннот Лайл, ее служанки и другие помощницы окружали под ее присмотром раненых, принесли много пользы во время тяжелого похода. Она оказывала услуги как друзьям, так и врагам, и охотнее всего тем, кто в них более нуждался.

В одном из покоев замка Эннот Лайл тщательно наблюдала за приготовлением целебных трав, которые прикладывали к ранам, выслушивала донесения женщин о состоянии больных, вверенных их попечению, и распределяла лекарства, имевшиеся в ее распоряжении, когда в комнату внезапно вошел Аллан Мак-Олей. Она невольно вздрогнула, ибо до нее дошли слухи, будто он покинул лагерь, чтобы выполнить какое-то поручение. Как ни привыкла она к мрачному выражению его лица, оно показалось ей на сей раз мрачнее обычного. Аллан молча стоял перед ней, и она почувствовала необходимость заговорить первой.

— Я думала, — сказала она, — что ты уже уехал
— Мой спутник ждет меня, — отвечал Аллан, — я сейчас еду.

Но он продолжал стоять перед ней, держа ее за руку так крепко, что, хотя ей и не было больно, она чувствовала его необычайную физическую силу: его рука сжимала ее запястье словно железными тисками.

— Не принести ли мне арфу? — спросила она робким голосом. — Не... не... надвигается ли мрак на твою душу?

Вместо ответа он подвел ее к окну, откуда открывался вид на поле битвы. Оно было сплошь усеяно трупами и ранеными, мародеры торопливо срывали одежду с этих жертв войны и феодальных распрей с таким хладнокровием, как будто они были существа другой породы и их самих завтра же, быть может, не ожидала та же участь.

— Нравится тебе это зрелище? — спросил Мак-Олей.

— Оно отвратительно! — воскликнула Эннот, закрывая лицо руками. — Как мог ты заставить меня смотреть на все это?

— Ты должна привыкнуть к этому, — отвечал он, — если ты намерена оставаться с этим обреченным войском... Скоро, скоро будешь ты искать на таком же поле тело моего брата... и Ментейта... и мое собственное... Впрочем, это тебе будет безразлично... ведь ты не любишь меня.

— Сегодня ты впервые упрекнул меня в бессердечии, — сквозь слезы сказала Эннот. — Ведь ты мой брат... мой избавитель... мой защитник... как же я могу не любить тебя? Но я вижу, что мрак надвигается на твою душу, позволь мне принести арфу.

— Постой! — сказал Аллан, все еще не выпуская ее руки — Откуда бы ни являлись мои видения — с неба, или из ада, или из царства бесплотных духов, или же, как думают саксы, это только обман разгоряченного воображения, — сейчас я не в их власти. Я говорю языком естественного, зримого мира... Ты любишь не меня, Эннот! Ты любишь Ментейта... И ты любима им. А Аллан для тебя не более, нежели

любой из мертвецов, расprostертых на этом вересковом поле.

Едва ли эти странные речи открыли что-нибудь новое той, к кому они были обращены. Нет женщины, которая при подобных обстоятельствах не сумела бы давным-давно угадать, какие чувства к ней питают. Но когда Аллан столь внезапно сорвал покров со своей тайны, как ни был он тонок, Эннот поняла, чего можно ожидать от его неистовой натуры, и сделала попытку опровергнуть возведенное на нее обвинение:

— Ты роняешь свое достоинство и честь, оскорбляя столь незащищенное существо, которое к тому же волею судьбы всецело в твоей власти. Ты знаешь, кто я и что я, и знаешь, что ни от Ментейта, ни от тебя я не имею права выслушивать иных слов, кроме дружеских. Ты знаешь, какому злосчастному роду я, должно быть, обязана своим появлением на свет.

— Не верю я этому! — пылко воскликнул Аллан. — Никогда еще кристальная струя не била из грязного источника.

— Но если в этом есть хоть малейшее сомнение, — возразила Эннот, — ты не должен так говорить со мной.

— Знаю, — промолвил Мак-Олей, — это ставит преграду между нами... Но я знаю также, что эта преграда не столь безнадежно отделяет тебя от Ментейта... Послушай меня, любимая! Покинем зрелище этих страданий и смерти, поедem со мной в Кинтейл. Я поселю тебя в доме благородной леди Сифорт или же тебя доставят под надежной охраной в Айколм-кил, в святую обитель, где женщины, по обычаю наших предков, заняты служением богу.

— Ты сам не знаешь, что говоришь, — возразила Эннот. — Пуститься в такой дальний путь вдвоем с тобой, под твоей охраной, — это значило бы забыть о том, что приличествует молодой девушке. Я останусь здесь, Аллан, здесь, под защитой благородного Монтроза. А когда его войска дойдут до предгорья, я найду способ освободить тебя от присутствия той, которая по неведомой ей причине лишилась твоего расположения.

Аллан продолжал молча стоять перед ней, словно не зная, уступить ли чувству сострадания или дать волю гневу, который вызывало в нем ее упорство.

— Эннот, — сказал он наконец, — ты хорошо знаешь, как мало истины в твоих словах о моих чувствах к тебе. Ты пользуешься своей властью надо мной и радуешься моему отъезду, ибо никто больше не будет подсматривать за тобой и Ментейтом. Но берегитесь оба! — добавил он грозно. — Ибо слышал ли кто, чтобы Аллану Мак-Олею была нанесена обида и он не оплатил за нее в десять раз более страшной мстью!

Он с силой стиснул ее руку, надвинул шапку до самых бровей и быстрым шагом вышел из покоя.

Глава XXI

Вскоре вы ушли.
И я узнала, что во мне есть сердце
И что оно трепещет от любви!
Да, то была любовь, не вожаделенье!
И лишь вблизи от вас иль рядом
с вами

Жить и дышать — вот все,
что нужно мне!

«Филастр»¹

Признание Аллана в любви и его вспышка ревности показали Эннот Лайл, какая страшная пропасть разверзлась перед нею. Ей чудилось, будто она скользит по самому краю этой пропасти, не зная, где найти пристанище, у кого искать защиты. Она давно уже поняла, что любит Ментейта не как брата; и могло ли быть иначе, если вспомнить их близость с самых детских лет, личные качества молодого дворянина, постоянное внимание к ней, его мягкий нрав и обходительность, столь непохожую на обращение суровых воинов, среди которых она жила. Но любила она любовью тихой, робкой и мечтательной, которая доволь-

¹ Перевод Б. Томашевского.

ствуется счастьем возлюбленного, не питая для себя никаких надежд. Гэльская песенка, которую она часто напевала, хорошо выражает ее чувства, и мы охотно приводим здесь эти строки в переводе даровитого и злополучного Эндрю Мак-Доналда:

Делить твой жребий сладко было б мне,
Будь ты, как я, рожденным в скромной доле.
Везде с тобой, куда б в одном челне
Ни влек нас ветер, веющий на воле.

Разлучены законом роковым,
Мы разошлись — нас ждет судьба иная
Пушай твоя легка — живу одним.
Молиться за того, кому верна я.

Ту боль, что сердце глупое пронзит,
Когда надежда навсегда покинет,
Ту боль не выдаст горький стон обид,
И лепет жалоб на устах застынет

И по тропам оставшихся мне дней
Пусть плакальщицей бледной не бреду я,
Пока я знаю, что еще больней
От слез моих тому, кого люблю я ¹

Неожиданный порыв Аллана разрушил ее романтические грезы о беззаветной, тайной любви, не требующей награды. Она уже и раньше опасалась Аллана, невзирая на всю свою признательность к нему; к тому же она видела, что ради нее он всегда старался обуздать свой надменный и жестокий нрав. Но теперь Аллан внушал ей непреодолимый ужас, вполне оправданный тем, что она знала о нем и о его прошлом. При всем благородстве своей натуры он не умел умерять своих страстей, он ходил по замку и владениям своих предков, словно укрощенный лев, которому не смеют прекословить, дабы не разбудить в нем его кровожадные инстинкты. Уже много лет никто не противоречил его желаниям и не

¹ Перевод Т. Казмичевой.

пытался хотя бы усювестить его, и, должно быть, только природный здравый смысл, — который он проявлял во всем, если не считать его мистических настроений, — помешал ему стать бедствием и угрозой для всего края. Но Эннот не пришлось долго предаваться своим невеселым думам, ибо пред ней внезапно предстал сэр Дугалд Дальгетти.

Легко можно себе представить, что весь уклад жизни доблестного воина не подготовил его к тому, чтобы блистать в женском обществе; он сам смутно понимал, что язык казармы, кордегардии и учебного плаца не подходит для беседы с дамами. Единственная мирная пора его жизни протекла в эбердинском училище, но он уже успел забыть то немногое, чему там выучился, за исключением собственноручной починки белья и искусства с необыкновенной быстротой поглощать пищу, ибо и в том и в другом ему неустанно приходилось упражняться. И все же именно обрывки воспоминаний о том, чему он научился в это мирное время своей жизни, служили ему источником вдохновения для беседы, когда он оказывался в обществе женщин; иными словами, речь его становилась книжной, как только она переставала быть солдатской.

— Сударыня, — начал он, — перед вами точное подобие копья Ахилла, один конец которого обладал свойством наносить рану, а другой — заживлять оную; свойство, которое не присуще ни испанским пикам, ни алебардам, ни протазанам, ни секирам, ни палицам и вообще ни одному из современных видов холодного оружия.

Эту тираду Дальгетти произнес дважды; но так как в первый раз Эннот едва слушала его, а во второй не поняла ни слова, ему пришлось выразиться яснее.

— Я хочу сказать, сударыня, — пояснил он, — что, будучи причиной тяжелой раны, нанесенной в сегодняшнем сражении одному почтенному рыцарю, поелику он, против всяких правил войны, пристрелил из пистолета моего коня, нареченного Густавом в честь великого шведского короля, — я желал бы доста-

вить одному рыцарю облегчение, каковое вы, сударыня, могли бы ему оказать, ибо вы, подобно языческому богу Эскулапу (майор, вероятно, имел в виду Аполлона), искусны не только по части музыки и пения, но и в более высоком деле врачевания... *Opifer que per orbem dicor.*¹

— Если бы вы только были так добры объяснить мне, что вам угодно, — проговорила Эннот, слишком опечаленная, чтобы забавляться витиеватою галантностью сэра Дугалда.

— Это не так-то легко, сударыня, — отвечал рыцарь, — ибо я несколько запомнил правила грамматики. Но, впрочем, попробую. *Dicor*, приставив его, означает: «Я называем...» *Opifer*? *Opifer*? Припоминаю: *signifer*² и *furcifer*...³ Кажется, *opifer* означает в данном случае Д. М. — то есть «доктор медицины».

— Нынче хлопотливый день для всех нас, — сказала Эннот, — не можете ли вы просто сказать, что вам от меня нужно?

— Только одно, — отвечал сэр Дугалд, — чтобы вы навестили моего собрата-рыцаря и приказали бы своей девушке отнести ему какое-нибудь лекарство для раны, которая, как выражаются ученые, угрожает нанести *damnum fatale*.⁴

Эннот Лайл никогда не медлила, когда кто-нибудь нуждался в ее помощи. Осведомившись о ране старого вождя, чья благородная наружность столь поразила ее в замке Дарнлинварах, она поспешила к нему, радуясь, что может забыть о своих горестях в облегчении чужих страданий.

Сэр Дугалд весьма торжественно проводил Эннот Лайл в комнату больного, где, к своему изумлению, она застала лорда Ментейта. Она невольно вспыхнула при встрече с ним и, чтобы скрыть свое смущение, немедленно принялась осматривать рану рыцаря Арденвора; она тотчас же убедилась, что ее искусство недостаточно, чтобы залечить ее. Что касается сэра

¹ И слышу я по всему свету целителем (*лат.*).

² Знаменосец (*лат.*).

³ Мошенник, негодяй (*лат.*).

⁴ Роковой ущерб (*лат.*).

Дугалда, то он немедленно возвратился в большой сарай, где на полу, среди прочих раненых, лежал Раналд, Сын Тумана.

— Вот что, дружище, — сказал ему рыцарь, — как уже говорил тебе раньше, я готов сделать все, чего ты ни пожелаешь, во искупление той раны, которую ты получил, будучи под моей охраной. Поэтому, по твоей настоятельной просьбе, я послал Эннот Лайл ухаживать за рыцарем Арденвором, хотя убей меня бог, если я знаю, зачем тебе это понадобилось. Мне помнится, ты что-то говорил мне об их кровном родстве; но у воина в моем чине и звании есть дела поважнее, чем забивать себе голову вашими дикарскими родословными.

И надо отдать справедливость майору Дальгетти: он никогда не занимался чужими делами, не расспрашивал, не слушал и ничего не запоминал, если это не имело прямого отношения к военному искусству и не было так или иначе связано с его собственными интересами: в этих случаях память никогда не изменяла ему.

— А теперь, любезный Сын Тумана, — продолжал майор, — не можешь ли ты мне сказать, куда девался твой многообещающий внук, ибо я больше не видел его с тех пор, как он помог мне снять доспехи после окончания сражения; за свою нерадивость он заслужил хорошую порку.

— Он здесь, неподалеку, — отвечал раненый разбойник, — только не вздумай поднять на него руку; он уже мужчина и способен за каждый ярд ременной плетки отплатить тебе футом закаленной стали.

— Весьма непристойная угроза, — заметил сэр Дугалд, — но я кое-чем тебе обязан, Раналд, и на сей раз прощаю тебе.

— Если ты считаешь, что обязан мне, — сказал разбойник, — то в твоей власти отплатить мне, пообещав исполнить еще одну мою просьбу.

— Дружище Раналд, — отвечал Дальгетти, — знаю я эти обещания! Читал я когда-то в глупых книжках, как простодушные рыцари со своими обещаниями попадали впросак. Поэтому, Раналд, рыцари

стали осторожнее и никогда ничего не обещают, пока не уверятся, что они могут сдержать слово, не нажив себе хлопот и неприятностей. Ты, может быть, пожелаешь, чтобы я пригласил нашу лекарку осмотреть твою рану, но ты должен принять во внимание, Раналд, что неопрятность помещения, где ты находишься, может некоторым образом отразиться на чистоте ее наряда, а в этом отношении, как тебе известно, женщины крайне щепетильны. Будучи в Амстердаме, я потерял расположение супруги первого министра, вытерев сапоги о шлейф ее черного бархатного платья, который я принял за половик, потому что она распустила его чуть ли не на всю комнату.

— Я не прошу тебя звать сюда Эннот Лайл, — отвечал Мак-Иф, а прошу перенести меня в покои, где она ухаживает за рыцарем Арденвором. Мне нужно сообщить им нечто, весьма важное для них обоих.

— Собственно говоря, — возразил Дальгетти, — доставить разбойника в покои, где находится благородный рыцарь, значит нарушить порядок чинопочитания. Рыцарское звание было издревле и в некоторых отношениях счисляется еще и теперь наивысшим воинским чином, независимо от офицерских чинов, получаемых по назначению. Однако услуга, о которой ты просишь, такая безделица, что я не хочу отказать тебе в ней.

С этими словами он отдал распоряжение шести солдатам перенести Мак-Ифа на своих плечах в покои сэра Дункана Кэмбела, а сам поспешил вперед, дабы объяснить рыцарю причину такого поступка. Но солдаты так проворно справились с порученным им делом, что нагнали майора и, войдя в комнату со своей страшной ношей, положили Мак-Ифа на пол, прежде чем Дальгетти успел открыть рот. Черты лица разбойника, грубые от природы, были сейчас искажены болью; руки его и скудная одежда были перепачканы кровью — своей и чужой, — ничья заботливая рука не смыла ее, хотя рана и была перевязана.

— Ты ли тот, кого люди называют рыцарем Арденвором? — заговорил Раналд, с мучительным усилием повернув голову в сторону лежа, на котором лежал его недавний противник.

— Да, — отвечал сэр Дункан, — что тебе нужно от человека, часы которого сочтены?

— Мои часы равняются минутам, — отвечал разбойник. — Тем большую милость оказываю я тебе, ибо я отдаю их тому, чья рука всегда была занесена надо мной, хотя моя рука была занесена еще выше.

— Твоя рука выше моей! Раздавленный червь! — сказал старый рыцарь, глядя сверху вниз на своего жалкого противника.

— Да, — отвечал разбойник твердым голосом, — моя рука простерлась выше. В смертельной схватке между нами раны, нанесенные мною, были глубже, хоть и твоя рука не бездействовала и разила беспощадно. Я — Раналд Мак-Иф, Раналд, Сын Тумана. Та ночь, когда я предал огню твой замок, превратив его в груды пепла, развеянную по ветру, завершается нынешним днем, когда тебя поразил меч моих праотцев... Вспомни все зло, которое ты причинил нашему племени... Никто, кроме тебя, — и еще одного, — не был так жесток с нами. Но тот будто бы заговорен и недоступен нашему мщению... Но скоро узнаем, правда ли это.

— Милорд Ментейт, — произнес сэр Дункан, приподнимаясь на своем ложе, — этот человек — отъявленный злодей, он враг короля и парламента, поправший законы божеские и человеческие, разбойник из племени Сынов Тумана, заклятый враг моего и вашего дома и рода Мак-Олеев. Надеюсь, вы не потерпите, чтобы мои последние минуты были омрачены торжеством этого дикаря?

— Ему будет воздано по заслугам, — отвечал Ментейт. — Немедленно унесите его отсюда.

Сэр Дугалд вступился было за Раналда, напоминая об его услугах в качестве проводника и о своем поручительстве за его безопасность, но резкий, хриплый голос разбойника перебил его речь.

— Нет! — заговорил старик. — Пусть пытка и петля, пусть труп мой повиснет между небом и землей, на корм коршунам и орлам с горы Бен-Невиc!.. Ни этот высокомерный рыцарь, ни горделивый тан никогда не узнают тайны, которую я один мог бы им поведать, — тайны, от которой бы радостно взыграло сердце Арденвора, будь он хоть при последнем издыхании, и за обладание которой граф Ментейт отдал бы все земли своего графства. Подойди сюда, Эннот Лайл, — продолжал он, приподнявшись с неожиданной силой, — не бойся того, к кому ты ласкалась в дни своего детства. Скажи этим гордецам, которые презирают в тебе отпрыск моего древнего рода, что в тебе нет ни одной капли нашей крови, что ты рождена не среди Сынов Тумана, а в шелку и бархате, и мягче твоей колыбели не стояло в их самых богатых хорах.

— Именем бога заклинаю тебя! — воскликнул Ментейт, трепеща от волнения. — Если тебе известно происхождение этой девушки, облегчи свою совесть перед смертью, поведай нам твою тайну, прежде чем покинуть этот мир!

— И с последним вздохом благословить моих врагов? — промолвил Мак-Иф, злобно взглянув на него. — Таковы правила, которые проповедуют ваши священники, но когда и где следуете вы этим правилам? Я не расстанусь с моей тайной, пока не узнаю, какая ей цена. Что дал бы ты, рыцарь Арденвор, чтобы услышать, что все предавался ты посту и молитве и что есть на свете отпрыск твоего рода? Я жду твоего ответа... Отвечай, или я не скажу более ни слова.

— Я отвечу тебе, — сказал сэр Дункан голосом, в котором боролись недоверие, ненависть и тревога, — я отвечу тебе, что, не зная я ваше дьявольское отродье, в котором покоен веку были одни обманщики и убийцы... Но если на сей раз ты говоришь правду, я был бы готов простить тебе все обиды, которые ты мне нанес.

— Слышите? — сказал Раналд. — Немалая ставка для Сына Диармида! А ты, благородный тан? Молва

идет в лагере, будто ты готов ценой жизни и всех своих владений купить весть о том, что Эннот Лайл родилась не среди гонимого племени, а происходит из древнего рода, не менее знатного, нежели твой собственный? Так слушайте же!.. Но не из любви к вам нарушаю я свое молчание... Было время, когда я ценой своей тайны купил бы свободу, а ныне я готов обменять ее на то, что для меня дороже свободы, дороже жизни... Эннот Лайл — самое младшее, единственное оставшееся в живых дитя рыцаря Арденвора, спасенное в ту пору, когда все и вся в его замке было предано огню и мечу.

— Правду ли он говорит? — воскликнула Эннот Лайл, не помня себя от волнения. — Или это бред безумного?

— Дитя мое, — отвечал Раналд, — если бы ты дольше жила среди нас, ты научилась бы лучше распознавать голос правды. Этому молодому лорду и рыцарю Арденвору я предъявляю такие доказательства истинности моих слов, что сомнения их рассеются. А теперь — удались отсюда. Я любил твое младенчество, у меня нет ненависти к твоей юности: никто не станет ненавидеть цветущую розу за то, что она выросла на терновом кусту; и только ради тебя одной готов я пожалеть о том, что вскоре неминуемо должно произойти. Но тот, кто хочет отомстить своему врагу, не должен печалиться оттого, что и невинный будет вовлечен в погибель.

— Он подал добрый совет, Эннот, — сказал лорд Ментейт. — Ради всего святого, удалитесь отсюда! Если... если в этом есть доля правды, ваша встреча с сэром Дунканом, ради вас обоих, должна быть подготовлена иначе!

— Я не расстанусь с отцом, если правда, что я обрела его! — промолвила Эннот. — Я не могу покинуть его в столь страшную минуту.

— Ты всегда найдешь во мне отца, — прошептал сэр Дункан.

— В таком случае, — сказал Ментейт, — я прикажу перенести Мак-Ифа в соседний покой и сам выслушаю его показания. Сэр Дугалд Дальгетти, не

откажите мне в любезности быть моим помощником и свидетелем.

— С удовольствием, милорд, — отвечал сэр Дугалд. — Готов быть и помощником и свидетелем — кем угодно. Никто не может быть вам полезнее меня, ибо всю эту историю я уже слышал месяц тому назад в замке Инверэри; но все эти набег на разные замки путаются у меня в голове, тем паче что она занята более важными делами.

Услышав это откровенное признание, сделанное майором в то время, когда они выходили из комнаты вслед за солдатами, выносившими разбойника, лорд Ментейт с нескрываемым гневом и презрением взглянул на Дальгетги, но доблестный рыцарь, преисполненный несокрушимого самодовольства, не обратил на это ни малейшего внимания.

Глава XXII

Я волен, как дикарь, дитя свободы,
Что жил среди нетронутой природы,
Не зная рабства черные невзгоды.

«Завоевание Гренады»¹

Граф Ментейт выполнил свое намерение и самым тщательным образом проверил рассказ Раналда Мак-Ифа, подтвержденный показаниями двух его родичей, которые вместе с ним несли обязанности проводников при войске. Эти показания Ментейт сопоставил с подробностями о разгроме замка и уничтожении семьи рыцаря Арденвора, которые сообщил сам сэр Дункан Кэмбел; и можно с уверенностью сказать, что старик ничего не забыл, рассказывая о страшном событии, имевшем столь гибельные последствия. Нужно было во что бы то ни стало установить, не вымышлена ли вся эта история разбойником с целью выдать девушку своего племени за дочь и законную наследницу рыцаря Арденвора.

¹ Перевод И. Миримского.

Может быть, и неразумно было поручать расследование этого дела Ментейту, столь страстно желавшему, чтобы рассказ Раналда подтвердился, но ответы Сынов Тумана были вполне определены, просты, ясны и точно совпадали между собой. Упоминалось родимое пятно, которое, как было известно, имелось у малолетней дочери сэра Дункана и которое было обнаружено на левом плече Эннот Лайл. Все помнили, что после пожара, когда подобрали жалкие останки убитых детей, — труп девочки нигде не был найден. Другие неоспоримые доказательства, которые нет необходимости перечислять, заставили не только Ментейта, но и столь беспристрастного судью, как Монтроз, окончательно убедиться в том, что Эннот Лайл, скромная воспитанница в доме Мак-Олеев, обращавшая на себя внимание только своей красотой и талантом, отныне по праву займет место законной наследницы Арденвора.

В то время как Ментейт спешил сообщить радостную весть тем лицам, которых она ближе всех касалась, Раналд Мак-Иф выразил желание поговорить со своим сыном, как он обычно называл внука.

— Вы найдете его в том сарае, куда меня сначала положили, — сказал он.

После долгих поисков маленького дикаря нашли свернувшимся в клубок на куче соломы в углу сарая и привели к деду.

— Кеннет, — сказал ему старый разбойник, — выслушай предсмертное слово родителя — твоего отца. Один воин с предгорья и Аллан Кровавая Рука покинули лагерь несколько часов тому назад и направились к Каперфе. Гонись за ними, как ищейка гонится за раненым оленем, — переплыви озеро, взберись на гору, проберись сквозь чащу лесную — пока не достигнешь их.

По мере того как старик говорил, лицо мальчика становилось все мрачнее, и наконец рука его легла на рукоять ножа, засунутого за кожаный ремень, которым был стянут его ветхий плед.

— Нет, — продолжал старик, — не от твоей руки должен он погибнуть. Они станут расспрашивать

тебя, что нового в лагере. Скажи им, что Эннот Лайл оказалась дочерью Дункана Арденвора; что тан Ментейт намерен обвенчаться с ней и что ты послан позвать гостей на свадьбу. Не жди их ответа, скройся из глаз, как молния, поглощенная черной тучей. А теперь ступай, возлюбленное дитя моего любимого сына! Никогда больше не увижу я твоего лица, не услышу шороха твоих легких шагов... Постой минутку и выслушай мой последний завет. Помни об участии нашего племени и свято чти обычаи Сынов Тумана. Теперь нас осталась только горсточка, нас силой оружия гонят из каждой долины, нас преследуют все кланы, которые владывают на землях, где некогда предки их рубили дрова и носили воду для наших прародителей. Но в дремучих лесах, в сердце наших гор, ты, Кеннет, сын Ирахта, храни незапятнанной свободу, которую я завещаю тебе в наследство. Не променяй ее ни на пышную одежду, ни на каменные палаты, ни на уставленный яствами стол, ни на пуховую постель... На горных вершинах и в глубине долин, в довольстве и нищете, в дни жаркого лета и суровой зимы — будь свободен, Сын Тумана, как твои прадеды! Не имея господина, не признавай закона, не принимай платы и сам не держи наемников; не строй хижины, не ограждай пастбища, не засевай пашни; пусть горный олень будет твоим стадом, а если и этого не станет, отбирай добро у наших угнетателей англичан и у тех шотландцев, которые в душе не лучше англичан и более дорожат своими стадами и отарами, нежели честью и свободой. Благо нам, что это так, ибо тем больше простору для нашего мщения. Помни о тех, кто делал добро нашему племени, и плати им за услугу собственной кровью, если в том будет нужда. Кто бы ни пришел к тебе из рода Мак-Айенов, хотя бы с отрубленной головой королевского сына, укрой его, пусть бы даже вся армия короля-отца гналась за ним, ибо в минувшие годы мы нашли мирный приют в Гленко и Арднамурахане, но Сыны Диармида, род Дарнлинварах, дом Ментейтов... Слушай, Сын Тумана: мое проклятье падет на твою голову, если ты пощадишь хоть

одного из них, когда наступит их час! А этот час близок, ибо они поднимут меч друг на друга и, побежденные, будут искать спасения в тумане, — и сыны его поразят их. А теперь ступай... Отряхни прах с ног своих на пороге жилища, где собираются люди, все равно — для мира или для войны. Прощай, возлюбленный сын мой! И да настигнет тебя смерть, как твоих прадедов, — прежде чем недуг, увечье или старость сломят силу твоего духа!.. Ступай... Ступай... Живи свободным... Плати добром за добро... Мсти врагам своего племени!

Юный дикарь наклонился и поцеловал в лоб своего умирающего деда; но, приученный с детства подавлять всякое внешнее проявление душевных волнений, он ушел, не проронив ни слова, не пролив ни одной слезы, и вскоре был уже далеко за пределами лагеря Монтроза.

Дугалд Дальгетти, присутствовавший при этом прощании, был весьма мало удовлетворен поведением Мак-Ифа.

— Мне кажется, дружище Раналд, — сказал он, — что ты избрал не вполне правильный путь для умирающего. Приступ, атака, резня, поджог предместий — все это, конечно, повседневное занятие воина и оправдывается необходимостью, ибо он делает это по долгу службы; что касается, в частности, поджога, то можно сказать, что во всех укрепленных городах предместья кишат предателями. Поскольку ясно, что военное ремесло особенно угодно небесам, мы, несомненно, можем надеяться на спасение души, хотя и совершаем ежедневно столь страшные дела. Но скажу тебе, Раналд: во всех европейских войсках так уж заведено, что умирающий воин не похвастается подобными делами и не завещает своим братьям совершать их; напротив, он кается в них и читает молитву или просит помолиться за него. И если хочешь, я обращусь к капеллану его светлости с просьбой сотворить молитву над тобой. Впрочем, в мои обязанности отнюдь не входит наставлять тебя, но, быть может, это облегчит твою совесть, если ты

помрешь как добрый христианин, а не как турок, что ты, видимо, намерен сделать.

Вместо ответа умирающий (ибо смерть быстро приближалась к Раналду Мак-Ифу) попросил приподнять его, чтобы он мог взглянуть в окно. Густой зимний туман, весь день окутывавший вершины скал, теперь спускался по всем склонам, клубясь в горных ущельях и долинах, где зубчатые черные края, словно пустынные острова, высились в молочно-белом океане.

— Дух Тумана! — промолвил Раналд Мак-Иф. — Ты, кого наше племя зовет отцом и покровителем! Когда кончатся мои муки, прими в свое облачное жилище того, кому ты столь часто давал приют при его жизни!

С этими словами он откинулся на руки поддерживающих его и молча повернулся лицом к стене.

— Сдается мне, — сказал Дальгетти, — что друг мой Раналд в душе немногим лучше язычника. — И он повторил свое предложение пригласить доктора Уишарта, капеллана при войсках Монтроза.

— Человек он умный, — продолжал Дальгетти, — и мастер своего дела; он тебе отпустит все твои грехи раньше, чем я успею выкурить трубку.

— Южанин, — сказал умирающий, — не говори мне больше о священнике, — я умираю со спокойной душой. Был ли у тебя когда-нибудь враг, против которого оружие бессильно, которого и пуля не берет и стрела не пронзает, чье обнаженное тело непроницаемо для меча и кинжала, как твой стальной панцирь? Слышал ли ты когда-нибудь о таком противнике?

— Весьма часто, когда служил в Германии, — отвечал сэр Дугалд. — Был один такой в Ингольштадте: его не брали ни сталь, ни свинец. Солдаты прикончили его прикладами своих мушкетов.

— Вот на такого неуязвимого врага, — продолжал Раналд, не слушая майора, — чьи руки обогрены самой дорогой для меня кровью, я наслал муку душевную, ревность, отчаяние, внезапную смерть; а если не смерть, то жизнь — страшнее самой смерти! Такова

будет участь Аллана Кровавая Рука, когда он узнает, что Эннот Лайл — невеста Ментейта. И нет у меня иных желаний, как только увериться в том, что это свершится, и тем усладить мою смерть от его кровавой руки.

— Ежели так, — сказал майор, — то ничего с тобой не поделаешь. Но я позабочусь, чтобы как можно меньше людей тебя видели, ибо я считаю, что твой способ собираться на тот свет не может служить хорошим примером для солдат христианской армии.

С этими словами Дальгетти вышел из комнаты, и вскоре затем Сын Тумана окончил свое земное существование.

Тем временем Ментейт, оставив наедине вновь обретших друг друга отца и дочь, глубоко взволнованных неожиданно раскрывшейся тайной их родства, горячо обсуждал с Монтрозом последствия этого события.

— Я понял бы теперь, — сказал маркиз, — если бы даже не догадывался об этом раньше, что открытие, дорогой Ментейт, очень близко касается вашего личного счастья. Вы любите эту девушку, оказавшуюся знатной наследницей, и она отвечает вам взаимностью. Происхождение ее безупречно; достоинства не уступают вашим. И тем не менее — подумайте!.. Сэр Дункан — фанатик или, во всяком случае, пресвитерианин; он поднял оружие против короля. Он сейчас с нами только в качестве пленного, а я опасюсь, что это лишь начало долгой междоусобной войны. Время ли теперь — подумайте, Ментейт, — просить руки его дочери? И есть ли у вас надежда, что он станет вас слушать?

Любовь, самый ловкий и красноречивый из адвокатов, подсказала графу Ментейту тысячу ответов на эти возражения. Он сказал Монтрозу, что рыцарь Арденвор никогда не был ханжой ни в религии, ни в политике; упомянул о своей хорошо известной и не раз доказанной преданности делу короля и дал понять, что его брак с наследницей Арденвора может привлечь на их сторону новых приверженцев престола. Он напомнил о тяжелой ране сэра Дункана

и о том, какая опасность угрожает Эннот в стране Кэмбелов, ибо в случае смерти ее отца или долгой болезни она очутится под опекой Аргайла, а это положит предел всем его (Ментейта) надеждам, если он не пойдет на то, чтобы приобрести благорасположение Аргайла и получить его согласие на брак с Эннот ценой собственной измены королю.

Монтроз в конце концов внял этим доводам и согласился с тем, что хотя дело это трудное, но чем скорее оно будет сделано, тем больше пользы принесет сторонникам короля.

— Я желал бы, — сказал он, — чтобы этот вопрос уже был решен так или иначе и прекрасная Брисеида покинула лагерь до возвращения нашего северного Ахилла, Аллана Мак-Олея. Я боюсь его неистового нрава, Ментейт, и потому лучше всего отпустить сэра Дункана под честное слово в его замок, с тем чтобы вы в качестве почетного конвоя сопровождали его и Эннот. Почти весь путь можно проделать по воде, чтобы не растревожить рану сэра Дункана, а ваша рана, мой друг, достаточно почетное оправдание для временной отлучки из лагеря.

— Ни за что! — воскликнул Ментейт. — Даже если я должен отказаться от надежды, только что мелькнувшей предо мной, ни за что не покину я лагерь вашей светлости, пока над ним реет королевский штандарт! Я заслуживал бы, чтобы эта пустячная царапина загноилась и я лишился бы правой руки, когда позволил бы себе под предлогом столь легкой раны покинуть войско в такое время.

— Это ваше решение незыблемо? — спросил Монтроз.

— Так же незыблемо, как гора Бен-Невис, — отвечал Ментейт.

— В таком случае, — сказал Монтроз, — вы должны, не теряя времени, объяснить с рыцарем Арденвором. Если его ответ будет благоприятным, я сам поговорю с Ангюсом Мак-Олеем, и мы обсудим способ удержать брата подальше от армии, пока он не примирится с мыслью о постигшем его разочаровании. Дай-то бог, чтобы его посетило какое-нибудь

дивное видение, которое вытравило бы из его памяти образ Эннот Лайл! Вы, вероятно, считаете это невозможным, Ментейт?.. А теперь вернемся к своим обязанностям: идите служить Купидону, а я пойду служить Марсу.

Они расстались, и, как было условлено, Ментейт на другое утро попросил разрешения у раненого рыцаря Арденвора переговорить с ним наедине и сообщил ему о своем желании просить руки его дочери. Об их взаимных чувствах сэр Дункан догадывался, но не ожидал, что Ментейт так скоро выскажет свои намерения. Старик начал с того, что он и так уже, быть может, слишком много предается семейным радостям в то время, когда его клан претерпел столь тяжелый урон и унижение, и что поэтому ему не хотелось бы при столь бедственных обстоятельствах думать о дальнейшем преуспейании своего дома. Однако после настоятельных просьб Ментейта сэр Дункан просил дать ему несколько часов на размышление, дабы он мог посоветоваться с дочерью относительно столь важного дела.

Исход их беседы оказался благоприятным для Ментейта. Сэр Дункан Кэмбел видел, что счастье его вновь обретенной дочери всецело зависит от соединения с возлюбленным; и он отлично знал, что если брак не будет немедленно заключен, то Аргайл найдет тысячу способов воспрепятствовать этому союзу, который казался весьма желательным рыцарю Арденвору. Душевные качества Ментейта не оставляли желать ничего лучшего, а его положение в обществе благодаря богатству и знатности рода было столь высоко, что, в глазах сэра Дункана, оно с лихвой искупало различие их политических убеждений. К тому же, даже если бы собственное мнение об этом браке было не вполне благоприятно, он все же не решился бы упустить случай исполнить желание своей чудом найденной дочери. Помимо всего прочего, к такому решению его заставило прийти чувство фамильной гордости: было бы несколько унижительно представить свету наследницу Арденвора как бедную воспитанницу и музыкантшу, жившую из милости в поме-

стве Дарнлинварах. Ввести же ее в свет в качестве нареченной невесты или законной супруги графа Ментейта, полюбившего ее в дни безвестности, было бы достаточно веским доказательством того, что она всегда была достойна положения, до которого теперь возвысилась.

Под влиянием всех этих соображений сэр Дункан Кэмбел объявил влюбленным о своем согласии на их брак; их должен был обвенчать капеллан армии Монтроза — с наивозможной скромностью — в часовне замка Инверлохи. Было решено, что, когда Монтроз со своей армией двинется дальше, — о чем со дня на день ждали приказа, — молодая графиня уедет со своим отцом в его замок и останется там до тех пор, пока политическая обстановка в стране не позволит Ментейту с честью покинуть военную службу. Однажды придя к такому решению, сэр Дункан Кэмбел не стал слушать свою дочь, в смущении просившую отложить бракосочетание, и оно было назначено на вечер следующего дня — через двое суток после сражения.

Глава XXIII

Деву мою синеокою взял Агамемнон
жестокый,
Ту, что за подвиги ратные в дар
ниспослали мне боги.
«Илиада»¹

По многим причинам было необходимо поставить Ангюса Мак-Олея в известность о счастливой перемене в судьбе недавней его воспитанницы Эннот Лайл, которую он в течение долгих лет окружал нежными заботами; и Монтроз, взявший на себя это поручение, сообщил ему все подробности необыкновенного события. Со свойственной ему беспечностью и легкомыслием Ангюс выразил больше радости, нежели удивления, по поводу выпавшего на долю Эннот

¹ Перевод И. Миримского.

счастья; он не сомневался, что она будет вполне его достойна и, воспитанная в духе преданности королю, передаст вместе с рукой и сердцем владения своего сурового фанатика отца какому-нибудь честному рыцарю.

— Я бы ничего не имел против того, чтобы мой брат Аллан попытал счастья, — добавил он, — невзирая на то, что сэр Дункан Кэмбел единственный человек, когда-либо попрекнувший хозяев Дарнлинвараха в недостатке гостеприимства. Эннот Лайл всегда умела разгонять мрачные мысли Аллана, и — кто знает — может быть, женившись, он стал бы таким же человеком, как и все.

Монтроз поспешил прервать эти радужные мечты, сообщив Ангюсу, что наследница Арденвора уже просватана и, с согласия ее отца, не сегодня — завтра будет обвенчана с графом Ментейтом; и в знак глубокого уважения к Ангюсу Мак-Олею, бывшему столь долгое время покровителем невесты, он, Монтроз, просит его присутствовать при совершении брачного обряда.

При этом известии Мак-Олей нахмурился и гордо выпрямился, всем своим видом показывая, что он обижен.

Он считает, заявил он, что его неустанное попечение и заботы о молодой девушке во время ее многолетнего пребывания под его кровлей заслуживают несколько большего внимания, нежели приглашение на свадьбу. По его мнению, он был вправе ожидать, чтобы с ним по крайней мере посоветовались. Он искренне желает добра Ментейту, так искренне, как, может быть, никто иной, но он находит, что тот поступил в этом случае несколько опрометчиво. Чувства Аллана и молодой девушки ни для кого не были тайной, и он, со своей стороны, отказывается понимать, как она, даже не обсудив ни с кем своего решения, могла пренебречь чувством благодарности, на которую брат его имел большее право, чем кто-либо другой.

Монтроз, отлично понимая, к чему все это клонится, убедительно просил Ангюса быть благоразумным и подумать о том, что едва ли удалось бы уго-

ворить рыцаря Арденвора отдать руку своей единственной наследницы Аллану, который при всех своих неоспоримо превосходных качествах имеет еще другие свойства характера, настолько затмевающие первые, что все окружающие страшатся его.

— Милорд, — возразил Ангюс Мак-Олей, — у моего брата, как и у каждого из нас, смертных, есть свои достоинства и недостатки; но он самый лучший, самый храбрый воин в вашей войске — каков бы ни был его соперник, — и поэтому не заслуживает того, чтобы вы, ваша светлость, а также его близкий родственник и молодая особа, которая всем обязана ему и его семейству, столь мало посчитались с его личным счастьем.

Тщетно пытался Монтроз заставить Ангюса взглянуть на дело с другой стороны — Ангюс упорно стоял на своем; а он был из тех людей, которые, забрав себе что-либо в голову, не поддаются уже никаким убеждениям. Тогда Монтроз переменял тон и предостерег Ангюса от каких-либо поступков, которые могли бы нанести вред делу короля. Он выразил настойчивое желание, чтобы Аллану не мешали выполнить возложенное на него поручение, весьма почетное для него самого и чрезвычайно важное для интересов короля; он высказал надежду, что старший брат ничего не будет сообщать Аллану, дабы не создавать повода к раздорам и не отвлекать его мыслей от столь важного дела.

Ангюс отвечал довольно мрачно, что он не подстрекатель и не зачинщик ссор и предпочел бы играть роль миротворца. Брат его не хуже других умеет постоять за себя, а что касается сообщений, то всем хорошо известно, что Аллан получает вести из своих особых источников, помимо обыкновенных гонцов. При этом Ангюс добавил, что он нисколько не будет удивлен, если Аллан появится среди них раньше, чем его можно было бы ожидать.

Единственное, чего удалось добиться Монтрозу, было обещание Ангюса не вмешиваться: столь добродушный при всех иных обстоятельствах, Ангюс становился непреклонен, когда дело касалось его гордости,

выгоды или предрассудков. Маркизу ничего не оставалось, как прекратить разговор.

Можно было думать, что гораздо охотнее согласится быть свидетелем брачной церемонии и, уж разумеется, не откажется от свадебного пиршества другой гость, а именно сэр Дугалд Дальгети, которого Монтроз считал нужным пригласить, как участника всех предшествующих событий. Однако и сэр Дугалд выказал заметное колебание; поглядывая на локти своей куртки и протертые колени кожаных штанов, он пробормотал слова благодарности за приглашение, обещая по возможности воспользоваться им, предварительно посоветовавшись с женихом. Монтроз был несколько озадачен, но почел ниже своего достоинства выразить неудовольствие и предоставил сэру Дугалду действовать по собственному усмотрению. Тот немедленно отправился в комнату жениха, который из своего скудного походного гардероба пытался выбрать платье, наиболее пригодное для предстоящего венчанья. Войдя, сэр Дугалд торжественно поздравил Ментейта с предстоящим бракосочетанием, свидетелем которого, добавил он, к великому своему сожалению, быть не может.

— Говоря откровенно, — продолжал он, — я просто опозорил бы вас своим присутствием: у меня нет свадебного наряда; дыры, прорехи и продранные локти в одежде гостя могли бы быть приняты за плохое предзнаменование для вашей будущей семейной жизни; и, если хотите знать правду, милорд, вы отчасти сами виноваты, ибо зря послали меня взять кожаное платье из добычи, доставшейся Камеронам: вы могли с таким же успехом послать меня вытаскивать фунт масла из пасти терьера. Меня встретили, милорд, занесенными мечами и кинжалами и рычаньем на тарабарском наречии, которое они именуют своим языком. Что до меня, то я считаю горцев ничуть не лучше настоящих язычников и был сильно возмущен тем, каким образом мой приятель Раналд Мак-Иф час тому назад соизволил отправиться в свой последний поход.

Находясь в том счастливом состоянии, когда человека все веселит, Ментейт отнесся к жалобам сэра Дугалда как к забавной шутке. Он попросил майора принять в подарок прекрасный кожаный камзол.

— Я хотел было сам надеть его, — сказал граф, — ибо он показался мне наименее устрашающим из всех моих воинских одеяний, а другой одежды у меня здесь нет.

Сэр Дугалд рассыпался в извинениях, уверяя, что ни в коем случае не хочет лишать... и так далее и так далее... — пока ему вдруг не пришла в голову счастливая мысль, что, по военным правилам, графу приличествует венчаться в панцире и нагруднике, как венчался принц Лео Виттельбахский с младшей дочерью старого Георга Фридриха Саксонского в присутствии доблестного Густава Адольфа, Северного Льва и прочая и прочая. Ментейт весело рассмеялся и полностью согласился с майором, обеспечив себе таким образом хотя бы одно довольное лицо на свадебном пиру. Ментейт надел парадную кирасу, прикрыв ее бархатным камзолом и голубым шарфом, повязанным через плечо, согласно и своему званию и моде того времени.

Все приготовления были закончены. По обычаю страны, жених и невеста не должны были видаться до той минуты, когда они вместе предстанут перед алтарем. Уже пробил час, назначенный для венчания, и жених в маленьком преддверии перед часовней дожидался маркиза, который согласился быть его шафером. Непредвиденные дела задерживали маркиза, и Ментейт с понятным нетерпением ждал его прихода. Услышав, как отворяется дверь, он сказал шутливо:

— Вы опаздываете на парад.

— Не рано ли я пришел, — отвечал Аллан Мак-Олей, врываясь в комнату. — Обнажи шпагу, Ментейт, и защищайся, как мужчина, или умри, как собака!

— Ты не в своем уме, Аллан! — воскликнул Ментейт, пораженный не столько внезапным появлением ясновидца, сколько его неистовой яростью. Щеки Аллана покрылись мертвенной бледностью, глаза готовы

были выскочить из орбит, на губах выступила пена, он метался по комнате, как бесноватый.

— Лжешь, предатель! — кричал он в иступлении. — Ты лжешь сейчас, как лгал мне раньше. Вся твоя жизнь — одна только ложь!

— Разве я неправду сказал, назвав тебя безумцем? — сказал Ментейт с возмущением. — Иначе твоя жизнь немногого бы стоила. В какой лжи ты обвиняешь меня?

— Ты мне сказал, — ответил Мак-Олей, — что не женишься на Эннот Лайл. Гнусный предатель! Она уже ждет тебя у алтаря.

— Это ты говоришь неправду, — возразил Ментейт. — Я сказал, что ее темное происхождение — единственное препятствие к нашему браку; это препятствие устранено. А кто ты такой, чтобы ради тебя я отказался от своего счастья?

— Так обнажи шпагу, — сказал Мак-Олей. — Говорить нам больше не о чем.

— Не сейчас и не здесь, — отвечал Ментейт. — Ты меня знаешь, Аллан... Подожди до завтра, и мы будем драться сколько тебе угодно.

— Сейчас... сию минуту... или никогда! — сказал Мак-Олей. — Твой час пробил, я не дам тебе больше торжествовать, Ментейт! Заклинаю тебя нашим кровным родством, нашим общим делом и общими битвами, обнажи шпагу и защищай свою жизнь!

С этими словами он схватил графа за руку и стиснул ее с такой неистовой силой, что кровь выступила у того из-под ногтей. Ментейт резко оттолкнул его, воскликнув:

— Прочь, безумец!

— Итак, да сбудется мое предвидение! — сказал Аллан и, выхватив кинжал, со всей своей исполненной силой ударил им графа в грудь. Острое клинка скользнуло вверх по стальному панцирю и глубоко вонзилось между плечом и шеей; сила удара сразила Ментейта, и он упал, обливаясь кровью. В эту минуту Монтроз вошел в преддверие, а привлеченные шумом свадебные гости в испуге и недоумении отворили двери часовни; но прежде чем Монтроз понял, что

случилось, Аллан Мак-Олей стремительно промчался мимо него и с быстротой молнии сбежал по лестнице замка.

— Стража! Ворота на запор! — крикнул Монтроз. — Держите его! Убейте, если будет сопротивляться! Клянусь, он умрет, будь он мне хоть брат родной!

Но Аллан вторым ударом кинжала уложил на месте часового, словно горный олень промчался через весь лагерь, преследуемый всеми, кто слышал приказ Монтроза, бросился в реку, переплыл ее и, выйдя на берег, вскоре исчез из виду, скрывшись в лесу.

В тот же вечер брат его Ангюс вместе со всем своим кланом, покинув лагерь Монтроза, отправился домой и никогда уж больше не присоединялся к его войскам.

Об Аллане же ходила молва, что он чуть ли не завтра после совершенного злодеяния ворвался в один из залов замка Инверэри, где в это время Аргайл собрал военный совет, и бросил на стол свой окровавленный кинжал.

— Кровь Джеймса Грэма? — спросил Аргайл, с диким злорадством и вместе с тем со страхом глядя на внезапного посетителя.

— Это кровь его любимца, — отвечал Мак-Олей, — кровь, которую мне было предназначено пролить, хотя я охотнее отдал бы свою собственную.

Промолвив эти слова, Аллан повернулся, выбежал вон из комнаты и тотчас покинул замок; и с этой минуты ничего достоверно не известно о его судьбе. Говорят, будто вскоре после этого видели, как Кеннет, внук Раналда Мак-Ифа, с тремя другими Сынами Тумана переплывал озеро Лох-Файн, и, по мнению многих, они выследили Аллана и настигли его в чаще леса, где он и погиб от их руки. Другие утверждали, что Аллан Мак-Олей покинул Шотландию, постригся в монахи и умер в одном из картезианских монастырей. Но и то и другое мнение ничем, кроме догадок, не подтверждалось.

Однако месть его оказалась не столь полной, как он, вероятно, думал, ибо Ментейт, хотя и раненный

столь тяжело, что жизнь его долго находилась в опасности, избежал рокового конца благодаря тому, что, следуя совету майора Дальгетти, облачился перед бракосочетанием в стальную кирасу. Но служба его в армии Монтроза кончилась; было решено, что он отправится вместе со своей нареченной супругой, чуть было не ставшей печальной вдовицей, и с тяжело-раненым будущим тестем, сэром Дунканом, в замок Арденвор. Дальгетти сопровождал их до берега озера и при расставании не преминул напомнить Ментейту о необходимости возвести форт на холме Драм-снэб, дабы защитить новоприобретенное наследство его супруги.

Они благополучно совершили путешествие, и спустя несколько недель Ментейт настолько оправился, что мог обвенчаться с Эннот в замке ее отца.

Горцы были несколько озадачены тем, что Ментейт выздоровел, несмотря на пророчество ясновидца, а наиболее испытанные прорицатели даже сердились на него за то, что он не умер. Многие же, напротив, считали, что пророчество все-таки исполнилось, ибо рана Ментейта была нанесена той самой рукой и тем самым оружием, которые являлись Аллану в его видениях. Что касается кольца с мертвой головой, то все сошлись на том, что оно и послужило предзнаменованием смерти отца невесты, прожившего всего несколько месяцев после свадьбы дочери. Впрочем, маловеры утверждали, что все это лишь пустые бредни, что видения Аллана были не что иное, как игра его больного воображения, что он давно уже видел в Ментейте своего счастливого соперника, и его необузданная страсть внушила ему мысль об убийстве.

Здоровье Ментейта все же не позволило ему быть участником блестящих, но кратковременных успехов Монтроза, и когда этот доблестный полководец выпустил свое войско и покинул Шотландию, Ментейт решил вести мирную жизнь у семейного очага: так он прожил до самой реставрации Стюартов. После этого события он занимал в стране положение, соответствующее его званию, жил долго и счастливо,

окруженный уважением и любовью, и умер в глубокой старости.

Наши *dramatis personae*¹ столь немногочисленны, что, за исключением Монтроза, чья жизнь и дела — достояние истории, нам остается упомянуть только о судьбе сэра Дугалда Дальгетти. Этот честный воин продолжал с педантичной точностью нести свои обязанности и получать жалованье, пока в числе других не попал в плен в битве при Филипхоу. Ему предстояло разделить участь своих собратьев офицеров, присужденных к смертной казни, — не столько по приговору гражданского или военного суда, сколько по обвинению с церковной кафедры, ибо духовенство решило пролить кровь во искупление грехов всей страны, и их постигла кара, которой некогда подверглись хананеяне.

Однако несколько офицеров из предгорья, служивших в войсках парламента, вступились за Дальгетти и убедили свое начальство, что его военное искусство может пригодиться в их армии, а уговорить его переменить службу будет нетрудно. Но они неожиданно натолкнулись на решительный отказ. Дальгетти заявил, что поступил на службу к королю на определенный срок, и до истечения этого срока не может быть и речи о переходе в другую армию. Сторонники ковенанта, однако, не признавали таких тонкостей, и Дальгетти грозила опасность стать мучеником не ради тех или иных политических убеждений, а лишь из-за своих собственных понятий о долге наемного солдата. К счастью, его друзья высчитали, что оставалось всего каких-нибудь две недели до истечения срока его контракта, нарушить который никакие силы земные не могли заставить майора, хотя не было ни малейшей надежды на его возобновление. Не без труда удалось выхлопотать ему отсрочку казни на эти две недели, по прошествии которых он охотно согласился подписать новые условия, поставленные его доброжелателями. Таким образом, он очутился в войсках парламента и дослужился до чина майора

¹ Действующие лица (лат.).

в отряде Гилберта Кэра, обычно называемом Пресвитерианской конницей.

О дальнейшей его судьбе нам ничего не известно, кроме того, что он наконец овладел своим родовым поместьем Драмсуэки, взяв его, однако, не в бою, а мирно вступив в брак с Ханной Стрэхен, особой довольно почтенного возраста и вдовой того самого пресвитерианина, который некогда присвоил себе его владения.

По-видимому, сэр Дугалд пережил революцию, ибо не столь давнее предание повествует о том, как он колесил по всей округе — очень старый, очень глухой, но по-прежнему плетущий нескончаемые бредни о бессмертном Густаве Адольфе, этом Северном Льве и оплоте протестантской веры.

КОММЕНТАРИИ

«ЛАММЕРМУРСКАЯ НЕВЕСТА»

Роман «Ламмермурская невеста» — четвертый из цикла «Рассказы трактирщика», выходившего под вымышленным именем Питера Петтисона, — появился в 1819 году. В период его создания Вальтер Скотт был тяжело болен. Он диктовал «Ламмермурскую невесту» секретарям, которые тут же отправляли готовые страницы в типографию.

В основу романа легла легенда, связанная с трагическим событием в семействе Джеймса Далримпла, лорда Стэра (1619—1695), шотландского государственного деятеля и юриста. Скоропостижная смерть его старшей дочери Дженет в 1659 году, последовавшая через месяц после ее свадьбы с шотландским дворянином Дэвидом Данбаром из Болдуна, вызвала множество толков. По одной из версий Дженет Далримпл тайно обручилась с лордом Рутвеном, но по настоянию матери, леди Стэр, была выдана замуж за Данбара. В припадке безумия Дженет пыталась в брачную ночь заколоть своего мужа. Спустя месяц она скончалась. Вальтер Скотт воспользовался этой легендой, но изменил место и время действия: события романа разворачиваются не в юго-западной части Шотландии, а в восточных районах страны, и на полвека позже.

Как всегда у Вальтера Скотта, судьба главного героя романа Рэвенсвуда оказывается неразрывно связанной с историческими событиями. Время действия романа относится к 1709—1710 годам. Эти годы не отмечены взрывами народных восстаний или бурными столкновениями враждующих сторон в гражданской войне. Тем не менее они едва ли заслуживают названия «мирных».

Государственный переворот 1688—1689 годов, лишивший Иакова II Стюарта английского престола, явился «компромиссом между *неофициально*, но фактически *господствующей* во всех решающих сферах буржуазного общества буржуазией и *официально правящей* земельной аристократией».¹ Переворот был совершен без участия народа и менее всего отвечал его интересам. Одним из непосредственных результатов достигнутого компромисса была массовая экспроприация крестьянства как в Англии, так и в Шотландии, где этот процесс происходил особенно болезненно.

В 1707 году между Англией и Шотландией был заключен договор, по которому оба государства объединялись в Соединенное королевство Великобритании. Хотя формально Шотландия вступала в союз с Англией на равных началах, фактически как в экономическом, так и в политическом отношении уния 1707 года сулила выгоды только Англии: Шотландия оказалась покоренной и закабаленной своим могущественным соседом. В связи с этим усилились антианглийские настроения в Шотландии, питавшиеся многовековой борьбой и ненавистью к завоевателям.

Этими настроениями умело пользовались сторонники Стюартов, стараясь привлечь шотландцев на сторону изгнанной династии. На протяжении всей первой половины XVIII века в Шотландии то и дело вспыхивали восстания, и первое десятилетие, в которое происходит действие «Ламмермурской невесты», насыщено атмосферой грядущих событий — восстаний 1715—1716 и 1745 годов.

С другой стороны, государственный переворот 1688—1689 годов, поставивший у власти землевладельцев и капиталистов, сопровождался небывалой по своей откровенности и цинизму борьбой за политическую власть. Деятели, подобные беспринципному, алчному интригану Марлборо, возглавили борьбу политических партий — вигов и тори, оспаривавших друг у друга власть.

«Ламмермурская невеста» — самый мрачный из всех шотландских романов Скотта. Ни один из них не заканчивается столь несчастливо — гибелью обоих главных героев, ни в одном из них не встречается такого обилия зловещих пророчеств и предзнаменований. «Трагедией в форме романа» назвал эту книгу Белинский.

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 11, стр. 99—100.

«Ламмермурскую невесту» Скотта неоднократно сравнивали с трагедией Шекспира «Ромео и Джульетта». И тут и там поэтическая любовь принесена в жертву вражде и ненависти. Но здесь причина вражды иная. На этот раз не феодальные пережитки, а беспринципная политическая игра и разгул корыстных интересов — новый порядок нового буржуазного общества — разбивают союз молодых людей, несут им разлуку и смерть. Драматичность сюжета и сравнительно небольшое число действующих лиц позволяли приспособить «Ламмермурскую невесту» для сцены. Из сценических переделок наибольшую известность получила опера итальянского композитора Доницетти «Лючия ди Ламмермур» (1836) и пьеса «Рэвенсвуд» (1890), шедшая с участием крупнейшего английского трагического актера Генри Ирвинга.

Стр. 7. *Панч и супруга его Джоан* — главные действующие лица народного кукольного театра в Англии.

Питер Петтисон — вымышленный автор «Ламмермурской невесты» и других романов («Черный карлик», «Пуритане», «Эдинбургская темница», «Легенда о Монтрозе», «Граф Роберт Парижский» и «Замок Опасный»), включенных Вальтером Скоттом в цикл «Рассказы трактирщика».

Стр. 8. *...рычать, что твой соловушко..* — Шекспир, «Сон в летнюю ночь» (акт I, сц. 2).

...как пленный Самсон, всю жизнь вертеть жернова... — Согласно библейской легенде, Самсон был захвачен в плен филистимлянами, которые заставили его молоть зерно, а затем потребовали, чтобы он забавлял их во время празднества. Самсон, обладавший титанической силой, обрушил на своих врагов храм и сам погиб под его обломками.

Стр. 9. *...эти чувства выражены в словах Овидия...* — Древнеримский поэт Публий Овидий Назон (43 до н. э. — 17 н. э.), посланный императором Августом на берег Черного моря, в последних произведениях («Скорбные послания» и «Послания с Понта») постоянно жаловался на свою судьбу и молил вернуть его в Рим. Далее цитируются «Скорбные послания».

Стр. 12. *Тенирс* Давид Младший (1610—1690) — фламандский художник, прославившийся жанровыми сценами из крестьянского быта.

Уилки Дэвид (1785—1841) — шотландский художник; приобрел известность картинами на бытовые темы, главным образом из жизни шотландских крестьян.

Поп Александр (1688—1744) — английский поэт, глава английского просветительского классицизма.

Стр. 13. *Джедедия Клейшботэм* — вымышленный издатель цикла романов Вальтера Скотта, выходивших под общим названием «Рассказы трактирщика».

Стр. 14. *...клянусь душою сэра Джошуа...* — Имеется в виду сэр Джошуа Рейнолдс (1723—1792), крупнейший английский художник XVIII в., основатель и первый президент английской Академии художеств.

Стр. 15. *Уильям Уоллес* (1270—1305) — национальный герой Шотландии; вел успешную борьбу против англичан. В 1305 г. в результате предательства Уоллес был захвачен в плен английским королем Эдуардом I (1272—1307) и казнен.

Хогарт Уильям (1697—1764) — выдающийся английский живописец и теоретик искусства.

Доменикино (Доменико) Дзампьеро (1581—1641) — итальянский художник, один из главных представителей итальянского академизма XVII в.

Морленд Джордж (1763—1804) — английский художник, снискавший известность пейзажами и жанровыми картинами из быта крестьян, рыбаков и ремесленников.

Стр. 16. *...на приз Общества...* — Имеется в виду Британское общество — филантропическая организация, основанная с целью помощи художникам.

Соммерсет-хауз — одно из лондонских зданий, в котором устраивались различные выставки. В настоящее время в нем находятся государственные учреждения.

Стр. 17. *Босуэл* — персонаж из романа Вальтера Скотта «Пуритане».

Карл II Стюарт — король Англии и Шотландии с 1660 по 1685 г.

Дэвид Динс — персонаж из романа Вальтера Скотта «Эдинбургская темница».

Стр. 20. *Елизаветинская эпоха* — период правления английской королевы Елизаветы I Тюдор (1558—1603).

...в ван-дейковском костюме... — то есть в костюме, характерном для английской знати на портретах фламандского художника Антониса Ван-Дейка (1599—1641), последние годы жизни (с 1632) работавшего при дворе английского короля Карла I Стюарта (1625—1649).

Стр. 21. *Хинес де Пасамонт* — персонаж из романа Сервантеса «Дон-Кихот», ловкий плут, хозяин обезьяны-прорицательницы, которая, по его словам, «ничего не сообщает касательно будущего, но только о прошлом и немного о настоящем».

Стр. 22. *Пуф* — персонаж из сатирической комедии английского драматурга Р. Шеридана (1751—1816) «Критик», автор представляемой по ходу действия трагедии. Одно из главных действующих лиц этой пьесы, лорд Берли, выражает свои суждения не словами, а покачиванием головы.

Стр. 23. «*Генрих VI*», ч. II — историческая хроника Шекспира. Эпиграф взят из акта V, сц. 3.

Незадолго до революции... — Имеется в виду государственный переворот 1688—1689 гг., который в английской буржуазной историографии получил название «славной революции».

Стр. 24. *В междоусобной войне 1689 года...* — Имеется в виду якобитское восстание, целью которого было возвратить престол королю Иакову II Стюарту, свергнутому переворотом 1688—1689 гг. Восстание это было подавлено.

Стр. 25. *В те дни не было царя у Израиля* — выражение, заимствованное из библии и означающее отсутствие правителя в государстве.

С той поры как Иаков VI покинул Шотландию... — В 1603 г. король Шотландии Иаков VI Стюарт (1567—1625), став английским королем под именем Иакова I, покинул Шотландию и в дальнейшем жил в Англии.

Сент-Джеймский двор — двор английского короля. В Сент-Джеймском дворце в Лондоне находилась резиденция английского короля.

Бедствия, происходившие от этой системы правления, походили на несчастья, выпавшие на долю ирландских крестьян... — В результате покорения Ирландии Англией многие земли перешли в собственность английских землевладельцев, а ирландские крестьяне были превращены в арендаторов и батраков. Английские лендлорды, как правило не проживавшие в Ирландии, вскоре совершенно разорили страну и ее население.

Стр. 26. *Абу-Хасан* — персонаж из арабской сказки «Сон наяву, или халиф на час», включенной в сборник сказок «Тысячи и одной ночи».

Стр. 30. *Епископальная церковь* (англиканская) — английская государственная церковь, основанная в 1534 г. Генрихом VIII

(1509—1547). Епископальная церковь явилась компромиссом между католической и протестантской. Глава англиканской церкви — король; управление осуществляется на основе строгой иерархии. В Шотландии со второй половины XVI в. государственной церковью была пресвитерианская. Пресвитериане отрицали церковную иерархию и власть епископов. Управление церковными делами, по мнению пресвитериан, должно осуществляться выборными старейшинами. Пресвитериане находились в оппозиции к династии Стюартов.

Партия тори, или кавалеров. — Тори — название английской политической партии, образовавшейся в 80-х гг. из противников билля 1860 г., по которому наследник престола герцог Йоркский (впоследствии — Иаков II) лишался права наследования. Сторонники этого билля назывались вигами. Среди тори многие были сторонниками низложенного Иакова II Стюарта. Кавалерами в период гражданской войны во время английской буржуазной революции (1640—1660) называли сторонников короля Карла I Стюарта.

Мастер — в Шотландии титул наследника барона или виконта.

Стр. 33. *«Уильям Белл, Клайм из Клю и др»* — народная шотландская баллада «Адам Белл, Клайм из Клю и Уильям Клаудсли».

Стр. 38. *Уна* — персонаж из аллегорической поэмы английского поэта Эдмунда Спенсера (1552—1599) «Королева фей». Уну в ее странствиях сопровождает лев, укрощенный ее добротой и душевной чистотой.

Миранда — персонаж из драмы Шекспира «Буря», дочь герцога Просперо, отправленная с ним в изгнание на необитаемый остров.

Стр. 40. *...подобно тыкве пророка, способно возрасти за одну ночь...* — Как рассказывается в библии, бог вырастил за одну ночь растение, чтобы пророк Иона мог спрятаться под его тенью от солнечных лучей.

Стр. 42. *Тристрам* — герой одноименного рыцарского романа XIII в., рыцарь, не имеющий себе равных в искусстве стрельбы, фехтования, верховой езды и т. д.

Стр. 45. *Спенсер*. — Эпиграф взят из «Королевы фей» (кн. III, 7).

Стр. 52. *Так в долг врагу вся жизнь моя дана?* — Шекспир, «Ромео и Джульетта» (акт I, сц. 5).

Каледонские леса. — Каледония — древнее название Шотландии.

Стр. 55. *Эгерия* — в римской мифологии нимфа источника, возлюбленная римского царя Нумы Помпилия.

Стр. 56. *«Молот ведьм»* — название средневекового трактата о «колдовстве», одним из авторов которого был Шпренгер (жил в XVI в.).

Ремигиус (Рёми Никола, 1554—1600) — французский судья, приговоривший к смерти сотни людей за «колдовство», автор трактата о «колдовстве».

Стр. 57. *Битва при Флоддене* — сражение между англичанами и шотландцами 9 сентября 1513 г., в котором шотландцы потерпели жестокое поражение. В этой битве были убиты многие знатные дворяне и сам король Шотландии Иаков IV.

...так же пагубно, как для Грэма надеть зеленую одежду, для Брюса убить паука или для Сен-Клера переправиться через реку Орд в понедельник. — Имеются в виду старинные шотландские народные предания, в том числе и легенда о том, что паук предсказал шотландскому национальному герою Роберту Брюсу (1274—1329), впоследствии королю Шотландии Роберту I, победу над англичанами; с тех пор в роде Брюсов пауки считаются неприкосновенными.

Стр. 68. *Генри Макензи* (1745—1831) — шотландский писатель и драматург.

Стр. 69. *Ирландская бригада.* — В XVIII в. при дворах многих европейских королей существовали военные отряды, сформированные из ирландцев, эмигрировавших из родной страны после подавления восстаний середины и конца XVII в.

Сен-Жермен — замок близ Парижа, который французский король предоставил Иакову II Стюарту после его изгнания из Англии в 1688 г. Иаков II, а затем его сын Иаков Эдуард, шевалье Сен-Жорж (1688—1766), неоднократно предпринимали попытки вернуть себе престол. Вербуя сторонников, они использовали антианглийские настроения в Шотландии, особенно сильные в среде жителей Верхней Шотландии, пытавшихся противостоять ломке патриархально-родовых отношений, которая усиливалась и ускорялась под давлением Англии. Приверженцев низложенного короля и его сына называли якобитами.

Стр. 72. *...я вышел бы в «Александр»...* — Речь идет о трагедии «Царицы-соперницы, или Смерть Александра Великого»

английского драматурга Натаниеля Ли (1653—1692). Далее приводятся строки из акта IV, сц. 2 этой трагедии.

Стр. 79. *Оссиан*. — Имеются в виду «Сочинения Оссиана» шотландского поэта Джеймса Макферсона (1736—1796), выдавшего свою обработку древних кельтских легенд за поэзию Оссиана, легендарного кельтского героя и певца, жившего, по преданию, в III в.

Стр. 82. *Английский богослов*. — Имеется в виду Джордж Херберт (1593—1633), богослов и поэт.

Стр. 84. *...семь эфесских отроков проснулись бы...* — Как рассказывается в одной из ранних христианских легенд, семь юношей-христиан из Эфеса скрылись от преследований в пещере и были там замурованы. Прослав двести тридцать лет, они вышли из пещеры живыми и невредимыми.

Стр. 86. *Виги* — английская политическая партия (см. прим. к стр. 30). В описываемый период партия вигов находилась у власти.

Стр. 87. *Бас* — скала на берегу Северного моря в Восточном Лотиане (Шотландия).

Норт-Берик — возвышенность в Восточном Лотиане.

Стр. 88. *Уэстминстер-холл* — старинный зал в здании Уэстминстерского дворца в Лондоне, где помещается английский парламент.

Стр. 92. *Заговор Гаури*. — В 1600 г. граф Джон Рутвен Гаури и его брат Александр были зверски убиты в собственном замке во время пребывания там шотландского короля Иакова VI (1567—1625). По официальной версии, братья Гаури пытались напасть на короля, и он убил их, защищая свою жизнь.

Линн — герой шотландской баллады «Наследник Линн», включенной Томасом Перси (1729—1811) в сборник «Образцы древней английской поэзии». Это история о промотавшемся сыне лорда Линна, которому случай помогает снова стать богатым и вернуть себе утраченное поместье.

Стр. 93. *Граф Ангюс* Арчибалд Дуглас (1489—1557) — отчим шотландского короля Иакова V (1513—1542), захвативший власть до его совершеннолетия. Впоследствии Ангюс был обвинен в государственной измене и бежал из Шотландии, куда возвратился только после смерти короля.

Стр. 98. *Высокая церковь* — одно из течений в англиканской церкви в XVIII в. Священники, принадлежавшие к Высокой

церкви, отстаивали догматы, близкие к католицизму. Многие из них были тесно связаны с партией тори и принимали участие в политических интригах и борьбе за власть.

Стр. 100. *Баллантайн* Джон (1774—1821) — издатель и книгопродавец, печатавший произведения Вальтера Скотта.

Стр. 102. *Карл I* Стюарт (1625—1649) — король Англии и Шотландии, казненный во время английской буржуазной революции.

Карл II Стюарт. — См. прим. к стр. 17.

Иаков II Стюарт — король Англии и Шотландии с 1685 по 1688 г.

Круглоголовые — кличка, которой в период английской буржуазной революции приверженцы короля окрестили сторонников парламента, вступивших с ним в борьбу. Кличка эта указывала на связь последних с простым народом, который, в отличие от джентльменов, носивших локоны до плеч, стриг волосы. В свою очередь, противники короля называли его приверженцев кавалерами. Бакло называет круглоголовыми шотландских пресвитериан.

Клеверхауз Джон Грэм, виконт Данди (1649—1689) — английский военный деятель, ревностный приверженец династии Стюартов. В 1679 г. принимал участие в подавлении восстания шотландских пресвитериан (см. роман «Пуритане»). Необычайная жестокость Клеверхауза стяжала ему в народе прозвище Кровавый.

Стр. 105. «*Эсуолд*» — пьеса шотландской поэтессы и драматурга Джоанны Бейли (1762—1851).

Стр. 109. *Джон Драйден* (1631—1700) — крупнейший английский поэт, драматург и критик периода Реставрации, сторонник Стюартов.

Стр. 115. *...если бы ее величеству стало известно...* — В описываемый период Англией управляла королева Анна Стюарт (1702—1714).

Стр. 116. *Певец «Надежды»*. — Речь идет о шотландском поэте Томасе Кэмбеле (1777—1844), авторе поэмы «Утехи надежды». Ниже следует отрывок из его стихотворения «Строчки, написанные при посещении Аргайлшира»

Стр. 120. *Колридж* Сэмюел (1772—1834) — английский поэт.

Стр. 124. *День св. Мартина* — 11 ноября; к этому дню, согласно парламентским актам 1690 и 1693 гг., приурочивалась

выплата налогов и податей, а также производились все расчеты с наемными работниками.

Ахат — верный товарищ и спутник троянского героя Энея во всех его странствиях, о которых рассказывается в поэме древнеримского поэта Вергилия (70—19 до н. э.) «Энеида».

Стр. 130. *«Паломничество любви»* — пьеса английских драматургов Ф. Бомонта (1584—1616) и Д. Флетчера (1579—1625). Эпиграф взят из акта II, сц. 4.

Стр. 137. *Генриетта Мария* (1609—1666) — английская королева (1625—1642), жена Карла I Стюарта.

Стр. 138. *Чосер* Джеффри (1340—1400) — великий английский поэт, основоположник национальной английской литературы. Наиболее известны его «Кентерберийские рассказы», в которые входит и «Рассказ пристава церковного суда».

Стр. 140. *Берк* Эдмунд (1729—1797) — английский политический деятель и публицист.

Стр. 143. *Форт* — река в восточной Шотландии, разделяющая страну на северную, горную часть (Верхняя Шотландия) и южную (Нижняя Шотландия). В горной Шотландии в начале XVIII в. сохранялись еще патриархальные отношения, при которых глава родовой общины (клана) был полновластным хозяином имущества и жизни ее членов, творившим суд и расправу по собственному усмотрению.

Красные мундиры — прозвище, данное народом английским солдатам, так как их форма была красного цвета.

...его *Перу и Эльдорадо*. — Эльдорадо — несуществующая страна, будто бы богатая золотом и драгоценными камнями. В Перу, как известно, были значительные запасы золота и серебра.

Стр. 151. *«Ум без гроша»* — пьеса английского драматурга Д. Флетчера, эпиграф взят из акта I, сц. 1.

Стр. 155. *...сражавшемся против святых защитников веры при Босуэл-бридже...* — При Босуэл-бридже 22 июня 1679 г. произошло решающее сражение между восставшими пресвитерианами и правительственными войсками, в котором повстанцы были разбиты. Поражение восстания сопровождалось жестокими расправами с пресвитерианами. Сражение при Босуэл-бридже описано в романе Вальтера Скотта «Пуритане».

Стр. 168. *«Новый способ платить старые долги»* — пьеса Ф. Мессинджера (1583—1640). Эпиграф взят из акта III, сц. 3.

Нортхемптон Генри Говард (1540—1614) — государственный деятель и придворный королевы Елизаветы I, а затем короля Иакова I, известный своей беспринципностью.

Стр. 169. *«Акт соединения королевств»* — договор 1707 г., по которому Шотландия вошла в состав Соединенного королевства Великобритании (см. об этом подробнее на стр. 630).

Стр. 170. *Фордун* Джон (ум. 1384) — шотландский летописец, автор первой истории Шотландии, доведенной до 1153 г.

Стр. 171. *Мемфивосфей* — персонаж из библии. Увечный сын Ионафана, друга древнееврейского царя Давида, Мемфивосфей после смерти отца пользовался милостями царя Давида и жил при его дворе.

Стр. 172. *Сара* Дженнингс, герцогиня Марлборо (1660—1744) — придворная дама королевы Анны, жена английского полководца и политического деятеля Джона Черчила, герцога Марлборо (1650—1722). Подруга детских лет, а впоследствии фаворитка королевы, Сара Марлборо оказывала значительное влияние на государственные дела.

Стр. 174. *«Требование прав»* — декларация, принятая шотландским парламентом в 1689 г., вслед за аналогичной «Декларацией прав», предъявленной английским парламентом Марии и Вильгельму Оранским перед их вступлением на английский престол. «Декларация прав» ограничивала власть короля и расширяла права английского парламента. «Требование прав» расширяло права шотландского парламента.

Стр. 177. *«Король и Не-король»* — пьеса Ф. Бомонта и Д. Флетчера. Эпиграф взят из акта III, сц. 1.

Стр. 178. *Мерк* — старинная шотландская монета, равная 13 шиллингам 4 пенсам.

Стр. 188. *Кодекс Юстиниана* — свод законов римского права, составленный византийским императором Юстинианом (527—565).

Стр. 190. *Претендент* — Иаков Эдуард Стюарт (см. прим. к стр. 69).

Стр. 191. *«Французская куртизанка»*. — Эпиграф сочинен самим В. Скоттом.

Стр. 193. *Томас Стихотворец* (между 1220—1290) — легендарный шотландский поэт, прославившийся у современников как пророк и прорицатель.

Стр. 195. *...происходи ты из другой семьи.* — Шекспир, «Как вам это понравится» (акт I, сц. 2),

Стр. 199. *Король Вильгельм и королева Мария* — король и королева Англии с 1689 г., царствовавшие: Вильгельм III — до 1702 г., а Мария — до 1694 г.

Стр. 200. *Томас Хоуп* (ум. 1646) — крупнейший шотландский юрист.

Стэр. — См. стр. 629.

Ван-Остаде Адриан (1610—1685) — голландский художник, основоположник крестьянского жанра в голландской живописи.

Стр. 205. «*Потеряла свинья жемчужину*». — Эпиграф сочинен самим В. Скоттом.

Стр. 209. *Хэддингтон* — город в восточной Шотландии, административный центр графства Восточный Лотиан.

Стр. 213. *Вордсворт* Уильям (1770—1850) — английский поэт-романтик. Эпиграф взят из «Стихов о названии местностей».

Стр. 220. ...*вороны находятся под особым покровительством лордов Рэвенсвудов*... — По-английски имя Рэвенсвуд («Raven-wood») означает «вороний лес».

Стр. 224. «*Новый способ платить старые долги*» — пьеса Ф. Мессинджера. Эпиграф взят из акта III, сц. 2.

Стр. 228. *Лоу* Джон (1671—1729) — шотландец по происхождению, с 1719 г. — генеральный контролер финансов Франции. Введенная им финансовая система, основанная на выпуске необеспеченных государственных банкнотов, привела в 1720 г. к государственному банкротству. Деятельность Лоу относится к периоду более позднему, чем время действия романа «Ламмер-мурская невеста».

Стр. 231. *Король Иаков*. — Речь идет о претенденте на английский престол Иакове Эдуарде Стюарте, шевалье Сен-Жорже (см. прим. к стр. 69).

Стр. 236. *Иерихон* — древний город в Палестине, упоминаемый в библии.

Пресвитер Иоанн — властитель легендарного христианского государства в Средней Азии.

Стр. 238. *Джон Черчил*, герцог Марлборо (1650—1722) — английский полководец и государственный деятель, командовавший английскими войсками в войне за испанское наследство (1701—1714), которая велась Англией в союзе с некоторыми другими государствами против Франции.

Данди Клеверхауз Джон. — См. прим. к стр. 102.

Берик Джеймс (1670—1734) — побочный сын английского короля Иакова II, получивший французское гражданство и звание

французского маршала. В войне за испанское наследство сражался на стороне Франции.

«Герцог против герцога». — Эпиграф сочинен самим В. Скоттом.

Стр. 241. *Дон Гайферос* — герой цикла старинных испанских романсов о Гайферосе и Мелисанде.

Стр. 242. *«Свет помешался, господа»* — комедия Томаса Мидлтона (1570—1627).

Стр. 244. *...никогда зеленые и голубые колесницы не возбуждали такого волнения в цирках Рима или Константинополя...* — Состязание колесниц было одним из самых популярных развлечений в древнем Риме и Византии. В Византии соперничающие партии выставляли свои колесницы, возницы которых были одеты в различные цвета — белый, красный, зеленый и голубой. Партии голубых и зеленых были главными соперниками, и состязания между их колесницами вызывали бурную реакцию зрителей.

Стр. 251. *Гай из Уорика* — герой одноименного стихотворного романа (XIII в.), повествующего о его многочисленных подвигах и рыцарских доблестях.

Стр. 257. *Уоллер* Эдмунд (1606—1687) — английский поэт.

Стр. 263. *...облечь тело в... шерстяной саван...* — При Карле II в целях увеличения спроса на шерстяные изделия был принят закон, по которому разрешалось хоронить мертвых только в шерстяных саванах.

Стр. 271. *«Андреа Феррара»* — палаш или меч, изготовленный итальянским оружейником Андреа Феррара и клейменный его именем. Оружие это высоко ценилось в Англии и Шотландии XVI—XVII вв.

Стр. 275. *«Килликрэнки»* — народная песня, посвященная битве при Килликрэнки (1689), в которой шотландские горцы, выступившие на стороне низложенного короля Иакова II Стюарта, одержали победу над английскими войсками.

Стр. 279. *Дарьенское дело*. — В 1698 г. Шотландия пыталась осуществить колонизацию Дарьена, района в восточной части Панамского перешейка, в надежде извлечь из захвата Дарьена значительные финансовые выгоды. Предприятие это окончилось полным провалом, большинство колонистов погибло.

Стр. 284. *...так называемый король Уилли...* — Речь идет о короле Вильгельме III Оранском (1688—1702).

Стр. 286. *Галиот* — небольшое парусное судно.

Стр. 289. *Кэмбел*. — Эпиграф взят из поэмы «Предостережение Лохиеля».

Стр. 297. *Шалон* — шерстяная ткань, сотканная из глянцеви-
той (камвольной) пряжи.

Стр. 300. *Старинная пьеса*. — Эпиграф сочинен самим
В. Скоттом.

*...политический переворот совершился, и тори... пришли к
власти*. — Речь идет о смене кабинета министров, происшедшей
в 1710 г. в результате победы, одержанной партией тори на пар-
ламентских выборах.

Харли Роберт, граф Оксфордский (1661—1724) — английский
государственный деятель. Сторонник партии тори, Харли сочув-
ствовал Стюартам и впоследствии был уличен в переписке с
Иаковом Эдуардом, претендентом на английский престол.

Стр. 302. *Кэнонгейт* — район Эдинбурга.

Стр. 304. *...видеть нечестивца грозного, расширившегося... и
вот нет его...* — цитата из библии (Псалтырь, псалом XXXVI,
35—36).

Стр. 307. «*Ричард III*» — Шекспир, эпиграф взят из акта I,
сц. 2.

Стр. 311. «*Комедия ошибок*» — Шекспир, эпиграф взят из
акта V, сц. 1.

Стр. 316. *Паколет* — персонаж из рыцарского романа «Вален-
тин и Орсон» (XIV в.), карлик, владевший волшебным деревян-
ным конем, мгновенно переносившим его в любое место.

Стр. 319. «*Комедия ошибок*» — Шекспир, эпиграф взят из
акта V, сц. 1.

*..выбирал себе жену, как искатели руки Порции — шка-
тулку...* — По завещанию отца богатая наследница Порция —
персонаж из комедии Шекспира «Венецианский купец» — должна
была стать женой того, кто выберет тот из трех закрытых лар-
чиков — золотого, серебряного и железного, — в котором нахо-
дился ее портрет.

Стр. 321. *Стюарты* — королевская династия, правившая в
Шотландии с 1371 г. и в Англии — с 1603 г. по 1649 г. и с 1660 г.
по 1714 г.

Стр. 324. *...вбежал... в комнату, размахивая ивовою вет-
вью...* — Ивовая ветвь считается в Англии символом отвергнутой
любви.

Стр. 326. «*Королева фей*» — поэма Э. Спенсера. Эпиграф взят
из кн. III, 7.

Подобно Калибану, она уверяла, что ей помогает безвредная фея. — Калибан — персонаж из драмы Шекспира «Буря». Здесь имеются в виду слова, обращенные к Калибану дворецким Стефано: «Однако, чудовище, твоя фея — хоть ты и говоришь, что это безвредная фея, — сыграла с нами штуку почище блуждающего огонька» (акт IV, сц. 1).

Стр. 331. *...союз моавитянского пришельца с дочерью Сиона.* — Моавитяне — упоминаемый в библии народ, враждовавший с древними евреями. В библии евреи называются сынами Сиона, по названию горы в Иерусалиме.

Стр. 332. *Кампвер* — порт в Голландии.

Стр. 333. *Крабб* Джордж (1754—1832) — английский поэт. Эпиграф взят из поэмы «Приходские списки» (ч. II).

Стр. 346. *Талаба* («Талаба-разрушитель») — поэма английского поэта-романтика Р. Саути (1774—1843).

Стр. 348. *Уильям Уоллес.* — См. прим. к стр. 15.

Стр. 351. *Амфитрион, у которого обедают...* — фраза из комедии Мольера «Амфитрион» (1688). Полностью она читается так: «Настоящий Амфитрион — Амфитрион, у которого обедают». Имя Амфитриона стало нарицательным для обозначения радушного хозяина,

М. ШЕРЕШЕВСКАЯ

«ЛЕГЕНДА О МОНТРОЗЕ»

В романе «Легенда о Монтрозе», написанном в 1819 году, Вальтер Скотт показал одну из трагических страниц истории Шотландии. Восстание крупного шотландского феодала Джеймса Грэма, графа Монтроза в 1645 году против английского и шотландского парламента в защиту короля Карла I Стюарта было одним из этапов длительной гражданской войны в Англии и Шотландии, происходившей в годы буржуазной революции XVII столетия. Восстание протекало под реакционными, монархическими лозунгами. Основной силой движения были шотландские горцы, для них это восстание было этапом борьбы за независимость от чужеземного английского владычества, борьбы, которая длилась веками. Судьбу шотландских горцев писатель поставил в центр романа.

Вальтер Скотт предпослал своему роману введение, в котором говорится о старшине Мак-Элпине, возвратившемся на родину

после разгрома 1745 года и выселения кланов. Произошло то, что раньше происходило в Англии: пастбища раскинулись на месте домов, овцы вытеснили людей, шерстяная промышленность развивалась, новые толпы безработных и бездомных заполнили растущие города или были вынуждены покинуть родину и эмигрировать в Америку. Таково было следствие капиталистического развития Шотландии.

Но в романе, действие которого относится к середине XVIII века, шотландские кланы еще живут бурной, кипучей жизнью, и Вальтер Скотт вскрывает причины их грядущей гибели.

Реакционно-монархическая сторона восстания Монтроза мало привлекает Вальтера Скотта. Правда, он говорит в своих воспоминаниях, что с детства восхищался Монтрозом; он даже хранил его меч как одну из достопримечательностей своих антикварных коллекций. Но в романе он показывает его как колеблющегося полководца, лишенного целеустремленности и стойкости. Своими монархическими лозунгами Монтроз не может увлечь настоящего воинов-горцев, так как интересы Карла I остаются глубоко чуждыми народу. Он поддается чувству ненависти к маркизу Аргайлу и, уклонившись от намеченного маршрута, тратит время и силы на осаду его замка. Это гибельно отзывается на восстании. Вальтер Скотт вынужден признать, что Монтрозом руководят эгоистические страсти: честолюбие и жажда мести.

Восстание Монтроза исторически было обречено на гибель: его вожди пытались реставрировать феодальную монархию Стюартов, а его участники-горцы пытались сохранить от натиска буржуазных отношений свой родовой строй и патриархальный быт. Вальтер Скотт, стремясь правдиво воспроизвести историческую действительность, показал обреченность восстания.

Писатель очень тонко вскрывает крестьянскую психологию воинов-горцев. Они собираются под знамена Монтроза зимой, когда бывают свободны от пастушеских и полевых работ, и рассеиваются весной, чтобы спрятать добычу и заняться своим скотом и посевами. Отсутствие дисциплины окончательно подрывает движение Монтроза. Постепенно оно теряет всякий политический характер и превращается в междоусобную резню. Родовая вражда, издавна разъедавшая шотландское общество, довершает разложение войск Монтроза.

Вальтер Скотт не идеализирует и шотландских горцев, с горечью показывая, как невежество, неорганизованность, междо-

усобные распри губят этот мужественный народ. Трагедия шотландских племен ярко отражена в судьбе Сынов Тумана, своеобразных отщепенцев среди других шотландских кланов. В эпоху буржуазной революции они живут представлениями раннего средневековья. Они держатся обособленной кучкой и, защищая свою жизнь, нападают на всех с яростью и отчаянием затравленных волков.

Любуясь мужеством горцев, Вальтер Скотт не забывает и самых темных черт родового быта. Воплощением этих черт становится Аллан Кровавая Рука, один из наиболее запоминающихся образов романа.

Наследственное безумие, неутолимая жажда мести, превращающая Аллана в жестокого убийцу, трагические обстоятельства его рождения, безнадежная любовь к Эннот Лайл — все это делает фигуру Аллана необычайно романтической. Поэтический образ Эннот Лайл также связан с романтической традицией. Эннот Лайл поет старинные баллады, и судьба ее как бы переплетается с сюжетом этих баллад; каждое ее появление на страницах романа сопровождается песенным текстом; только она одна может успокоить душевные терзания Аллана; но среди великолепно очерченных мужских образов она кажется бесплотным видением.

Как обычно, Вальтеру Скотту меньше удалось те страницы романа, которые рассказывают о любви основных героев — Ментейта и Эннот Лайл. Ментейт не вызывает у читателя симпатии. Крайняя осторожность, боязнь брака с безродной сиротой становятся непреодолимым препятствием для его любви к Эннот Лайл. Рядом с мучительной страстью Аллана эта любовь кажется жалкой и ничтожной.

Вальтер Скотт и сам неоднократно говорил о слабости своих центральных образов. В одном из писем он замечает по поводу «Уэверли»: «Герой моего романа слишком жалок и бесхарактерен. Если бы он женился на Флоре Мак-Ивор, она могла бы поставить его на камин под стекло.. Зато я одарен незавидным дарованием изображать с любовью браконьеров, удалых молодцов вроде Роб Роя».

Второстепенные образы в романе очерчены с большим мастерством и силой. В «Легенде о Монтрозе» это не только романтический Аллан, но и реалистический, даже сатирический образ Дальгетти. Вальтер Скотт ярко изобразил этого наемного солдата. Он сам говорит: «Когда мне встречается такой характер, как Дальгетти, мое воображение оживляется».

Дальгетти — фигура, типичная для эпохи Тридцатилетней войны. Огромное количество шотландских наемников служило во всех армиях Европы в XVII веке. Дальгетти — наемник, продававший свою кровь за деньги, служивший в войсках многих европейских стран, хвастливый и беспринципный. Он храбро сражается на стороне тех, кто больше ему заплатит. Он верно служит тому знамени, которое избрал, до истечения срока договора; он ловок и находчив в беде. Но его храбрость и верность оплачиваются и измеряются в определенных денежных суммах.

Вальтер Скотт широко использует шотландский фольклор, собирателем которого он был всю жизнь. Он с любовью рисует горцев, их преданность своему вождю и друзьям. Но в то же время Вальтер Скотт показывает, что простые горцы, наивные, искренние и бесстрашные, возглавлялись беспринципными и эгоистичными предводителями.

Никто из дворян, изображенных в романе, не сражается из-за политических убеждений. Все они руководствуются личными расчетами, действуют как карьеристы. Так, жестокий и вероломный маркиз Аргайл служит парламенту, но идеи и цели буржуазной революции остаются глубоко чуждыми ему.

Монтроз также успел совершить политическую измену. Да и наиболее «безупречные» герои романа — юный Ментейт и старый рыцарь Арденвор — не отличаются твердостью убеждений. Они считаются политическими врагами, но при первой же возможности заключают между собой выгодный союз, и Ментейт становится зятем сэра Дункана.

Эгоистичные и расчетливые, дворяне ловко используют свое положение вождей кланов, доверчивость и преданность горцев и увлекают их во всевозможные военные авантюры, в тот или иной политический лагерь. Так разжигается междоусобная война в угоду феодальной аристократии.

Вальтер Скотт сумел правдиво и художественно воссоздать исторические события, и в этом большое достоинство романа «Легенда о Монтрозе».

3. ГРАЖДАНСКАЯ

Стр. 370. *Расселас* — герой философской повести Сэмюэла Джонсона (1709—1784) «Расселас — принц Абиссинии». Расселас жил в Счастливой долине, окруженной со всех сторон горами; он отправился путешествовать по свету в поисках счастья и, не найдя его нигде, вернулся в долину.

Стр. 373. *...на стороне короля в сорок пятом году...* — Речь идет о якобитском восстании 1745—1746 гг., поднятом внуком Иакова II, принцем Карлом Эдуардом, с целью восстановления династии Стюартов. Восставшие, поддержанные шотландскими горцами, одержали ряд побед, но в дальнейшем, не получив широкой поддержки, потерпели поражение, и Карл Эдуард бежал во Францию. Якобитское восстание 1745—1746 гг. — последняя попытка Шотландии отделиться от Англии. (См. роман «Уэверли».)

...убежденным приверженцем короля Георга... — В Англии в то время правил Георг II (1727—1760), второй король из протестантской Ганноверской династии, воцарившейся с 1714 г., после смерти королевы Анны. Ганноверские курфюрсты были призваны на английский трон представителями торговой и финансовой буржуазии, политической партией которой были виги, с целью воспрепятствовать возможности возвращения Стюартов к власти.

...проклиная Бонапарта и осушая стаканы в честь герцога Веллингтона... — Артур Уолсли, герцог Веллингтон (1769—1852) — английский государственный деятель и полководец, командовавший английскими войсками в битве при Ватерлоо (1815), где Наполеон I потерпел окончательное поражение. Веллингтон, как победитель Наполеона, стал национальным героем Англии. В романе разговор о Бонапарте и Веллингтоне — одно из исторических несоответствий, допущенных Вальтером Скоттом. Старшина Мак-Элпин, возвратившийся после длительной военной службы в середине 40-х гг. XVIII в., конечно не мог дожить до событий 1808—1815 гг., когда могло возникнуть такое сопоставление Бонапарта и герцога Веллингтона.

Герцог Йоркский — титул, который обычно жаловался вторым сыновьям английских королей.

Стр. 374. *...к походам Монтроза...* — Джеймс Грэм, граф Монтроз (1612—1650) — маркиз, крупный шотландский феодал. В годы гражданской войны Монтроз принял сторону короля. С 1644 г. он командовал королевскими войсками в Шотландии, одержал победы в битве при Типпермуре, затем, в феврале 1645 г., — над Аргайлом при Инверлохи, однако осенью того же года был разбит в битве при Филипхоу и бежал на континент. В 1650 г. предпринял неудавшуюся попытку высадиться в Шотландии с целью восстановить на престоле Карла II, сына казнённого Карла I Стюарта; был схвачен и казнён.

Стр. 376. Батлер Сэмюел (1612—1680) — английский поэт, ставший известным в годы реставрации Стюартов; автор антипуританской поэмы «Гудибрас», откуда и взят эпиграф.

...кровавой гражданской войны, потрясавшей Англию в XVII веке. — Вальтер Скотт имеет в виду события английской буржуазной революции XVII в., а именно время первой гражданской войны 1642—1646 гг. Карл I Стюарт, бежав из Лондона на север страны, в августе 1642 г. начал гражданскую войну. Вокруг короля собрались земельная аристократия, англиканское духовенство и те слои общества, экономические и политические интересы которых зависели от короны. На стороне парламента оказались не только буржуазия и связанные с ней круги дворянства, но и английское крестьянство и городские низы, исторические интересы которых заключались в уничтожении феодальной системы. В конце так называемой второй гражданской войны Карл I был взят в плен и казнен (1649), а в Англии провозглашена республика.

...возвращения армии генерала Лесли из Англии. — Александр Лесли, лорд Ливен (1580—1661) — шотландский военачальник, сражавшийся, как и многие шотландцы, в годы Тридцатилетней войны (1618—1648) в армиях шведских королей Карла IX и Густава Адольфа в России, Австрии, Польше, Дании. Возвратившись в Шотландию, Лесли примкнул к противникам короля Карла I, ковенантерам, и в гражданской войне возглавил шотландскую армию, посланную в Англию на помощь британскому парламенту. После казни короля Лесли стал на сторону Стюартов и выступил против Кромвеля, но был разбит последним при Данбаре (1650).

Торжественная лига и ковенант. — В 1638 г. попытка Карла I, добивавшегося усиления самодержавной власти, ввести англиканскую церковь в Шотландии, вызвала протесты шотландских пресвитериан; ими была дана торжественная клятва бороться с абсолютизмом Карла I, так называемый ковенант (от англ. covenant — договор, соглашение). Народные массы объединились вокруг ковенанта для защиты страны от посягательств английского короля. Шотландское восстание и последовавшая за ним война явились предвестниками английской буржуазной революции. В 1643 г., во время гражданской войны, шотландские ковенантеры заключили с лондонским пресвитерианским парламентом союз против роялистов. Этот договор получил название Торжественной (или Священной) лиги. На основании этого соглашения в 1644 г.

в Англию была послана шотландская армия под командованием Лесли.

Стр. 377. *Маркиз Аргайл* Арчибалд (1607—1661) — возглавлял борьбу шотландских пресвитериан против Карла I Стюарта. Его политика выражала интересы городской буржуазии и той части землевладельцев, которая была заинтересована в развитии капиталистических отношений и поэтому выступала против абсолютизма, стремясь, однако, не допустить углубления революции и подлинной демократизации общественной жизни. Впоследствии Аргайл перешел на сторону защитников королевской власти, но тем не менее после реставрации Стюартов был казнен.

Стр. 378. *...мир, заключенный Карлом Первым со своими шотландскими подданными...* — Имеется в виду Риппонский мир, заключенный в октябре 1640 г. Карлом I с Шотландией, после неудачной войны с ковенантерами (1639—1640), в результате которой шотландцы оккупировали северные графства Англии. Надежды короля Карла I, что после мира шотландский парламент станет на сторону короны, не оправдались: шотландцы с начала революции заняли враждебные по отношению к Стюартам позиции.

Стр. 379. *Кора, Валаам, Доик, Рабсак, Аман, Товий. Санаваллат* — упоминающиеся в библии враги Израиля. Встречающиеся дальше имена пророка Неемана, сынов Зеруаха и др. взяты также отсюда.

Стр. 380. *Гроций* Гуго (1583—1645) — голландский философ и государственный деятель. Его книга «О праве войны и мира», изданная в разгар Тридцатилетней войны (1625), явилась первым систематическим изложением международного права и в течение долгого времени служила основным руководством для дипломатов.

Стр. 381. *Паписты*. — Так протестанты называли католиков, которые признавали главой церкви «наместника Христа на земле» — римского папу.

Лод Уильям (1573—1645) — ближайший помощник Карла I в его политике укрепления королевской власти; с 1633 г. — архиепископ Кентерберийский; жестоко расправлялся с врагами англиканской церкви. В годы революции был приговорен палатой общин к смертной казни и обезглавлен.

...под защитой более могучей и богатой партии — то есть пресвитериан. Это было религиозное течение, которое отрицало

церковную иерархию, епископат и признавало власть выборного старейшины — пресвитера (отсюда название). В начальный период революции пресвитериане являлись правящей партией и склонялись к компромиссу с королем, а впоследствии превратились в защитников королевской власти. Упоминаемые далее индипенденты оформились как политическая партия уже в ходе революции. Индипенденты отстаивали независимость церковных общин и их самоуправление, а в политике требовали установления республики. Лидером индипендентов был Оливер Кромвель (1599—1658). Власть этой более радикальной партии укрепилась после победы над королем в гражданской войне. У Вальтера Скотта это одно из немногих упоминаний в романе как об индипендентах, так и об Оливере Кромвеле. Другие, более решительные течения — левеллеры («уравнители»), сторонники широкой демократизации Англии, диггеры («копатели») с их утопическими идеями аграрного коммунизма — Вальтер Скотт не называет и говорит о них в тексте как о «прочих сектантах».

Стр. 382. *Генри Вэйн* (1613—1662) — деятель английской буржуазной революции, индипендент. Принимал участие в составлении Торжественной лиги и кovenанта (см. прим. к стр. 376).

Ферфакс Томас (1612—1671) — деятель английской буржуазной революции, умеренный пресвитерианин. С января 1645 г., после военной реформы, Ферфакс — главнокомандующий парламентской армией. Был заменен на этом посту Оливером Кромвелем, когда отказался выступить против сторонников Карла Стюарта, сына казненного короля.

Манчестер Эдуард Монтегю (1602—1671) — деятель английской буржуазной революции. Один из лидеров оппозиции в палате лордов в первый период революции. В начале гражданской войны 1642—1646 гг. был назначен главнокомандующим парламентской армией. Вел военные действия крайне нерешительно, надеясь на соглашение с королем, так как являлся сторонником компромисса с короной. В 1645 г. был отстранен от командования.

Стр. 383. *Марстон-мур* — место около Йорка, где в период первой гражданской войны, 2 июля 1644 г., парламентская армия разбила роялистов. Большую роль при этом сыграли кавалерийские полки Оливера Кромвеля. В сражении участвовали шотландские войска, посланные на помощь парламенту по соглашению 1643 г.

Принц Руперт (1619—1682) — герцог Баварский и Камберлендский, племянник Карла I, командовавший королевской кавалерией во время гражданской войны.

Маркиз Ньюкаслский Уильям Кэвендиш (1592—1676) — роялист, сражавшийся под Марстон-муром. В 1644 г. эмигрировал и возвратился в Англию после реставрации Стюартов.

Дэвид Лесли (1601—1682) — шотландский генерал. В Тридцатилетнюю войну служил в шведских войсках. Вернулся в Шотландию в 1640 г. и примкнул к ковенантерам. С шотландской армией участвовал в гражданской войне в Англии. В битве при Марстон-муре (1644) кавалерия Дэвида Лесли и кавалерийские полки Оливера Кромвеля сыграли решающую роль. 13 сентября 1645 г. Дэвид Лесли разбил Монтроза при Филиппоу.

Престарелый граф Ливен. — Имеется в виду командующий шотландской армией в Англии Александр Лесли (см. прим. к стр. 376).

Холл Джозеф (1574—1656) — епископ Эксете́ра и Норича, поэт, выпустивший в 1597—1598 гг. две книги сатир, написанных по образцу римских.

Стр. 386. *Кавалер или круглоголовый?* — См. прим. к стр. 102.

Стр. 387. *Густав Адольф* (1611—1632) — король Швеции, полководец, игравший большую роль в Тридцатилетней войне. Возглавлял так называемую Протестантскую унию.

Лютеране, кальвинисты и арминиане — последователи Мартина Лютера, Жана Кальвина и Иакова Арминия. Эти антикатолические реформационные движения, возникшие в различных странах Европы, часто были враждебны друг другу.

Стр. 388. *«Галло-Бельгийский Листок»* и др. — Здесь Дальгети искажает названия различных журналов, выходивших в XVII веке.

Стр. 389. *Под Лейпцигом и под Лютценом* происходили сражения во время Тридцатилетней войны (1618—1648). В дальнейшем Дальгети неоднократно вспоминает различные эпизоды Тридцатилетней войны, во время которой он служил наемником в войсках различных государств, переходя от одной враждующей стороны к другой.

Стр. 391. *Валленштейн* (Вальштейн) Альбрехт (1583—1634) — полководец Тридцатилетней войны, противник протестантских государств и шведского короля Густава Адольфа, главнокоман-

дующий армией Католической лиги. Был убит заговорщиками-офицерами.

Уолтер Батлер — ирландский наемник и авантюрист, командовавший драгунским полком в армии Католической лиги в годы Тридцатилетней войны. В 1634 г. участвовал в заговоре против Валленштейна (см. предыдущее прим.).

Стр. 395. *Мингер* (гол. *mijnheer*) — господин, сударь, обращение без дворянского титула. Мингерами Дальгетти называет голландцев.

Стр. 396. *Донн Джон* (1573—1631) — английский поэт, сатирик и богослов.

Стр. 401. *Местон Уильям* (1688—1745) — шотландский поэт-сатирик.

Стр. 409. *Мерк* — См. прим. к стр. 178.

Стр. 414. *Спенсер*. — См. прим. к стр. 38.

Стр. 417. *Да здравствует король Карл!* — Имеется в виду Карл I Стюарт (1625—1649).

Стр. 419. *Поссет* — горячий напиток из молока, смешанного с пивом, вином и т. п.

Стр. 421. *Иаков VI* (1567—1625) — сын Марии Стюарт; с 1567 г. был объявлен королем восставшими против Марии Стюарт шотландскими пресвитерианами; с 1603 г. под именем Иакова I стал одновременно королем Англии.

Пандуры — наемные войска, вооруженные по образцу турецкой армии, впервые организованные в Венгрии в конце XVII в. Название получили от местечка Пандур. Первой войной, в которой участвовали пандуры, была война за австрийское наследство. Дальгетти не мог идти в пандуры в годы Тридцатилетней войны, так как их тогда еще не существовало.

Стр. 430. *Кэмбел Томас* (1777—1844) — шотландский поэт. Эпиграф взят из его поэмы «Предостережение Лохиеля».

Стр. 434. *Асквибо* (гэльск.) — шотландская водка, изготавливаемая домашним способом.

Стр. 435. *Царица фей Титания* — персонаж комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь». У Овидия Титания — богиня Диана.

Стр. 436. *Секундус Макферсон* — лицо, придуманное Вальтером Скоттом.

...перевод *Оссиана*, сделанный его знаменитым однофамильцем. — См. прим. к стр. 79.

Стр. 443. «*Предостережение Лохиеля*». — См. прим. к стр. 430.

Стр. 444. *Ландтаги* — сословные законодательные собрания в многочисленных германских государствах, входивших в Священную Римскую империю германской нации.

Пиброх — мелодия для волынки у шотландских горцев.

Стр. 448. *Огненные кресты* — сигнал тревоги шотландских горных кланов, который в случае внезапной войны передавался бегущими гонцами от селения к селению.

Стр. 451. *«Генрих IV»* — историческая хроника Шекспира. Эпиграф взят из монолога Хотспера (акт II, сц. 3).

Стр. 452. *Принц Уильям* (1600—1669) — пуританин, один из лидеров парламентской оппозиции Стюартам, политический деятель и памфлетист. Трактат, упоминающийся в романе, направлен против сторонников короля — кавалеров, у которых были в моде длинные волосы с особым, спускающимся на лоб завитком, носившим название локона любви.

Стр. 455. *Македонская фаланга* — усовершенствованный Филиппом Македонским, а затем Александром Македонским строй тяжелой пехоты греческих армий.

Стр. 466. *«Кориолан»* — трагедия Шекспира. В качестве эпиграфа взяты слова Кориолана (акт III, сц. 1).

Стр. 470. *«Сирота»*. — После стихотворения в тексте романа следует перевод гэльской легенды, послужившей источником для этого стихотворения.

Стр. 472. *«Путники»*. — Эпиграф сочинен самим В. Скоттом.

Стр. 476. *Непобедимый лев Протестантской унии* — Густав Адольф (см. прим. к стр. 387).

Стр. 481. *...разрушил великий город Москву — столицу Московии*. — Дальгетти говорит о польском короле Стефане Батории (1576—1586), который в своих войнах с Россией ни разу не продвигался дальше Великих Лук, а следовательно, не был в Москве. Зажигательные снаряды в гладкоствольной артиллерии стали применяться в конце XVI в. Дальгетти имеет в виду каленые ядра.

Стр. 482. *Браун*. — Эпиграф сочинен самим В. Скоттом.

Стр. 484. *Пентесилея* — в греческой мифологии царица амазонок, явившаяся на помощь жителям осажденной Трои во время Троянской войны. В битве была убита Ахиллом.

Стр. 485. *Альба Фернандо*, герцог (1507—1582) — испанский полководец и государственный деятель.

Стр. 493. *«Авессалом и Ахитофель»* — политическая сатира Джона Драйдена (1631—1700). Поэма написана в защиту Стюартов и направлена против лидера оппозиции вига Шефтсбери, который скрывается за библейским именем мятежного Авессалома.

Стр. 509. ...в переводе доктора Лютера. — Выдающийся деятель реформации Мартин Лютер (1483—1546) был переводчиком библии с латинского языка на немецкий.

Стр. 515. *Бетлен Габор* (1580—1629) — князь Трансильвании (с 1613 г.), стремившийся восстановить независимое венгерское государство. Участвовал в Тридцатилетней войне на стороне антигабсбургской коалиции.

Янычары — привилегированная регулярная пехота турецких султанов, организованная в XIV в. и превратившаяся в замкнутую военную касту — оплот реакции.

Стр. 521. *«Бренновальтская трагедия»*. — Эпиграф к этой главе сочинен самим В. Скоттом.

Андреа Феррара. — См. прим. к стр. 271.

Стр. 532. *Неужто вернулись времена Робина Гуда и Маленького Джона?* — Робин Гуд и Маленький Джон — герои народных английских баллад, крестьяне-саксы, боровшиеся против произвола феодалов и власти иноземных поработителей — норманнов; лук и стрелы — обычное оружие «вольных стрелков» Робина Гуда (см. роман «Айвенго»).

Стр. 533. *А почему бы не навой ткача, как во времена Голиафа?* — В библии о филистимлянском великане Голиафе говорится: «И древко копья его, как навой у ткачей» (навой — часть ткацкого станка, вал, на который навивается основа).

...стрел ядовитых... — Квинт Гораций Флакк (65—8 до н. э.), ода «К Аристию Фуску» (кн. I, 22).

Стр. 537. *Монтроз, «Стихи»*. — Эпиграф взят из баллады Монтроза «Моя дорогая и единственная любовь».

Стр. 538. *Мильтон Джон* (1608—1674) — великий английский поэт и политический деятель периода революции.

Тетрахордон (от греч. tetras — четыре и chorda — струна) — четырехструнный музыкальный инструмент (упоминаемый у Аристофана), а также четырехстопный музыкальный ряд, заимствованный христианской церковью.

Стр. 543. *Претендент Карл Эдуард* (1720—1788) — внук Иакова II Стюарта и старший сын не царствовавшего Иакова III, прозванный, в отличие от последнего, «юный претендент». Стал

во главе самого крупного якобитского восстания в Шотландии в 1745 г.

Стр. 547. *Флодденское поле*. — См. прим. к стр. 57. Битва при Флоддене послужила сюжетом народных песен и отражена в ряде поэтических произведений.

Стр. 556. *Стайвер, дойт, мараведи* — мелкие старинные монеты (датская, голландская и испанская).

Стр. 560. *«Тщета человеческих желаний»* — поэма Сэмюэла Джонсона, опубликованная в 1749 г., стихотворное подражание римскому сатирику Ювеналу.

Стр. 561. *Граф Мар* — один из главарей якобитского восстания 1715 г., направленного против новой Ганноверской династии и ставившего своей целью возвращение в Англию Стюартов. Сын изгнанного в 1688 г. Иакова II, называемый роялистами Иаковом III, в январе 1716 г. короновался в Сконе как шотландский король Иаков VIII, но вскоре потерпел поражение и бежал на материк.

Стр. 570. *Инверлохи* — место в Аргайлшире в Шотландии, где Монтроз 2 февраля 1645 г. разбил Кэмбелов. Эпиграф взят из баллады В. Скотта «Пиброх Доналда Дху». Эти четыре строки даны в оригинале и по-шотландски.

Стр. 580. *Оссиан*. — См. прим. к стр. 79.

Стр. 589. *Пенроуз* Томас (1742—1779) — английский поэт.

Стр. 595. *...красотой Текмессы*. — Гораций, ода «Ксантию Фокею» (кн. II, 4). Текмесса, у Гомера, — пленница героя Троянской войны Аякса Большого, сына саламинского царя Теламона.

Стр. 599. *«Филастр»* — пьеса Френсиса Бомонта и Джона Флетчера. Эпиграф взят из акта V, сц. 5.

Стр. 608. *«Завоевание Гренады»* («Завоевание Гренады испанцами») — драма Джона Драйдена.

Стр. 622. *...картезианских монастырей* — то есть принадлежащих монахам картезианского ордена, основанного в 1084 г. Орден был опорой каголической папской реакции; пришел в упадок в XVIII в.

Стр. 623. *...до самой реставрации Стюартов*. — После смерти Кромвеля (1658) буржуазия, напуганная революционным движением в стране и разногласиями в армии, стремилась восстановить в Англии королевскую власть. В 1660 г. на престол был призван сын казненного Карла I Карл II Стюарт (1660—1685), обещавший соблюдать веротерпимость и управлять страной в согласии

с парламентом. Период реставрации Стюартов закончился в 1688 г. изгнанием короля Иакова II.

Стр. 624. ...*в битве при Филипхоу*. — 12 сентября 1645 г. Монтроз был разбит и бежал из Шотландии за границу. (см. прим. к стр. 374).

Стр. 625. ...*пережил революцию*... — то есть государственный переворот 1688—1689 гг., когда был свергнут Иаков II Стюарт, который пытался вернуть страну к абсолютизму. На английский трон был приглашен голландский штатгальтер Вильгельм Оранский, ставший Вильгельмом III. Новый король в «Декларации прав» (1689) гарантировал парламенту соблюдение его привилегий.

М. РАБИНОВИЧ
П. ТОПЕР

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЛАММЕРМУРСКАЯ НЕВЕСТА

Глава I	7
Глава II	23
Глава III	33
Глава IV	45
Глава V	52
Глава VI	68
Глава VII	76
Глава VIII	92
Глава IX	105
Глава X	120
Глава XI	130
Глава XII	138
Глава XIII	151
Глава XIV	160
Глава XV	168
Глава XVI	177
Глава XVII	185
Глава XVIII	191
Глава XIX	205
Глава XX	213
Глава XXI	224
Глава XXII	238
Глава XXIII	257
Глава XXIV	267
Глава XXV	276
Глава XXVI	289

<i>Глава XXVII</i>	300
<i>Глава XXVIII</i>	307
<i>Глава XXIX</i>	311
<i>Глава XXX</i>	319
<i>Глава XXXI</i>	326
<i>Глава XXXII</i>	333
<i>Глава XXXIII</i>	336
<i>Глава XXXIV</i>	346
<i>Глава XXXV</i>	357

ЛЕГЕНДА О МОНТРОЗЕ

Введение	369
<i>Глава I</i>	376
<i>Глава II</i>	383
<i>Глава III</i>	396
<i>Глава IV</i>	401
<i>Глава V</i>	414
<i>Глава VI</i>	430
<i>Глава VII</i>	443
<i>Глава VIII</i>	451
<i>Глава IX</i>	466
<i>Глава X</i>	472
<i>Глава XI</i>	482
<i>Глава XII</i>	493
<i>Глава XIII</i>	502
<i>Глава XIV</i>	521
<i>Глава XV</i>	537
<i>Глава XVI</i>	547
<i>Глава XVII</i>	560
<i>Глава XVIII</i>	570
<i>Глава XIX</i>	580
<i>Глава XX</i>	589
<i>Глава XXI</i>	599
<i>Глава XXII</i>	608
<i>Глава XXIII</i>	616
Комментарии	627

ВАЛЬТЕР СКОТТ
Собрание сочинений, т. 7

*Редакторы Э. Великанова
и А. Мурик*

*Художник Б. Воронецкий
Художественный редактор
Л. Чалова*

*Технический редактор
Э. Марковская*

Корректор Л. Никульшина

Сдано в набор 1/IX 1961 г.
Подписано к печати 1/IX 1962 г.
Бумага $84 \times 108^{1/32}$ — 20,625 печ.
л — 33,82 усл печ. л. Уч-
изд л. 31,833. Тираж 300 000 экз.
Заказ № 496. Цена 1 р. 15 к.

Гослитиздат
Ленинградское отделение
Ленинград, Невский пр., 28

Ленинградский Совет народного
хозяйства, Управление полигра-
фической промышленности Ти-
пография № 1 «Печатный Двор»
им А. М. Горького
Ленинград, Гатчинская, 26